
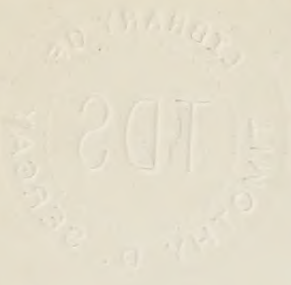


АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ
СОКРОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК





Digitized by the Internet Archive
in 2024

Б И Б Л И О Т Е К А С О В Е Т С К О Й П Р О З Ы



АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ СОКРОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ

«ИЗВЕСТИЯ»
МОСКВА • 1984

Printed in the Soviet Union

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ СОВЕТСКОЙ ПРОЗЫ

Председатель редакционного совета
Сергей Баруздин
Первый заместитель председателя
Леонид Теракопьян
Заместитель председателя
Александр Руденко-Десняк
Ответственный секретарь
Елена Мовчан

Ч л е н ы с о в е т а :

Ануар Алимжанов, Лев Аннинский,
Альгимантас Бучис, Игорь Захорошко,
Имант Зиедонис, Мирза Ибрагимов,
Юрий Калещук, Алим Кешоков,
Юрий Киршин, Вадим Ковский,
Григорий Корабельников, Георгий Ломидзе,
Андрей Лупан, Юстинас Марцинкявичюс,
Рафаэль Мустафин, Леонид Новиченко,
Александр Овчаренко, Борис Панкин,
Вардгес Петросян, Инна Сергеева,
Юрий Суровцев, Бронислав Холопов,
Иван Шамякин, Константин Щербаков,
Камиль Яшен

П $\frac{4702010200-056}{074(02)-84}$ —76—84



Составитель М. А. ПЛАТОНОВА

Художник В. СМЕРНОВ

ЭФИРНЫЙ ТРАКТ

Проснувшись в пять часов утра в своей московской квартире, Фаддей Кириллович почувствовал раздражение. Непотушенный свет горел в комнате, и где-то визжали толстые крысы.

Сон больше не придет. Фаддей Кириллович надел жилетку и уселся, раскачивая очумелый мозг. Он лег в час, еле добравшись до постели, и не вовремя проснулся.

— Ну-с, Фаддей Кириллович, нажмем снова, — сказал он самому себе, — микробы усталости могут успокоиться: я им пощады все равно не дам!

Он воткнул перо в чернильницу, вытянул дохлую муху и рассмеялся: это же, понимаете, мухоловка! И у меня все так, желтые граждане, — перо тычет, а не скользит, чернила — вода, бумага — рогожа! Это удивительно, господа!..

Фаддей Кириллович всегда представлял свою комнату населенной немymi, но внимательными собеседниками. Мало того, он тихие вещи безрассудно принимал за живые существа, и притом похожие на самого себя.

Раз, мрачно утомившись, он обмакнул в чернила перо, положил его на недописанный лист бумаги и сказал: заканчивай, заноза! А сам лег спать.

Одиночество, заглушенность души, сырость и полутьма квартиры превратили Фаддея Кирилловича в пожилого незначительного субъекта с житейски неразвитым мозгом.

Работал Фаддей Кириллович всегда бормоча, вслух перебирая возможные варианты стиля и содержания излагаемого.

Крысы утихли, потому что Фаддей Кириллович действительно забормотал:

— Поспешим, Фаддей! Поспешим, сатана души моей!.. Несомненно одно, что... что как только почва даст

вместо сорока пятьсот пудов на десятину и что... если железо начнет размножаться, то... эти, как их, женщины и ихние мужья сразу возьмут и нарожают столько людей, что не хватит опять ни хлеба, ни железа и настанет бедность... Довольно бормотать, ты мне мешаешь, дурак!..

Выругав этак себя, Фаддей Кириллович притих и усердно занялся работой, выводя аккуратные значки, как на уроке чистописания.

Москва проснулась и завизжала трамваями. Изредка вольтовы дуги озаряли туман, потому что токособиратели иногда отскакивали от провода.

— Идиоты! — не выдержал Фаддей Кириллович. — До сих пор не могут поставить рациональных токособирателей: жгут провод, тратят энергию и нервируют прохожих!..

Когда окончательно рассеялся туман и засиял неожиданный торжественный день, Фаддей Кириллович протер заслезившиеся глаза и начал в злостном исступлении драть ногтями поясницу:

— Какая-то стерва вторые сутки грызет! Только успокоишься, а уж какая-нибудь болячка появится! И вечно трудно человеку!..

В это время к Фаддею Кирилловичу постучали: Мокрида Захаровна, старушка, принесла Попову завтрак и пришла убирать комнату.

— Ну, как, Захаровна? Ничего там не случилось? Люди не вымерли? Светопреставление не началось еще? Погляди, спина у меня назади?..

— И что ты, батюшка, Фаддей Кириллович, говоришь? Опомнись, батюшка, — такого не бывает! Сидит-сидит, учится-учится — переучится, — и начинает ум за разуменье заходить! Поешь, голубчик, отдохни, ан и сердце отойдет, и дума утихнет...

— Да, Захаровна, да, Мокрида! Да, да, да! И трижды кряду — да! И еще раз — да!.. Ну, давай твою вкусную еду. Будем разводить гнилостные бактерии в двенадцатиперстной кишке, пускай живут в тесноте!.. А ты, старушка, ступай! Мне некогда, за кастрюлями придеешь вечером, тогда и комнату уберешь. Вечером я уеду.

— Ох, батюшка, Фаддей Кириллович, дюже ты чуден да привередлив стал, замучил старуху!.. Когда ожидать-то вас?

— Не жди, ступай, считай меня усопшим!

Спешно поев, Фаддей Кириллович закурил и вдруг вскочил, — живой, стремительный и веселый. — Ага, вот где ты пряталось, существо, скотоложество и супрематия! Вылазь, божья куколка! Дыши, мое чучелко! Живи, моя дочка! Танцуй, Фаддей, крутись, Гаврила, колесо налево, оттормаживай историю! Эх, моя молодость! Да здравствуют дети, невесты и влажные красные жадные губы! Долой Мальтуса и госпланы деторождения! Да здравствует геометрическая и гомерическая прогрессия жизни!..

Тут Фаддей Кириллович остановился и сказал:

— Пожилой субъект ты, Фаддей, а дурак! Еле догадался, а уж благодетельствовать собираешься, самолюбивая сволочь! Садись к столу, сгною тебя работой, паршивый выродок!

Усевшись, Фаддей Кириллович, однако, почувствовал страшную пустоту в мозгу, будто там ливни работы смыли всю плодородную почву и нечем было питаться зелени его творчества.

Тогда он начал писать частное письмо:

«Профессору Штауферу, Вена.

Знаменитый коллега! Вы уже, без сомнения, забыли меня, который был Вашим учеником двадцать один год тому назад. Помните ли Вы звонкую майскую венскую ночь, когда в самом чутком воздухе была жажда научного творчества, когда мир открывался перед нами, как молодость и загадка! Помните, мы шли вчетвером по Националштрассе — Вы, два венца и я, русский, рыжеватый любопытствующий молодой человек! Помните, Вы сказали, что жизнь, в физиологическом смысле, наиболее общий признак всей прощупываемой наукой вселенной. Я, по молодости, попросил разъяснений. Вы охотно ответили: атом, как известно, колония электронов, а электрон есть не только физическая категория, но также и биологическая — электрон суть микроб, то есть живое тело, и пусть целая пучина отделяет его от такого животного, как человек: принципиально это одно и то же! Я не забыл Ваших слов. Да и Вы не забыли: я читал Ваш труд, вышедший в этом году в Берлине, «Система Менделеева как биологические категории альфа-существ». В этом блестящем труде Вы впервые, осторожно, истинно научно, но уверенно дока-

зали, что электроны подарены жизнью, что они движутся, живут и размножаются, что их изучение отныне изъе­м­лет­ся из физи­ки и передается биологической дисциплине. Коллега и учитель! Я не спал три ночи после чтения Вашего труда! У Вас есть в книге фраза: «Де­ло тех­ни­ков те­перь раз­во­дить же­ле­зо, зо­ло­то и уголь, как ското­во­ды раз­во­дят сви­ней». Я не знаю, освоена ли кем эта мысль так, как она освоена мной! Позвольте же, коллега, попросить у Вас разрешения посвятить Вашему имени свой скромный труд, всецело основанный на Ваших блестящих теоретических изысканиях и гениальных экспериментах.

*Д-р Фаддей Попов,
Москва, СССР».*

Запечатав в конверт письмо и рукопись под несколько ненаучным названием «Сокрушитель адова дна», Фаддей Кириллович спешно утрамбовал чемодан книжками и отрывками рукописей, схематически бес­сознательно надел пальто и вышел на улицу.

В городе сиял электричеством ранний вечер. Круто замешанные людьми, веселые улицы дышали озабоченностью, трудным напряжением, сложной культурой и скрытым легкомыслием.

Фаддей Кириллович влез в таксомотор и объявил шоферу маршрут на далекий вокзал.

На вокзале Фаддей Кириллович купил билет до станции Ржавск. А утром он уже был на месте своего стремления.

От вокзала до города Ржавска было три версты. Фаддей Кириллович прошел пешком: он любил русскую мертвую созерцательную природу, любил месяц октябрь, когда все неопределенно и странно, как в со­чельник накануне всемирной геологической катастрофы.

Идя уже по улицам Ржавска, Фаддей Кириллович читал странные надписи на заборах и воротах, исполненные по графарету: «Тара», «брутто», «Ю. З.», «болен», «на дорогу собств.», «тормоз не действ.». Ока­зывается, городок строился железнодорожниками из материалов, принесенных с работы.

Наконец Фаддей Кириллович увидел надпись «Новый Афон». Сначала он подумал, что это кусок обшивки классного вагона, потом увидел вырезанный из бумаги и наклеенный на окне чайник, заурядную лич-

ность в армяке, босиком вышедшую на двор по ясной нужде, и догадался, что это гостиница.

— Свободные номера есть? — спросил босого человека Фаддей Кириллович.

— В наличности, гражданин, в полной чистоплотности, в уюте и тепле!

— Цена?

— Рублик, рубль двадцать и пятьдесят копеек!

— Давай за полтинник!

— Пожалуйте наверх!

Проходя, Фаддей Кириллович заметил на том столе, где дежурил этот человек, книжку «Парь пар в мае — будешь с урожаем».

«Народ движется, — подумал Попов, — Петрушка у Гоголя Часослов читал, и то из любопытства, а не вырок».

В полдень Фаддей Кириллович пошел в окружной исполком. Он попросил у председателя свидания, причём переговорить желательно вдвоём.

Председатель его тотчас же принял. Это был молодой слесарь — обыкновенное лицо, любознательные глаза, острая жажда организации всего уездного человечества, за что ему слегка попадало от облисполкома. У председателя были замечательные руки — маленькие, несмотря на его бывшую профессию, с длинными умными пальцами, постоянно шевелящимися в нетерпении, тревоге и нервном зуде. Лицом он был спокоен всегда, но руки его отвечали на все внешние впечатления.

Узнав, что с ним желает говорить доктор физических наук, он удивился, потом обрадовался и велел секретарю сейчас же открыть дверь, досрочно выпроводив заведомо, пришедшего с докладом о посеве какой-то клещевины.

Фаддей Кириллович показал председателю бумаги научных институтов и секций госплана, рекомендующих его как научного работника, и приступил к делу:

— Мое дело просто и не нуждается в доказательствах. Моя просьба обоснована и убедительна и не может быть отвергнута. Пять лет назад в вашем округе производились большие изыскания на магнитную железную руду. Вам это известно. Она обнаружена на средней глубине двести метров. Руду с такой глубины добывать пока экономически невыгодно. Она поэтому

оставлена в покое. Я приехал сюда произвести некоторые опыты. Мне не нужно ни сотрудников, ни денег. Я только ставлю вас в известность и прошу отвести мне двадцать десятин земли — можно и неудобной. Район я еще не выбрал — об этом после, когда я вернусь из поездки по округу. Далее — чтобы вы знали, что я приехал сюда не шутить, я скажу вам: работы мои имеют целью, так сказать, подкормить руду — для того, чтобы она разжирела и сама выперла на дневную поверхность земли, где мы ее можем схватить голыми руками. В исходе опытов я уверен, но пока прошу молчать. Через три дня я выберу район и вернусь к вам. Вы поняли меня и согласны мне помочь?

— Понял совершенно. Держите руку, работайте — мы вам помощники!

В тот же день Фаддей Кириллович на подводе выехал в поле — отыскать условную высотную отметку экспедиции академика Лазарева, в районе которой магнитный железяк высовывает язык и лежит на глубине ста семидесяти метров. На вторые сутки Попов нашел на бровке глухого дикого оврага чугунный столб с условной краткой надписью: «Э. М. А. 38, 24, 168, 46, 22».

Через неделю Фаддей Кириллович прибыл на это место с землемером, который должен отмежевать участок в двадцать десятин, и Михаилом Кирпичниковым.

Кирпичникова рекомендовал Фаддею Кирилловичу председатель окрисполкома как совершенно идеологически выдержанного человека, а Попов увидел, что без помощника ему не обойтись.

Через три дня Попов и Кирпичников привезли из деревни Тыновки, что в десяти верстах, разобранную хатку и собрали ее на новом месте.

— Сколько мы здесь проживем, Фаддей Кириллович? — спросил Кирпичников Попова.

— Не менее пяти лет, дорогой друг, а скорее — лет десять. Это тебя не касается. Вообще не спрашивай меня, можешь каждое воскресенье уходить и радоваться в своем клубе...

И пошли беспримерные дни. Кирпичников работал по двенадцати часов в сутки: покончив дела со сборкой дома, он начал рыть шахту на дне балки. Попов работал не меньше его и умело владел топором и лопатой,

даром что доктор физических наук. Так в глубине равнинной глухой страны, где жили пахари — потомки смелых бродяг земного шара, трудились два человека: один для ясной и точной цели, другой в поисках пропитания, постепенно стараясь узнать от ученого то, чего сам искал, — как случайную нечаянную жизнь человека превратить в вечное господство над чудом вселенной.

Попов молчал постоянно. Иногда он уходил на целый день в грязные ноябрьские поля. Раз Кирпичников слышал вдали его голос — живой, поющий и полный веселой энергии. Но возвратился Попов мрачный.

В начале декабря Попов послал Кирпичникова в областную город — купить по списку книг и всяких электрических принадлежностей, приборов и инструментов.

Через неделю Кирпичников возвратился, и Фаддей Кириллович начал делать какой-то небольшой сложный прибор.

Один только раз, поздно ночью, когда Кирпичников доливал керосин в лампу, Попов обратился к нему:

— Слушай, мне скучно, Кирпичников! Скажи-ка мне, кто ты такой, есть у тебя невеста, цель жизни, тоска, что-нибудь такое? Или ты только антропоид?

Кирпичников сдержался:

— Нет, Фаддей Кириллович! Ничего у меня нет, а хочу понять дело, которое делаете вы, но вы не говорите: это зря, я бы еще лучше работал. Я пойму, Фаддей Кириллович, честное слово!

— Оставь, оставь, ничего ты не поймешь! Ну, довольно, наговорились, ложись спать, а я посижу еще...

Фаддей Кириллович отправился в свою очередную прогулку — теперь уже по замерзающим недышшим полям. Кирпичников тесал на дворе сруб для укрепления шахты и вошел в хату за спичкой — закурить.

Подойдя к столу, он прочитал несколько слов из того, что писал Попов ночью, и, не зажегши спички, потерял все окружающее и забыл свое имя и существование.

«Коллега и учитель! К 8-й главе той рукописи, которую я Вам выслал для просмотра, необходимо сделать добавление:

«Из всего сказанного о природе эфира следует сделать неизбежные выводы. — Если электрон есть микроб, то есть биологический феномен, то эфир (то, что я

назвал выше «генеральным телом») есть кладбище электронов. Эфир есть механическая масса умерщвленных или умерших электронов. Эфир — это крошево трупов микробов — электронов. С другой стороны, эфир не только кладбище электронов, но также мать их жизни, так как мертвые электроны служат единственной пищей электронам живым. Электроны едят трупы своих предков.

Несовпадение длительности жизни электрона и человека делает необычайно трудным наблюдение за жизнью этих, пользуясь Вашей терминологией, альфа-существ. Именно время жизни электрона должно исчисляться цифрой пятьдесят — сто тысяч земных лет, то есть значительно продолжительней жизни человека. Между тем число физиологических процессов в теле электрона, как у более примитивного существа, значительно меньше, чем у человека — высокоорганизованного тела. Следовательно, каждый физиологический процесс в организме электрона протекает с такой ужасающей медленностью, что устраняет возможность непосредственного наблюдения этого процесса даже в самый чувствительный прибор. Это обстоятельство делает природу в глазах человека мертвой. Это страшное разнообразие времен жизни для различных категорий существ суть причина трагедии природы. Одно существо век чувствует как целую эру, другое — как миг. Это «множество времен» — самая толстая и несокрушимая стена меж живыми, которую с трудом начинает разрушать тяжелая артиллерия человеческой науки. Наука объективно играет роль морального фактора: трагедию жизни она превращает в лирику, потому что сближает в братстве принципиального единства жизни такие существа, как человек и электрон.

Но все же можно ускорить жизнь электрона, если смягчить те явления, которые обусловили длительность его жизни. Необходимо предварительное разъяснение. Эфир, как установлено наукой, необычайно инертная, нереагирующая, лишенная основных свойств материи сфера. Такая неощутимость и экспериментальная непознаваемость эфира объясняется тем, что «подобное познается подобным», а нет большего неподобия, чем человек и залежи трупов электронов, то есть эфир. Может быть, именно поэтому эфир «лишен» свойств материи, ибо между человеком и живым микробом — электроном — с одной стороны, и эфиром — с другой, есть прин-

липнальное различие. Первые — живые, второй — мертв. Я хочу сказать, что «непознаваемость» эфира скорее психологическая, чем физическая задача.

Эфир, на правах «кладбища», не обладает никакой внутренней активностью. Поэтому те существа (микробы-электроны), которые им питаются, обречены на вечный голод. Питание их обеспечивается подгонкой свежих эфирных масс за счет посторонних случайных сил. В этом причина замедленности жизни электронов. Интенсивная жизнь для них невозможна: слишком замедлен приток питательных веществ. Это и вызвало замедление физиологических процессов в телах электронов.

Очевидно, ускорение подачи питания должно увеличить темп жизни электронов и вызвать их усиленное размножение. Существующая замедленность физиологических актов легко превратится, при благоприятных условиях питания, в бешеный темп, ибо электрон — существо примитивно организованное и биологические реформы в нем чрезвычайно легки.

Следовательно, одно изменение условий питания должно вызвать такую интенсивность всех жизненных отправления электрона (в том числе и размножение), что жизнь этих существ станет легко наблюдаемой. Конечно, такая интенсивность жизни будет идти за счет сокращения продолжительности жизни электрона.

Вся загадка в том, чтобы уменьшить разницу во времени жизни человека и электрона. Тогда электрон начнет продуцировать с такой силой, что его сможет эксплуатировать человек.

Но как вызвать свободный и усиленный приток питательного эфира к электронам? Как технически создать эфирный тракт — дорогу эфиру?..

Решение просто — электромагнитное русло...»

На этом рукопись Попова обрывалась. Он ее еще не закончил. Кирпичников слова не все понял, но всю сокровенную идею Попова ухватил.

Фаддей Кириллович вернулся поздно. Тотчас же он лег спать, чего никогда не было. Кирпичников посидел еще немного, почитал книжку — «Об устройстве шахтных колодцев» — и ничего в ней не понял.

Есть мысли, которые сами собой ведут человека и командуют его головой, хочет он этого или нет — все едино. Спать еще не хотелось. Было душно и тревожно. Попов храпел и стонал во сне.

Кирпичников вынул из сундучка свой старый дневник — самодельно сшитую тетрадь, открыл и вчитался: «Март. 20. 9 часов вечера. Мать и дети спят на полу на старой одежде. Нечем даже укрыться. У матери оголилась худая нога — и мне жалко, стыдно и мучительно. Захарушке 11 месяцев, его отняли от груди и питают одной моченой булкой. Какая сволочь жизнь! А может, это я сволочь, что до сих пор не свернул скулу такой подлой жизни? Зачем я позволяю ей так мучать детей и мать... Надо жить для тех, кто делает будущее, кто томится сейчас тяжестью грузных мыслей, кто сам весь — будущее, темп и устремление. Таких мало, они затеряны, таких, может быть, нет. Но я для них живу и буду жить, а не для тех, кто гасит жизнь в себе чувственной страстью и душу держит на нуле».

Кирпичников вышел на двор, ухватил бревно и зашвырнул его в лог, как палку. Потом заскрипел зубами, застонал, вонзил топор в порог и улыбнулся. На дворе стояло одно дерево — лоза. Кирпичников подошел, обнял дерево — и их закачало обоих ночным ветром.

Когда ели утром жареный каргофель, Фаддей Кириллович вдруг бросил есть и встал, веселый, полный надежды и хищной радости.

— Эх, земля! Не будь мне домом — несись кораблем небес!

В смешном исступлении крикнул Попов эти неожиданные слова и сам оторопел.

— Кирпичников! — обратился Фаддей Кириллович, — скажи: ты вошь, ублюдок или — мореплаватель? Ответь, обыватель, на корабле мы или в хате? Ага, на корабле — тогда держи руль свинцовыми руками, а не плачь на завалинке! Замолчи, сверчок! Мне известен курс и местоположение... Жуй и — на вахту!..

Кирпичников молчал. Попов болел малярией, бормотал во сне несбыточное, днем лютая злость в нем мгновенно переходила в смех. Работа головы высасывала из него всю кровь, и его истощенное тело вышло из равновесия и легко колебалось настроениями. Кирпичников это знал и смутно беспокоился за него.

Одиночество, затерянность в несчетных полях и устремленность к одной цели еще более расшатали душевный порядок Попова, и с ним было тяжело работать. У Фаддея Кирилловича явилась еще страшная и неудо-

мимая тоска по матери, хотя она умерла пятнадцать лет назад. Он ходил по комнате, вспоминал ее обувь в гробу, запах подола и молока, нежность глаз и всю милую детскую родину ее тела... Кирпичников догадывался, что это особая болезнь Попова, но поделать ничего не мог и молчал.

Так прошел месяц или два. Фаддей Кириллович работал все меньше и меньше, наконец, 25 января он совсем не поднялся утром и только сказал:

— Кирпичников! Вычисти хату и убирайся вон — я задумался!

Устроив домашние дела, Кирпичников вышел.

Степь пылила снегом — шла вьюга.

Кирпичников спустился в овраг и закрыл люк на шахтой, где Попов уже начал делать установку приборов. Вьюга свирепела — и на дворе от нее шевелился инвентарь. Деваться было некуда, и Кирпичников залез на тесный захламленный чердак. Снег свистел и метался по крыше, и вдруг Кирпичникову послышалась тихая странная грустная музыка, которую он слышал где-то очень давно. Отвлеченное плачущее чувство томилось и разрасталось от музыки до гибели человека. И будто эта растущая тоска и воспоминания были единственным утешением человека. Кирпичников прилег и занемог от этого нового робкого чувства, которого в нем никогда не было. Он забыл про стужу и, дрожа, нечаянно заснул. Музыка продолжалась и переходила в сновидение. Кирпичников почувствовал вдруг холодную тяжелую медленную волну, и в нем начало закатываться сознание, борясь и пробуждаясь, уставая от ужаса и собственной тесноты.

Проснулся Кирпичников сразу, будто кто ему крикнул на ухо или земля на что наткнулась и вдруг застопорила. Кирпичников вскочил, стукнулся о крышу и спустился во двор. Буран тряс землю, и, когда он разрывал атмосферу и показывал горизонт, были видны голые почерневшие поля. Снег сдувало в овраги и в глухие долины. Тут Кирпичников заметил, что дверь в хату открыта и туда мело снегом. Когда он вошел в комнату, то заметил бугор снега, и прямо на нем, а не на кровати, лежал мертвый Фаддей Кириллович Попов — бородой кверху, в знакомой жилетке, прильнувшей к старому телу, с печальным пространством на белом лбу. Снег его заметал все глубже, и ноги уже укрыло совсем.

Кирпичников, в полном спокойствии, схватил его под мышки и потащил на кровать. У Фаддея Кирилловича отвалилась нижняя губа, и он сам повернулся на бок на кровати и поник головой, ища места ближе к центру земли. Кирпичников затворил дверь и разгреб снег на полу. Он нашел пузырек с недопитым розовым ядом. Кирпичников вылил остаток яда на снег — и снег зашишел, исчез газом, и яд начал проедать пол.

На стуле, утвержденная чернильницей, лежала неоконченная рукопись: «Решение просто — электромагнитное русло...»

— Вы коммунист, товарищ Кирпичников? — спросил председатель окружного исполкома.

— Кандидат.

— Все равно. Расскажите, как это случилось? Вы понимаете, что это очень скверная история — не потому, что придется отвечать, а потому, что погиб очень ценный и редкий человек. Записки никакой не нашли?

— Нет.

— Ну рассказывайте.

Кирпичников рассказал. В кабинете сидели, кроме председателя, еще секретарь комитета партии и уполномоченный ГПУ.

Кирпичникова слушали внимательно. Он рассказал все, даже содержание неоконченной рукописи, выюгу, распахнутую дверь и странный косой наклон головы Попова, какого не бывает у живого. И еще, что Попов не очень отличался от живого, как будто смерть обыкновенна для него, как и жизнь.

Кирпичников кончил.

— Замечательная история! — сказал секретарь парткома. — Попов несомненный упадочник. Совершенно разложившийся субъект. В нем действовал, конечно, гений, но эпоха, родившая Попова, обрекла его на раннюю гибель, и гений его не нашел себе практического приложения. Растрепанные нервы, декадентская душа, метафизическая философия — все это жило в противоречии с научным гением Попова, и вот —какой конец.

— Да, — сказал председатель исполкома. — Прямо агитация фактами. Наука могущественна, а носители ее — выродки и ублюдки. Действительно, срочно необходимы свежие люди с твердой внутренней установкой...

— А ты только сейчас в этом убедился? — спросил уполномоченный ГПУ. — Чудород ты, брат! Наше дело, по-моему, теперь оформить следствие и затем, если не будет ничего противоречить словам Кирпичникова, назначить его хранителем научной базы Попова. Ну, надо немножко Кирпичникову платить за это. Ты, — обратился он к председателю, — из местного бюджета это устроишь! Затем надо сообщить в тот научный институт, который командировал сюда Попова, чтобы выслали другого ученого для продолжения дела... А сохранить все надо в целости! Я пошлю сотрудника составить опись. Ведь там есть ценные приборы, рукописи Попова, кой-какой инвентарь и имущество...

— Верно, — сказал председатель. — Давайте на этом кончим. Я проведу все дело через президиум, и тогда зафиксируем наше постановление.

Через неделю закончили следствие, труп Попова отправили в Москву, а Кирпичникова назначили сторожем в научную усадьбу Попова, с окладом жалования пятнадцать рублей в месяц.

Кирпичникову вручили копию описи, и он остался один.

Начиналась ранняя заунывная весна — время инерции зимы и мужественного напора солнца.

Заместитель Попова никак не ехал. Кирпичников усердно читал и перечитывал книги и рукописи Попова, рассматривал приборы, построенные здесь же самим Поповым, — и перед ним открывался могучий мир знания, власти и жажды неутомимой жестокой жизни. Кирпичников начал ощущать вкус жизни и увидел ее дику пучину, где скрыто удовлетворение всех желаний и находятся конечные пункты всех целей.

«Эх, хорошо! — думал Кирпичников. — Зря умер Попов: сам это писал и сам же не понимал. А стоит только понять — и всякому захочется жить...»

Наступило лето. Шло одно и то же. Новый ученый на место Попова не приезжал. Кирпичников начал переписывать рукописи Фаддея Кирилловича начисто, не зная сам для чего, — но так лучше ему понималось.

Наконец в июле приехали двое московских ученых и забрали все наследство Попова — и рукописи, и аппараты.

Кирпичников вернулся работать в черепичную мастерскую, и все кругом для него затихло. Но открывше-

еся ему чудо человеческой головы сбило его с гакта жизни. Он увидел, что существует вещь, посредством которой можно преобразовать и звездный путь, и собственное беспокойное сердце — и дать всем хлеб в рот, счастье в грудь и мудрость в мозг. И вся жизнь предстала ему как каменное сопротивление его лучшему желанию, но он знал, что это сопротивление может стать полем его победы, если воспитать в себе жажду знания, как кровную страсть.

Кирпичников пошел к председателю исполкома и заявил, что хочет учиться — пусть его отправят на рабфак.

— По следам Попова, сударь, желаете идти? Что же, путь приличный, валяйте! — и дал ему записку, куда следовало ее дать.

Через неделю Кирпичников шел в областной город — полтора верст — на рабфак.

Стоял август. Поля шумели земледельцами, пылили стада по большаку, изумительное молодое солнце улыбалось разродившейся измученной земле.

Рыба играла на речных плесах, деревья чуть-чуть трогались желтой сединой, земля лежала голубым пространством в ту страну и в тот век, куда шел Кирпичников, где его ждало время, роскошное, как песнь.

Прошло восемь лет — срок, достаточный для полного преображения мира, срок, в который человек перерождается начисто, вплоть до спинного мозга.

Михаил Еремеевич Кирпичников — инженер-электрик, научный сотрудник при кафедре биологии электронов, учрежденной после смерти Попова на основе его трудов.

Кирпичников женат и имеет детей — двух мальчиков. Его жена — бывшая сельская учительница, такая же сторонница немедленного физического преобразования мира, как и ее муж. Счастливая убежденность в победе любимой науки на всемирном плацдарме и помогла им пережить убийственные годы ученья, нужды, издевательства обывателей и дала смелость родить двух детей. Они верили, что наступает время, когда хлеба будет столько же, сколько воздуха. Кирпичников мозгом ощущал приближение этой раскованной эпохи, когда у человека освободятся руки от труда и душа от угнетения и он сможет перелепить мир.

Голодная и счастливая пребывала эта семья. Шел век

социализма и индустриализации, шло страшное напряжение всех материальных сил общества, а благоденствие откладывалось на завтра.

Освоившись с научной работой, Кирпичников не занял кафедры, а пошел, для тренировки, на практическую работу. Кроме высшего образования, Кирпичников имел стаж живой общественной работы и был твердым и искренним коммунистом. Как умный и честный человек, как выходец из черепичной мастерской, он знал, что вне социализма невозможна научная работа и техническая революция. В его время это подразумевалось само собой, как подразумевается, но не создается биение сердца в живом человеке.

Десять лет прошло со дня смерти Попова. Это сказать легко, но еще легче десять раз погибнуть в эти десять лет. Попробуйте описать эти десять лет во всем их крохоборстве борьбы, строительства, отчаяния и редкого покоя. Невозможно — состаришься, умрешь, а не исчерпаешь темы. Попробуйте в этом диком лесе человечества остаться свежим, мудрым и прямым! Невозможно. Поэтому и Кирпичников, которому был всего тридцать один год, густо поседел на висках и исполосовался морщинами.

В ответ на просьбу практической строительной работы Кирпичникова отправили в Нижнеколымскую тундру — производителем работ по постройке вертикального туннеля. Целью сооружения была добыча внутренней тепловой энергии земли.

Семью Кирпичников оставил в Москве, а сам отправился. Термический вертикальный туннель был опытной работой советского правительства Якутии. В случае успеха работ предполагалось весь край Азиатского материка за Полярным кругом покрыть целой сетью таких туннелей, затем блокировать их энергию посредством единой электропередачи и на конце электрического провода продвигать культуру, промышленность и население к Ледовитому океану.

Но главная причина туннельных работ была в том, что в равнинах тундры были изысканы остатки неведомых великолепных стран и культур. Почва и подпочва тундры были не материнского, древнегеологического происхождения, а представляли собой наносы. Причем эти наносы покрыли погребальным покровом целую серию древнейших человеческих культур. А благодаря то-

му, что этот смертный покров над трупами таинственных цивилизаций представлял пленку вечной мерзлоты, погребенные люди и сооружения хранились, как консервы в банке, — целыми, свежими и невредимыми.

Уже то немногое, что случайно найдено учеными в провалах рельефа тундры, представляло неслыханный интерес и вечную ценность. Найдены были трупы четырех мужчин и двух женщин. У женщин сохранились розовые щеки и тонкий аромат легкой гигиеничной одежды. У одного мужчины в кармане найдена книга — маленькая, испещренная изящным шрифтом; ее предполагаемое содержание: изложение принципов личного бессмертия в свете точных наук; в книге описывались опыты по устранению смерти какого-то небольшого животного, срок жизни которого — четверо суток; сфера жизни этого животного (пища, атмосфера, тело и проч.) подвергалась беспрестанному воздействию целого комплекса электромагнитных волн; причем каждый вид волны был рассчитан на убийство отдельного рода губительных микробов в теле животного; так, держа жизнь подопытного животного в поле электромагнитной стерилизации, удалось добиться увеличения срока его жизни в сто раз.

Затем была найдена пирамидальная колонна из дикого камня. Совершенная форма ее напоминала работу токарного станка, но колонна была сорок метров высоты и десять метров в основании.

Трупы людей имели смуглые лица, розовые губы, низкий, но широкий лоб, небольшой рост, широкую грудную клетку и спокойную, мирную, почти улыбающуюся гримасу. Очевидно, или смерть застала их внезапно, или, что вероятнее, смерть была у них совсем другим чувством и другим событием, чем у нас.

Эти открытия разожгли научные страсти всего мира, и общественное мнение форсировало работы по культивированию тундры с целью полной реставрации древнего мира, залегающего под почвой мерзлого пространства и, быть может, уходящего на дно Ледовитого океана.

Страсть к знанию стала новым органическим чувством человека, таким же нетерпеливым, острым и богатым, как зрение или любовь. Этим чувством иногда подменялись даже непреложные экономические законы и стремление к материальному благополучию общества.

Такова была истинная причина сооружения первого вертикального термического туннеля в тундре.

Система таких туннелей должна стать фундаментом культуры и экономики тундры, а затем ключом в подземные ворота — в мир неизвестной гармонической страны, нахождение которой ценнее изобретения паровой машины и открытия радиового Монблана.

Ученые думали, что тот отрезок науки, культуры и промышленности, который нам предстоит пройти в течение ближайших ста — двухсот лет, содержится готовым в недрах тундры. Достаточно снять мерзлую почву — и история сделает скачок на век или на два века вперед, а затем снова пойдет своим темпом. Зато какая экономия труда и времени произойдет от такой полочки задаром двух будущих веков! С этим не сравнится никакое историческое благодеяние человечества в прошлом!

Ради этого стоило сделать дырку в земле глубиной в два километра.

Кирпичников поехал, сжимая от радости кулаки, чувствуя цель, которую он должен выполнить, как всемирную победу и обручение древнейшей эры с сегодняшним днем.

Не просто была построена знаменитая скважина в гундре — человек мучается, мучит, ошибается и влечет ошибки других, гибнет и возрождается, — потому что он все-таки движется и лезет на стену истории и природы.

Но все же туннель был построен. Вот документ инженера Кирпичникова.

«Центральному Совету Труда.

Управлению работ по сооружению
Вертикального Термического
Туннеля в Нижнеколымской
тундре на 67 параллели

ОБЩИЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДОКЛАД ЗА 1934 ГОД

Термический Вертикальный Туннель (№ 1) окончен 2 декабря этого года. Туннель, как было задано, предназначается для утилизации теплоты нашей планеты, находящейся в ее недрах; эта теплота, превращенная в электрический ток, должна обслуживать район под именем Тао-Лунь, площадью 1100 кв. километров, предназначенный для заселения с целью работ по сплошному снятию почвенного и подпочвенного покрова с тундровского массива.

Туннель имеет форму усеченного конуса, обращенного усечением внутрь тела земли. Ось его наклонена к плоскости экваториального сечения в 62° . Длина оси туннеля 2080 метров. Диаметр широкого основания на дневной поверхности земли равен 42 метрам, усеченной вершины внутри земли — 5 метрам.

Достигнутая температура на дне туннеля — 184°C (в том месте, где установлены термоэлектрические батареи).

Согласно проекта, утвержденного Советом Труда, работы начались 1 января 1934 года, окончены 2 декабря того же года.

Формовка туннеля достигнута не взрывным методом, как указано было в проекте, а электромагнитными волнами, отрегулированными соответственно микрофизической электронной структуре недр. Электромагнитные волны вибратора были настроены на такую длину и частоту, которые точно совпадали с естественными колебаниями электронов в атомах периферии земли; поэтому, от действия внешней дополнительной силы, увеличивался их размах и получался разрыв атомных орбит, вследствие чего наступала реконструкция ядра атома — его превращение в другие элементы — разрушение.

Мы поставили на поверхности мощные, и в больших пределах регулируемые, резонаторы; нашли экспериментально среднюю волну каждой встречной породы недр, подлежащей разрушению (точнее, распылению, размягчению), — итак, разжевали ствол туннеля во всех поперечных сечениях.

Затем металлическими пятитонными ковшами, скреперного типа, на стальных тросах, мы выели получившуюся туннельную кашу. Впрочем, ее осталось немного после электромагнитной операции: большинство составных частей почвы и недр превратилось в газы и улетучилось. Одинаково были мягкой пылью и газом — глина, вода, гранит, железная руда.

Всего извлечено твердыми остатками 400 тыс. кв. метров, 640 тыс. кв. метров ушло газами.

Образованное коническое жерло (не совсем точное) открыло 7 горизонтов грунтовых вод. 5-й был с морской водой, а 6-й и 7-й с материнскими геологическими сжатыми водами, сильно газированными, с резкими целительными качествами.

Для откачки этой воды было образовано (взрывным

способом, требовался точный профиль) 7 круглых террас внутри туннеля и установлены насосы-камероны с электрическими приводами. В общей сложности они подавали 120 тыс. куб. метров воды в час. Очистка туннеля от воды — главного препятствия работам — получалась довольно полная, вследствие равновесия между фильтрацией и откачкой воды.

После этого было приступлено (в августе месяце) к проектной формовке туннеля. Благодаря высокой температуре, люди опускались только до 1000-ного метра; глубже работа производилась на тросах: посредством их устанавливались насосы, рылись кюветы и водосборные бассейны в террасах и управлялись землечерпательные ковши на формовке склонов. Дно и ствол туннеля покрыты терронизолитом сплошь, начальной толщиной слоя (у поверхности земли) в 2 сантиметра и конечной в 1,25 метра.

После сооружения туннеля собранные наверху термоэлектрические батареи вместе с проводами были опущены на тросах на дно туннеля и установлены — батарея над батареей — в двенадцать этажей.

Батареи после месячной контрольной работы показали способность непрерывной отдачи по 172 800 тыс. киловатт-часов в год, иначе говоря, мощность батарей равна 28 000 лошадиных сил.

Концы проводов закреплены на выводящих кронштейнах у поверхности земли, и ток в них ждет своего потребителя.

Энергия пока пущена в почву тундры — тундра тает; тает в первый раз после того, как был ею накрыт и сохранен для нас тот странный и чудесный мир, ради которого, по распоряжению Центрального Совета Труда, была добыта внутренняя теплота земного шара.

Глав. инж. Верт. Термтуннеля —
Вл. Крохов.

Производитель работ —
инженер *М. Кирпичников.*

№ 2/А. 4 ноября 1934».

Вернулся к семье Кирпичников только в апреле месяце, пробыв в отсутствии восемнадцать месяцев.

Он чувствовал себя переутомленным и собирался по-

ехать с женой и мальчишками куда-нибудь в деревню.

Есть люди, бессознательно живущие в такт с природой; если природа делает усилие, то такие люди стараются помочь ей внутренним напряжением и сочувствием.

Может быть, это остаток того чувства единства, когда природа и человек были сплошным телом и жили заодно.

Так бывало у Кирпичникова. Если разгоралось время весны, таял снег и ручьям подпевали южные птицы с неба, Кирпичников был доволен. Когда же неожиданно возвращался снег, заморозки и мрачное молчаливое зимнее небо, Кирпичников печалился и напрягался.

Двадцать восьмого апреля Кирпичниковы поехали в Волошино — дальнюю деревню Воронежской губернии, где когда-то учительствовала Мария Кирпичникова, жена Михаила.

У Марии там были девичьи воспоминания, одинокие годы, милые дни прозревающей души, впервые боровшиеся за идею своей жизни. В оправе скудных волошинских полей лежала душевная родина Марии Кирпичниковой.

Михаила Кирпичникова влекла в Волошино любовь к жене и ее тихому прошлому, а еще то, что около Волошина, в соседнем селе Кочубарове, жил Исаак Матиссен, инженер-агроном, знакомый Кирпичникова. Когда-то, в годы ученья в институте, Кирпичников встречался с ним, и они говорили на близкие им технические темы. Матиссен ушел со второго курса электротехнического института и поступил в сельскохозяйственную академию. В Матиссене Кирпичникова интересовала его теория техники без машин, — техники, где универсальным инструментом был сам человек. Матиссен, человек чести, единой идеи и несокрушимого характера, поставил целью своей жизни осуществление своей мысли.

Теперь он был заведующим Кочубаровской опытно-мелиоративной станцией. Кирпичников не видел его шесть лет — чего он добился, неизвестно, но что он старался добиться всего, в этом Кирпичников был уверен.

Уезжая в Волошино, Кирпичников заранее радовался встрече с Матиссеном.

От того Михаила Кирпичникова, который жил когда-

то в Гробовске¹, работал в черепичной мастерской, искал истину и мечтал, осталось немного. Мечты превратились в теории — теории превратились в волю и постепенно осуществлялись. Истина стала не сердечным покоем, а практическим завоеванием мира.

Но одно тревожило Кирпичникова и толкало его на беспокойные изыскания всюду — среди книг, среди людей и чужих научных работ. Это — жажда закончить груд погибшего Попова об искусственном размножении электронов-микробов и технически исполнить эфирный тракт Попова, чтобы по нем прилить эфирную пищу к пасти микроба и вызвать в нем бешеный темп жизни.

— «...Решение просто — электромагнитное русло...» — бормотал время от времени Кирпичников последние слова неоконченной работы Попова и тщетно искал того явления или чужой мысли, которые бы навели его на разгадку «эфирного тракта». Кирпичников знал, что может дать людям этот эфирный тракт: можно вырастить любое тело природы до любых размеров за счет эфира. Например, взять кусочек железа в один кб. сантиметр, подвести к нему эфирный тракт, и этот кусочек железа на глазах начнет расти и вырастет в гору Арарат, потому что в железе начнут размножаться электроны.

Несмотря на усердие и привязанность к одной проклятой мысли, решение эфирного тракта не давалось Кирпичникову уже много лет. Работая в тундре на термическом туннеле, Кирпичников думал всю долгую, беспокойную, тревожащую полярную ночь все об одном и том же. Его путала еще одна загадка, не решенная в трудах Попова: что такое положительно заряженное ядро атома, в котором присутствует материя?

Если чистые отрицательные электроны и есть микробы и живые тела, то что такое материальное ядрышко атома, к тому же положительно заряженное?

Этого никто не знал. На это были смутные указания и сотни гипотез в научных работах, но ни одно из них не удовлетворяло Кирпичникова. Он искал практического решения, объективной истины, а не субъективного удовлетворения первой попавшейся догадкой, — может быть, и блестящей, но не отвечающей строению природы.

¹ Выше упоминается автором как Ржавск.

В Волошино Кирпичников поехал на своем автомобиле, который в его время стал орудием каждого человека. Хотя от Москвы до Волошина лежала линия в девятьсот километров, Кирпичников решил ехать на автомобиле, а не в купе вагона. Его с женой влек к себе мало известный путь, ночевки в поселках, скромная природа равнинной северной страны, мягкий ветер в лицо — вся прелесть живого мира и постепенное утопание в безвестности и задумчивом одиночестве.

Они поехали. Машина «алгонда-09» работала бесшумно: бензиновый мотор погиб пять лет назад, сокрушенный кристаллическим аккумулятором ленинградского академика Иоффе. Автомобиль шел на электрической аккумуляторной тяге и только тихо шипел покрышками по асбесто-цементному шоссе. Запас энергии «алгонда» имела на десять тысяч километров пути, при весе аккумуляторов в десять килограммов.

И вот развернулась перед путешественниками чудесная натура вселенной, глубину которой десятки веков старались постигнуть мудрецы всех стран и культур, идя дорогой мысленного созерцания. Будда, составители вед, десятки египтян и арабов, Сократ, Платон, Аристотель, Спиноза, Кант, наконец, Бергсон и Шпенглер — все силились догадаться про существо вселенной. А вся суть в том, что догадаться об истине нельзя, до нее можно доработаться: вот когда весь мир протечет сквозь пальцы работающего человека, преобразаясь в полезное тело, тогда можно будет говорить о полном завоевании истины. В этом была философия революции, случившаяся восемнадцать лет назад и не совсем оконченная и сейчас.

Понять — это значит прочувствовать, прощупать и преобразить, — в эту философию революции Кирпичников верил всей кровью, она ему питала душу и делала волю боепособным инструментом.

Кирпичников вел «алгонду», улыбался и наблюдал. Мир был уже не таким, каким его видел Кирпичников в детстве — в глухом Гробовске. Поля гудели машинами; за первые двести километров пути он встретил шесть раз линию электропередачи высокого напряжения от мощных централей. Деревня резко изменила свое лицо — вместо соломы, плетней, навоза, кривых и тонких бревен в строительство вошли черепица, железо, кирпич, толь, террезит, цемент, наконец, дерево, но про-

питанное особым составом, делающим его нестораемым. Народ заметно потолстел и подобрел характером. История стала практическим применением диалектического материализма. Искусственное орошение получило распространение до московской параллели. Дождевательные машины встречались так же часто, как пахотные орудия. На север от Москвы дождеватели исчезали, и появлялись дренажные осушительные механизмы. И дождеватели и осушители напоминали по внешнему виду тракторы.

Жена Кирпичникова показывала детям эту живую экономическую географию социалистической страны, и сам Кирпичников с удовольствием ее слушал. Трудная личная жизнь как-то погасила в нем эту простую радость видеть, удивляться и чувствовать наслаждение от удовлетворения любознательности.

Только на пятый день они приехали в Волошино.

В доме, где остановились Кирпичниковы, был вишневый сад, который уже набух почками, но еще не оделся в свой белый неописуемый трогательный наряд.

Стояло тепло. Дни сияли так мирно и счастливо, как будто они были утром тысячелетнего блаженства человечества.

Через день Кирпичников поехал к Матиссену.

Исаак совсем не удивился его приезду.

— Я каждый день наблюдаю гораздо более новые и оригинальные явления, — пояснил Матиссен Кирпичникову, поняв его недоумение равнодушным приемом.

Через час Матиссен немного отмяк:

— Женатый, черт! Привык к сентиментальности. А я, брат, почитаю работу более прочным наследством, чем дети!.. — И Матиссен засмеялся, но так ужасно, что у него пошли морщины по лысому черепу. Видно, что смех его столь же част, как затмение солнца.

— Ну, рассказывай и показывай, чем живешь, что делаешь, кого любишь! — улыбнулся Кирпичников.

— Ага, любопытствуешь! Одобряю и приветствую!.. Но слушай, — я тебе покажу только главную свою работу, потому что считаю ее законченной. Про другие говорить не буду — и не спрашивай!..

— Послушай, Исаак! — сказал Кирпичников, — меня бы интересовала твоя работа над темой техники без машины, помнишь? Или ты уже забыл эту проблему и разочаровался в ней?

Матиссен пожмурился, хотел сострить и удивить приятеля, но, позабыв все эти вещи, тщетно вздохнул, сморщил лицо, привыкшее к неподвижности, и просто ответил:

— Как раз это я тебе и покажу, коллега Кирпичников!

Они прошли плантации, сошли в узкую долину небольшой речки и остановились. Матиссен выпрямился, приподнял лицо к горизонту, как будто обозревая миллионную аудиторию на склоне холма, и заявил Кирпичникову:

— Я скажу тебе кратко, но ты поймешь: ты электрик, и это касается твоей области! Только не перебивай: мы оба спешим — ты к жене (Матиссен повторил свой смех — лысина заволновалась морщинами и челюсти разошлись, в остальном лицо не двигалось), а я — к почве.

Кирпичников промолчал и предложил свой вопрос:

— Матиссен, а где же приборы? Ведь мне хотелось бы не лекцию прослушать, а увидеть твои эксперименты!

— И то и другое, Кирпичников, и то и другое! А все приборы налицо! Если ты их не видишь, значит, ты ничего и не услышишь и не поймешь!

— Я слушаю, Матиссен! — кратко поторопил его Кирпичников.

— Ага, ты слушаешь! Тогда я говорю. — Матиссен поднял камешек, изо всех сил запустил его на другую сторону речки и начал: — Видно даже очам, что всякое тело излучает из себя электромагнитную энергию, если это тело подвергается какой-нибудь судороге или изменению. Верно ведь? И как дому изменению — точно, неповторимо, индивидуально — соответствует излучение целого комплекса электромагнитных волн такой-то длины и таких-то периодов. Словом, излучение, радиация, если хочешь, зависит от степени изменения, перестройки подопытного тела. Дальше. Мысль, будучи процессом, перестраивающим мозг, заставляет мозг излучать в пространство электромагнитные волны.

Но мысль зависит от того, что человек конкретно подумал, — от этого же зависит, как и насколько изменится строение мозга. А от изменения строения или состояния мозга уже зависят волны: какие они будут. Мыслящий, разрушающийся мозг творит электромагнитные

волны, и творит их в каждом случае по-разному: смотря какая мысль перестраивала мозг. Тебе все ясно, Кирпичников?

— Да, — подтвердил Кирпичников, — дальше!

Матиссен сел на кочку, потер усталые глаза и продолжал:

— Опытным путем я нашел, что каждому роду волны соответствует одна строго определенная мысль. Я, понятно, несколько обобщаю и схематизирую, чтобы ты лучше понял. На самом деле все гораздо сложнее. Так вот. Я построил универсальный приемник-резонатор, который улавливает и фиксирует волны всякой длины и всякого периода. Но скажу тебе, что даже одной, самой незначительной и короткой мыслью вызывается целая сложнейшая система волн.

Но все же мысли, скажем, «окаянная сила» (помнишь этот дореволюционный термин!) соответствует уже известная, экспериментально установленная система волн. От другого человека она будет лишь с маленькой разницей.

И вот, свой приемник-резонатор я соединил с системой реле¹ и исполнительных аппаратов и механизмов, сложных по технике, но простых и единых по замыслу. Но эту систему надо еще более усложнить и продумать. А затем распространить по всей земле для всеобщего употребления. Пока же я действую на незначительном участке и для определенного цикла мыслей.

Теперь гляди! Видишь, на том берегу у меня посажена капустная рассада. Видишь, она уже засохла от бездождия. Теперь следи: я четко думаю и даже выговариваю, хотя последнее не обязательно: о-р-о-с-и-т-ь! Гляди на другой берег, голова!..

Кирпичников всмотрелся на противоположный берег речонки и только сейчас заметил полузакрытую кустом небольшую установку насосного орошения и какой-то компактный прибор. Вероятно, приемник-резонатор, догадался Кирпичников.

После слова Матиссена — оросить — насосная установка заработала, насос стал сосать из речки воду, и по всему капустному участку из форсунок-дождевателей забили маленькие фонтанчики, разбрызгивающие мель-

¹ Приборы, замыкающие сильный ток, но приводимые в действие слабым током.

чайшие капельки. В фонтанчиках заиграла радуга солнца, и весь участок зашумел и ожил: жужжал насос, шипела влага, насыщалась почва и свежели молодые растеньица.

Матиссен и Кирпичников молча стояли в двадцати метрах от этого странного самостоятельного мира и наблюдали.

Матиссен ехидно посмотрел на Кирпичникова и сказал:

— Видишь, чем стала мысль человека? Ударом разумной воли! Не правда ли?

И Матиссен уныло улыбнулся своим омертвевшим лицом.

Кирпичников почувствовал горячую жгущую струю в сердце и в мозгу — такую же, какая ударила его в тот момент, когда он встретил свою будущую жену. И еще Кирпичников сознал в себе какой-то гайный стыд и тихую робость — чувства, которые присущи каждому убийце, даже тогда, когда убийство совершено в интересах целого мира. На глазах Кирпичникова Матиссен явно насиловал природу. И преступление было в том, что ни сам Матиссен, ни все человечество еще не представляли из себя драгоценностей дороже природы. Напротив, природа все еще была глубже, больше, мудрее и разноцветней всех людей.

Матиссен разъяснил:

— Вся штука чрезвычайно проста! Человек, то есть я, в данном случае находится в сфере исполнительных механизмов, и его мысль (например, «оросить») есть в плане возможности исполнительных машин: они так построены. Мысль — оросить — воспринимается резонатором. Этой мысли соответствует строгая неповторимая система волн. Именно только волнами такой-то длины и таких-то периодов, какие эквивалентны мысли «оросить», замыкаются те реле, которые управляют в исполнительных механизмах орошением. То есть там прямо замыкается ток и начинает действовать агрегат электромоторнасос. Поэтому через миг после мысли человека — оросить — под корнями капусты уже блестит вода.

Такая высшая техника имеет целью освободить человека от мускульной работы. Достаточно будет подумать, что надо, чтобы звезда переменяла путь... Но я хочу добиться, чтобы обойтись без исполнительных механизмов и без всяких посредников, а действовать на

природу прямо и непосредственно — голой пертурбацией мозга. Я уверен в успехе техники без машин. Я знаю, что достаточно одного контакта между человеком и природой — мысли, — чтобы управлять всем веществом мира! Понял?.. Я поясню. Видишь, в каждом теле есть такое место, такое сердечко, что если дать по нему щелчком — все тело твоё: делай с ним что хочешь! А если язвить тело как нужно и где нужно, то оно будет само делать то, что его заставишь! Вот я считаю, что той электромагнитной силы, которая испускается мозгом человека при всяком помышлении, вполне достаточно, чтобы так уязвлять природу, что эта Маша станет нашей!..

Кирпичников на прощанье сжал руку Матиссену, а потом обнял его и сказал с горячим чувством и полной искренностью:

— Спасибо, Исаак! Спасибо, друг! Знаешь, только одна еще есть проблема, которая равна твоей! Но она еще не решена, а твоя почти готова... Прощай! Еще раз спасибо тебе! Надо всем работать, как ты — с резким разумом и охлажденным сердцем! До свиданья!

— Прощай! — ответил Матиссен и полез вброд, не разуваясь, на ту сторону своей маловодной речонки.

Пока Кирпичников отдыхал в Волошине, мир сотрясала сенсация. В Большеезерской тундре экспедицией профессора Гомонова откопаны два трупа: мужчина и женщина лежали обнявшись на сохранившемся ковре. Ковер был голубого цвета, без рисунка, покрытый тонким мехом неизвестного животного. Люди лежали одетыми в плотные сплошные ткани темного цвета, покрытые изображениями изящных высоких растений, кончавшихся вверху цветком в два лепестка. Мужчина был стар, женщина молода. Вероятно, отец и дочь. Лица и тела были того же строения, что и люди, обнаруженные в Нижнеколымской тундре. То же выражение спокойных лиц: полуулыбка, полусожаление, полуразмышление, — будто воин завоевал мраморный неприступный город, но среди статуй, зданий и неизвестных сооружений упал и умер, усталый и удивленный.

Мужчина крепко сжимал женщину, как бы защищая ее покой и целомудрие для смерти. Под ковром, на котором лежали эти мертвые обитатели древней тундры, были найдены две книги, — одна была напечатана тем

же шрифтом, что и книжка, найденная в Нижнеколымской тундре, другая имела иные знаки. Эти знаки были не буквами, а некоторой символикаой, однако с очень точным соответствием каждому символу отдельного понятия. Символов было чрезвычайное множество, поэтому ушло целых пять месяцев на их расшифровку. После этого книга была переведена и издана под наблюдением Академии филологических наук. Часть текста найденной книги осталась неразгаданной. какой-то химический состав, вероятно находившийся в ковре, безвозвратно погубил драгоценные страницы — они стали черными, и никакая реакция не выявляла на них символических значков.

Содержание найденного произведения было отвлеченно-философское, отчасти историко-социологическое. Все же сочинение представляло такой глубокий интерес как по теме, так и по блестящему стилю, что книжка в течение двух месяцев вышла в одиннадцати изданиях подряд.

Кирпичников выписал книгу. Везде и всюду он искал одного — помощи для разгадки эфирного тракта.

Когда он посетил Матиссена, на обратном пути что-то зацепилось в его голове, он обрадовался, но потом снова все распалось — и Кирпичников увидел, что работы Матиссена имеют лишь отдаленное родство с его мучительной проблемой.

Получив книгу, Кирпичников углубился в нее, томимый одной мыслью, ища между строк неясного намека на решение своей мечты. Несмотря на дикость, на безумие искать поддержки в открытии эфирного тракта у большеозерской культуры, Кирпичников с затаенным дыханием прочел сочинение мертвого философа.

Сочинение не имело имени автора, называлось оно «Песни Аюны». Прочитав его, Кирпичников ничему не удивился — ничего замечательного в сочинении не содержалось.

— Как скучно! — сказал Кирпичников. — И в тундре ничего путного не думали! Все любовь, да гворчество, да душа, а где же хлеб и железо?..

Кирпичников сильно затосковал, потому что он был человеком, а человек обязательно иногда тоскует. Ему случилось уже тридцать пять лет. Построенные им приборы для создания эфирного тракта молчали и подчер-

кивали заблуждение Кирпичникова. Фразу Попова — «Решение просто — электромагнитное русло» — Кирпичников всячески толковал посредством экспериментов, но выходили одни фокусы, а эфирного пищепровода к электронам не получалось.

— Так-с! — в злобном исступлении сказал себе Кирпичников. — Следовательно, надо заняться другим! — Тут Кирпичников прислушался к дыханию жены и детей (была ночь и сон), закурил, прислушался к шуму Тверской за окном и сразу зачеркнул все. — Тогда тебе надо пуститься пешему по земле, ты гниешь на корню, инженер Кирпичников! Семья? Что ж — жена красива, новый муж к ней сам прибежит, дети здоровы, страна богата — прокормит и вырастит! Это единственный выход, другой — смерть на снежном бугре у распахнутой двери: выход Фаддей Кирилловича!.. Да-с, Кирпичников, таковы дела!

Кирпичников вздохнул с чрезвычайной сентиментальностью, а на самом деле искренне и мучительно.

— Ну что я сделал? — продолжал он шепотом ночную беседу с самим собой. — Ничего. Туннель? Чепуха: сделали бы и без меня. Крохов был талантливее меня. Вон Матиссен — действительно работник! Машины пускает мыслью! А я... а я обнял жизнь, жму ее, ласкаю, а никак не оплодотворяю... Будто женился человек, а сам только с виду мужчина и обманул жену...

Кирпичников тут спохватился:

— Философствуете, сударь? В отчаяние впали? Стоп! Это, брат, нервы у меня расшились: простая физиологическая механика, субъективно не имеющая страдания... Так зачем же ты страдаешь?

Зазвонил неожиданно и не вовремя телефон:

— У телефона Крохов. Здорово, Кирпичников!

— Здравствуй, что скажешь?

— Я, брат, получил назначение. Еду на Фейссуловскую атлантическую верфь: первое компрессорно-волновое судно строить. Знаешь эту новую конструкцию: судно идет за счет силы волн самого океана! Проект инженера Флювельберга.

— Ну, слышал, а я-то при чем тут?

— Что ты бурчишь? У тебя изжога, наверно! Чудак, я еду главным инженером верфи, а тебя вот зову своим заместителем! Я ведь корабельщик по образованию —

справимся как-нибудь, и сам Флювельберг будет у нас! Ну, как, едем?

— Нет, не поеду, — ответил Кирпичников.

— Почему? — спросил пораженный Крохов. — Ты где работаешь-то?

— Нигде.

— Ну, смотри, парень! Пройдет изжога, пожалеешь! Я подожду неделю.

— Не жди, не поеду!

— Ну, как хочешь!

— Прощай.

— Спокойной ночи.

Кирпичников прошел в спальню. Постоял молча в дверях, потом надел старое пальто, шляпу, взял мешок и ушел из дому навсегда. Он ни о чем не сожалел и питался своей глухой тревогой. Он знал одно: устройство эфирного тракта поможет ему опытным путем открыть эфир, как генеральное тело мира, все из себя производящее и все в себя воспринимающее. Он тогда технически, то есть единственно истинно, разъяснит и завоеует всю сферу вселенной и даст себе и людям горячий ведущий смысл жизни. Это старинное дело, но мучительны старые раны. Только людские ублюдки кричат: нет и не может быть смысла жизни — питайся, трудись и молчи. Ну, а если мозг уже вырос и так же страстно ищет своего пропитания, как ищет его тело? Тогда как? Тогда — труба, выкручивайся сам, в этом мало люди помогают.

Вот именно! Найдите вы человека, который живет не евши! Кирпичников же вошел в ту эпоху, когда мозг неотложно требовал своего питания, и это стало такой же горячей воющей жаждой, как голод желудка, как страсть пола!

Может быть, человек, незаметно для себя, рождает из своих недр новое великолепное существо, командуя им чувством которого было интеллектуальное сознание, и ничто иное! Наверное, так. И первым мучеником и представителем этого существа — был Кирпичников.

Кирпичников пошел пешком на вокзал, сел в поезд и поехал на свою забытую, заросшую забвением родину — Гробовск. Там он не был двенадцать лет. Ясной цели у Кирпичникова не было. Он влекся тоскою своего мозга и поисками того рефлекса, который наведет его мысль на открытие эфирного тракта. Он питался бес-

смысленной надеждой обнаружить неизвестный рефлекс в пустынном провинциальном мире.

Очутившись в вагоне, Кирпичников сразу почувствовал себя не инженером, а молодым мужичком с глухого хутора и повел беседу с соседями на живом деревенском языке.

Русское овражистое поле в шесть часов октябрьского утра — это апокалипсическое явление, кто читал древнюю книгу — Апокалипсис. Идет смутное столпогворение гор сырого воздуха, шуршит робкая влага в балках, в десяти саженьях движутся стены туманов, и ум пешехода волнуется скучная злость. В такую погоду, в такой стране, если ляжешь спать в деревне, может присниться жуткий сон.

И действительно, по дороге, выпавшись в ближней деревне, шел человек. Кто знает, кем он был. Бывают такие раскольники, бывают рыбаки с верхнего Дона, бывает прочий похожий народ. Пешеход был не мужик, а, пожалуй, парень. Он поспешал, сбивался с такта и чесал сырые худые руки. В овраге стоял пруд, человек сполз туда по глинистому склону и попил водицы. Это было ни к чему — в такую погоду, в сырость, в такое прохладное октябрьское время не пьется даже бегуну. А путник пил много, со вкусом и жадностью, будто утоляя не желудок, а смазывая и охлаждающая перегретое сердце.

Очнувшись, человек зашагал сызнова, глядя как напуганный.

Прошло часа два; пешеход, одолевая великие грязи, выбился из сил и ждал какую-нибудь печальную деревушку на своей осенней дороге.

Началась равнина, овраги перемежились и исчезли, запутавшись в своей глуши и заброшенности.

Но шло время, а никакого сельца на дороге не случилось. Тогда парень сел на облутый ветрами бугорок и вздохнул. Видимо, это был хороший молчаливый человек и у него была терпеливая душа.

По-прежнему пространство было безлюдно, но туман уползал в вышину, обнажались поздние поля с безжизненными остьями подсолнухов, и понемногу наливался светом скромный день.

Парень посмотрел на камешек, кинутый во впадину, и подумал с сожалением об его одиночестве и вечной

прикованности к этому невеселому месту. Тотчас же он встал и опять пошел, сожалея об участи разных безымянных вещей в грязных полях.

Скоро местность снизилась, и обнаружилось небольшое село — дворов пятнадцать.

Пеший человек подошел к первой хате и постучал. Никто ему не ответил. Тогда он самовольно вошел внутрь помещения.

В хате сидел нестарый крестьянин, бороды и усов у него не росло, лицо было утомлено трудом или подвигом. Этот человек как будто сам только вошел в это жилье и не мог двинуться от усталости, оттого он и не ответил на стук вошедшего.

Парень, житель Гробовского округа, взгляделся в лицо нахмуренного сидельца и сказал:

— Феодосий! Ньюжли возвратился?

Человек поднял голову, заснял хитрыми умными глазами и ответил:

— Садись, Михаил! Воротился, нигде нет благочестия — тело наружи, а душа внутри. Да и шут ее знает — кто ее щупал — душу свою...

— Што ж, хорошо на Афоне? — спросил Михаил Кирпичников.

— Конечно, там земля разнообразней, а человек — стервец, — разъяснял Феодосий.

— Что ж теперь делать думаешь, Феодосий?

— Так чохом не скажешь! Погляжу пока, — шесть лет ушло зря, теперь бегом надо жить! А ты куда уходишь, Михаил?

— В Америку. А сейчас иду в Ригу на морской пароход!

— Далече. Стало быть, дело какое имеешь знаменитое?

— А то как же!

— Стало быть, дело твое сурьезное?

— А то как же! Бедовать иду, всего лишился!

— Видать, туго задумал ты свое дело?

— Знамо, не слабо. Без харчей иду, придорожным приработком кормлюсь!

— Дело твое крупное, Михайла...

Пустая хата пахла не по-людски. Мутные окна глядели равнодушно и разуверяли человека: оставайся, не ходи никуда, живи молча в укромном месте!

Михаил и Феодосий разулись, развесили мокрые

портянки и закурили, уставившись на стол рассеянными глазами.

— Что-то дует! Михайла, захлобysi дверь! — сказал Феодосий.

Устроив это, Михаил спросил:

— Небось тепло теперь в Афонском монастыре! Небось покойно живетcя там. Чего сбежал из монахов?

— Оставь, Михаил, мне нужна была истина, а не чужеродные харчи. Я хотел с Афона в Месопотамию уйти — говорят, там есть остатки рая, а потом передумал. Года ушли, уж ничего не нужно стало. Только вспомнишь детей, и как-то жалко станет. Помнишь, трое детей умерло у меня в одно лето?.. Уж двадцать годов прошло, небось кость да волос остались в могиле... Эх, жутко мне чего-то, Михаил!.. Оставайся ночевать, может, дорога к утру завокнет...

— И го останусь, Феодосий. Этак до Риги не дойдешь!

— Вари картохи! Жрать с горя тянет...

Уснувши спозаранок, Феодосий и Михаил проснулись ночью. Огня в хате не было; за окном стояла нерушимая и безысходная тишина. Как будто и поля проснулись, но был час ночи, до утра далеко, и они лежали и скучали, как люди.

Почувяв, что Михаил не спит, Феодосий спросил:

— Из Америки-то думаешь возвращаться?

— Затем и еду, чтоб вернуться.

— Едва ли: дюже далеко!

— Ничего, обучусь нужному делу и ворочусь!

— Мудрому делу скоро не обучишься.

— Это верно, дело мое богатое, скоро не ухватишь!

— Насчет чего же дело твое?

— Пыточный ты человек, Феодосий, был на Афоне и в иностранных державах, рай искал, а насущного ничего не узнал...

— Это истинно, кому что!

— Мужикам одно нужно — достаток! У нас ржи — хоть топи ей, а все не богато живем и туго идем на поправку. В этом году рожь до двугривенного доходила — вот тебе и урожай!

— А чего же ты задумал?

— Слышал про розовое масло? — неожиданно для себя выпалил Кирпичников, смутно вспомнив какую-то старую, давно слышанную историю. И это его спасло,

потому что ясного ответа — на вопрос о своем странствии — он не имел даже для себя.

— Слыхал — гречанки тело мажут им для прелести.

— Это што! Это для духовитости. Из розового масла знаменитые лекарства делают — человек не стареет, кровь ободряют, волос выращивают — я по книжке изучал. Я ее с собой несу. В Америке половина земли розами засажена — по тыще рублей в год чистого прибытка десятина дает! Вот где, Феодосий, мужицкое счастье...

Михаил говорил зажмурившись, в избытке благородного чувства, но думая совсем о другом. Открыв глаза, он заметил, что в окне посерело, он слез с печки и стал собираться в Америку, не стравливая зря времени.

— Куда ты? — спросил Феодосий.

— Пора уходить, мне еще далече идти. Отдохнул — и в ход, а то я томиться начинаю, когда задерживаюсь!

— Рано еще, наварим кулешу, поешь и пойдешь.

— Нет, пойду, день и так короток!

— Ну, как хочешь... Ты, стало быть, в Америке хочешь узнавать, как розовое масло делается?

— Догадался? А ты думал, я свечки там делать буду? Наша земля сотворена для розы! На нашем черноземе только розе и расти! Ты погляди, Феодосий, благоухание какое будет — все болезни пропадут!..

— Да, дело твое лепное! Ну, ступай, чудотворец, поглядим — подышим! Много тогда рассады, должно, потребуется! Скорей только ворочайся и в морях не утопни!

Кирпичников вышел и пропал в полях. Он был доволен ночевкой, Феодосием — восемнадцать лет пропадавшим где-то в поисках праведной земли и увидевшим в нем только черепичного мастера — и своей хорошей беседой с ним. Но в этой беседе была и правда — Кирпичников на самом деле собрался в Америку, ища там невиданных новостей жизни, заранее им радуясь, чувствуя в себе необъяснимое освобождение.

Пройдя сквозь европейский кусок СССР, Михаил достиг Риги. Он шел четыре месяца. Задерживала его не столько дальность дороги, сколько заработки по хуторам, где он поденно батрачил. Как только он зара-

батывал пищи на неделю, он бросал хозяина с его заботами и уходил в направлении Балтийского моря.

В Риге в Михаиле Кирпичникове проснулся инженер. Его поразила прочность домов — ни ветер, ни вода такие постройки не возьмет, — одно землетрясение может поразить такие монументы. Сразу почуял в Риге Михаил всю тщету, непрочность и страх сельской жизни. В Москве он почему-то про это не думал. Еще удивил Михаила этот город стройной задумчивой торжественностью зданий и крепкими спокойными людьми. Несмотря на образование и жизнь в Москве, в Кирпичникове сохранилась первобытность и способность удивляться простым вещам. Михаил нечаянно для себя подумал, что действительно нежное масло душистых и пьяных роз способно построить вечные здания в древних балках его родины и в этих зданиях поселятся довольные вежливые мужики.

Так, незаметно, голова Кирпичникова переводилась на другую идею, чтобы дать отдых первой.

По ровным цементным дорогам побегут чистоплотные автомобили, шурша узорной резиной, развозя мужиков в гости к кумовьям верст за двести и далее. Феодосий, наверное, тогда женится, купит сто пудов бензину и поедет в Месопотамию смотреть остатки обители умершего бога.

Хорошо будет. Встанешь утром, воткнул рычаги, повернул кнопки — жарится завтрак, греется чай, насос пыль из комнаты высасывает, в руках находится умная книга. Женщину не за что терзать, и ей нечего мучиться, борясь с неуютностью жизни, — и женщина тогда порозовеет щеками, потому что в поле будут расти розы, а не рожь. Женщина тогда станет настоящей матерью могучих людей, которые народятся в мир и дадут ему здоровье и покойную силу. Будущие женщины станут похожими на своих сестер, откопанных в тундре.

Михаил ходил по Риге и улыбался от удовольствия видеть такой город и иметь в себе верную мысль всеобщего богатства и здоровья. Ходил он столько дней, пока у него не вышли харчи; тогда он пошел в порт.

Кирпичников окончательно убедился, что розы — верная мысль и надежный источник народного обогащения. Еще далеко не все богаты были, даже в Советской стране.

Голландский пароход «Индонезия», сгрузив индиго, чай и какао, грузился лесом, деревообделочными машинами, пенькой и разными изделиями советской индустрии. Из Риги он должен идти в Амстердам, там он произведет текущий ремонт машин, а затем уйдет в Сан-Франциско, в Америку.

Михаила Кирпичникова взяли на него помощником кочегара — подкидчиком угля, потому что Кирпичников согласился работать за половинную цену.

Через десять дней «Индонезия» тронулась, и перед Михаилом Ковалем¹ открылся новый могучий мир пространства и бешеной влаги, о котором он никогда особенно не думал.

Океан неописуем. Редкий человек переживает его по-настоящему, тем чувством, какого он достоин. Океан похож на тот великий звук, который не слышит наше ухо, потому что у этого звука слишком высок тон. Есть такие чудеса в мире, которые не вмещают наши чувства, именно потому, что наши чувства их не могут вынести, а если бы попробовали, то человек разрушился бы.

Вид океана снова убедил Михаила в необходимости достигнуть богатой жизни и отыскать эфирный гракт, а вечная работа воды заряжала его энергией и упорством.

Эфир уже сочетался с розой в сознании Кирпичникова, и, экономя образ, он иногда воображал себе розу, опущенную в синий дух эфира.

В Сан-Франциско Кирпичникову посоветовали идти в Калифорнию — там есть округ Риверсайда, где много лимонных садов и цветоводов. Там именно и занимаются выгонкой розового масла, и имеется для этого большой завод.

И Кирпичников двинулся вдоль Америки.

У одного фермера, где Кирпичников нанялся на прочистку сада, была дочь. Михаилу она очень понравилась, до того она была ласковая и миловидная. Ее звали Руфью. Руфь была прилежна в работе, имела твердые руки и смело водила «форд». Она же заведовала всеми машинами и орудиями на ферме и была за машиниста на водокачке, которая подавала воду на орошение сада. Руфь была русая, голубоглазая и по

¹ Описка автора. Имеется в виду Кирпичников.

характеру, по сердечности и серьезности напоминала русскую.

И Кирпичников захотел остаться на ферме. Отец Руфи ценил прилежание Михаила, относился к нему хорошо и наверное оставил бы Михаила на неопределенное время. Тем более на ферме не было ни слесаря, ни кузнеца, а Михаил знал это дело.

Но раз ночью Михаил проснулся. На колодце чкал двигатель, нагнетая воду в сад. Хутор спал, и Михаил почувствовал тоску и тревогу. Он вспомнил розы, Россию, Феодосию, Попова, эфирный тракт, работающий океан — и стал одеваться. Деньги у него были, двадцать долларов, и он вышел в прохладную ночь. Была за фермой тьма, какой-то город сиял ночным чудом на далеком холме — и Михаил молча пошел дальше на Калифорнию, в лимонный округ Риверсайда.

Десять лет прошло, как ушел Михаил из Ржавска, успев кончить рабфак и электротехнический институт и попасть в Америку в научную командировку. Всюду он искал решение задачи мертвого Попова. В свежее утро раннего лета, среди молодых розовых гор Калифорнии, шагал Михаил к далеким лимонным рощам и цветочным полям Риверсайда.

Кирпичников чувствовал в себе сердце, в сердце был напор крови, а в крови — надежда на будущее, — на сотни счастливых советских лет, напоенных благотворным газом роз и накормленных эфирным железом.

И Михаил спешил среди ферм, обгоняя мощные стада, сквозь веселый белый бред весенних вишневых садов. Калифорния немного напоминала Украину, где Кирпичников бывал мальчиком, но народ был сплошь здоровый, рослый и румяный, а коричневые обнажения древних горных пород напоминали Кирпичникову, что родина его далеко и что там сейчас, наверное, грустно.

И, свирепея, отчаиваясь, завидуя, упираясь в твердые ноги, Кирпичников почти бежал, спеша достигнуть таинственный Риверсайд, где сотни десятин под розами, где из нежного тела беззащитного цветка выгоняется тончайшая драгоценная влага и где, быть может, работает возбудитель того рефлекса, который выведет его на эфирный тракт: в Риверсайте находилась тогда знаменитая лаборатория по физике эфира, принадлежащая Американскому электрическому униюну.

Четверо суток шел Михаил. Он немного заблудился и дал круг километров в пятьдесят.

Наконец он достиг города Риверсайда. В городе было всего домов тысячу; но улицы, электричество, газ, вода — все было удобно обдуманно и устроено, как в лучшей столице.

У околицы города висела вывеска:

«Путник, только у Глэн-Бабкока, в гостинице «Четырех стран света», высосут пыль из твоей одежды (вакуумпюпитры), предложат влагу лучших источников Риверсайда, накормят стерилизованной пищей, почти не дающей несваренных остатков, и уложат в постель с электрическими грелками и рентгенокомпрессором, изгоняющим тяжелые сновидения».

Кирпичников немного понимал по-английски и теперь развлекался этими надписями.

«Американцы! В Вашингтоне — ваша мудрость! В Нью-Йорке — слава! В Чикаго — кухня! В Риверсайте — ваша красота! Американцы, вы должны быть настолько красивы, насколько энергичны и богаты: заказывайте тоннами пудру «Ривергрэн»!

«В Фриско наши корабли, в Риверсайте — наши женщины! Американки, объясните мужьям — нашей стране нужны не только броненосцы, но и цветы! Американки, записывайтесь в Добровольную Ассоциацию Поощрения Национального Цветоводства: Риверсайд, 1, А/34».

«Масло розы — основа богатства нашего округа! Масло розы — основа здоровья нации! Американцы, уснажайте ваши мужественные тела эссенцией розы — и вы не потеряете мужества до ста лет!»

«В Азии — Месопотамия, но без рая! В Америке — Риверсайд, но в раю!»

«Элементы нашего национального рая, суть:

Пища — Жилище — Влага: Глэн-Бабкок;
Одежда — Красота — Мораль: Кацманзон;
Искусство — Рассуждение — Религия — Пути Поведения — Вечная Слава: универсальное блок-предприятие Звездного Треста;
Вечный Покой: Анонимная Компания «Урна»;
Эксплуатация времени в целях смеха и развлечения: изолированная обитель «Древо Евы»;
Препараты «Антисексус»: Беркман, Шотлуа и С».

«Ходят только в башмаках Скрэга, в остальной обуви ползают!»

«Приведи в действие гормоз опасности! Стоп! Дальше — конец света! Зайди в наш дом «Сотворение мира»!»

«Джентльмены! Танец творит человека — творите себя: танцзала напротив! Маэстро Майнрити: стаж 50 лет в странах Европы».

«Помолись! Каждый обречен на смерть! Встреча с Богом неминуема! Что ты скажешь ему? Зайди в Дом Абсолютной Рели-

гин! Вход бесплатный. Хор юных девушек зафиксированного целомудрия! Оживленная Статуя Истинного Бога! Мистические процедуры, стихи, музыка нерожденных душ, ароматное помещение! Кино религиозными методами иллюстрирует современность, пастор Фокс доказывает соответствие Истории и Библии! Посетившему гарантируется стерилизация души и возвращение перводушевности!»

«Звездное Знамя есть Знамя Небесного Бога! Аллилуйя!»

«Наклони голову: тебя ждут обувные автоматы и препараты против пота!»

«Главное в жизни — Пища! И — наоборот! Усовершенствованные экскрементарии в каждом квартале Риверсайда ждут тебя! Осознай желудок!»

«Аэропланы в розницу с бесплатной упаковкой: Эптон Гаген».

Кирпичников хохотал. Он читал где-то, что американцы по развитию мозга — двенадцатилетние мальчики. Судя по Риверсайду, это была точная правда.

Работу себе нашел Кирпичников через четыре дня: машинистом на насосной станции, поднимающей воду из реки Квебека в лимонные сады. На заводе розовых масел работы не было и не предвиделось. Кирпичников решил обождать.

Прошел монотонный месяц. Кругом жили глупые люди: работа, еда, сон, ежевечернее развлечение, абсолютная вера в бога и в мировое первенство своего народа! Очень любопытно! Кирпичников наблюдал, молчал и терпел, друзей никаких не имел.

Адреса своего Кирпичников дома не оставил, записки тоже, однако то, что он отправился в Америку, на родине было известно. Кирпичников, как всегда, внимательно читал газеты и однажды увидел в «Чикагском ораторе» следующее объявление:

«Мария Кирпичникова просит своего бывшего мужа Михаила Кирпичникова вернуться на родину, если ему дорога жизнь жены. Через три месяца Кирпичников жену в живых не застанет. Это не угроза, а просьба и предупреждение».

Кирпичников вскочил, бросился к машине и закрыл клапан паропровода. Машина остановилась.

Сейчас же зазвонил телефон:

— Алло! В чем дело, механик?

— Посылайте смену до срока! Ухожу!

— Алло! В чем дело? Куда уходите? Что за шутки дьявола? Пустите сейчас же насос, иначе взывем убытки! Алло, вы слушаете? Достаточно ли у вас долларов для уплаты штрафа? Я звоню полиции!

— Убирайся к черту, двенадцатилетний дурак! Я предупредил — я уйду без расчета!

Кирпичников выбежал по мостику с плавучего понтона, на котором помещалась установка, и пустился по долине Квебека на запад, не успевая думать. Солнце жалило зноем, горизонт закрыт горами, подошвы которых устланы тучными плантациями, и жаль было, что великолепные плоды земли превращались в конечном счете в темную глупость и бессмысленное наслаждение человека.

Снова пошли дни, мучительные поиски заработка, тысячи затруднений и приключений. Описание даже обычного дня человека заняло бы целый том, описание дня Кирпичникова — четыре тома. Жизнь — в работе молекул; никто еще не уяснил себе, ценою каких трагедий и катастроф согласуется бытие молекул в теле человека и создается симфония дыхания, сердцебиения и размышления. Это неизвестно. Потребуется изобретение нового научного метода, чтобы его заостренным инструментом просверлить скважины в пучинах нутра человека и посмотреть, какая там страшная работа.

Снова океан. Но Кирпичников уже не кочегар на судне, а пассажир. В Нью-Йорке он попал в мертвую хватку голода. Работы не было, и он вышел из бедствия лишь случайно. Еще в студенческие годы он изобрел однажды точный регулятор напряжения электрического тока. После недельной сплошной голодовки он начал обходить тресты и предприятия с предложением своего изобретения.

Наконец Западная индустриальная компания купила у него проект регулятора. Однако его заставили изготовить рабочие чертежи всех деталей. Кирпичников просидел над этим делом два месяца и получил всего двести долларов. Это его спасло.

Вез его океанский пароход «Гамбург — Америка линии» со средней скоростью шестьдесят километров в час. Кирпичников знал свою жену и был уверен, что если он не поспеет к сроку домой — она будет мертвой. Самоубийства он не допускал, но что же это будет? Он слышал, что в старину люди умирали от любви. Теперь это достойно лишь улыбки. Неужели его твердая, смелая, радующаяся всякой чепухе жизни Мария

способна умереть от любви? От старинной традиции не умирают, тогда отчего же она погибнет?

Размышляя и томясь, Кирпичников блуждал по палубе. Он заметил прожектор далекого встречного корабля и остановился.

Вдруг сразу похолодало на палубе — начал бить страшный северный ветер, потом на судно нахлобучилась водяная глыба и в один миг сшибла с палуб и людей, и вещи, и судовые принадлежности. Судно дало крен почти в 45° к зеркалу океана. Кирпичников уцелел случайно, попав ногой в люк.

Воздух и вода гремели и выли, густо перемешавшись, разрушая судно, атмосферу и океан.

Стоял шум гибели и жалкий визг предсмертного отчаяния. Женщины хватали ноги мужчин и молили о помощи. Мужчины их били кулаками по голове и спасались сами.

Катастрофа наступила мгновенно, и, несмотря на высокую дисциплину и мужество команды, ничего существенного по спасению людей и судна сделать было нельзя.

Кирпичникова сразу поразила не сама буря и мертвая стена воды, а мгновенность их нашествия. За полминуты до них океан имел штиль и все горизонты были открыты. Пароход заревел всеми гудками, радио закрило тревогу, началось спасание смытых пассажиров. Но вдруг буря затихла, и судно мирно закачалось, нащупывая равновесие.

Горизонт открылся, в километре шел европейский пароход, сияя прожекторами и спеша на помощь.

Мокрый Кирпичников сутился у катера, налаживая отказывающийся работать мотор. Он не вполне сознавал, как попал к катеру. Но катер необходимо спустить немедленно: в воде захлебывались сотни людей. Через минуту мотор заработал: Кирпичников зачистил его окислившиеся контакты — в этом была вся причина.

Кирпичников влез в кабину катера и крикнул: отдавай блоки!

В эту минуту непроницаемый едкий газ затянул все судно, и Кирпичников не мог увидеть своей руки. И сейчас же он увидел падающее, одичалое, нестерпимо сияющее солнце и сквозь треск своего рвущегося мозга услышал на мгновение неясную, как звон Млечного Пути, песню и пожалел о краткости ее.

Правительственное сообщение, помещенное в газете «Нью-Йорк таймс», было передано из-за границы Телеграфным агентством СССР:

«В 11 часов 15 мин. 24/IX с/г под 35° 11' сев. шир. и 62° 4' вост. долготы затонули американское пассажирское судно «Калифорния» (8485 человек, считая команду) и германское судно «Клара» (6841 чел. с командой), шедшее на помощь первому. Точные причины не выяснены. Надлежащее следствие ведется обоими правительствами. Спасенных и свидетелей катастрофы нет. Однако главную причину гибели обоих судов следует считать точно установленной: на «Калифорнию» вертикально упал болид гигантских размеров. Этот болид увлек корабль на дно океана; образовавшаяся воронка засосала также и «Клару».

По мере хода следствия и подводных изысканий, публика будет своевременно и полностью информирована».

Сообщение было перепечатано во всех газетах мира. Наибольшее страдание оно доставило не сиротам, не невестам, не женам и родственникам погибших, а Исааку Матиссену, директору Кочубаровской опытно-мелиоративной станции, близ поселения Волошино, Воронежского округа, Центрально-Черноземной области.

— Ну что, голова! Достиг вселенской мощи — наслаждайся теперь победой! — шептал Матиссен самому себе с тем полным спокойствием, которое соответствует смертельному страданию. И только пальцами он зря крошил хлеб, скатывал ядрышки и сшибал их щелчками со стола на пол.

— Ведь, по сути и справедливости, я ничего и не достиг. Я только испытал новый способ управления миром и совсем не знал, что случится! — Матиссен встал, вышел на ночной двор и крикнул собаку: — Волчок! Эх ты, тварь кобелястая! — Матиссен погладил подбежавшую собаку. — Верно, Волчок, что сердце наше — это болезнь? А? Верно ведь, что сентиментальность — гибель мысли? Ну, конечно, так! Разрубим это противоречие в пользу головы и пойдем спать!

Матиссен закричал через забор в открытое поле, пугая невидимых, но возможных врагов. Волчок заскулил — и оба разошлись спать.

Хутор затих. Тихо шептала речонка в долине, подвигая свои воды к далекому океану, и в Кочубаровеселе отсекал исходящий газ двигатель электростанции. Там люди глубоко спали, не имея родственников ни на «Калифорнии», ни на «Кларе».

Матиссен тоже спал — с помертвелым лицом, оловянчим утихим сердцем и распахнутым зловонным ртом. Он никогда не заботился ни о гигиене, ни о здоровье своей личности.

Проснулся Матиссен на заре. В Кочубарове чуть слышно пели петухи. Он почувствовал, что ему ничего не жалко: значит, окончательно умерло сердце. И в ту же минуту он понял, что ему ничто не интересно и то, чего он добился, — не нужно ему самому. Он узнал, что сила сердца питает мозг, а мертвое сердце умерщвляет ум.

В дверь постучался ранний гость. Вошел знакомый крестьянин Петропавлушкин.

— Я к вам от нашей коммуны пришел, Исаак Григорьевич! Вы не обижайтесь, я сам по званию и по науке помощник агронома и суеверия не имею!..

— Говори короче, в чем твое дело? — подогнал его Матиссен.

— Наше дело в том, что вы слово особое знаете и им пользу большую можете делать. Мы же знаем, как от вашей думы машины начинают работать...

— Ну, и что же?

— Нельзя ли, чтобы вы такую думу подумали, чтоб поля круче хлеб рожали...

— Не могу, — перебил Матиссен, — но, может быть, открою, тогда помогу вам. Вот камень с неба могу бросить на твою голову!..

— Это ни к чему, Исаак Григорьевич! А ежели камень можете, то почва ближе неба...

— Дело не в том, что почва ближе...

— Исаак Григорьевич, а я вот читал, корабли в океане утонули, тоже от небесного камня. Это не вы американцев удружили?

— Я, товарищ Петропавлушкин! — ответил Матиссен, не придавая ничему значения.

— Напрасно, Исаак Григорьевич! Дело не мое, а полагаю, что напрасно!

— Сам знаю, что напрасно, Петропавлушкин! Да что же делать-то? Были цари, генералы, помещики,

буржуи были, помнишь? А теперь новая власть объявилась — ученые. Злое место пустым не бывает!

— А я того не скажу, Исаак Григорьевич! Если ученье со смыслом да с добросердечностью сложить, то, я полагаю, и в пустыне цветы засияют, а злая наука и живые нивы песком закидает!

— Нет, Петропавлушкин, чем больше наука, тем больше ее надо испытывать. А чтоб мою науку проверить, нужно целый мир замучить. Вот где злая сила знания! Сначала уродую, а потом лечу. А может быть, лучше не уродовать, тогда и лекарства не нужно будет...

— Да разве одна наука уродует, Исаак Григорьевич? Это пустое. Жизнь глупая увечит людей, а наука лечит!

— Ну, хотя бы так, Петропавлушкин! — оживился Матиссен. — Пускай так! А я вот знаю, как камни с неба на землю валить, знаю еще кое-что, похуже этого! Так что же меня заставит не делать этого? Я весь мир могу запугать, а потом овладею им и воссяду всемирным императором! А не то — всех перекрошу и пушу газом!

— А совесть, Исаак Григорьевич, а общественный инстинкт? А ум ваш где же? Без людей вы тоже далеко не уплывете, да и в науке вам все люди помогали! Не сами же вы родились и раз узнали сразу все!

— Э, Петропавлушкин, на это можно высморкаться! А ежели я такой злой человек?

— Злые умными не бывают, Исаак Григорьевич!

— А по-моему, весь ум — зло! Весь труд — зло! И ум и труд требуют действия и ненависти, а от добра жалеть да плакать хочется...

— Несправедливо вы говорите, Исаак Григорьевич! Я так непривычен, у меня аж в голове шумит!.. Так наша коммуна просит помощи, Исаак Григорьевич! Очень земля истощена, никакой фосфат уже не утучняет. Вам думу почве передать не трудно, а нам жизнь от этого! Уж вы пожалуйста, Исаак Григорьевич! Вон как прелестно у вас: подошел, подумал что следует — и машина воду сама погнала! Так бы и нам материнство в почву дать! До свиданья пока!

— Ладно. Прощай! — ответил Исаак Григорьевич.

«А этот человек умен, — подумал Матиссен, — он почти убедил меня, что я выродок!»

Затем Матиссен окончательно оделся и перешел в другую комнату. В ней стоял плоский и низкий стол, размером 4×3 метра. На столе помещались приборы. Матиссен подошел к самому маленькому аппарату. Он включил в него ток от аккумуляторов и лег на пол. Сейчас же он потерял ясное сознание, и его начали терзать гибельные кошмары почти смертельной мощи и почти физически разрушающие мозг. Кровь переполнялась ядами и зачерняла сосуды; все здоровье Матиссена, все скрытые силы организма, все средства его самозащиты были мобилизованы и боролись с ядами, приносимыми кровью, обращающейся в мозг. А сам мозг лежал почти беззащитным под ударами электромагнитных волн, бьющих из аппарата на столе.

Эти волны возбуждали особые мысли в мозгу Матиссена, а мысли стреляли в космос особыми сферическими электромагнитными бомбами. Они попадали где-то, может быть в глуши Млечного Пути, в сердце планет и расстраивали их пульс, — и планеты сворачивали с орбит и гибли, падая и забываясь, как пьяные бродаги.

Мозг Матиссена был таинственной машиной, которая пучинам космоса давала новый монтаж, а аппарат на столе приводил этот мозг в действие. Обычные мысли человека, обычное движение мозга бессильны влиять на мир, для этого нужны вихри мозговых частиц, — тогда мировое вещество сотрясает буря.

Матиссен не знал, когда начинал опыт, что случится на земле или на небе от его нового штурма. Тем чудесным и неповторимым строением электромагнитной волны, которую испускал его мозг, он еще не научился управлять. А именно в особом строении волны и был весь секрет ее могущества; именно это было мировую материю по самому нежному месту, и от боли она славалась. И такие сложные волны мог давать только живой мозг человека лишь при содействии мертвого аппарата.

Через час особые часы должны прервать ток, питающий мозговозбудительный аппарат на столе, и опыт прекратится.

Но часы остановились: их забыл завести Матиссен перед началом опыта. Ток неумоимо питал аппарат, и аппарат тихо гудел в своем труде.

Прошло два часа. Тело Матиссена гаяло, пропор-

ционально квадрату количества времени. Кровь из мозга поступала сплошной лавой трупов красных шариков. Равновесие в теле нарушилось. Разрушение брало верх над восстановлением. Последний невероятный кошмар вонзился в еще живую ткань мозга Матиссена, и милосердная кровь погасила последний образ и последнее страдание. Черная кровь бурей ворвалась в мозг через разорванную вену и затормозила пульсирующее боевое сердце. Но последний образ Матиссена был полон человечности: перед ним встала живая измученная мать, из глаз ее лилась кровь и она жаловалась сыну на свое мучение.

В девять часов утра Матиссен лежал мертвым — с открытыми белыми глазами, с руками, вьевшимися ногтями в пол в борющемся исступлении.

Аппарат усердно гудел и остановился только к вечеру, когда иссякла энергия в аккумуляторе.

Весь день мимо дома Матиссена бежали упряжки лошадей и полуторатонные грузовики — возить отаву с лугов, заготавливать впрок корм скоту.

Петропавлушкин водил автомобиль-грузовичок, улыбался мировому пространству в полях и успокоительно думал о пользе добросердечной науки, коей он сам немалый соучастник.

Через два дня «Известия» в отделе «Со всего света» напечатали информацию Главной астрономической обсерватории.

«В созвездии Гончих Псов при ясном небе вторые сутки не обнаруживается альфа-звезда.

В Млечном Пути на 3-й дистанции (9-й сектор) образовалось пустое пространство — разрыв. Его земной угол = $4^{\circ}71'$. Созвездие Геркулеса несколько смещено, вследствие чего вся солнечная система должна изменить направление своего поляга. Столь странные явления, нарушившие вековое строение неба, указывают на относительно хрупкость и непрочность самого космоса. Обсерваторией ведутся усиленные наблюдения, направленные к отысканию причин этих аномалий».

В дополнение к этому обещалась беседа в ближайшем номере с академиком Ветманом. Из других телеграмм с одной четвертой земного шара (тогдашние размеры СССР) не явствовало, чтобы Земля потерпела что-либо существенное от звездных катастроф, исключая петитную информацию с Камчатки:

«На горы село небольшое небесное тело, около 10 километров в поперечнике. Стросние его неизвестно. Форма — сфероид. Тело прилетело с небольшой скоростью и плавно приземлилось к вершинам гор. В бинокли видны огромные кристаллы на его поверхности. Местным Обществом Любителей Природоведения снаряжена экспедиция для предварительного изучения опустившегося тела. Но Экспедиция не может дать быстрых результатов: горы почти неприступны. Из Владивостока затребованы аэропланы. Сегодня в направлении небесного тела пролетела небольшая эскадрилья японских аэропланов»

На следующий день эта заметка превратилась в сенсацию, и странному событию была посвящена статья в триста строк академика Ветмана.

В тот же день «Беднота» сообщила о смерти инженера-агронома Матиссена, известного в кругах специалистов работника по оптимальному режиму влаги в почве.

И только помощнику агронома в Кочубарове Петропавлушкину, выписывавшему и «Известия» и «Бедноту», пришла в голову нечаянная мысль о связи трех заметок: Матиссен умер — на Камчатские горы села планетка — одна звезда пропала и лопнул Млечный Путь. Но кто поверит такому деревенскому бреду?

Хоронили Матиссена торжественно. Почти вся Кочубаровская сельскохозяйственная коммуна шла за его трупом. Земледелец издревле любит страшиков и чудородных людей. А молчаливый одинокий Матиссен был из таких — это явно чувствовали в нем все. Последний ободок волос на лысом черепе Матиссена осыпался, когда гроб резко толкнули неловкие руки. Это удивило всех крестьян, и к мертвому Матиссену прониклись еще большей жалостью и уважением.

Похороны Матиссена совпали с концом работ подводной экспедиции, отправленной правительствами Америки и Германии для отыскания затонувших «Калифорнии» и «Клары».

Снимаясь с места катастрофы, экспедиция отправила радио в Нью-Йорк и Берлин:

«Считать установленным точной разведкой — живая сила болида была титанически велика: «Калифорния» и «Клара» загнаны болидом глубоко в дно океана и сам болид утонул в недрах океанского ложа. В месте катастрофы образовалась впадина диаметром в сорок километров, с наибольшей глубиной, считая от прежнего уровня дна, в 2,55 километра. Только подводное бурение может указать глубину залегания всех трех тел — «Калифорнии», «Клары» и самого болида. Надо ожидать сильной деформации изыскиваемых предметов».

В ответ на это оба правительства телеграфировали:

«Бурите дно океана. Соответствующие кредиты открыты».

Экспедиция послала одно из своих судов за добавочным оборудованием для буровых подводных работ, а через две недели начала бурение.

Петропавлушкин был селькором «Бедноты». Наука держала мир в панике сенсаций. Каждый день манифесты ее открытий занимали половину ежедневной прессы. Было время: веселился воин, потом торжествовал богач, а теперь настало время ученого героя и ликующего знания. В науке поместилось ведущее начало Истории.

В стороне от науки стоять не было терпения, и Петропавлушкин написал в «Бедноту» корреспонденцию, которая должна дать ему внутреннее удовлетворение соучастника всемирной науки.

Девять дней его терзала догадка, потом она превратилась в теплое убеждение, греющее мозг.

Корреспонденция называлась «Битва человека со всем миром»:

«Ученый инженер и агроном Исаак Григорьевич Матиссен, что умер на днях, как то известно читателям, изобрел такие мысли, что они сами по себе могли кидать метеоры на землю. Перед смертью, когда тело его было горячо, Исаак Григорьевич говорил мне, что он и не то будет еще делать. Американский корабль утонул тоже по его власти. А я ему отсоветовал так отягощаться бедой. Но он насмеялся над здравым смыслом полунаучного человека (я имею степень помощника агронома по полеводству). И вот я уверился, что Млечный Путь лопнул от мыслей Исаака Григорьевича. Смешно говорить, но он умер от такого усилия. У него жилы лопнули в голове и произошло кровоизлияние. Кроме Млечного Пути, Исаак Григорьевич навеки испортил одну звезду и со-влек Солнце с Землею с их спокойного гладкого пути. От этого же, я так думаю, и какая-то планета отчего-то прилетела на Камчатские полуострова.

Но дело прошлое. Теперь Исаак Григорьевич умер и только зря поломал мировое благоденственное устройство. А мог бы он и добро делать, только не захотел отчего-то и умер.

Я освещаю этот мировой факт и требую к нему доверия, потому что я очевидец всему. Доказательство тому — мой предварительный разговор с Исааком Григорьевичем перед его уединенной смертью.

Разгадка теперь дана всем малосведущим, и факт стал фактом во всеуслышание.

Долой злые тайны и да здравствует сердечная наука!

Селькор и помощник участкового агронома по полеводственной дисциплине Петропавлушкин».

В редакции «Бедноты» посмеялись над таким доносом на мертвого и написали товарищу Петропавлушкину теплое письмо, полное разубеждения, пообещав прислать ему такие книги, которые его сразу вылечат от идеалистического сумбура.

Петропавлушкин обиделся и перестал писать корреспонденции. Потом одумался, разозлился и написал открытку:

«Граждане! Редакторы-издатели! Полученный человек сообщил вам факт, а вы не поверили, будто я совсем не ученый. Прошу опомниться и поверить хоть на сутки, что мысль не идеализм, а твердое могучее вещество. А все мироздания с виду прочны, а сами на волосках держатся. Никто волоски не рвет, они и целы. А вещество мысли толкнуло, все и порвалось. Так о чем же речь и насмешение фактов? Вселенский мир это вам не бумажная газета. Остаюсь с упреком — быв. селькор Петропавлушкин».

Мария Александровна Кирпичникова прочитала в списке погибших на «Калифорнии» имя своего мужа. Она знала, что он к ней вернется, теперь узнала, что его нет на свете.

Она его не видела двенадцать месяцев, а теперь не увидит никогда.

— Кончена жизнь! — вслух сказала она и подошла к окну.

— Что, мама? — спросил пятилетний сын, возившийся с кошкой.

— Лето кончается, сынок! Видишь, падают листья на улице!

— Отчего ты плачешь? Папа не приедет?

— Приедет, милый!..

— Тебе жалко его? Ты ему большую книжку купила?

— А ты забыл свое стихотворение? Ну-ка, повтори!

Мальчик поднялся с пола и единым духом выговорил, боясь остановиться и забыть:

Рыжий шофер очень важен,
Ахтобузик он ведет.
Ехать быстро очень страшно;
Дядя денежки берет...

Мальчик говорил важно и про себя думал, что он шофер. Мать его начала обнимать и уговаривать лечь поспать, чтобы не быть вечером дохлым. Мальчик сопротивлялся и сам ласкал мать, жадно и сознательно, как взрослый.

— Ляжь, поспи, мальчик! Папа скорей приедет!

— Не ври, мамка! Сколько раз спал, а он все не едет!

— Ну ты так ляжь — полежи! А то к бабушке отправлю, как Левочку, скучать по мне будешь! Поедешь к бабушке?

— Не поеду я!

— Почему?

— Мне там скучно будет, а без меня папа приедет!

И все же мальчик улегся спать — мать знает, как это сделать. Мария Александровна посмотрела на ребенка — лицо его стало мирным и необыкновенным, вызывающим жалость и новые силы любви. Кажется, пусть только проснется он — и все станет новым, и мать его никогда не обидит. Но это был только милый обман образа спящего беззащитного ребенка: проснулся мальчик снова маленьким бандитом и изувером, и даже мебель от него уставала.

Оставшись в покое, Мария Александровна решила неуклонно жить. Но она понимала, что теперь всю энергию своего сознания она должна бросить на то, чтобы урегулировать свое плачущее любящее сердце. И только тогда она устоит на ногах, иначе можно умереть во сне.

Спать она боялась ложиться: отдыхающий беззащитный мозг могут растерзать дикие образы ее неутраченного несчастья. Она знала, что в спящем человеке разводятся страшные образы, как сорняки в некультурных заброшенных полях.

И грядущая ночь ей была непостижимо страшна.

Как женщина, как человек, она хотела бы иметь горсть пепла от праха своего мужа. Отвлеченная могила под дном океана не давала веры в настоящую смерть, но темным инстинктом она была убеждена, что Михаил уже не дышит воздухом земли.

Спящий Егорушка до привидения напоминал ей мужа. Отсутствовали только морщины и складки утомления у рта.

Мария Александровна не совсем понимала мужа: ей непонятна была цель его ухода из дома. Она не верила, что живой человек теплое достоверное счастье может променять на пустынный холод отвлеченной одинокой идеи. Она думала, что человек ищет только

человека, и не знала, что путь к человеку может лежать через стужу дикого пространства. Мария Александровна предполагала, что людей разделяют лишь несколько шагов.

Но ушел Михаил, а потом умер в далеком плавании, ища драгоценность своей затаенной мысли. Мария Александровна, конечно, знала, что ищет ее муж. Она понимала смысл изобретения размножения материи. И в этой области хотела помочь мужу. Она купила ему десять экземпляров большого труда — перевод символов только что найденной в тундре книги, изданной под именем «Генерального сочинения». В Аюнии, вероятно, сильно было развито чтение: этому способствовала тьма восьмимесячной ночи и уединенность жизни аюнитов.

При строительстве второго вертикального термического туннеля, когда Кирпичников уже пропал, строители обнаружили четыре гранитных плиты с символами на них, исполненные крупным рельефом. Символы были того же начертания, что и в ранее найденной книге «Песни Аюны», поэтому легко поддались переложению на современный язык.

Плиты-писанцы, вероятно, были памятником и завещанием философа-аюнита, но в них содержались мысли на сокровенное содержание природы. Мария Александровна исчитала всю книгу и нашла ясные намеки на то, что искал ее муж по всей пустой земле. Далекий мертвый человек давал помощь ее мужу, ученому и бродяге, давал помощь счастью женщины и матери.

И вот тогда Мария Александровна дала объявления в пять американских газет.

Она изучила на память нужные места в «Генеральном сочинении», боясь утратить как-нибудь книги и не встретить Михаила с наилучшей для него радостью.

«Лишь живое познается живым, — писал аюнит, — мертвое непостижимо. Неимоверное нельзя измерить достоверным. Именно посему мы познали отчетливо такое далекое, как аэны (соответствует электронам — *Примеч. переводчиков и излагателей*), и нам осталось малоизвестным такое близкое, как мамарва (соответствует материи. — *Примеч. переводчиков и излагателей*). Это потому, что первое живет, как ты живешь, а второе — мертво, как Муйя (неизвестный образ. — *Примеч. перевод. и излагателей*). Когда аэны шевелились в прое (соответств. атому. — *Прим. пер. и изл.*), сначала мы видели в этом механическую силу, а потом с радостью открыли в аэнах жизнь. Но центр пройи, полный мамарвы, был

веками загадкой, пока мой сын достоверно не показал, что центр прои состоит из тех же аэнов, только мертвых. И, мертвые, они служат пищей живым. Стоило сыну моему извлечь из прои ее середину, как все живые аэны погибли от голода. Так вышло, что центр прои есть амбар пищи для живых аэнов, пасущихся вокруг этой обители трупов своих предков, чтобы пожирать их. Так просто и сияюще истинно была открыта природа всей мамы Вечная память моему сыну. Вечная скорбь его имени! Вечное почитание его утомленному образу!»

Это Мария Александровна знала наизусть, как ее сын стихотворение про рыжего важного шофера.

Остальная часть «Генерального сочинения» содержала учение об истории аюнитов — о ее начале и близком конце, когда аюниты найдут свой зенит во времени и в природе, когда все три силы — народ аюнитов, время и природа — придут в гармоническое соотношение и их бытие втроем зазвучит как симфония.

Это Марию Александровну мало интересовало. Она искала равновесие своего личного счастья и не вполне осваивала откровения неведомого аюнита.

И только последние страницы книги заставили ее вздрогнуть и забыть в удивленном внимании.

«...Ныне это так же стало возможным, как было в эпоху детства моей родины. Тогда возмущались пучины Материнского океана (Северного Ледовитого. — *Примеч. редактора*), и океан начал заливать нашу землю жесткой мерзлой водой, перемешанной с глыбами льда. Вода ушла, а льды остались. Они долго ползли по холмам нашей просторной земли, пока не стерли их и наша родина не превратилась в бесплодную равнину. Лучшие плодородные почвы на холмах были срезаны льдом, и народ остался в голодном поле. Но беда лучший наставник, а катастрофа народа — организатор его, если еще не обеспокоена его кровь долгой жизнью на земле. Так и тогда: льды разрушили плодоносную землю, лишили наших предков питания и размножения, и гибель опустилась над головою народа. Горячий поток в океане, оттапливавший страну, начал удаляться на север, и стужа завывала над той землей, где цвели сумрачные аргоны. На севере нас сторожил хаос мертвых льдов, на юге лес, набитый темною тучей мощных зверей, наполненный свистом мрачных гадов и пересеченный целыми реками яда зундры (испражнения гигантских змей. — *Прим. редак.*) Народ аюны, народ мужества и чувства уважения к своей судьбе, начал себя умерщвлять, закапывая свои книги — высший дар аюны — в землю, оковав их золотом, пропитав листья составом веньи, дабы они могли уцелеть вечно и не сгнить.

Когда половина народа была покорена смертью и лежала трупами, явился Эйя — хранитель книг — и пошел бродить по опустевшим дорогам и замолкающим жилищам. Он говорил: у нас отнято материнство почвы, погасает теплота воздуха, лед скребет нашу родину и горе тушит мудрость ума и мужество.

У нас остался только свет солнца. Я сделал аппарат — вот он! Страдание научило меня терпению, и дикие годы отчаяния народа я сумел плодотворно использовать. Свет — сила терзаемой мамы (изменяющейся материи — *Прим. редак.*), свет — стихия аэнов; мощь аэнов сокрушительна. Мой аппарат превращает потоки солнечных аэнов в тепло. И не только свет солнца, но и луны и звезд я могу своей простой машиной превратить в тепло. Я могу получить огромное количество тепла, которым можно расплавить горы. Нам теперь не нужен теплый поток океана, чтобы греть нашу землю!

Так Эйя стал водителем жизни и началом новой истории аюны. Его аппарат, состоявший из сложных зеркал, преобразующих свет неба в тепло и в живую силу металла (вероятно, электричество. — *Прим. редак.*), и поныне служит источником народной жизни и довольства.

Равнины родины расцвели, и родились новые дети. Прошел эн (очень длительный промежуток времени. — *Прим. редак.*)

Организм человека был исчерпан. Даже молодой мужчина не мог производить семени, даже сильнейший разум перестал рождать мысль. Долины родины покрылись сумраком последнего отчаяния — человек дошел до предела в самом себе — аюна, солнце нашего сердца, закатывалась навсегда. Перед этим льды были ничто, холод — ничто, смерть — ничто. Человек питался одним презрением к себе. Он не мог ни любить, ни мыслить и даже не мог страдать. Источники жизни иссякли в недрах тела, потому что они были выпиты. У нас были горы пищи, дворцы уюта и кристаллические книгохранилища. Но не было больше судьбы, не стало жизни и жара в теле, и затмились надежды. Человек — рудник, но руда была выработана вся, остались пустынные шахты.

Хорошо погибнуть на крепком корабле в диком океане, но плохо насмерть захлебнуться пищей.

Так было долго. Целое поколение не познало молодости.

Тогда мой сын Рийго нашел исход. Чего не могло дать естество, то дало искусство. Он сохранил остатки живого мозга в себе и сказал нам, что судьба наша кончается, но еще можно открыть ей двери, — нас ждет ясный день. Решение было просто: электромагнитное русло. (В подлиннике: труба для живой силы металла. — *Прим. редак.*) Рийго провел из пространства пищепровод к аэнам нашего мрачного тела, пустил по этому пищепроводу потоки мертвых аэнов (соответствует эфиру. — *Прим. редак.*), и аэны нашего тела, получив избыток пищи, ожили. Так были воскрешены наш мозг, наше сердце, наша любовь к женщине и наша аюна. Но больше того: дети росли скорее в два раза, и жизнь в них пульсировала, как сильнейшая машина. Все остальное — сознание, чувство и любовь — выросло в страшные стихии и напугало отцов. История перестала шествовать и начала мчаться. И ветер судьбы бил нас в незащищенное лицо великими новостями мысли и поступков.

Изобретение моего сына, как все замечательное, имеет серое лицо. Рийго взял два пентра пройи, наполненные трупами аэнов, и поместил в одну пройю. Тогда живые аэны пройи стали быстро размножаться, и вся пройя выросла в пять раз в десять дней. Причина видна и невзрачна: аэны стали больше питаться, потому что запас их пищи увеличился в два раза.

Так Рийго развел целые колонии сытых, быстрорастущих, нен-

моверно множась аэнов. Тогда он взял обыкновенное тело — кусок железа — и мимо него, лишь касаясь железа, начал излучать в направлении звезд поток сытых аэнов, разведенных в колониях. Сытые аэны не перехватывали для пищи трупы своих предков (то есть эфир. — *Прим. редак.*), и они свободно текли к куску железа, где их ждали голодные аэны. И железо начало расти на глазах людей, как растение из земли, как ребенок в животе матери.

Так искусство моего сына оживило человека и начало выращивать вещество.

Но победа всегда подготавливает поражение.

Искусственно откормленные аэны, имея более сильное тело, стали нападать на живых, но естественных аэнов и пожирать их. А так как при всяком превращении вещества есть неустранимые потери, то пожранный маленький аэн не увеличивал тела большого аэна на столько, сколько имел сам, когда был живой. Так вещество то там, то здесь — всюду, куда попадали откормленные аэны (электроны — дальше пользуемся этим современным термином. — *Прим. редак.*) — начало уменьшаться. Искусство Рийго не смогло сделать пищепровод для всей земли, и вещество таяло. Только там, куда был проложен тракт для потока трупов электронов (эфирный тракт. — *Прим. редак.*), вещество росло. Эфирными трактами были снабжены люди, почва и главнейшие вещества для нашей жизни. Все остальное уменьшилось в своих размерах, вещество сгорало, мы жили за счет разрушения планеты.

Рийго исчез из дома. В Материнском океане начала пропадать вода. Рийго знал причину исчезновения влаги и вышел встречать противника. Однажды откормленное и воспитанное им племя электронов, работой времени и естественным отбором, достигло того, что каждый электрон равнялся облаку по объему тела.

В неистовой свирепости шли тучи электронов из недров Материнского океана, колыхаясь, как горы при землетрясении, дыша, как могучие ветры. Аюна будет выпита ими, как обычная вода! Рийго пал. Нельзя вытерпеть взгляд электронов. Гнусна будет смерть от ужаса, но нет спасения больше аюне. Рийго давно пал в безвестности, как камень в колодезь. Слишком медленно идут эти космические звери. Но слишком быстро прошли они путь от частички пройи до живой горы. Я думаю, они тонут в земле, как в твороге, потому что тело их тяжелее свинца. Наверно, Рийго пал не зря, а имея решение и способ победить неизвестные элементарные тела. В быстром росте, в бешеном действии естественного отбора — сила электрона. В этом и слабость их, потому что ясно указывает на предельную простоту их психики и физиологической организации, а стало быть, обнаруживает беззащитное уязвимое место. Рийго постиг эту очевидность, но убит лапой электрона, тяжелой, как пласт платины...»

Мария Александровна поникла над книгой, Егорушка спал, часы пробили двенадцать ночи — самый страшный час одиночества, когда спят все счастливые.

— Неужели так труден корм человеку? — громко сказала Мария Александровна. — Неужели всегда победа — предвестник поражения?

Тишина в Москве. Последние трамваи спешат в парк, искря контактами.

— Тогда какой победой возместится мрачная смерть моего мужа? Какая душа мне заменит его сумрачную потерянную любовь?

И она загорелась кипящей скорбью и заплакала слезами, убивающими тело скорее, чем льющаяся кровь. Ее мысль металась в кошмаре: гул живых мрачных электронов терзал мудрую беззащитную Аюну, реки зеленого яда зундры заливали цветущую тундру, и в зеленой влаге плыл, томясь и захлебываясь, Михаил Кирпичников, ее единственный друг, утраченный на веки веков.

В Серебряном бору, близ крематория, стояло здание нежного архитектурного стиля. Оно исполнено было как сфероид — образ космического тела, но не касалось земли, удерживаемое пятью мощными колоннами. От высшей точки сфероида уходила в небо телескопическая колонна — в знак и в угрозу мрачному стихийному миру, отнимающему живых у живущих, любимых у любящих, — в надежде, что мертвые будут отняты у вселенной силою восходящей науки, воскрешены и возвратятся к живым.

Это был Дом воспоминаний, где стояли урны с пеплом погибших людей.

Седая, и от старости прекрасная, женщина вошла с юношей в Дом.

Тихо прошли они в дальний конец огромного зала, освещенного тихим синим светом памяти и тоски.

Урны стояли в ряд, как некие светильники с потухшим светом, освещавшие некогда неизвестную дорогу.

На урнах были прикреплены мемориальные доски.

«Андрей Вогулов. Пропал без вести в экспедиции по подводному исследованию Атлантиды.

В урне нет праха — лежит платок, смоченный его кровью во время ранения на работах на дне Тихого океана. Платок доставлен его спутницей».

«Петр Крейцкопф, строитель первого снаряда для достижения Луны. Улетел в своем снаряде на Луну и не возвратился. Праха в урне нет. Сохраняется его детское платье. Честь великому технику и мужественной воле!»

Седая женщина, сияющая удивительным лицом, прошла с юношей дальше.

Они остановились у крайней урны.

«Михаил Кирпичников, исследователь способа размножения материи, сотрудник доктора физики Ф. К. Попова, инженер Погиб на «Калифорнии» под упавшим болидом. В урне нет праха. Хранится его работа по искусственному кормлению и выращиванию электронов и прядь волос».

Внизу висела вторая малая доска:

«Чтобы найти пищу электронам, он потерял свою жизнь и душу своей подруги. Сын погибшего осуществит дело отца и возвратит матери сердце, растраченное отцом. Память и любовь великому искателю!»

Бывает старость как юность: ожидающая спасения в чудесной опоздавшей жизни.

Мария Александровна Кирпичникова утратила молодость напрасно, теперь ее любовь к мужу превратилась в чувство страстного материнства к старшему сыну Егору, которому шел уже двадцать пятый год. Младший сын Лев учился, был общителен, очень красив, но не возбуждал в матери того резкого чувства нежности, бережности и надежды, как Егор.

Егор лицом напоминал отца — серое, обычное, но необычайно влекущее скрытой значительностью и бессознательной силой.

Мария Александровна взяла Егора за руку, как мальчика, и пошла к выходу.

В вестибюле Дома воспоминаний висела квадратная золотая доска с серыми платиновыми буквами:

«Смерть присутствует там, где отсутствует достаточное знание физиологических стихий, действующих в организме и разрушающих его».

Над входом в Дом висела арка со словами:

«Вспоминай с нежностью, но без страдания: наука воскресит мертвых и утешит твое сердце».

Женщина и юноша вышли на воздух. Летнее солнце ликовало над полнокровной землей, и взорам двух людей предстала новая Москва — чудесный город могущественной культуры, упрямого труда и умного счастья.

Солнце спешило работать, люди смеялись от избытка сил и жадничали в труде и в любви.

Всем их обеспечивало солнце над головой — то самое солнце, которое когда-то освещало дорогу Михаилу

Кирпичникову в лимонном округе Риверсайда, — старое солнце, которое сияет тревожной страстной радостью, как мировая катастрофа и зачатие вселенной.

Егор Кирпичников кончил Институт имени Ломоносова и стал инженером-электриком.

Дипломный проект он сдавал на тему:

«Лунные возмущения электросферы Земли».

Егору мать передала все книги и рукописи отца, в том числе труд Ф. К. Попова, который начисто переписал Михаил Кирпичников после смерти Попова.

Егор познакомился с работами Попова, редкой литературой аюнитов и всеми современными гипотезами по выкармливанию и воспитанию электронов. Что электроны были живыми существами — отпали все сомнения. Область электронов уже твердо определилась как микробиологическая дисциплина.

Егор избрал темой своей жизни конечную разгадку вселенной, и он не напрасно, подобно своему отцу, искал первичное чрево мира в межзвездном пространстве — в таинственной жизни электронов, составляющих эфир.

Егор верил, что, кроме биологического, существует электротехнический способ искусственного размножения вещества, и искал его со всею свежестью и страстью молодости, не тронутой женской любовью.

В это лето Егор рано кончил свою работу в лаборатории профессора Маранда, которому он ассистировал по кафедре Строения Эфира.

Маранд в мае уехал в Австралию к своему другу, астрофизику Товту, и Егор наслаждался отдыхом, летом и собственными нечаянными мыслями.

Отдых — лучшее творчество, — писал когда-то в письме Марии Александровне отец Егора, бродя по тундре вокруг вертикального термического туннеля, где он служил некоторое время производителем работ.

Егор уходил из дому утром. Его нес метрополитен под Красными воротами, под площадью Пяти Вокзалов и выносил далеко за город, за Новые Сокольники, в кислородные роши. Там шествовал Егор, чувствуя давление крови, свободную вибрацию мозга и острую тоску приближающейся любви.

И раз было так. Егор проснулся — на дворе стоял уже великий торжественный летний день. Мать спала,

зачитавшись накануне до глубокой ночи. Егор оделся, прочитал утреннюю газету, прислушался к звенящему напряжению удивительного города и решил куда-нибудь уйги. От отца или от давних предков в нем сохранилась страсть к движению, странствованию и к утолению чувства зрения. Быть может, его далекие деды ходили когда-то с сумочками и палочками на богомолье из Воронежа в Киев, не столько ради спасения души, сколько из любопытства к новым местам; может быть, еще что — неизвестно. И Егор посильно удовлетворял свое тревожное чувство бродяги в районе узкого радиуса

Подземка вынесла Егора за Останкино и там оставила одного. Егор вышел на глухую полевую дорогу, снял шляпу и пробормотал забытое стихотворение, вычитанное в книгах матери:

Среди людей, мне близких и чужих,
Считаюсь я без цели, без желанья...

Дальше он вспомнить слов не мог, но вспомнил другое:

Любимый твой умер далеко,
Как камень в колодезь упал.
В урне лежит его локон,
А голову он потерял.

Эту песнь иногда пела мать Егора, когда ее охватывала тоска о муже и она искала от нее защиты у детей и у простой песенки.

— Так, — сказал себе Егор, — но что же производит эфир? — И лег в траву: — А черт его знает что!

Солнце гладило землю против шерсти — и земля вздымалась травами, лесами, ветрами, землетрясениями и северными сияниями.

Егор небрежно посмотрел на солнце — и сразу горячая волна прошла в его горле и остановилась в голове.

Он поднялся и ничего не мог сообразить.

Как будто его обняла сзади внезапно утраченная любимая женщина и сразу скрылась.

Как в женщину, вонзилось в его сознание сияющая догадка и прополосовала мозг, как падающая звезда. Это было так же странно и безумно, как ребенок хватается сосцы матери, как момент зачатия в девственном теле. Он ощутил страсть и успокоение, как цвет, сбросивший плодотворную пыль в материнское пространство.

Утратив нечаянную мысль, Егор крикнул от досады и пошел прочь со случайного места.

Но потом к нему не спеша возвратились все неясные мысли, как дети со двора, нангравшись и слабо сопротивляясь матери.

Четвертого января в газете «Интеллектуальный труженик» была напечатана заметка:

«Электроцентральный жизни»

Молодым инженером Г. Кирпичниковым в лаборатории эфира проф. Маранда производятся в течение ряда месяцев интересные опыты над искусственным производством эфира. В идее работа инженера Кирпичникова заключается в том, что электромагнитное поле высокой частоты перемен убивает в материи живые электроны; мертвые же электроны, как известно, составляют тело эфира. Высоту технического искусства инженера Кирпичникова можно понять из того, что для убийства электронов нужно переменное поле не менее 10^{12} периодов в секунду.

Высокочастотную машину Кирпичникова представляет само солнце, свет которого разлагается сложной системой интерферирующих поверхностей на составные энергетические элементы: механическую энергию давления, химическую энергию, электрическую и т. д.

Кирпичникову нужна, собственно, одна электрическая энергия, которую он, посредством особого прибора из призм и дефлекторов, концентрирует в очень ограниченном пространстве и достигает нужной частотности.

Электромагнитное поле, по существу, есть колония электронов. Заставляя быстро пульсировать это поле, Кирпичников добился, что живые электроны, составляющие то, что называется полем, погибали; электромагнитное поле превращалось по этой причине в эфир — механическую массу тел мертвых электронов.

Получая некоторые эфирные пространства, Кирпичников опускал в них какое-либо обыкновенное тело (например, самопис Ваттермана), и это тело за трое суток увеличивалось в два раза по своему объему.

В веществе самописа происходил следующий процесс: живые электроны, существующие в веществе самописа, получали усиленное питание за счет окружаю-

ших трупов электронов и быстро размножались, увеличиваясь также в своем объеме. Это вызывало рост всего вещества самописа. По мере поглощения эфира живыми электронами рост и размножение их прекращались.

Кирпичниковым, на основании своих работ, установлено, что в массиве солнца зарождаются в невероятных количествах исключительно живые электроны; но именно средоточие их гигантского количества в относительно тесном месте вызывает такую страшную борьбу между ними за источники питания, что почти все электроны погибают нацело. Борьба электронов за питание обуславливает высокую пульсацию солнца. Физическая энергия солнца имеет, так сказать, социальную причину — взаимную конкуренцию электронов. Электроны в солнечном массиве живут всего несколько миллионных долей секунды, будучи истребляемы более сильными противниками, которые, в свою очередь, погибают под ударами еще более мощных конкурентов и т. д. Еле успев пожрать труп врага, электрон уже гибнет — и очередной победитель поедает его вместе с неперевавленными клочьями тела ранее убитого электрона.

Движения электронов в солнце настолько стремительны, что огромное количество их вытесняется за пределы солнца и улетает в мировое пространство со скоростью трехсот тысяч километров в секунду, производя эффект светового луча. Но на солнце идет настолько грозная и опустошительная борьба, что все электроны, покинувшие солнце, бывают мертвы и летят за счет либо инерции движения, когда они были живы, либо от удара противника.

Однако Кирпичников убежден, что бывают редчайшие исключения — раз в зоне времен, — когда электрон может живым оторваться от солнца. Тогда, имея вокруг себя эфир — обильную питательную среду, — он служит отцом новой планеты. В дальнейшем инж. Кирпичников предполагает производить эфир в больших количествах, преимущественно из высоких слоев атмосферы, пограничных с эфиром. Электроны там менее активны, и на истребление их потребуется меньше энергии.

Кирпичников заканчивает свой новый метод искусственного производства эфира; новый способ заключается в электромагнитном русле, где действует высокая частота для умерщвления электронов. Электромагнит-

ное высокочастотное русло направляется от земли к небу, и в нем, как в трубе, образуется поток мертвых электронов, подгоняемый давлением солнечного света к земной поверхности.

У земной поверхности эфир собирается, аккумулируется в особые сосуды и затем идет на питание тех веществ, объем которых желают увеличить.

Инж. Кирпичников произвел и обратные опыты. Действуя высокочастотным полем на какой-либо предмет, он достигал как бы угасания предмета и полного его исчезновения. Очевидно, убивая электроны в веществе предмета. Кирпичников уничтожил самую сокровенную природу вещества, ибо только живой электрон — частица материи, мертвый же принадлежит эфиру. Несколько предметов таким способом Кирпичников начисто превратил в эфир, в том числе и самопис Ваттермана, который он сначала «откормил».

Совокупность всех работ Кирпичникова указывает, какую гитаническую силу созидания и истребления получило человечество в его изобретении.

По мнению Кирпичникова, благодаря постоянному снабжению земного шара эфиром, текущим из солнца, земля в целом постоянно увеличивается в своих размерах и в удельном весе своего вещества. Это обеспечивает прогресс человечества и подводит физический базис под исторический оптимизм.

Кирпичников говорит, что он в своем изобретении всецело скопировал деятельность солнца по отношению к земле и лишь ускорил его работу.

В связи с этими поражающими открытиями невольно приходит на память имя Ф. К. Попова, оставившего нам свой изумительный труд, и, наконец, отца изобретателя, странно и трагически погибшего инженера Михаила Кирпичникова».

Как музыка, лилась работа у Кирпичникова, как любовь, он ощущал в себе страсть к неуловимому нежному телу — эфиру. Когда он писал пояснительную записку «О возможности и нормах дополнительного питания электронов», то чувствовал аппетит, и его полные юношеские губы бессознательно смачивались слюной.

Корреспондентов газет он не принимал, обещая скоро выпустить небольшой труд информационного характера и публично продемонстрировать свои опыты.

Однажды Егор Кирпичников заснул у стола, но сразу проснулся. Была ночь—глубокая и неизвестная, как все ночи над живой землей. Тот напряженный и тревожный час, когда по стихам забытого поэта:

И по хребту электроволн
Плывущее внимание,
Как ночь в бульварном, мировом
Таинственном романе

В это время, когда человеку надо либо гворчество, либо зачатие новой жизни, в дверь Егора постучали. Значит, пришел кто-то близкий или важный, кого впустила даже мать Егора, жестоко хранившая рабочий и трудный покой своего сына.

— Да! — сказал Егор и полуобернулся.

Вошла редкая гостья — Валентина Крохова, дочь инженера Крохова, друга и сотрудника отца Егора по работе в тундре на вертикальном гуннеле. Валентине было двадцать лет — возраст, когда выносятся решение: что же делать — полюбить ли одного человека или любовную силу обратить в страсть познания мира? Или, если жизнь в тебе так обильна, объять то и другое?

Нам это непонятно, но тогда будет так. Наука стала жизненной физиологической страстью, такой же неизбежной у человека, как пол.

И эта раздвоенность неясного решения была выражена на лице Валентины Кроховой. Ищущая юность, жадные глаза, эластичная душа, не нашедшая центра своего тяготения и заключенная в оболочку пульсирующих мышц и бьющейся крови,— вот красота Валентины Кроховой. Нерешенность, бродяжничество мысли и неверные черты доверчивого лица — удивительная красота молодости человека.

— Ну, что скажешь мне, Валя? — спросил Егор.

— Да так кое-что! Ты все занят ведь? — ответила Валентина.

— Нет, не особенно: и занят, и нет! Живу как в бреду; сам еще не знаю, что у меня выйдет!

— Да уж вышло, Егор! Будет тебе скромничать!

— Не совсем, Валя, не совсем! Я открыл еще нечто такое, что сердце останавливается...

— Что это такое? Про эфирный тракт все?

— Нет, это другое совсем. Эфирный тракт — пустяки!.. Как вселенная, Валя, родилась и рождается, как

вещество начинает дышать в недрах хаоса, свободы и узкой неизбежности мира! Вот, Валя, где хорошо! Но я только чувствую, а ничего не знаю...Ну, ладно! А где твой отец?

— Отец на Камчатке...

— Что, все эту несчастную планетку бурят? Черт, даже мне она надоела! Сколько лет ведь прошло, как она села с неба, еще отец был жив!..

— Да, все бурят, Егорушка!

— Ну, а что они там находят — отец не пишет?

— Пишет, что находят сплавы разных металлов, но все эти металлы известны людям.

— Так, а еще что пишет?

— Еще пишет, что нашли какой-то круглый предмет...

— Ну, какой? Говори скорее!..

— И этот шар ничему не поддается — никакая механическая обработка его не берет и ни на какой химический реактив он не отвечает. Полный нейтралитет!

— Ого! Ведь ты химик, Валя, что это, как ты думаешь?

— Ну, куда мне, Егор, что ты? Я тебя хотела спросить.

— А черт его знает что это такое! Мало ли чего нет в этой пучине, откуда к нам свет идет и метеоры летят!

— А когда, Егор, ты покажешь свой эфирный тракт?

— Да вот, как-нибудь покажу. Сначала книжку напишу.

— Кому ты ее посвятишь?

— Отцу, конечно — инженеру Михаилу Кирпичникову, страннику и электротехнику!

— Это очень хорошо, Егор! Чудесно, как в сказке, — страннику и электротехнику!

— Да, Валя. Я забыл лицо отца, помню, что он был молчаливый и рано вставал. Как странно он умер, ведь он почти открыл эфирный тракт!

— Да, Егор! И мать твоя старушкой стала!.. Может, ты проводишь меня немного? А то поздно, а ночь хороша — я нарочно тихонько шла сюда.

— Провожу, Валя. Только недалеко, я хочу выспаться. Надо через два дня книжку в печать отдавать, а я только половину написал — не люблю писать, люблю что-нибудь существенное делать...

Они вышли в вестибюль, спустились на лифте и очу-

тились на воздухе, в котором бродили усталые ночные течения.

Тихо двигалась по небу луна. Быть может, там сейчас лежало оледенелое тело инженера Крейцкопфа, навеки одинокое.

Егор и Валя шли под руку. В голове Егора струились неясные мысли, угасая, как ветры в диком и темном поле, зажигаясь от контакта с милой девушкой, такой человеческой и женственной. Но Кирпичников изобретал не одной головой, а также сердцем и кровью, поэтому Валентина в нем возбуждала только легкое чувство тоски. Силы его сердца были мобилизованы на другое.

Москва засыпала. Невнятно и смутно шумели какие-то далекие машины. Бессонно стояла луна, маня человека к полету, странствию и глубокому вздоху в межпланетной бездне.

Егор пожал руку Вале, хотел ей что-то сказать, — какое-то медленное и девственное слово, которое каждый человек говорит по разу в жизни, но ничего не сказал и молча пошел домой.

Мать его спала, и чертежный стол томился по нем.

Сняв башмаки и потушив свет, Егор вдруг вспомнил про находку Крохова на камчатском болиде — молчаливый шар, который нельзя ни разрубить, ни разесть кислотами.

— Спрессованный эфир! — вслух сказал Егор. — Трупы электронов, втиснутые один в другой! Да — их действительно ничем не возьмешь — смерть примитивная и абсолютная!

Егор укрылся одеялом и уже сквозь сон подумал: «А что спрессовало эфир?» — и заснул.

Во сне он увидел огромную роскошную книгу, а себя — семилетним мальчиком. В книге он прочел середину страницы:

«Жизнь — порочный факт, каждое существо норовит сделать такое, чего никогда не было и не будет, поэтому многие явления живой природы необъяснимы и не имеют подобия во вселенной. Так умирающий электрон, ища в эфире труп своей невесты, может стянуть к себе весь космос, сплотить его в камень чудовищного удельного веса, а сам погибнет в его каменном центре от отчаяния, масштаб которого подобен расстоянию от Земли до Млечного Пути. Пусть тогда догадается ученый

о тайне небесного мертвого камня!.. Пусть родится мозг, могущий вместить чудовищную сложность и страшную порочную красоту вселенной!»

Проснувшись, Егор забыл свой сон навсегда, на всю жизнь.

Двадцатого марта не так велики дни и кратки ночи, чтобы утренняя заря загорелась в час пополудни. Так еще не бывало никогда, даже старики не помнят.

А однажды случилось так. Московские люди расходились по домам — кто из театра, кто с ночной работы на заводе, кто просто с затянувшейся беседы у друга.

В этот вечер в Большом зале Филармонии был концерт знаменитого пианиста Шахтмайера, родом из Вены. Его глубокая подводная музыка, полная того величественного и странного чувства, которое нельзя назвать ни скорбью, ни экстазом, — потрясла его слушателей. Молчаливо расходились люди из Филармонии, ужасаясь и радуясь новым и неизвестным недрам и высотам жизни, о которых рассказал Шахтмайер стихийным языком музыки.

В Политехническом музее в половине первого кончился доклад Макса Валира, возвратившегося с полдороги на Луну. В ракете его конструкции обнаружился просчет; кроме того, среда между Землей и Луной оказалась совсем иной, чем о ней предполагали с Земли, поэтому Валир вернулся обратно. Аудитория была взволнована до крайней степени докладом Валира и, заряженная волей и энтузиазмом великой попытки, со страшным шумом, лавой растекалась по Москве. В этом отношении слушатели Валира и Шахтмайера резко отличались друг от друга.

А высоко над площадью Свердлова в этот миг засветилась синяя точка. Она в секунду удесятилась в размерах и затем стала излучать из себя синюю спираль, тихо вращаясь и как будто разматывая клубок синего вязкого потока. Один луч медленно влекся к земле, и было видно его содрогающееся движение, как будто он встречал упорные встречные силы и, пронзая их, тормозил свой путь. Наконец столб синего немерцающего мертвого огня установился между землей и бесконечностью, а синяя заря охватила все небо. И сразу ужаснуло всех, что исчезли все тени: все предметы поверхности земли были окунуты в какую-то немую, но все

пронзающую влагу — и не было ни от чего тени.

В первый раз с постройки города в Москве замолчали: кто говорил, тот оборвал свое слово, кто молчал, тот ничего не воскликнул. Всякое движение остановилось: кто ехал, тот забыл продолжать путь, кто стоял на месте, тот не вспомнил о цели, куда его влекло.

Тишина и синее мудрое сияние стояли одни над землею, обнявшись.

И было так безмолвно, что, казалось, звучала эта странная заря — монотонно и ласково, как пели сверчки в нашем детстве.

В весеннем воздухе каждый голос звонок и молод — пронзительно и удивленно крикнул женский голос под колоннами Большого театра: чья-то душа не выдержала напряжения и сделала резкое движение, чтобы укрыться от этого очарования.

И сразу тронулась вся ночная Москва: шоферы нажали кнопки стартеров, пешеходы сделали по первому шагу, говорившие закричали, спящие проснулись и бросились на улицу, каждый взор обратился навзничь, к небу, каждый мозг забился от возбуждения.

Но синяя заря начала угасать. Темнота заливала горизонты, спираль свертывалась, забираясь в глубину Млечного Пути, затем осталась яркая вращающаяся звезда, но и она таяла на живых глазах — и все исчезло, как беспамятное сновидение. Но каждый глаз, глядевший на небо, еще долго видел там синюю кружащуюся звезду, — а ее уже не было, и по небу шел обычный звездный поток.

И всем стало отчего-то скучно, хотя никто почти не знал, в чем дело.

Утром в «Известиях» было помещено интервью с инженером Кирпичниковым.

«Объяснение ночной зари над миром.

С большим трудом наш корреспондент проник в Микробиологическую лабораторию имени проф. Маранда. Это произошло в четыре часа ночи, непосредственно после оптического явления в эфире. В лаборатории корреспондент застал спящего Г. М. Кирпичникова — известного инженера, конструктора приборов для размножения материи, открывшего так называемый «эфирный тракт».

Наш корреспондент не осмелился будить усталого

изобретателя, однако обстановка лаборатории позволила увидеть все результаты ночного эксперимента.

Кроме приборов, необходимых для производства эфирного тракта и аккумуляции мертвых электронов, на столе изобретателя лежала старая, желтая рукопись. На открытой странице ее было написано: «Дело техников теперь разводить железо, золото и уголь, как скотоводы разводят свиней». Кому принадлежат эти слова, корреспондентом пока не установлено.

Половину экспериментальной залы занимало блестящее тело. По рассмотрении это оказалось железом. Форма железного тела — почти правильный куб, размером $10 \times 10 \times 10$ метров. Непонятно, каким образом такое тело могло попасть в залу, так как существующие в ней окна и двери позволяют внести тело размером не больше половины указанных. Остается одно предположение — железо в залу ниоткуда не вносилось, а выращено в самой зале. Эта достоверность подтверждена журналом экспериментов, лежавшим на том же столе, где и рукопись. Рукою Г. М. Кирпичникова там записаны размеры подопытного тела: «Мягкое железо, размером $10 \times 10 \times 10$ сантиметров — 1 ч. 25 мин., оптимальный вольтаж». Дальнейших записей в журнале не имеется. Таким образом, в течение 2—3 часов железо в объеме увеличилось в 100 раз. Такова сила эфирного питания электронов.

В зале стоял какой-то ровный и постоянный шум, на который наш корреспондент вначале не обратил внимания. Осветив залу, наш сотрудник обнаружил некое чудовище, сидящее на полу близ железной массы. Рядом с неизвестным существом лежали сложные части разрушенного прибора, как бы пережатые вольтовой дугой. Животное издавало ровный стон. Корреспондент его сфотографировал (см. ниже). Наибольшая высота животного — метр. Наибольшая ширина — около половины метра. Цвет его тела — красно-желтый. Общая форма — овал. Органов зрения и слуха — не обнаружено. Кверху поднята огромная пасть с черными зубами, длиною каждый по 3—4 сантиметра. Имеются четыре короткие ($\frac{1}{4}$ метра) мощные лапы с налившимися мускулами; в обхвате лапа имеет не менее полуметра; кончается лапа одним могущественным пальцем в форме эластичного сверкающего копыя. Животное стоит на голстом сильном хвосте, конец которого шевелится, сверкая

тремя зубьями. Зубы в отверстой пасти имеют нарезку и вращаются в своих гнездах. Это странное и ужасное существо очень прочно сложено и производит впечатление живого куска металла.

Шум в лаборатории производил гул этого гада: вероятно, животное голодно. Это, несомненно, искусственно откормленный и выращенный Кирпичниковым электрон.

В заключение редакция поздравляет читателей и страну с новой победой научного гения и радуется, что эта победа выпала на долю молодого советского инженера.

Искусственное выращивание железа и вообще размножение вещества даст Советскому Союзу такие экономические и военные преимущества перед остальной, капиталистической частью мира, что если бы капитализм имел чувство эпохи и разум истории, он бы сдался социализму теперь же и без всяких условий. Но, к сожалению, империализм никогда не обладал такими ценными качествами.

Реввоенсоветом и ВСНХ Союза уже приняты соответствующие меры для обеспечения монопольного пользования государством изобретениями Г. М. Кирпичникова.

Г. М. Кирпичников — член партии и Исполбюро КИМа, и от него еще несколько месяцев назад правительством получено согласие на передачу всех своих открытий и конструкций в пользу государства, и притом безвозмездно. Правительство, конечно, целиком и полностью обеспечит Г. М. Кирпичникову возможность дальнейшей работы.

Сегодня в 1 час дня Г. М. Кирпичников будет иметь свидание с предсовнаркома Союза т. Чаплиным».

Вся Москва — этот новый Париж социалистического мира — пришла в исступление от такой заметки. Живой, страстный, общественный город весь очутился на улицах, в клубах, на лекциях — везде, где пахло хотя бы маленькими новыми сведениями о работах Кирпичникова.

День родился солнечным, снег подтаивал, и невероятная надежда разрасталась в человеческой груди. По мере движения солнца к полуденному зениту все яснее

в мозгу человека освещалось будущее, как радуга, как завоевание вселенной и как синяя бездна великой души, обнявшей стихию мира, как невесту.

Люди не находили слов от радости технической победы, и каждый в этот день был благороден.

Что может быть счастливее и тревожнее того дня, который служит кануном технической революции и неслыханного обогащения общества?

В «Вечерней Москве» появилось описание рабочего собрания завода «Генератор», где Егор Кирпичников отбывал свою двухлетнюю студенческую практику.

На собрание прибыли предсовнаркома Чаплин и Кирпичников. Их встретили восемь тысяч мастеровых и специалистов, стоя на ногах.

Кирпичников сделал доклад об открытии эфирного тракта и его промышленной эксплуатации в ближайшем будущем. Он начал с работ аюнитов в этом направлении, подробно остановился на трудах Ф. К. Попова, которого и следует считать изобретателем эфирного тракта, затем изложил историю поисков своего отца и закончил кратким указанием на свою работу, завершающую труд всех предшественников.

Тов. Чаплин доложил о том, что намерено сделать правительство, чтобы изобретение Кирпичникова принесло наибольшую пользу обществу.

Мастеровые подняли на руки Кирпичникова и Чаплина и пронесли их между моторами и станками до автомобилей.

Чаплин поехал в Кремль, а Кирпичников — к матери на Большой Златоустинский.

Как в старину, женщины теперь носили накидки и длинные платья, закрывающие ноги и плечи. Любовь была редким чувством, но считалась признаком высокого интеллекта.

Девственность женщин и мужчин стала социальной моралью, и литература того времени создала образцы нового человека, которому незнаком брак, но присуще высшее напряжение любви, утоляемое, однако, не сожительством, а либо научным творчеством, либо социальным зодчеством.

Времена полового порока угасли в круге человечества, занятого устроением общества и природы.

Наступило новое лето. Егор Кирпичников устал от эфирного тракта и беспомощно затосковал по далеким и смутным явлениям, как это с ним бывало не раз.

Он снова убивал дни, скитаясь и наслаждаясь одиночеством — то в Останкино, то в Серебряном бору, то уезжая на Ладожское озеро, которое он так любил.

— Тебе, Егор, влюбиться надо! — говорили ему друзья. — Эх, напустить бы на тебя хорошую русскую девушку, у которой коса травую пахнет!..

— Оставьте, — отвечал Егор. — Я сам себя не знаю куда деть! Знаете, я никак не мог устать, — работаю до утра, а слышу, что мозг скрежещет и спать не хочет!

— А ты женись! — советовали все-таки ему.

— Нет, когда полюблю прочно, в первый раз и на всю жизнь, тогда...

— Что тогда?

— Тогда... уйду странствовать и думать о любимой.

— Станный ты человек, Егор! От тебя каким-то старьем и романтизмом пахнет... Инженер, коммунист, а мечтает!

В мае был день рождения Валентины Кроховой. Валентина весь день читала Пушкина и плакала: ей сравнялось двадцать лет. Вечером она надела серое платье, поцеловала перстень на пальце — подарок отца — и стала ждать Егора с матерью и еще двух подруг. Она убрала стол, в комнате пахло жимолостью, полем и чистым телом человека.

Огромное окно было распахнуто, но видно в него одно небо и шевелящийся воздух на страшной высоте.

Пробило семь часов. Валентина села за рояль и сыграла несколько этюдов Шахтмайера и Метнера. Она не могла отделаться от своей сердечной тревоги и не знала, что ей делать — расплакаться или сжать зубы и не надеяться.

Весенняя природа волновалась страстью размножения и жаждала забвения жизни в любви. И в круг этих простых сил была включена Валентина Крохова и не могла от них отбиться. Ни разум, ни чужое страдание в поэмах и в музыке — ничто не помогло горю ее молодости. Ей нужен был поцелуй, а не философия и даже не красота. Она привыкла честно мыслить и понимала это.

В восемь часов к ней постучали. Принесли телеграм-

му от Егора. В ней стояли странные, шутливые и жестокие слова, и притом в стихах, к которым Егор питал влечение с детства:

Дарю тебе луну на небе
И всю живую траву на земле, —
Я одинок и очень беден,
Но для тебя — мне нечего жалеть.

Валентина не поняла, но к ней вошли веселые подруги.

В одиннадцать часов Валентина выпроводила подруг и пошла к Егору, зажженная темным отчаянием.

Ее встретила Мария Александровна. Егора дома не было уже вторые сутки. Валентина посмотрела на бланк телеграммы: она была подана из Петрозаводска.

— А я думала, он у вас будет сегодня вечером! — сказала Мария Александровна.

— Нет, его у меня не было!

И обе женщины молча сели, ревнуя друг к другу утраченного и томясь одинаковым горем.

В августе Мария Александровна получила письмо от Егора из Токио.

«Мама. Я счастлив и кое-что постиг. Конец моей работы близок. Только бродя по земле, под разными лучами солнца и над разными недрами, я способен думать. Я теперь понял отца. Нужны внешние силы для возбуждения мыслей. Эти силы рассеяны по земным дорогам, их надо искать и под них подставлять голову и тело, как под ливни. Ты знаешь, что я делаю и ищу — корень мира, почву вселенной, откуда она выросла. Из древних философских мечтаний это стало научной задачей дня. Надо же кому-нибудь это делать, и я взялся. Кроме того, ты знаешь мои живые мускулы, они требуют напряжения и усталости, иначе я бы затомился и убил себя. У отца тоже было это чувство; быть может, это болезнь, быть может, это дурная наследственность от предков — пеших бродяг и киевских богомольцев. Не ищи меня и не тоскуй, — сделаю задуманное, тогда вернусь. Я думаю о тебе, ночуя в стогах сена и в куреньях рыбаков. Я тоскую о тебе, но меня гонят вперед мои беспокойные ноги и моя тревожная голова. Быть может, верно, жизнь — порочный факт, и каждое дыша-

щее существо — чудо и исключение. Тогда я удивляюсь, и мне хорошо думать о своей милой матери и неомощенном отце.

Егор».

Тридцать первого декабря в Москве было получено известие о смерти Егора Кирпичникова в Буэнос-Айресе¹, в тюрьме. Он был арестован вместе с бандитами, грабившими скорые поезда. В тюрьме он заболел тропической малярией. Вся шайка была приговорена к повешению. Так как Кирпичников не мог идти на виселицу, валяясь в предсмертном бреду, то ему дали яду, и он, не помня уже ничего о жизни, скончался.

Труп его, наравне с повешенными бандитами, был брошен в илистые воды Амазонки и смыт в Тихий океан¹. Виселицы стояли на самом берегу Амазонки; их также после казни бросили в реку, и они поплыли, гадя трупы в своих мертвых петлях.

На запросы советского правительства о такой расправе с человеком, который не мог быть преступником и попал в шайку по неизвестному случаю, бразильское¹ правительство ответило, что оно не знало, что в его руках Кирпичников; при аресте же он отказался назвать себя, а потом заболел и ни разу не приходил в сознание во время следствия.

Мария Александровна поставила новую урну в Доме воспоминаний в Серебряном бору, рядом с урной своего мужа.

На ней значилось:

«Егор Кирпичников. Погиб 29 лет. Изобретатель эфирного тракта — последователь Ф. К. Попова и своего отца. Вечная слава и скорбная память зодчему новой природы».

¹ Так в рукописи.

ЕПИФАНСКИЕ ШЛЮЗЫ

М. А. Кашинцевой

1

«Сколь разумны чудеса природы, дорогой брат мой Бертран! Сколь обильна сокровенность пространств, то непостижно даже самому могучему разумению и нечувственно самому благородному сердцу! зришь ли ты, хотя бы умозрительно, местожительство своего брата в глубине азийского континента? Ведомо мне, того ты не умопостигаешь. Ведомо мне, что твои взоры очарованы мног шумной Европой и многолюдством родного моего Ньюкестля, где мореплавателей всегда изрядно и есть чем утешиться образованному взору.

Тем усерднее средоточится скорбь во мне по родине, тем явственней свербит во мне тоска пустынножительства.

Россы мягки нравом, послушны и терпеливы в долгих и тяжких трудах, но дики и мрачны в невежестве своем. Уста мои срослись от безмолвия просвещенной речи. Токмо условные сигналы десятским я подаю на сооружениях своих, а они команду рабочим громко говорят.

Натура в сих местах обильна: корабельные леса все реки в уют одели, да и равнины, почитай, ими сплошь укрыты. Алчный зверь наравне с человеком себе жизнь промышляет, и сельские россы великое беспокойство от них держат.

Однако зерна и говядины здесь вдосталь, и обильное питание утучнение мне учинило, несмотря на мою душевную скорбь об Ньюкестле.

Это письмо не столь подробно, как предыдущее. Купцы, отправляющиеся в Азов, Кафу и Константинополь, уже починили свои корабли и готовятся к отлучке. С ними я и посылаю эту графическую посылку, дабы она скорее достала Ньюкестля. А негоцианты спешат, ибо Танаид¹ может усохнуть и тогда не поднимет грузные

¹ Дон.

корабли. А просьба моя невелика, и тебя с такого дела станет.

Царь Петер весьма могучий человек, хотя и разбродный и шумный понапрасну. Его разумение подобно его стране: потаенно обильностью, но дико лесной и зверной очевидностью.

Однако к иноземным корабельщикам он целокупно благосклонен и яростен на щедрость им.

На устье реки Воронеж построен мной двухкамерный шлюз с перемычкой, что дало помощь починкам кораблей на суше, не причиняя им большой ломки. Устроил я также большую перемычку и шлюз с воротами, придав ему размеры, достаточные для пропуска воды. Потом устроил другой шлюз с двумя большими воротами, через которые могли бы проходить большие корабли так, что их можно бы запираť во всякое время в пространстве, огражденном перемычкою, и спускать из него воду, когда корабли войдут в него.

И в той работе прошло шестнадцать месяцев. А с тем пришла другая работа. Царь Петер остался доволен трудами моими и приказал строить другой шлюз, выше, дабы сделать реку Воронеж судоходною до самого города для кораблей в восемьдесят пушек. И эту тягость я снес в десять месяцев, и ничего с сооружениями моими не станется, пока свет стоит. Хотя и слаб грунт в месте шлюза и били могучие ключи. Немецкие помпы стали слабосильны от ключей, шесть недель стояла работа от обильности тех ключей. Тогда мы изготовили машину, коя двенадцать бочек воды в минуту истребляла и работала без утиха восемь месяцев, и тогда мы посуху в глубь котлована пошли.

После столь понудных трудов Петер поцеловал меня и вручил тысячу рублей серебром, что немаловажные деньги. Еще сказал мне царь, что и Леонардо да Винчи, изобретатель шлюзов, не устроил бы лучше.

А сурьезность моей мысли в том, что я хочу тебя, любимый мой Бертран, позвать в Россию. Здесь весьма к инженерам щедры, а Петер большой затейщик на инженерные дела. Самолично я услышал от него, что есть нужда в устройстве канала меж Доном и Окою, могучими туземными реками.

Царь желает создать сплошной водный тракт меж Балтикой и Черным и Каспийским морем, дабы превозмочь обширные пространства континента в Индию, в

Средиземные царства и в Европу. Сие зело задумано царем. А догадку к тому подает торговля и купецкое сословие, кое все, почитай, промышляет в Москве и смежных городах; да и богатства страны расположение имеют в глубине континента, откель нету выхода, кроме как сплотить каналами великие реки и плавать по ним сплошь от персов до Санкт-Петербурга и от Афин до Москвы, а также под Урал, на Ладогу, в калмыцкие степи и далее.

Но туго царю Петеру надобны инженеры для столького дела. Ведь канал меж Доном и Окой немалое дело, и тут потребно усердие большое и пущее знание.

Вот я и обещал Петеру-царю, что позову из Ньюкестля брата Бертрана, а сам устал, да и невесту я люблю и соскучился. Четыре года в дикарях живу, и сердце ссохлось, и разум тухнет.

Напиши против сего писания твое решение по такому случаю, а я даю тебе совет, чтоб ехать. Трудно тебе будет, но через пять лет поедешь в Ньюкестль в избытке и кончишь жизнь на родине в покое и достатке. Для сего не скорбно потрудиться.

Передай мою любовь и тоску невесте моей Анне, а через малую длительность я вернусь. Скажи ей, что я уже питаюсь только кровотоцием своего сердца по ней, и пускай она дождется меня. А затем прощай меня и глянь ласково на милое море, на веселый Ньюкестль и на всю родимую Англию.

Твой брат и друг, инженер *Вильям Перри*. 1708 лета, осьмого августа.

2

Весною 1709 года в первую навигацию в Санкт-Петербург приплыл Бертран Перри.

Путешествие из Ньюкестля он совершил на старом судне «Мери», много раз выдавшем и австралийские и южноафриканские порты.

Капитан Сутерленд пожал Перри руку и пожелал доброго пути в страшную страну и скорого возвращения к родному очагу. Бертран его поблагодарил и ступил на землю — в чуждый город, в обширную страну, где его ожидала грудная работа, одиночество и, быть может, ранняя гибель.

Бертрану шел тридцать четвертый год, но угрюмое,

скорбное лицо и седые виски делали его сорокапятилетним.

В порту Бертрана встретил посол русского государя и резидент¹ английского короля.

Сказав друг другу скучные слова, они расстались: государев посланец пошел домой есть гречневую кашу, английский резидент — к себе в бюро, а Бертран — в отведенный ему покой близ морского цейхгауза.

В покоях было чисто, пусто, укромно, но тоскливо от тишины и уютиности. В венецианское окно бился пустынный морской ветер, и прохлада от окна еще пуще говорила Бертрону об одиночестве.

На прочном и низком столе лежал пакет за печатями.

Бертран вскрыл его и прочитал:

«По повелению государя и самодержца всероссийского, Наук-Коллегия любезно просит аглицкого морского инженера Бертрана Рамсея Перри пожаловать в Наук-Коллегию—в водно-канальное установление, что по Обводному проспекту помещение особое имеет.

Государь имеет самоличное наблюдение за движением прожекта по коммутации рек Дона с Окою — через Иван-озеро, реку Шать и реку Упу — посему надлежит в прожектерском труде поспешать.

А с тем и Вам следовало бы в Наук-Коллегии наспеш, однако допустив себе отдых после морского перехода, сколь с чувствами и всей телесной физикой мирно станется.

По приказу Президента

Главный Уставщик и Юриспрудент Наук-Коллегии—

Генрих Вортман».

Бертран лег с письмом на широкий немецкий диван и нечаянно заснул.

Проснулся он от бури, тревожно гремевшей в окне. На улице, в мраке и безлюдье, беспокойно падал влажный густой снег. Бертран зажег лампу и сел к столу насупротив жуткого окна. Но делать было нечего, и он задумался.

Прошло длинное время, и земля давно встретила медленную ночь. Иногда Бертран забывался и, резко оборачиваясь, ожидал встретить родную комнату в

¹ Консул.

Ньюкестле, а за окном — ландшафт теплой, людной гавани и смутную полоску Европы на горизонте.

Но ветер, почь и снег на улице, молчание и прохлада в покоях указывали Бертрану на иную широту положения его жилища.

И то, от чего он так долго отнекивался в своем сознании, вмиг застлало его фантазию.

Мери Карборунд, его двадцатилетняя невеста, сейчас, наверно, ходит по зеленым улицам Ньюкестля и носит в своей блузе сиреневую ветку. Быть может, другой ее водит под руку и шепчет убедительно про лживую любовь — то останется Бертрану навеки неизвестным. Он две недели плыл сюда, а что случиться может в этот срок в фантастическом, безумном сердце Мери?

И разве может женщина ждать мужа пять или десять лет, растя в себе любовь к невидимому образу? Едва ли так. Тогда давно весь мир уже был бы благоден.

А ежели б в тылу имелась достоверная любовь, тогда бы каждый пешком пошел хоть на луну!

Бертран насыпал трубку индийским табаком.

«Однако Мери была права! На что ей нужен мужнегодник или простой моряк? Она любезна мне и умница большая...»

Мысли Бертрана шли стремительно, но чередуясь и соблюдая ясный такт.

«Неукоснимо ты права, маленькая Мери... Я помню даже то, как ты травкою пахла. Я помню, ты сказала: мне нужен муж, как странник Искандер, как мчащийся Тамерлан или неукротимый Атила. А если и моряк, то как Америго Веспуччи... Ты знаешь много и мудрина, Мери!.. Ты истинно права: если муж тебе дороже жизни, то пускай он будет интересней и редкостней ее! Иначе ты заскучаешь и несчастье тебя погубит».

Бертран неистово сплюнул табачную жвачку и сказал:

— Да, Мери, слишком ты остра на ранний разум! И я, пожалуй, сам такой жены не стою. Заго как хорошо ласкать такую резвую головку! То мне отрада, что под косой жены живет горячий мозг!.. Но еще посмотрим!.. Затем я и приехал в сию грустнейшую Пальмиру! Послание Вильяма не причастно к такой судьбе, но оно сердечному решению помогло...

Бертран очоенел и стал собирагься спать. Пока он

воображал Мери и умственно беседовал с ней, над Санкт-Петербургом успела рассвирепеть вьюга, и, окорачиваясь у зданий, она студила покой.

Завернувшись в одеяло, укрывшись сверху морской шинелью из чертового вечного сукна, Бертран дремал, и тонкая живая печаль, не переставая, не слушаясь разума, струилась по всему его сухому сильному телу.

На улице раздался странный резкий звук, будто корабль треснул по всей обшивке от удара льда; Бертран открыл глаза, прислушался, но мысль его отвлеклась от страдания, и он уснул, не опомнившись.

3

На другой день в Наук-Коллегии Бертранзнакомился с замыслом Петра. Прожект был только начат.

Задание царя сводилось к тому, чтобы создать сплошной судовой ход меж Доном и Окою, а через то — всего придонского края с Москвою и волжскими провинциями. Для сего требовалось произвести большие шлюзовые и канальные работы, к прожектерству которых и был призван Бертран из Британии.

Следующая неделя ушла у Бертрана на знакомство с изыскательскими документами, по которым следовало прожектировать работы. Документы оказались добропорядочными и составлены знающими людьми: французским инженером генерал-майором Трузеоном и польским техником капитаном Цицкевским.

Бертран был доволен, ибо добрые изыскания делали способным скорое начатие строительных работ. Тайная дума Бертрана хоронилась в том предмете, что он очаровался Петром, еще будучи в Ньюкестле, и хотел стать его соучастником в цивилизации дикой и таинственной страны. А тогда бы и Мери восхотела его мужем своим иметь.

Искандер завоевывал, Веспуччи открывал, а теперь наступил век построек — окровавленного воина и усталого путешественника сменил умный инженер.

Трудился Бертран тяжело, но счастливо — горе его разлуки с невестой в работе припотухало.

Жил он в тех же покоях: адмиралтейских и штатских ассамблей не посещал и знакомств с дамами и их мужьями чуждался, хотя некоторые светские женщины и искали общества с одиноким англичанином. Бертран

вел работу, как корабль, — осторожно, здравомысленно и скоро, избегая феоретических мелей и перекатов в своих планшетах.

К началу июля проект был исполнен и планы начисто переписаны. Все документы были доложены царю, который их одобрил, а Бертрону приказал выдать награду в тысячу пятьсот рублей серебром, а впредь жалование учредить по тысяче рублей в каждый месяц и назначить главным мастером и строителем всех шлюзов и каналов, что Дон с Окой соединить должны.

В тот же час Петр отдал приказы наместникам и воеводам, по провинциям которых шлюзы и каналы строиться будут, дабы они оказали полное воспособление главному инженеру — всем, чего он ни потребует. Бертрону же были даны права генерала, и соподчинение он имел только царю и главнокомандующему.

После официальной беседы Петр встал и имел к Бертрону речь:

— Мастер Перри! Я знаю твоего брата Вильяма, тот завидный речной корабельщик и на славу водяную силу братать может искусными устройствами. А тебе, не в пример ему, поручается зело умный труд, коим мы навеки удумали главнейшие реки империи нашей в одно водяное тело сплотить и тем великую помощь оказать мирной торговле, да и всякому делу военному. Через оные работы крепко решено нами в сношение с древлеазиатскими царствами сквозь Волгу и Каспий войти и весь свет с образованной Европой, поелику возможно, обручить. Да и самим через ту всесветную торговлишку малость поплатиться, а на иноземном мастерстве руку народа набить.

Через то я поручаю тебе к работам приступить немедленно — судовому ходу тому быть!

А что сопротивление тебе будут чинить, про то доноси мне гонцами — на живую и скорую расправу. Вот моя рука — тебе порука! Держи начало крепко, труд веди мудро — благодарить я могу, умею и сечь нерадетелей государева добра и супротивщиков царской воли!

Тут Петр с быстротой, незаконной в его массивном теле, подошел к Бертрону и тряхнул его руку.

Затем Петр повернулся и ушел в свои покои, прохаркиваясь и тяжело дыша на ходу.

Речь царя Бертрону перевели, и она ему понравилась.

Проект Бертрана Перри состоял в следующих частях: построить тридцать три шлюза из дикого известкового камня; прорыть соединительный канал от деревни Любовки на реке Шати до деревни Бобриков на Дону длиною двадцать три версты; реку Дон прочистить и углубить для судового хода от деревни Бобриков до деревни Гай, по длине в сто десять верст; кроме того, Иван-озеро, откуда Дон течет, а также весь канал — валом и земляными дамбами окружить и заулючить.

Всего, стало быть, требовалось устроить двести двадцать пять верст судового пути, один конец которого был в Оке, а другой внедрялся стадеcятиверстным каналом в Дон. Ширину каналу следовало придать двенадцать сажен, а глубину — два аршина.

Строительное управление предусматривалось Бертраном в городе Епифани, в Тульской провинции, ибо в том городе сходилась середина будущих работ.

Вместе с Бертраном должны были ехать еще пять немецких инженеров и десять писцов из Административного приказа.

День отбытия пал на 18 июля. В тот день к десяти часам утра к покоем Бертрана должны подать дорожные кареты для следования в глухой и терпеливый путь, держа маршрут на неприметный пункт — Елифань.

4

Покуда векует на свете душа, потуда она и бедует. Собравшись для изрядной еды, пять немцев и Перри понадеялись зарядиться пищей на сутки.

И действительно, животы они набили круто, готовясь для долгого созерцания тогдашних немощных русских пространств.

Уже Перри в дорожный рундучок пачки с табаком укладывал — последнее дело его перед всякой дорогой. Уже немцы письма своим семьям кончали, и младший их них, Карл Берген, вдруг разрыдался от жмущей сердце, неудержимой тоски по молодой, любимой еще жене.

И тут затряслась дверь от резкого стука казенной руки: так мог стучать посланный либо арестовать, либо известить о милости бешеного царя.

Но то был гонец из Почт-приказа.

Он попросил указать ему Бертрана Перри, аглиц-

кого капитан-инженера. И пять немецких рук, в родинках и веснушках, указали ему на англичанина.

Гонец нелепо выбросил вперед ногу и почтительно подал Перри некий пакет за пятью печатями.

— Сударь, соизвольте принять посыл из аглицкой державы!

Перри отошел от немцев к окну и вскрыл пакет:

*«Ньюкестль,
июня 28.*

Мой славный Бертран! Ты не ждешь этой вести. Мне трудно тебя огорчать; наверно, любовь к тебе меня еще не оставила. Но уже новое чувство жжет меня. И жалкий разум мой напряжен, чтобы поймать твой милый образ, который так скорбно обожало мое сердце.

Но ты наивен и жесток — ради наживы золота ты уплыл в дальнюю землю; ради дикой славы ты погубил мою любовь и мою ждущую нежности молодость. Я женщина, я слаба без тебя, как веточка, и отдала свою жизнь другому.

Ты помнишь ли, мой славный Берт, Томаса Рейса? Вот он стал моим мужем. Ты огорчен, но признайся, что он очень славный и такой преданный мне! Некогда я отказала ему и предпочла тебя. Но ты уехал, и он долго утешал меня в моем ужасе и в моей тоскливой любви по тебе.

Не печалься, Берт! Мне так тебя жалко! Ты думал, и вправду мне нужен был мужем Александр Македонский? Нет, мне нужен верный и любимый, а там, пускай он хоть уголь грузит в порту или плавает простым матросом, но только поет всем океанам песни обо мне. Вот что нужно женщине, имей это в виду, глупый Бертран!

Две недели уже, как вышла наша свадьба с Томасом. Он весьма счастлив, и я тоже. Кажется, у меня ребенок тревожится под сердцем. Видишь, как скоро! Это потому, что Томас мой любимый и не оставит меня, а ты уехал колонии искать, — возьми их себе, а я взяла Томаса.

Прощай! Не печалься, а будешь в Ньюкестле — навести нас, мы будем рады. А умрешь — мы заплачем с Томасом.

Мери Карборунд-Рейс».

Перри, не помня рассудка, трижды кряду исчитал письмо. Потом взглянул в огромное окно: разбить его жалко — у немцев за золото куплено стекло. Стол проломить — тяжелой вещи в наличии нет. Немцу в физиономию дать — беззащитное существо, а один из них и так плакал. Пока свирепела ярость в Перри, а он колебался своим арифметическим рассудком, его лютость сама нашла себе выход.

— Герр Перри, у вас рот не в порядке! — сказали ему немцы.

— А что такое? — уже обессилив и чуя грусть, спросил Перри.

— Вытрите рот, герр Перри!

Перри с трудом вырвал трубку из впившихся в нее зубов. А зубы, сжав трубку, так уперлись в свои гнезда, что порвали десны, и из них текла горькая кровь.

— Что случилось, герр? Несчастье дома?

— Нет. Кончено, друзья...

— Что кончилось, герр? Ну, пожалуйста, скажите!

— Кровь кончилась, а десны зарастут. Давайте ехать в Епифань!

5

Путешественники тянулись по Посольской дороге, что через Москву до Казани доходит, смыкаясь за Москвой с Калмиюсской Сакмой — татарской дорогой на Русь, по правой стороне Дона. На нее и следовало путникам сделать поворот, чтобы затем через Идовские и Ордобазарные большаки и малые столбы достигнуть Епифани — своего будущего местожительства.

Встречный ветер вместе с дыханием выдувал горе из груди Перри.

Он с обожанием наблюдал эту природу, такую богатую и такую сдержанную и скупую. Встречались земли — сплошные удобрительные туки, но на них росла непышная растительность: худая, изящная береза и скорбящая певучая осина.

Даже летом так гулко было пространство, как будто оно не живое тело, а отвлеченный дух.

Изредка в лесу обнажалась церковушка — деревянная, бедная, со знаками византийского стиля в своей архитектуре. Под самой Тверью Перри заметил даже

дух готики на одном деревенском храме, при протестантском постном убожестве самого здания. И на Перри задышала теплота его родины — скупой практический разум веры его отцов, понявшей тщету всего не-земного.

Огромные торфяники под лесом прельщали Перри, и он чувствовал на своих губах вкус неимоверного богатства, скрытого в этих темных почвах.

Немец Карл Берген — тот, что плакал в Санкт-Петербурге над письмом, — думал о том же. На воздухе он отживал, возбуждался, забыл на время молодую жену и объяснил Перри, глотая слюну:

— Англянд — это шахтмейстер¹. Рюссланд — торфмейстер! Верно я говорю, герр Перри?

— Да, да, точно, — сказал Перри и отвернулся, заметив страшную высоту неба над континентом, какая невозможна над морем и над узким британским островом.

Изредка, но изрядно путешественники ели в попутных селениях. Перри пил целыми жбанамн квашонку, в которой он нашел немалый вкус и способствование дорожному пищеварению.

Минувши Москву, инженеры долго помнили ее колокольную музыку и тишину пустых пыточных башен по углам Кремля. Особо восхитил Перри храм Василия Блаженного — это страшное усилие души грубого художника постигнуть тонкость и — вместе — круглую пышность мира, данного человеку задаром.

Иногда перед ними расстилались пространные степи и ковыльные земли, на которых не было и следа дороги.

— А где же Посольский тракт? — спрашивали немцы ямщиков.

— А вот он самый, — указывали на круглое пространство ямщики.

— А сего незаметно! — восклицали немцы, вглядываясь в грунт.

— Так тракт одно направление, а трамбовки гут быть не должно! Он до самой Казани такой — все едино! — поясняли, поелику возможно ямщики иноземцам.

— Ах, это знаменито! — смеялись немцы.

¹ Горнорабочий.

— А то как же! — всерьез подтверждали ямщики, — оно так видней и просторней! Степь в глаза — веселья слеза!

— Весьма примечательно! — дивились немцы.

— А то как же! — поддакивали ямщики, а сами ухмылялись в бороду, дабы никому оскорбительно не было.

За Рязанью — обиженным и неприютным городком — уже редко жили люди. Тут шла бережная и укромная жизнь. Еще от татар остался этот страх, испуганные очи ко всякому путнику, потаенность характера и заулюченные чуланчики, где таилось впрок небогатое добро.

С удивлением вглядывался Бертран Перри в редкие укрепления с храмишками посредине. Окрест таких самодельных кремлей жили местные люди в кучах избышек. И видно было, что это — новосельные люди. А раньше все хоронились в уюте земляных валов и деревянных стен, когда татары по степному разнотравью достигали сих районов. Да и жил в тех крепостцах все более казенный народ, учиненный сюда князьями, а не полезные хлебопашцы. А теперь — разрастаются селитбища, а по осени и ярмарки гремят, даром что нынче царь то со шведами, то с турками воюет, и страна оттого ветшает.

Вскоре путешественники должны повернуть на Калмиюсскую Сакму — татарский ход по обочине Дона на Русь.

Однажды в полдень ямщик махнул кнутом без нужды и дико свистнул. Лошади взяли.

— Танаид! — крикнул Карл Берген, высунувшись из кареты.

Перри остановил экипаж и вышел. На дальнем горизонте, почти на небе, блестела серебряной фантазией резкая живая полоса, как снег на горе.

«Вот он, Танаид!» — подумал Перри и ужаснулся затее Петра: так велика оказалась земля, так знаменита обширная природа, сквозь которую надо устроить водяной ход кораблям. На планшетах в Санкт-Петербурге было ясно и сподручно, а здесь, на полуденном переходе до Танаида, оказалось лукаво, трудно и могущественно.

Перри видел океаны, но столь же таинственны, ве-

ликолепны и грандиозны возлежали пред ним эти сухие, косые земли.

— На Сакму! — крикнул передовой ямщик. — Ухватывай ее в укос! Штоб к ночевке на Идовском большаке быть беспременно!

Овсяные кони схватили и понесли полной мочью, в соучастие нетерпеливым людям.

— Окоротись! — закричал вдруг передовой ямщик и для признака задним поднял кнутовище.

— Что вышло? — спохватились немцы.

— Стражника взять забыли, — сказал ямщик.

— Какой методой? — уже спокойно спросили немцы.

— За нуждой в отвершек на постое побежал, глянул, а его нету на заднем причале!

— Эх ты, бурмистр бородатый! — резонно выразился второй ямщик.

— Да вон он лупит степью, плешивый чин, за шинку держится! — успокоился виноватый ямщик.

И странствие тронулось, держа курс на полдень — на Идовские и Ордобазарные большаки, а оттуда — на малые епифанские столбы.

6

Работа на Епифани взялась сразу.

Малонизвестный язык, странный народ и сердечное отчаяние низложили Перри в трюм одиночества.

И лишь на работе исходила вся энергия его души, и он свирепел иногда без причины, так что сподручные прозвали его каторжным командиром.

Епифанский воевода занарядил всех мужиков воеводства: кто камень ломал и к шлюзам подвозил, кто на канале землю рыл, кто рску Шать чистил по живот в воде.

— Что ж, Мери! — бормотал Бертрап, бродя ночью по своему епифанскому покою, — таким горем меня не взять! Покуда есть влага в сердце — спасусь! Построю канал, царь денег много даст и — в Индию... Ах, как жаль мне тебя, Мери!..

И, путаясь в страдании, тяжких мыслях и в избыточных силах своего тела, Перри грузно и безумно засыпал, тоскуя и вызывая во сне, как маленький.

Около осени приехал в Епифань Петр. Он остался недоволен работами.

— Скорбь в рундуке разводите, а не тщитесь поль-
зу отечеству ускорить, — сказал царь.

Действительно, медленно шли работы, как ни ожес-
точался Перри. Мужики укрывались от повинности, а
лихие головы сбегали в безвестные места.

Охальные местные люди вручили Петру челобитные,
в коих велся учет злomu начальству. Петр приказал по-
вести дознание, откуда выяснилось, что воевода Про-
тасьев за большие поборы освобождал слободских му-
жиков от повинностей, а поверх всего миллион рублей
себе нажил на всяких начетах и требовательных ведо-
мостях с казны.

Петр приказал Протасьева бить кнутом, а потом
сослал его на Москву для дополнительного следствия,
но он там досрочно с печали и стыда умер.

По отъезде Петра, когда срамота еще не забылась,
другая беда нашла на епифанские работы.

Карл Берген ведал работами на Иван-озере, — ва-
лом земляным его огораживал, чтобы воду в нем под-
нять до нужной судоходной глубины.

В сентябре Перри получил от него рапорт, где ука-
зывалось:

«Пришлые люди, особливо московские чиновники и
балтийские мастера, волею божьею чуть не все лежат
больны. Великий им упадок живет, а болят и умирают
больше лихорадкою и пухнут. Простолюдин же мест-
ный терпит, но при всякой тяжести и спехе работы в
болотной воде, коя прохладна стала близу осени, бунт
норовит учинить. Заклучу сие тем, что, тако и далсе
пойдет, без начальников и мастеров очутиться можем.
А затем жду спешных приказов главного инженера-
строителя».

Перри уже знал, что балтийские мастера и техни-
ки-немцы не только болеют и умирают в болотах Шати
и Упы-рки, но также и бегут по тайным дорогам на
родину, ухватывая великие деньги.

Перри боялся весеннего половодья, которое грозило
разрушить начатые и беспомощные сооружения. Он
хотел довести их до безопасного состояния, чтобы полые
воды особого вреда им не причинили.

Однако того достигнуть было трудно, — технические
чиновники умирали и сбегали, а мужики того пуще му-

тились и целыми слободами не выезжали на работу. Одному же Бергену не управиться с такими злодеями и болотную мороку не залечить.

Тогда Перри, чтобы хоть одно зло усечь, издал по работам и всем окружным воеводствам приказ: под смертною казнию, чтобы иноземцев — канальных и шлюзных мастеров — нигде не пропускать, и в подводы под них никто не наряжался, и лошадей бы не продавали, и в ссуды не давали.

А под приказом Перри поставил подпись Петра — для устрашения и исполнения: пускай потом царь поругает, нельзя же ехать к нему в Воронеж, где он флот на Азов снаряжал, чтобы подпись его получить, и два месяца времени упустить.

Но и так пристрожить мастеровых людей не удалось.

Тогда Перри увидел, что зря таким штурмом он работы повел и столь многочисленных работных, служилых и мастеровых людей в них сразу втравил. Следовало бы начать работы спрехвала, чтобы дать народу и мастеровым к труду такому притерпеться и очухаться.

В октябре работы стали вконец. Немцы-инженеры клали все силы на то, чтобы людской охраной сооружения и заготовленные материалы снабдить, но и то не удавалось. Через это немцы слали с каждой оказией Перри рапорты, чтобы их он уволил с работ, ибо их царь запороть может, когда приедет, а они неповишны.

Однажды епифанский воевода пришел к Перри в воскресенье.

— Бердан Рамзенч! Какую штуку я тебе принес! Непостижное охальство!

— Что такое? — спросил Перри.

— А ты погляди, Бердан Рамзенч! Да ты вдумайся в документ втихомолку, а я так посижу... Штой-то люже бездомовно у тебя, Бердан Рамзенч! Да што сказать — жен у нас по тебе нету. То я вижу и тому сочувствую...

Перри развернул грамотку:

*«Петру Первому Алексеичу,
Русскому Самодержцу и Государю.*

Мы, холопы твои и крестьянишки наши, в той год у твоего, Великий Государь, канавного и шлюзного дела

приставлены неотлучно были, во время пахотное, и жатвенное, и сенокосное в домишках своих не были и ныне по работе ж и за тою работою озимого хлеба не собирали, а ярового не усеяли, и сеять некому и нечем, и за безлошадьем ехать не на чем, а который у нашей братьи и крестьянишек наших старого припасу молоченой и немолченой хлеб был, и тот хлеб чужилые и работные люди, идучи на твою, Великого Государя, службу и на Епифань на работу, много брали безденежно, а остальной волею божьей от мышей поеден без остатку, и многое нам и крестьянишкам нашим такие служилые и работные люди обиды и разоренье чинят и девок до времени всех почитай оскоромили».

— Чуешь, Бердан Рамзеич? — спросил воевода.

— Как это попало к вам? — удивился Перри.

— А так — дуриком: у писаря моего две недели каки-то холоуи чернил допытывались аль состав просили сказать за окорок ветчинный. Токмо писарь мой жох и сам вотчинник — чернила дай, а сам в слезку, да так и дознался и грамотку проведаль... Ведь, окромя воеводского приказа, в Епифании чернилов нету и составные краски никому не ведомы!..

— Неужели мы так народ и вправду умучили? — спросил Перри.

— Да што ты, Бердан Рамзеич! Это у нас народ такой охальник и ослушник! Ему хоть ты што — он все челобитные пишет да жалобы егозит, даром што грамоте не учен и чернильного состава не знает... Вот погоди, я их умещу в тесное место! Я им покажу супротивщину чинить и царю без уговону писать... Ведь это наказанье господне! И зачем их слова обучали говорить? Раз грамоты не разумеют, и от устных слов надобно отучить!..

— А вы имеете донесения, воевода, с Иван-озера? Целы там те колонны пеших рабочих и подводы, коих вы из Епифани со стражниками погнались?

— Каки колонны? Это што я на спас послал? Куды тебе, Бердан Рамзеич! Стражник один, — тому десять ден, — прискакал оттыльча, сказывал, что пешие все на Яик и Хопер ушли, а семьи их, истинно, по Епифани с голоду маются. Отдыху от баб не вижу, а окромя — всякая стервь доносом норovit меня унять... —

Воевода вынул тряпицу и обтер свое пожилое лицо. — Стерегусь государя, Бердан Рамзенч! Нагрянет — порке без оглядки предаст. Уж ты заступись, Бердан Рамзенч, англиским богом тебя прошу!..

— Хорошо, заступаюсь, — сказал Перри. — Ну а конные подводы работают на Иване?..

— Што ты, Бердан Рамзенч! Кони пеших упредили: все по степям и неприметным хуторам разбеглись и утанлись. Да разве сыщешь? Только то не к добру — лошади извелись на работах и к пахоте боле не пригожи, а многие пали кончиной в степи... Тах-то, Бердан Рамзенч!

— Да! — воскликнул Перри и сжал руками свою твердую, худую голову, в которой сейчас не было никакого утешения.

— Так что ж ты думаешь делать, воевода? — спросил Перри. — Ведь мне рабочие нужны! Как хочешь делай — давай пеших и конных, а то шлюзы весной смоет, а царь мне не спустит!

— Как хошь, Бердан Рамзенч! Голову мою бери, — в Епифани одни бабы остались, а в остальной воеводской земле — разбой свищет. В свое воеводство показаться не могу, — куды там рабочих сыскать! Мне одна тропка: от народа голову сберег — царь снесет!

— Это меня не касается! Вот тебе наряд, воевода, на неделю: на Иван-озеро поставить пятьсот пеших, сто конных; на шлюз, что при деревне Сторожевой Дубровке, тысячу пятьсот пеших и четыреста конных; на Ньюховской шлюз две тысячи пеших и семьсот конных; еще на Любовской канал, между Шатью и Доном, четыре тысячи пеших и полторы тысячи конных да на Гаевской шлюз конных сто и пеших шестьсот. Вот, бери наряд, воевода! Чтоб вся эта рабочая сила была поставлена в одну неделю! Не сделаешь — отправлю рапорт царю!..

— Слухай меня, Бердан Рамзенч!..

Перри перебил:

— Больше не слушаю. Нечего тебе мне страдать и песни петь — я не невеста! Чтоб были рабочие, а жалобы мне не нужны! Ступай в воеводство и делай мне живых людей!

— Слухаю, Бердан Рамзенч, слушаю, сударь! Токмо ни хрена не выйдет, вот тебе покойница мать...

— Ступай в свое воеводство! — раздраженно сказал Перри.

— Дозволь тогда, Бердан Рамзеич, хучь камень дикий возкой до весны оставить. Он и пугает мужиков — дюже тяжесть агромадна, да и ломка на Люторце не способна...

— Дозволяю, — ответил Перри, догадавшись, что сейчас ему не до новых работ, впору сделанное от разлива уберечь. — Только ты ступай, воевода! Очень ты речист, а на дело хитер без смысла!

— Благодарим за камень! Прощевайте, Бердан Рамзеич!..

Воевода негромко выговорил еще несколько слов и удалился.

Последние слова он сказал на местном языке, по-еписфански, поэтому Перри ничего в них не понял. А если б и понял, то добра бы в них себе не увидел.

7

На зиму все пять немцев-инженеров тоже приехали в Епифань. Они обросли бородами, постарели за полгода и явно одичали.

Карла Бергена грызла жестокая скорбь по своей германке-жене, но он подписал договор с царем на год, а ранее уехать было нельзя: в ту пору лиха была русская расправа. Поэтому молодой немец дрожал от ужаса и семейной тоски, и работа у него валилась из рук.

Остальные немцы тоже заплошали и жалели, что приехали в Россию за длинными рублями.

Один Перри не сдавался, и сердечная печаль по Мери находила себе исход в его лютой энергии.

На техническом совете с немцами Перри выяснил, что положение с недоделанными шлюзами грозное. Весенние воды могут начисто снести сооружения, особенно же Люторецкой и Муровлянской шлюзы, откуда еще в августе сбежали все рабочие.

По последнему наряду Перри еписфанский воевода ничего не поставил: то ли злая воля в том его была, то ли правда — рабочих согнать нельзя было.

Обсудив работы, инженеры не выдумали, как убе-

речь шлюзы от весны. Перри знал, что царь Петр приказывал в Петербурге инженерам, которые строили корабли, чтобы они надевали черные погребальные балахоны. Если спуск и пробное плавание нового корабля проходили отлично, царь давал инженеру-корабельщику награду сто либо более рублей, смотря по емкости судна, и личными руками снимал с инженера смертный балахон. Если же корабль давал течь и кренился без причины, еще хуже того — тонул у берега, царь предавал таких корабельщиков на скорую казнь — на спос головы.

Перри не боялся утраты своей головы, однако допускал ее, но немцам ничего не говорил.

Потянулась великорусская зима. Епифань засыпалась снегом, окрестности окончательно замолчали. Казалось, что люди здесь живут с великой скорбью и мучительной скукой. А на самом деле — ничего себе. Ходили друг к другу на многие праздники, пили самодельное вино, ели квашеную капусту и моченые яблоки и по разу женились.

Загнанный скукой и одиночеством, один из немцев — Петер Форх — женился рождеством на епифанской боярышне — Ксении Тарасовне Родионовой, дочери богатого торговца солью. Отец ее имел свой обоз в сорок подвод, который странствовал меж Астраханью и Москвой с двадцатью чумаками, снабжая солью полные провианты. А в молодости Тарас Захарович Родионов и сам чумачил. Петер Форх переселился к тестю и вскоре пополнил от мирной жизни и заботливого питания.

Все инженеры, под началом Перри, до самого нового европейского года усердно занимались составлением исполнительных чертежей, смет на израсходованные материалы и рабочие руки, а также проектировали всякие способы безопасного пропуска весенних вод.

Перри написал царю рапорт, где изложил всю историю работ, указал на роковую нехватку рабочих и усумнился в конечном благополучии. В копии свой рапорт Перри направил аглицкому послу в Санкт-Петербург — на всякий случай.

В феврале в Епифань прибыл царский курьер с пакетом для Перри.

«Бертрану Перри.

*Главному инженеру-строителю Епифанских шлюзов
и каналов меж Доном и Окой реками.*

Слух о твоей неспособной работе дошел до меня допрежь твоей челобитной. Из сей незадачи я усматриваю, что тамошний епифанский народ — холуй и пользы своей не принимает, а сверх того и тебе следовало круче волю мою гнуть и утруждать сподручных втугачку, дабы никому не было под стать на послушание решиться: будь то мастер-иноземец или черный люд.

Обсудив круг мыслей, до Епифанских шлюзов касающихся, я порешил упредительные меры на нынешнее лето.

Воеводу твою я прогнал и епитимью ему назначил — с Азова брандеры на Воронеж гнать по мелям великим. А новым воеводой посылаю тебе Гришку Салтыкова — человека твердого и ходовитого, мне известного и лихого на скорую расправу. Он тебе будет первый помощник по пешей и гужевой силе.

Кроме того, я объявляю епифанское воеводство на военном положении, а мужское население забираю в солдаты сплошь! Затем я шлю тебе поручиков и капитанов отборного свойства, кои с ротами епифанских рекрутов и ополченцев придут на твои работы, а ты считайся полным генералом, а помощникам и сподручным мастерам также раздай подобающие чины, коих с них станет.

В иных смежных воеводствах, кои работам твоим под стать, также я военное положение учредил...

Ежели и в нынешнем лете прогадаешь со шлюзами и каналами — тогда гляди сам. Что ты британец — отрадой тебе не станется».

Перри обрадовался такому ответу Петра. Успех работ после таких епифанских реформ был теперь обнадежен. Лишь бы весна особо не нагадила и прошлогодний труд не пошел прахом и убытками.

В марте Перри получил из Ньюкестля письмо. Он прочел его, как весть с того света, до того заржавело его сердце к своей минувшей судьбе.

«Бертран!

В новогодний день умер мой первенец, мой сын. Все тело мое болит при воспоминании о нем. Ты прости, что я тебе пишу, чужому теперь человеку, но ты верил в мою искренность. Ты помнишь, я тебе говорила — кому первому отдаст женщина свой поцелуй, того она помнит всю жизнь. И я тебя помню и поэтому пишу о своем потерянном даре — маленьком сыне. Он был мне дороже мужа, дороже твоей памяти и дороже себя. О, во сколько раз дороже всех моих кровных драгоценностей! Не буду писать о нем тебе, а го заплачу и не кончу и второго письма. Первое я тебе послала месяц назад.

Муж мне стал совсем чужой. Он много работает, ходит по вечерам в морской клуб, а я одна, и мне так скучно! Единственное мое утешение — чтение книг и письма к тебе, которые я тебе буду писать часто, если ты не обидишься.

Прощай, дорогой Бертран! Ты мил мне, как друг и словно далекий родственник, в тебе мое чувство нежных воспоминаний. Пиши мне письма, я буду очень рада их получать. В жизни меня держит только любовь к моему мужу да память о тебе. Но мертвый мой мальчик в моих сновидениях зовет меня разделить с ним его мучения и его смерть.

А я все живу, бессовестная и трусливая мать.

Мери.

МВ. В Ньюкестле жаркая весна. По-прежнему в ясные дни виден берег Европы за проливом. Этот берег всегда мне напоминает тебя, и оттого мне еще тоскливее бывает.

Помнишь ли ты стихи, которые писал мне в своем письме когда-то!

...Возможность страсти горестной и трудной —
Залог души, любимой божеством...

Чьи это стихи? Помнишь ли ты свое первое письмо ко мне, где признался мне в любви, стыдясь сказать мне в лицо роковые слова. Я тогда поняла мужество и скромность твоей натуры, и ты мне понравился».

После письма Перри охватила человечность и нежное чувство покоя: быть может, он был доволен несчастьем Мери,— судьба обоих теперь уравнилась.

Не имея в Епифани близкого знакомого, он начал ходить в гости к Петеру Форху; пил там чай с вишневым вареньем и беседовал с женой Форха — Ксенией Тарасовной — о далеком Ньюкестле, теплом проливе и о европейском берегу, который виден из Ньюкестля в прозрачные дни. Только о Мери Бертран ни с кем не говорил, скрывая в ней источник своей человечности и общительности.

Шел март. Елифанцы постились; заунывно звонили в православных храмах, а на водоразделах уже почернели поля.

Хорошее душевное расположение Перри не проходило. Мери на письмо он не ответил ничего, да и мужу ее не понравятся его письма; писать же общие вежливые слова ему не хотелось.

Немецких инженеров Перри разослал по наиболее опасным шлюзам для руководства работами по пропуску вешних вод.

Мужики теперь ходили в солдатах. А новый воевода, Григорий Салтыков, лютовал по воеводству без спуска и милости; тюремные дома были туго населены непокорными мужиками, а особая воеводская расправа, порочная хата тож, действовала ежедневно, кнутом вбивая разум в задницу мужиков.

Рабочих, и пеших и конных, теперь было вдосталь, но Перри видел, сколь это непрочное: каждый час мог вспыхнуть бунт, и не только все побегут с работ, но и сооружения будут злостно разрушены вмах.

Но весна выдалась недружная: днем текло малыми порциями, а ночами прихватывало. Через шлюзы вода исходила, как сквозь худое ведро; поэтому немцы и дежурные рабочие успевали затыкать талой землей сочащиеся щели в водоспусках, и особых разрух не происходило.

Перри был весьма доволен и чаще навещал одинокую теперь супругу Форха, беседуя с ее отцом о чумаках-солевозах, татарских нашествиях и о сладких травах старых ковыльных степей.

Наконец разгорелась летним огнем провинциальная прелестная весна, а затем стихла молодость природы.

Наступила зрелость и злоба лета, и вся жизнь по земле затревожилась.

Перри решил к осени все каналы и шлюзы закончить. Он соскучился по морю, по родине, по старику отцу, жившему в Лондоне.

Грусть отца по сыну измерялась пеплом из его трубки: от тоски по сыну отец неугомонно курил. Он так и сказал на прощанье:

— Берт! Сколько мне табаку сжечь придется, пока я увижу тебя...

— Много, отец, много! — ответил Бертран.

— Да уж не берет меня никакой яд, сынок! Скоро, наверно, жевать табачный лист начну...

В начале лета работа пошла спешно. Напуганные царем мужики усердно трудились. Однако иные ветхопешерники бежали и укрывались в дальних скитах. А некоторые неумные головы сшептывались меж собой и увлекали целные роты на Урал и в калмыцкие степи. За ними учреждали угон, но толку от него никогда не случалось.

В июне Перри поехал по работам. Скорость их и успешность он нашел достаточными.

А Карл Берген совсем обрадовал его. На Иван-озере, на самом низком дне, он обнаружил бездонный колодезь-окно. Оттуда поступало в озеро столь много ключевой воды, что ее хватит на дополнительное питание каналов в мелководные сухие годы. Следует только на Иван-озере подсыпать прошлогодний земляной вал еще на сажень, чтобы собирать из колодца в озеро больше воды, а затем пускать эту воду в каналы по особому спуску, когда надобность в том явится.

Перри одобрил изобретение Бергена и приказал гот колодезь желонкой расчистить и опустить в него большую железную трубку с сеткой, чтобы колодезь не заилился вновь. Воды тогда в озеро будет подтекать еще больше, и водный путь в засуху не обмелеет.

Страх и сомнение ужалили гордость Перри, когда он возвращался в Епифань. Петербургские проекты не посчитались с местными натуральными обстоятельствами, а особо с засухами, которые в сих местах нередки. А выходило, что в сухое лето как раз каналам воды не хватит и водный путь обратится в песчаную сухопутную дорогу.

По приезде в Епифань Перри начал пересчитывать

свои технические числа. И вышло еще хуже: проект составлен был по местным данным от 1682 года, лето которого изобиловало влагой.

Поговорив с местными людьми и тестем Форха, Перри догадался, что и в средние по снегам и дождям годы каналы будут так маловодны, что по ним и лодка не пройдет. А про сухое лето и говорить нечего, — одна песчаная пыль поднимется на канальном русле.

«Тогда я отца-то, пожалуй, больше не увижу! — подумал Перри. — И в Ньюкестль я не поеду, и берега Европы не посмотрю!»

Единственная надежда осталась на ключ на дне Иван-озера. Если он даст много воды, то ею можно будет прокормить каналы в суховейные годы.

Но это открытие Бергена все же не возвращало тихого покоя душе Бертрана, какой он имел после письма Мери. Втайне он не верил, чтобы колодезь Иван озера способен был помочь обильной водой, но укрывал свое отчаяние за этой маленькой надеждой.

Сейчас на Иван-озере шла постройка особого плота, с которого подводный колодезь пробурят глубже и вставят в него широкую чугунную трубу.

8

В начале августа Перри получил от Карла Бергена служебный рапорт. Принес его воевода Салтыков:

— Вот, ваше превосходительство, тебе писуля пришла. Ребята мои сказывали, что мужицкая гнида вся с Татинского слюза анамеднишь молчком ушла. Так я тебе спокой нащет слюза того даю: завтра баб тех, коих мужики убегли, всех сгоню на Татинку. А бегунов словлю и военно-полевому суду отдам. Снесу головы, тады поумнеют. Видно, тах-то!..

— Я с тобой согласен, Салтыков! — сказал помертвевший от забот Перри.

— Так, стало, ты, ваше превосходительство, тады те смертные казни подпишешь? Упреждаю тебя, теперича ты тут всему делу голова.

— Ладно, подпишу... — ответил Перри.

— А еще, генерал, завтра у меня дочерины смотрины. Один ухажер московский, купецкий сын, мою Феклушу в дом себе примаает на супружество. Так ты приходи потчеваться...

— Благодарю. Может, зайду Спасибо, воевода.
Салтыков ушел; Перри разодрал пакет Бергена.

«Конфиденциально!

Коллега Перри!

С 20 по 25 июля производилось бурение подводной скважины на Иван-озере — для углубления, уширения и прочистки ее. По вашей задаче следствием должен быть сильный приток подземных вод в Иван-озере.

Бурение остановлено на десятой сажени по причинам, сказуемым ниже.

В восемь часов вечера, 25 июля, желонка перестала таскать вязкую глину и вынималась с сухим мелким песком. При сей процедуре я присутствовал неотлучно.

Отчалив от бурильного плота, чтобы достигнуть берега по случайной нужде, я обнаружил торчащую траву над горизонтом воды, которой раньше не замечал. Сступив на береговое сухопутье, я услышал, что завывала собака, по местному прозвищу Илюшка, что питается с солдатского котла. Это меня немало смутило, несмотря на мою веру в бога.

Солдаты-рабочие доказали мне, что с полудня и до сей поры вода в озере убывает. Подводная трава оголилась, и показались два невеликих островка посредине воды.

Солдаты были в ужасном страхе и говорили, что мы озерное дно сквозь продолбили трубой и озеро теперь исчахнет.

Действительно, на берегу явно был замечен вчерашний урез воды, а также нынешний, и разница была на полсажени ниже.

Воротившись на борт плота, я приказал бурение кончить и немедленно начать забивку скважины. Для сего мы опустили в подводный колодезь чугунную крышку аршин в поперечнике, но ее сразу утащило в подземную глубину, и она пропала. Тогда начали забивать в скважину обсадную трубу, набитую глиной. Но и ту трубу засосала скважина, и она утащилась туда. И сосание то длится посейчас, и вода из озера гнетется туда безвозвратно.

Сему объяснение простое. Бурильной желонкой мастер пробил тот водоупорный глинистый пласт, на котором вода в Иван-озере и держалась.

А под тою глиной лежат сухие жадные пески, кои теперь и сосут воду из озера, а также железные предметы влекут.

И дальше не ведаю, что и делать, о чем и прошу ваших приказов».

Душа Перри, не боявшаяся никакой жути, теперь затряслась в трепете, как и подобает человеческой натуре. Бертран не выдержал такого роста горя и жалобно заплакал, упершись лбом в стол.

Судьба его нагоняла всюду: он утратил родину, потом Мери, теперь случилась неполадка работ. Он знал, что не выберется живым из этих просторных суходолов и не увидит больше ни Ньюкестля, ни Европы на том берегу, ни отца с трубкой, ни Мери в последний раз.

Пустая, низкая комната звучала от неистового скрежета зубов и плача Перри. Он опрокинул стол и метался в тесноте, воя от хлынувшего страдания и потеряв всякий характер. Стихия горя свирепела в нем и запечатлевалась как попало и без всякого надзора со стороны разума.

Смирившись затем, Бертран улыбнулся и устыдился такого бесстыдного отчаяния. Потом вынул книжку из чемодана и начал читать:

«АРТУР ЧЕМСФИЛЬД

ЛЮБОВЬ ЛЕДИ
БЕТТИ ХЬЮГ

Роман
В 3-х томах и 40 частях

Сударыня! Любвеобильное сердце мое, терзаясь и стеная, взывает к вам с ангельской мольбою: предпочтите меня всем светским мужчинам или возьмите из груди сердце сие и скушайте его, как жидкое яйцо!

Мрачный вихрь сотрясает своды моего черепа, и кровь пылает, как жидкая смола! Ньюжли не приютишь, сударыня Бетти? Ньюжли не боишься надгробной тоски над чужеродным тебе, но верным человеком?..

Мистрис Бетти, я знаю, что мистер Хьюг застрелит меня из старого ружья лежалым порохом, как только я приближусь к вашему дому. Пускай то случится! Пускай обличится роковая моя судьба!

Убийца я домашних очагов! Но сердце ищет милости под комбинезоном любимой, где бьется ее сердце под холмами наивных грудей!

Бродяга я неприятный! Но благосклонности прошу у вашего солидного супруга!

Мне наскучило любить лошадей и прочих животных, и я ищу любви у более сублимного существа — женщины...»

Перри замер в нечаянном, но глубоком и свежем сне, а книга свалилась — навсегда не прочитанной, но интересной.

Наступил вечер; комната остыла, потускнела и наполнилась вздохами неясных лучей тайного и заолустного неба.

9

Прошел значительный год — долгая осень, длиннейшая зима и робкая, редкостная весна.

Наконец внезапно распустилась сирень — эта роза русской провинции, дар скромных палисадов и признак неизбежной деревенской мечты.

Вся группа работ, что именуется Государственным Дону-Окским Водным Ходом, была совершена.

Предстояло многолетнее плавание небольших и значительных судов, кои к лицу сухопутной стране.

Зной водворился с мая. Сначала поля заблагоухали телами юных растений, а потом, в июне, оттуда понесло прахом вянувших листьев и остротой скисающих от жаркого моря цветов: не было дождя.

На испытание шлюзов и каналов государь прислал французского инженера генерала Трузсона, с особой коллегией при нем из трех адмиралов и одного инженера-итальянца.

— Инженер Перри! — заявил Трузсон. — По приказанию государя императора предлагаю вам через неделю весь путь от Дона до Оки привести в судоходное состояние! Я имею полномочия его величества освидетельствовать все водные сооружения, дабы обнаружить и установить их добротность и целям государя соответствие.

— Слушаю! — ответил Перри. — Водный ход будет готов через четыре дня!

— О, это знаменито! — провозгласил довольно Трузсон. — Исполняйте, инженер, и не задерживайте наше отбытие в Санкт-Петербург!

Через четыре дня затворы водоспусков были опущены.

ны, и вода начала накапливаться в шлюзовые плесы. Однако накоп был столь незначителен, что и в глубоких местах более аршина не получилось. Кроме того, когда вода, запертая шлюзами, чуть поднялась в реке, то подземные ключи перестали биться. На них налег тяжелый пласт воды и задушил их.

На пятый день вода в междушлюзные пространства совсем перестала добавляться. К тому же был зной, бездождие, и из балок не было никакого подгока.

С Шати-реки от Муровлянского шлюза пущена была байдара, груженная лесом, с осадкой в пять четвертей аршина. Отплыв от шлюза на полверсты, она села на мель на самом фарватере.

Трузсон и его испытательная коллегия ездили на тройках по обочине водного пути.

Из крестьян, кроме нужных рабочих, никого не было на открытии водного хода. Мужики не чаяли, когда эта беда минует Епифань, а по воде никто не собирался плавать; может, пьяный когда вброд перейдет эту воду поперек, и то изредка: кум от кума жил в те времена верст за двести, потому что сосед соседа в кумовья не брал, — бабы не дружили.

Трузсон ругался по-французски и по-английски, но то была немощная ругань. А по-русски он не умел. Поэтому даже рабочие на шлюзах не пугались генерала, — не понимали, чего кричал и брызгал ртом этот русский генерал из иноземцев.

А что воды мало будет и плавать нельзя, про то все бабы в Епифани еще год назад знали. Поэтому и на работу все жители глядели как на царскую игру и иноземную затею, а сказать — к чему народ мучают — не осмеливались.

Только епифанские бабы жалели мрачного Перри:

— Удобен да статен, пралич, и не стар будго, а с бабами не жирует. Не то скорбь кака гложет, не то бабу свою схоронил, — кто ж его знает, не сказывают... А уж дюже горемычен на лицо — аж жутко...

На другой день нарядили сто мужиков мерщиками. Мужики пустились прямо вброд. Только у самых шлюзовых плотин они малостьплыли, а то вброд всюду тянулись. В руках они несли шесты, и десятские зарубали на них глубины, а больше мерщики меряли голениями и потом отсчитывали четвертями, а в четверги у иных было пол-аршина. Пятипалая рука тогда имела

мощный мах и в пальцах и мерным работам не способствовала.

Через неделю все водные ходы были промерены, и Трузсон посчитал, что и лодка не везде пройти может, а в иных местах и плота вода не подымет.

А царь приказал глубину устроить, чтобы десятипшечным кораблям безопасно по ней плавать можно было.

Коллегия Трузсона составила испытательную ведомость и зачитала ее Перри и его сподручным — немцам.

В ведомости говорилось, что каналы, а равно и шлюзованные речки негодны для плавания и кораблевождения по причине малости вод. Затраты и труды надо почитать напрасными и никому не впрок. Далее того предлагалось распорядиться воле царя.

— Да,— сказал один адмирал из приспешников Трузсона, — учредили водяной ход! Вечное посмешище установили, великие тяготы народные расточили!.. Испозорили, изглумили государя вдрызг,— у меня и то изжога началась от таких делов!.. Ну, теперча, гляди, немцы! И ты, англичанский чудотворец, теперь кнута жди — да это еще милость!.. Страхога сию ведомость царю доложить — морду хлобыстать почнет!..

Перри молчал. Он знал, что прожект был исполнен по изысканиям того же Трузсона, но все равно ему спастись теперь ни к чему.

На другой день, на восходе солнца, Трузсон уехал со своими людьми.

Перри не знал, куда ему деть привычную работоспособность, и гулял в степях целыми днями, а вечерами читал английские романы, но другие, а не «Любовь Бетти Хьюг».

Немцы сгинули через десять дней после Трузсона. Воевода Салтыков снарядил за ними угон, но угонные стражники еще не вернулись.

В Епифани из немцев остался только женатый Форх, как любивший супругу человек.

Воевода Салтыков учредил за Перри и Форхом неявный надзор, но то было известно и Перри и Форху. Салтыков ждал каких-то приказов из Петербурга и на глаза Перри не показывался.

Перри одичал сердцем, а мыслью окончательно замолчал. Начинать что-нибудь делать серьезное было ни к чему. Он знал, что его ждет расправа царя. Однако

в кратком смысле он написал британскому посланнику в Петербург, прося его выволнить подданного британского короля. Но Перри чувствовал, что воевода не пошлет его письмо с очередной оказией или запакует его в казенную сумку и направит в Тайный Петербургский приказ.

Через два месяца Петр прислал нарочного с секретным пакетом. Царский курьер ехал в карете, за каретой мчались мальчишки, и пыль за ними расцветивалась радугой от вечернего солнца.

Перри стоял тот час у окна и видел весь этот скорый ход собственной судьбы. Он сразу догадался, с чем приехал посланец, и лег спать, чтобы скоротать ненужное время.

На другой день, на восходе солнца, к Перри постучали.

Вошел воевода Салтыков.

— Аглицкий подданный Бердан Рамзеич Перри, объявляю тебе волю его императорского величества: с сего часа ты не генерал, а штатский человек и сверх того преступник. На государеву расправу ты пешеходом гонишься в Москву со стражниками. Собирайся, Бердан Рамзеич, ослобождай казенное помещение!..

10

В полдень Перри шел по среднерусскому континенту и созерцал встречные травинки. За спиной его был мешок, а рядом стражники.

Дорога ожидала дальняя, и стражники были добры, чтобы не тратить зря душу на злобу.

Два стражника были родом из Епифани. Они сказали Перри, что завтра с утра начнут пороть в пыточной хате немца-остальца Форха. Царь будто другой никакой казни ему не назначил, а только дать дюжую порку и выгнать в неметчину.

Дорога в Москву оказалась столь длинна, что Перри забыл, куда его ведут, и так устал, что хотел, чтоб его поскорее довели и убили.

В Рязани епифанские стражники переменились. Новые стражники сказали Перри, что как бы войны с аглицкой державой не было.

— А что так? — спросил Перри.

— Петр-государь, сказывают, пымал у царицы на



спальных снастях полюбовника, а тот аглицким посланцем окажись! Петр-царь ему голову отруби да царице ее в шелковом чувале и пришли!..

— Неужели так? — спросил Перри.

— А ты думал? — сказал стражник. — Видал нашего царя? Громадный мужчина! Сказывают, он тому посланцу руками голову оторвал, будто куренку какому! Шуточное ли дело? Только я слышал, из женщины царь народ на войну не тронет...

Под конец дороги Перри не чувствовал ног. Они у него распухли, и он шел как в валенках.

Один стражник-старик на последней ночевке ни с того ни с сего сказал Перри:

— И куды мы тебя ведем? Может, на мертвую казнь! Нонешний царь горазд на всякую лююсть... Я б убег на глазах! Пра! А ты идешь цыплаком! Кровя, брат, у тебя дохлые — я б залютовал во как и в порку не дался, тем более в казнь!..

11

Перри привели в Кремль и сдали в башенную тюрьму. Ничего ему не говорили, и Перри перестал пытаться судьбу.

В узкое окно он всю ночь видел роскошь природы — звезды — и удивлялся этому живому огню на небе, горевшему в своей высоте и беззаконии.

Такая догадка обрадовала Перри, и он беспечно засмеялся на низком глубоком полу высокому небу, счастливо царствовавшему в захватывающем дыханье пространстве.

Перри проснулся сразу, не помня, как он заснул. Проснулся он не сам по себе, а от людей, которые стояли перед ним и негромко говорили, не будя заключенного. Но он сам проснулся, почуяв их.

— Бертран Рамзей Перри, — сказал дьяк, вынув бумажку и прочтя имя, — по приказу его величества государя императора ты приговорен к усечению головы. Больше мне ничего не ведомо. Прощай. Царство тебе божье. Все ж ты человек.

Дьяк ушел и задвинул снаружи наглухо двери, не сразу управившись с железом.

Остался другой человек — огромный хам, в одних штанах на пуговице и без рубашки.

— Скидавай портки.

Перри начал снимать рубашку.

— Я тебе сказываю — портки прочь, вор!

У палача сияли диким чувством и каким-то шумящим счастьем голубые, а теперь почерневшие глаза.

— Где же твой топор? — спросил Перри, утратив всякое ощущение, кроме маленькой неприязни, как перед холодной водой, куда его сейчас сбросит этот человек.

— Топор! — сказал палач. — Я без топора с тобой управлюсь.

Резким рубящим лезвием вспилась догадка в мозг Перри, чуждая и страшная его природе, как пуля живому сердцу.

И эта догадка заменила Перри чувство топора на шее: он увидел кровь в своих онемелых, остывших глазах и свалился в объятия воющего палача.

Через час в башне загремел железом дьяк.

— Готово, Игнатий? — крикнул он сквозь дверь, притулясь и прислушиваясь.

— Обожди, не лезь, гнида! — скрежеща и сопя, отвечал оттуда палач.

— Вот сатана! — бормотал дьяк. — Такого не видал вовеки. Пока лютостью не изойдет — входить страховито!

Зазвонили к «Достойно» — отходила ранняя обедня.

Дьяк зашел в церковь, взял просфорочку — для первого завтрака, и запасся свечечкой — для вечернего одинокого чтения.

Епифанский воевода Салтыков получил в августе, на яблошный спас, духовитый пакет с марками иноземной державы. Написано на пакете было не по-нашему, но три слова — по-русски:

Бертрану Перри
Инженеру

Салтыков испугался и не знал, что ему делать с этим пакетом на имя мертвеца. А потом положил его от греха за божницу — на вечное поселение паукам.

ЯМСКАЯ СЛОБОДА

I

Уже пятьдесят лет в слободе находилась Миллионная улица. На ней стоял дом с деревянными ветхими воротами. Ворота были сделаны не из двух половин, а из одного дощатого настила, торцом навешенного на пару крюков. Давно умершее дерево от времени и забвения стало как бы почвой и занялось тихим мхом. Ворота открывались только водовозу — раз в неделю, — и то очень бережно, чем руководил сам хозяин. На левом столбовом упоре ворот — три железных заржавленных документа, одинаково древних:

«З. В. Астахов. № 192».

А сверху фамилии нарисованы в виде герба вилы и ведро; это означало, что домохозяин должен тащить на чей-нибудь пожар эти инструменты против огня. Другой документ гласил просто: *«Первое Российское Страхование Общество, 1827 г.»* Это указывало, что дом застрахован. А третья железка приглашала покупателей: *«Сей дом продается»*, — но ни один человек не заходил по этому делу к З. В. Астахову уже двадцать пятый год; поэтому железо успело померкнуть, а домовладелец забыл, зачем повесил его.

Прадед Захара Васильевича Астахова был царским ямщиком. Тогда правила царица Екатерина Вторая, а степные места стояли пустыми и страшными. В поселенцы сюда шел с севера на все согласный, норовистый, натерпевшийся народ. Люди думали найти здесь вольный хлеб, а встречали нужду, крутой труд и быстро дичали в дальней заброшенности. Но царица таких поселенцев редко трогала, хотя и были среди них люди преступного почина, немало вчинившие беды своим помещикам на северной родине. Царица рассматривала

эту степную пустошь, залегшую меж южным морем и Москвой, как дорогу в теплую страну, которая ей за чем-то была необходима. Поэтому поселенцев она сочла дорожными жителями, нужными для прогона курьеров и чиновников по девственным степям. Редкий степной народ сразу приноровился к такой царской нужде — развел хороших худошавых лошадей, учредил кузницы и постоянные дворы, расставил по трактам трактиры — и начал возить всякую казенную службу.

Иные поселенцы, особо бедовые или богомольные, ушли глубже в степь, подальше от гонных трактов, и не стали причастными к казенному заработку. Там такие выходцы занялись глухой жизнью и годами ели свой хлеб, не видя казенного человека. Их-то и обделила впоследствии царица.

А кто пожадней и пояростней на легкую, веселую жизнь, тот остался на новых степных трактах, сел на облучок тарантаса либо хлопотал в трактире и на постоялом дворе. А самые северные и западные уроженцы — из бесхлебных кустарных мест — устроили при дороге горн и наковальню и стали кузнецами. Иногда по степи неслись большие царские люди — тем было лестно угодить.

В старинной Ямской слободе, когда она была только придорожным хутором ямщиков, жили трое особых мужиков — предки Астахова, Теслина и Щепетильникова. Они отличались от прочих поселенцев неистовой ревнивой любовью к лошадям, бабым сладострастием и угодливой завистью к проезжим генералам и чиновникам. Они уже думали о своих конных заводах, только удобного случая разбогатеть не выходило.

Когда им приходилось спешно мчать какого-нибудь посланца из Петербурга, то они выпарывали из лошадей всю мочу: знали, что царский человек не обидит и даст ассигнаций на пару лошадей, когда одна упадет.

Купцы по этому направлению ездили редко — они больше почитали восточные или западные долгие реки: степную скачку они не уважали, а товары волокли навалом по дешевой воде.

Легкая жизнь шла недолго — года четыре. А потом чиновники сразу перестали густо платить. Если же даст, то такую малость, что на деготь не хватит.

— Мы, — говорят, — по казенной императорской цене вознаграждаем, а обиду императрице неси.

Ямщики притаили злобу и молчали. Вскоре же чиновники совсем перестали платить.

— На казенной земле, — говорят, — даром живете, — благодарите царицу, а то враз отсюда вон Потемкин погонит! Вozить нас не труд, а развлечение и отечественная повинность! Поняли?

Ямщики понимали и уходили в темноту восточных степей — заниматься святым хлебопашеством. Так и погас степной ямщицкий промысел.

Но не все ямщики разбрелись — некоторые так втянулись в степную дорогу, что остались. Влекло их главным интересом то, что они надеялись на какую-нибудь награду от знатных ездоков и не верили, что всегда будет даровая гонка. Кроме того, они налегали на дорожные трактиры и постоянные дворы, где драли заграничные цены, как определил один проезжий.

Когда стало совсем мало степных ямщиков, то с государственными делами на юге России пошла неуправка: нужные чиновники задерживались в степи и не могли приехать в срок. Царице доложили, что степняки — бедный и своевольный народ, лучше пока их расположить чем-нибудь, — степной путь велик, и никакой злостной суеты на нем быть не должно. Царица определила по куску степи на каждого усердного и особо исполнительного ямщика. А заботу по поименному названию таких ямщиков — для следующего награждения их земель — возложила на ученого академика Бергgravена, как сподручное ему дело в его странствии по южнорусской степи: Берггравен как раз в тот срок выезжал из Петербурга с научными изысканиями в русскую равнину и неоднократно должен пересечь ее во всех направлениях. Поэтому все ямщики ему будут налицо.

Берггравен был очень пожилой человек и весь ослабленный. Когда он попал к прадеду Астахова, то лег на полати и пролежал в полной слабости две недели, а ямщику Астахову сказал:

— Ты поезди-ка, дружок, один по степи да посмотри на высоких гладких местах: нет ли на земле завязи или скрепы какой, — вроде пуповины у тебя на животе; найдешь, тогда мне скажешь!

Сначала Астахов из страха ездил верхом по степи и искал земного пупка. Он даже удивлялся, почему раньше его не заметил. Но потом ездить перестал, а

спал в дальней ложине целыми днями. Каждый вечер ученый его спрашивал:

— Ничего не обнаружил, дружок? Он ведь большой должен быть, вроде пня или кургана — весь в рубцах и расщелинах. А в щелях должна быть плутоническая твердая грязь! Ты не забудь пунктуально рассмотреть — тогда мне расскажешь!

— Ничего не заметил, ваше сиятельство, — одна ровная степь и ковыль! Где-нибудь пуп должен находиться; я догадываюсь, не в овраге ли он! Без пупа земля расползлась бы — без шва нельзя!

— Ну вот, ну вот! — радовался чему-то ученый человек. — Конечно, земной замок имеется. Только где он, дружок?

— Может, в логу, ваше сиятельство? — покорно доводил до сведения ученого Астахов.

— Ну, чудачок, чудачок, что ты говоришь? Разве у тебя пуповина под мышками сидит? А? Ну что ты говоришь, ты подумай сам!

— Разыщу, ваше сиятельство, будьте покойны, отдыхайте! — говорил Астахов и шел на другой день с утра в ложину. Он уже у стариков спрашивал: где пупок на земном животе? Никто, оказывается, не видел.

— Может, и есть где в сердцевине степи, — ай туда доскачешь.

Астахов не хотел морить коня — сказал ученому, что уезжает на три дня в высокую дальнюю степь, а сам ускакал к куму-казaku в гости, за сорок верст.

— Что скажешь, дружок? — спросил ученый через три дня. — Доехал до пуповины?

— Нашел, ваше сиятельство! — сказал Астахов, равнодушно вздохнув. — В бугристом месте посередине степи торцом стоит — весь червивый такой, в кровоточинах и шитый из кусков! А видать, старый такой, обветшалый и из живого тела сотворен!..

Ученый неделю пытал Астахова и исписал на писалке целую стопку бумаги. Уезжая, ученый дал бумагу Астахову на сорок десятин земли, какую он сам выберет в степи.

Другие ямщики тоже кое-что урвали от ученого. Но сами ямщики до земли и до труда были не усердны, — и роздали ее за малую аренду новым поселенцам-хлебопашцам.

Потом и царица умерла, и тракты пошли скорые, и

почта учредилась, а Ямская слобода осталась навсегда. Только от старых времен у слобожан сохранилась земля, которую они по-прежнему сдавали крестьянам, да звание ямщика, хотя давно ни у кого не было ни одной легкой лошади.

Слободские люди жили тем, что привозили им мужики за землю, а добавляли к этому подсобный заработок, иногда мастерство и собственную бережливость.

2

В нынешний июльский день Захар Васильевич Астахов со сподручным парнем Филатом чинил в саду плетень.

Про Филата слободские люди говорили:

Наш Филатка —
Всей слободе заплатка.

А девки лопотали в праздники:

Ах, Латушка, Филат,
Ни сопат, ни горбат,
Ничем не виноват,
Сам девицам рад,
А и вдовушкам не клад!

Это напрасно — Филат девицам не радовался; он — человек без памяти о своем родстве и жил разным слободским заработком: он мог чинить ведра и плетни, помогать в кузнице, замещал пастуха, оставался с грудным ребенком, когда какая-нибудь хозяйка уходила на базар, бегал в собор с поручением поставить свечку за болящего человека, караулил огороды, красил крыши суриком и рыл ямы в глухих лопухах, а потом носил туда вручную нечистоты из переполненных отхожих мест.

И еще кое-что мог делать Филат, но одного не мог — жениться. На это ему не раз указывали — летом кузнец, а зимой шорник Макар:

— Што ж ты, Филя, век свой зябнешь: в бабе — полжизни! Не раздражай себя, покуда тебе тридцать лет, потом рад бы, да кровостой жидок будет!

Филаг немного гундосил, что люди принимали за признак дурости, но никогда не сердился:

— Да я непосилен, Макар Митрофаныч! Мне абы б самому прокормиться да сторонкой прожить! Да в слободе и нету такой дурной девки, чтобы по мне пришла!..

— Вот хреновина какая! — говорил Макар. — Да аль ты дурен? У мужика не обличовка дорога, а сок в теле! Про то все бабы знают, а ты нет!

— Какой во мне сок, Макар Митрофаныч? Меня на мочегон только чего-то часто тянет, а больше ничем не сочусь!

— Дурной ты, Филат!.. — скорбно кончал Макар и принимался трудиться.

Филат работал спешно во всяком деле, а в кузнице у Макара Митрофановича с особой бодростью. Макар Митрофанович все больше говорил с мужиками-заказчиками, а Филат один попевал, как черт в старинной истории: «Дуй — бей — воды — песку — углей!»

Но в нынешний день Филат помогал Захару Васильевичу. Июль удался погожий и знойный: самая пора для хлеба и сена. Сад З. В. Астахова прилегал сзади к самому двору и тоже был окружен садами других домовладельцев. В саду росло всего деревьев сорок — яблони, груши и два клена. Промежду деревьев место заняли лопух, крапива, крыжовник, малина и прелестная мальва, которая ничем не пахла, несмотря на красоту цветов.

— Закуривай, Филат! — закричал Захар Васильевич. — Глянь, сегодня день какой благородный, как на троицу!

Филат покорно слез с плетня и подошел к Захару Васильевичу, хотя не курил. Захар Васильевич был глуховат и время от времени спрашивал: «А?» Но Филат ничего не произносил, и Захар Васильевич, поведя на него белыми глазами, успокаивался насчет необходимости ответа.

Захар Васильевич курил, а Филат так просто стоял. Филат никогда не имел надобности говорить с человеком, а только отвечал, Захар же Васильевич постоянно и неизбежно мог думать и беседовать только об одном — о своем цопком сладострастии, но это не трогало сердце Филата. Сейчас тоже Захар Васильевич попытал Филата по этому делу.

Филат прослушал и вспомнил Макара Митрофановича — тот каждое воскресенье читал вечером по скла-

дам книги своей семье, а домашние и Филат умильно слушали чужие слова.

— Макарий Митрофанович по-печатному читал, — что в женщине человеку откроется, то на белом свете закроется.

— Да ну, чушь какая! — удивлялся и отвергал Захар Васильевич.

— Я не знаю, Захар Васильевич, в книге по-печатному написано! — не сопротивлялся Филат, но сам тайно верил в справедливость книги.

Поработав на плетнях еще часа два, труженики шли обедать.

В той степной черноземной полосе, где навсегда расположилась Ямская слобода, лето было длинно и прекрасно, но не злило землю до бесплодия, а открывало всю ее благотворность и помогало до зимы вполне разродиться. Душащая сила черноземного плодородия исходила даже в излишних растениях — лопухах и репьях — и способствовала вечерней, гложущей мошкаре.

В тот июль было душно — людей тянуло на квас и на легкую жидкую пищу. Хозяйка Захара Васильевича поставила обед на дворе. Стол был накрыт под кущей сирени — в прохладной тени. Жадный, нетерпеливый Захар Васильевич сейчас же подошел к столу, не ожидая жены, а Филат совестливо остановился вдалеке.

Захар Васильевич, увидя в чашке молоко, подернутое пленкой, подумал, что оно — холодное. Он взял половник и без оглядки, наспех хватил его целиком внутрь. Вслед за этим первым принятием пищи он харкнул и неожиданно — с большой скоростью — перелез через забор к соседу. Филат смутился, как будто он был виноват, и отошел еще дальше от стола. Вышла хозяйка и спросила:

— А где же Захар-то?

— К соседу чего-то кинулся!

— А кто молочный кулеш расплескал? Ты, что ль, хватаешь, не дожدهшься никак, — ведь он вар!

— Я не брал, — сказал Филат, — это хозяин покушал.

Но хозяин пропал и пришел не так скоро. Он обошел длинную улицу с обеих сторон и тогда вошел в калитку на свой двор. Филата тяготила немощь от голода, но он терпел. Хозяйка поймала курицу, которая

квохтала и хотела сесть наседкой, и окунула ее в кадку с водой, слегка попарывая хворостиной, чтобы курица бросила свою блажь и начала нести яйца.

Тогда вошел Захар Васильевич и, совсем успокоенный, кротко сказал:

— Давайте обедать — все нутро сжег!

Аккуратней и меньше всех ел Филат. Он знал, что он всем чужой и ему никто не простит лишней еды, а в будущий раз — откажут в работе.

За обедом Захар Васильевич по глухой привычке иногда спрашивал:

— А?

Но евские молча чавкали, и разговор не начинался. Когда хозяйка дала говядину, то Филат присмотрелся к своему куску и начал копать его пальцами.

— Чего ты? — спросил Захар Васильевич.

— Волосья чьи-то запутались! — ответил Филат, стеснявшийся своей брезгливости.

— Пищей гребуешь! — сказал хозяин. — А ты глотай ее — лущай она потом в пузе разбирается!

Здесь Захар Васильевич добродушно поглядел на жену: дескать, ничего, дело терпится!

Хозяйка разглядела волосок на мясе Филата и раздраженно заявила:

— Да ты небось сам его приволок своими погаными руками — у меня таких длинных и нету!

Захар Васильевич сейчас ел мягкую кашу, но спешил, как зверь, стараясь захватить побольше.

— Хо-хо-хо! Да что ты, Филат, одного волоса испугался — у твоей присухи сколько их будет! Весь век во щаж ловить будешь!..

Филат стеснительно улыбался и давно проглотил волос, чтобы не обижать хозяев.

— Захарушка, правда, нынче каша хорошо упарилась? — нарочно ласково спросила жена, чтобы муж забыл поскорее про нечистоплотный волос.

Хозяин тогда медленно начал жевать кашу, чтобы взять ее достоинство, и дал среднюю оценку:

— Каша — терпимая!

Тут отворилась калитка и вошел пожилой человек — с кнутом в руках, но без лошади.

Захар Васильевич, не ослабляя своей работы над обедом, дал человеку подойти к столу и потом спросил:

— Ты чего, Понтий?

Человек помолчал, снял зимнюю шапку, на кого-то перекрестился и степенно сказал:

— Ну, здравствуйте! Приятного вам аппетита! — и замолчал; а Филат ожидал, смотря на его приготовления, что он сейчас расскажет бог знает что.

— Здравствуй! — приветствовал гостя хозяин, рыгнув, положил ложку: — Будя, натрескался! Ты насчет ямы, Понтий? Теперича не нужно: Филат намедни горстями по лопухам все расплескал! Хо-хо, Филат жуток на расправу!

Человек с кнутом еще постоял и ушел не сразу.

— Так, стало быть, теперча не нужно?

— Нет, Понтий, Филат живьем все унес! — ответил хозяин.

— Ну, а когда дело будет неминуемо — нас не забывают, Захар Васильевич!

— Ну еще бы, Понтий! Только бочку полней наливай и черпак возьми не худой, а что тебе Макар заново справил!

— Да уж чего там, Захар Васильевич! Возкой не обижу! Прощайте пока!

— С богом, Понтий! По улицам добро не проливай — вонь от тебя с малолетства помню!

Но Понтий не услышал последнего напутствия: его кнут раздражал собак — и дворовый Волчок моментально начал лаять, как только Понтий отошел от стола.

Это был Пантелеймон Гаврилович — хозяин слободского ассенизационного обоза, самый богатый и самый скромный человек во всей слободе. Для простоты и из уважения к нему люди его звали Понтием. Работал Понтий с семи лет на одном и том же деле, ел с рабочими один хлеб и много лет не спал ночей, подремывая лишь на передке дрог с бочкой, когда обоз выезжал из слободы в глухой дальний лог.

— Вот тебе бы золотарем стать — хлебное дело! — говорил после обеда Захар Васильевич Филату и задумывался — как будто и сам не прочь стать им. Но Филат и раньше думал про это занятие, только выходило, что ему нужно сто рублей на лошадь и дроги с бочкой. Если бы рубашки и штаны не носились, тогда через пятнадцать лет у Филата очутились бы эти сто рублей, а иначе не будет денег.

Макар два вечера в прошлом году при лампе считал и говорил Филату:

— Нет, брат, капитал нужен велик; если бы ты харчи не натурой получал, а деньгами... то и тогда, скажем, тебе полтора года следует не есть либо пять лет голодать — выбирай сам! Вот тебе и будет лошадь при дрогах!

До позднего вечера, пока комары силу не взяли, Захар Васильевич с Филатом кончали задний плетень. Пахло навозом и кислотой давно обжитой почвы, но и этот воздух казался благоуханием после духоты низких жилищ — и в Захаре Васильевиче он разжигал аппетит на ужин.

Ужинали они под той же сиренью. Чуткий вечер во всеуслышание разносил голоса соседей и отпирал все тайные запахи дворов. Захар Васильевич пил парное молоко и наслаждался мирной жизнью и грядущим сном. А Филат обошелся без молока — поел только хлеба с огурцами — и слушал голос соседа Теслина, что заклинал доску под живопись на завтра. Это случилось каждый вечер — все знали и уже не слушали, но хозяйка Захара Васильевича сказала:

— Вон Василь Прохорыч опять забубнил! Ты где ляжешь — со мной или в сенцах?..

Захар Васильевич ответил, что в сенцах — от жары чего-то мочи нет.

Теслин писал церковные иконы, но, веря в бога, он не верил в животворящую силу своего таланта. Поэтому готовую доску — для божественного изображения — он не сразу пускал под кисть, а сначала троекратно прикладывал к животу своей жены и троекратно же произносил нараспев:

Пропáхни жизнью,
Пропáхни деревом,
Пропáхни девой...

Делал это Теслин почему-то обязательно в погсжий вечер, а в ненастье копил доски до освящения их на жене, но кистью ранее того не малевал. Ни одной иконы никто из соседей никогда не видел: через знакомого в монастырской ризнице Теслин сбывал их в дальние села и в северные скиты. Это и хорошо, потому что слободские богомольцы не стали бы молиться на такие святотатственные иконы — с живота бабы.

После ужина все жители обязательно выходили на улицу и садились на лавочки у домов — посидеть. Вышел и Филат с хозяином и хозяйкой. У хозяйки рос живот, и Захар Васильевич ждал к ноябрю мальчишку: говорил, что дом поручить после смерти некому и что фамилию Астаховых учредила Екатерина Великая — проездом по этим местам. Захар Васильевич два года боялся, что ему от царя достанется, если потомства не будет — пока жена не почала: тогда утихнул совестью и повеселел на дому. Филат не знал — не то это правда, не то Захар Васильевич зазнался от своего положения, — но ничего не спрашивал.

На лавочке уже сидел какой-то молодой, но толстый мальчик. Его знали немного: Володька, сын железнодорожного жандарма с другого конца улицы.

— Подвинься-ка, барчук, — сказал Захар Васильевич.

Тот не подвинулся, а встал, оскорбил и ушел:

— Налопались, уроды, да вышли!

Тогда все трое сели, и Захар Васильевич громко заикал, но ничуть не беспокоился об этом, а заговорил с женой о ягодах на варенье:

— Ты, Насть, вишню теперь волоком волоки, иначе не уцепишь — цена на нее пойдет! Она долго не держится!

— Я бы малинки хотела маленько прикупить — маловато сварили, на зиму не хватит — ты пить здоров, тебе только подавай!

— С малиной время терпит — ты смородину не упusti!

— Знаю, знаю, заказала одному мужику — в пятницу привезет.

— Ты молоко-то отнесла в погреб? Скиснет!..

— Не скиснет, — сейчас пойдем ложиться — отнесу!

— Завтра керосину купи полфунта — опять клопы в койке...

Филат сидел и дышал — у него ничего не готовилось впрок, — и он мог свободно умереть, если работа пережегится недели на две. Но он никогда не помнил об этом, а прожил нечаянно почти тридцать лет.

У Теслиных тоже сидели, только на завалинке: у них не было скамейки.

Завечерело совсем — и не было видно лица у старушки, которая только что вышла из дома Теслиных. Напротив дома Теслиных также сидели люди и что-то бормотали в темноте. Старушка от Теслиных ласково сказала туда:

— Никитишна, здравствуй!

С лавочки напротив раздался певучий ответ из щербатого рта:

— Здравствуй, здравствуй, Пелагей Иванна!

И обе старушки смолкли, потому что все было заранее переговорено: сорок лет знакомы, тридцать лет соседями живут.

Сверчки напевали свою вечернюю песню, отчего на улице становилось уютней, а на душе покойней. Вдалеке иногда шумели посзда железной дороги, но ни в ком не вызывали ни чувств, ни воспоминаний, потому что никто не ездил по железной дороге. Ежегодное путешествие, совершаемое половиной людей из слободы, было пешим: сопровождение крестного хода из ближнего Иоакимовского монастыря до раки преподобного Вараввы — восемьдесят верст по степному тракту. Еще бывали путешествия на подводах — в ближние деревни на престольные праздники, где гости объедались грубой громадной пищей и иногда кончались.

В садах слободы что-то тихо брюзжало и наводило жуть. Ночные сады — страшное видение, и никто из жителей слободы там летом не спал, несмотря на свежесть воздуха. Днем деревья стояли зелеными и кроткими, а ночью ужасали трепетом своих фантастических куш.

— На покой пора! — объявил Захар Васильевич и поднялся, чтобы закончить сегодняшний день.

Филат лег на дворе у сарая — на куче травы, которую он заготовил впрок на все ночи у Захара Васильевича.

Ни одна слободская усадьба уже не жила наяву — все почивали или, шепча молитвы, укладывались.

Филат до тех пор смотрел на непонятные звезды, пока не подумал, что они ближе не подойдут и ему ничем не помогут, — тогда он покорно заснул до нового, лучшего дня.

Там, где Ямская слобода кончалась порожним местом, на которое валили без спросу всякую житейскую чушь, стояла старая хата вольного мастерового Игната Княгина, по-уличному — Сват. Хата имела одну комнату и одного жильца.

— Женись! — приставала многосемейная слобода к каждому холостому человеку — и к Свату. — Не торчи перстом!

— Я те женюсь! — отсекал подстрекателю Сват. — Я сам человек со значением, — на что мне бабье потомство!

Сват был пришедший человек, а не здешний. Поэтому ему досталась нежилая хата на слободской свалке, где до него жили женатые нищие; но Сват их живо выселил, и побирušки рассеялись неизвестно куда, а в слободе сразу извелось нищенство.

Такой энергией Сват сразу привлек к себе добродетельных домовладельцев из слободы, и те больше не боялись ставить молоко в сенцах. А раньше, бывало, нищие ходили и самовольно выпивали это молоко, поставленное к обеду, и еще многое подъедали, не для них приготовленное. Понятно — это нехороший порядок, и хозяева развели собак на каждом дворе, но собаки постепенно привыкли к нищим и не лаяли на них.

Тогда явился Сват и лишил главных нищих жилого призора, отчего они, не ожидая зимы, выехали в дальнейшие южные города.

Слободская свалка, составлявшая как бы усадьбу дома Свата, была знаменитым местом. Сам дом Свата был тоже когда-то свалочным жильем — без оконных рам, без печки и без потолка, одни стены и редкая железная крыша. Дом некогда принадлежал неизвестному бобылю, теперь давно умершему. Слободской староста определил цену этому беспризорному недвижимому имуществу в восемь рублей сорок три копейки, но в казну поступают имения лишь дороже десяти рублей — так дом и остался ничьим, а впоследствии им овладели нищие. Сват хотя и изгнал нищих, но уважал их за одно, что они привели дом в жилой и гожий вид.

— Да это делалось не от ума, а от зимней вьюги! — объяснял он себе домовитость нищих.

Однако выселенные люди ушли не сразу, а месяца два громили по ночам окна камнями и поджигали де-

ревянную дверь. Но Сват одиноко выдерживал осаду, а на заре, когда нищие уставали от штурма и засыпали на близлежащих кучах мусора, Сват делал вылазку. Он не метил обездоленным, а только заставлял их исправлять ошибки неразумного поведения.

— Ключник! — подходил Сват к которому-нибудь сонному нищему: он их всех изучил поименно. — Расшивай рублевку — ты оконную раму повредил!

Ключник сразу догадывался, в чем дело, и поэтому никак не мог проснуться. Баба его давно проснулась и хлопала глазами от ужаса, а муж ее лежал и притворялся, изредка бормоча не относящиеся к делу слова. Сват стоял и терпеливо предлагал Ключнику уплатить рубль. А нищий то откроет глаза, то закроет — и ничего будто не понимает. Тогда Сват брал где-нибудь строительный кирпич и швырял им молча в голову нищего, но так ловко, что кирпич только обжигал воздухом ухо, а в голову не попадал.

— Расшивай рубль, сатана! — грозно гремел огромный Сват.

Жена нищего, визжа и приговаривая, вскакивала и расширяла из захолустий юбки рубль. Сват, получив причитающееся, отставал и уходил разыскивать в кучах следующего должника.

Наверно, Сват был раньше метким солдатом или фокусником на деревенских ярмарках, что так ловко и безвредно мог бить в опасные места.

Отучив нищих, Сват занялся беспримерным делом: отысканием в свалочных кучах драгоценных вещей. Только чужому, прилудному человеку могло прийти в голову такое соображение. Ямская слобода жила так бережливо, что стаканы оставались целыми от деда и завещались будущим людям. Детей же били исключительно за порчу имущества, и притом били зверски, трепеща от умопомрачительной злобы, что с порчей вещей погибает собственная жизнь. Так, на потомственном накоплении — только и держалась слобода. Но Сват не знал, что в слободе люди живут не заработком, а жадностью, и надеялся сыскать на свалке кое-что общепольное, чтобы сбывать и кормиться.

Прокопавшись с неделю, Сват догадался, что ему надо или бежать отсюда, или умирать с голоду — в отбросах скупости не попадалось драгоценных потерь. Все-таки Сват надеялся хоть на что-нибудь и рыл рука-

ми кучи, изучая в точности каждый предмет. Но кости были обглоданы так чисто, словно обожженные, и так тонки, точно принадлежали курице, поэтому их не брали сборщики костей и тряпок; несомненно, что и эти кости предъявлялись сборщикам и пошли на свалку только после неоднократных отказов их.

Тряпичная ветошь дымилась на пальцах и явно не годилась больше ни в какую отделку. Неведомый прах сыпался в горстях Свата, тоже ничем его не привлекая.

В ветреные дни все это забвенное дерьмо пылило и осаждалось где-нибудь по ту сторону хозяйственной жизни человека. Но Сват не успокоился: он выпросил у одной вдовы огромное прямоугольное сито — принадлежность веялки — и начал сквозь него просыпать все кучи по очереди. Оставшиеся сверх сита предметы он, не изучая, относил в домашний угол, а по вечерам рассматривал добычу. Первый вечер не принес ему никакого утешения: в добыче значились куски твердого закоснелого кала, изжившие себя мочалки, четверть подошвы от валенка, какая-то жестяная зазубринка в два зуба, махор с чепца или камилавки, два камушка, веточка с сухими ягодами — «бесево», крошево бутылочного стекла, окамелок веника, птичье гнездо и многое иное, но равно дешевое.

Сват в задумчивости сидел до полуночи, а к заре окончательно поник от беспросветной нужды.

— Буду шапки делать — скоро осень! — сказал он себе утром. — Может, что выйдет! В слободе шапок не готовят, а в городе они дороги, а я по дешевке их буду шить из старых валенок, абы голову человеку грело!

Днем Сват ходил в город — продал сапоги и зипун, — а под вечерний благовест уже был в слободе. За плечами у него держался мешок, в руках палка от собак, а в кармане четыре рубля и два гривенника.

— Валушки ношенные, старые, чиненные здесь покупаю! — кричал Сват чужим голосом и озирался на окна и калитки.

Часа два ходил Сват с одной и той же песней — и все зря: ничего не купил. Только раз высунулась из ворот баба в нижней юбке и с намыленными руками:

— А расколотые утюги не берешь?

— Нет! — сказал Сват.

— А чего же ты берешь?

— Валенки!

— Так кто ж тебе их продаст, на зиму-то глядя! У-у, бестолковый пратиц! Ты б утюги брал аль вьюшки печные чинил!..

— Того не надо мне!— говорил Сват.— Иди стирай подштанники, а меня не учи: я сам ученый, сученый, крученый, моченый, печеный, драченый... Валушки носенные, старые, чиненные — здесь покупа-аю!

Баба пучила на проходимца одеревенелые, напуганные глаза, а потом в сердцах хлопала калиткой.

«Хлеб только собрали — какая же зима?— думал Сват.— До чего ж тут народ заботлив — вперед времени идет!»

Филат с Захаром Васильевичем в это время закончили плетень. Но чтобы работнику вышел полный день и оправдать его ужин, Захар Васильевич нашел дело:

— Филат, прочеши плетень, чтобы он не пушился, а потом к Макару сбегашь за ведром — он ушко приделал!

Филат пошел вдоль плетня, чтобы вправить внутрь торчащие хворостины, а иные лишние изъять прочь. Плетень от такой правки получался ровный и плавный, а каждый свиток прутьев лежал уместно. После такого дела Филат надел валенки, чтобы не бередить израненных плетнем ног, и тронулся к Макару.

Сват к этому часу купил пару валеных опорок и шел знатной походкой. К такой походке его располагало плотное, стройное тело и выправка прежней, неизвестной жизни. От радости первой удачи Сват неугомонно орал свой призыв к продаже валенок.

Филат шел навстречу ему враскорячку — он никогда не служил в солдатах и не видел в жизни ничего строгого, точного и мощного.

— Скидай валенки, Филат!— сразу предложил Сват и стал в уме определять цену.

— Для чего, Игнат Порфирыч? У меня ноги в ссадинах, а от худобы желваки пошли!

— Что ж ты худой такой?— серьезно спросил Сват и положил наземь мешок. — Некормленный, что ль, живешь или сам больной?

— Да я, Игнат Порфирыч, к вечеру слабну, а по утрам встать не могу...

— Говядину-то часто ешь, сны по ночам видишь?— снова спросил Сват и с мрачной задумчивостью оглядел всего Филата.

— Снов я не вижу, Игнат Порфирыч, мне думать не о чем, а говядину хозяева сами едят — ее не укупишь, говорят, — а мне овощ порцией дают!

— Ишь сволочь какая! — не со злобой, а с горем говорил Сват. — От овоща в человеке упора нет!.. А там, черти-дураки, кровь проливают...

— Где? — спросил Филат, и глаза его засочились от чужого участия.

— Где — не на бабьей бороде: на войне! Слыхал ты что-нибудь про войну иль тут анчутки живут?

— Слыхал, Игнат Порфирыч! У меня в теле недоме-рок есть — бумагу на руки дали, так и хожу с ней — боюсь захватить куда-нибудь. А по нашей слободе мужиков мало забрали: кто на железную дорогу учетни-ком стал, а кто белобилетник.

— Знаю, тут ямщики живут — екатерининские помещики! Им что: мужик к зиме всего доставит!

— Это правильно, Игнат Порфирыч, осенью обоза-ми прут!

— Ну, ладно, черт с ними! — закончил беседу Сват и после молчания кратко определил население Ямской слободы: — Глисты в мужицких кишках — вот кто твои хозяева!

Филат не сообразил, но согласился: он не считал себя умным человеком.

— Ты кроток, но глуп — не особенно! — успокаивал Филата Сват.

— Да мне что, Игнат Порфирыч, весь век одними руками работаю — голова всегда на отдыхе, вот она и завяла! — сознался Филат.

— Ничего, Филат, пушай голова отдохнет, когда-ни-будь и она задумается! — говорил Сват и шумно выды-хал воздух, скорбя всею грудью. — Ты у кого работаешь-то сейчас?

— Да у Захара Васильевича нынче плетни кончили в саду, а завтра пойду по дворам напрашиваться!

— Ты вот что — приходи ко мне шапки шить, а там видно будет!

— Аль ты умеешь? — усомнился чего-то Филат.

— Можем. А ты поймешь?

— И я справлюсь! — подобрел Филат и пошел након-ец к Макару за ведром. А Сват тронулся дальше опрашивать слободу насчет валенок.

Два человека сидели на земляном полу в хате Свата и ладили из стволов валенок зимние шапки. Работали они уже целую неделю, а сделали всего четыре шапки. На обед им шли хлеб, огурцы и капуста, но они были довольны; только от скуки дикого ландшафта свалочной пустоши и какой-то тесной темноты в сердце Свату иногда казалось, что солнце навсегда померкло — и он проверял его взором в окно, а солнце заходило за облачко, освобождалось — и вновь светило.

— Претерпело, сволочь! — говорил о солнце Сват. — Вот, подлюка, над всякой жизнью светит — ничего не ценит: хуже скота!

Вечерами они не отдыхали — Сват спешил к Успенской ярмарке, чтобы хоть немного выручить денег и облагородить себя и Филата в одежде.

Когда становилось по-ночному темно, Сват кончал первым и говорил:

— Будя, Филат, — ноги светло, в душе морщины пошли! Достань из мешка хлебца — пожую, и аминь!

В слободе шел густой сон, даже пар над домами поднимался, но это часто и тихо дышала земля, выгоняя дневные человеческие яды.

Сват любил перед сном постоять на крыльце и поглядеть ночной мир. Он видел, как внутрь огромного туловища земли уходило ее гремящее, бушующее сердце и там во тьме продолжало трепетать до утреннего освобождения. Свату нравилось это ежедневное событие, а ничего удивительного не было.

Спали они жутко — от усталости и общей тяжести жизни.

4

Подружился Филат со Сватом теплее кровного родства и думал навек остаться у него шапочным сподручным, если Сват преждевременно не прогонит.

Зато без Филата на слободе многие дела пришли в запустение: поздно обнаружилось, что Филат был единственным и необходимым мастером, способным пользоваться всякое дворовое хозяйство. Другого такого кроткого, способного и дешевого человека не было. Иные хозяйки приходили к Филату на свалку и стучали в окошко.

— Филатушка, ты бы зашел: крыша мочится, в самоваре решетка провалилась!

По доброте сердца Филат никому не мог отказать.

— Как управлюсь — зайду, Митревна! В воскресенье жди обязательно.

Сват обижался на сговорчивость Филата:

— Чего ты этих юбошниц приучаешь? Мало они тебя порцией овощи кормили? Дурной идол!

Раз зашел Захар Васильевич, оглядел шапочное занятие и попросил:

— Зайди, Филат, жена двоих снесла — не знаю, куда деваться! — И ушел, не услышав по глухоте ответа Филата.

— К этому сходи! — сам сказал Сват. — Человеку действительно трудно!

В воскресенье Филат явился к Захару Васильевичу. Бледная, омертвевшая хозяйка лежала на деревянной кровати, на которой от клопов в обыкновенное время не спали. Филату стало жалко хозяйку, и он молча глядел в ее тонкое, благородное лицо.

— Ты что, Филат, — мучительным шепотом спросила хозяйка. — Пришел?..

— Пришел, Настасья Семеновна... Может, вам помочь нужно...

— Ах, мне ничего не надо, Филат. Спроси у Захара!

Филат почувствовал стеснительную неловкость от своего бесполезного участия и ушел из горницы. Ему было чего-то жалко и совестно, как будто он повинен в мучениях Настасьи Семеновны. Тело его ломило от нервной боли, и он горел от непонятного тягостного стыда, какой случался с ним в ранней молодости. Он никогда не искал женщины, но полюбил бы страшно, верно и горячо, если бы хоть одна рябая девка пожалела его и привлекла к себе с материнской кротостью и нежностью. Он бы потерял себя под ее защищающей лаской и до смерти не утомился бы любить ее. Но такого не случилось ни разу — и Филат волновался и трепетал сейчас от чужой брачной тайны.

Захар Васильевич ходил добрым и негромко указывал:

— Филат, наноси воды на ночь!.. Курам не забудь пашенца дать к вечеру!

Филат и сам следил за всем в такой день. В неугомонной суете ему всегда жилось легче: что-то свое,

сердечное и трудное, в работе забывалось. Про это и Сват однажды сказал:

— Работа для нашего брата — милосердие! Дело не в харчах — они надобны, но человека не покрывают! В работе, брат, душа засыпает и нечаянно утешается!

И Филат нынче с яростью мел двор, сделав все остальное, о чем мог догадаться. Захар Васильевич выходил редко — все сидел в горнице около жены. Это тоже почему-то радовало Филата. «Сиди, брат,— думал он, пыля метлой,— я уж тут сам управлюсь, я один, а вы — двое: не обижай жену!»

До полночи бродил по двору Филат, следя за тишиной и порядком, но все давно замерло, только одна наседка квохтала на яйцах в сарае.

Что-то тревожило Филата и настораживало на бдительность, но из дома ничего не слышалось,— наверное, Настасья Семеновна уснула и восстанавливала свои силы, истекшие с родовыми кровями.

Утомившись, Филат постелил под дворовой сиренью свой старый пиджачок и склонился ко сну, но спал так чутко, что слышал над головой ход и дрожание ночи. Где-то на слободских пустырях неугомонно брехала собака, ей издалека и одиноко отвечала другая — и лай их жалобно и безответно тонул в густоте тьмы. Филат слышал лай сквозь толщину померкшего медленного сознания, но звук был такой тонкий и грустный, будто шел из неизвестного потерянного мира, — это успокаивало Филата, и он не просыпался. Сиреневая ветка шевелилась над самыми глазами Филата, но ночь лежала плотно и не трогала спертый воздух: ветка колебалась сама — от древесной жизни и внутреннего беспокойства.

Проснулся Филат на ранней крепкой заре — через сени было слышно, как в горнице судорожно плакал ребенок Настасьи Семеновны, в первый раз от рождения. Филат сейчас же поднялся на ноги и пошел по двору, прислушиваясь к странному, жалобному крику.

Скоро ребенок плакать перестал — Настасья Семеновна чем-то материнским ублаготворила его,— и наружу вышел Захар Васильевич с равнодушным, измученным лицом.

— Филат!— сказал он.— Ставь самовар — теплая вода нужна, а позже на базар сходишь и в аптеку!

Филат с особой цопкой ловкостью начал щеплять

лучинки, радуясь своей полезной работе для Настасьи Семеновны и цветущему будущему дню.

Слободские жители тоже поднялись и бродили по дворам в поисках разных житейских вещей. Они еще зевали, чесали глаза и жмурились от настигавшего их расцветающего солнца. В этот ранний прозрачный час у каждого человека в груди томится восторг, но позже — часам к десяти — у радости вышибается дух домашним остервенением и злобой всяких забот. На третий день Захар Васильевич назначил крестины, но с полудня отказал Филату в работе, так как пришли две кумы, которые одни смогут управиться в хозяйстве.

Филат взял пиджак, подвязал веревочкой подошву к валенку и пошел на свалку к Свату. Настасья Семеновна сидела в горнице и тюлюлюкала своих двоешек, а около окон с улицы стояли озабоченные бабы и шептались о таком событии.

Для Свата и Филата зима бы прошла плохо, если бы они не были так дружны. А для слободы она тянулась долго и худо: война звала мужчин, а жены вдовели и тосковали. Но пропадало народу не так много: вблизи слободы уже лет десять строилась и чинилась какая-то железная дорога — и там укрывались люди от военной службы.

Захар Васильевич тоже поступил кровельщиком на железную дорогу и с утра уходил на работу, набирая в мешок харчей. Труд, видимо, томил его, и он жил с осунувшимся, оскорбленным лицом.

— Игнат Порфирыч, а почему вы не на войне? Вон малый у Гладких — такая худоба, и то забрали! — спросил однажды днем Филат у Свата.

— Э, куда ты вдарил, браток! — хитро засмеялся Сват. — Я человек на исходе: у меня контузия в голову — помаленьку с ума схожу!

Филат открыл рот и сказал:

— А-а! А с виду вы человек умный, Игнат Порфирыч!

— То-то я и шапки с тобой из ветошек леплю — вошь на чужой башке утепляем! А был бы дурак — я бы в окопах под царем и отечеством лежал.

Филат опять открыл рот, но не сообразил, что дальше спросить.

Вечером, укладываясь спать, Сват сам сказал с попонки:

— Я, Филат, ушел с войны по своему желанию! Дюже там скорбно, и своя жизнь делается ни к чему. Только ты никому зря не рассказывай!

— Да мне что, Игнат Порфирыч!— испуганно и поспешно ответил Филат.— Ай мне нужно? Только вы сами напрасно кому не скажите, что мне открылись! А то мне первому достанется!

— Что ж я, сам на себя буду, что ль, наговаривать, курья твоя башка?— зычно обиделся Сват и разжег потухшую сигарку.

И весь разговор забылся.

5

Рано смеркались срединные дни зимы, бесшумно и забыто лежал снег на равнине. Ямская слобода жила — не дышала, а Сват и Филат с прежней неукротимостью шили шапки, хотя чувствовали, что скоро шапкам конец и чем тогда заниматься — неизвестно.

— Пойдемте, Игнат Порфирыч, в ночные сторожа — в колотушечники! Милое дело — ночью караулить, а днем отдыхать! Только пока Прохор с Савелием не помрут, нас не возьмут — они давно живут в колотушечниках и их слободской староста любит!

— Нет, Филат!— заявил Сват.— Я в твои колотушечники не пойду. Лучше я буду днем в пустую бочку суковатой палкой задаром колотить, а в сторожа не пойду! Я еще свежий мужик, что ты меня в старики сдаешь? Мы еще обождем!

Шапочная работа еще кое-как шла, и сбыт был. Обыкновенно покупали шапки дальние мужики, но дело уже клонилось к весне, и шапки можно было брать только в солку, впрок, до будущего года. Несмотря на усердие в работе и экономную пищу, Сват и Филат ничего не заработали в запас, так что после шапок хоть дворы иди громить.

Заходит раз к шапочникам незнакомый мужик и спрашивает с порога:

— А картузы вы делать можете?

— Можем!— ответил Сват, чтобы завлечь человека.

— И козырек с глянцем сумеете сообразить?

— Можем и глянцу достать, если сто картузов себе купишь у нас!— сообщил Сват.

Мужик ехидно засмеялся и сел на лавку, опытно поглядев на шапочных мастеров. Он снял картуз, на котором был козырек без глянца, и сведущим голосом упрекнул:

— Черти-чудаки! Да разве глянцевого лаку теперь достанешь где — он из Германии раньше вагонами шел! Кого вы учите-то, вошебойщики? Я сам весь век картузник! А теперь будя дурака гладить, я и под картузом знаю, что находится!..

Загадочный мужик так чего-то разобиделся, что не мог смирно сидеть, и начал рассматривать самый материал, из которого Сват и Филат делали свои незавидные шапки.

— Да разве это матерьял? Это — злодейство! Чем вы мысль-то, чем вы голову-то человека защищаете? Ведь это же валенок — он же пот копит и когти прячет, а вы самую голову задумали им украшать! Черти, холуйщики!

Сват живо раскусил гостя:

— Слушай, друг, а ты не с фронта,— в голову не контужен?

Мужик немного смирился:

— Оттуда... Газом в умшибануло! Отпущен околевать домой. Все равно я без глянца работать не могу — туманный козырек ореола голове человека не дает! Как же можно?

— Мы сейчас есть собирались!— сказал Сват.— Садись, солдат, покушать!

— Давай, если угощаешь!— согласился гость.— Только достань мне молочка — хлеб макать; я тюрю такую дома едал и страсть соскучился по ней...

— Достанем и молочка тебе!— добрым голосом угощал Сват.— Чего-чего, а молочко есть! От станции-то пешком домой прешь?

— Конечно, пешком!— без обиды и тихо сказал гость.— У солдата откуда деньги? А даром кто меня повезет?

Прошел день, ночь, и новый день уже постарел, а гость обжился и позабыл уйти, хотя башмаков не снимал. Он присел к Филату и умело кроил валяный ма-

териал. Сват не препятствовал хорошему человеку, только окорачивал его в еде. Действительно, гость кушал очень лихо и терял рассудок от аппетита, так что Филату мало доставалось.

— Уйми, жвало, едок!— говорил Сват гостю.— Тут не ты один кормишься! Ишь, всю кашу в один мах пробузовал!

Гость немного укрощал себя, а потом снова забывался и потел от напряжения скул.

— Ты, должно быть, в работе горазд, раз есть так можешь?— спросил Сват.

— Ну, еще бы!— подтвердил гость.— Весь на мускуле стою — по семь дней на фронте черепа, не спавши, крушил! Меру картох с товарищем в присест съедал!

— А на шитье-то ты усидчив?— любопытствовал Сват.

— Это для меня пустота!— заявил гость.— Это я могу неотлучно неделями сидеть, лишь бы хлеб рядом лежал!..

В слободе кротко звонили к вечерне, а три друга утомлялись за работой. Чтобы перебивать усталость, Сват время от времени пытал гостя:

— Ну а что ж ты у нас обосновался? Аль у тебя родных нет?

Гость спохватывался и сообщал:

— Была жена да теща: жена ребенка заспала и сама удушилась на полотенце, а теща теперь на паперти с рукой стоит! Вот я теперь и тоскую сам с сдобой: сын бы нужен мне, да жены сразу не сыщешь.

— Зачем тебе сын? — удивился Сват. — Ты сам хлеба не ешь — мученика хочешь родить?

— Ну а то как же?— ничего не понимал гость.— Мне теперь не жить, и никому не цвель — то война, то забота,— нет ничего задушевного. А сын малолетства не запомнит, а вырастет — тогда будет хошо...

Сват сомневался:

— То никому не известно! Может, тогда еще больше увечья будет!

— Нельзя, я тебе говорю!— злобно заспорил гость и встал с пола.— Немыслимое дело! Я только молчу, а у меня с горя сердце кровью мокнет! Я ведь заржавел от скорби — не знаю, куда мне деться! Ты дума-

ешь — я с радости у тебя на пол сел за твои шапки, дырявая голова!.. Я на фронте был — там народ поголовно погибает, а ты говоришь, что сын мой еще больше увечиться будет! Да разве я дам его какой сволочи! Разве я пушу его на такое мученье, хамское ты отродье, дурак заштопанный? Да я горло гнилыми зубами по швам распушу за такое дело — любому сукину сыну — в полмомента!..

Сват сидел и улыбался, довольный, что задел гостя за живое нутро. А гость подышал немного, собрал разбежавшиеся от возбуждения слова и снова принялся бить:

— Бабы ублюдки, недоноски чертовы! Выдумали царя, веру, запечатали сверху отечеством и бьют народ, чтоб верность такой выдумки доказать! Явится еще кто-нибудь — расчешет в культипой голове иную выдумку и почнет дальше народ замертво класть! А это все чтоб одной правде все поверили! Да будь вы прокляты, триединые стервы!

Гость плюнул жидкими слюнями и треснул по плевку австрийским опорком.

Сват тянул дым из сигарки и весь светлел от удовольствия:

— Верно, друг, правильно! Живи у нас теперь задаром — я не знал, что ты такой!

Филат тоже радовался новому человеку и заговорил от себя:

— У кого есть родня дома, тот скучает на войне... А жена с сыном жальчей всех ему...

Загостивший солдат обратил внимание на Филата и, заметя его слова, открыл свою новую мысль:

— Царь и богатые люди не знают, что сплошного народу на свете нету, а живут кучками сыновья, матери, и один дороже другому. И так цопко кровями все ухвачены, что расцепить — хуже, чем убить... А сверху глядеть — один ровный народ, и никто никому не дорог! Сукины они дети, да разве же допустимо любовь у человека отнимать? Чем потом отплачивать будут?

Гость говорил и жадно шевелил пальцами, как будто лепил руками теплые семьи и сплывал родственников густой нераздельной кровью. Под конец он успокоился и тихо сообщил:

— Дюже много люди умственно соображают — это всем бедам беда...

— Да что ты, друг! — чуть ухмыльнулся Сват. — А я думал, ум нам в нужде помощник.

Гость подумал дальше:

— Когда помощник, то хорошо, а то его на жадность тянет — вот где горе! Человек бросится, а поперек дороги сердечное чувство лежит, его и потопчут! А после вернутся и плачут...

— Оставайся! — окончательно сказал Сват. — Проживем и втроем — не объешь!

Гость сейчас же стал разуваться и протяжно вздохнул, как дома. В первый раз он оглядел все жилище и нашел его удобным, потому что почувствовал такую усталость, которую не выпать за многие ночи подряд.

— Ишь! — сказал Сват ночью, когда гость спал. — Благородные люди думают, что мы рожаемся да жрем, а он вон живет и мучается, и в голове у него бурчит...

Филат дремал и думал о госте, что тяжко ему было сына и жену хоронить, — хорошо — у него нет никого, — и, не осилив себя, заснул.

Ночи понемногу кратчали, а нужда шапочников длиннела — товар перестали брать. Снег начал отапливаться солнцем и желтел от проступавшего прошлогоднего навоза. Иногда дни сверкали лучше летних — близна замороженного снега в упор сопротивлялась солнечному огню — и чистый воздух остро мерцал от колкого холода и тягучего тепла.

Слобода жила зажмурившись — война подсушила благополучие ямщиков, и люди не хотели в такое время замечать роскошь новой весны.

Захар Васильевич тщательно работал на железной дороге и боялся одного — снятия с учета и отправки на фронт. Два мальчика его росли, но отец любил их грубо, ничем не баловал и не ласкал.

А Настасья Семеновна обмирала о детях и так боялась за своих первенцев, что постоянно мучила их лекарствами, трепеща до ужаса от детского поноса.

Макар шорничал и любовно готовился к летнему кузнечному ремеслу, заранее вкушая прелесть открытых летних дней. Прочие люди также жили толково, каждый надеясь на что-нибудь лучшее и легкое.

Сват радовался увеличению света и тепла на дворе,

но немного кручинился и завидовал мертвым неподвижным вещам: им незнакома была забота о еде и благополучии, они жили в каком-то покое и полном отдавании себя.

— Летом с голоду и нарочно не умрешь!— говорил гость Миша, узнав про заботу Свата.— Можно голубей бить, рыбки сходим наловим, зелени съедобной надергаем — вот и суп и уха, а на второе блюдо — гуща!

Однако Сват загодя отправил Филата на его прежний заработок в слободу.

— Хоть и жалко тебя, кроткий человек, и сдружались мы с тобой, но сам видишь — втроем невтерпех, а Мише некуда деваться!

Второй день мастера уже ничего не делали, а нынче Миша сходил за хлебом на последний пятак и то не мог донести хлеб в целости до дома — весь по дороге исковырял и выел мякушко.

— Ну-к что ж!— сказал Филат.— Пойду по дворам наведываться — где-нибудь останусь! А к вам, Игнат Порфирыч, в другой раз буду побалакать придти!..

6

Весна негромко проступала сонной мокрой землей на всяких вздутиях почвы. Филат шел и радовался, что у него есть знакомый — Игнат Порфирыч, и дом на свалках, куда можно всегда пойти.

Устроился он у Макара — доделывать четыре хомута и караулить кузницу, а сам Макар поехал по железной дороге наменять угля для горна. Многие люди в слободе говорили, что нельзя достать необходимых вещей, но ни Сват, ни Филат, ни Миша ни разу не имели нужды в таком предмете, который бы пропал из продажи. Поэтому только в слободе Филат понял, что такое война и ее сосущая, обездоливающая сила.

Слобода от сырости и отсутствия ремонта вся побурела и скорбно глядела запавшими окнами, как человек впроголодь. Собаки похудели и ночью молчали. И все шло в какую-то прорву; даже Филату жалко стало, и он готов был работать за самую плохую еду. Но Макар оставил ему пищи достаточно, потому что зимой занимался нужным ремеслом, работал на мужиков и в пище себе не отказывал.

Макар не возвращался долго, и Филат скучал без дела — хомуты он давно пошил. Каждый день он ходил к Свату и Мише: тем совсем было худо, и они существовали только тем, что Филат приносил из своих остатков.

А Филат приносил не остатки, а почти все, что ему полагалось есть у Макара, а себе оставлял одну хлебную горбушку и четыре картошки.

— Да ты сам-то сыт? — спрашивал Сват. — Гляди, съесть нам немудро, а ты ослабнешь!

— Не ослабну! — стеснялся Филат. — Работы сейчас нету, а на одно дыханье много есть не надо.

Сват обижался:

— Сообразил — дыханье! Ты погляди на Мишу: он тоже одним дыханьем занимается, а может сейчас любого зверя съесть!

— Могу! — лежа подтвердил Миша и вздохнул от аппетита.

Однажды Филат испуганно проснулся. В закоулке кузницы, где он спал, было так темно, что Филат чувствовал себя безопасно. Ночь за бревенчатой стеной укрыла слободу тихой чернотой и спрятала ее из мира до утра. Ничто вятно не тревожилось. Сонные ящики, должно быть, не раз меняли отлежанные бока. Захар Васильевич говорил Филату, при починке плетня, что Настасья Семеновна как повернется ночью, так он летит на пол.

— Да Настя моя еще не так толста, а у кого баба толстая — вот кому горячка! — рассуждал и смеялся Захар Васильевич.

Но сейчас — совсем тихо; на улице нельзя услышать, как падают на пол мужья от ворочающихся, разопревших жен.

Вдруг Филат вздрогнул и приподнялся, а потом услышал — раз за разом — резкую, скорую стрельбу и смутный шум далекого страха.

Забывший сам себя, Филат никогда не видел окрестностей за околицей слободы, только помнил свою детскую деревню, где рос с матерью. Филату от работы некогда было опомниться и подумать головой о постороннем, — и так постепенно и нечаянно он отвык от размышления; а потом, — когда захотел, — уже нечем было: голова от бездействия ослабла навсегда.

Поэтому Филат сейчас задрожал и испугался от непонимания стрельбы. Про войну он знал, но вообразить ее не мог ни по каким рассказам Миши.

Стрельба утихла, зато явственно кричали люди. Филат догадался, что это на вокзале, и вышел наружу.

Небо вызвездило, и Филат внимательно оглядел его. В таком внимании к ночному небу жила старая мечта Филата — заметить звезду в то время, когда она отрывается с места и летит. Падающие звезды с детства волновали его, но он ни разу за всю жизнь не мог увидеть звезду, когда она трогается с неба.

Утром приехал Макар, — без угля и задумчивый:

— Царя давно нету — на железной дороге дезертиры бунтуют... А мы сидим — ничего не знаем: народ шпалы со станции тащит, паровозы, говорят, артелям будут раздавать...

Филату эта весть была такой чуждедальней, что он не очумел от нее, как Макар, а только молчал от небольшого любопытства. Он смутно чувствовал, что плетни, ведра, хомуты и другие вещи навсегда останутся в слободе и какой-нибудь человек их будет чинить.

К вечеру, как управился, Филат пошел к Свату, но встретил его с Мишей по дороге. Миша-гость шел весело и нес целый хлеб, а Сват глядел сам не свой от скрытого душевного движения.

— Уходим, Филат! — печально сказал Сват. — Теперь прощай, раз слободе мы не надобны.

— Да — ишь сукины дети! — угрожал Миша. — Хамье чертово: завзяли землю, живут на покое, а ты никому не нужен — ходи, блуждай!

Проводил их Филат до вокзала и попрощался:

— Может, придете когда, Игнат Порфирыч, слободу проведать?

Филат глядел на отбывающих с покорным горем и не знал, чем помочь себе в тоске расставания.

Сват тоже растрогался и смутился. У конца пути он обнял Филата и поцеловал его колючими усами в шершавые засохшие губы, которые целовала только мать, когда они были младенческими. Филат испугался поцелуя и жалобно сморщился от нечаянных, непривычных слез.

— Но обмокла баба, а то мужиком бы была! — уны-

ло сказал Миша и потянул Свата:— Ну чего ты рас-
страиваешь человека,— он других людей найдет! Просто
он блаженной такой!

Филат не сразу пошел к Макару, а дал круг и в тос-
ке добрел до свалки. Хата Игната Порфирыча стояла
теперь порожняя и смиренная, но Филату казалось, что
и стены и окна скучали по ушедшим — и скорбели от
одиночества. Живой, милой и дорогой осталась опусте-
лая хата, пропахшая людьми, бросившими ее. Филат по-
стоял, потрогал дверь за ручку — ее каждый день брал
Сват; поглядел в поле — его видел Игнат Порфирыч;
прилег на пол — здесь спали они всю мрачную зиму,—
и отвернулся от душного отчаяния, которое нельзя бы-
ло заместить никаким утешением.

Ежедневно ходил Филат к своей хате на свалке и из-
дали смотрел на нее привязанными, нежными глазами.
Он безрассудно ждал, что дверь отворится, выйдет Иг-
нат Порфирыч с сигаркой и скажет:

— Заходи, Филат, чего ж ты на ветру стоишь! Я
всегда тебе рад, краткий человек!

По ночам на станции иногда стреляли, иногда нет.
А слобода запасалась продовольствием, срочно стяги-
вая все недоимки с мужиков за прошлогодний урожай.
Захар Васильевич лично ездил в деревню к своему арен-
датору и наказывал:

— Время, Прохор, мутное, а ты мне пшеница должен
сорок пудов, вези, пока дорога завокла, а то скоро
распустит, тогда до самой фоминой недели не про-
сохнет!

— Да я уж не знаю, Захар Васильевич, как и быть?—
сомневался Прохор, не теряя учтивости в словах.— Го-
ворят, будто земля теперь даром мужику отойдет и с
недоимками дело терпится!

Захар Васильевич моргал от сердечного остервене-
ния и слушал клекот своей разгневанной крови. Но
говорил спокойно, чтобы осмеять мужика.

— Новая власть не дурает старой, Прохор! Ты не ду-
май,— там дураков сменили, а помещиков поставили —
теперь еще крепче земля в их руках зажмет! Оно и
верно: ты свой надел тоже даром соседу не откажешь!
Революция — это одна свобода, а собственность тут ни
при чем,— как была, так и останется!

— Надел — дело малое!— отвечал и раздумывал

Прохор.— Не о чем теперча речь. А один солдат меня страшил, чтоб никак не сметь аренду платить, а то новая власть провалится и война вся сначала пойдет...

— Война не перестанет!— заявлял Захар Васильевич.— Война до конца германца будет идти! А о земле новых правов нету, Прохор, ты и думать забудь! А с пшеном не копайся, а то на будущий год на хутора землю отдам,— там народ посходней...

— Да это дело ваше, Захар Васильевич! А с пшеном не задержу; как телегу на ход поставлю, так и буду в слободе... Зря болтают люди, а мы подхватываем, а кто же его знает,— как будет, никому не известно! Завтра на станцию пешим схожу — солдат поспрошаю!

— Вали, Прохор, поспрошай, ноги у тебя не казенные и башка своя — никому не жалко!— сердился под конец Захар Васильевич и прощался.

Ямщики в слободе загудели. Староста через день созывал сходы и направлял недовольство в законное русло:

— С фронта дезертирии окаянной прет видимо-невидимо: врага отечества свободно пускают внутрь православной земли! Что же теперь делать, православные, когда и мужик даже обнаглел и чужую землю самовольно хочет от владельцев отнять! Таких уставов, по-моему, в законе нету! Но чтоб усечь нахальное самоуправство, нам нынче же надоть всем чином послать бумагу в губернию, чтобы там знали, что делается, и всем под той бумагой полностью и понятно расписаться!..

Филат жил без охоты и усердия — без Игната Порфирыча у него не было никакого интереса. У Макара от смутного времени притихла всякая работа, и он скоро отказал Филату: сам, говорит, видишь — делать нечего, а вдвоем сидеть неважно — ступай по дворам!

7

Посреди слободы стоял двухэтажный старый дом. Около него колодезь, а у колодца круглый сарай — темница для лошади. В той темнице целый день лошадь кружилась на узком месте, таская деревянное водило. На водиле закручивались и раскручивались веревки, которые таскали бадьями воду из колодца. Вода сливалась в большой чан, а из чана напускалась в корыта. Из корыта крестьяне, приезжавшие в слободу на

базар, поили лошадей по копейке с головы, а люди пили бесплатно.

В двухэтажном доме жил владелец колодца Спиридон Матвенч Сухоруков с женой Марфой Алексеевной и двумя детьми — мальчиками.

Филата Макар на прощанье сытно покормил, поэтому Филат зашел на колодезь воды испить. Но вода из чана не текла, а у двери темного сарая стоял Спиридон Матвенч и злобно глядел на прохожего.

— Колодца не копал, а пить хочешь, бродяжий сын! Подойди-ка сюда!

Филат подошел.

— Куда идешь? — спросил Спиридон Матвеевич.

— Вышел работенки поспросить! — ответил Филат.

Спиридон Матвеевич отошел сердцем:

— Бродите вы тут, материны дети, только землю зря ногами карябаете! Иди, я тебя к коню поставлю — мой холуй на деревню бунтовать ушел!

Филат очутился в темном сарае, где, зажмурившись, стояла худая лошадь.

— Чмокай на нее, чтоб она ходила! — сказал Спиридон Матвенч. — А сам наружу поглядывай: даром народ не пой — бери по копейке с воза, а с иного две!

Лошадь побрела по кругу, от натуги наливая кровью тощие жилы. Изредка она замирала и становилась: тогда Филат на нее чмокал — и лошадь дергала водило.

Шли темные часы, и Филата начала морить тесная и безответная тоска. Он выходил наружу, слушал, как хлопают и опрокидываются в чан полные бадьи, и осматривал пустоту глухой улицы. Видно было просторное поле, где светилась весна, но там ни один человек не шел. Филат грустно вспоминал Игната Порфирыча. Но участь лошади, таскающей воду из колодца, была еще беспросветней — и Филату делалось от этого легче.

По ночам Филата клали в чулане, через стенку со спальней хозяев: Отвыкший спать в помещениях, Филат мучился от духоты и пугался потолка — ему казалось, что потолок снижается, как только он закрывает глаза.

Постепенно — навстречу лету — всходила трава и наряжалась в свои цветы молодости. Сады вдруг застеснялись и наскоро укрылись листвой. Почва запала тревожным возбуждением, будто хотела родить особен-

ную вечную жизнь, и луна сияла, как огонь на могиле любимых мертвецов, как фонарь над всеми дорогами, на которых встречаются и расстаются люди.

Филат с жалостью гонял свою лошадь и задумывался в темном сарае. Лошадь к нему привыкла и ходила без понуканий, поэтому Филат целые дни сидел самостоятельно — без всякого дела, лишь иногда принимая копейки от мужиков-водопойщиков. В ленивом или бездельном человеке всегда вырастают скорби и мысли, как сорная трава по бросовой непаханой почве. Так случилось и с Филатом; но голова его, заросшая покойным салом бездействия, воображала и вспоминала смутно, огромно и страшно — как первое движение гор, заледеневших в кристаллы от давления и девственного забвения. Так что, когда шевелилась у Филата мысль, он слышал ее гул в своем сердце.

Иногда Филату казалось, что если бы он мог хорошо и гладко думать, как другие люди, то ему было бы легче одолеть сердечный гнет от неясного тоскующего зова. Этот зов звучал и вечерами превращался в явственный голос, говоривший малопонятные глухие слова. Но мозг не думал, а скрежетал — источник ясного сознания в нем был забит навсегда и не поддавался напору смутного чувства. Тогда Филат шел к лошади и помогал ей тащить водило, упирая сзади. Сделав кругов десять, он чувствовал качающую тошноту и пил холодную воду. Воду он любил пить помногу, она почему-то хорошо действовала на душевный покой — свежесть и чистота. Душу же свою Филат ощущал, как бугорок в горле, и иногда гладил горло, когда было жутко от одиночества и от памяти по Игнате Порфирыче.

В сарай часто забежал Васька — восьмилетний сын Спиридона Матвейча, охальный и умный мальчик. Филат его ласкал по голове и что-нибудь рассказывал. Васька тоже рассказывал, но особенное:

— Филат, мамка опять на горшок садится, а отец ругается...

— Ну, пускай, Вась, садится, она, может, больная и ветра на дворе боится! — объяснял Филат.

— Нет, Филат, она нарочно делает, чтоб отцу не прордыхнуть: она такая блажная, — правда!

Филат начинал про другое — про Свата и Мишу-солдата. Но мальчик, послушав, опять вспоминал:

— Мать вчера чугунок со щами пролила, а отец ей как дернул рогачом по пузу... А мать кричит, что у ней краски тронулись, правда! Отец говорит: «Крась крышу, шлюха», — а мать не полезла на чердак, а легла на койку и плачет! Она всегда у нас притворяется!..

Филат мучился от слов мальчика и думал про себя: «Вот нас теперь трое — лошадь, я и мать мальчика». Тоскливое горе раскололось на три части — и на каждого пришлось меньше.

Однажды Васька прибежал рано утром и закричал:

— Филат! Иди погляди — мамка в сенцах опять села, а отец на дворе кулеш поел, нам ничего не оставил!

Филат успокаивал мальчика, но самому было нехорошо.

После обеда Филат пошел в дом — ему нужно было взять денег у Спиридона Матвевича на новую веревку для бадьи.

Из сеней он услышал дикий сдвленный крик Васьки и шепчущий голос его матери, которая хотела, наверно, убаюкать ребенка и не могла.

— Дай свечку, зараза! — кричал Васька грозные слова, как большой. — Кому я говорю?! Дашь или нет — долго мне дожидаться? А то сейчас самовар на пол свалю, подлая тварь!

Мать ему быстро и испуганно шептала:

— Вась, ну не надо, Вась! Я сейчас найду тебе свечку — ты же сам ее вчера всю сжег... Я пойду за хлебом — куплю тебе новую...

— А я тебе говорю — ты спрятала свечку, проклятая сатана! — хрипел Васька и шевелил что-то гремящее, должно быть самовар.

— Ну, Вась, у меня же нету свечки — я куплю тебе ее....

— А я говорю — дай сейчас же! А то — вот тебе...

За этим загремела медь, и полилась шипящая вода: Васька сволок на пол самовар.

— Я же тебе говорил, чтоб дала, а ты все не давала! — уже спокойно объяснил Васька происшествие.

Филат осторожно открыл дверь и вошел в кухню, чувствуя свое бьющееся сердце и срам на щеках.

На табуретке сидела молодая женщина и плакала, прижав к глазам конец кофты.

Васька сердито глядел на живой кипяток и не сразу заметил Филата, а когда увидел, то сказал матери:

— Ага! Ты что наделала? Я вот отцу скажу — самовар полудили, а ты его на пол! Пусть только отец придет — он тебе покажет!

Женщина молча плакала. Филат испугался больше сына и матери и забыл, зачем он пришел. Женщина торопливо взглянула на него одичалыми черными глазами и вновь спрятала их под веки. Она была худа и очень красива — смуглая, измученная, с лицом, на котором глаза, рот, нос и уши хранились, точно украшения. Неизвестно, как это все уцелело после родов, детей, мужа и такой губительной судьбы.

Другой мальчик, поменьше Васьки, сидел в углу и неслышно плакал вместе с матерью. Филат заметил, что он больше похож на мать — черный, с мягким настороженным лицом, будто постоянно ожидающим удара.

Спиридона Матвеича, очевидно, дома не было — и Филат без слов ушел.

В большие праздники Филат ходил либо к Макару, либо так просто в поле. Макар говорил, что революция, как дождь, стороной где-то прошла, а Ямской слободы не тронула, и больше что-то ничего не видать и не слышать: не то все кончилось, не то ливнем льет над другими местами.

— Да нам все равно! — беседовал Макар. — На всех богатства неостанет, а вот хлеба скоро не будет, тогда все само укротится!

— А на станции народ все едет? — спрашивал Филат.

— Едет, Филат! Дуром прет — вся война в хаты бежит! Да что ж, не без конца воевать — народ наболелся, теперь его не трожь!

Филат подолгу засиживался у Макара и все интересовался, пока тот не начинал зевать и указывать.

— Ты бы шел, Филат, нам с тобой сегодня отдых полагается, а то меня чего-то на немощ тянет!

Филат уходил и замолкал до будущего праздничного дня.

Зеленый свет лета уже смеркался и переходил в синий — свет зрелости и плодородного торжества. Филат наблюдал и думал о том, что скоро начнут снижаться такие высокие полдни, а лето постареет и станет



коричневым, а потом желтым и золотым — таков цвет седой природы. Тогда слобода опять сожмется в домах и в четыре часа дня будет запирать свои ставни и зажигать керосиновый свет.

Слобода считала дни до уборки урожая и гадала — привезут аренду мужики или нет. Спиридон Матвеич был злой человек, изверг для домашней жены, но имел проницательный ум, когда беседовал с соседями у колодца.

Ямщики приходили к нему даже нарочно — спросить, что он думает о своей земле.

— Теперь земли у меня нет! — отвечал Спиридон Матвеич. — Мужики отъемом взяли — в расплату за войну...

— Да ведь правое-то новых еще не вышло, Спиридон Матвеич! — убеждал себя и собеседника ямщик. — Они хамством взяли, а не по закону!

Спиридон Матвеич мрачно осматривал голову говорившего, на которой остался лишь ободок волос. Он всегда наливался тяжелым гневом против глупости человека.

— Ты волос, должно быть, не от ума терял, а от греха, Ириной Фролыч! Хамство прячется тогда, когда сила царства его пугает, а теперь какое, к черту, у нас царство? Паровозы и то хотели по деревням растащить, а то земля: земля — первая вещь!

— Значит, ямщикам смерть приходит? — смирно спрашивал Ириной Фролыч.

Спиридон Матвеич делался серьезным до печали.

— Умирать еще погодим, Ириной. Я думаю, расправа будет наша, а не ихняя.

— А аренду-то ждать в нынешнем году аль в будущем?

— Совсем не жди! — говорил Спиридон Матвеич. — И думать забудь — ни с какой арендой мужик теперь не явится, сам чем-нибудь промышляй!

Филат слушал и начинал понимать простоту революции — отъем земли. В ямщиках он давно заметил злую скрытую обиду и большой тревожный страх. Но страх в них день ото дня рос, а злоба таяла и превращалась в смирное огорчение, потому что в мужиках происходило наоборот: обида выросла в злую волю, а воля вела войну с помещиками — пожаром и разгромом.

Ямщики думали, что и слободе несдобровать, но потом поняли, что они — мелкие землевладельцы, а у мужиков и без них много хлопот.

Филат стал сосредоточенней глядеть по сторонам, хотя ничего легкого для себя не ждал. Он знал, что ворота для него нигде сами не откроются и зимой опять придется лютовать — еще хуже прошлогоднего: тогда хоть Игнат Порфирыч был. Но втайне Филат чувствовал какую-то влекущую мысль: он надеялся, что если выйдет из слободы, то с голоду не пропадет, а раньше бы пропал. Постоянный скрытый страх за жизнь, с годами превратившийся в кротость, рассасывался внутри сам по себе, а сердце все больше разогревалось волнующими первыми желаниями. Чего он желал — Филат не знал. Иногда ему хотелось очутиться среди множества людей и заговорить о всем мире, как он одиноко догадывался о нем. Иногда — выйти на дорогу и навсегда забыть Ямскую слободу, тридцать лет дремучей жизни и то невыразимое сердечное тяготение, которое владеет, наверное, всеми людьми и увлекает их в темноту судьбы.

Филат не мог, как все много работавшие люди, думать сразу — ни с того ни с сего, он сначала что-нибудь чувствовал, а потом его чувство забиралось в голову, громя и изменяя ее нежное устройство. И на первых порах чувство так грубо встряхивало мысль, что она рождалась чудовищем и ее нельзя было гладко выговорить. Голова все еще не отвечала на смутное чувство, от этого Филат терял равновесие жизни.

В дом Игната Порфирыча Филат ходил редко: там вновь поселились нищие и беженцы, которые даже свалочную площадь сумели загадить. Но тоска по утрате друга у Филата теперь заросла грустным воспоминанием, почти не мучительным. Дом же привлекал не одной памятью о прошлом, но и звал уйти за теми, кто ушел из него. Этот дом как-то обнадеживал и радовал Филата и облегчал его время в слободе, будто то были последние дни, которые можно прожить как попало.

Осень вступила по мягким осыпавшимся листьям и долго хранила землю сухой, а небо ясным. Очищенные от хлеба поля казались прохладной пустотой, и над ни-

ми реяли невидимые волосы паутины. Небо сияло голубым дном, как чаша, выпитая жадными устами. И шли те трогательные и потрясающие события, на которых существует мир, никогда не повторяясь и всегда поражаая. Ежедневно человек из глубины и низов земли заново открывал белый свет над головой и питался кровью удивительных надежд.

Филат любил осень — в противоположность страху рассудка перед зимой. Ему казалось, что небо выше, воздуха больше и дышится легче. И в этом году он созерцал знакомую и новую осень, чуть прислушиваясь к заботам ямщиков. А ямщики не столько заботились, сколько слушали, что делается на свете, и передавали друг другу. Они еще верили, что революция — дурацкая сказка, и не боялись ее.

Сначала говорили, что земля обратно отходит к ямщикам — вышел новый крепкий закон, — и германца начали бить снова. Потом это забылось, и мир где-то бушевал молча, не доходя до слободы своим голосом.

Ямщики целой толпой ходили на станцию и спрашивали у стрелочника — не пора ли разбирать пути и все вокзальное имущество делить по народу. Стрелочник сказал, что пока надо погодить, но того не миновать — когда выйдет срок, он прибежит на слободу и скажет. Ямщики взяли из штабеля по шпале на двоих и пришли домой, немного обрадовав жен таким приобретением. Они особенно бывали довольны, когда удавалось что-нибудь получить задаром, хотя бы даровые предметы и не приходились к хозяйству. Покупать же ничего не любили — им всегда казалось, что цена дорога. Это вышло исстари и уложилось в характере. Ведь вся годовая пища привозилась ямщику бесплатно мужиком, как аренда за землю, а дома были собственные; зато одежда служила причиной горя и семейных разладов, потому что она по необходимости, хотя и изредка, покупалась за деньги.

Старушки в одно воскресенье собрались после обедни на паперти храма и тронулись за околицу. Они заранее запаслись мешочками с постной пищей, уговорились с батюшкой и вышли шествием на Иоакимовский монастырь. Филат ходил на край слободы — получать с одного ямщика долг за хозяина, но не получил — ямщик

был одинокий вдовец и ушел в монахи, отказав усадьбу теще. Филат увидел толпу бредущих старух и испугался их, как своей беды. Старухи шли с шепотом, распустив жидкие мертвые волосы. Их ноги скорбели в густом песке, и они поднимали юбки, чтобы не пылить, показывая худую остроту холодных ног. Священник шел впереди и отвлекал лицо от спутниц: он был еще не стар, но жизнь его запугала. Старухи спустились в слободской лог и скрылись за кустарником. Филат поглядел на следы самодельных мягких гудель и вспомнил почему-то гробы на чердаках, которые очень старые ямщики всегда готовили себе впрок и бережно хранили. Зато женщины, несмотря на старость, никогда преждевременно гробов не заказывали и погибали в старых подвенечных платьях.

Ямщики-солдаты, которые остались живы, все вернулись домой и по-разному рассказывали о революции: кто объяснял, что это — евреи восстали и громят все народы, чтобы остаться одним на земле и целиком завладеть ею, а кто говорил, что просто босота режет богачей и надо бросить слободу и бежать грабить имения и города, пока там осталось кое-что.

Пожилые ямщики увещевали людей молиться и ссылались на Библию, где нынешнее время до точности предсказано, и — надо только молиться с таким усердием, пока кровь не пойдет вместо пота, — тогда человек обратится в дух.

— А ты попробуй — помолись до крови! — говорил такому проповеднику Спиридон Матвееч, хитро подразумевая что-то про себя. — А мы поглядим, лучше ли станет твоему духу, когда жизнь пропадет!

— И попробую, и облекусь! — неступленно отвечал пожилой ямщик. — А ты посмотри себе в сердце — ай тебе любя нынешняя жизнь: ни сыт, ни голоден, народ поедом ест друг дружку, царя испоганили, самого бога колышут... Ты гляди — ведь над тобой твердь дрожит!..

Спиридон Матвееч смотрел на твердь:

— Твердь ничего не дрожит: ты думаешь, есть когда богу такой суетой заниматься? Ишь ты, важный какой — бог только и следит за тобой!

— Я — не важный собой, да душа во мне есть — господнее имущество! — серчал и волновался старик.

— Не показывай тогда этого имущества никому —

придет мужик или босяк и отымет: ты знаешь нынешнее время?

Спиридон Матвееч уже бедствовал с семьей — это видел Филат. Но он был самый умный в слободе и без раздражения терпел, раз не было спасения. До войны он держал большую лавку и прочно богател, но лавка сгорела вместе с домом. Спиридон Матвееч выдержал нужду, продал половину земли — спешно отстроился заново и купил колодезь. Говорят, на пожаре у него задохнулась дочка от первой жены и он сам преждевременно бросил тушить двор, не видя смысла в имуществе без дочери. С того же года у него затмилось сердце — к людям он стал относиться резко и невнимательно, как к личным врагам.

Теперешнюю жену Спиридон Матвееч любил — Филат видел его скрытые заботы о ней, — но никогда не мог сдерживать безумного нрава и бил ее неожиданно и чем попало, мучаясь и сжигая себя. Причина этого лежала не в виновности жены, а глубоком затаенном горе, превратившемся в болезнь. Сам Спиридон Матвееч знал, что жена его добрая и красивая, и после избияния ее он иногда приходил в сарай и гладил лошадь, капая слезами на землю. Если Филат был близко, Спиридон Матвееч гнал его:

— Ты — выйди, Филат, там мужики понаехали, а ты деньги упускаешь!

Филат выходил и видел бедного человека в солдатской одежде, горстью утолявшего жажду из лошадиного лютка.

Скоро лето смерклось окончательно, и небо потухло за глухими тучами.

В одну пропашую ночь, когда земля, казалось, затонула в темном колодце, на том краю степи загудели пушки. Слобода одновременно проснулась, зажгла лампадки, и каждый домохозяин сплотил вокруг себя присмирившую семью.

Под утро стрельба смолкла, и неизвестная степь покрылась поздними туманами. В этот день слобода ела только раз, потому что будущее стало страшным, а дожидаться его хотелось всем безрассудно, и продовольствие тратилось экономно.

Вечером через слободу без остановки проехал конный отряд казаков, волоча четыре пушки. Некоторые

казаки попили лошадей у Филата на колодце. Спиридон Матвенч им подал табак и узнал, что казаки ехали домой, но Совет города Луневецка их с оружием не пропустил и приказал разоружиться. Казаки отказались; тогда Совет выслал отряд, и казаки приняли бой. Теперь казаки идут на Дон обходным путем — через суходолы и водоразделы, бросив населенные речные долины, где завелись Советы.

— А из кого эти Советы набраны?— спросил Спиридон Матвенч.

— Кто их смотрел!— равнодушно ответил казак и сел на коня.— Говорят, там батраки и иногородние — всякая такая чужая сволочь!

— Вроде него, что ль?— указал Спиридон Матвенч на Филата, на котором от ветхости разверзалась одежда.

Казак тронул коня и оглянулся:

— Да — подобная голь.

Попозднее долго звонил колокол церкви, собирая ко всеобщей печали, всех опечаленных, всех износивших жизнь, всех, в ком смыкаются вежды над безнадежным сердцем. От свечей и скорбных вздохов через паперть шел дым и восходил вверх вянувшим седым потоком. Нищие стояли двумя рядами и ссорились от своего множества, считая молитвы до конца службы. Грустное пение хора слепых выплывало наружу и смешивалось с тихим шелестом умерших деревьев. Иногда слепая солистка пела одна — и покорность молитвы превращалась в неутешимое отчаяние, даже нищие переставали браниться и умильно молчали.

А после службы люди сразу забывались и переходили к едким заботам. Одна умная женщина, покинув паперть, уже совестила мужа:

— Эх вы, мужики,— только ноете с бабами! Взяли бы ружья, отесали коль — да и пошли бы на деревню мужиков к закону приучать! А то у вас и хатенки поотберут, а вы все будете богу молиться да у чугуна толпиться: бабьи побздики, пра-аво!

Но муж ее молчал и сопел, раздражая этим жену.

— Ух, идол ненаглядный!— свирепела жена и с неоптлевающим сердцем шла до самого двора. Дома ямщик скорее ложился спать и отворачивался к стенке, считая бегущих клопов.

Спиридон Матвееч ходил в церковь очень редко, и то из любви к пению. А Филат совсем не ходил — объяснял, что одежды нет.

На дворе стало уже холодать — Филату трудно терпелось в сарае, пока ходила лошадь: никакая ушивка больше не держалась на прозрачных, сгоревших от пота штанах, а пиджак истерся в холодный лепесток. Но Филат видел, что за день хозяин от колодца выручает копеек тридцать — мужики совсем перестали ездить в слободу, — и попросить на починку одежды стеснялся. Он знал, что если его Спиридон Матвееч прогонит — ему конец: теперь никто не возьмет работника — все ямщики с потерей земли заплошали.

В одно утро Филат встал, вышел из кухни на двор — и весь свет для него переменялся: выпал первый мохнатый снег. Вся земля затихла под снегом и лежала в мирной мертвой чистоте. Надолго смирившиеся деревья опустили ветки и бережно держали снег, гулкий воздух стоял на месте и ничего не трогал. Филат сделал отметку подошвой на снегу и вернулся на кухню.

Было рано, хорошо и прозрачно. В такой час можно чувствовать, как кровь трется в жилах, и особо остро переживаются те заглохшие воспоминания, где сам был виноват и губил людей. Тогда стыд поджигает кожу, несмотря на то, что человек сидит один и нет его судьи.

Филат вспомнил мать, забытую в деревне, умершую на дороге, когда она шла спасаться к сыну. Но сын ничем не мог помочь матери — он тогда пас в ночном слободских лошадей и питался поочередно у хозяев. А жалованье — десять рублей в лето — приходилось на осень. Мать увезли с дороги обратно в деревню, и там без гроба закопали добрые люди. После того Филат ни разу не был в своей деревне — за пятнадцать лет он не имел трех свободных дней подряд и крепкой одежды, чтоб не стыдно было показаться на селе. Теперь его на родине забыли окончательно, и больше не было места, куда бы добровольно тянуло Филата, не считая дома Игната Порфирыча.

В этот первый снежный день Спиридон Матвееч сказал, что лошадь надо продать — выручки с колодца нет, а сено дорого. Филат же должен искать себе новое

место, а пока может жить на кухне, но харчей не будет — не те времена.

Филат притих. Когда ушел хозяин, он потрогал свое тело, которое доставляло ему постоянную беду от желания жить, и не мог никак очнуться.

Лошадь хозяин повел в деревню сам — и к вечеру вернулся один. Филат обошел круг, по которому топталась лошадь, и почти то же чувство тронуло его, что и в пустой хате на свалке, после ухода Игната Порфирча.

Филат, ничего не евши, переночевал еще одну ночь, а утром пошел напрашиваться к Макару. Кузница стояла холодная, и дверь ее наполовину утонула в снегу. Макар сучил веревку в сарае и разговаривал сам с собою. Филат расслышал, что: веревка не верба — и зимой растет...

Когда Макар увидел Филата, он и слушать его не стал:

— Хорошим людям гибель приходит, а таким маломощным, как ты, надо прямо ложиться в снег и считать конец света!

Филат повернулся к воротам и, неожиданно обидевшись, сказал на ходу:

— Для кого в снегу смерть, а для меня он — дорога.

— Ну и валя по нем — ешь его и грейся! — с досадой закончил разговор Макар и перевел зло на веревку: — Сучья ты вещь, рваться горазда, а груз тащить тебя нету!..

Филат почувствовал такую крепость в себе, как будто у него был дом, а в доме обед и жена. Он уже больше не боялся голода и шел без стыда за свою одежду. «Я ни при чем, что мне так худо, — думал Филат. — Я не нарочно на свет родился, а нечаянно, пускай теперь все меня терпят за это, а я мучиться не буду».

Дойдя до дома З. В. Астахова, Филат разыскал хозяина и сказал ему о своей нужде, Захар Васильевич слушал обоими глухими ушами и понял Филата:

— Вчерась, говорят, сторож на кладбище умер — сегодня к обеду звонить некому было: ты бы навелся!

Жена Захара Васильевича мыла посуду и услышала совет мужа:

— Да сиди уж со своим сторожем — дьякон сам лазил звонить, — ты с глуху-то ничего не слышишь! Да и сторожа, Никитишна говорила, взяли — Пашку-сапожника.

— А? Какого Пашку?— спрашивал Захар Васильевич и моргал от внимания.

— Да Пашку-то! Сестра у него — Липка!— кричала жена Настасья Семеновна.— Мать-то он в прошлом году из могилы раскапывал — волоса да кости нашел! Вспомнил теперь?

— А! — сказал Захар Васильевич. — Пашку? Филат бы громче звонил!..

9

День еще не кончился, а от туч потемнело, и начал реять легкий, редкий снег. Заунывно поскрипывала где-то ставня от местного дворового сквозняка, и Филат думал, что этой ставне тоже нехорошо живется.

Больше нигде Филата не ждали, и следовало только возвратиться к Спиридону Матвеечу на кухню и на-тощак переночевать.

Филат подумал, что еще рано: ляжешь — не уснешь, и пошел на свалку.

Дом Игната Порфирыча стоял одиноко, как и в прошлый год. Только много дорожек к нему по снегу протоптано: то бродили нищие к обедне и к вечерне.

Филат остановился невядалеке: внутри дома его не пустили бы нищие. Под снежной пеленою ясно вздувались кучи слободского добра, а за ними лежала угасшая смутная степь.

Вдалеке — в розвальнях, по следам старого степного тракта — ехал одинокий мужичок в свою деревню, и его заволакивала ранняя тьма. И Филат бы сел к нему в сани, доехал до дымной теплой деревни, поел бы щей и уснул на душных полатях, позабыв вчерашний день. Но мужичок уже скрылся далеко и видел свет в окне своей избы.

Филат заметил, что в доме кто-то хочет зажечь огонь и не может — наверное, деревянное масло все вышло, а керосина тогда нигде не продавали. Дверь дома отворилась, изнутри раздался гортанный гул беспокойных нищих, и вышел человек с пылавшей пламенем цигаркой.

Это он закуривал и освечивал окно. Человек с трудом неволил больные ноги по снегу и припал всем туловищем. Дойдя до Филата, он вздохнул и сказал:

— Человек, сбегай за хлебцем в слободу — я тебе дам шматок — ноги не идут!

Филат оживел и помчался, а нищий присел на корточки, чтобы не мучить ног, и стал ждать его.

Когда Филат вернулся с хлебом, нищий позвал его в хагу:

— Пойдем погреться. Я тебе ножиком хлеб поровней отрежу, что ж ты тут один стоишь!

В хате было темней, чем снаружи, и воняло ветхой одеждой, преющей на нечистом теле. Филат никого не мог разглядеть — сидело и лежало на полу и на скамейке человек десять, и все говорили на разные голоса.

Нищие уличали друг друга в скрытности и считали, кто сколько сегодня добыл.

— Ты мне не рассказывай, шлюха, я сама видела, как она тебе пятак давала!..

— А я сдачи дала четыре, плоскомордая квакалка!

— А вот и нет, уж не бреши,— женщина повернулась и ушла...

— Ах ты, рыжая рвота, да у меня ни одного пятака нету — вот поди сыщи!

— А зачем ты бублик жевала, сладкоежка? Вот пятака-то и нету, матушка!

— Молчи, вошь сырая! А то как цокну в пасть, так причастие и выйдет наружу!..

И одна женщина поднялась, судя по голосу,— молодая и здоровая. Но тут зычно треснул чей-то мужской голос:

— Эй вы, черти-судари, опять хлестаться? Уймись! Светуждемся, тогда я вас сам стравлю!

— Это все Фимка, Михал Фролыч! Она меня сладкоежкой ругает, что я бублик за год съела!— жаловался тот же свежий голос.

— Фимка!— гудел Михаил Фролыч.— Не трожь Варю: она не сладкоежка: сходит на двор — не увезешь на тележке!

Нищие захохотали, как счастливые люди.

Филат стоял у порога и слушал голос того, кого

Варя назвала Михаилом Фролычем. Но больше Михаил Фролыч ничего не говорил.

Вдруг у Филата вспыхнула вся душа, и он без памяти крикнул:

— Игнат Порфирыч!

Нищие сразу замолкли.

— Это что за новый опорошник явился?— спросил в тишине голос Михаила Фролыча.

— Миша, это я!— сказал Филат.— А где тут Игнат Порфирыч?

Миша подошел к Филату и засветил спичку:

— А, это ты, Филат? Какой Игнат Порфирыч?

Филат ослабел ногами и слышал работу огромного сердца в своем пустом теле. Он прислонился к стене и тихо сказал:

— А помните, мы жили тут втроем зимой?

— Ага, ты про Игнатия спрашиваешь?— вспомнил Миша.— Был такой, да куда-то заховался — со мной его нету.

— А живой он теперь?— покорно спросил Филат.

— Если не лег где-нибудь, то живой стоит. Что он за особенный?

Миша отвечал скупко на вопросы, и Филат начал стесняться спрашивать больше. Скоро Миша лег на пол в углу, подложил под голову локоть и задремал. Филат не знал, что ему делать, и жевал хлеб старого нищего.

— Ложись с нами, молодой человек, — пригласила Варя.— На дворе сыдь наступила. Прихлопни дверь — и ложись. Завтра опять нам ручкой прясть и лицом срамиться. Ох ты жизнь — мамкина дура...

Варя еще побранилась немного и затихла. Филат прилег боком около Миши и омертвел до белого утра.

Миша поднялся рано — прежде нищих. Но Филат уже не спал.

— Ты куда, Миша?

— Да ведь я по делу, Филат. Вчера пришел — ночевать негде, вот и стал на старом месте. А сегодня я далеко должен быть.

— А где?— спросил Филат.

— До Луневецка должен бы дойти. Там Игнат Порфирыч меня дожидается... Кадеты поперли насмерть — насилу допросился в губернии подмоги.

Миша внимательно запаковал сумку, запахнул шинель и сказал Филату:

— Ну, ты пойдешь, что ли? Игнат Порфирыч поминал тебя... Успеем ли их целыми застать — казаки всю степь забрали. Хоть бы отряд не застрял — в губернии обещали сегодня послать. Набрешут, идолы, — у самих крутовня идет...

Миша подошел к Филату, одернул на нем измятый пиджак и вспомнил:

— Вчерась я тебе ничего не хотел говорить: думаю, на что ты нам нужен. Да проснулся ночью, поглядел, как ты спишь, — и жалко тебя стало: пусть, думаю, идет — пропадает человек.

Оглядев место ночлега, чтобы ничего не забыть, Миша тронулся. Филат — за ним и забыл про дверь.

Варя сразу почувствовала холод и от досады проснулась:

— Дверь оставили — чертовы меренья!

ГОРОД ГРАДОВ

Мое сочинение скучно и терпеливо, как жизнь, из которой оно сделано.

*Ив. Шаронов писатель
конца XIX века*

1

От татарских князей и мурз, в летописях прозванных мордовскими князьями, произошло столбовое градовское дворянство — все эти князья Енгальчевы, Тенишевы и Кугушевы, которых до сих пор помнит градовское крестьянство.

Градов от Москвы лежит в пятистах верстах, но революция шла сюда пешим шагом. Древлеотчинная Градовская губерния долго не сдавалась ей: лишь в марте 1918 года установилась советская власть в губгороде, а в уездах — к концу осени.

Оно и понятно: в редких пунктах Российской империи было столько черносотенцев, как в Градове. Одних мощей Градов имел трое: Евфимий — ветхопещерник, Петр — женоненавистник и Прохор — византиец; кроме того, здесь находились четыре целебных колодца с соленой водой и две лежащих старушки-прорицательницы, живьем легшие в удобные гробы и кормившиеся там одной сметаной. В голодные годы эти старушки вылезли из гробов и стали мешочницами, а что они святые — все позабыли, до того суетливо жилось тогда.

Проезжий ученый говорил властям, что Градов лежит на приречной террасе, о чем и был издан циркуляр для сведения.

Город орошала речка Жмаевка — так учили детей в школе первой ступени. Но летом на улицах было сухо, и дети не видели, что Жмаевка орошает Градов, и не понимали урока.

Вокруг города жили слободы: исконные градовцы называли слобожан нахальщиками, ибо слобожане бросали пахотное дело и стремились стать служилами-чиновниками, а в междучарствие свое — пока им должностей не выходило — занимались чинкой сапог, смолокурством, перепродажей ржаного зерна и прочим незнатным занятием. Но в том была подоплека всей жизни

Градова: слобожане заседали и отнимали у градовцев хлебные места в учреждениях, а градовцы обижались и отбивались от деревенских охальников. Поэтому три раза в год — на тронцу, в николин день и на крещение — между городом и слободами происходили кулачные бои. Слобожане, кормленные густой пищей, всегда побивали градовцев, исчахших на казенных харчах.

Если подъезжать к Градову не по железной дороге, а по грунту, то въедешь в город незаметно: всё будут поля, потом пойдут хаты, сделанные из глины, соломы и плетня, потом предстанут храмы и уже впоследствии откроется площадь. Посреди площади стоит собор, а против него двухэтажный дом.

— А где же город?— спросит приезжий человек.

— А вот он, город и есть!— ответит ему возчик и укажет на тот же двухэтажный дом старинной стройки. На доме том висит вывеска:

«Градовский уисполком».

На краю базарной площади стоят еще несколько домов казенного вечного образца — там тоже необходимые губернии учреждения.

Есть в Градове жилища и поприличней хат. Крыты они железом, на дворе имеют нужники, а с уличной стороны палисадники. У иных есть и садики, где растут вишня и яблоня. Вишня идет в настойку, а яблоко в мочку.

Живут в таких домах служащие люди и хлебные скупщики.

В летние вечера город наполняется плавающим колокольным звоном и трубным дымом поставленных самоваров.

Народ в городе существовал без спешки и не беспокоился о якобы лучшей жизни. Служил с усердием, держа порядок в губернии, но ярости в труде не знал. Торговали по малости, без риска, но прочно сбывая хлеб насущный.

Героев город не имел, безропотно и единогласно принимая резолюции по мировым вопросам.

А может, и были в Градове герои, только их персвела точная законность и надлежащие мероприятия.

Отсюда пошло то, что сколько ни давали денег этой ветхой, растрепанной бандитами и заросшей лопухами губернии, ничего замечательного не выходило.

В Москве руководители губернии говорили прави-

тельству, что хотя нельзя сказать точно, на что истрачены пять миллионов, отпущенные в прошлом году на сельское хозяйство, но толк от этих миллионов должен быть: все-таки деньги истрачены в Градовской губернии, а не в чужом месте, и как-нибудь скажутся.

— Может, пройдет десять годов,— говорил председатель Градовского губисполкома,— а у нас рожь начнет расти с оглоблю, а картошка в колесо. Вот тогда и видно будет, куда ушло пять миллионов рублей!

А было дело так. Случился в Градовской губернии голод от засухи. На прокормление крестьян и на особые гидротехнические работы отпустили пять миллионов рублей.

Восемь раз заседал президиум Градовского губисполкома: что делать с этими деньгами? Четыре месяца шло обсуждение серьезного вопроса.

В основу отбора голодающих крестьян от сытых был положен классовый принцип: помощь оказывать только тем крестьянам, у которых нет ни коровы, ни лошади, а наличный скот — не свыше двух овец и двадцати кур, включая петуха; остальным крестьянам, имеющим корову или лошадь, давать хлеб порциями, когда в теле есть научные признаки голода.

Научное определение голода было возложено на ветеринаров и на сельский педагогический персонал. Затем Градовским губисполкомом была детально разработана «Ведомость учета крестьянских хозяйств, на восстановление, укрепление и развитие коих может в некоторой степени повлиять частичный недород некоторых районов губернии».

Сверх натуральной кормежки решено было начать гидротехнические работы. Создана была особая комиссия по набору техников. Но она ни одного техника не приняла, так как оказалось: чтобы построить деревенский колодезь, техник должен знать всего Карла Маркса.

Комиссия решила, что технического персонала на рынке республики нет, и по одному доброму совету приняла, что эти работы надо поручить бывшим солдатам военнопленным, а также сельским самоучкам, которые даже часы могут чинить, а не только насыпь сделать или яму для воды выкопать. Один член этой приемочной комиссии вслух прочитал книгу, где говорится, как холоп Микишка сделал аэроплан и летал на нем перед Иваном Грозным,— чем убедил окончательно комиссию в

скрытых силах пролетариата и трудового крестьянства. Следовательно, решила комиссия, средства, отпущенные губернии на борьбу с недородом, помогут «выявить, использовать, учесть и в дальнейшем снова использовать внутренние умственные силы пролетариата и беднейших крестьян, тем самым гидротехнические работы в нашей губернии будут иметь косвенный культурный эффект».

Было построено шестьсот плотин и четыреста колодцев. Техников совсем не было, а может, было человека два. Не дотянув до осени, плотины были смыты летними легкими дождями, а колодцы почти все стояли сухими.

Кроме того, одна сельскохозяйственная коммуна, под названием «Импорт», начала строить железную дорогу длиною в десять верст. Железная дорога должна соединить «Импорт» с другой коммуной — «Вера, Надежда, Любовь». Денег «Импорт» имел пять тысяч рублей, и даны они были на орошение сада. Но железная дорога осталась недостроенной: коммуна «Вера, Надежда, Любовь» была ликвидирована губернией за свое название, а член правления «Импорта», посланный в Москву купить за двести рублей паровоз, почему-то не вернулся.

Сверх того, на те же деньги десятниками самочинно были построены восемь планеров для почтовой службы и перевозки сена и один вечный двигатель, действующий моченым песком.

2

В Градов Иван Федорович Шмаков ехал с четким заданием — врать в губернские дела и освежить их здравым смыслом. Шмакову было тридцать пять лет, и славился он совестью перед законом и административным инстинктом, за что и был одобрен высоким госорганом и послан на ответственный пост.

Думал Шмаков как раз про то, что было ему известно про Градов. А известно ему было одно, что Градов — оскуделый город и люди живут там настолько бестолково, что даже чернозем травы не родит.

За два часа до Градова Шмаков вышел на попутную станцию и, оглянувшись по сторонам, испуганно и наспех выпил водочки в буфете, зная, что советская

власть не любит водки. Особое чувство скуки и беспокойства охватило Шмакова, когда он шел по мрачным и бесприютным залам вокзала. В третьем классе сидели безработные и ели дешевую мокрую колбасу. Плакали дети, увеличивая чувство тревоги и беспомощной жалости. Уныло гудели маломощные паровозы, готовясь к одолению скучных осенних пространств, полных редкой и убогой жизни.

Проезжие люди жили так, как будто они ехали по чужой планете, а не по отечественной стране; каждый ел укрошкой и соседу пищи не давал, но все-таки люди жались друг к другу, ища защиты на страшных путях сообщения.

Шмаков вошел в вагон и закурил. Поезд тронулся. Наспех выскочила баба с яблоками, запутавшись в сдаче пассажиру с гривенника.

Шмаков плюнул, раздражаясь от длительности пути, и сел. За окном проскакивали хижины какого-то городка и не спеша помахивала мельница ветхими крыльями, тяжело меля грубое зерно.

Некий старичок рассказывал соседям хитроумную притчу, и люди смеялись, торопя старика:

— А мордвин што?

— А мордвин богатый человек,— говорил старик,— мордвин угостил русского подобру и честь честью. Только русский говорит мордвину: «Я беден, и когда разбогатею, тогда тебя тоже в гости позову».

— А мордвин ему што?

— А мордвин ждет! Прошел год, еще год, а потом сразу два. Русский все не богатеет, а мордвин все ждет — когда его русский к себе в гости позовет? Четыре года томился мордвин, а потом вспомнил про русского и пошел к нему в гости. Вот приходит в хату...

— К русскому?

— К русскому, то видно по рассказу. Русский схватил шапку с мордвина — то на один гвоздь ее повесит, то на другой, то на третий. «Што ты?» — спрашивает его мордвин. «Места тебе не найду», — говорит русский. «Почет, значит?» — «Ну, почет, конечно». Сел мордвин за порожний стол и глядит, чего бы ухватить ему из пищи. Глядь, русский кувшин тащит. «Пей», — говорит. Мордвин ухватился, думал — влага какая, а там вода. Попил мордвин. «Будя», — говорит. «Пей», — говорит

русский,— не обижай, пожалуйста!» Мордвин, конечно, человек уважительный,— пьет. Не успел выпить этого кувшина, хозяйка ведро принесла, а хозяин доливает кувшин и потчует гостя. «Не обидь,— говорит,— угощайся, ради бога!» Выпил мордвин три ведра воды и пошел домой. «Хорошо угостил тебя русский?»— спрашивает мордвина жена. «Хорошо,— говорит мордвин,— спасибо, что вода была, а от водки бы помер — три ведра выпил...»

Шмаков задремал от плавного хода поезда и сбился с рассказа старика. Увидев во сне кошмарное видение, что рельсы лежат не на земле, а на диаграмме и означают пунктир, то есть косвенное подчинение, Шмаков пробормотал что-то и проснулся. Старичок исчез, взяв свой мешок с продуктами, а на его месте сидел комсомолец и проповедовал:

— Религия должна караться по закону!

— Это через почему ж такое по закону-то? — злобно допытывался неизвестный человек, ранее рассказывавший о ценах на пшено в Саратове и Раненбурге.

— А вот почему!— говорил парень, равнодушно и старчески улыбаясь и явно жалея собеседников.— Я расскажу все последовательно! Потому что религия есть злоупотребление природой! Поняли? Дело ведь просто: солнце начинает нагревать навоз, сначала вонь идет, а потом оттуда трава вырастает. Так и вся жизнь на земле произошла — очень просто...

— А я у вас извинения попрошу, товарищ коммунист,— робко выговорил все тот же неизвестный человек, что на пшено цену знал,— ежели ты навоз, допустим, на загнетку положишь, а печку затопишь, чтоб тепло и свет шли, то, по-вашему, вырастет трава из навоза аль нет?

— Ну да, вырастет!— ответил знающий парень.— Все равно — что печка, что солнце...

— И на лежанке можно?— хитрил неизвестный человек.

— Ясно, можно!— подтвердил комсомолец.

— А вы вот что нам скажите, гражданин коммунист,— хрипло обратился человек, ехавший в Козлов на мясохладобойню,— правда, что Днепр перегородить хотят и Польшу затопить?

Комсомольский знаток разгорелся и сразу рассказал о Днепрострое все, что известно и неизвестно.

— Сурьезное дело!— дал свое заключение о Днепрострое козловский человек.— Только воду в Днепре не удержаты!

— Это почему ж такое?— вступился тут Шмаков.

Козловец сумрачно поглядел на Шмакова: дескать, это еще что за мошь тут встряла в разговор?

— А потому,— сказал он,— что вода — дело тяжкое, камень точит и железо скоблит, а советский материал — мягкая вещь!

«Он прав, сволочь!— подумал Шмаков.— У меня тоже пуговицы от новых штанов оторвались, а в Москве покупал!»

Дальше Шмаков не слушал, заскорбев от дум и недоброкачества жизни. Поезд гремел на крутом уклоне и скрежетал бессильными тормозами.

Печальный, молчаливый сентябрь стоял в прохладном пустопорожном поле, где не было теперь никакого промысла. Одно окно в вагоне было открыто, и какие-то пешие люди кричали в поезд:

— Эй, сволочи!

Иногда встречные пастушонки просили:

— Брось газету!— Газета им требовалась на цигарки.

Комсомолец, раздобрев от своей осведомленности, побросал им всю наличную бумагу, и пастушонки ловили ее, не допуская до земли. Но Шмаков своей газеты не дал — в чужом городе всякий клочок дороги.

— Градов! Кому до Градова? Первая остановка!— сказал проводник и начал выметать сор.— Насорили, идола, как в поле! Штрафовать вас надо, да денег у вас нету! Бабка, прими ноги!

Шмаков сошел в Градове, и его охватила некоторая жуть.

«Вот оно, мое поселение»,— подумал Шмаков и оглядывал тихий вокзал и скромных людей, спешащих попасть в вагоны.

Несмотря на то что этот пункт был связан рельсами со всем миром — с Афинами и Апеннинским полуостровом, а также с берегом Тихого океана, — никто туда не ездил: не было надобности. А если б кто поехал, то запутался бы в маршруте: народ тут жил бестолковый.

Вселился Шмаков в дом № 46 по Коркиной улице; дом был невелик, и жила в нем одна старушка, карачульщица своего недвижимого имущества. Получала она за мужа пенсию одиннадцать рублей двадцать пять копеек в месяц и комнату сдавала за восемь рублей с ее топкой.

Сел за голый стол Иван Федотыч, поглядел на двор, где травы умирали, и ему сделалось скучно. Посидев, Иван Федотыч лег, а полежавши, встал и пошел еды купить.

Еще не закатилось сентябрьское солнце, а Иван Федотыч вернулся в пустоту своего жилища. Старушка вздыхала на кухне от перемены власти и трещала лучинками к самовару.

Иван Федотыч поел колбасы, а затем сел выработать форму своей подписи на будущих бумагах. «Шмаков», — написал Иван Федотыч. «Нет, не твердо», — подумал он и вновь написал «Шмаков», но уже более бесхитростно и как бы невзначай копируя по простоте начертания подпись Ленина.

Затем долго раздумывал Иван Федотыч — ставить ему перед своей фамилией «Ив» — Иван, или не надо. Наконец решил поставить: могут обознаться и спутать с инородным человеком; хотя фамилия «Шмаков» — достаточно редкостная.

В восемь часов старушка перестала вздыхать и тихо засопела — уснула, стало быть. Потом проснулась и долго бормотала славянские молитвы.

Иван Федотыч задернул занавесочки, понюхал большой цветок на подоконнике и извлек из чемодана кожаную тетрадь. На коже было вырезано перочинным ножом заглавие рукописного труда:

«ЗАПИСКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЧЕЛОВЕКА»

Открыв рукопись на сорок девятой странице, Иван Федотыч подчитал конец и, разогнавшись мыслью, начал продолжать:

«...Я тайно веду свой труд. Но когда-нибудь он делается мировым юридическим сочинением, а именно: я говорю, чиновник и прочее всякое должностное лицо — это ценнейший агент социалистической истории, это живая шпала под рельсами в социализм.

Служение социалистическому отечеству — это новая религия человека, ощущающего в своем сердце чувство революционного долга.

Воистину в 1917 году в России впервые отпраздновал свою победу гармонический разум порядка!

Современная борьба с бюрократией основана отчасти на непонимании вещей.

Бюро есть конторка. А конторский стол суть непреходящая принадлежность всякого государственного аппарата.

Бюрократия имеет заслуги перед революцией: она склеила расползавшиеся части народа, пронизала их волей к порядку и приучила к однообразному пониманию обычных вещей.

Бюрократ должен быть раздавлен и выжат из Советского государства, как кислота из лимона. Но не останется ли тогда в лимоне одно ветхое дерьмо, не дающее вкусу никакого достоинства...»

— Гады! — заорал кто-то у окна. — Испотрошу всяку сволочь, всяку баптистскую ересь...

И вдруг голос смиротворился и зазвучал милосердно:

— Друг, скажи по-матерному, по-церковнославянски! Ага, нельзя!.. Эх ты, гниденыш!

Шаги удалились, и пустынно застучал колотушечник, предупреждая грабеж.

Шмаков сначала насторожился, а потом поник в удручении от многочисленности хамства.

Одолев нравственную тревогу, он продолжал:

«Что нам дают вместо бюрократизма? Нам дают — доверие вместо документального порядка, то есть дают хищничество, ахиною и поэзию.

Нет! Нам нужно, чтобы человек стал святым и нравственным, потому что иначе ему деться некуда. Всюду должен быть документ и надлежащий общий порядок.

Бумага лишь символ жизни, но она и тень истины, а не хамская выдумка чиновника.

Бумага, изложенная по существу и надлежаще оформленная, есть продукт высочайшей цивилизации. Она предугитывает порочную породу людей и фактирует их действия в интересах общества.

Более того, бумага приучает людей к социальной нравственности, ибо ничто не может быть скрыто от канцелярии».

Часто бывало, что мысль Ивана Федотыча увлека-

лась сторонними соображениями во вред пользе. Вот и сейчас, пренебрегая временем, он задумался о сравнительной административной силе предюка и исправника. Затем он подумал о воде земного шара и решил, что лучше спустить все океаны и реки в подземные недра, чтобы была сухая территория. Тогда не будет беспокойства от дождей, а народ можно расселить просторнее. Воду будут сосать из глубины насосы, облака исчезнут, а в небе станет вечно гореть солнце, как видимый административный центр.

«Самый худший враг порядка и гармонии,— думал Шмаков,— это природа. Всегда в ней что-нибудь случается...

А что, если учредить для природы судебную власть и карать ее за бесчинство? Например, драть растения за недород. Конечно, не просто пороть, а как-нибудь похитрее — химически, так сказать!

Не согласится,— вздохнул Шмаков,— беззаконники везде сидят!»

Потом он очнулся и продолжал работать:

«И как идеал зиждется перед моим истомленным взором то общество, где деловая официальная бумага прося и проконтролировала людей настолько, что, будучи по существу порочными, они стали нравственными. Ибо бумага и отношение следовали за поступками людей неотступно, грозили им законными карами, и нравственность сделалась их привычкой.

Канцелярия является главной силой, преобразующей мир порочных стихий в мир закона и благородства.

Подумать надо над этим — и крепко подумать. Я кончаю сегодняшнюю очередную запись, чтобы крепко подумать о бюрократии».

Тут Иван Федотыч встал и действительно задумался.

Так думал он о бюрократии долго, пока его не перебил собачий лай на ночной улице, и тогда он уснул, зря не потушив лампы.

На другой день Шмаков явился на службу — в губернское земельное управление, куда он назначен был заведовать подотделом.

Явившись, он молча сел и начал листовать разумные бумаги. Сослуживцы дико смотрели на новое молчаливое начальство и, вздыхая, не спеша чертили какие-то длинные скрижали.

Иван Федотыч постепенно входил в самое средоточие

дел, но сразу усмотрел ущерб стройности и делопроизводственной логике.

Вечером, лежа на кровати, он раздумывал о своей новой службе. Круг обязанностей каждого сотрудника очерчен недостаточно четко, служащие суетятся с малой пользой, в бумагах запор смысла и скользкая бесплановая логика, в толчее и подотдельской тесноте сотрудники утратили самую цель своих трудов и исторический смысл своей службы.

Поев вчерашней колбасы, Шмаков сел писать доклад начальнику земуправления.

«О соподчинении служащих внутри вверенного мне подотдела в целях рационализации руководимой мною области сельскохозяйственных мероприятий».

Трактат свой Иван Федотыч кончил поздней ночью — за полночь.

Утром хозяйка сжалилась над одиноким человеком и дала Ивану Федотычу бесплатно чай. Ночью она слышала, как у спящего Шмакова рычала и резко трескалась сухая жирная пища в животе.

Иван Федотыч принял чай без всякого одобрения и без интереса прослушал хозяйкин рассказ об их глухой стороне.

Оказалось, что в ближних к Градову деревнях — не говоря про дальние, что в лесистой стороне, — до сей поры весной в новолунье и в первый гром купались в реках и озерах, умывались с серебра, лили воск, окуривали от болезней скот и насвистывали ветер.

«Холуйство! — подумал Иван Федотыч, послушав старуху. — Только живая сила государства — служилый, должный народ способен упорядочить это мракобесие».

Идя на службу, Иван Федотыч чувствовал легкость желудка от горячего чая старухи и покой мысли от убежденности в благотворном государственном начале.

На службе Ивану Федотычу дали дело о наделении земель потомков некоей Алены, которая была предводительницей мятежных отрядов Поценского края в XVIII столетии и которую сожгли за чародейные дела в срубе в г. Кадоме.

«Ездили они, отцы наши, воровские казаки, — читал в деле Шмаков, — по уездам, рубили помещиков и вотчинников, за которыми были крестьяне, а черных людей, крестьян и боярских людей и иных служилых людей никого не рубили и не грабили».

Дело о землеустройстве погомков Алены тянулось уже пятый год. Теперь пришла новая бумага от них с резолюцией начальника учреждения:

«Тов. Шмакову. Решн это дело, пожалуйста, окончательно. Пягый год идет волокита о семи десятинах. Доложи мне срочно по сему».

Шмаков исчитал все дело и нашел, что это дело можно решить трояко, о чем и написал особую докладную записку начальнику учреждения, не предрешая вопроса, а ставя его на усмотрение вышестоящих инстанций. В конце записки он вставил собственное изречение, что волокита есть умственное коллективное вырабатывание социальной истины, а не порок. Управившись с Аленой, Шмаков углубился в поселок Гора-Горушку, который жил на песках, а на лучшие земли не выходил. Оказалось, что поселок жил тихим хищничеством с железной дороги, которая проходила в двух верстах. Поселку давали и деньги и агрономов, а он сидел на песке и жил неведомо чем.

Шмаков написал на этом деле резолюцию:

«Гору-Горушку считать вольным поселением, по примеру немецкого города Гамбурга, а жителей — транспортными хищниками; земли же надлежит у них изъять и передать в трудовое пользование».

Далее попало заявление жителей хутора Девьи Дубравы о необходимости присылки им аэроплана для подгонки туч в сухое летнее время. К заявлению прилагалась вырезка из газеты «Градовские известия», которая обнадежила девьедубравцев.

«Пролетарский Илья Пророк.

Ленинградский советский ученый профессор Мартенсен изобрел аэропланы, самопроизвольно льющие дождь на землю и делающие над пашней облака. Будущим летом предположено испытать эти аэропланы в крестьянских условиях. Аэропланы действуют посредством **на-**электризованного песка».

Изучив все тексты сего дела, Шмаков положил свое заключение:

«Ввиду сыпавшегося из аэроплана песка, чем уменьшается добротность пахотных почв, признать отпуск аэроплана хутору Девьи Дубравы пока преждевременным, о чем и уведомить просителей».

Остаток трудового дня Шмаков истратил целиком и полностью на заполнение форм учета учетной работы,

наслаждаясь графами и терминами государственного точного языка.

На пятый день службы Шмаков познакомился с заведующим административно-финансовым отделом земельного управления Степаном Ермиловичем Бормотовым.

Бормотов принял Шмакова спокойно, как чуждое интересам дела явление.

— Товарищ Бормотов,— обратился Шмаков,— у нас дело стоит: вы почту приказали отправлять два раза в месяц оказаниями.

Бормотов молчал и подписывал ассигновки.

— Товарищ Бормотов,— повторил Иван Федотыч,— у меня тут срочные бумажки, а отправлять почту будут через неделю чохом...

Бормотов нажал кнопку звонка, не глядя на Шмакова.

Вошел испуганный пожилой человек и прищурился на Бормотова с почтительным и усиленным вниманием.

— Отнеси это в ремесленную управу,— сказал Бормотов человеку.— Да позови мне какую-нибудь балерину из переписчиц.

Человек не осмелился ничего сказать и ушел.

Вошла машинистка.

— Соня,— сказал ей Бормотов, не взирая на нее, а узнав по запаху и иным косвенным признакам.— Соня! Ты оперплан не переписала еще?

— Переписала, Степан Ермилыч!— ответила Соня.— Это операционный план? Ах, нет, не переписала!

— Ну вот, ты спроси сначала, а потом отвечай, а то — переписала!

— Вы про операционный спрашиваете, Степан Ермилыч?

— Ну да, не про опереточный! Оперплан и есть оперплан!

— Ах, я его сейчас только вдела в машинку!

— Вдела и держи там!— ответил Степан Ермилыч.

Тут Бормотов кончил подписывать ассигновки и заметил Шмакова.

Бормотов прослушал и ответил:

— А как же в Вавилоне акведуки строили? Хорошо ведь строили?— Хорошо! Прочно?— Прочно! А почта ведь там раз в полгода отправлялась, и не чаще! Что теперь мне скажешь?— Бормотов знающе улыбнулся и принялся подписывать подтверждения и напоминания.

Шмаков сразу утих от такого резона Бормотова и недоуменно вышел. По дороге он дышал воздухом старой деловой бумаги и думал о том, что значит ремесленная управа, которую упомянул Бормотов. Думал Шмаков и еще кое о чем, но о чем — неизвестно.

В дверях административно-финансового отдела спорили два человека. Каждый из них был особенный: один утлый, истощенный и несчастный, пьющий водку после получки, другой — полный благотворности жизни от сытой пищи и внутреннего порядка. Первый, тощий, свирепо убеждал второго, что это глина, держа в руке какой-то комочек. Другой, напротив, стоял за то, что это песчаный грунт, и удовлетворялся этим.

— А почему? Ну почему песок? — пытал его тощий.

— А потому, что сыплется, — резонно говорил тот, что поспокойнее. — Потому, что мукой пылит. Ты дунь!

Тощий дунул — и что-то вышло.

— Ну? — спросил утлый человек.

— Что — ну? — сказал плотный. — Сыплется, значит, песок!

— А ты плюнь, — догадался тощий.

Его недруг взял в свои руки комок неведомого грунта и смачно харкнул, уверенный в неразмочимой природе песка.

— Ну? — торжественно возгласил тощий. — Помни теперь!

Тот помял и сразу согласился, чтобы не рушить равновесия чувств.

— Глина! Мажется. Дребедень!..

Шмаков прослушал беседу друзей и, достигнув своего стола, сейчас же сел писать доклад начальнику управления — «О необходимости усиления внутренней дисциплины во вверенном Вам управлении, дабы пресечь неявный саботаж».

Но вскоре саботаж явился перед Шмаковым как законенное явление. Во вверенном Шмакову подотделе сидело сорок два человека, а работы было на пятерых; тогда Шмаков, испугавшись, донес рапортом кому следовало о необходимости сократить штат на тридцать семь единиц.

Но его вызвали сейчас же в местком и там заявили, что это недопустимо — профсоюз не позволит самодурствовать.

— А чего ж они будут делать?— спросил Шмаков,— им дела у нас нет!

— А пускай копаются,— сказал профсоюзник,— дай им старые архивы листовать, тебе-то што?

— А зачем их листовать?— допытывался Шмаков.

— А чтоб для истории материал в систематическом порядке лежал!— пояснил профработник.

— Верно ведь!— согласился Шмаков и успокоился, но все же донес по начальству, чтобы на душе покойнее было.

— Эх ты, жамка!— сказал впоследствии Шмакову его начальник,— профтрепача послушал — ты работай, как гепеус, вот где умные люди!

Раз подходит к Шмакову секретарь управления и угощает его рассыпными папиросами.

— Покушайте, Иван Федотович! новые: пять копеек сорок штук — градовского производства. Под названием «Красный Инок»,— вот на мундштучке значится — инвалиды делают!

Шмаков взял папиросу, хотя почти не курил из экономии, только дарственным табаком баловался.

Секретарь приник к Шмакову и пошептал вопрос:

— Вот вы из Москвы, Иван Федотович! Правда, что туда сорок вагонов в день мацы приходит, и то будто не хватает? Ньюжли верно?

— Нет, Гаврил Гаврилович,— успокоил его Шмаков,— должно быть, меньше. Маца не питательна — еврей любит жирную пищу, а мацу он в наказание ест.

— Вот именно, я ж и говорю, Иван Федотович, а они не верят!

— Кто не верит?

— Да никто: ни Степан Ермилович, ни Петр Петрович, ни Алексей Палыч — никто не верит!

А меж тем сквозь время настигла Градов печальная мягкая зима. Сослуживцы сходились по вечерам пить чай, но беседы их не отходили от обсуждения служебных обязанностей: даже на частной квартире, вдали от начальства, они чувствовали себя служащими государства и обсуждали казенные дела. Попав раз на такой чай, Иван Федотыч с удовольствием установил непре-

рывный и сердечный интерес к делопроизводству у всех сотрудников земельного управления.

Желчь дешевого табака, шелест бумаги, запечатлевшей истину, покойный ход очередных дел, шествующих в общем порядке,— эти явления заменяли сослуживцам воздух природы.

Канцелярия стала их милым ландшафтом. Серый покой тихой комнаты, наполненный умственными тружениками, был для них уютней девственной натуры. За огорожами стен они чувствовали себя в безопасности от диких стихий неупорядоченного мира, и, множа писчие документы, сознавали, что множат порядок и гармонию в нелепом, неустойчивом мире.

Ни солнца, ни любви, ни иного порочного явления они не признавали, предпочитая письменные факты. Кроме того, ни любовь, ни учет деятельности солнца в прямой круг делопроизводства не входили.

Однажды в темный вечер, когда капала неурочная вода — был уже декабрь — и хлопал мокрый снег, по улицам Градова спешил возбужденный Шмаков.

Предназначалась сегодня пирушка — по три рубля с души — в честь двадцатипятилетия службы Бормотова в госорганах.

Шмаков кипел благородством невысказанных открытий. Он хотел выступить перед Бормотовым и прочими на свою сокровенную тему «Советизация как начало гармонизации вселенной». Именно так он хотел переименовать свои «Записки государственного человека».

Градов еще не спал, потому что шел восьмой час вечера. Злились от скуки собаки на каждом дворе. Замечательно — потому что он был один — горел вдалеке электрический фонарь. Небо было так низко, тьма так густа, а город столь тих, невелик и явно благонаправлен,— что почти не имелось никакой природы на первый взгляд, да и нужды в ней не было.

Проходя мимо пожарной каланчи, Шмаков слышал, как вздыхал наверху одинокий пожарный, томясь созерцанием.

«А все-таки он не спит,— с удовольствием гражданина подумал Иван Федотыч,— значит, долг есть! Хотя пожаров тут быть не может: все люди осторожны и порядочны!»

На вечер, в условный дом вдовы Жамовой, сдавшей помещение за два рубля, Шмаков пришел первым. Вдо-

ва его встретила без приветливости, как будто Шмаков был самый голодный и пришел захватить еду.

Иван Федотыч сел и затих. Отношений к людям, кроме служебных, он не знал. Если бы он женился, его жена стала бы несчастным человеком. Но Шмаков уклонялся от брака и не усложнял историю потомством. Шмаков не чувствовал в женщинах никакой прелести, как настоящий мыслитель, в котором циркулирует голый долг. Воли в себе он не знал, ощущая лишь повинование — радостное, как сладострастие; он любил служебное дело настолько, что дорожил даже крошками неизвестного происхождения, затерянными в ящиках своего письменного стола, как неким царством покорности и тщетности.

Вторым явился Степан Ермилович Бормотов. Он держался не как именинник, а как распорядитель.

— Марфуша,— обратился он к Жамовой,— ты бы половичок в передней постелила! Ноги могут быть нечисты, калоши людям не по бюджету, а у тебя все-таки горница, а не кабак!

— Сейчас, Степан Ермылыч, сейчас постелю! А вы проходите — я вам престольное место приготовила. Выше вас чина ведь не будет?

— Да не должно быть, Марфа Егоровна, не должно!— И Степан Ермилович сел в лучшее кресло старинного устройства.

Чуя, что Степан Ермилович уже на месте, быстро стали подходить другие гости.

Пришли четыре деловода, три счетовода, два заведующих личными столами, два бухгалтера, три заведующих подотделами, машинистка Соня и заведующий местной черепичной мастерской — старинный приятель Бормотова по земской службе — гражданин Родных. Этими людьми мир Бормотова замкнулся в своих горизонтах и плановых перспективах, и началось чаепитие.

Чай пили молча и с удовольствием, разогревая им настроение. Марфа Жамова стояла за спиной Бормотова и меняла ему пустые стаканы, сластя чай желтым экономическим песком, купленным в кооперативе как брак.

Степан Ермилович Бормотов сидел с сознанием чести. Почтительный разговор не выходил из круга служебных тем. Поминались лихие случаи задержки распоряжений губисполкома — и в голове говорившего чув-

ствовался страх и скрытая радость избавления от ответственности.

Выплыло событие об исчезновении Градовской губернии. Центр вдруг перестал присылать циркуляры. Тогда Бормотов добровольно поехал дешевым поездом в Москву выяснять положение. Денег ему дали мало — не пришли из Москвы кредиты, а отпустили пышек из инвалидной пекарни и выписали удостоверение о командировке. В Москве Бормотов узнал, что Градов хотят передать в область и в областной же город передали поэтому все градовские кредиты.

А областной город отказывался от Градова.

— Город не пролетарский,— говорят,— на черт он нам сидел!

Так и повис Градов без государственного причалу. После своего возвращения Бормотов собрал на своей квартире старожилов и хотел объявить в Градовской губернии автономную национальную республику, потому что в губернии жили пятьсот татар и штук сто евреев.

— Не республика мне была нужна,— объяснял Бормотов,— я не наименьшей, а непрерывное государственное начало и сохранение преемственности в делопроизводстве.

Шмаков тлел возбуждением и шумел переполненным сердцем, но молчал до поры и тер свои писцовые руки.

Много еще случаев помянули присутствующие. История текла над их головами, а они сидели в родном городе, прижукнувшись, и наблюдали, усмехаясь, за тем, что течет. Усмехались они потому, что были уверены, что то, что течет, потечет-потечет и — остановится. Еще давно Бормотов сказал, что в мире не только все течет, но и все останавливается. И тогда, быть может, вновь зазвонят колокола. Бормотов, как считающий себя советским человеком, да и другие не желали, конечно, звона колоколов, но для порядка и внушения массам единого идеологического начала и колокола не плохи. А звон в государственной глуши, несомненно, хорош, хотя бы с поэтической точки зрения, ибо в хорошем государстве и поэзия лежит на предназначенном ей месте, а не поет бесполезные песни.

Незаметно чай кончился, самовар заглох. Марфа осунулась и села в уголок, устав угождать. Тогда за чай заступилась русская горькая.

— Вот, граждане,— сказал счетовод Смачнев,— я

откровенно скажу, что одно у меня угощение — водка!.. Ничто меня не берет — ни музыка, ни пение, ни вера, — а водка меня берет! Значит, душа у меня такая твердая, только ядовитое вещество она одобряет... Ничего духовного я не признаю, то — буржуазный обман...

Смачнев, несомненно, был пессимист и, в общем и целом, перегнул палку.

Но действительно, что только водка разморозила сознание присутствующих и дала теплую энергию их сердцам.

Первым, по положению, встал Бормотов.

— Граждане! Служил я в разных местах. Я пережил восемнадцать председателей губисполкома, двадцать шесть секретарей и двенадцать начальников земуправлений. Одних управделами ГИКа при мне сменилось десять человек! А чиновников особых поручений, — как их, личных секретарей, председателей, — целых тридцать штук прошло... Я страдалец, друзья, душа моя горька, и ничто ее не растрогает... Всю жизнь я спасал Градовскую губернию. Один председатель хотел превратить сухую территорию губернии в море, а хлебопашцев в рыбаков. Другой задумал пробить глубокую дырку в земле, чтобы оттуда жидкое золото наружу вылилось, и техника заставлял меня сыскать для такого дела. А третий все автомобили покупал, для того чтобы подходящую систему для губернии навеки установить. Видали, что значит служба? И я должен всему благожелательно улыбаться, терзая свой здравый смысл, а также истребляя порядок, установленный существом дела! И более того — ремесленная управа, то есть губпрофсовет, однажды исключила меня из союза рабземлеса за то, что я назвал членские взносы налогом в пользу служащих профессиональных союзов. Но, однако, членом союза я остался — иначе и быть не могло! Ремесленной управе невыгодно лишаться плательщика налога, а об остальном постаралось мое начальство — без меня ему бы делать нечего было!

Бормотов хлебнул пивца для голоса, оглядел подведомственное собрание и спросил:

— А? Не слышу?

Собрание молчало, истребляя корм.

— Ваня! — обратился Бормотов к человеку, мешавшему пиво с водкой. — Ваня! Закрой, дружок, форточку! Время еще раннее, всякий народ мимо шляется...

Так вот, я и говорю, что такое губком? А я вам скажу: секретарь — это архиерей, а губком — епархия! Верно ведь? И епархия мудрая и серьезная, потому что религия пошла новая и посерьезней православной. Теперь на собрание — ко всеобщей — попробуй не сходи! Давайте, скажут, ваш билетик, мы отметочку там сделаем! Отметочки четыре будет — тебя в язычники зачислят. А язычник у нас хлеба не найдет! Так-то! А я про себя скажу: кто в епархии делопроизводство поставил? Я! Кто контрольную палату — РКИ, скажем, или казначейство — губфо наше — на ноги поставил и людей там делом занял? Кто? А кто всякие карточки, НОТЫ и прочую антисанитарную истребил в канцеляриях? Ну, кто?..

— Без Бормотова, друзья, — сказал Степан Ермилович со слезами на глазах, — не было бы в Градове учреждений и канцелярий, не уцелела бы советская власть и не сохранилось бы деловой родственности от старого времени, без чего нельзя нам жить! Я первый, кто сел за стол и взял казенную вставочку, не сказав ни одной речи.

Бормотов умиленно подождал и закончил веско:

— Вот, милые мои, где держится центр власти и милость разума! Мне бы царем быть на всемирной территории, а не заведовать охраной материнства и младенчества своих машинисток или опекать лень деловодов!..

Тут Бормотов захлестнулся своими словами и сел, уставившись в пищу на столе. Собрание шумело одобрением и питалось колбасой, сдерживая ею стихию благородных чувств. Водка расходовалась медленно и планомерно, в круговую и в общем порядке, оттого и настроение участников ползло вверх не скачками, а прочно, по гармонической кривой, как на диаграмме.

Наконец встал счетовод Пехов и спел, поверх разговоров, песнь о диком кургане. Счетоводство — пацця артистов, и нет ни одного счетовода или бухгалтера, который бы не смотрел на свою профессию как на временное и бросовое дело, почитая своим исконным призванием искусство — пение, а изредка — скрипку или гитару. Менее благородный инструмент счетоводы не терпели.

За Пеховым, так же молча и без предупреждения, встал бухгалтер Десущий и пропел какой-то отрывок

из какой-то оперы, какой — никто не понял. Десуший славился своей корректностью и культурностью в областях искусства и полным запустением своих бухгалтерских дел.

Наконец, приподнялся и постучал вилок о необходимости молчания заведующий подотделом землеустройства Рванников.

— Любимые братья в революции! — начал раздобревший от горькой Рванников. — Что привело вас сюда, не щадя ночи? Что собрало нас, не сожалея симпатий? Он — Степан Ермилович Бормотов — слава и административный мозг нашего учреждения, революционный наставник порядка и государственности великой неземлеустроенной территории нашей губернии!

И пусть он не кивает там мудрой головой, а пьет рябиновую златыми устами, если я скажу, что нет ему равных среди людского остальца после революции! Вот действительно человек дореволюционного качества!

— Граждане советские служащие! — проревел в заключение Рванников. — Приглашаю вас выпить за двадцатипятилетие Степана Ермиловича Бормотова, истинного зиждителя территории нашей губернии, еще подлежащей быть устроенной такими людьми, как наш славный и премудрый юбиляр!..

Все вскочили с места и пошли с рюмками к Бормотову.

Плача и торжествуя, Бормотов всех перецеловал — этого момента он только и ждал весь вечер, сладко томя честволюбие.

Тогда не выдержал Шмаков и, встав на стул, произнес животрепещущую речь — длинную цитату из своих «Записок государственного человека»:

— Граждане! Разрешите поговорить на злобу дня!

— Разрешаем! — сказала коллективно собрание. — Говори, Шмаков! Только режь экономию: кратко и не голословно, а по кровному существу!

— Граждане, — обнаглел Шмаков, — сейчас идет так называемая война с бюрократами. А кто такой Степан Ермилович Бормотов? Бюрократ или нет? Бюрократ положительно! И да будет то ему в честь, а не в хулу или осуждение! Без бюрократии, уважаемые ратники государства, не удержаться бы Советскому государству и часа — к этому я дошел долгою мыслью... Кроме того... (Шмаков начал путаться, голова его сразу вся

выпотрошилась — куда что девалось?) Кроме того, дорогие соратники...

— Мы не ратники, — прогудел кто-то, — мы рыцари!

— Рыцари умственного поля! — схватил лозунг Шмаков. — Я вам сейчас открою гайну нашего века!

— Ну-ну! — одобрило собрание. — Открой его, черта!

— А вот сейчас, — обрадовался Шмаков. — Кто мы такие? Мы за-ме-ст-и-те-ли пролетариев! Стало быть, к примеру, я есть заместитель революционера и хозяина! Чувствуете мудрость? Все замешено! Все стало подложным! Все не настоящее, а суррогат! Были сливки, а стал маргарин: вкусен, а не питателен! Чувствуете, граждане?.. Поэтому-то так называемый, всеми злоумышленниками и глупцами поносимый бюрократ есть как раз зодчий грядущего членораздельного социалистического мира.

Шмаков сел и достойно выпил пива — среднего непорочного напитка; высшей крепости он не пил.

Но тут встал Обрубаев... Его заело; он озлобился и приготовился быть на посту. Пост его был видный — кандидат ВКП; но такое состояние Обрубаева службе не помогало, он был и остался делопроизводителем с окладом в двадцать восемь рублей ежемесячно, по шестому разряду тарифной сетки при соотношении 1:8.

— Уважаемые товарищи и сослуживцы! — сказал Обрубаев, доев что-то. — Я не понимаю ни товарища Бормотова, ни товарища Шмакова! Каким образом это допустимо! Налицо определенная директива ЦКК — борьба с бюрократизмом. Налицо — наименование советских учреждений девятилетней давности. А тут говорят, что бюрократ — как его? — зодчий и вроде кормилец. Тут говорят, что губком — епархия, что губпрофсовет — ремесленная управа и так и далее. Что это такое? Это перегиб палки, констатирую я. Это затмение основной директивы по линии партии, данной всерьез и надолго. И вообще в целом я высказываю свое особое мнение по затронутым предыдущими ораторами вопросам, а также осуждаю товарищей Шмакова и Бормотова. Я кончил.

— Закон-с, товарищ Обрубаев! — сказал тихо, вразумляюще, но сочувственно Бормотов. — Закон-с! Уничтожьте бюрократизм — станет беззаконие! Бюрократизм есть исполнение предписаний закона. Ничего не поделаешь, товарищ Обрубаев, закон-с!

— А если я губкому сообщу, товарищ Бормотов, или в РКИ?— мрачно сказал Обрубаев, закуривая для демонстрации папиросу «Пушку».

— А где у вас документики, товарищ Обрубаев?— спросил Бормотов.— Разве кто вел протокол настоящего собрания? Вы ведь, Соня, ничего не записывали?— обратился Бормотов к единственной здесь машинистке, особливо чтимой в земуправлении.

— Нет, Степан Ермилыч,— я не записывала; вы ничего не сказали мне, а то бы я записала,— ответила хмельная, блаженная Соня.

— Вот-с, товарищ Обрубаев,— мудро и спокойно улыбнулся Бормотов.— Нет документа, и нет, стало быть, самого факта! А вы говорите — борьба с бюрократизмом! А был бы протокольчик, вы бы нас укатали в какую-нибудь гепею или рекаю! Закон-с, товарищ Обрубаев, закон-с!

— А живые свидетели! — воскликнул зачумленный Обрубаев.

— Свидетели пьяные, товарищ Обрубаев. Во-первых, а во-вторых, они, так сказать, масса, существа наших разногласий не поняли и понять не могли, и дело мое наверняка пойдет к прекращению. А в-третьих, товарищ Обрубаев, выносит ли дисциплинированный партиец внутривнутрипартийные разногласия на обсуждение широкой массы, к тому же мелкобуржуазной, — попытаю я вас? А?! Выпьем, товарищ Обрубаев, там видно будет... Соня, ты не спишь там? Угощай товарища Обрубаева, займись чистописанием... Десущий, крикни что-нибудь подушевной.

Десущий сладко запел, круто выводя густые ноты странной песни, в которой говорилось о страдальце, жаждущем только арфы золотой. Затем делопроизводитель Мышаев взял балалайку: я, говорит, хоть и кустарь в искусстве, но побрякаю! И он быстро залепетал пальцами, выбивая лихой такт веселящегося тела.

Бормотов прикинулся благодущным человеком, сощурил противоречивые утомленные глаза и, истощенный повседневной дипломатической работой, вдавился бессмысленно плясать, насилуя свои мученические ноги и веселя равнодушное сердце.

Шмакову стало жаль его, жаль тружеников на ниве всемирной государственности, и он заплакал навзрыд, уткнувшись во что-то соленое.

А утром Градов горел; сгорели пять домов и одна пекарня. Загорелось, как говорят, с пекарни, но пекарь уверял, что он окурки всегда бросает в тесто, а не на пол, тесто же не горит, а шипит и гасит огонь. Жители поверили, и пекарь остался печь хлеба.

Далее жизнь шла в общем порядке и согласно постановлениям Градовского губисполкома, которые испуганно изучались гражданами. В отрывных календарях граждане метили свои непрерывные обязанности. Со сладостью в душе установил это Шмаков в бытность на именинах у одного столоначальника, по прозвищу Чалый. В листках календаря значилось что-нибудь почти ежедневно, а именно:

«Явиться на переучет в терокруг — моя буква Ч, подать на службе рапорт о неявке по законной причине».

«В 7 часов перевыборы горсовета — кандидат Махин, выдвинут ячейкой, голосовать единогласно».

«Сходить в ком. отд.— отнести деньги за воду, последний срок, а то пеня»...

«Подать сведения горсанкомиссии о состоянии двора,— штраф, см. постановление ГИК».

«Собрание жилищоваришества о забронировании сарая под нужник».

«Протестовать против Чемберлена,— в случае чего стать, как один, под ружье».

«Зайти вечером постоять в красном уголке, а то сочтут отступником».

«Именины супруги сочетать с режимом экономии и производственным эффектом. Пригласить наш малый совнарком».

«Узнать у Марфы Ильиничны, как варить малиновый узвар».

«Справиться в загсе, как переменить прозвище Чалый на официальную фамилию Благовещенский, а также имя Фрол на Теодор».

«Переморить клопов и проверить лицевой счет жены».

«Суббота — открыто заявить столоначальнику, что иду ко всеношной, в бога не верю, а хожу из-за хора, а была бы у нас приличная опера, ни за что не пошел бы».

«Попросить у сослуживцев лампадного масла. Ни-

где нет, и все вышло. Будто для смазки будильника».

«Отложить 366-ю бутылку для вишневой настойки. Этот год високосный».

«Сушить сухари впрок — весной будет с кем-то война».

«Не забыть составить 25-летний перспективный план народного хозяйства — осталось 2 дня». Каждый день был занят.

Не в первый раз и не во второй, а в более многократный констатировал Шмаков то знаменательное явление, что времени у человека для так называемой личной жизни не остается — она заменилась государственной и общепользуемой деятельностью. Государство стало душою. А то и надобно, в том и сокрыто благородство и величие нашей переходной эпохи!

— А как, товарищ Чалый, существует в вашей губернии точный план строительства?

— Как же-с, как же-с! В десятилетний план сто элеваторов включено: по десяти в год будем строить, затем с двадцать штук мясохладобоев и пятнадцать фабрик валяной обуви... А сверх того водяной канал в земле до Каспийского моря рыть будем, чтобы персидским купцам повадно стало торговать с градовскими госорганами.

— Вон оно как!— дал заключение Шмаков.— Курс значительный! Ну, а денег сколько же вам потребно на эти солидные мероприятия?

— Денег надо множество,— сообщил Чалый второстепенным тоном.— Того не менее, как миллиарда три, сиречь — по триста миллионов в год.

— Ого,— сказал Шмаков,— сумма почтительная! А кто же даст вам эти деньги?

— Главное — план!— ответил Чалый.— А уж по плану деньги дадут...

— Это верно!— согласился Шмаков.

Вопрос получил надлежащее уточнение.

6

И жил Шмаков в Градове уже без малого год. Жизнь для него выдалась подходящая: все шло в общем порядке и по закону.

Лицо его было беззаботным, пожилым и равнодуш-

ным, как у актера в забвенной игре. Труд его жизни — «Записки государственного человека» — подбивался к концу. Шмаков обдумывал лишь заключительные аккорды его.

Как и всюду по республике, над Градовом почью солнце не светило, зато отсвечивало на чужих звездах.

Прогуливаясь для укрепления здоровья и поглядывая на них, Шмаков нашел однажды заключительный аккорд для своего труда:

«В сердце моем дышит орел, а в голове сияет звезда гармонии».

Придя домой и завершив рукописный труд, Шмаков до раннего утра сидел за ним, увлекшись чтением своего сочинения.

«...Стоит ли,— читал он середину,— измышлять изобретения, раз мир диалектичен, сиречь для всего героя есть своя стерва. Не стоит!

И тому пример: в Градове пять лет тому назад, и двадцать лет обратно, было всего две пишущие машинки (обе системы «Ройяль», то есть король), а теперь их близко сорока штук, не обращая внимания на системы.

Но увеличился ли от этого социальный прòк?— Нисколько! А именно: сидели ранее писцы за бумагой, снабженные гусиными перьями, и писали. Затупится перо или засквозится от переусердия, писец его начинает зачинивать; сам зачинивает, а сам на часы смотрит,— глядь, время уже истекло, и пора идти в собственный деревянный домик, где его ждала как-никак пища и уют порядка, высшим образом обеспеченный государственным строем.

И ничего не нарушалось от течения дел рукописным порядком. Ничто не спешило, а все поспевало.

А теперь что? Барышне попудриться не успеть, как втыкают ей новое черновое произведение...

Да и то видно, как появляется человек, так и бумага около него заводится, и не малая грудка. А что, если лишнего человека не заводить! Может, и бумаге завестись будет неоткуда?..»

Тут Иван Федотыч вздохнул и задумался.

Не пора ли ему отправиться в глухой скит, чтобы дальше не скорбеть над болящим миром? Но так будет бессовестно.

Хотя оправданием такого поступка может послужить то, что мир официально никем не учрежден и, стало быть, юридически не существует. А если бы и был учрежден и имел устав и удостоверение, то и этим документам верить нельзя, так как они выдаются на основании заявления, а заявление подписывается «подателем сего», а какая может быть вера последнему? Кто удостоверит самого «подателя», прежде чем он подаст заявление о себе?

Почувствовав изжогу в желудке и отчаяние в сердце, Иван Федотыч сходил на кухню попить водицы и посмотреть, кто там пищит все время.

Возвратившись, он снова принялся за чтение, трепеща всеми чувствами.

«...Возьмем соподчиненный мне подотдел. Что там есть?

Я за ошибки подчиненных не упрекаю, а лишь вывожу из них следствие, что, значит, дело идет. А когда мне заявили, что построенные под моим руководством водоудержательные плотины почти все вровень с землей уничтожены, я ответил, что постройка их, следовательно, велась.

А никакая земля воды не держит, тому доказательство — явление оврагов...»

После этого Шмаков успокоился и уснул с легким сердцем и удовлетворенным умом.

Но известно ли что-нибудь достоверно на свете? Оформлены ли надлежаще все факты природы? Того документально нет! Не есть ли сам закон или другое присутственное установление — нарушение живого тела вселенной, трепещущей в своих противоречиях и так достигающей всецелой гармонии?

Эта преступная мысль, собственно, разбудила Ивана Федотовича.

Оказалось, что стояло раннее счастливое утро. В Градове топились печки, разогревая вчерашний ужин на завтрак. Хозяйки шли за теплым хлебом для мужей, резаки в пекарнях его резали и метрически взвешивали, мудря на граммах; никто из них не верил, что грамм лучше фунта, знали только, что он легче.

Кроме того, чувствовалось счастье, что новый день уподобится вчерашнему и оттого терзаний жизни не причинит.



Сапожник Захар, сосед Ивана Федотыча по двору, каждый день будился от сна женою одинаковыми словами:

— Захарий! Вставай, садись за свой престол!

Престол — круглый пенек, на котором сидел Захар перед верстаком. Пенек на треть стерся от сидения, и Захар много раз думал о том, что человек прочней дерева. Так оно и было.

Захарий вставал, закуривал трубку и говорил:

— Я в мире человек сверхштатный! Не живу, а присутствую, и учета мне нет... На собрания я не хожу и ничего не член!

— Ну, будя, будя тебе, Захарий,— говорила ему жена.— Будя бурчать, садись чай пить. Член! Обдумал то же, член!

После чая Захар садился за работу, которой не вынес бы ни один зверь: столько она требовала мужества и терпения.

Шмаков постоянно латал свои сапоги у Захара, которым тот много удивлялся:

— Иван Федотыч, вашей обуше восьмой год идет, и как вы ее терпите? Когда их на фабрике сшили, с тех пор дети выросли и грамоте выучились, а многие померли из них, а сапоги все живут... Кустарник лесом стал, революция прошла, может, и звезды какие потухли, а сапоги все живут... Это непостижимо!..

Иван Федотыч ему отвечал:

— В этом и есть порядок, Захарий Палыч! Жизнь бесчинствует, а сапоги целы! В этом и находится чудо бережного разума человека.

— А по мне,— говорит Захар,— бесчинство благородней! А то на сапожном престоле так и будешь сидеть, как и я!

Иван Федотыч убеждал Захария Палыча не глядеть на жизнь такими чувствительными глазами и не скорбеть влекущей мыслью. На свете того не бывает, чем бы утешилось беспутное сердце человека. А что такое утешение, как не мещанство, опорощенное Октябрьской революцией?

— Порядок — дело чинное,— говорил Захар.— Да уж дюже землю налили, Иван Федотыч! В порядок ее

теперь добром не приведешь,— опустошать надо, не иначе!

По уходе Ивана Федотыча Захар Палыч втайне думал, что постная жизнь все же лучше благородного бесчинства, и удовлетворительно глядел на свой порожний двор, ландшафт которого — плетень, а житель — курица.

8

Через три месяца для всего государственного населения Градова настали боевые дни. Центр решил четыре губернии, как раз и Градовскую, слить в одну область.

И заспорили четыре губернских города, кому приличествует быть областным.

Особенно лютовал в этом деле Градов.

Он имел четыре тысячи советских служащих, да безработных имелось две тысячи восемьсот тридцать семь человек; только область могла поглотить этот писчий народ.

Бормотов, Шмаков, управделами ГИКа Скобкин, зампред губплана Наших и другие заметные люди Градова стали во главе бумажной войны с другими городами перед лицом Москвы.

Градовцы спешно приступили к рытью канала, начав его в лопухах слободы Моршевки из усадьбы гражданина Моева.

Канал тут учреждался для сплошного прохода в Градов персидских, месопотамских и иных коммерческих кораблей.

О канале губплан написал три тома и послал их в центр, чтобы там знали про это. Градовский инженер Паршин составил проект воздушных сообщений внутри будущей области, предусмотрев необходимость воздушной перевозки не только багажа, но и объемистых кормов для скота; для последней цели в мастерских райсельсоюза строился аэроплан сугубой мощности, с двигателем, работающим на порохе.

Сам предгубисполкома тов. Сысоев рвал, метал и внушал подчиненной ему губернии, что только Градов будет областным центром — и никакой иной населенный пункт.

Тов. Сысоев распорядился заказать штампы и вывески с наименованиями Градовского облисполкома и отдал приказ называть себя впредь предоблисполкома.

Когда никто из служащих не сбивался с области на губернию в отношениях и устных словах, тов. Сысоев повышался в добром чувстве и говорил кому попало, кто оказывался на глазах:

— Область у нас, братец! А? Почти республика! А Градов-то — почти столица европейского веса! А что такое губерния? Контрреволюционная царская ячейка, и больше ничего!

Началась беспримерная война служащих. Соседние города — претенденты на областной престол — не отставали от градовцев в должном усердии.

Но Градов истреблял всех перед молчаливой Москвой. Иван Федотыч Шмаков написал на четырехстах страницах среднего формата проект администрирования проектируемой Градо-Черноземной области; за соответствующими подписями он был отослан в центр.

Бормотов Степан Ермилович подошел к делу исподволь. Он предложил учредить такой облисполком, чтобы он собирался на сессии по очереди во всех бывших губгородах и нигде не имел постоянного местопребывания и вечного здания.

Но тут была уловка: Москва на это, конечно, не согласится, но спросит, кто это изобрел. И когда станет известным, что это измышление принадлежит гражданину города Градова, Москва улыбнется, но учтет, что в Градове живут умные люди, подходящие для руководства областью.

Так раздоказал свою мысль Бормотов товарищу Сысоеву, председателю ГИК. Тот подумал и сказал:

— Да, это орудие высшего психологического увещания, но теперь нам всякое дерьмо гоже! — и подписал доклад Бормотова для следования его в Москву.

Много дел наделали градовцы, доказывая свое явное превосходство перед соседями.

Шмаков извелся и застрадал общей болью в теле, с ужасом думая о поражении Градова, но тихо заходя сердцем при мысли о Градове — областном центре.

Большую книгу стоит написать, излагая борьбу пяти губгородов. Букв в ней было бы столько, сколько лопухов в Градовской губернии¹.

Сапожник Захарий Палыч умер, не дождавшись об-

¹ Но можно ее и не писать, так как градовцам читать ее некогда, а прочим — неинтересно.

ласти; сам Шмаков поник на уклоне к пожилому возрасту.

Бормотов же был уволен старшим инспектором Наркомата РКП за волокиту и чах дома, заведя частную канцелярию по выработке форм учета деятельности госорганов; в этой канцелярии он служил один, и притом без жалованья и без охраны труда.

Наконец, через три года после начала областной войны, пришло постановление Москвы:

«Организовать Верхне-Донскую земледельческую область в составе территорий таких-то губерний. Областным городом считать Ворожеев. Окружными центрами учредить такие-то пункты. Градов-город, как не имеющий никакого промышленного значения, с населением, занятым преимущественно сельским хозяйством и службою в учреждениях, перечислить в заштатные города, учредив в нем сельсовет, переместив таковой из села Малые Вершины».

Что же случилось потом в Градове? Ничего особенного не вышло, — только дураки в расход пошли. Шмаков через год умер от истощения на большом социально-философском труде: «Принципы обезличения человека, с целью перерождения его в абсолютного гражданина с законно упорядоченными поступками на каждый миг бытия». Перед смертью он служил в сельсовете уполномоченным по грунтовым дорогам. Бормотов жив и каждый день нарочно гуляет перед домом, где раньше помещался губисполком. Теперь на том доме висит вывеска «Градовский сельсовет».

Но Бормотов не верит глазам своим — тем самым глазам, которые некогда были носителями неуклонного государственного взора.

СОКРОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК¹

1

Фома Пухов не одарен чувствительностью: он на гробе жены вареную колбасу резал, проголодавшись вследствие отсутствия хозяйки.

— Естество свое берет! — заключил Пухов по этому вопросу.

После погребения жены Пухов лег спать, потому что сильно изхлопотался и намаялся. Проснувшись, он захотел квасу, но квас весь вышел за время болезни жены — и нет теперь заботчика о продовольствии. Тогда Пухов закурил — для ликвидации жажды. Не успел он докурить, а уж к нему кто-то громко постучал бесприкословной рукой.

— Кто? — крикнул Пухов, разваливая тело для последнего потягивания. — Погоревать не дадут, сволочи!

Однако дверь отворил: может, с делом человек пришел.

Вошел сторож из конторы начальника дистанции.

— Фома Егорыч, — путевка! Распишитесь в графе! Опять метет — поезда станут!

Расписавшись, Фома Егорыч поглядел в окно: действительно, начиналась метель, и ветер уже посвистывал над печной выюшкой. Сторож ушел, а Фома Егорыч загоревал, подслушивая свирепеющую выюгу, — и от скуки, и от бесприютности без жены.

— Все совершается по законам природы! — удостоверил он самому себе и немного успокоился.

Но выюга жутко развertyвалась над самой головой Пухова, в печной трубе, и оттого хотелось бы иметь рядом с собой что-нибудь такое, не говоря про жену, но хотя бы живность какую.

¹ Этой повестью я обязан своему бывшему товарищу — Ф. Е. Пухову и гов. Тольскому, комиссару новороссийского десанта в тыл Врангеля.

По путевке на вокзале надлежало быть в шестнадцать часов, а сейчас часов двенадцать — еще можно поспать, что и было сделано Фомой Егорычем, не обращая внимания на пение вьюги над вьюшкой.

Разомлев и распарившись, Пухов насилу проснулся. Нечаянно он крикнул, по старому сознанию:

— Глаша! — Жену позвал; но деревянный домик претерпевал удары снежного воздуха и весь пищал. Две комнаты стояли совсем порожними, и никто не внял словам Фомы Егорыча. А бывало, сейчас же отзовется участливая жена:

— Тебе чего, Фомушка?

— А ничего, — ответит, бывало, Фома Егорыч, — это я так позвал: цела ли ты!

А теперь никакого ответа и участия: вог они, законы природы!

— Дать бы моей старухе капитальный ремонт — жива бы была, но средств нету и харчи плохие! — сказал себе Пухов, шнуруя австрийские башмаки.

— Хоть бы автомат выдумали какой-нибудь; до чего мне трудящимся быть надоело! — рассуждал Фома Егорович, упаковывая в мешок пищу: хлеб и пшено.

На дворе его встретил удар снега в лицо и шум бури.

— Гада бестолковая! — вслух и навстречу движущемуся пространству сказал Пухов, именуя всю природу.

Проходя безлюдной привокзальной слободой, Пухов раздраженно бурчал — не от злобы, а от грусти и еще отчего-то, но отчего — он вслух не сказал.

На вокзале уже стоял под парами тяжелый, мощный паровоз с прицепленным к нему вагоном-снегоочистителем. На снегоочистителе было написано: «Система инженера Э. Бурковского».

«Кто этот Бурковский, где он сейчас и жив ли? Кто ж его знает!» — с грустью подумал Пухов, и отчего-то сразу ему захотелось увидеть этого Бурковского.

К Пухову подошел начальник дистанции:

— Читай, Пухов, расписывайся, и — поехали! — и подал приказ:

«Приказывается правый путь от Козлова до Лисок держать непрерывно чистым от снега, для чего пустить в безостановочную работу все исправные снегоочистители. После удовлетворения воинских поездов все па-

ровозы поставить для тяги снегоочистителей. В экстренных случаях снимать для той же тяги дежурные станционные паровозы. При сильных метелях — впереди каждого воинского состава должен неотлучно работать снегоочиститель, дабы ни на минуту не было прекращено движение и не ослаблена боеспособность Красной Армии.

*Пред. Глав. рев. комитета Ю.-В. ж. д. Рудин.
Комиссар путей сообщения Ю.-В. ж. д. Дубанин».*

Пухов расписался — в те годы попробуй не расписаться!

— Опять неделю не спать! — сказал машинист паровоза, тоже расписавшись.

— Опять! — сказал Пухов, чувствуя странное удовольствие от предстоящего трудного беспокойства: все жизнь как-то незаметней и шибче идет.

Начальник дистанции, инженер и гордый человек, терпеливо слушал метель и смотрел поверх паровоза какими-то отвлеченными глазами. Его раза два ставили к стенке, он быстро поседел и всему подчинился — без жалобы и без упрека. Но зато навсегда замолчал и говорил только распоряжения.

Вышел дежурный по станции, вручил начальнику дистанции путевку и пожелал доброго пути.

— До Графской остановки нет! — сказал начальник дистанции машинисту. — Сорок верст! Хватит ли воды у вас, если топку придется все время форсировать?

— Хватит, — ответил машинист. — Воды много — всю не выпарим!

Тогда начальник дистанции и Пухов вошли в снегоочиститель. Там уже лежали восемь рабочих и докрасна калили чугунок казенными дровами, распахнув для свежего воздуха окно.

— Опять навоняли, дьяволы! — почувствовал и догадался Пухов. — А ведь только что пришли и харчей жирных, должно, не едали! Эх, идолы!

Начальник дистанции сел на круглый стул у выпуклого окна, откуда он управлял всей работой паровоза и снегоочистителя, а Пухов стал у балансира.

Рабочие тоже встали у своих мест, у больших рукояток, посредством которых по балансиру быстро перекидывался груз — и балансир то поднимал, то опускал снегосбросный щит.

Метель выла упорно и ровно, запасшись огромным напряжением где-то в степях юго-востока.

В вагоне было не чисто, но тепло и как-то укромно. Крыша вокзала гремела железами, отстегнутыми ветром, а иногда этот скрежет железа перемежался с далеким артиллерийским залпом.

Фронт работал в шестидесяти верстах. Белые все время прижимались к железнодорожной линии, ища уюта в вагонах и станционных зданиях, утомившись в снежной степи на худых конях. Но белых отжимали бронированные поезда красных, посылая снега свинцом из изношенных пулеметов. По ночам — молча, без огней, тихим ходом — проходили броневые поезда, просматривая темные пространства и пробуя паровозом целостность пути. Ночью ничего не известно; помашет издали поезду низкое степное дерево — и его порежут и снесут пулеметным огнем: зря не шевелись!

— Готово? — спросил начальник дистанции и посмотрел на Пухова.

— Гогово! — ответил Пухов и взял в обе руки рычаги.

Начальник дистанции потянул веревку к паровозу — тот запел, как нежный пароход, и грубо дернул снегоочиститель.

Выскочив со станционных путей, начальник дистанции одной рукой резко и коротко дернул за веревку паровозного свистка, а другой махнул Пухову. Это означало: работа!

Паровоз крикнул, машинист открыл весь пар, а Пухов передвинул оба рычага, опуская щит с ножами и развертывая крылья.

Сейчас же снегоочиститель сдал скорость и начал увязать в снегу, приликая к рельсам, как к магнитам.

Начальник дистанции еще раз дернул веревку на паровоз, что означало — усилить тягу! Но паровоз весь дрожал от перенапряжения и сифонил так, что из трубы жар вылетал. Колеса его впустую ворочались в снегу, как в крутой почве, подшипники грелись от частых оборотов и плохого масла, а кочегар весь взмок от работы с топкой, несмотря на то что выбегал за дровами на тендер, где его прохватывал двадцатиградусный ветер.

Снегоочиститель и паровоз попали в глубокий снежный перевал. Один начальник дистанции молчал — ему

было все равно. Остальные люди на паровозе и на снегоочистителе грубо выражались на каком-то самодельном языке, сразу обнажая задушевные мысли.

— Пару мало! Пошуруй тонку и просифонь, чтоб баланец¹ загремел, — тогда возьмем!

— Закуривай! — крикнул рабочим Пухов, догадавшись о том, что делается на паровозе.

Начальник дистанции тоже вынул кисет и насыпал в кусочек газеты зеленой самогонной махорки.

К метели давно притерпелись и забыли про нее, как про нормальный воздух. Покурив, Пухов вылез из вагона и здесь только обнаружил гром бури, злобу холода и пальбу сухого снега.

— Вот сволота! — сказал Пухов, еле управляясь с тем, с чем ему нужно было управиться.

Вдруг бешено заревел баланс паровоза, спуская лишний пар. Пухов вскочил в вагон — и паровоз сейчас же и разом выхватил снегоочиститель из снежного бугра, пробуксовав колесами так, что огонь посыпался из рельс. Пухов даже увидел, как хлестнула вода из паровозной трубы от слишком большого открытия пара, и оценил машиниста за отвагу:

— Хорош парень у нас на паровозе!

— А? — спросил старший рабочий Шугаев.

— Чего — а? — ответил Пухов. — Чего акаешь-то? Горе кругом, а ты разговариваешь!

Шугаев поэтому замолчал.

Паровоз прогудел два раза, а начальник дистанции крикнул:

— Закрой работу!

Пухов рванул рычаг и поднял щит.

Подъезжали к переезду, где лежали контррельсы. Такие места проезжали без работы: щит снегоочистителя резал снег ниже головки рельса и не мог работать, когда у рельса что-нибудь находилось — тогда снегоочиститель опрокинулся бы.

Проехав переезд, снегоочиститель понесся открытой степью. Укрытый снегом, лежал искусный железный путь. Пухов всегда удивлялся пространству. Оно его успокаивало в страдании и увеличивало радость, если ее имелось немного.

¹ Б а л а н с — автоматический предохранитель от излишнего давления пара в котле.

Так и теперь — поглядел в запущенное окно Пухов: ничего не видно, а приятно.

Снегоочиститель, имея жесткие рессоры, гремел, как телега по кочкам, и, ухватывая снег, гучей пушил его на правый откос пути, трепеща выкинутым крылом; это крыло назначено было швырять снег на сторону — то оно и делало.

В Графской сделали значительную стоянку. Паровоз брал воду, помощник машиниста чистил дымовую коробку, топку и прочее огневое хозяйство.

Обмерзший машинист ничего не делал, а голько ругался на эту жизнь. Из штаба какого-то матросского отряда, стоявшего в Графской, ему принесли спирту, и Пухов тоже прошел в долю, а начальник дистанции отказался.

— Пей, инженер, — предложил ему главный матрос.

— Благодарю покорно. Я ничего не пью, — уклонился инженер.

— Ну, как хочешь! — сказал матрос. — А то выпей — согреешься! Хочешь, рыбы принесу — покушаешь?

Инженер опять отказался, по неизвестной причине.

— Эх ты, тина! — сказал тогда оскорбленный матрос. — Ведь тебе с душой дают — нам же не жалко, — а ты не берешь! Поешь, пожалуйста!

Машинист и Пухов пили и жевали все напролом, улыбаясь насчет начальника.

— Отстань ты от него! — обрубил другой матрос. — Он есть хочет, но идея его не велит!

Начальник дистанции смолчал. Есть он действительно не хотел. Месяц назад он вернулся из командировки — из-под Царицына, где сдавал восстановленный мост. Вчера он получил депешу, что мост просел под воинским поездом: клепка моста шла наспех, неквалифицированные рабочие ставили заклепки на живую нитку, и теперь фермы моста расшились — от одного чувства веса мало-мальски грузного поезда.

Два дня назад началось следствие по делу моста, и дома у начальника дистанции лежала повестка от следователя железнодорожного Ревтрибунала. Назначенный в экстренную поездку, инженер не мог пойти в Ревтрибунал, но помнил об этом. Поэтому ему не пилося и не елось. Но страха он тоже не имел, терзаясь сплошным равнодушием; равнодушие, он чувствовал, может быть страшнее боязливости — оно выпаривает из человека

душу, как воду медленный огонь, и когда очнешься — останется от сердца одно сухое место; тогда человека хоть ежедневно к стенке ставь — он покурить не попросит: последнее удовольствие казнимого.

— Теперь куда поедете? — спросил у Пухова главный матрос.

— Должно, на Грязи!

— Верно: под Усманию два эшелона и броневик в сугробах застряли! — вспомнил матрос. — Казаки, говорят, Давыдовку взяли, а снаряды за Козловом в заносах стоят!

— Расчистим, сталь режем, а снег — вещество че-пуховое! — уверенно определил Пухов, спешно допивая последние капли спирта, чтобы ничто не пропадало в такое время.

Тронулись на Грязи. Пассажиром напросился старичок — будто бы ехал от сына с Лисок, — а кто ж его знает!

Поехали. Загремел балансир, кидая шит то вниз, то вверх, — и забурчали рабочие, которым не досталось матросской жирной рыбы.

— Яблок бы моченых я теперь поел! — сказал на полном ходу снегоочистителя Пухов. — Ух, и поел бы — ведро бы съел!

— А я бы сельдь покушал! — ответил ему старичок-пассажир. — Люди говорят, что в Астрахани сельди той миллионы пудов гниют, только маршрутов туда нету!

— Тебя посадили, ты и молчи сиди! — строго предупредил Пухов. — Сельдь бы он покушал! Будто без него съест ее некому!

— А я, — встрял в разговор помощник Пухова, слесарь Зворычный, — на свадьбе в Усмани был, так полного петуха съел — жирён был, дьявол!

— А сколько петухов-то было на столе? — спросил Пухов, чувствуя на вкус того петуха.

— Один был — откуда теперь петухи?

— Что ж, тебя не выгнали со свадьбы? — допытывался Пухов, желая, чтоб его выгнали.

— Нет, я сам рано ушел. Вылез из стола, будто на двор захотел, — мужики часто ходят, — и ушел.

— А тебе, старик, не пора слезать — деревня твоя не видна еще? — спросил Пухов пассажира. — Гляди, а то разбалачаешься — проскочишь!

Старик подскочил к окну, подышал на стекло и потерял его.

— Места будто знакомые пошли — будто Хамовские выселки торчат на юру.

— Раз Хамовские выселки — тебе к месту, — сказал сведущий Пухов. — Слезай, пока на подъеме прем!

Старик почухался с мешком и покорно возразил:

— Машина ходко бежит, аж воздух журчит, — жутко убиваться, господин машинист! Может, окоротить позволите на одну минуту — я враз.

— Обдумал! — осерчал Пухов. — Окоротить ему казенную машину в военное время! Теперь до самых Грязей остановки не будет!

Старик смолчал, а потом спросил особо покорным голосом:

— Сказывали, тормоза теперь могучие пошли — на всякую скороту окорот дают!

— Слазь, слазь, старик! — серчал Пухов. — Скороту ему окоротить! Не на каменную гору прыгаешь, а в снег! Так мягко придется, что сам полежишь — и потянешься еще!

Старик вышел на наружную площадку, осмотрел веревку на мешке — не для прочности, конечно, а для угла времени, чтобы духу набраться, — а потом пропал: должно, шлепнулся.

С Грязей снегоочистителю вручили приказ: вести за собой броневик и поезд наркома, пробивая траншею в заносах, вплоть до Лисок.

Снегоочистителю дали двойную тягу: другой паровоз уступил поезд наркома — громадную спокойную машину Путиловского завода.

Тяжелый боевой поезд наркома всегда шел на двух лучших паровозах.

Но и два паровоза теперь обессилели от снега, потому что снег хуже песка. Поэтому не паровозы были в славе в ту мятежную и снежную зиму, а снегоочистители.

И то, что белых громила артиллерия бронепоездов под Давыдовкой и Лисками, случилось потому, что бригады паровозов и снегоочистителей крушили сугробы, не спя неделями и питаясь сухой кашей.

Пухов, например, Фома Егорыч, сразу почел такое занятие обыкновенным делом и только боялся, что ис-

чезнет махорка с вольного рынка; поэтому дома имел ее пуд, проверив вес на безмене.

Не доезжая станции Колодезной, снегоочиститель стал: два могучих паровоза, которые волокли его, как плуг, влетели в сугроб и зарылись по трубу.

Машинист-петроградец с поезда наркома, ведущий головной паровоз, был выбит из сиденья и вышвырнут на тендер от удара паровоза в снег и мгновенной остановки. А паровоз его, не сдаваясь, продолжал буксовать на месте, дрожа от свирепой безысходной силы, яростно прессуя грудью горы снега впереди.

Машинист прыгнул в снег, катаясь в нем окровавленной головой и бормоча неслыханные ругательства.

К нему подошел Пухов с четырьмя собственными зубами в кулаке — он стукнулся челюстью о рычаг и вытащил изо рта ослабшие лишние зубы. В другой руке он нес мешочек со своими харчами — хлеб и пшено. Не глядя на лежащего машиниста, он засмотрелся на его замечательный паровоз, все еще бившийся в снегу.

— Хороша машина, сволочь!

Потом крикнул помощнику:

— Закрой пар, стервец, кривошипы порвешь!

С паровоза никто не ответил.

Положив харчи на снег и зашвырнув зубы, Пухов сам полез на паровоз, чтобы закрыть регулятор и сифон.

В будке лежал мертвый помощник. Его бросило головой на штырь, и в расшившийся череп просунулась медь — так он повис и умер, поливая кровью мазут на полу. Помощник стоял на коленях, разбросав синие беспомощные руки и с прищипленной к штырю головой.

«И как он, дурак, нарвался на штырь? И как раз ведь в темя, в самый материнский родничок хватило!» — обнаружил событие Пухов.

Остановив бег на месте бесившегося паровоза, Пухов оглядел все его устройство и снова подумал о помощнике:

«Жалко дурака: пар хорошо держал!»

Манометр действительно и сейчас показывал тринадцать атмосфер, почти предельное давление, — и это после десяти часов хода в глубоком плотном снегу!

Метель стихала, переходя в мокрый снегопад. Вдалеке дымили на расчищенных путях броневик и поезд наркома.

Пухов с паровоза ушел. Рабочие снегоочистителя и начальник дистанции лезли по живот в снегу к паровозу. Со второго паровоза тоже сошла бригада, перевязав разбитые головы грязными обтирочными концами.

Пухов подошел к петроградскому машинисту. Тот сидел на снегу и прикладывал его к окровавленной голове.

— Ну что, — обратился он к Пухову, — как стоит машина? Закрыл поддувала?

— Все на месте, механик! — ответил по-служебному Пухов. — Помощник только твой убился, но я тебе Зворычного дам, парень умственный, только жрать здоров!

— Ладно, — сказал машинист. — Положи-ка мне хлеба на рану и портянкой окрути! Кровь, сатану, никак не заткну!

Из-за снегоочистителя выглянула милая усталая морда лошади, и через две минуты к паровозу подъехал казачий отряд — человек пятнадцать.

Никто на них не обратил нужного внимания.

Пухов со Зворычным закусывали; Зворычный советовал Пухову непременно вставить зубы, только стальные и никелированные — в воронежских мастерских могут сделать: всю жизнь тогда не изотрешь о самую твердую пищу!

— Опять выбить могут! — возразил Пухов.

— А мы тебе их штук сто наделаем, — успокоил Зворычный. — Лишние в кисет в запас положишь.

— Это ты верно говоришь, — согласился Пухов, соображая, что сталь прочней кости и зубов можно наготовить массу на фрезерном станке.

Казачий офицер, видя спокойствие мастеровых, растерялся и охрип голосом.

— Граждане рабочие! — нарочито сказал офицер, ворочая полубезумными глазами. — Именем Великой Народной России приказываю вам доставить паровозы и снегочистку на станцию Подгорное. За отказ — расстрел на месте!

Паровозы тихо сипели. Снег падать перестал. Дул ветер оттепели и далекой весны.

У машиниста кровь на голове свернулась и больше не текла. Он почесал сухую корку сукровицы и трудным, ослабевшим шагом пошел на паровоз.

— Пойти воды покачать и дров подложить — машину морозить неохота!

Казаки выпули револьверы и окружили мастеровых. Тогда Пухов рассерчал:

— Вот сволочи, в механике не понимают, а командуют!

— Што-о? — захрипел офицер. — Марш на паровоз, иначе пулю в затылок получишь!

— Что ты, чертова кукла, пулей пугаешь! — закричал, забываясь, Пухов. — Я сам тебя гайкой смажу! Не видишь, что в перевал сели и люди побились! Фулюган, черт!

Офицер услышал короткий глухой гудок броневое поезда и обернулся, подождав стрелять в Пухова.

Начальник дистанции лежал на шинели, постеленной на снег, и о чем-то мрачно размышлял, рассматривая хилое, потеплевшее небо.

Вдруг на паровозе по-плохому закричал человек. То, наверно, машинист снимал со штыря своего разбитого помощника.

Казаки сошли с коней и бродили вокруг паровоза, как бы ища потерянное.

— По коням! — крикнул казакам офицер, заметя вывернувшийся из закругления бронепоезд. — Пускай паровозы, стрелять начну! — и выстрелил в голову начальника дистанции — тот и не вздрогнул, а только засучил усталыми ногами и отвернулся вниз лицом ото всех.

Пухов вскочил на паровоз и заревел во всю сирену прерывистой тревогой. Догадливый машинист открыл паровой кран инжектора, и весь паровоз укуптался паром.

Казачий отряд начал напропалую расстреливать рабочих, но те забились под паровозы, проваливались, убегая, в сугробы, — и все уцелели.

С бронепоезда, подошедшего к снегоочистителю почти вплотную, ударили из трехдюймовки и прострочили из пулемета.

Отскакав саженой на двадцать, казачий отряд начал тонуть в снегах и был начисто расстрелян с бронепоезда.

Только одна лошадь ушла и понеслась по степи, жалобно крича и напрягая худое быстрое тело.

Пухов долго глядел на нее и осунулся от сочувствия.

С бронепоезда отцепили паровоз и подвели его сзади к снегоочистителю толкачом.

Через час, подняв пар, три паровоза продавили снежный перевал на путях и вырвались на чистое место.

2

В Лисках отдыхали три дня.

Пухов обменял на олеонафт десять фунгов махорки и был доволен. На вокзале он исчитал все плакаты и тащил газеты из агитпункта для своего осведомления.

На стенах вокзала висела мануфактура с агитационными словами:

В рабочие руки мы книги возьмем,
Учись, пролетарий, ты будешь умен!

— Тоже нескладно! — закричал Пухов. — Надо так написать, чтоб все дураки заочно поумнели!

Каждый прожитый нами день — гвоздь в голову буржуазии. Будем же вечно жить — пускай терпит ее голова.

— Вот это серьезно! — расценивал Пухов. — Это твердые слова!

Подходит раз к Лискам поезд — хорошие пассажирские вагоны, красноармейцы у дверей, и ни одного мешочника не видно.

Пухов стоял в тот час на платформе у дверей и кое-что обдумывал.

Поезд останавливается. Из вагонов никто не выходит.

— Кто это прибыл с этим эшелонем? — спрашивает Пухов одного смазчика.

— А кто его знает? Сказывают, главный командир — один в целом поезде!

Из переднего вагона вышли музыканты, подошли к середине поезда, построились и заиграли встречу.

Немного погодя выходит из среднего мягкого вагона толстый военный человек и машет музыкантам рукой: будет, дескать, доволен!

Музыканты разошлись. Военный начальник не спеша сходит по ступенькам и идет в вокзал. За ним идут прочие военные люди — кто с бомбой, кто с револьвером,

кто за саблю держится, кто так ругается, — полная охрана.

Пухов прошел вслед и очутился около агитпункта. Там уже стояла красноармейская масса, разные железнодорожники и жадные до образования мужики.

Приехавший военный начальник взошел на трибуну — и тут ему все захлопали, не зная его фамилии. Но начальник оказался строгим человеком и сразу отрубил:

— Товарищи и граждане! На первый раз я прощаю, но заявляю, чтобы впредь подобных демонстраций не повторялось! Здесь не цирк, и я не клоун — хлопать в ладоши тут не по существу!

Народ сразу примолк и умильно уставился на оратора — особенно мешочники; может, дескать, лицо запомнит и посадит на поезд.

Но начальник, разъяснив, что буржуазия целиком и полностью — сволочь, уехал, не запомнив ни одного умильного лица.

Ни один мешочник в порожний длинный поезд как и не попал: охрана сказала, что вольным нельзя ехать на военном поезде особого назначения.

— А он же порожняком, — все едино — лупигь будет! — спорили худые мужики.

— Командарму пустой поезд полагается по приказу! — объяснили красноармейцы из охраны.

— Раз по приказу — мы не спорим! — покорялись мешочники. — Только мы не в поезде сядем, а на сцепках!

— Нигде нельзя! — отвечали охранники. — Только на спице колеса можно!

Наконец поезд уехал, постреливая в воздух — для испуга жадных до транспорта мешочников.

— Дела! — сказал Пухов одному деповскому слесарю. — Маленькое тело на сорока осях везут!

— Нагрузка маленькая — на канате вошь тащут! — на глаз измерил деповский слесарь.

— Дрезину бы ему дать — и ладно! — сообразил Пухов. — Тратят зря американский паровоз!

Идя в барак за порцией пищи, Пухов разглядывал по дороге всякие надписи и объявления — он был любитель до чтения и ценил всякий человеческий помысел. На бараке висело объявление, которое Пухов прочитал беспрерывно трижды:

«ТОВАРИЩИ РАБОЧИЕ!»

Штабом IX Рабоче-Крестьянской Красной Армии формируются добровольные отряды технических сил для обслуживания фронтовых нужд Красных армий, действующих на Северном Кавказе, Кубани и Черноморском побережье.

Разрушенные железнодорожные мосты, береговые оборонительные сооружения, служба связи, оружейные ремонтные мастерские, подвижные механические базы — все это, взятое в целом, требует умелых пролетарских рук, которых не хватает в действующих Красных армиях юга.

С другой стороны, без технических средств не может быть обеспечена победа над врагами рабочих и крестьян, сильных своей техникой, полученной задаром от антантовского империализма.

Товарищи рабочие! Призываем вас записываться в отряды технических сил у уполномоченных Реввоенсовета IX на всех ж.-д. узловых станциях. Условия службы узнайте от товарищей уполномоченных. Да здравствует Красная Армия!

Да здравствует рабоче-крестьянский класс!»

Пухов сорвал листок, приклеенный мукой, и понес его к Зворычному.

— Тронемся, Петр! — сказал Пухов Зворычному. — Какого шута тут коптить! По крайности, южную страну увидим и в море покупаемся!

Зворычный молчал, думал о своем семействе.

А у Пухова баба умерла, и его тянуло на край света.

— Думай, Петруха! На самом-то деле: какая армия без слесарей! А на снегочистке делать нечего — весна уже в ширинку дует!

Зворычный опять молчал, жался жене Анисью и мальчишку, тоже Петра, которого мать звала выпороточком.

— Едем, Петруш! — увещевал Пухов. — Горные горизонты увидим; да и честней как-то станет! А то видал — тифозных эшелонами прут, а мы сидим — пайки получаем!.. Революция-то пройдет, а нам ничего не останется! Ты, скажут, что делал? А ты што скажешь?..

— Я скажу, что рельсы от снегов чистил! — ответил Зворычный. — Без транспорта тоже воевать нельзя!

— Это што! — сказал Пухов. — Ты, скажут, хлеб за то получал, то работа нормальная! А чем ты бесплатно пожертвовал, спросят, чему ты душевно сочувствовал? Вот где загвоздка! В Воронеже вон бывшие генералы снег сгребают — и за то фунт в день получают! Так же и мы с тобой!

— А я думаю, — не поддавался Зворычный, — мы тут с тобой нужней!

— То никому не известно, где мы с тобой полезней! — нажимал Пухов. — Если только думать, тоже далеко не уедешь, надо и чувство иметь!

— Да будет тебе ерунду лить! — задосадовал Зворычный. — Кто это считать будет — кто что делал, чем занимался? И так покою нет от жизни такой! Тебе теперь все равно — один на свете, — вот тебя и тянет, дурака! Небось думаешь бабу там покрасивше отыскать, — чувство-то понимаешь! Мужик ты не старый — без бабы раздуешься скоро! Ну и вали туда рысью!..

— Дурак ты, Петр! — оставил надежду Пухов. — В механике ты понимаешь, а сам по себе предрассудочный человек!

С горя Пухов и обедать не стал, а пошел к уполномоченному записываться, чтобы сразу управиться с делами. Но когда пришел — съел два обеда: повар к нему благоволил за полудку кастрюли и за умные разговоры.

— После гражданской войны я красным дворянином буду! — говорил Пухов всем друзьям в Лисках.

— Это почему же такое? — спрашивали его мастеровые люди. — Значит, как в старину будет, и землю тебе дадут?

— Зачем мне земля? — отвечал счастливый Пухов. — Гайки, что ль, сеять я буду? То будет честь и звание, а не угнегение.

— А мы, значит, красными вахлаками останемся? — узнавали мастеровые.

— А вы на фронт ползите, а не чухайтесь по собственным домам! — выражался Пухов и уходил дожидаться отправки на юг.

Через неделю Пухов и еще пятеро слесарей, принятых уполномоченным, поехали на Новороссийск — в порт.

Ехали долго и трудно, но еще труднее бывают дела, и Пухов впоследствии забыл это путешествие. На дорогу им дали по пять фунтов воблы и по ковриге хлеба, поэтому слесаря были сыты, только пили воду на всех станциях.

В Екатеринодаре Пухов сидел неделю — шел где-то бой, и на Новороссийск никого не пропускали. Но в этом зеленом отпетом городке давно притерпелись к войне и старались жить весело.

«Сволочи! — думал обо всех Пухов. — Времен не чувствуют!»

В Новороссийске Пухов пошел на комиссию, которая якобы проверяла знания специалистов.

Его спросили, из чего делается пар.

— Какой пар? — схитрил Пухов. — Простой или перегретый?

— Вообще... пар! — сказал экзаменующий начальник.

— Из воды и огня! — отрубил Пухов.

— Так! — подтвердил экзаменатор. — Что такое комета?

— Бродящая звезда! — объяснил Пухов.

— Верно! А скажите, когда и зачем было восемнадцатое брюмера? — перешел на политграмоту экзаменатор.

— По календарю Брюса тысяча девятьсот двадцать восьмого года восемнадцатого октября — за неделю до Великой Октябрьской революции, освободившей пролетариат всего мира и все разукрашенные народы, — не растерялся Пухов, читавший что попало, когда жена была жива.

— Приблизительно верно! — сказал председатель проверочной комиссии. — Ну, а что вы знаете про судоходство?

— Судоходство бывает тяжелее воды и легче воды! — твердо ответил Пухов.

— Какие вы знаете двигатели?

— Компаунд, Отто-Дейи, мельницы, пошвенные колеса и всякое вечное движение!

— Что такое лошадиная сила?

— Лошадь, которая действует вместо машины.

— А почему она действует вместо машины?

— Потому, что у нас страна с отсталой техникой — корягой пашут, ногтем жнут!

— Что такое религия? — не унимался экзаменатор.

— Предрассудок Карла Маркса и народный самогон.

— Для чего была нужна религия буржуазии?

— Для того, чтобы народ не скорбел.

— Любите ли вы, товарищ Пухов, пролетариат в целом и согласны за него жизнь положить?

— Люблю, товарищ комиссар, — ответил Пухов, чтобы выдержать экзамен, — и кровь лить согласен, только чтобы не зря и не дуриком!

— Это ясно! — сказал экзаменатор и назначил его в порт монтером для ремонта какого-то судна.

Судно то оказалось катером, под названием «Марс». В нем керосиновый мотор не хотел вертеться — его и дали Пухову в починку.

Новороссийск оказался ветреным городом. И ветер то как-то тут дул без толку: зарядит, дует и дует, даже посторонние вещи от него нагревались, а ветер был холодный.

В Крыму тогда сидел Врангель, а с ремонтом «Марса» большевики спешили — говорили, что Врангель морской набег думает сделать, так чтоб было чем защититься.

— Так у него ж английские крейсера, — объяснял Пухов, — а наш «Марс» — морская лодка, ее кирпичом можно потопить!

— Красная Армия все может! — отвечали Пухову матросы. — Мы в Царицын на щепках приплыли, кулаками город шуровали!

— Так то ж драка, а не война! — сомневался Пухов. — А ядро не классовая вещь — живо ко дну пустит!

Керосиновый мотор на «Марсе» никак не хотел вертеться.

— Был бы ты паровой машиной, — рассуждал Пухов, сидя одиноко в трюме судна, — я б тебя сразу замордовал! А то подлецом каким-то выдумана: ишь провода какие-то, медяшки... путаная вещь!

Море не удивляло Пухова — качается и мешает работать.

— Наши степи еще попросторней будут, и ветер еще почише там, только не такой бестолковый; подует днем, а ночью тишина. А тут — дует, дует и дует, — что ты с ним делать будешь?

Бормоча и покуривая, Пухов сидел над двигателем, который не шел. Три раза он его разбирал и вновь собирал, потом закручивал для пуска — мотор сипел, а крутиться упорствовал.

Ночью Пухов тоже думал о двигателе и убедительно переругивался с ним, лежа в пустой каютке.

Пришел раз к Пухову на «Марс» морской комиссар и говорит:

— Если ты завтра непустишь машину, я тебя в море без корабля пушу, копуша, черт!

— Ладно, я пушу эту сволочь, только в море остановлю, когда ты на корабле будешь! Копайся сам тогда, фулюган! — ответил как следует Пухов.

Хотел тогда комиссар пристрелить Пухова, но сообразил, что без механика — плохая война.

Всю ночь бился Пухов. Передумал заново всю затею этой машины, переделал ее по своему пониманию на какую-то новую машину, удалил зазорные части и поставил простые — и к утру мотор бешено запыхал. Пухов тогда включил винт — мотор винт потянул, но тяжело задышал.

— Ишь, — сказал Пухов, — как черт на Афон взбирается!

Днем пришел опять морской комиссар.

— Ну что, пустил машину? — спрашивает.

— А ты думал, не пушу? — ответил Пухов. — Это только вы из-под Екатеринодара удрали, а я ни от чего не отступлю, раз надо!

— Ну, ладно, ладно, — сказал довольный комиссар. — Знай, что керосину у нас мало, — береги!

— Мне его не пить — сколько есть, столько будет! — положительно заявил Пухов.

— Ведь мотор с водой идет? — спросил комиссар.

— Ну да, керосин топит, вода охлаждает!

— А ты норови керосину поменьше, а воды побольше, — сделал открытие комиссар.

Тут Пухов захохотал всем своим редким молчаливым голосом.

— Что ты, дурак, радуешься? — спросил в досаде комиссар.

Пухов не мог остановиться и радостно закатывался.

— Тебе бы не советскую власть, а всю природу учреждать надо, — ты б ее ловко обдумал! Эх ты, мехоноша!

Услышав это, комиссар удалился, потеряв некую внутреннюю честь.

А в Новороссийске шли аресты и разгром зажиточных людей.

«Чего они людей шуруют? — думал Пухов. — Какая такая гроза от этих шутов? Они и так дальше завалинки выйти боятся».

Кроме арестов, по городу были расклеены бумаги: «Вследствие тяжелой медицинской усталости ораторов, никаких митингов на этой неделе не будет».

«Теперь нам скучно будет», — скорбел, читая, Пухов.

Меж тем в порту появился маленький истребитель «Звезда». Там пробоину заклепывали и якорную лебедку чинили. Пухов туда ходил смотреть, но его не пустили.

— Чего это такое? — обиделся Пухов. — Я же вижу, там холоуи работают. Я помочь хотел, а то случится в море неполадка!

— Не велено никого пускать! — ответил часовой красноармеец.

— Ну, шут с вами, мучайтесь! — сказал Пухов и ушел, озабоченный.

К вечеру того же дня пришло в порт турецкое транспортное судно «Шаня». В клубе говорили, что это подарок Кемаль-паши, турецкого вождя, но Пухов сомневался.

— Я же видел, — говорил он красноармейцам, — что судно исправное! Станет вам турецкий султан в военное время такие подарки делать — у него самого нехватка!

— Так он друг наш, Кемаль-паша! — разъясняли красноармейцы. — Ты, Пухов, в политике — плетень!

— А ты снял онучи — думаешь, гвоздем стал? — обижался Пухов и уходил в угол глядеть плакаты, которым он, однако, особо не доверял.

Ночью Пухова разбудил вестовой из штаба армии. Пухов немного испугался.

— Должно быть, морской комиссар гадит!

На дворе штаба стоял большой отряд красноармейцев в полном походном снаряжении. Тут же стояли грое мастеровых, но тоже в военных шинелях и с чайниками.

— Товарищ Пухов, — обратился командир отряда, — вы почему не в военной форме?

— Я и так хорош, чего мне чайник цеплять! — ответил Пухов и стал в сторонке.

Стояла ночь — огромная тьма, — и в горах шуршали ветер и вода.

Красноармейцы стояли молча, одетые в новые шинели, и ни о чем не говорили. Не то они боялись чего-то, не то соблюдали тайну друг от друга.

В горах и далеких окрестностях изредка кто-то стрелял, уничтожая неизвестную жизнь.

Один красноармеец загремел винтовкой, — его враз уgomонили, и он почуял свой срам, до самого сердца.

Пухов тоже что-то заволновался, но не выражал этого чувства, чтобы не шуметь.

Фонарь над конюшней освещал дворовую нечистоту и дрожал неясным светом на бледных ночных лицах красноармейцев. Ветер, нечаянно зашедший с гор, говорил о смелости, с которой он воюет над беззащитными пространствами. Свое дело он и людям советовал — и те слышали.

В городе бесчинствовали собаки, а люди, наверно, тихо размножались. А тут, на глухом дворе, другие люди были охвачены тревогой и особым сладострастием мужества — оттого, что их хотят уменьшить в количестве.

Вышел на середину военный комиссар полка и негромко начал говорить, будто имел перед собой одного человека.

— Дорогие товарищи! Сейчас у нас не митинг, и я скажу немного... Высшее командование Республики приказало Реввоенсовету нашей армии ударить в тыл Врангелю, который сейчас догорает в Крыму. Наша задача как раз в том, чтобы переплыть на тех судах, которые у нас есть, Керченский пролив и высадиться на крымском берегу. Там мы должны соединиться с действующими в тылу Врангеля красно-зелеными партизанскими отрядами и отрезать Врангеля от судов, куда он бросится, когда северная Красная Армия прорвется через Перекоп. Мы должны разрушить мосты и дороги у Врангеля, растерзать его тыл и загородить ему море, чтобы выжечь сразу всю эту заразу!

Красноармейцы! Добраться до Крыма нам будет тяжело, и это рискованная вещь. Там плавают дозорные крейсера, которые нас потопят, если заметят. Это я должен вам открыто сказать. А если и доплывем, то нам предстоит опасная, смертельная борьба среди озверелого противника. Не много нас уцелеет, а может, никого, когда Крым станет советским, — вот что я хочу вам сказать, дорогие товарищи красноармейцы!

И далее того: я хочу спросить у вас, товарищи, согласны ли вы на это дело идти добровольно?

Чувствуете ли вы мужественную отвагу в себе, дабы пожертвовать достоинством жизни на благо революции и Советской Республики? Если кто боится или

колеблется, у кого семья осталась и ему ее жалко — пускай выйдет и скажет, чтобы ясно было, и мы освободим такого товарища!

Центральное наше правительство возлагает великую надежду на нашу операцию, чтобы поскорей покончить с войной и приступить к мирному строительству на фронте труда?!

Я жду вашего ответа, товарищи красноармейцы! Я должен сейчас же передать его Реввоенсовету армии!

Военный комиссар кончил речь и стоял насупившись, — ему было хорошо и неловко. Красноармейцы тоже молчали. А у Пухова все дрожало внутри.

«Вот это дело, — думал он, — вот она, большевистская война, — нечего тут яйца высиживать!»

Никто уже не слышал ветра и не видел ночных гор. Мир затмился во всех глазах как дальнейшее событие, каждый был занят общей жизнью. Фонарь на дворе тоже потух, израсходовав свой керосин, и никто этого не заметил.

Вдруг из рядов выступает один красноармеец и определенно говорит:

— Товарищ комиссар! Передайте Реввоенсовету армии и всему командованию, что мы ждем приказа о выступлении! Мы того не ждали, чтобы нам оказали такую высокую честь и поручили прикончить Врангеля! Я в том убежден, что говорю от чистого сердца всех красноармейцев, если скажу, что, стало быть, мы благодарим и также клянемся отдать свою кровную силу и жизнь, раз то надо советской власти, — вот и все! Чего там волынку тянуть и чего ждать, раз люди в Советской России с голоду умирают, а тут сволочь в Крыму сидит и мешается!

Красноармейцы заволновались и радостно загудели, хотя, по здравому смыслу, радоваться было нечему. Вышел еще один красноармеец и заявил:

— Правильно штаб сделал, что десант назначил. С Перекопа пусть Врангеля трахнут в морду, а мы разом в зад, — вот тогда он с корнем ляжет, и английские корабли ему спасенья не дадут!

Тут опять выходит комиссар:

— Товарищи красноармейцы! Мы в штабе так и знали! Мы ждали от вас той высокой сознательности и беззаветности революции, которую вы сейчас здесь проявили! От имени Реввоенсовета и командования ар-

мин выражаю вам благодарность и прошу считать те слова, которые я сказал, военной тайной. Вы знаете, что Новороссийск полон белогвардейскими шпионами, и мы будем обречены на гибель, если кто что узнает! Приказ о выступлении будет дан особо. Спасибо, товарищи!

Комиссар спешно ушел, а красноармейцы еще стояли. Пухов подошел к ним и начал слушать. В первый раз в жизни ему стало так стыдно за что-то, что кожа покраснела под щетиной.

Оказалось, что на свете жил хороший народ и лучшие люди не жалели себя.

Холодная ночь наливалась бурей, и одинокие люди чувствовали тоску и ожесточение. Но никто в ту ночь не показывался на улицах, и одинокие тоже сидели дома, слушая, как хлопают от ветра ворота. Если же кто шел к другу, спеша там растратить беспокойное время, то обратно домой не возвращался, а ночевал в гостях. Каждый знал, что его ждет на улице арест, ночной допрос, просмотр документов и долгое сидение в тухлом подвале, пока не установится, что сей человек всю жизнь побирался, или пока не будет одержана большевиками окончательная победа.

А меж тем крестьяне из северных мест, одевшись в шинели, вышли необыкновенными людьми — без сожаления о жизни, без пощады к себе и к любимым родственникам, с прочной ненавистью к знакомому врагу. Эти вооруженные люди готовы дважды быть расстрелянными, лишь бы и враг с ними погиб, и жизнь ему не досталась.

Ночью Пухов играл с красноармейцами в шашки и рассказывал им о командире, которого никогда не видел.

Пухов, не видя удовольствия в жизни, привык украшать ее геройскими рассказами, и всем становилось от того веселей.

В отряде, назначенном в десант, было пятьсот человек, — и случилось, что все они из разных мест.

Поэтому на другой день пошло пятьсот писем в пятьсот русских деревень.

Целых полдня красноармейцы малевали и карякали бумагу, прощаясь с матерями, женами, отцами и более дальними родственниками.

Пухов тоже помогал, кто особо слаб был в буквах, и выдумывал такие письма, что красноармейцы одобряли:

— Складно ты пишешь, Фома Егорыч, — мои плакать будут!

— А то как же? — говорил Пухов, — хохотать тут нечего: дело не шуточное! Чудак ты человек!

После обеда Пухов пошел к комиссару:

— Товарищ-комиссар, меня в десант возьмете?

— Возьмем, товарищ Пухов, затем тебя и звали вчера на собрание! — ответил комиссар.

— Только я прошу, товарищ-комиссар, назначить меня механиком на «Шаню», — там, я слышал, паровая машина, а на «Марсе» керосиновый мотор, он мне не сподручен: дюже мал!

— На «Шане» там есть свой механик, — турок! — сказал комиссар. — Ну, ладно: мы тебя в помощники назначим, а на «Марс» возьмем шофера! А ты что, не сладишь с керосиновым мотором, что ли?

— Мотор — ерундовая вещь, паровая машина крепче берет. Неохота мне, товарищ-комиссар, в геройском походе с таким дерьмом возиться! Это примус, а не машина, — сами видите!

— Ну, ладно, — согласился комиссар, — поедешь на «Шане», — раз так. В десанте люди едут добровольно и делают, что им способней! А уж в походе, брат, не мудри!..

Пухов взял пропуск и пошел на «Шаню» — машину поглядеть. Ему лишь бы машина была, там он считал себя дома.

С турецким машинистом он сошелся скоро, сказав, что главное дело — смазка, тогда никакой работой машину не погубишь.

— Это справедливо, — хорошо по-русски сказал турок, — масло — доброта, оно машину бережет! Кто масла много дает, тот любит машину, тот есть механик!

— Ну, понятно, — обрадовался Пухов, — машина любит конюха, а не наездника: она живое существо!

На том они и подружили.

Ночью, против окрепшего ветра, отряд шел в порт на посадку. Пухов не знал, к кому ему притулиться, и шел сбоку, гремя полученным казенным чайником. Но красноармейцы сразу его одернули:

— Сказано — иди тайком, чего ты громыхаешь?

— А чего мне таиться-то: не на грабеж идем! — сказал Пухов.

— Приказано не шуметь, — тихо ответил красноармеец Баронов, — затем и людей в городе в губчок прятали, чтобы шпионов не было!

Шли долго и бесшумно, еле хрустя влажным песком. Огромные порожние склады стояли в темноте, и в них бурчал ветер. Голодные крысы метались всюду, питаясь неизвестно чем.

Ночь была непроглядна, как могильная глубина, но люди шли возбужденно, с тревожным восторгом в сердце, похожие на древних потаенных охотников.

Глубокие времена дышали над этими горами — свидетели мужества природы, посредством которого она голько и существовала. Эти вооруженные путники также были полны мужества и последней смелости, какие имела природа, вздымая горы и роя водоемы.

Только потому красноармейцам, вооруженным иногда одним кулаками, и удавалось ловить в степях броневые автомобили врага и разоружать, окорачивая, воинские эшелоны белогвардейцев.

Молодые, они строили себе новую страну для долгой будущей жизни, в неистовстве истребляя все, что не ладилось с их мечтой о счастье бедных людей, которому они были научены политруком.

Они еще не знали ценности жизни, и поэтому им была неизвестна трусость — жалость потерять свое тело. Из детства они вышли в войну, не пережив ни любви, ни наслаждения мыслью, ни созерцания того неимоверного мира, где они пахотились. Они были неизвестны самим себе. Поэтому красноармейцы не имели в душе цепей, которые приковывали бы их внимание к своей личности. Поэтому они жили полной общей жизнью с природой и историей, — и история бежала в те годы, как паровоз, таща за собой на подъем всемирный груз нищеты, отчаяния и смиренной косности.

В мрачной темноте засияли перемежающимся светом огни судовых сигналов. Отряд вступил на помост пристани. Сейчас же началась посадка.

На «Шаню» посадили весь отряд, на катер «Марс» — двадцать человек разведки, а на истребитель — воен-
мор-
моров.

Пухов влез в машинное отделение «Шани» и почувствовал себя очень хорошо. Близ машины он всегда был добродушен. Он закурил и прохаркнулся громким голо-

сом, устав молчать и выдувая из легких спертые, застоявшиеся газы.

Часа два еще гремели красноармейские башмаки по палубе и по трапам.

Чувствуя достаточное удовольствие от этих беспоконных событий, Пухов не усидел внизу и выскочил на палубу.

Черные тела людей, трепещущие в неярком свете фонарей, тихо ползли по трапам, крепко прижав к себе винтовки и все походные принадлежности, чтобы ничто не стукнуло.

Ночь от фонарей стала еще огромней и темней, — не верилось, что существует живой мир. В глубинах тьмы тонул небольшой ветер, шевеля какие-то вещи на пристани.

Кратко и предостерегающе гудели пароходы, что-то говоря друг другу, а на берегу лежала наблюдающая тьма и влекущая пустыня. Никакого звука не доходило до города, только с гор сквозило рокотание далекой быстрой реки.

Неиспытанное чувство полного удовольствия, крепости и необходимости своей жизни охватило Пухова. Он стоял, упершись спиной в лебедку, и радовался этой таинственной ночной картине — как люди молча и тайком собирались на гибель.

В давнем детстве он удивлялся пасхальной заутрене, ощущая в детском сердце неизвестное и опасное чудо. Теперь Пухов снова пережил эту простую радость, как будто он стал нужен и дорог всем, — и за это всех хотел незаметно поцеловать. Похоже было на то, что всю жизнь Пухов злился и оскорблял людей, а потом увидел, какие они хорошие, и от этого стало стыдно, но чести своей уже не воротишь.

Море покойно шуршало за бортом, храня неизвестные предметы в своих недрах. Но Пухов не глядел на море, — он в первый раз увидел настоящих людей. Вся прочая природа также от него отделилась и стала скучной.

К часу ночи посадка окончилась. С берега раздалось последнее приветствие от Реввоенсовета армии. Комиссар что-то рассеянно туда ответил, он был занят другим.

Раздалась морская резкая команда, — и сушь начала отдаляться.

Десантные суда отчалили в Крым.

Через десять минут последняя видимость берега растаяла. Пароходы шли в воде и в холодном мраке. Огни были потушены, людей разместили в трюме, — все сидели в темноте и духоте, но никто не засыпал.

Приказано было не курить, чтобы случайно не зажечь судна. Разговаривать тоже запретили, так как командир и комиссар старались придать «Шане» безлюдный вид мирного торгового парохода.

Судно шло тайком, глухо отсекая пар. Где-то недалеко, затерянные в ночной гуще, ползли «Марс» и истребитель. Время от времени они давали о себе знать матросским длинным свистом. «Шаня» им отвечала коротким густым гудком.

Суда продирались в сплошной каше тьмы, напрягая свои небольшие машины.

Ночь проходила тихо. Красноармейцам она казалась долгой, как будущая жизнь. Возбуждение понемногу проходило, а длительная темнота постепенно напрягала душу тайной тревогой и ожиданием внезапных смертельных событий.

Море насторожилось и совсем примолкло. Винт греб невидимо что, какую-то тягучую влагу, и влага негромко мялась за бортом. Не спеша истекало томительное время. Горы бледно и застенчиво светились близким утром, но море уже было не то. Спокойное зеркало его, созданное для загляденья неба, в тихом исступлении смешало отраженные видения. Мелкие злобные волны изуродовали тишину моря и терлись от своего множества в тесноте, раскачивая водяные недра.

А вдали — в открытом море — уже шевелились грузные медленные горы, рыли пучины и сами в них рушились. И оттуда неслась по мелким гребням известковая пена, шипя, как ядовитое вещество.

Ветер твердел и громил огромное пространство, погасая где-то за сотни верст. Капли воды, выдернутые из моря, неслись в трясущемся воздухе и били в лицо, как камешки.

На горах, наверно, уже гоготала буря, и море свирепело ей навстречу.

«Шаня» начала метаться по расшевелившемуся морю, как сухой листик, и все ее некрепкое тело уныло поскрипывало.

Каменный, тяжелый норд-ост так раскачивал море, что «Шаня» то ползла в пропасти, окруженная валами

воды, то взлетала на гору — и оттуда видны были на миг чьи-то далекие страны, где, казалось, стояла синяя тишина.

В воздухе чувствовалось тягостное раздражение, какое бывает перед грозой.

День давно наступил, но от норд-оста заходило, и красноармейцы студились.

Родом из сухих степей, они почти все лежали в желудочном кошмаре; некоторые вылезли на палубу и, свесившись, блевали густой желчью. Отблевавшись, они на минуту успокаивались, но их снова раскачивало, соки в теле перемешивались и бурлили как попало, и красноармейцев опять тянуло на рвоту. Даже комиссар забеспокоился и неугомонно ходил по палубе, схватываясь при качке за трубу или за стойку. Блевать его не тянуло, — он был из моряков.

«Шаня» приближалась к самому опасному месту — Керченскому проливу, а буря никак не укрощалась, силясь выхватить море из его глубокой обители.

«Марс» и истребитель давно пропали в пучинах урагана и на сигналы «Шани» перестали отвечать.

Командир «Шани» судном уже не управлял, — кораблем правила грепещущая стихия.

Пухов от качки не страдал. Он объяснял машинисту, что это изжога ему помогает, которой он давно болеет.

С машиной тоже справиться было трудно: все время менялась нагрузка — винт то зарывался в воду, то выскакивал на воздух. От этого машина то визжала от скорости, трясясь всеми болтами, то затихала от перегрузки.

— Мажь, мажь ее, Фома, уснащивай ее погуше, а то враз заперешь на таких оборотах! — говорил машинист.

И Пухов обильно питал машину маслом, что он уважал делать, и приговаривал:

— А-а, стервозия, я ж тебя упокою! Я ж тебя угромошу!

Часа через полтора «Шаня» проскочила Керченский пролив.

Комиссар спустился на минуту в машинное отделение прикурить, так как у него взмокли спички.

— Ну, как она? — спросил его Пухов.

— Она-то ничего, да он-то плох! — пошутил комиссар, улыбаясь усталым, изработавшимся лицом.

— А что так? — не понял Пухов.

— А ничего — все хорошо, — сказал комиссар. — Спасибо норд-осту, а то бы нас давно белые уgomонили!

— Это как же так?

— А так, — объяснил комиссар. — Керченский пролив охраняется у белых военными крейсерами. А от бури они все укрылись в Керченскую гавань и поэтому нас не заметили! Понял?

— Ну, а прожекторами отчего нас не нащупывали? — допытывался Пухов.

— Ого! Вся атмосфера тряслась, какие гут прожектора!

В полдень «Шаня» шла уже в крымских водах, но море по-прежнему изнемогало в буре и устало билось в борт парохода.

Скоро на горизонте показался неизвестный дымок. Капитан судна, командир отряда и комиссар долго наблюдали за тем дымком. Потом «Шаня» взяла курс в открытое море — и дымок пропал.

Норд-ост не прекращался. Это несчастье радовало капитана и комиссара. Сторожевые белогвардейские суда считали бдительность в такой шторм излишней и сидели в береговых щелях.

Комиссар тем и объяснял, что «Шаня» цела, и надеялся на высадку десанта на берег, как только стихнет буря и наступит ночь.

Пухов не вылезал из машинного, обливаясь потом у бесившейся машины и страшая ее всякими словами.

В четвертом часу дня на горизонте сразу объявились четыре дымка. Они стали ходко приближаться, как бы охватывая «Шаню». Одно судно совсем разглядело «Шаню» и стало давать сигналы об остановке.

Красноармейцы хоть и не догадывались — как и что, а тоже высыпали на палубу и заметались от любопытства.

Капитан «Шани» по дыму догадался, что одно из судов наверняка военный крейсер.

Выходило, что десанту пришло время добровольно пускать себя ко дну.

Капитан и комиссар не сходили с рубки, стараясь найти какой-нибудь исход для спасения. Всем красно-

армейцам приказано было уйти в трюм, чтобы судно противника не обнаружило военного значения «Шани».

Норд-ост ревел с неизбывной силой и сметал «Шаню» с ее курса. Четыре неизвестных корабля тоже с трудом удерживали курс и не могли принять направления на «Шаню».

Скоро три дымка исчезли из зрения, — их куда-то отшиб зверский норд-ост. Зато четвертое судно неотступно подбиралось к «Шане». Иногда уже явственно обнажался его корпус. Капитан разглядел, что это быстходный и хорошо вооруженный торговый пароход и что он нагоняет «Шаню». Только шторм никак не допускает то судно подойти к «Шане» вплотную. Затем пароход стал допрашивать «Шаню», куда она идет. «Шаня», войдя в крымские воды, шла под врангелевским флагом. На вопрос белогвардейского парохода «Шаня» ответила, что идет из Керчи в Феодосию и везет рыбу.

На палубе оставалось только четверо турок в костюмах своей родины, а все военные люди вместе с комиссаром и командиром десанта сидели в трюме. Поэтому, когда белые купцы подошли к «Шане», то только поглядели в бинокли и пошли прочь. Буксировать «Шаню» они не захотели, — наверное, из-за опасного шторма.

Остальной день прошел спокойно. Иногда показывались какие-то пароходы, но сейчас же исчезали: они боялись «Шани» еще больше, чем она их.

Красноармейцы, замученные тошнотой и сырым холодом, старались нарочно быть веселыми и стылились отчего-то морской болезни. Им надоело тоскливое плавание, и они даже обрадовались, когда узнали, что подходит белогвардейский пароход, вооруженный четырьмя пушками.

Красноармейцам море было незнакомо, и они не верили, что та стихия, от которой только тошнит, таит в себе смерть кораблей.

— Пускай подходит! — сказал красноармеец-тамбовец. — Мы его смажем!

— Как же ты его смажешь? — спросил комиссар. — У него пушки на борту!

— А вот увидишь, — заявил тамбовец, — из винтовок так и смажем!

Привыкшие брать броневые автомобили на ходу, с

одними винтовками в руках, красноармейцы и на море думали побеждать посредством винтовки.

Иногда мимо «Шани» проносились целые водяные столбы, объятые вихрем норд-оста. Вслед за собой они обнажали глубокие бездны, почти показывая дно моря.

Внезапно после такого морского столба показался пропавший ночью катер «Марс». Его совсем затрепало. Глыбы воды громили и рушили его оснастку и норовили совсем перекувырнуть. Но «Марс» упорно отфыркивался и метался по волнам, еле живой от своего упрямства. Он хотел пристать к «Шане», но волна откидывала его прочь в пучину.

Вся команда «Марса» и двадцать человек разведки, которую он вез, стояла на палубе, держась за снасти.

Люди что-то бешено кричали на «Шаню», но гром бури рвал их голоса и ничего не было слышно. Лица людей затмилась бессмысленностью, глаза выцвели от злобного отчаяния, и смертельная бледность на них лежала, как белая намазанная краска.

Казнь наступающей смерти терзала их еще больше от близости «Шани». Люди на «Марсе» рвали на себе последнюю казенную одежду и рычали по-звериному, показывая даже кулаки. Они вопили сильнее бури, а один толстый красноармеец сидел верхом на рее и ел хлеб, чтобы зря не пропал паек.

Глаза гибнущих людей торчали от выпученной ненависти, и ноги их неистово колотили в палубу, обращая на себя внимание.

Пухов стоял наверху и глядел на «Марс».

— Чего они там бесятся? — спросил он у комиссара. — Тонут, что ли, или испугались чего?

— Должно быть, течь у них, — ответил комиссар, — надо как-нибудь помочь!

Красноармейцев в трюме было не удержать. Они стояли на палубе и тоже что-то кричали на «Марс», позоря испуг несчастных.

Вся «Шаня» терзалась за отряд и команду «Марса»; командир в бешенстве кричал на капитана, комиссар тоже ему помогал, а капитан никак не мог подойти к «Марсу».

Когда «Шаню» подшвырнуло к «Марсу», то оттуда закричали, что вода уже в машинном отделении.

Еще слышалась с «Марса» гармоника — кто-то

там наигрывал перед смертью, пугая все законы человеческого естества.

Пухов это как раз явственно услышал и чему-то обрадовался в такой неурочный час.

В затихшую секунду, когда «Марс» подскочил к «Шане», чистый голос, поверх криков, вторил чьей-то тамошней гармонике:

Мое яблочко
Несоленное,
В море Черное
Уроненное...

— Вот сволочь! — с удовольствием сказал Пухов про веселого человека на «Марсе» и плюнул от бессильного сочувствия.

— Спускай лодку! — крикнул капитан, потому что «Марс» торчал одной палубой, а корпус его уже утонул.

Лодка, еле опущенная на воду, сейчас же трижды перевернулась, и два матроса на ней исчезли невидимому куда.

Вдруг крутой взмах шквала схватил «Марс» и швырнул его так, что он очутился над «Шаней».

— Сигай вниз! — заорал усердней всех Пухов.

Люди на «Марсе» вздрогнули, помертвели до черноты лица и бросились как попало вниз — на палубу «Шани». Падая на «Шаню», они валились, как дохлые тела, и ломали руки ловившим их, а Пухова совсем сшибли с ног. Это ему не понравилось.

— Легче! — шумел он. — На Врангеля шли, черти, а чистой воды боятся!

Через несколько секунд весь «Марс» сгрузился на «Шаню», только двое пролетели мимо, промахнувшись в морскую прорву.

На «Марсе» что-то гулко заныло, и он разлетелся от внутреннего взрыва в щепки и железки.

Пухов ходил среди спасенных людей и каждого спрашивал:

— Это не ты пел там?

— Нет, куды там петь! — отвечал красноармеец или матрос с «Марса».

— Да ты и не похож на того! — говорил недовольно Пухов и шел дальше.

Так ни одного и не нашлось, — никто, оказывается,

не пел и на гармонике не играл. А ведь слышался звук — и даже слова песни Пухов запомнил.

Вечерело уже, а шторм лютовал и не собирался отдыхать.

— И откуда он, дьявол, выходит, — посмотрел бы я то место! — говорил себе Пухов, качаясь вместе с машиной в трюме.

Вечером начальство на «Шане» долго совещалось. «Шаня» имела большую перегрузку и к крымскому берегу близко подойти не могла. К тому же норд-ост все время отжимал судно в открытое море, и десант высадить все равно нельзя. А долго задерживаться в море очень опасно — первый сторожевой крейсер белых пустит «Шаню» на дно.

Совещались долго. Матросы не сдавались и советовали переждать шторм, а там видно будет.

— Ну, вернемся в Новороссийск, — говорил командир разведки матрос Шариков, — а там что? Во-первых, жары нагонят, что самовольно вернулись, а во-вторых, что же, — все по-дурному пойдет: ведь Врангель цел останется!

— Ты, Шариков, забыл, — сказал ему военный комиссар, — что от «Марса» твоего одни щепки плавают, истребитель пропал, — тоже, должно, купается, — а «Шаня» кирпичом ворочается от нагрузки!.. Что ж, потвоему, обязательно ему и «Шаню» на дно пустить?..

— Ну, как хочешь! — сказал Шариков. — Только и ворочаться дюже срамно!

Однако к ночи порешили, что надо уходить обратно на Новороссийск.

К полуночи норд-ост начал слабеть, но море носилось по-прежнему. «Шаня» кое-как влекла себя домой.

В Керченском проливе ее нащупали береговые прожектора, но стрельбы из крепостных орудий белые не открыли. Может быть, потому, что на «Шане» еще болтался обрывок врангелевского флага.

Под утро «Шаня» выгружалась в Новороссийске.

— Срамota чертова! — обижались красноармейцы, собирая вещи.

— Чего ж срамota-то? — урезонивал их Пухов. — Природа, брат, погуше человека! Крейсера и то в береговых загогулинах стояли!

— Ничего, — говорил недовольный матрос Шари-

ков, — вот Перекоп прошибут, тогда без нас, без сопливых, обойдутся!

Так оно и случилось: Шариков как в озеро глядел.

В тот же вечер Реввоенсовет приказал повгородить десант.

Отряд в ночь снова погрузился, и «Шаня» подняла пары.

Шариков радостно метался по судну и каждому что-нибудь говорил. А военный комиссар чувствовал свою дурость, хотя в Реввоенсовете ему ничего плохого не сказали.

— Ты — рабочий? — спрашивал Шариков у Пухова.

— Был рабочий, а буду водолаз! — отвечал Пухов.

— Тогда почему ж ты не в авангарде революции? — совестил его Шариков. — Почему ж ты ворчун и беспартиец, а не герой эпохи?..

— Да не верилось как-то, товарищ Шариков, — объяснил Пухов, — да и партком у нас в дореволюционном доме губернатора помещался!

— Чего там дореволюционный дом! — еще пуще убеждал Шариков. — Я вот родился до революции, — и то терплю!

Перед самым отходом комиссар десанта отлучился: пошел депешу дать о благополучном отплытии.

Через полчаса он вернулся, но на судно не пошел, а остался на пристани, смеялся и кричал:

— Слазь!

— Что ты, голова, очумел, что ли? Чего — слазь? — допрашивал его с борта Шариков.

— Слазь, говорю! — шумел комиссар. — Перекоп взят, Врангель бежит! Вот приказ — десант отменяется! Шариков и прочие поникли.

— Вот тебе раз! — сказал один красноармеец. — Тут бы Врангеля и крыть в зад, — ведь он на корабли бежит, а тут — отменяется!..

— Я ж говорил, что в Крыму без сопливых обойдутся!.. — начал Шариков, а кончил по-своему.

— Будя тебе ерепениться! — увещал Шарикова Пухов. — Пускай Врангель плывет, — другого кого-нибудь избузуешь!

— Эх!.. — крикнул Шариков и треснул кулаком по стойке, добавив кой-какой словесный материал.

— Дуи вплавь через пролив! — посоветовал ему

Пухов. — Ты вещь маленькая, тебя прожектор не ухватит! Высадишь себя — десант получится!

— И то,—сказал было Шариков, но потом одумался. — Вода только холодна да и волна большая — сразу захлебнешься!

— А ты обожди погоду! — рассказывал Пухов. — А воздух в подштанники надуешь, станешь захлебываться, пробей дырочку и вздохнешь!

— Нет, то чушь, то не морское дело! — отказывался Шариков.

Через два дня стало известным, что пропавший истребитель добрался до крымских берегов и высадил сто человек матросов.

— Я ж так и знал! — горевал Шариков. — На истребителе Кныш командовал, а я связался с сухопутной курицей!

3

— Пухов! Война кончается! — сказал однажды комиссар.

— Давно пора, — одними идеями одеваемся, а порток нету!

— Врангель ликвидируется! Красная Армия Симферополь взяла! — говорил комиссар.

— Чего не брать? — не удивлялся Пухов. — Там воздух хороший, солнцепек крутой, а советскую власть в спину вошь жжет, она и прет на белых!

— При чем тут вошь? — сердечно обижался комиссар. — Там сознательное геройство! Ты, Пухов, полный контр!

— А ты теории-практики не знаешь, товарищ комиссар! — сердито отвечал Пухов. — Привык лупить из винтовки, а по науке-технике контргайка необходима, иначе болт слетит на полном ходу! Понимаешь эту чушь?

— А ты знаешь приказ о трудовых армиях? — спросил комиссар.

— Это чтобы жлобы слесарями сразу стали и заводы пустили? Знаю! А давно ты их ноги вкрутую ставить научил?

— В Реввоенсовете не дураки сидят! — серьезно выразился комиссар. — Там взвесили «за» и «против»!

— Это я понимаю, — согласился Пухов. — Там —

задумчивые люди, только жлоб механики враз не поймет!

— Ну, а кто ж тогда все чудеса науки и ценности международного империализма произвел? — заспорил комиссар.

— А ты думал, паровоз жлоб сгондобил?

— А го кто ж?

— Машина — строгая вещь. Для нее ум и ученье нужны, а чернорабочий — одна сырая сила!

— Но ведь воевать-то мы научились? — сбивал Пухова комиссар.

— Шуровать мы горазды! — не сдавался Пухов. — А мастерство — нежное свойство.

По улице шла в баню рота красноармейцев и пела для бодрости:

Как родная меня мать
Провожа-ала,
На дорогу сухих корок
Собира-ала!..

— Вот дьяволы! — заявил Пухов. — В приличном городе нищету проповедуют! Пели бы, что с пирогами провожала!

Время шло без тормозов. Пушки работали с постоянно уменьшающимся напряжением. Красноармейские резервы изучали от безделья природу и общество, готовясь прочно и долго жить.

Пухов посвежел лицом и лодырничал, называя отдых свойством рабочего человека.

— Пухов, ты бы хоть в кружок записался, ведь тебе скучно! — говорил ему кто-нибудь.

— Учение мозги пачкает, а я хочу свежим жить! — иносказательно отговаривался Пухов, не то в самом деле, не то шутя.

— Оковалок ты, Пухов, а еще рабочий! — совестил его тот.

— Да что ты мне тень на плетень наводишь: я сам квалифицированный человек! — заводил ссору Пухов, и она продолжалась вплоть до оскорбления революции и всех героев и угодников ее. Конечно, оскорблял Пухов, а собеседник, разыгранный вдрызг, в удручении оставлял Пухова.

В глупом городе, с неровным, порочным климатом, каким тогда был Новороссийск, Пухов прожил четыре месяца, считая с ночного десанта.

Числился он старшим монтером береговой базы Азово-Черноморского пароходства. Пароходство это учредила новороссийская власть, чтобы Северный Кавказ поскорей на мирную страну походил. Но пароходы не могли тронуться, по случаю разлаженных машин, — и Северный Кавказ совершенно напрасно считал себя мирной морской державой.

Одна аульская стенная газета даже назвала Северный Кавказ «восточной советской Англией», вследствие наличия одного морского берега и четырех пароходов, которые пока не плавали.

Пухов ежедневно осматривал пароходные машины и писал рапорты об их болезни. «Ввиду сломатия штока и дезорганизованности арматуры, ведущую машину парохода «Нежность» пустить невозможно, и думать даже нечего. Пароход же по названию «Всемирный Совет» болен взрывом котла и общим отсутствием топки, которая куда делась — нельзя теперь дознаться. Пароходы «Шаня» и «Красный Всадник» пустить в ход можно сразу, если сменить им разможенные цилиндры и сирены приделать, а цилиндры расточить теперь немислимое дело, так как чугуна готового земля не рождает, а к руде никто от революции руками не касается. Что же до расточки цилиндров, то трудовые армии точить ничего не могут, потому что они скрытые хлебопашцы».

Иногда Пухова вызывал на личный доклад политком береговой базы. Пухов ему все рассказывал, как и что делается на базе.

— Чего ж твои монтеры делают? — спрашивал политком.

— Как что? Следят непрерывно за судовыми механизмами.

— Но ведь они не работают! — говорил политком.

— Что ж, что не работают! — сообщал Пухов. — А вредности атмосферы вы не учитываете: всякое железо — не говоря про медь — враз скиснет и опаршивеет, если за ним не последить!

— А ты бы там подумал и попробовал, может, сумеешь поправить пароходы! — советовал политком.

— Думать теперь нельзя, товарищ политком! — возражал Пухов.

— Это почему нельзя?

— Для силы мысли пищи не хватает: паек мал! — разъяснял Пухов.

— Ты, Пухов, настоящий очковтиратель! — кончал беседу комиссар и опускал глаза в текущие дела.

— Это вы очковтиратели, товарищ комиссар!

— Почему? — уже занятый делом, рассеянно спрашивал комиссар.

— Потому что вы делаете не вещь, а отношение! — говорил Пухов, смутно припоминая плакаты, где говорилось, что капитал не вещь, а отношение; отношение же Пухов понимал как ничто.

В один день, во время солнечного сияния, Пухов гулял в окрестностях города и думал — сколько порочной дурости в людях, сколько невнимательности к такому единственному занятию, как жизнь и вся природная обстановка.

Пухов шел, плотно ступая подошвами. Но через кожу он все-таки чувствовал землю всей голой ногой, тесно совопываясь с ней при каждом шаге. Это даровое удовольствие, знакомое всем странникам, Пухов тоже ощущал не в первый раз. Поэтому движение по земле всегда доставляло ему телесную прелесть — он шагал почти со сладострастием и воображал, что от каждого нажатия ноги в почве образуется гесная дырка, и поэтому оглядывался: целы ли они?

Ветер тормозил Пухова, как живые руки большого неизвестного тела, открывающего страннику свою девственность и не дающего ее, и Пухов шумел своей кровью от такого счастья.

Эта супружеская любовь цельной непорченной земли возбуждала в Пухове хозяйские чувства. Он с домовитой нежностью оглядывал все принадлежности природы и находил все уместным и живущим по существу.

Садясь в бурьян, Пухов отдавался отчету о самом себе и растекался в отвлеченных мыслях, не имеющих никакого отношения к его квалификации и социальному происхождению.

Вспоминая усопшую жену, Пухов горевал о ней. Об этом он никогда никому не сообщал, поэтому все действительно думали, что Пухов корявый человек и варе-

ную колбасу на гробе резал. Так оно и было, но Пухов делал это не из похабства, а от голода. Зато потом чувствительность начинала мучить его, хотя горестное событие уже кончилось. Конечно, Пухов принимал во внимание силу мировых законов вещества и даже в смерти жены увидел их справедливость и примерную искренность. Его вполне радовала такая слаженность и гордая откровенность природы — и доставляла сознанию большое удивление. Но сердце его иногда тревожилось и трепетало от гибели родственного человека и хотело жаловаться всей круговой поруке людей на общую беззащитность. В эти минуты Пухов чувствовал свое отличие от природы и горевал, уткнувшись лицом в нагретую своим дыханием землю, смачивая ее редкими неохотными каплями слез.

Все это было истинным, потому что нигде человеку конца не найдешь и масштабной карты души его составить нельзя. В каждом человеке есть обольщение собственной жизнью, и поэтому каждый день для него — сотворение мира. Этим люди и держатся.

В такие сосредоточенные часы даже далекий Звоничный был мил и дорог Пухову, и он думал — как бы хорошо встретиться с ним и побеседовать по душам.

Пухову казалось странным, что никто на него внимания не обращал: звали только по служебному делу.

Красноармейцы понемногу отпускались из армии по домам и навсегда пропадали в дальних, глухих деревнях, унося свежесть и тайну революции. Город без них оставался дореволюционной сиротой, надевал полевой сюртук скуки и надлежало копался по своему хозяйству.

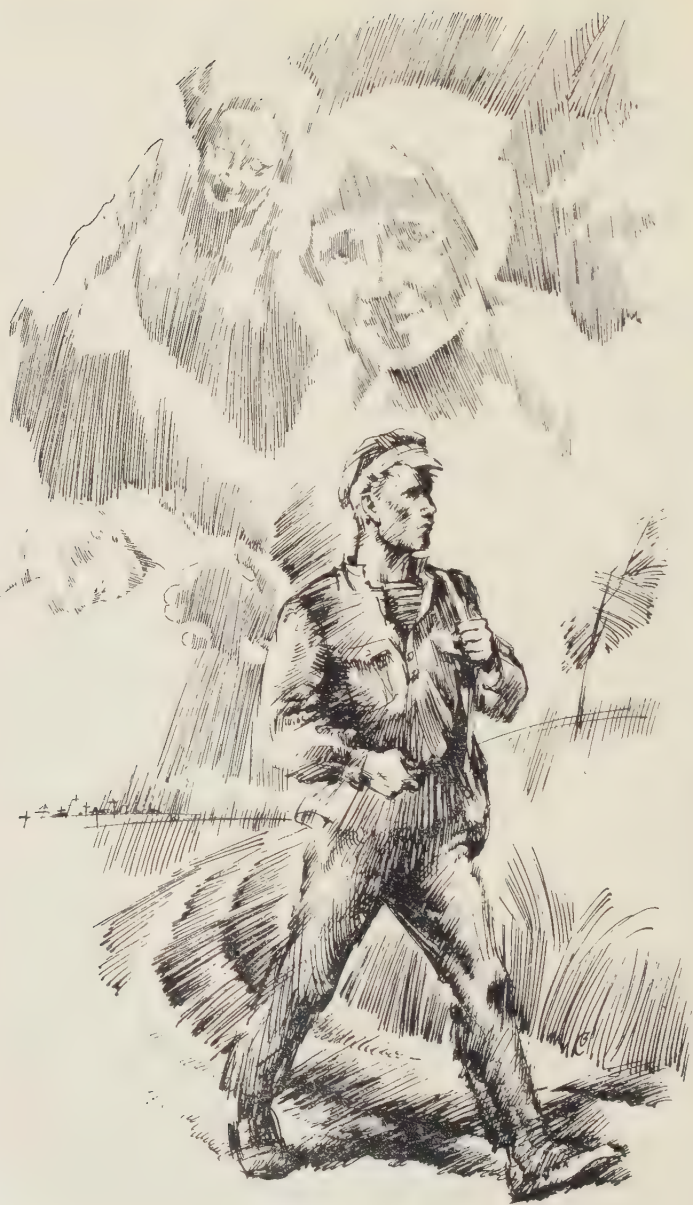
— Ну, ладно — ухожу и я! — решил Пухов и со злобой степного человека поглядел на дикие горы, очертенело загромодившие пешеходную землю.

О своем уходе Пухов начальству не сказал, чтобы никого не удручать и себя не обременять.

Тронулся Пухов одиноким, как и прибыл сюда. Тоска по родному месту взяла его за живое, и он не понимал, как можно среди людей учредить Интернационал, раз родина — сердечное дело и не вся земля.

Со станции Тихорецкой поезда на Ростов не шли, а ходили в обратную сторону — на Баку.

Из Баку Пухов собирался дойти до родины — вкось



по берегу Каспийского моря и по Волге, не особенно разбираясь в географии. Он думал, что на этом маршруте пшеницы больше растет, а сытно питаться любил.

В дороге, на пустой нефтяной цистерне, Пухов устал и опал туловищем. Ел он один пайковый хлеб, что получил еще в Новороссийске, — и то не в полную досталь.

На дороге встречались худые деревья, горькая горелая трава и всякий другой живой и мертвый инвентарь природы, ветхий от климатического износа и гопота походов войны.

Историческое время и злые силы свирепого мирового вещества совместно трепали и морили людей, а они, поев и отоспавшись, снова жили, розовели и верили в свое особое дело. Погибшие, посредством скорбной памяти, гоже подгоняли живых, чтобы оправдать свою гибель и зря не преть прахом.

Пухов глядел на встречные лощины, слушал звон поездного состава и воображал убитых — красных и белых, которые сейчас перерабатываются почвой в удобрительную тучность.

Он находил необходимым научное воскрешение мертвых, чтобы ничто напрасно не пропало и осуществилась кровная справедливость.

Когда умерла его жена — преждевременно, от голода, запущенных болезней и в безвестности, — Пухова сразу прожгла эта мрачная неправда и противозаконность события. Он тогда же почуял — куда и на какой конец света идут все революции и всякое людское беспокойство. Но знакомые коммунисты, прослушав мудрость Пухова, злостно улыбались и говорили:

— У тебя даже масштаб велик, Пухов; наше дело мельче, но серьезней.

— Я вас не виню, — отвечал Пухов, — в шагу человека один аршин, больше не шагнешь; но если шагать долго подряд, можно далеко зайти, — я так понимаю; а, конечно, когда шагаешь, то думаешь об одном шаге, а не о версте, иначе бы шаг не получился.

— Ну, вот видишь, ты сам понимаешь, что надо соблюдать конкретность цели, — разъяснили коммунисты, и Пухов думал, что они ничего ребята, хотя напрасно бога травят, — не потому, что Пухов был богомольцем, а потому, что в религию люди сердце помещать привыкли, а в революции такого места не нашли.

— А ты люби свой класс, — советовали коммунисты.
— К этому привыкнуть еще надо, — рассуждал Пухов, — а народу в пустоте трудно будет: он вам дров наворочает от своего неуместного сердца.

В Баку Пухова приняли хорошо, потому что Пухов встретился с матросом Шариковым.

— Ты зачем приехал? — спросил Шариков, ворочая большие бумаги на дорогом столе и разыскивая в них толк.

— Укреплять революцию! — сразу заявил Пухов.

— А я, брат, Каспийское пароходство налаживаю, — только ни хрена не выходит! — спроста объяснил Шариков.

— А ты чего писцом стал: бери молоток и латай корабли лично! — разрешил Пухов мучение Шарикова.

— Чудак ты, я ж всеобщий руководитель Каспийского моря! Кто ж тогда будет заправлять тут всей красной флотилией?

— А чего ей заправлять, раз люди сами работать будут? — разъяснял Пухов, ничего не думая.

Шариков, однако, скучал по корабельной жизни и тяжело вздыхал за писчим делом. Резолюции он клал лишь в двух смыслах: «пускай» и «не надо».

Ночевать и харчиться Пухов пошел к Шарикову. Шариков жил у одной вдовы по улице Шварца. В свободные вечера, когда не было собраний или еще чего необходимого, Шариков делал вдове табуретки, а читать ничего не мог. Говорил, что от чтения он с ума начинает сходить и сны по ночам видит.

— У тебя грузный корпус — кровей много! — открыл ему Пухов. — А для умственной работы ряжка толста. — Тебе обязательно надо кровь слить!

— Куда ж ее слить? — искал спасения Шариков.

— Лей в ведро! — советовал Пухов. — Давай я тебя ножом полосну — паровоз тоже лишний пар спускает!

— Брось ты скрипеть! — отставлял Шариков. — Я теперь сам похудею — от одного покоя. Ты знаешь, я от боев и классовой солидарности всегда становлюсь гуще и комплектней телом, а как все пройдет — я сам усохну!

Пожил у Шарикова Пухов с неделю, поел весь запас пищи у вдовы и оправился собой.

— Что ты, едрена мать, как хворостина мотаешься, дай я тебя к делу пришью! — сказал однажды Шариков Пухову. Но Пухов не дался, хотя Шариков предлагал ему стать командиром нефтеналивной флотилии.

Баку Пухову не нравился. В другое время его бы не вытащить оттуда, а сейчас все машины стояли молча, и буровые вышки прели на солнце.

Песок неся ветром так, что жужжал и влеплялся во все скважины открытого лица, отчего Пухова раздражала тяжкая злоба. Жара тоже донимала, несмотря на неурочное время — октябрь.

Решил Пухов скрыться отсюда и сказал о том Шарикову, когда он пришел со своего служебного поста.

— Катись! — разрешил Шариков. — Я тебе путевку дам в любое место республики, хотя ты кустарь советской власти!

На третьи сутки Пухов тронулся. Шариков дал ему командировку в Царицын — для привлечения квалифицированного пролетариата в Баку и заказа заводам подводных лодок, на случай войны с английскими интервентами, засевшими в Персии.

— Устроишь? — спросил Шариков, вручая командировку.

— Ну вот еще, — обиделся Пухов. — Что там, подводных лодок, что ль, не видели? Там, брат, целая металлургия!

— Тогда — сыпь! — успокоился Шариков.

— Ладно! — сказал Пухов, скрываясь. — Зря ты мне особых полномочий не дал и поезд на сорока осях! Я б напугал весь Царицын и сразу все устроил!

— Катись в общем порядке — и так примут коллективно! — ответил на прощанье Шариков и написал на хлопчатобумажном отношении: «пускай». А в отношении рапортовалось о поглощении морской пучиной сторожевого катера.

Начался у Пухова звон в душе от смуты дорожных впечатлений. Как сквозь дым, пробивался Пухов в потоке несчастных людей на Царицын. С ним всегда так было — почти бессознательно он гнал жизнь по всяким ущельям земли, иногда в забвении самого себя.

Люди шумели, рельсы стонали под ударами насильно вращаемых колес, пустота круглого мира колебалась в смрадном кошмаре, облекая поезд верещащим воздухом, а Пухов внизывался в ветер вместе со всеми, влекомый и беспомощный, как косное тело.

Впечатления как густо затемняли сознание Пухова, что там не оставалось силы для собственного разумного размышления.

Пухов ехал с открытым ртом — до того удивительны были разные люди.

Какие-то бабы Тверской губернии теперь ехали из гурецкой Анатолии, носимые по свету не любопытством, а нуждой. Их не интересовали ни горы, ни народы, ни созвездия, — и они ничего ниоткуда не помнили, а о государствах рассказывали, как про волостное село в базарные дни. Знали только цены на все продукты Анатолийского побережья, а мануфактурой не интересовались.

— Почему там веревка? — спросил одну такую бабу Пухов, замышляя что-то про себя.

— Там, милый, веревки и не увидишь — весь базар исходили! Там почки бараньи дешевы, что правда, то правда, врать тебе не хочу! — рассказывала тверская баба.

— А ты не видела там созвездия Креста? Матросы говорили, что видели? — допытывался Пухов, как будто ему пужно было непременно знать.

— Нет, милый, креста не видела, его и нету, — там даже звезды падучие! Подымешь голову, а звезды так и летят, так и летят. Таково страховито, а прелестно! — расписывала баба, чего не видела.

— Что ж ты сменяла там? — спросил Пухов.

— Пуд кукурузы везу, за кусок холстины дали! — жалостно ответила баба и высморкалась, швырнув носовую очистку прямо на пол.

— Как же ты иноземную границу проходила? — допытывался Пухов. — Ведь для документов у тебя карманов нету!

— Да мы, милый, ученые, ай мы не знаем как! — кратко объяснила тверячка.

Один калека, у которого Пухов английским табаком угощался, ехал из Аргентины в Иваново-Вознесенск, везя пять пудов твердой чистосортной пшеницы.

Из дома он выехал полтора года назад здоровым

человеком. Думал сменять пожитки на муку и через две недели дома быть. А оказывается, вышло и обернулось так, что ближе Аргентины он хлеба не нашел, — может, жадность его взяла, думал, что в Аргентине ножигов нет. В Месопотамии его искалечило крушением в тоннеле — ногу отмяло. Ногу ему отрезали в багдадской больнице, и он вез ее тоже с собой, обернув в тряпки и закопав в пшеницу, чтобы она не воняла.

— Ну, как, не пахнет? — спрашивал этот мешочник из Аргентины у Пухова, почувствовав в нем хорошего человека.

— Маленько! — говорил Пухов. — Да тут не знаешь: от таких харчей каждое тело дымит.

Хромой тоже нигде не заметил земной красоты. Наоборот, он беседовал с Пуховым о какой-то речке Курсавке, где ловил рыбу, и о граве доннике, посыпаемой для вкуса в махорку. Курсавку он помнил, донник знал, а про Великий или Тихий океан забыл и ни в одну пальму не взгляделся задумчивыми глазами.

Так весь мир и пронесся мимо него, не задев никакого чувства.

— Что ж ты так? — спросил у хромого Пухов про это, любивший картинки с видами таинственной природы.

— В голове от забот кляп сидел! — отвечал хромой. — Плынешь по морю, глядишь на разные чучелы и богатые державы,— а скучно!

Голод до того заострил разум у простого народа, что он полз по всему миру, ища пропитания и перехитрив законы всех государств. Как по своему уезду, путешествовали тогда безыменные люди по земному шару и нигде не обнаружили ничего поразительного.

Кто странствовал голько по России, кому не оказывали почтения и особо не расспрашивали. Это было так же легко, как пьяному ходить в своей хате. Силы были тогда могучие в любом человеке, никакой рожон не считался обидой. Никто не жаловался на власть или на свое мучение — каждый ко всему притерпелся и вполне обжился.

На больших станциях поезд стоял по суткам, а на маленьких — по трое. Мужики-мешочники уходили в степь, косили чужую граву, чтобы мастерство не потерять, возвращались на станцию, а поезд стоял и стоял, как приклеенный. Паровоз долго не мог скипятить во-

ду, а скипятивши, дрова пожигал и снова ждал топлива. Но тогда вода в котле остывала.

Пухов загорюнился. В такие остановки он ходил по траве, ложился на живот в канаву и сосал какую-нибудь желчную траву, из которой не теплый сок, а яд источался. От этого яда или еще от чего-то Пухов весь запаршивел, оброс шерстью и забыл, откуда и куда ехал и кто он такой.

Время кругом него стояло, как светопреставление, где шевелилась людская живность и грузно ползли объемистые виды природы. А надо всем лежал чад смутного отчаяния и терпеливой грусти.

Хорошо, что люди ничего тогда не чуяли, а жили всею напротив.

В Царицыне Пухов не слез — там дождь шел и вьюжило какой-то гололедицей. Кроме того, над Волгой шелестели дикие ветры, и все пространство над домами угнеталось злобой и скукой.

Вышел на привокзальный рынок Пухов — воблы сменять на запасные кальсоны, и плохо ему стало. Где-то цели петухи — в четыре часа пополудни, — один мастеровой спорил с торговкой о точности безмена, а другой тянул волынку на ливенской гармонии, сидя на брошенной шпале. В глубине города кто-то стрелял, и неизвестные люди ехали на телегах.

— Где тут заводы подводные лодки делают? — спросил Пухов гармониста-мастерового.

— А ты кто такой? — поглядел на него мастеровой и спустил воздух из музыки.

— Охотник из Беловежской пуши! — нечаянно заявил Пухов, вспомнив какое-то старинное чтение.

— Знаю! — сказал мастеровой и заиграл унылую, но нахальную песню. — Вали прямо, потом вкось, выйдешь на буераки, свернешь на кузницу — там и спроси французский завод!

— Ладно! Дальше я без тебя знаю! — поблагодарил Пухов и побрел без всякого усердия.

Шел он часа три, на город не смотрел и чувствовал свою усталую, сырую кровь.

Какие-то люди ездили и ходили, — вероятно, по важному революционному делу. Пухов не сосредоточивался на них, а шел молча, изредка соображая, что Шариков — это сволочь: заставил трудиться по ненужному делу.

Около конторы французского завода Пухов остановил какого-то механика, евшего на ходу белую булку.

— Вот — видишь! — подал ему Пухов мандат Шарикова.

Тот взял документ и вник в него. Читал он его долго, вдумчиво и ни слова не говоря. Пухов начал зябнуть, трепеща на воздухе оскуделым телом. А механик все читал и читал — не то он был неграмотный, не то очень интересующийся человек.

На заводе, за высоким старым забором, стояло заунывное молчание — там жило давно остывшее железо, съедаемое ленивой ржавчиной.

День скрывался в серой ветреной ночи. Город мерцал редкими огнями, мешавшимися со звездами на высоком берегу. Густой ветер шумел, как вода, и Пухов почувствовал себя безродным... заблудившимся человеком.

Механик или тот, кто он был, прочитал весь мандат и даже осмотрел его с тыльной стороны, но там была голая чистота.

— Ну, как? — спросил Пухов и поглядел на небо. — Когда цеха управятся с заказом?

Механик помазал языком мандат и приложил его к забору, а сам пошел вдоль местоположения завода к себе на квартиру.

Пухов посмотрел на бумажку на заборе и, чтобы не сорвал ее ветер, надел на шляпку высунувшегося гвоздя.

Обратно на вокзал Пухов дошел скоро. Ночной ветер и какая-то дождливая мелюзга доконали его самочувствие, и он обрадовался дыму паровоза, как домашнему очагу, а вокзальный зал показался ему милой родиной.

В полночь тронулся поездной состав неизвестного маршрута и назначения.

Осенний и холодный дождь порол землю, и страшно было за пути сообщения.

— Куда он едет? — спросил Пухов людей, когда уже вошел в вагон.

— А мы знаем куда? — сомнительно произнес кроткий голос невидного человека. — Едет, и мы с ним.

Всю ночь шел поезд, — гремя, мучаясь и напуская кошмары в костяные головы забывшихся людей.

На глухих стоянках ветер шевелил железо на крыше вагона, и Пухов думал о тоскливой жизни этого ветра и жалел его. Он соображал еще о мельницах-ветрянках, о пустых деревенских сараях, где сейчас сквозит буря, и об общей беспризорности огромной порожней земли.

Поезд трогался куда-то дальше. От его хода Пухов успокаивался и засыпал, ощущая теплоту в ровно работающем сердце.

Паровоз подолгу гудел на полном ходу, пугая темноту и прося о безопасности. Выпущенный звук долго метался по равнинам, водоразделам и ущельям и ломался оврагами на другой страшный голос.

— Пухов! — тихо и гулко слышалось Пухову во сне.

Он сразу проснулся и сказал:

— А?

Весь вагон сопел в глубоком сне, а под полом бушевали колеса на большой скорости.

— Ты чего? — вновь спросил Пухов тихим голосом, но знал, что нет никого.

Давно забытое горе невнятно забормотало в его сердце и в сознании — и, прижукнувшись, Пухов застонал, стараясь поскорее утихнуть и забыться, потому что не было надежды ни на чье участие. Так он гомился долгие часы и не интересовался несущимся мимо вагона пространством. Разжигая в себе отчаяние, он устал и пришел к своему утешению во сне.

Спал Пухов долго — до полного разгара дня. Солнце подсушило осенние кочки и сияло горящим золотом, ровной радостью и звенело высоким напряженным тоном.

По полю изредка и вразброд стояли худые смиренные деревья. Они рассеянно помахивали ветками, бесстыдно оголенные перед смертью, — чтобы зря не пропадала их одежда.

В эти последние дни перед снегом вся живая зелень поверхности земли была поставлена под расстрел холода, заморозков и длинной ночной тьмы. Но — предварительно — скупая природа раздевала растения и разносила ветрами замерзшие, полуживые семена.

Листья утрамбовывались дождями в почву и прели там для удобрения, туда же укладывались для сохранности семена. Так жизнь скупно и прочно заготавливает впрок. От таких событий у очевидца Пухова слюни на губах показывались, что означало удовольствие.

Ездоки поездного состава неизвестного назначения проснулись на заре — от холода и потому, что прекратились сновидения. Пухов против всех опоздал и вскочил тогда, когда начала стрелять отлежанная нога.

Так как еды у него не было, то он закурил и устал в пустую позднюю природу. Там ликовал прохладный свет низкого солнца и беззащитно трепетали придорожные кусты от плотного восточного утренника. Но дали на резком горизонте были чисты, прозрачны и привлекательны. Хотелось соскочить с поезда, прощупать ногами землю и полежать на ее верном теле.

Пухов удовлетворился своим созерцанием и крепко выразился обо всем:

— Гуманно!

— Сосна пошла! — сказал какой-то сведущий старичок, не евший три дня. — Должно, грунт тут песчаный!

— А какая это губерния? — спросил у него Пухов.

— А кто ж ее знает — какая! Так, какая-нибудь, — ответил равнодушно старичок.

— А тогда куда ж ты едешь? — рассерчал на него Пухов.

— В одно место с тобой, — сказал старичок. — Вместе вчера сели — вместе и доедем.

— А ты не обознался — ты погляди на меня! — обратил на себя внимание Пухов.

— Зачем обознаться? Ты тут один рябой — у других кожа гладкая! — разъяснил старичок и стал расчесывать какую-то зуду на пояснице.

— А ты лаковый, что ль? — обиделся Пухов.

— Я не лаковый, мое лицо нормальное! — определил себя старичок и для поощрения погладил бурую щетину на своих щеках.

Пухов пристально оглядел старика в целом и плюнул рикошетом наружу, не обращая на него дальнейшего внимания.

Вдруг загремел мост, — и в вагон потянуло свежей проточной водой.

— Что это за река, ты не знаешь, как называется? — спросил Пухов одного черного мужика, похожего на колдуна.

— Нам неизвестно, — ответил мужик. — Как-нибудь называется!

Пухов вздохнул от голодного гoря и после заметил, что это — родина. Речка называется Сухой Шошей, а деревня в сухой балке — Ясной Мечою; там жили староверы, под названием яйценосцы. От родины сразу понесло дымным запахом хлеба и нежной вонью остывающих трав.

Пухов погустел голосом и объявил от сердечной доброты:

— Это город Похаринск! Вон агрономический институт и кирпичный завод! За ночь мы верст четыреста уgomонили!

— А тут — не знаешь, товарищ, — меняют аль нет? — спросил чуть дышавший старичок, хотя у него не было чего менять.

— Здесь, отец, не променяешь — у рабочих скулья жевать разучились! А рабочих тут пропасть! — сообщил Пухов и стал подтягивать ремешок на животе, как бы увязывая себя за отсутствием багажа.

Старый серый вокзал стоял таким же, как и в детстве Пухова, когда он тянул его на кругосветное путешествие. Пахло углем, жженой нефтью и тем запахом таинственного и тревожного пространства, какой всегда бывает на вокзалах.

Народ, обратившийся в нищих, лежал на асфальтовом перроне и с надеждой глядел на прибывший по-рожняк.

В депо сопели дремавшие паровозы, а на путях беспокойно трепалась маневровая кукушка, собирая вагоны в стада для угона в неизвестные края.

Пухов шел медленно по залам вокзала и с давним детским любопытством и каким-то грустным удовольствием читал старые объявления-рекламы, еще довоенного выпуска:

ПАРОВЫЕ МОЛОТИЛКИ „МАК-КОРМИК“.
ЛОКОМОБИЛИ ВОЛЬФА С ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЕМ.
КОЛБАСНАЯ ДИЦ.
ВОЛЖСКОЕ ПАРОХОДСТВО „САМОЛЕТ“.
ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ „ИОХИМ И Ко“.

**ВЕЛОСИПЕДЫ ПЕЖО.
БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОЖНЫЕ БРИТВЫ ГЕЙЛЬМАН
И С — Я, —**

и много еще хороших объявлений.

Когда был Пухов мальчишкой, он нарочно приходил на вокзал читать объявления — и с завистью и тоской провожал поезда дальнего следования, но сам никуда не ездил. Тогда как-то чисто жилось ему, но позднее ничего не повторилось.

Сойдя со ступенек вокзала на городскую улицу, Пухов набрал светлого воздуха в свое пустое голодное тело и исчез за угольным домом.

Прибывший поезд оставил в Похаринске много людей. И каждый тронулся в чужое место — погибать и спасаться.

6

— Зворычный! Петя! — глухо позвал слесарь Иконников.

— Ты что? — спросил Зворычный и остановился.

— Можно — я доски возьму?

— Какие доски?

— Вон те — шесть шелевок! — тихо сказал Иконников.

Дело было в колесном цехе Похаринских железнодорожных мастерских. Погребенный под пылью и железной стружкой, цех молчал. Редкие бригады возились у токарных станков и гидравлических прессов, налаживая их точить колесные бандажи и надевать оси. Старая грязь и копоть висела на балках махрами, пахло сыростью и мазутом, разреженный свет осени мертво сиял на механизмах.

Около мастерских росли купыри и лопухи, теперь одеревеневшие от старости. На всем пространстве двора лежали изувеченные неимоверной работой паровозы. Дикие горы железа, однако, не походили на природу, а говорили о погибшем техническом искусстве. Тонкая арматура, точные части ведущего механизма указывали на напряжение и энергию, трепетавшие когда-то в этих верных машинах. Эшелоны царской войны, железнодорожную гражданскую войну, степную скачку срочных продовольственных маршрутов — все видели и вынесли

паровозы, а теперь залегли в смертном обмороке в деревенские травы, неуместные рядом с машиной.

— А на что тебе доски? — спросил Зворычный Иконникова.

— Гроб сделать — сын помер!.. — ответил Иконников.

— Большой сын?

— Семнадцать лет!

— Что с ним?

— От тифа!

Иконников отвернулся и худой старой рукой закрыл лицо. Этого никогда Зворычный не видел, и ему стало стыдно, жалко и неловко. Вот — человек всю жизнь мучился, работал и молчал, а теперь жалостно и беззащитно закрыл свое лицо.

— Кормил-кормил, растил-растил, питал-питал! — шептал про себя Иконников, почти не плача.

Зворычный вышел из цеха и пошел в контору.

Контора была далеко — около электрической силовой станции. Зворычный прошел всю дорогу без всякого сознания, только шевеля ногами.

— Скоро пресс наладишь? — спросил его комиссар мастерских.

— Завтра к вечеру попробуем! — равнодушно доложил Зворычный.

— Как, слесаря не волнуются? — поинтересовался комиссар.

— Ничего. Двое с обеда ушли — кровь из носа пошла от слабости. Надо какие-нибудь завтраки, что ль, наладить, а то дома у каждого детишки — им все отдает, а сам голодный падает на работе!..

— Ни черта нету, Зворычный!.. Вчера я был в ревкоме — красноармейцам паек урезали... Я сам знаю, что надо хоть что-нибудь сделать!

Комиссар мрачно и утомленно засмотрелся в мутное, загаженное окно и ничего там не увидел.

— Сегодня ячейка, Афонин! Ты знаешь? — сказал Зворычный комиссару.

— Знаю! — ответил комиссар. — Ты в электрическом цехе не был?

— Нет! А что там?

— Вчера большой генератор ребята пробовали пускать — обмотку сожгли. А два месяца, черти, латали!

— Ничего, — где-нибудь замыкание. Это оборудуют скоро! — решил Зворычный. — У нас вот ни угля, ни нефти нет, ты вот что скажи!

— Да, это хреновина большая! — неопределенно высказался комиссар и не сдержался — улыбнулся: наверно, на что-то надеялся, или так просто — от своего сильного нрава.

Вошел Иконников.

— Я те шелевки заберу!

— Бери, бери! — сказал ему Зворычный.

— Зачем ты доски-то раздаешь, голова? — недовольно спросил Афонин.

— Брось ты, он на гроб взял, сын умер!

— А, ну, я не знал! — смутился Афонин. — Тогда надо бы помочь человеку еще чем-нибудь.

— А чем? — спросил Зворычный. — Ну, чем помочь? Брехать голько! Хлеба ему дать — так нам самим пайки в урез дают, — даже меньше против числа едоков! Ты же сам знаешь.

После разговора Зворычный пошел прямо домой. Уже темнело, и носились по пустырям грачи, подъедая там кое-что. По старой привычке Зворычному хотелось есть. Он знал, что дома есть горячая картошка, а про революционное беспокойство — можно подумать потом.

Вытирая об дерюжку сапоги в сенцах, Зворычный услышал, что кто-то посторонний бурчит в комнате с его женой.

Зворычный подумал, что теперь горшка картошки не хватит, и вошел в комнату. Там сидел Пухов и похохатывал от своих рассказов жене Зворычного.

— Здорово, хозяин! — сказал Пухов первым.

— Здравствуй, Фома Егорыч! Ты откуда явился?

— С Каспийского моря, пришел к тебе курятины поест! Ты любил петухов, — я тоже теперь во вкус вошел!

— У нас тут пост, Фома Егорыч, — кормимся спрехвала и не сдобно!..

— Губерния голодная! — заключил Пухов. — Почва есть, а хлеба нету, значит, — дураки живут!

— Жена, ставь ему пареную картошку! — сказал Зворычный. — А то он не утихнет!

Пухов разулся, развесил на печку сушить портянки, выгреб солому и крошки из волос и совсем водворился.

Поев картошки и закусив шкурками, он воскрес духом.

— Зворычный! — заговорил Пухов. — Почему ты вооруженная сила? — и показал на винтовку у лежанки.

— Да я тут в отряде особого назначения состою, — пояснил Зворычный и вздохнул, потому что думал о другом.

— Какого значения? — спросил Пухов. — Хлеб у мужиков ходишь, что ль, отнимать?

— Особого назначения! На случай внезапных контрреволюционных выступлений противника! — внушительно пояснил Зворычный это темное дело.

— Ты кто ж такой теперь? — до всего дознавался Пухов.

— Да так, — революции помаленьку сочувствую!

— Как же ты сочувствуешь ей — хлеб, что ль, лишний получаешь или мануфактуру берешь? — догадывался Пухов.

Тут Зворычный сразу раздражился и осерчал. Пухов подумал, что теперь ему ужинагь не дадут. Жена Зворычного скребла чего-то кочережкой в печке и тоже была женщина злая, скупая и до всего досужая.

Зворычный начал выпукло объяснять Пухову свое положение.

— Знаем мы эти мелкобуржуазные сплетни! Неужели ты не видишь, что революция — факт твердой воли — налицо!..

Пухов якобы слушал и почтительно глядел в рот Зворычному, но про себя думал, что он дурак.

А Зворычный перегрелся от возбуждения и подходил к цели мировой революции.

— Я сам теперь член партии и секретарь ячейки мастерских! Понял ты меня? — закончил Зворычный и пошел воду пить.

— Стало быть, ты теперь властишку имеешь? — высказался Пухов.

— Ну, при чем тут власть! — еще не напившись, обернулся Зворычный. — Как ты ничего не понимаешь? Коммунизм — не власть, а святая обязанность.

На этом Пухов смирился, чтобы не злить хозяев и не потерять пристанища.

Вечером Зворычный ушел на ячейку, а Пухов лег полежать на сундуке. Керосиновая лампа горела и ти-

хо пищала. Пухов слушал писк и не мог догадаться — от чего это такое. Он хотел есть, а попросить боялся — и покуривал натошак.

Пухов помнил, что у Зворычного должен быть мальчишка — раньше был.

— Мальчугана-то отправили, что ль, куда, иль у родни ночует? — между прочим поинтересовался Пухов у хозяйки.

Та закачала головой и закрыла глаза фартуком — в знак своего горя.

Пухов примотк и задумался, хотя знал, что горе бабы неразумно.

«Оттого Петька и в партию залез, — сообразил Пухов. — Мальчонка умер — горе небольшое, а для родителя госка. Деться ему некуда, баба у него — отравя, он и полез!»

Когда все забылось, хозяйка послала его дров поколоть. Пухов пошел и долго возился с суковатыми поленьями. Когда управился, он почувствовал слабость во всем корпусе и подумал — как он стал маломощен от недоедания.

На дворе дул такой же усердный ветер, что и в старое время. Никаких революционных событий для него, стервенца, не существовало. Но Пухов был уверен, что и ветер со временем укротят посредством науки и техники.

В одиннадцать часов возвратился Зворычный. Все попили тыквенного чаю без сахара, съели по две картофелины и собирались укладываться спать.

Пухов остался на ночь на сундуке, а Зворычный с женой полезли на печь. Пухов этому удивился — в былое время он не любил спать с женой: духота, теснота, клопы жрут, — а этот с осени на печь влез.

Однако дело его было постороннее, и он спросил Зворычного, когда все утихло:

— Петя! Ты не спишь?

— Нет, а что?

— Мне бы занятие надо! Что ж я у тебя на хлебником буду жить!

— Ладно, это устроим — завтра поговорим! — сказал сверху Зворычный и зевнул так, что кожа на лице полопалась.

«Зазнаваться начал, серый черт: в партию записал-

ся!» — подумал Пухов на сон грядущий и, слабея ото сна, открыл рот.

На другой день Пухова приняли слесарем на гидравлический пресс — он снова очутился за машиной, на родном месте.

Двое слесарей были старые знакомые, обоим им порознь Пухов рассказывал свою историю — как раз то, что с ним не случилось, а что было — осталось неизвестным, и сам Пухов забывать начал.

— Ты бы теперь вождем стал, чего ж ты работаешь? — говорили слесаря Пухову.

— Вождей и так много, а паровозов нету! В дармоедах я состоять не буду! — сознательно ответил Пухов.

— Все равно, паровоз соберешь, а его из пушки расшибут! — сомневался в полезности труда один слесарь.

— Ну и пускай — все ж таки упор снаряду будет! — утверждал Пухов.

— Лучше в землю пусть стреляют: земля мягче и дешевле! — стоял на своем слесарь. — Зачем же зря технический продукт портить?

— А чтоб всему круговорот был! — разъяснял Пухов несведущему. — Паек берешь — паровоз даешь, паровоз в расход — бери другой паек и все сначала делай! А так бы харчам некуда деваться было!

Прожил Пухов у Зворычного еще с неделю, а потом переехал на самостоятельную квартиру.

Очутившись дома, он обрадовался, но скоро заскучал и стал ежедневно ходить в гости к Зворычному.

— Что ты? — спрашивал его Зворычный.

— Скучно там, не квартира, а полоса отчуждения! — ответил ему Пухов и что-нибудь рассказывал про Черное море, чтобы не задаром чай пить.

— Был у нас Шариков — чепуха человек, но матрос. Угля у меня не хватило, я и вернись из-под Крыма. А в Крыму тогда белые сидели, а чтоб они не убежали, их англичане сторожили на громадных боевых кораблях... Прибыл я в Новороссийск благополучно и даю сигналы, чтоб еду на лодке доставили — есть захотел. Хорошо, а только ерундово как-то. В городе стреляют день и ночь — не от опасности, а от хамства. Я все вижу, а есть охота, даже воображения в голове нету. Вдруг подплывает Шариков: ты зачем, гово-



рит, безвременно прибыл? Я ему — проголодался, говорю, и уголь весь погорел. Он — мужик сытый! — как схватил меня, так во всем облачении и сбросил в море. «Плыви, кричит, десантом на Врангеля — после расскажешь». Я сначала испугался, а потом обтерпелся в воде и поплыл с одышкой. К ночи я добился до Крыма. Вылез на сушу противника и лег в кусты. А потом укрылся песком и заснул. Под утро меня пробрало, и я окоченел. А днем отогрелся на солнышке и поплыл обратно — на Новороссийск. Тут я форменно спешил, потому что есть захотел хуже вчерашнего...

— Доплыл? — спросил Зворычный.

— Уцелел! — заканчивал Пухов. — По морю плыть легко, лишь бы бури не оказалось — тогда жутко...

— А Шариков тебе что? — узнавал Зворычный.

— Шариков говорит — молодец я тебя к Красному герою представляю! Видал — спрашивает — противника? А я ему: нет там никакого противника — в Симферополе Ревком, зря я там на песке сидел. — Не может, — говорит, — быть! — Ну вот — опять же — не может быть: плыви тогда сам на сверку! А извещения тогда шли тихо — телеграфной проволоки не хватало, матерьял ржавый. И верно, через день весь Крым советская власть взяла. Я так и знал, оказывается. Вот тогда Шариков и назначил меня начальником горных недр...

— А Красного героя ты получил? — удивился Зворычный.

— Получил, конечно. Ты слушай дальше. За самоотречение, вездесущность и предвидение — так и было отштамповано на медали. Но скоро на пшено пришлось ее сменять в Тихорецкой.

После чая Пухову никак не хотелось уходить. Но Зворычный начинал дремать, вздыхать — Пухов совесть и прошался, с порога договаривал последний рассказ.

Ночью, бредя на покой, Пухов оглядывал город свежими глазами и думал: какая масса имущества! Будто город он видел в первый раз в жизни. Каждый новый день ему казался утром небывалым, и он разглядывал его, как умное и редкое изобретение. К вечеру же он уставал на работе, сердце его дурнело и жизнь для него протухла.

Приходя от Зворычного, Пухов печку топить ленил-

ся и кутался сразу же во все свои одежды. Дом был населен неплотно: жила где-то еще одна семья, а между нею и комнатой Пухова стояли пустые помещения. Если Пухову не спалось, он ставил лампу на табуретку у койки и принимался читать какую-нибудь агитпропаганду. Ею удружил его Зворычный.

Когда Пухов ничего не понимал, он думал, что писал дурак или бывший дьячок, и от отсутствия интереса сейчас же засыпал.

Снов он видеть не мог, потому что как только начинало ему что-нибудь сниться, он сейчас же догадывался об обмане и громко говорил: да ведь это же сон, дьяволы! — и просыпался. А потом долго не мог заснуть, проклиная пережитки идеализма, который Пухов знал благодаря чтению.

Раз шли они с Зворычным после гудка с работы. Город погухал на медленной тьме, и дальние церковные колокола тихо причитали над погибающим миром.

Пухов чувствовал свою телесную нечистоту, думал о тоске, живущей на его квартире, и шел, препинаясь, тяжелыми ногами.

Зворычный махнул рукой на дома и смачно сказал:

— Общность! Теперь идешь по городу как по своему двору.

— Знаю, — не согласился Пухов, — твое — мое — богатство! Было у хозяина, а теперь ничье!

— Чудак ты! — посмеялся Зворычный. — Общее — значит, твое, но не хищнически, а благоразумно. Стоит дом — живи в нем и храни в целом, а не жги дверей по буржуазному самодурству. Революция, брат, забота!

— Какая там забота, когда все общее, а по-моему — чужое! Буржуй ближе крови дом свой чувствовал, а мы что?

— Буржуй потому и чувствовал, потому и жадно берег, что наградил: знал, что самому не сделать! А мы делаем и дома, и машины — кровью, можно сказать, лепим, — вот у нас-то и будет кровно бережливое отношение: мы знаем, чего это стоит! Но мы не скупимся над имуществом — другое сможем сделать. А буржуй весь трясся над своим хламом!

— Шарик у тебя работает, вижу! — непохоже на себя заявил Пухов. — Не то ты жрать разучился! Помнишь, как ты лопал на снегоочистителе?

— При чем тут жрать? — обиделся Зворычный. — Понятно, мозг любит плотную пищу, без нее тоже не задумаешься!

Здесь они расстались и скрылись друг от друга. Подходя к своему дому, Пухов вспомнил, что жилище называется очагом.

— Очаг, черт: ни бабы, ни костра!

7

На сладкой и влажной заре, когда Пухову тепла на койке не хватало, треснуло стекло в оконной раме. Гулко закатился над городом оружейный залп.

В голове Пухова это беспокойство пошло сонным воспоминанием о южной новороссийской войне. Но он сейчас же разоблачил свою фантазию: ты же сон, дьявол! — и открыл глаза. Залп повторился так, что дом заерзал на почве.

«Будет тебе бухтеть-то!» — не соглашался с действительностью Пухов и стал зажигать лампу для проверки законов природы. Лампа зажглась, но сейчас же потухла от третьего залпа — снаряд, наверно, разорвался на огороде.

Пухов одевался.

«Какой скот забрел с пушками по такой грязи?» — и не догадывался.

На улице Пухову показалось дымно и жарко. Явственно и близко рубцевал воздух пулемет. Пухов любил его: похож на машину и требует охлаждения.

В здание губпродкома ударила картечь, — и огтуда понесло гарью.

— У них нет снарядов, раз по городу картечью бьют, — соображал Пухов: он знал, что сюда нужна граната.

Было безлюдно, тревожно и ничего не известно.

Вдруг на монастырской колокольне тихо зазвонили. Пухов вздрогнул и остановился, чутко слушая этот звон с перерывами.

Монастырь стоял на бугре и господствовал над городом и степями за речной долиной. В уличный просвет Пухов заметил раннее утро над тихим далеким лугом, заволоченным туманным газом.

От монастыря до мастерских лежала верста. Пухов покрыл ее срочным шагом, не обращая внимания на

свирепеющий бой, к которому можно скоро привыкнуть.

В мастерских он не нашел никого. На вокзальных путях стоял броневой поезд и бил в направлении угренней зари, где был мост.

В проходной стоял комиссар Афонин и еще два человека. Афонин курил, а другие пробовали затворы винтовок и устанавливали их в ряд.

— Пухов, винтовку хочешь? — спросил Афонин.

— А то нет!

— Бери любую!

Пухов взял и освидетельствовал исправность механизма.

— А масла нет? Туго затвор ходит!

— Нет, нету — какое тебе масло тут? — отказал Афонин.

— Эх вы, воители! Давай патроны!

Получив патроны, Пухов спросил ручную гранату: невозможно, говорит, без нее: это бой сухопутный — когда я на Черном море бился, и то там гранаты давали.

Ему дали гранату.

— Зачем она тебе, их и так у нас мало! — заявил Афонин.

— Без нее нельзя. Матросы всегда этого ежика пушают, когда деться некуда!

— Ну, вали, вали!

— Куда идти-то?

— К мосту, за рошу — там наша цепь.

Нагруженный Пухов побрел по путям. Проходя мимо бронепоезда, он заметил там матросов.

Пухов залез на подножку и постучал в блиндированную дверцу. Дверца туго пошла по патентованному устройству, и в скважину просунулся матрос.

— Тебе что, сыч?

— Шарикова тут нету?

— Нету.

— Распахни-ка мне ход, я приказ тебе дам.

— Ну, сыпь скорей.

В металлическом вагоне парилась тесная духота и веял промежуточный сквозняк. Замки трехдюймовых орудий воняли салом, но кругом было технически хорошо. Сидевший в башне за пулеметом матрос постреливал короткой частотой куда-то в поле, за кирпичные

сарай, и пробовал рукою хоботок пулемета: не перегревается ли?

К Пухову подошел большой главный матрос.

— Ты что, братишка? Говори чаще.

— Вдарь-ка, друг, по монастырской колокольне. Там у них наблюдатель.

— Ладно, Фелька! По колокольне: прицел сто десять, трубка девяносто — на снос!

Матрос взял бинокль и стал проверять действие снаряда.

Пухов ушел успокоенный. Идя по песчаному балласту железной дороги, он разговаривал в воздух. В синей ложине, закрытой укромным кустарником, шел бой. За железнодорожным мостом спешно работала артиллерия, сокрушая шрапнелью ложину. За мостом, на верное, стоял бронепоезд противника.

Тяжелая артиллерия — шестидюймовки — издали была по городу. Город от нее давно и покорно горел.

Растопыренные умершие травы росли по откосу насыпи, но они тоже вздрагивали, когда недалекий бронепоезд из-за моста метал снаряд.

На вокзале работал бронепоезд красных, за мостом — белых, в пяти верстах друг от друга. Снаряды журчали в воздухе над головою Пухова, и он на них поглядывал. Одни летели за мост, другие обратно. Но вплотную не встречались.

В кустарнике ложины лежали рабочие — живые и мертвые. Живых было меньше, но они стреляли на ту сторону реки сдельно: за себя и за мертвых.

Пухов тоже прилег и пригляделся. Видны были товарные вагоны, маленький дом полустанка и какой-то железный брак на путях. Мастеровых от белых отделяла речка и долина, всего полторы версты.

«В чего же мы стреляем? — соображал Пухов. — Пули из страха переводим!»

Сосед его, помощник машиниста Кваков, перестал стрелять и посмотрел на Пухова.

— Что ж ты? — спросил его Пухов и выстрелил в шевельнувшийся предмет у станционного домика.

— Живот заболел — часа два бузую с сырой земли.

— А в кого мы стреляем?

— В белых — не знаешь, что ль?

— В каких белых? А где же Красная Армия?

— Она на том конце города кавалерию сдерживает.

Это генерал Любославский наскочил — у него конницы — тьма.

— А чего ж мы раньше ничего не знали?

— Как не знали? Это, брат, конница — сегодня она у нас, а завтра в Орле будет.

— Чудно! — сказал Пухов с досадой. — Лежим, стреляем, аж пузо болит, а ни в кого не попадаем. Ихний броневик давно прицел нашел — и крошит нас помаленьку.

— Что же будешь делать-то: надо отбиваться! — ответил Кваков.

— Чушь какая: смерть не защита! — окончательно выяснил Пухов и перестал стрелять.

Шрапнель визжала низко и, останавливаясь на лету, со злобой рвала себя на куски. Эти куски вонзались в головы и в тела рабочих, и они, повернувшись с живота навзничь, замирали навсегда. Смерть действовала с таким спокойствием, что вера в научное воскресение мертвых, казалось, не имела ошибки. Тогда выходило, что люди умерли не навсегда, а лишь на долгое, глухое время.

Пухову это надоело. Он не верил, что если умрешь, то жизнь возвратится с процентами. А если и чувствовал что-нибудь такое, то знал, что нынче надо победить как раз рабочим, потому что они делают паровозы и другие научные предметы, а буржуи их только изнашивают.

Стрельба рабочих глохла и редела; над рекою стоял чад сгоревших снарядов. Кваков сел, не обращая внимания на войну, и собирал махорочную пыль по карманам. Пухов выжидал, пока он ее соберет, чтобы тоже попросить на сигарку.

— Ни санитаров, ни докторов у нас нет, ни лекарства — липовое хозяйство! — сказал Кваков, глядя на одного раненого, шевелившегося в бреду.

Раненый хотел подползти к Квакову и открывал глаза, но, не осилив с тяжестью век, снова закрывал их.

Кваков погладил его голову по редким старым волосам:

— Тебе чего, друг?

Раненый тихо гудел странным отвыкшим голосом, собираясь что-то сказать.

— Ну, чего? — говорил Кваков и сам мучился.

Раненый дополз до него и поднял грузную, мокрую

голову, с которой капал крупный пот. Кваков принял к нему.

— Забей мне гвоздь в ухо поскорей... — сказал раненый и свалился от напряжения.

Кваков потерял ему ухо и лег близко рядом, как бы защищая его от мучения и от новых ран.

Осколки шрапнели вцеплялись в землю в сажени от Пухова и бросали ему в лицо гравий и рваную почву.

Сзади неожиданно подошел Афонин и тоже прилег.

— Ты тут, Пухов? На ихнем бронепоезде снарядов негу, скоро пойдем в атаку на станцию.

— Будя дурака валять, — кто это узнавал, что снарядов у них нет? Чего наш-то бронепоезд плохо бьет; ведь знает прицел, давно бы их сшибить можно...

Афонин не успел ответить и куда-то побежал, пригибаясь на открытых местах.

Через минуту весь отряд железнодорожников менял позицию — пробежал через овраг на молочную ферму и там залег за сараями.

Пухов снова увидел Афонина. Он стоял за каменным амбаром и договаривался о чем-то с двумя слесарями, державшими по буханке хлеба.

Пухов подошел к Афонину, чтобы сказать о необходимости пищи, но по дороге он обдумал другое. Из-за амбара были видны линия, мост и броневик белых. Линия шла с крутым уклоном из Похаринска на полустанок, где стоял белый бронепоезд.

Пухов подождал, пока кончил Афонин разговаривать со слесарями, и тогда разъяснил ему, что пора подумать, пора что-нибудь умственно схитрить, раз прямой силой белых не прогнать.

— Видишь, какой уклон из города на полустанок?

— Ну, вижу! — сказал Афонин.

— Ага — вижу! Давно бы тебе надо его увидеть! — осерчал Пухов. — А где Зворычный?

— Тут. На что он тебе?

В городе загудел ураганный артиллерийский огонь, и послышался сплошной, долгий крик большой массы людей.

— Что это? — обернулся гудя Афонин. — Белые, что ль, ворвались? Должно, наших гонят.

Пухов прислушался. Голоса смолкли, а снаряды по-прежнему бурлили воздух над городом и, падая, крушили тяжелое, колкое вещество зданий.

Через пять минут Пухов и Зворычный ушли в город — на вокзал.

— А есть там груженный балласт? — спрашивал Зворычный.

— Есть — у литейного цеха десять платформ стоит, — говорил Пухов.

— Но ведь паровозов нет, — куда ж мы идем? — опять сомневался Зворычный.

— Да мы на руках их выкатим, голова! Поглом заправим на главный путь, раскатим — и бросим. А за пять верст они сами разбегутся так, что от белого броневика одни шматки останутся!

— А рабочие где — вдвоем на руках не выкатим!

— А мы матросов с нашего бронепоезда попросим. Мы по одному вагону будем выкатывать, а потом сцепим и бросим под уклон всем составом.

— Едва ли с броневика матросов дадут, — никак не соглашался Зворычный. — Броневику на два фронта бьет: и по кавалерии, и за мост...

— Дадут, там ходкие ребята! — уверял Пухов.

Афонин жалел, что согласился с Пуховым. Он думал, что Пухов просто сбежал из отряда и выдумал про балласт — никаких платформ с песком Афонин в мастерских не видал.

К обеду бой утих. Броневику белых изредка постреливал по речной долине, ища красных. Наш бронепоезд совсем молчал.

«Там матросня, — думал Афонин, — наморочит им голову этот Пухов».

Однако он не отрывался глазами от линии и сказал мастерскому о замысле Пухова.

— Ну, как, десять груженных платформ сшибут белый броневик или нет? — спрашивал Афонин.

— Если скорости наберут, то сшибут — ясно! — говорил машинист Варежкин, водивший когда-то царский поезд.

Он же первый в половине второго расслышал бег колес на линии и крикнул Афонину:

— Гляди туда!

Афонин выбежал за амбар и присел на корточки, озирая весь путь. Из выемки с ветром и лихою игрою колес вылетел состав без паровоза и в момент вскочил на затрепетавший под такую скорость мост.

Афонин забыл дышать и от какого-то восторга нечаянно взмок глазами. Состав скрылся на мгновение в гуще вагонов полустанка, и сейчас же там поднялось облако песчаной пыли. Потом раздался резкий, краткий разлом стали, закончившийся раздраженным треском.

— Есть! — сказал сразу успокоившийся Афонин и побежал впереди всего отряда на полустанок.

По песку и раскопанным грядкам картошек бежать было очень тяжело. Надо иметь большое очарование в сердце, чтобы так трудиться.

По мосту отряд пошел своим шагом — каждый считал белый бронепоезд разбитым и бессильным.

Отряд обошел пакгауз и тихо выбрался на чистую середину путей. На четвертом пути стоял чистый целый бронепоезд, а на главном — крошево фуража, песка и дребедень размятых, порванных вагонов.

Отряд бросился на бронепоезд, зачумленный последним страхом, превратившимся в безысходное героичество. Но железнодорожников начал резать пулемет, заработавший с молчка. И каждый лег на рельсы, на путевой балласт или на ржавый болт, некогда оторвавшийся с поезда на ходу. Ни у кого не успела замереть кровь, разогнанная напряженным сердцем, и тело долго тлело теплотой после смерти. Жизнь была не умерщвлена, а оторвана, как сброс с горы.

У Афолина три пули защемили сердце, но он лежал живым и сознающим. Он видел синий воздух и тонкий поток пуль в нем. За каждой пулей он мог следить отдельно — с такой остротой и бдительностью он подразумевал совершающееся.

«Ведь я умираю — мои все умерли давно!» — подумал Афонин и пожелал отрезать себе голову от разрушенного пулями сердца — для дальнейшего сознания.

Мир тихо, как синий корабль, отходил от глаз Афолина: отнялось небо, исчез бронепоезд, потух светлый воздух, остался только рельс у головы. Сознание все больше средоточилось в точке, но точка сияла спрессо-

ванной ясностью. Чем больше сжималось сознание, тем ослепительней оно пронизало в последние мгновенные явления. Наконец, сознание начало видеть только свои гающие края, подбираясь все более к узкому месту, и обратилось в свою противоположность.

В побелевших открытых глазах Афонина ходили гени текущего грязного воздуха — глаза, как куски прозрачной горной породы, отражали осиротевший одним человеком мир.

Рядом с Афониним успокоился Кваков, взмокнув кровью, как заржавленный.

На это место с бронепоезда сошел белый офицер, Леонид Маевский. Он был молод и умен, до войны писал стихи и изучал историю религий.

Он остановился у тела Афонина. Тот лежал огромным, грязным и сильным человеком.

Маевскому надоела война, он не верил в человеческое общество — и его тянуло к библиотекам.

«Неужели они правы? — спросил он себя и мертвых. — Нет, никто не прав: человечеству осталось одно одиночество. Века мы мучаем друг друга, — значит, надо разойтись и кончить историю».

До конца своего последнего дня Маевский не понял, что гораздо легче кончить себя, чем историю.

Поздно вечером бронепоезд матросов вскочил на полустанок и начал громить белых в упор. Беспамятная, неистовая сила матросов почти вся полегла трупам — поперек мертвого отряда железнодорожников, но из белых совсем никто не ушел. Маевский застрелился в поезде, и отчаяние его было так велико, что он умер раньше своего выстрела. Его последняя неверующая скорбь равнялась равнодушию пришедшего потом матроса, обменявшего потом свою обмундировку на его.

Ночью два поезда стояли рядом, наполненные спящими и мертвыми людьми. Усталость живых была больше чувства опасности — и ни один часовой не стоял на затихшем полустанке.

Утром два броневых поезда пошли в город и помогли сбить и расстрелять белую кавалерию, двое суток раввавшуюся на город и еле сдерживаемую слабыми отрядами молодых красноармейцев.

Пухов прошелся по городу. Пожары потухли, кое-какое недвижимое имущество погибло, но люди остались полностью.

Оглядев по-хозяйски город, вечером он сказал Зворычному:

— Война нам убыточна — пора ее кончать!

Зворычный чувствовал себя помощником убийцы и молча держал свой характер против Пухова. А Пухов знал себя за умного человека и говорил, что бронепоезд никогда не ставят на четвертый путь, а всегда на главный — это белые правил движения не знали.

— Все ж таки мы им дров наломали и жуть нагнали!

— Иди ты к черту! — ценил Пухова Зворычный. — У тебя всегда голова свербит без учета фактов — тебя бы к стенке надо!

— Опять же — к стенке! Тебе говорят, что война — это ум, а не драка. Я Врангеля шпокал, англичан не боялся, а вы от конных наездников целый город перепугали!

— Каких наездников? — спрашивал злой и непокойный Зворычный. — Кавалерия — это тебе наездники?

— Никакой кавалерии и не было! А просто — верховые бандиты! Выдумали какого-то генерала Любославского, — а это атаман из Тамбовской губернии. А броневой поезд они захватили в Балашове — вот и вся музыка. Их и было-то человек пятьсот...

— А откуда же белые офицеры у них?

— Вот тебе раз — отчубучил! Так они ж теперь везде шляются — новую войну ищут! Что я их, не знаю, что ль? Это — люди идейные, вроде коммунистов.

— Значит, по-твоему, на нас налетела банда?

— Ну да, банда! А ты думал — целая армия? Армию на юге прочно уgomонили.

— А артиллерия у них откуда? — не верил Пухову Зворычный.

— Чудак человек! Давай мне мандат с печатью — я тебе по деревням в неделю сто пушек наберу.

Дома Пухов не ел и не пил — нечего было — и томился одним размышлением. Природу хватал мороз, и она сдавалась на зиму.

Когда начали работать мастерские, Пухова не хотели брать на работу: ты — сукин сын, говорят, иди куда-нибудь в другое место! Пухов доказывал, что его несчастный десант против белых — дело ума, а не подлости, и пользовался пока что горячим завтраком в мастерских.

Потом ячейка решила, что Пухов — не предатель, а просто придурковатый мужик, и поставила его на прежнее место. Но с Пухова взяли подписку — пройти вечерние курсы политграмоты. Пухов подписался, хотя не верил в организацию мысли. Он так и сказал на ячейке: человек — сволочь, ты его хочешь от бывшего бога отучить, а он тебе Собор Революции построит!

— Ты своего добьешься, Пухов! Тебя где-нибудь шпокнут! — серьезно сказал ему секретарь ячейки.

— Ничего не шпокнут! — ответил Пухов. — Я всю тактику жизни чувствую.

Зимовал он один — и много горя хлебнул: не столько от работы, сколько от домоводства. К Зворычному Пухов ходить совсем перестал: глупый человек, схватился за революцию, как за бога, аж слюни текут от усердия веры! А вся революция — простота: переключил белых — делай разнообразные вещи.

А Зворычный мудрит: паровозное колесо согласовывал с Карлом Марксом, а сам сох от вечернего учения и комиссарства — и забыл, как делается это колесо. Но Пухов втайне подумывал, что нельзя жить зря и бестолково, как было раньше. Теперь наступила уместная жизнь, чтобы ничто ее не замусоривало. Теперь без вреда себе уцелеть трудно, зато человек стал нужен; а если сорвешься с общего такта — вышлют в издержки революции, как путевой балласт.

Но, ворочаясь головой на подушке, Пухов чувствовал свое бушующее сердце и не знал, где этому сердцу место в уме.

Сквозь зиму Пухов жил медленно, как лез в скважину. Работа в цехе отягощала его — не тяжестью, а унынием.

Материалов не хватало, электрическая станция работала с перебоями — и были длинные мертвые простои.

Нашел Пухов одного друга себе — Афанасия Перешоикова, бригадира из сборочного цеха, но тот женился, занялся брачным делом, и Пухов остался опять один. Тогда он и понял, что женатый человек, то есть состоящий в браке, для друга и для общества — человек бракованный.

— Афанас, ты теперь не цельный человек, а бракованный! — говорил Пухов с сожалением.

— Э, Фома, и ты со шербиной: торец стоит и то не один, а рядышком с другим!

Но Пухов уже привык к своей комнате, ему казалось, что стены и вещи тоскуют по нем, когда он на работе.

Когда зима начала подогреваться, Пухов вспомнил про Шарикова: душевный парень — не то сделал он подводные лодки, не то нет?

Два вечера Пухов писал ему письмо. Написал про все — про песчаный десант, разбивший белый бронепоезд с одного удара, про Коммунистический Собор, назло всему народу построенный летом на Базарной площади, про свою скуку вдаль от морской жизни и про все другое. Написал он также, что подводные лодки в Царицыне делать не взялись — мастера забыли, с чего их начинать, и не было кровельного железа. Теперь же Пухов решил выехать в Баку, как только получит от Шарикова мандат по почте. В Баку много стоячих машин по нефтяному делу, которые должны двинуться, так как в России есть дизеля, а на море моторы, зря пропадающие без работы. Сверх того, морское занятие серьезней сухопутного, а морские десанты искуснее песчаных.

У Пухова три раза стреляла рука, пока он карякал буквы: с самого новороссийского десанта ничего писанного не видал — отвык от чистописания.

«До чего ж письмо — тонкое дело!» — думал Пухов на передышке и писал, что в мозг попадало.

На конверте он обозначил:

*«Адресату морскому матросу Шарикову.
В Баку — на Каспийскую флотилию».*

Целую ночь он отдыхал от гворчества, а утром пошел на почту сдавать письмо.

— Брось в ящик! — сказал ему чиновник. — У тебя простое письмо!

— Из ящичков писем не вынимают, я никогда не видел! Отправь из рук! — попросил Пухов.

— Как так не вынимают! — обиделся чиновник. — Ты по улице ходишь не вовремя, вот и не видишь!

Тогда Пухов просунул письмо в ящик и осмотрел его устройство.

— Не вынают, дьяволы, — ржавь кругом!

На политграмоту Пухов не ходил, хотя и подписал ячийкинѹ бумажку.

— Что ж ты не ходишь, товарищ? Приглашать тебя надо? — строго спросил его однажды Мокров, новый секретарь ячейки. (Зворычного сменили за помощь Пухову в песчаных платформах.)

— Чего мне ходить, — я и из книг все узнаю! — разъяснял Пухов и думал о далеком Баку.

Через месяц пришел ответ от Шарикова.

«Ехай скорее, — писал Шариков, — на нефтяных принсках делов много, а мозговитых людей мало. Своя чья живет всюду, а не хватает принадлежности убрать ее внутрь Советской России. Все ждут англичан, — что они нам шкворень выдернут. Пускай дергают, мы тогда на передке поедem. А мандата тебе выслать не могу — их секретарь составляет, у него и печать, а я его арестовал. Но ты ехай — харчи будут».

Прочитав текст письма, Пухов изучил штемпеля действительно Баку, и лег спать, ошастливленный другом.

Уволили Пухова охотно и быстро, тем более что он для рабочих смутный человек. Не враг, но какой-то ветер, дующий мимо паруса революции.

Не все так хорошо доезжают до Баку, но Пухов доехал: он попал на порожнюю цистерну, гонимую из Москвы прямым и скорым сообщением в Баку.

Виды природы Пухова не удивили: каждый год случается одно и то же, а чувство уже деревенеет от усталой старости и не видит остроты разнообразия. Как почтовый чиновник, он не принимал от природы писем в личные руки, а складывал их в темный ящик обросшего забвением сердца, который редко отворяют

А раньше вся природа была для него срочным известием.

За Ростовом летали ласточки — любимые птицы молодого Пухова, а теперь он думал: видел я вас, чертей, если бы иное что летало, а то старые птицы!

Так он и доехал до самого конца.

— Явился? — поднял глаза от служебных бумаг Шариков.

— Вот он! — обозначил себя Пухов и начал разговаривать по существу.

В тот год советский нефтяной промысел собирал к себе старых мастеровых, заблудившихся в темноте далеких родин и на проселках революции.

Каждый день приезжали буровые мастера, тартальщики, машинисты и прочий похожий друг на друга народ.

Несмотря на долгий голод, народ был свежий и окрепший, будто насыщенный прочной пищей.

Шариков теперь ведал нефтью — комиссар по вербовке рабочей силы. Вербовал он эту силу разумно и доверчиво. Приходил в канцелярию простой, сильный человек и обращался:

— Десять лет в Сураханах тарталил, теперь опять на свою работу хочу!

— А ты где был в революционное время? — допрашивал Шариков.

— Как где? Здесь делать нечего было!..

— А где ты ряжку налопал? Дезертиром в пещере жил, а баба тебе творог носила.

— Что ты, товарищ! Я — красный партизан, здоровье на воздухе нажил!

Шариков в него всматривался. Тот стоял и смущался.

— Ну, на тебе талон на вторую буровую, там спросишь Подшивалова, он все знает.

Пухов обсиживался в канцелярии и наблюдал. Его удивляло, отчего так много забот с этой нефтью, раз ее люди сами не делают, а берут готовой из грунта.

— Где насос, где черпак — вот и все дело! — рассказывал он Шарикову. — А ты тут целую подоплеку придумал!

— А как же иначе, чудака? Промысел — это, брат, надлежащее мероприятие, — ответил Шариков не своей речью

«И этот, должно, на курсах обтесался, — подумал Пухов. — Не своим умом живет: скоро все на свете организовать начнет. Беда».

Шариков поставил Пухова машинистом на нефтяной двигатель — перекачивать нефть из скважины в нефтехранилище. Для Пухова это было самое милое дело: день и ночь вращается машина — умная, как живая, неустанная и верная, как сердце. Среди работы Пухов выходил иногда из помещения и созерцал лихое южное солнце, сварившее когда-то нефть в недрах земли.

— Вари так и дальше! — сообщал вверх Пухов и слушал ганцующую музыку своей напряженной машины.

Квартиры Пухов не имел, а спал на инструментальном ящике в машинном сарае. Шум машины ему совсем не мешал, когда ночью работал сменный машинист. Все равно на душе было тепло — от удобств душевного покоя не приобретешь; хорошие же мысли приходят не в уюте, а от пересечки с людьми и событиями — и так дальше. Поэтому Пухов не нуждался в услугах для своей личности.

— Я — человек облегченного типа! — объяснял он тем, которые хотели его женить и водворить в брачную усадьбу.

А такие были: тогда социальная идеология была не развита и рабочий человек угощал себя выдумкой.

Иногда приезжал на автомобиле Шариков и глядел на буровые вышки, как на корабли. Кто из рабочих чего просил, он сейчас же давал.

— Товарищ Шариков, выпиши клок мануфактуры — баба приехала, оборвалась в деревне!

— На, черт! Если спекулируешь — на волю пушу! Пролетариат — честный предмет! — И выписывал бумажку, стараясь так знаменито и фигурно расписаться чтобы потом читатель его фамилии сказал: товарищ Шариков — это интеллигентный человек!

Шли недели, пищи давали достаточно, и Пухов отъедался. Жалел он об одном, что немного постарел, нет чего-то нечаянного в душе, что бывало раньше.

Кругом шла, в сущности, хорошая, легкая жизнь, поэтому Пухов ее не замечал и не беспокоился. Кто такой Шариков? — Свой же друг. Чья нефть в земле и

скважины? — Наши, мы их сделали. Что такое природа? — Добро для бедных людей. — И так дальше. Больше не было тревоги и удручения от имущества и начальства.

Как-то приехал Шариков и говорил сразу Пухову, как будто всю дорогу думал об этом:

— Пухов, хочешь коммунистом сделаться?

— А что такое коммунист?

— Сволочь ты! Коммунист — это умный, научный человек, а буржуй — исторический дурак!

— Тогда не хочу.

— Почему не хочешь?

— Я — природный дурак! — объявил Пухов, потому что он знал особые ненарочные способы очаровывать и привлекать к себе людей и всегда производил ответ без всякого размышления.

— Вот гад! — засмеялся Шариков и поехал начальствовать дальше.

Со дня прибытия в Баку Пухову стало навсегда хорошо. Вставал он рано, осматривал зарю, вышки, слушал гудок парохода и думал кое о чем. Иногда он вспоминал свою умершую от преждевременного износа жену и немного грустил, но напрасно.

Однажды он шел из Баку на промысел. Он заночевал у Шарикова. К тому брат из плена вернулся, и было угощение. Ночь только что кончилась. Несмотря на бесконечное пространство, в мире было уютно в этот ранний чистый час, и Пухов шагал, наливаясь какой-то прелестью. Гулко и долго гудел дальний нефтеперегонный завод, распуская ночную смену.

Весь свет переживал утро, и каждый человек знал про это происшествие: кто явно торжествуя, кто бурча от смутного сновидения.

Нечаянное сочувствие к людям, одиноко работавшим против вещества всего мира, прояснялось заросшей жизнью душе Пухова. Революция — как раз лучшая судьба для людей, верней ничего и не придумаешь. Это было трудно, резко и сразу легко, как рождение.

Во второй раз — после молодости — Пухов снова увидел роскошь жизни и неистовство смелой природы, неимоверной в тишине и в действии.

Пухов шел с удовольствием, чувствуя, как и давно, родственность всех тел к своему телу. Он постепенно догадывался о самом важном и мучительном. Он даже

остановился, опустив глаза, — нечаянное в душе возвратилось к нему. Отчаянная природа перешла в людей и в смелость революции. Вот где таилось для него сомнение.

Душевная чужбина оставила Пухова на том месте, где он стоял, и он узнал теплоту родины, будто вернулся к детской матери от ненужной жены. Он тронулся по своей линии к буровой скважине, легко преодолевая опустевшее счастливое тело.

Пухов сам не знал — не то он таял, не то рождался.

Свет и теплота утра напрягались над миром и постепенно превращались в силу человека.

В машинном сарае Пухова встретил машинист, ожидавший смены. Он слегка подремывал и каждую минуту терял себя в дебрях сна и возвращался оттуда.

Газ двигателя Пухов вобрал в себя, как благоухание, чувствуя свою жизнь во всю глубину — до сокровенного пульса.

— Хорошее утро! — сказал он машинисту.

Тот потянулся, вышел наружу и равнодушно освидетельствовал:

— Революционное вполне.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ МАСТЕРА

Есть ветхие опушки у старых провинциальных городов. Туда люди приходят жить прямо из природы. Появляется человек — с тем зорким и до грусти изможденным лицом, который все может починить и оборудовать, но сам прожил жизнь необорудованно. Любое изделие, от сковородки до будильника не миновало на своем веку рук этого человека. Не отказывался он также подкидывать подметки, лить волчью дробь и штамповать поддельные медали для продажи на сельских старинных ярмарках. Себе же он никогда ничего не сделал — ни семьи, ни жилища. Летом он жил просто в природе, помещая инструмент в мешке, а мешком пользовался как подушкой — более для сохранности инструмента, чем для мягкости. От раннего солнца он спасался тем, что клал себе с вечера на глаза лопух. Зимой же он существовал на остатки легнего заработка, уплачивая церковному сторожу за квартиру тем, что звонил ночью часы. Его ничто особо не интересовало — ни люди, ни природа, — кроме всяких изделий. Поэтому к людям и полям он относился с равнодушной нежностью, не посягая на их интересы. В зимние вечера он иногда делал ненужные вещи: башни из проволоки, корабли из кусков кровельного железа, клеил бумажные дирижабли и прочее — исключительно для собственного удовольствия. Часто он даже задерживал чей-нибудь случайный заказ, — например, давали ему на кадку новые обручи подогнать, а он занимался устройством деревянных часов, думая, что они должны ходить без завода — от вращения Земли.

Церковному сторожу не нравились такие бесплатные занятия.

— На старость лет ты побираться будешь. Захар Палыч! Кадка вон который день стоит, а ты о землю деревяшкой касаешься невсedomо для чего.

Захар Павлович молчал: человеческое слово для него что лесной шум для жителя леса — его не слышишь. Сторож шутил и спокойно глядел дальше — в бога он от частых богослужений не верил, он знал наверное, что ничего у Захара Павловича не выйдет: люди давно на свете живут и уже все выдумали. А Захар Павлович считал наоборот: люди выдумали далеко не все, раз природное вещество живет не тронутое руками.

Через четыре года в пятый село наполовину уходило в шахты и города, а наполовину в леса — бывал неурожай. Издавна известно, что на лесных полянах даже в сухие годы хорошо вырастают травы, овощи и хлеб. Оставшаяся на месте половина деревни бросалась на эти поляны, чтобы уберечь свою зелень от моментального расхищения потоками жадных странников. Но на этот раз засуха повторилась и в следующем году. Деревня заперла свои хаты и вышла двумя отрядами на большак — один отряд пошел побирагься к Киеву, другой — на Луганск на заработки; некоторые же повернули в лес и стали есть сырую траву, глину и кору — и одичали. Ушли почти одни взрослые — дети сами заранее умерли либо разбежались нищенствовать. Грудных же постепенно затопили сами матери-кормилицы, не давая досыта сосать.

Была одна старуха — Игнатъевна, которая лечила от голода малолетних: она им давала грибной настойки пополам со сладкой травой, и дети мирно затихали с сухой пеной на губах. Мать целовала ребенка в состарившийся морщинистый лобик и шептала:

— Отмучился, родимый. Слава тебе, господи!

Игнатъевна стояла тут же:

— Преставился, тихий: лучше живого лежит, сейчас в рай ветры серебряные слушает...

Мать любовалась своим ребенком, веря в облегчение его грустной доли.

— Возьми себе мою старую юбку, Игнатъевна, — нечего больше дать. Спасибо тебе.

Игнатъевна простирала юбку на свет и говорила:

— Да ты поплачь, Матрена, немножко: так тебе полагается. А юбка гвая пошóная-переношóная; прибавь хоть платочек ай утюжок подари...

Захар Павлович остался в деревне один — ему понравилось безлюдье. Но жил он больше в лесу, в зем-

лянке с одним бобылем, питаюсь наваром трав, пользу которых заранее изучил бобыль.

Все время Захар Павлович работал, чтобы забывать голод, и приучился из дерева делать все то же, что раньше делал из металла. Бобыль же всю жизнь ничего не делал — теперь тем более: до пятидесяти лет он только смотрел кругом — как и что — и ожидал, что выйдет в конце концов из общего беспокойства, чтобы сразу начать действовать после успокоения и выяснения мира; он совсем не был одержим жизнью, и рука его так и не поднялась ни на женский брак и ни на какое общепользное деяние. Родившись, он удивился и так прожил до старости с голубыми глазами на млажавом лице. Когда Захар Павлович делал дубовую сковородку, бобыль поражался, что на ней все равно ничего нельзя изжарить. Но Захар Павлович наливал в деревянную сковородку воды и достигал на медленном огне того, что вода кипела, а сковородка не горела. Бобыль замирал от удивления:

— Могучее дело. Куда же тут, братцы, до всего дознаться!..

И у бобыля опускались руки от сокрушающих всеобщих тайн. Ни разу никто не объяснил бобылю простоты событий — или он сам был вконец бестолковый. Действительно, иногда Захар Павлович пробовал ему рассказать, отчего ветер дует, а не стоит на месте, но бобыль еще более удивлялся и ничего не понимал, хотя чувствовал происхождение ветра точно.

— Да неужто? Скажи пожалуйста! Стало быть, от солнечного припеку? Милое дело!..

Захар Павлович объяснил, что припек — дело не милое, а просто — жара.

— Жара?! — удивился бобыль. — Ишь ты, ведьма какая!

У бобыля только переводилось удивление с одной вещи на другую, но в сознание ничего не превращалось. Вместо ума он жил чувством доверчивого уважения.

За лето Захар Павлович переделал из дерева все изделия, какие знал. Землянка и ее усадебное прилежащее место были установлены предметами технического искусства Захара Павловича — полный комплект сельскохозяйственного инвентаря, машин, инструментов, предприятий и житейских приспособлений — все цели-

ком из дерева. Странно, что ни одной вещи, потерявшей природу, не было: например, лошади, тыквы или еще чего.

В августе бобыль пошел в тень, лег животом вниз и сказал:

— Захар Павлович, я помираю, я вчера ящерицу съел... Тебе два грибка принес, а себе ящерицу сжарил. Помахай мне лопухом по верхам — я ветер люблю.

Захар Павлович помахал лопухом, принес воды и попоил умирающего.

— Ведь не умрешь. Тебе только кажется.

— Умру, ей-богу, умру, Захар Павлович, — испугался солгать бобыль. — Нутрё ничего не держит, во мне глист громадный живет, он мне всю кровь выпил...

Бобыль повернулся навзничь:

— Как ты думаешь, бояться мне аль нет?

— Не бойся, — положительно ответил Захар Павлович. — Я бы сам хоть сейчас умер, да все, знаешь, занимаешься разными изделиями.

Бобыль обрадовался сочувствию и к вечеру умер без испуга. Захар Павлович во время его смерти ходил купаться в ручей и застал бобыля уже мертвым, задохнувшимся собственной зеленой рвотой. Рвота была плотная и сухая, она тестом осела вокруг рта бобыля, и в ней действовали белые мелкокалиберные черви.

Ночью Захар Павлович проснулся и слушал дождь: второй дождь с апреля месяца. «Вот бы бобыль удивился», — подумал Захар Павлович. Но бобыль мокнул один в темноте ровно льющихся с неба потоков и тихо опухал.

Сквозь сонный, безветренный дождь что-то глухо и грустно запело — так далеко, что там, где пело, наверно, не было дождя и был день. Захар Павлович сразу забыл бобыля, и дождь, и голод — и встал. Это гудела далекая машина, живой работающий паровоз. Захар Павлович вышел наружу и постоял во влаге теплого дождя, напевающего про мирную жизнь, про обширность долгой земли. Темные деревья дремали, раскорячившись, объятые лаской спокойного дождя; им было так хорошо, что они изнемогали и пошевеливали ветками без всякого ветра.

Захар Павлович не обратил внимания на отраду природы, его разволновал неизвестный смолкший паровоз. Когда он ложился обратно спать, он подумал, что

дождь — и тот действует, а я сплю и прячусь в лесу напрасно: умер же бобыль, умрешь и ты; тот ни одного изделия за весь свой век не изготовил — все присматривался да принаравливался, всему удивлялся, в каждой простоте видел дивное дело и руки не мог ни на что поднять, чтобы чего-нибудь не испортить; только грибы рвал, и то находить их не умел; так и умер, ничем не повредив природы.

Утром было большое солнце, и лес пел всею гущей своего голоса, пропуская утренний ветер под исподнюю листву. Захар Павлович заметил не столько утро, сколько смену работников: дождь уснул в почве — его заменило солнце; от солнца же поднялась суeta ветра, взъерошились деревья, забормотали травы и кустарники, и даже сам дождь, не отдохнув, снова вставал на ноги, разбуженный щекочущей теплотой, и собирал свое тело в облака.

Захар Павлович положил в мешок свои деревянные изделия — сколько их в нем уместилось — и пошел вдаль, по грибной бабьей тропинке. На бобыля он не посмотрел: мертвые невзрачны, хотя Захар Павлович знал одного человека, рыбака с озера Мутево, который многих расспрашивал о смерти и тосковал от своего любопытства; этот рыбак больше всего любил рыбу, не как пищу, а как особое существо, наверное знающее тайну смерти. Он показывал глаза мертвых рыб Захару Павловичу и говорил: «Гляди — премудрость. Рыба между жизнью и смертью стоит, оттого она и немая и глядит без выражения; телок ведь и тот думает, а рыба нет — она все уже знает». Созерцая озеро годами, рыбак думал все об одном и том же — об интересе смерти. Захар Павлович его отговаривал: «Нет там ничего особого, — так, что-нибудь тесное». Через год рыбак не вытерпел и бросился с лодки в озеро, связав себе ноги веревкой, чтобы нечаянно не поплыть. Втайне он вообще не верил в смерть, главное же, он хотел посмотреть — что там есть: может быть, гораздо интересней, чем жить в селе или на берегу озера; он видел смерть как другую губернию, которая расположена под небом, будто на дне прохладной воды, — и она его влекла. Некоторые мужики, которым рыбак говорил о своем намерении пожить в смерти и вернуться, отговаривали его, а другие соглашались с ним: «Что ж, испыток не убыток, Митрий Иванович. Пробуй, потом нам расскажешь».

Дмитрий Иванович попробовал: его вытащили из озера через трое суток и похоронили у ограды на сельском погосте.

Сейчас Захар Павлович проходил мимо погоста и искал могилу рыбака в частокоте крестов. Над могилой рыбака не было креста: ни одно сердце не огорчил своей смертью, ни одни уста его не поминали, потому что он умер не в силу немощи, а в силу своего любопытного разума. Жены у рыбака не осталось — он был вдовый, сын же был малолеток и жил у чужих людей. Захар Павлович приходил на похороны и вел мальчишку за руку — ласковый и разумный такой мальчик, не то в мать, не то в отца. Где сейчас этот мальчик? Наверно, умер первым в эти голодные годы, как круглый сирота. За гробом отца мальчик шел без горя и пристойно.

— Дядя Захар, это отец нарочно так улегся?

— Не нарочно, Саш, а сдуру — тебя теперь в убыток ввел. Не скоро ему рыбу ловить придется.

— А чего тетки плачут?

— Потому что они хоньжи!

Когда гроб поставили у могильной ямы, никто не хотел прощаться с покойным. Захар Павлович стал на колени и притронулся к щетинистой свежей щеке рыбака, обмытой на озерном дне. Потом Захар Павлович сказал мальчику:

— Попрощайся с отцом — он мертвый на веки веков. Погляди на него — будешь вспоминать.

Мальчик прилег к телу отца, к старой его рубашке, от которой пахло родным живым потом, потому что рубашку надели для гроба — отец утонул в другой. Мальчик пощупал руки, от них несло рыбной сыростью, на одном пальце было надето оловянное обручальное кольцо в честь забытой матери. Ребенок повернул голову к людям, испугался чужих и жалобно заплакал, ухватив рубашку отца в складки, как свою защиту; его горе было безмолвным, лишенным сознания остальной жизни и поэтому неутешимым; он так грустил по мертвому отцу, что мертвый мог бы быть счастливым. И все люди у гроба тоже заплакали от жалости к мальчику и от того преждевременного сочувствия самим себе, что каждому придется умереть и так же быть оплаканным.

Захар Павлович при всей своей скорби помнил о дальнейшем.

— Будет тебе, Никифоровна, выть-то! — сказал он одной бабе, плакавшей навзрыд и с поспешным причитанием. — Не от горя воешь, а чтоб по тебе поплакали, когда сама помрешь. Ты возьми-ка мальчишку к себе — у тебя все равно их шестеро, один фальшью какой-нибудь между всеми пропитается.

Никифоровна сразу пришла в свой бабий разум и осохла свирепым лицом: она плакала без слез, одними морщинами.

— И то будто! Сказал тоже — фальшью какой-то пропитается! Это он сейчас такой, а дай возмужает — как почнет жрать да штаны трепать — не наготовишься!

Взяла мальчика другая баба, Мавра Фетисовна Дванова, у которой было семеро детей. Ребенок дал ей руку, женщина утерла ему лицо юбкой, высморкала его нос и повела сироту в свою хату.

Мальчик вспомнил про удочку, которую сделал ему отец, а он закинул ее в озеро и там позабыл. Теперь, должно быть, уже поймалась рыба и ее можно съесть, чтобы чужие люди не ругали за ихнюю еду.

— Тетя, у меня рыба поймалась в воде, — сказал Саша. — Дай я пойду достану ее и буду есть, чтоб тебе меня не кормить.

Мавра Фетисовна нечаянно сморщила лицо, высморкала нос в кончик головного платка и не пустила руку мальчика.

Захар Павлович задумался и хотел уйти в босяки, но остался на месте. Его сильно тронуло горе и сиротство — от какой-то неизвестной, открывшейся в груди, совести; он хотел бы без отдыха идти по земле, встречать горе во всех селах и плакать над чужими гробами. Но его остановили очередные изделия: староста ему дал чинить стенные часы, а священник — настраивать рояль. Захар Павлович сроду никакой музыки не слышал — видел в уезде однажды граммофон, но его замучили мужики и он не играл: граммофон стоял в трактире, у ящика были поломаны стенки, чтобы видеть обман того, кто там поет, а в мембрану вдет штопальная игла. За настройкой рояля он просидел месяц, пробуя заунывные звуки и рассматривая механизм, вырабатывающий такую нежность. Захар Павлович ударял по клавише — грустное пение поднималось и улетало; Захар Павлович смотрел вверх и ждал возвращения звука — слыш-

ком он хорош, чтобы бесследно растратиться. Священнику надоело ждать пастройки, и он сказал: «Ты, дя-дюшка, напрасно тона не оглашай, ты старайся дело приурочить к концу и не вникай в смысл тебе непогребного». Захар Павлович обиделся до корней своего мастерства и сделал в механизме секрет, который устранить можно в одну секунду, но обнаружить без особого знания нельзя. После поп еженедельно вызывал Захара Павловича: «Иди, друг, иди — опять тайнообразующая сила музыки пропала». Захар Павлович не для попа сделал секрет и не для того, чтобы самому часто ходить наслаждаться музыкой: его растрогало противоположное — как устроено то изделие, которое волнует тубое сердце, которое делает человека добрым; для этого он и приладил свой секрет, способный вмешиваться в благозвучность и покрывать его завыванием. Когда после десяти починков Захар Павлович понял тайну смещения звуков и устройство дрожащей главной доски, он вынул из рояля секрет и навсегда перестал интересоваться звуками.

Теперь Захар Павлович на ходу вспоминал прошедшую жизнь и не сожалел о ней. Многие устройства и предметы он лично постиг в утекшие годы и мог их повторить в своих изделиях, если будет подходящий материал и инструменты. Шел он сквозь село ради встречи неизвестных машин и предметов, что гудят за тою чертой, где могучее небо сходится с деревенскими неподвижными угольями. Шел он туда с тем сердцем, с каким крестьяне ходят в Киев, когда в них иссякает вера и жизнь превращается в дожитие.

На сельских улицах пахло гарью — это лежала зола на дороге, которую не разгребали куры, потому что их поели. Хаты стояли, полные бездетной тишины, одиночальные, переросшие свою норму лопухи ожидали хозяев у ворот, на дорожках и на всех обжитых прогоптаных местах, где ранее никакая трава не держалась, и покачивались, как будущие деревья. Плетни от безлюдья тоже зацвели: их обвили хмель и повитель, а некоторые колья и хворостины принялись и обещали стать рощей, если люди не вернутся. Дворовые колодцы сохли, туда, свободно переползая через сруб, бегали ящерицы отдыхать от зноя и размножаться. Захара Павловича еще немало удивило такое бессмысленное происшествие, что на полях хлеб давно умер, а на соломен-

ных крышах изб зеленела рожь, овес, просо и шумела лебеда: они принялись из зерен в соломенных покрытиях. В село перебрались также полевые желто-зеленые птицы, живя прямо в горницах изб; воробьи же снимались с подножия тучами и выговаривали сквозь ветер крыльев свои хозяйские деловые песни.

Минуя село, Захар Павлович увидел лапоть; лапоть тоже ожил без людей и нашел свою судьбу — он дал из себя отросток шелуги, а остальным телом гнил в прах и хранил гень над корешком будущего куста. Под лаптем была, наверное, почва посырее, потому что сквозь него тшилось пролезть множество бледных травинок. Из всех деревенских вещей Захар Павлович особенно любил лапоть и подкову, а из устройств — колодцы. На трубе последней хаты сидела ласточка, которая от вида Захара Павловича поспешно влезла внутрь грубы и там, во тьме дымохода, обняла крыльями своих потомков.

Вправо осталась церковь, а за ней — чистое знаменитое поле, ровное, словно улегшийся ветер. Малый колокол-подголосок начал звонить и отбил полдень: двенадцать раз. Повитель опутала храм и норовила добраться до креста. Могилы попов у стен церкви занесло бурьяном, и низкие кресты погибли в его чащах. Сторож, отделавшись, еще стоял у паперти, наблюдая ход лета; будильник его запутался в многолетнем счете времени, зато сторож от старости начал чують время так же остро и точно, как горе и счастье; что бы он ни делал, даже когда спал (хотя в старости жизнь сильнее сна — она бдительна и ежеминутна), но истекал час, и сторож чувствовал какую-то тревогу или вожделение, тогда он бил часы и опять загихал.

— Живой еще, дедушка? — сказал сторожу Захар Павлович. — Для кого ты сутки считаешь?

Сторож хотел не отвечать: за семьдесят лет жизни он убедился, что половину дел исполнил зря, а три четверти всех слов сказал напрасно: от его забот не выжили ни дети, ни жена, а слова забылись, как посторонний шум. «Скажу этому человеку слово, — судил себя сторож, — человек пройдет версту и не оставит меня в вечной памяти своей: кто я ему — ни родитель, ни помощник!»

— Зря работаешь! — упрекнул Захар Павлович. Сторож на эту глупость ответил:

— Как так — зря? На моей памяти наша деревня десять раз выходила, а потом обратно селилась. И теперь возвернется: должно без человека нельзя.

— А звон твой для чего?

Сторож знал Захара Павловича как человека, который давал волю своим рукам для всякой работы, но не знавшего цену времени.

— Вот тебе — звон для чего! Колоколом я время сокращаю и песни пою...

— Ну, пей, — сказал Захар Павлович и вышел вон из села.

На отшибе съежилась хатка без двора — видно, кто-то наспех женился, поругался с огнем и выселился. Хатка тоже стояла пустой, и внутри ее было жутко. Одно голько на прощанье порадовало Захара Павловича — из трубы этой хаты вырós наружу подсолнух, — он уже возмужал и склонился на восход солнца зреющей головой.

Дорога заросла сухими, обветшалыми от пыли травами. Когда Захар Павлович присаживался покурить, он видел на почве уютные леса, где трава была деревьями: пелый маленький живой мир со своими дорогами, своим теплом и полным оборудованием для ежедневных пужд мелких озабоченных тварей. Заглядевшись на муравьев, Захар Павлович держал их в голове еще версты четыре своего пути и, наконец, подумал: «Дать бы нам муравьиный или комариный разум — враз бы можно жизнь безбедно наладить: эта мелочь — великие мастера дружной жизни; далеко человеку до мельца-муравья».

Появился Захар Павлович на опушке города, снял себе чулан у многолетнего вдовца-столяра, вышел наружу и задумался: чем бы ему заняться?

Пришел с работы столяр-хозяин и сел с Захаром Павловичем.

— Сколько тебе за помещение платить? — спросил Захар Павлович.

Столяр похрипел горлом, как бы желая смеяться, в голосе его слышна была безнадежность и то особое пригтерпевшееся отчаяние, которое бывает у кругом и навсегда огорченного человека.

— А ты чем занимаешься? Ничем? Ну, живи так, пока мои ребята тебе голову не оторвали...

Это он сказал верно: в первую же ночь сыновья сто-

ляра — ребяга от десяти до двадцати лет — облили спящего Захара Павловича своей мочой, а дверь чулана приперли рогаком. Но грудно было рассердить Захара Павловича, никогда не интересовавшегося людьми. Он знал, что есть машины и сложные мощные изделия, и по ним ценил благородство человека, а не по случайному хамству. И в самом деле, утром Захар Павлович видел, как старший сын столяра ловко и серьезно делал топорище, значит — главное в нем не моча, а ручная умелость.

Через неделю Захар Павлович так заскорбел от безделья, что начал без спроса чинить дом столяра. Он перешил худые швы на крыше, сделал заново крыльцо в сенях и вычистил сажу из дымоходов. В вечернее время Захар Павлович тесал колышки.

— Что ты делаешь? — спрашивал у него столяр, промокая усы хлебной коркой — он только что поубедал: ел картошку и огурцы.

— Может быть, на что годятся, — отвечал Захар Павлович.

Столяр жевал корку и думал: «Годятся могилы огораживать! Мои ребята говели постом — все могилы на кладбище специально обгадили».

Тоска Захара Павловича была сильнее сознания бесполезности труда, и он продолжал тесать колья до полной ночной усталости. Без ремесла у Захара Павловича кровь от рук прилиwała к голове, и он начинал так глубоко думать о всем сразу, что у него выходил один бред, а в сердце поднимался госкливый страх. Бродя днем по солнечному двору, он не мог превозмочь свою думу, что человек произошел из червя, червь же — это простая страшная трубка, у которой внутри ничего нет — одна пустая вонючая тьма. Наблюдая городские дома, Захар Павлович открыл, что они в точности похожи на закрытые гробы, и пугался ночевать в доме столяра. Зверская работоспособная сила, не находя места, ела душу Захара Павловича; он не владел собой и мучился разнообразными чувствами, каких при работе у него никогда не появлялось. Он начал видеть сны: будто умирает его отец — шахтер, а мать поливает его молоком из своей груди, чтобы он жил; но отец ей сердито говорит: «Дай хоть свободно помучиться, стерва», — потом долго лежит и оттягивает смерть; мать стоит над ним и спрашивает: «Скоро ты?»; отец с оже-

сточением мученика плюет, ложится вниз лицом и напоминает: «Хорони меня в старых штанах, эти Захарке отдашь!»

Единственно, что радовало Захара Павловича, это сидеть на крыше и смотреть вдаль, где в двух верстах от города проходили иногда бешеные железнодорожные поезда. От вращения колес паровоза и его быстрого дыхания у Захара Павловича радостно зудело тело, а глаза взмокали легкими слезами от сочувствия паровозу.

Столяр смотрел-смотрел на своего квартиранта и начал его кормить бесплатно со своего стола. Сыновья столяра бросили в отдельную чашку Захара Павловича на первый раз соплей, но отец встал и с размаху, без всякого слова, выбил на скуле старшего сына бугор.

— Сам я человек как человек, — спокойно сказал столяр, сев на свое место, — но, понимаешь ты, такую сволочь нарожал, что, того и гляди, — они меня кончат. Ты посмотри на Федьку! Сила — чертова: и где он себе ряжку налопал, сам не пойму — с малолетства на дешевых харчах сидят...

Начались первые дожди осени — без времени, без пользы: крестьяне давно пропали в чужих краях, а многие умерли на дорогах, не дойдя до шахт и до южного хлеба. Захар Павлович пошел со столяром на вокзал наниматься: у столяра там был знакомый машинист.

Машиниста они нашли в дежурке, где отсыпались паровозные бригады. Машинист сказал, что народу много, а работы нет; остатки ближних деревень неликом живут на вокзале и делают что попало за низкий расценки. Столяр вышел и принес бутылку водки и круг колбасы. Выпив водки, машинист рассказал Захару Павловичу и столяру про паровозную машину и тормоз Вестингауза.

— Ты знаешь, инерция какая на уклонах бывает при шестидесяти осях в составе? — возмущенный невежеством слушателей, говорил машинист и упруго показывал руками мощь инерции. — Ого! Откроешь тормозной кран — под тендером из-под колодок синее пламя бьет, вагоны в затылок прут, паровоз дует с закрытым паром, — один раз — батом в трубу клокочет! Ух!.. налей! Огурца зря не купил: колбаса желудок запаковывает!..

Захар Павлович сидел и молчал: он заранее не ве-

рил, что поступит на паровозную работу — куда ж тут ему справиться после деревянных сковородок!

От рассказов машиниста его интерес к механическим изделиям становился загаенней и грустней, как отказанная любовь.

— А ты что завок? — заметил машинист скорбь Захара Павловича. — Приди завтра в депо, я с наставником поговорю, может, в обтирщики возьмут! Не робеи, сукин сын, раз есть хочешь...

Машинист остановился, не кончив какого-то слова: у него началась отрыжка.

— Но, дьявол, колбаса твоя задним ходом прет! За гривенник пуд, нищеврод, купил, лучше б я обтирочными концами закусил... Но, — снова обратился машинист к Захару Павловичу, — но паровоз мне делай под зеркало, чтоб я в майских перчатках мог любую часть щупать! Паровоз ни-ка-кой пылинки не любит: машина, брат, это — барышня... Женщина уж не годится — с лишним отверстием машина не пойдет...

Машинист понес в даль отвлеченных слов о каких-то женщинах. Захар Павлович слушал-слушал и ничего не понимал: он не знал, что женщин можно любить особо и издали; он знал, что такому человеку следует жениться. С интересом можно говорить о сотворении мира и о незнакомых изделиях, но говорить о женщине, как и говорить о мужчинах, — непонятно и скучно. Имел когда-то Захар Павлович жену; она его любила, а он ее не обижал, — но он не видел от нее слишком большой радости. Многими свойствами наделен человек; если страстно думать над ними, то можно ржать от восторга даже собственного ежесекундного дыхания. Но что тогда получится? Затея и игра в свое тело, а не серьезное внешнее существование.

Захар Павлович сроду не уважал таких разговоров.

Через час машинист вспомнил о своем дежурстве. Захар Павлович и столяр проводили его до паровоза, который вышел из-под заправки. Машинист еще издали служебным басом крикнул своему помощнику:

— Как там пар?

— Семь атмосфер, — ответил без улыбки помощник, высовываясь из окна.

— Вода?

— Нормальный уровень.

— Топка?

— Сифону.

— Отлично.

На другой день Захар Павлович пришел в депо. Машинист-наставник, сомневающийся в живых людях старичок, долго всматривался в него. Он так больно и ревниво любил паровозы, что с ужасом глядел, когда они едут. Если б его воля была, он все паровозы поставил бы на вечный покой, чтоб они не увечились грубыми руками невежд. Он считал, что людей много, машин мало; люди — живые и сами за себя постоят, а машина — нежное, беззащитное, ломкое существо: чтоб на ней ездить исправно, нужно сначала жену бросить, все заботы из головы выкинуть, свой хлеб в нефтепродукт макать — вот тогда человека можно подпускать к машине, и то через десять лет терпения!

Наставник изучал Захара Павловича и мучился:

— Холуй, наверно, — где пальцем надо нажать, он, скотина, кувалдой саданет, где еле-еле следует стеклышко на манометре протереть, он так надавит, что весь прибор с трубкой сорвет, — разве ж допустимо к механизму пахаря подпускать?!

«Боже мой, боже мой, — молча, но сердечно сердился наставник, — где вы, старинные механики, помощники, кочегары, обтирщики? Бывало, близ паровоза люди трепетали, а теперь каждый думает, что он умней машины! Сволочи, святотатцы, мерзавцы, холуи чертовы! По правилу, надо бы сейчас же остановить движение! Какие нынче механики? Это крушение, а не люди! Это бродяги, наездники, лихачи — им болта в руки давать нельзя, а они уже регулятором орудуют! Я, бывало, когда что чуть стукнет лишнее в паровозе на ходу, что-нибудь только запоет в ведущем механизме — так я концом ногтя, не сходя с места, чувствую, дрожу весь от страдания, на первой же остановке губами дефект найду, вылижу, высосу, кровью смажу, а втемную не поеду... А этот изо ржи да прямо на паровоз хочет!»

— Иди домой — рожу сначала умой, потом к паровозу подходи, — сказал наставник Захару Павловичу.

Умывшись, на вторые сутки Захар Павлович явился снова. Наставник лежал под паровозом и осторожно трогал рессоры, легонько постукивая по ним молоточком и прикладываясь ухом к позванивавшему железу.

— Мотя! — позвал наставник слесаря. — Подтяни здесь гаечку на полниточки!

Мотя тронул гайку разводным ключом на полповорота. Наставник вдруг так обиделся, что Захару Павловичу его жалко стало.

— Мотюшка! — с тихой угнетенной грустью сказал наставник, но поскрипывая зубами. — Что ты наделал, сволочь проклятая! Ведь я тебе что сказал: гайку!! Какую гайку? Основную! А ты контргайку мне свернул и с толку меня сбил! А ты контргайку мне осаживаешь! А ты опять-таки контргайку мне трогаешь! Ну что мне с вами делать, звери вы проклятые? Иди прочь, скотина!

— Давайте я, господин механик, контргайку обратно на полповорота отдам, а основную на полнитки прижму! — попросил Захар Павлович.

Наставник отозвался растроганным мирным голосом, оценив сочувствие к своей правоте постороннего человека.

— А? Ты заметил, да? Он же, он же... лесоруб, а не слесарь. Он же гайку, гайку по имени не знает! А? Ну что ты будешь делать? Он тут с паровозом как с бабой обращается, как со шлюхой какой! Господи боже мой!.. Ну пойдн, пойдн сюда — поставь мне гаечку моему...

Захар Павлович подлез под паровоз и сделал все точно и как надо. Затем наставник до вечера занимался паровозами и ссорами с машинистами. Когда зажгли свет, Захар Павлович напомнил наставнику о себе. Тот снова остановился перед ним и думал свои мысли.

— Отец машины — рычаг, а мать — наклонная плоскость, — ласково проговорил наставник, вспоминая что-то задушевное, что давало ему покой по ночам. — Попробуй завтра топки чистить — приди вовремя. Но не знаю, не обещаю — попробуем, посмотрим. Это слишком серьезное дело! Понимаешь: топка! Не что-нибудь, а — топка!.. Ну, иди, иди прочь!

Еще одну ночь проспал Захар Павлович в чулане у столяра, а на заре, за три часа до начала работы, пришел в депо. Лежали обкатанные рельсы, стояли товарные вагоны с надписями дальних стран: Закаспийские, Закавказские, Уссурийские железные дороги. Особые странные люди ходили по путям: умные и сосредоточенные — стрелочники, машинисты, осмотрщики и про-

чие. Кругом были здания, машины, изделия и устройства.

Захару Павловичу представился новый искусный мир — такой давно любимый, будто всегда знакомый, — и он решил навеки удержаться в нем.

За год до недорода Мавра Фетисовна забеременела семнадцатый раз. Ее мужик, Прохор Абрамович Дванов, обрадовался меньше, чем полагается. Наблюдая ежедневно поля, звезды, огромный текущий воздух, он говорил себе: на всех хватит! И жил спокойно в своей хате, кишашей мелкими людьми — его потомством. Хотя жена родила шестнадцать человек, но уцелело семеро, а восьмым был приемыш — сын угонувшего по своему желанию рыбака. Когда жена за руку привела сироту, Прохор Абрамович ничего против не сказал:

— Ну что ж: чем ребят гуще, тем старикам помирать надежней... Покорми его, Мавруша!

Сирота поел хлеба с молоком, потом отодвинулся и зажмурился от чужих людей.

Мавра Фетисовна поглядела на него и вздохнула:

— Новое сокрушение господь послал... Помрет недоростком, должно быть: глазами не живуч; только хлеб будет есть напрасно...

Но мальчик не умирал два года и даже ни разу не болел. Ел он мало, и Мавра Фетисовна смирилась с сиротой.

— Ешь, ешь, родимый, — говорила она, — у нас не возьмешь — у других не схватишь...

Прохор Абрамович давно оробел от нужды и детей и ни на что не обращал глубокого внимания — болеют ли дети или рождаются новые, плохой ли урожай или терпимый, — и поэтому он всем казался добрым человеком. Лишь почти ежегодная беременность жены его немного радовала: дети были его единственным чувством прочности своей жизни — они мягкими маленькими руками заставляли его пахать, заниматься домоводством и всячески заботиться. Он ходил, жил и трудился как сонный, не имея избыточной энергии для внутреннего счастья и ничего не зная вполне определенно. Богу Прохор Абрамович молился, но сердечного расположения к нему не чувствовал; страсти молодости, вроде любви к женщинам, желания хорошей пищи и прочее, — в нем не продолжались, потому что жена была



некрасива, а пища однообразна и непитательна из года в год. Умножение детей уменьшало в Прохоре Абрамовиче интерес к себе; ему от этого становилось как-то прохладней и легче. Чем дальше жил Прохор Абрамович, тем все терпеливей и безотчетней относился ко всем деревенским событиям. Если б все дети Прохора Абрамовича умерли в одни сутки, он на другие сутки набрал бы себе столько же приемышей, а если бы и приемыши погибли, Прохор Абрамович моментально бросил бы свою земледельческую судьбу, отпустил бы жену на волю, а сам вышел босым неизвестно куда — куда, куда всех людей тянет, где сердцу, может быть, также грустно, но хоть ногам и отрадно.

Семнадцатая беременность жены огорчила Прохора Абрамовича по хозяйственным соображениям: в эту осень меньше родилось детей в деревне, чем в прошлую, а главное — не родила тетка Марья, рожавшая двадцать лет ежегодно, за вычетом тех лет, которые наступали перед засухой. Это заметила вся деревня, и, если тетка Марья ходила порожня, мужики говорили: «Ну, Марья нынче девкой ходит — летом голод будет».

В этот год Марья тоже ходила худой и свободной.

— Паруешь, Марь Матвевна? — с уважением спрашивали ее прохожие мужики.

— А что ж! — говорила Марья и с непривычки стыдилась своего холостого положения.

— Ну ничего, — успокаивали ее. — Глядишь, опять скоро сына почнешь: ты на это ухватлива...

— А чего ж зря-то жить, — смелела Марья. — Лишь бы хлеб был.

— Это-то хоть верно, — соглашались мужики. — Бабе родить нетрудно, да хлеб за ней не поспевает... Да ты-то ведьма: ты свою пору знаешь...

Прохор Абрамович сказал жене, что она отяжелела безо времени.

— И-их, Проша, — ответила Мавра Фетисовна, — я рожу, я и с сумой для них пойду, — не ты ведь!

Прохор Абрамович умолк на долгое время.

Настал декабрь, а снегу не было — озимые вымерзли. Мавра Фетисовна родила двоешек.

— Снеслась, — сказал у ее кровати Прохор Абрамович. — Ну и слава богу: что ж теперь делать-го! Должно, эти будут живучие — морщинки на лбу и ручки кулаками.

Приемыш стоял тут же и глядел на непонятное с искаженным постаревшим лицом. В нем поднялась едкая теплота позора за взрослых, он сразу потерял любовь к ним и почувствовал свое одиночество — ему захотелось убежать и спрятаться в овраг. Так же ему было одинаково скучно и страшно, когда он увидел склешенных собак — он тогда два дня не ел, а всех собак разлюбил навсегда. У кровати роженицы пахло говядиной и сырым молочным телком, а сама Мавра Фетисовна ничего не чувала от слабости, ей было душно под разноцветным лоскутным одеялом — она обнажила полную ногу в морщинах старости и материнского жира; на ноге были видны желтые пятна каких-то омертвевших страданий и синие толстые жилы с окоченевшей кровью, туго разросшиеся под кожей и готовые ее разорвать, чтобы выйти наружу: по одной жиле, похожей на дерево, можно чувствовать, как бьется где-то сердце, с усилением прогоняя кровь сквозь узкие обвалившиеся устья тела.

— Что, Саш, загляделся? — спросил Прохор Абрамович у ослабевшего приемыша. — Два братца тебе родилось. Отрежь себе хлеба ломоть и ступай бегать — нынче потеплело...

Саша ушел, не взяв хлеба. Мавра Фетисовна открыла белые жидкие глаза и позвала мужа:

— Проша! С сиротой — десять у нас, а ты двенадцатый...

Прохор Абрамович и сам знал счет:

— Пускай живут, — на лишний рот лишний хлеб растет.

— Люди говорят, голод будет, — не дай бог страсти такой: куда нам деваться с грудными да малолетними?

— Не будет голода, — для спокойствия решил Прохор Абрамович. — Озимые не удадутся, на яровых возьмем.

Озимые и взаправду не удались: они подмерзли еще с осени, а весной окончательно задохнулись под полевою наледью. Яровые то пугали, то радовали, но кое-как дозрели, подарив по десяти пудов с десятины. Старшему сыну Прохора Абрамовича было лет одиннадцать и почти столько же приемышу: кто-то один должен идти побираться, чтобы носить семье помощь хлебными

сухарями. Прохор Абрамович молчал: своего послать жалко, а сироту — стыдно.

— Что ж ты молчишь-то сидишь? — озлобилась Мавра Фетисовна. — Агапка семилетнего отправила. Мишка Дувакин девочку снарядил, а ты все сидишь, идол беззаботный! Пшена-то до рождества не хватит, а хлеба со спаса не видим!..

Весь вечер Прохор Абрамович шил удобный и уместный мешок из старого рядна. Раза два он подзывал Сашу и примеривал к его плечам:

— Ничего? Тут не тянет?

— Ничего, — отвечал Саша.

Семилетний Прошка сидел рядом с отцом и вдевал суровую нитку в иглу, когда она выскакивала, так как сам отец видел неясно.

— Папаньк, завтра Сашку побираться прогонишь? — спросил Прошка.

— Чего ты болтаешь сидишь? — сердился отец. — Вот ты подрастешь — сам попобираешься.

— Я не пойду, — отказался Прошка, — я воровать буду. Помнишь, ты говорил, кобылу у дяди Гришки свели? Они свели, им хорошо, а дядя Гришка мерина опять купил. А я вырасту — украду мерина.

На ночь Мавра Фетисовна накормила Сашу лучше своих кровных детей — дала ему отдельно, после всех, каши с маслом и молока, сколько похует. Прохор Абрамович принес из риги жердь, и, когда все спали, он выделал из нее дорожный посошок. Саша не спал и слушал, как Прохор Абрамович строгаёт палку хлебным ножом. Прошка сопел и ежился от таракана, бродившего у него по шее. Саша снял таракана, но побоялся его убить и бросил с печки на пол.

— Ты, Саш, не спишь? — спросил Прохор Абрамович. — Спи себе, чего ж ты!

Дети просыпались рано, они начинали драться друг с другом в темноте, когда петухи еще дремали, а старики просыпались по второму разу и чесали пролежни. Ни один запор еще не скрипел на деревне, и ничто не верещало в полях. В такой час Прохор Абрамович вывел приемыша за околицу. Мальчик шел сонный, доверчиво ухватив руку Прохора Абрамовича. Было сыро и прохладно; сторож в церкви звонил часы, и от грустного гула колокола мальчик заволновался.

Прохор Абрамович наклонился к сироте:

— Саша, ты погляди туда. Вон, видишь, дорога из деревни на гору пошла — ты все так иди и иди по ней. Увидишь потом громадную деревню и каланчу на бугре — ты не пугайся, а ступай прямо, это тебе повстречается город — а там много хлеба на ссыпках. Как наберешь полную сумку — приходи домой отдыхать... Ну прощай, сынок ты мой!

Саша держал руку Прохора Абрамовича и глядел в серую утреннюю скудость полевой осени.

— Там дожди были? — спросил Саша о далеком городе.

— Сильные! — подтвердил Прохор Абрамович.

Тогда мальчик оставил руку и, не взглянув на Прохора Абрамовича, тихо тронулся один — с сумкой и палкой, разглядывая дорогу на гору, чтобы не потерять своего направления. Мальчик скрылся за церковью и кладбищем, и его долго не было видно. Прохор Абрамович стоял на одном месте и ждал, когда мальчик покажется на той стороне лощины. Одинокие воробьи спозаранку копались на дороге и, видимо, зябли. «Тоже сироты, — думал про них Прохор Абрамович, — кто им кинет чего?»

Саша вошел на кладбище, не сознавая, чего ему хочется. В первый раз он подумал сейчас про себя и тронул свою грудь: вот тут я, — а всюду было чужое и непохожее на него. Дом, в котором он жил, где любил Прохора Абрамовича, Мавру Фетисовну и Прошку, оказался не его домом — его вывели оттуда утром на прохладную дорогу. В полудетской грустной душе, не разбавленной успокаивающей водою сознания, сжалась полная давящая обида, — он чувствовал ее до горла.

Кладбище было укрыто умершими листьями, по их покою всякие ноги сразу затихали и ступали мирно. Всюду стояли крестьянские кресты, многие без имени и без памяти о покойном. Сашу заинтересовали те кресты, которые были самые вежные и тоже собирались упасть и умереть в земле. Могилы без крестов были еще лучше — в их глубине лежали люди, ставшие навеки сиротами: у них тоже умерли матери, а отцы у некоторых утонули в реках и озерах. Могильный бугор отца Саши почти растоптался — через него лежала тропинка, по которой носили новые гробы в глушь кладбища.

Близко и терпеливо лежал отец, не жалуясь, что ему так худо и жутко на зиму оставаться одному. Что

там есть? Там плохо, там тихо и тесно, оттуда не видно мальчика с палкой и нищей сумой.

— Папа, меня прогнали забираться, я теперь скоро умру к тебе — тебе там ведь скучно одному, и мне скучно.

Мальчик положил свой посошок на могилу и заложил его листьями, чтобы он хранился и ждал его.

Саша решил скоро прийти из города, как только наберет полную сумку хлебных корок; тогда он выроет себе землянку рядом с могилой отца и будет там жить, раз у него нету дома.

Прохор Абрамович уже заждался приемыша и хотел уходить. Но Саша перешел через прогоки балочных ручьев и стал подниматься по глинистому взгорью. Он шел медленно и уже устало, зато радовался, что у него скоро будет свой дом и свой отец; пусть отец лежит мертвый и ничего не говорит, но он всегда будет лежать близко, на нем рубашка в теплом поту, у него руки, обнимавшие Сашу в их сне вдвоем на берегу озера; пусть отец мертвый, но он целый, одинаковый и такой же.

«Куда ж у него палка делась?» — гадал Прохор Абрамович.

Утро отсырело, мальчик одолевал скользкий подъем, припадая к нему руками. Сумка болталась широко и просторно, как чужая одежда.

— Ишь ты, сшил я ее как: не по нищему, а по жадности, — поздно упрекал себя Прохор Абрамович. — С хлебом он и не донесет ее... Да теперь все равно: пустой — как-нибудь...

На высоте перелома дороги на ту, невидимую сторону поля мальчик остановился. В рассвете будущего дня, на черте сельского горизонта, он стоял над кажущимся глубоким провалом, на берегу небесного озера. Саша испуганно глядел в пустоту степи: высота, даль, мертвая земля — были влажными и большими, поэтому все казалось чужим и страшным. Но Саше дорого было улететь и вернуться в низину села на кладбище, — там отец, там тесно и все — маленькое, грустное и укрытое землею и деревьями от ветра. Поэтому он поскорее пошел в город за хлебными корками.

Прохору Абрамовичу жалко стало сироту, который скрывался сейчас за спуск дороги: «Ослабнет мальчик от ветра, ляжет в межевую яму и скончается — белый свет не семейная изба».

Прохор Абрамович захотел догнать и вернуть сироту, чтобы умереть всем в куче и в покос, но дома были собственные дети, баба и последние остатки яровых хлебов.

«Все мы хамы и негодяи!» — правильно определил себя Прохор Абрамович, и от этой правильности ему полегчало. В хате он молча скучал целые сутки, занявшись ненужным делом — резьбой по дереву. Он всегда при тяжелой беде отвлекался вырезыванием ельника или несуществующих лесов по дереву — дальше его искусство не развивалось, потому что нож был туп. Мавра Фетисовна плакала с перерывами об ушедшем приеме. У нее умерло восемь человек детей — и по каждому она плакала у печки по трое суток с перерывами. Это было для нее то же, что резьба по дереву для Прохора Абрамовича. Прохор Абрамович уж вперед знал, сколько еще времени осталось Мавре Фетисовне плакать, а ему резать неровное дерево: полтора дня.

Прошка глядел-глядел и зарезновал родителей:

— Чего плачете, Сашка сам вернется. Ты б, отец, лучше валенки мне скатал — тебе Сашка не сын, а сирота. А ты все ножик сидишь тупишь, старый человек.

— Мои милые! — в удивлении остановилась плакать Мавра Фетисовна. — Он как большой балакает — сам гнида, а уж отцу попрек нашел!

Но Прошка был прав: сирота вернулся через две недели. Он так много принес хлебных корок и сухих булок, будто сам ничего не ел. Из того, что он принес, ему тоже ничего не пришлось попробовать, потому что к вечеру Саша лег на печку и не мог согреться — всю его теплоту из него выдули дорожные ветры. В своем забытии он бормотал о палке в листьях и об отце: чтоб отец берег палку и ждал его на озере в землянке, где растут и падают кресты.

Через три недели, когда приемыш выздоровел, Прохор Абрамович взял кнут и пешком пошел в город — стоять на площадях и наниматься на работу.

Прошка два раза ходил следом за Сашей на кладбище. Он увидел, что сирота сам себе руками роет могилу и не может вырыть глубоко. Тогда он принес сироте отцовскую лопату и сказал, что лопатой рыть легче — все мужики ею роют.

— Тебя все едино прогонят со двора, — сообщил про будущее Прошка. — Отец с осени ничего не сеял, а

мамка летом снесется — теперь кабы троих не родила. Верно тебе говорю!

Саша брал лопату, но она была ему не под рост, и он скоро слабел от работы.

Прошка стоял, стыл от редких капель едкого позднего дождя и советовал:

— Широко не рой — гроб покупать не на что, так ляжешь. Скорей управляйся, а то мамка родит, а ты лишний рот будешь.

— Я землянку вырою и буду тут жить, — сказал Саша.

— Без наших харчей? — осведомился Прошка.

— Ну да — безо всего. Купырей летом нарву и буду себе есть.

— Тогда живи, — успокоился Прошка. — А к нам побираться не ходи: нечего подавать.

Прохор Абрамович заработал в городе пять пудов муки, приехал на чужой подводе и лег на печку. Когда половину муки съели, Прошка уже думал, что дальше будет.

— Лежень, — сказал он однажды на отца, глядевшего с печки на одинаково кричавших двошек. — Муку слопаем, а потом с голоду помирать! Нарожал нас — корми теперь!

— Вот остаток от чертей-то! — поругался сверху Прохор Абрамович. — Тебе бы вот отцом-то надо быть, а не мне, мокрый подхлюсток!

Прохор Абрамович слез с печки, обул валенки и поискал чего-то. В хате не было ничего лишнего; тогда Прохор Абрамович взял веник и хлестнул им по лицу Прошки. Прошка не закричал, а сразу лег на лавку вблизи лицом. Прохор Абрамович молча начал пороть его, стараясь накопить в себе злобу.

— Не больно, не больно, все равно не больно! — говорил Прошка, не показывая лица.

После порки Прошка поднялся и без передышки сказал:

— Тогда прогони Сашку, чтоб лишнего рта не было.

Прохор Абрамович измучился больше Прошки и по-нуро сидел у люльки с замолкшими двошками. Он выдрал Прошку за то, что Прошка был прав: Мавра Фегисовна снова затяжелела, озимых же сеять было нечем. Прохор Абрамович жил на свете, как живут гравы на дне ложины: на них сверху весной рушатся та-

лые воды, летом — ливни, в ветер — песок и пыль, зимой их тяжело и душно захлобучивает снег; всегда и ежеминутно они живут под ударами и навалом тяжестей, поэтому травы в лощинах растут горбатыми, готовыми склониться и пропустить через себя беду. Так же наваливались дети на Прохора Абрамовича — труднее, чем самому родиться, и чаще, чем урожай. Если б поле рожало, как жена, а жена не спешила со своим плодородием, Прохор Абрамович давно был бы сытым и довольным хозяином. Но всю жизнь ручьем шли дети и, как ил лошину, погребли душу Прохора Абрамовича под глиняными наносами забот, — от этого Прохор Абрамович почти не ощущал своей жизни и личных интересов; бездетные же свободные люди называли такое забвенное состояние Прохора Абрамовича ленью.

— Прощ, а Прощ! — позвал Прохор Абрамович.

— Чего тебе? — угрюмо сказал Прощка. — Сам бьешь, а потом Прощей зовешь...

— Прощ, сбегай к тетке Марье, погляди — у ней живот вспух аль худой. Чтой-то я давно не встречал ее, либо захворала она?

Прощка был не обидчив и ради своей семьи деловит.

— Мне бы отцом-то быть, а тебе — Прощкой, — оскорбил отца Прощка. — Чего ей в живот глядеть: озимых не сеял — все одно голода жди.

Одев материну шушунку, Прощка продолжал хозяйственно бурчать:

— Брешут мужики. Летось тетка Марья была порожняя, а дожжи были. Вот она и промахнулась — ей бы рожать нахлебника, а она нет.

— Озимя вымерзли, она чуяла, — негромко сказал отец.

— Все детенки матерей сосут, хлеба ничуть не едят, — возразил Прощка. — А мать пускай яровыми кормится... Не пойду я к Марье твоей — будет у ней пузо, ты тогда с печки не слезешь: скажешь — будут травы и яровые хороши. А нам голодать неохота: нарожал нас с мамкой!

Прохор Абрамович молчал. Саша тоже никогда не говорил, когда его не спрашивали. Даже Прохор Абрамович, сам похожий против Прощки на сироту в своем доме, не знал, какой из себя Саша: добрый или нет; ходить побираться он мог от испуга, а что сам думает —

не говорит. Саша же думал мало, потому что считал всех взрослых людей и ребят умнее себя и поэтому боялся их. Больше Прохора Абрамовича он пугался Прошку, который каждую крошку считает и не любит никого за своим двором.

Отставя зад, касаясь травы длинными губительными руками, ходил по селу горбатый человек — Петр Федорович Кондаев. У него давно не было болей в пояснице — стало быть, перемены погоды не предвиделось.

В тот год рано созрело солнце на небе: в конце апреля оно уже грело, как в глубоком июле. Мужики затихли, чуя ногами сухую почву, а остальным телом — прочно успокоившееся пространство смертельной жары. Ребятишки наблюдали горизонты, чтобы вовремя заметить выход дождливой тучи. Но на полевых дорогах поднимались вихревые столбы пыли, и сквозь них проезжали телеги из чужих деревень. Кондаев шел среди улицы на ту сторону села, где жила его душевная забота — полудевушка Настя — пятнадцати лет. Он любил ее тем местом, которое у него часто болело и было чувствительно, как сердце у прямых людей, — поясницей, коренным сломом своего горба. Кондаев видел в засухе удовольствие и надеялся на лучшее. Руки его были постоянно в желтизне и зелени — он ими губил травы на ходу и растирал их в пальцах. Он радовался голоду, который выгонит всех красивых мужиков далеко на заработки, и многие из них умрут, освободив женщин для Кондаева. Под напряженным солнцем, заставлявшим почву гореть и дымить пылью, Кондаев улыбался. Каждое утро он мылся в пруду и ласкал горб ухватистыми надежными руками, способными на неутомимые объятия будущей жены.

«Ничего, — довольствовался сам собою Кондаев. — Мужики тронутся, бабы останутся. Кто меня покусает, тот век не забудет — я ж сухой бык...»

Кондаев гремел породистыми, длинно отросшими руками и воображал, что держит в них Настю. Он даже удивлялся, почему в Насте — в такой слабости ее тела — живет тайная могучая прелесть. От одной думы о ней он вздувался кровью и делался твердым. Чтобы избавиться от притяжения и ощутительности своего воображения, он плыл по пруду и набирал внутрь столько воды, словно в теле его была пещера, а потом выхлес-

гивал воду обратно вместе со слюной любовной слабости.

Возвращаясь домой, Кондаев каждому встречному мужику советовал уходить на заработки.

— Город как крепость, — говорил Кондаев. — Там всего вполне достаточно, а у нас солнце стоит и будет стоять в упор — какой же тебе урожай! Ты опомнись!

— А ты как же, Петр Федорович? — спрашивал мужик про чужую судьбу, чтобы и себе найти ход.

— Я калека, — сообщал Кондаев. — Я одной жалостью смело могу прожить. А вот ты свою бабу уморишь, желвак-человек! Шел бы в отход, а ей хлеб подводами отправлял — прибыльное дело!

— Да, пожалуй, что так и придется, — нехотя вздыхал встречный, а сам надеялся, что как-нибудь дома проживет: капусткой, ягодкой, грибами, разной травкой, а там — видно будет.

Кондаев любил старые плетни, ущелья умерших пней, всякую ветхость, хилость и покорную, еле живую теплоту. Тихое зло его похоти в этих одиноких местах находило свою отраду. Он бы хотел всю деревню затомить до безмолвного, усталого состояния, чтобы без препятствия обнимать бессильные живые существа. В тишине утренних теней Кондаев лежал и предвидел полуразрушенные деревни, заросшие улицы и тонкую почерневшую Настю, бредящую от голода в колкой иссохшей соломе. От одного вида жизни, будь она в травинке или в девушке, Кондаев приходил в тихую ревнивую свирепость; если то была трава, он ее до смерти сминал в своих беспощадных любовных руках, чувствующих любую живую вещь так же жутко и жадно, как девственность женщины; если же то была баба или девушка, Кондаев вперед и навеки ненавидел ее отца, мужа, братьев, будущего жениха и желал им погибнуть или отойти на заработки. Второй голодный год поэтому сильно обнадеживал Кондаева — он считал, что скоро один останется в деревне и тогда залютует над бабами по своему.

От зноя не только растения, но даже хаты и колья в плетнях быстро приходили в старость. Это заметил Саша еще в прошлое лето. Утром он видел прозрачные мирные зори и вспоминал отца и раннее детство на берегу озера Мутево. Под колокол ранней обедни поднималось солнце и в скорое время превращало всю землю

и деревню в старость, в запекающуюся сухую злобу людей.

Прошка залезал на крышу, морщился озабоченным лицом и сторожил небо. Утром он спрашивал у отца одно и то же — не болела ли у него поясница, чтобы переменилась погода, и когда будет месяц обмываться.

Кондаев любил ходить по улице в полдень, наслаждаясь остервенением зудящих насекомых. Однажды он заметил Прошку, выскочившего без порток на улицу, потому что ему показалось, что с неба что-то капнуло.

Избы почти пели от страшной, накаленной солнцем тишины, а солома на крышах почернела и издавала тлеющий запах гари.

— Прошк! — позвал горбатый. — Ты чего небо пашешь? Правда, нынче не особенно холодно?

Прошка понял, что ничего не капнуло, только показало.

— Иди курей чужих щупать, сломатая калека! — обиделся Прошка, когда разочаровался в капле. — Людям остаток жизни пришел, а он рад. Иди у папашки пещуха пощупай!

Прошка попал в Кондаева нечаянно и метко: Кондаев в ответ вскрикнул от чуткой боли и пригнулся к земле, ища камень. Камня не было, и он бросил в Прошку горстью сухого праха. Но Прошка знал все вперед и был уже дома. Горбатый вбежал на двор, шаря на бегу руками по земле. На дороге ему попался Саша, — Кондаев ударил его с навеса суставами пальцев своей худой руки, и у Саши зазвучали кости в голове. Саша упал с полопавшейся кожей под волосами, сразу обмокшими чистой прохладной кровью.

Саша опомнился, но потом снова наполовину забылся и увидел свой сон. Не теряя памяти, что на дворе жарко, что стоит длинный голодный день и что его ударил горбатый, Саша видел отца на озере во влажном тумане: отец скрывался на лодке в мутные места и бросал оттуда на берег оловянное материно кольцо. Саша поднимал кольцо в мокрой траве, а этим кольцом громко бил его по голове горбатый — под треском рассыхающегося неба, из трещин которого вдруг полился черный дождь, — и сразу стало тихо. Но рядом со сном Саша видел продолжающийся день и слышал разговор Прошки с Прохором Абрамовичем.

Кондаев же гнался по гумнам за чужой курицей,

пользуясь безлюдьем и другим горем односельчан. Курицу он не поймал — она от страха залетела на уличное дерево. Кондаев хотел трясти дерево, но заметил проезжего и тихо пошел домой, походкой непричастного человека. Прошка сказал правду: Кондаев любил шупать кур и мог это делать долго, пока курица не начинала от ужаса и боли гадить ему в руку, а иногда бывало, что курица преждевременно выпускала жидкое яйцо; если кругом было малоллюдно, Кондаев глотал из своей горсти недозревшее яйцо, а курице отрывал голову.

Осенью, если был урожайный год, сил в народе оставалось много, и взрослые вместе с ребятами занимались тем, что донимали горбатого:

— Петр Федорыч, пощупай нашего петушка, ради бога!

Кондаев не переносил надруганья и гнался за обидчиком до тех пор, пока не ловил какого-нибудь подростка и не причинял ему легкого увечья.

Саша видел снова один старый день. Ему давно представлялась жара в виде старика, а ночь и прохлада — в виде маленьких девочек и ребят.

В избе было открыто окно, и около печки безвыходно металась Мавра Фетисовна. При всей привычке рожать, ей что-то надоедало внутри.

— Тошнит меня. Трудно мне, Прохор Абрамыч... Ступай за бабкой.

Саша не поднимался из травы до самого звона к вечерне, до длинных грустных теней. Окна в избе заперли и завесили. Бабка вынесла на двор лоханку и выплеснула что-то под плетень. Туда побежала собака и съела все, кроме жидкости. Прошка давно не выходил, хотя он был дома. Другие дети гоняли где-то по чужим дворам. Саша боялся подниматься и идти в избу не вовремя. Тени трав сплотились, легкий низовой ветер, дувший весь день, остановился; бабка вышла в повязанном платке, помолилась с крыльца на темный восток и ушла. Наступила покойная ночь. Сверчок в завалинке попробовал голос и потом надолго запел, обволакивая своей песнью двор, травы и отдаленную изгородь в одну детскую родину, где лучше всего жить на свете. Саша смотрел на измененные тьмою, но сще больше знакомые постройки, плетни, оглобли заросших саней, и ему было жалко их, что они такие же, как он, а молчат, не двигаются и когда-нибудь навсегда умрут.

Саша думал, что если он уйдет отсюда, то без него всему двору станет еще более скучно жить на одном месте, и Саша радовался, что он здесь нужен.

В избе зарыдал новый младенец, заглушая своим голосом, непохожим ни на какое слово, устоявшуюся песню сверчка. Сверчок смолк, тоже, наверное, слушая пугающий крик. Наружу вышел Прошка с мешком Саши, с каким сироту посылали осенью побираться, и с шапкой Прохора Абрамовича.

— Сашка! — прокричал Прошка в ночной задыхающийся воздух. — Беги сюда скорей, дармоед!

Саша был около.

— Чего тебе?

— На, держи, тебе отец шапку подарил. А вот тебе мешок — ходи и не сымай, что наберешь — сам ешь, нам не носи.

Саша взял шапку и мешок.

— А вы тут одни жить останетесь? — спросил Саша, не веря, что его здесь перестали любить.

— А то нет? Знамо, одни! — сказал Прошка. — Опять нахлебник у нас родился, кабы не он, ты бы задаром жил! А теперь ты нам никак не нужен — ты одна обуза, мамка ведь тебя не рожала, ты сам родился...

Саша пошел за калитку. Прошка постоял один и вышел за ворота — напомнить, чтобы сирота больше не возвращался. Сирота никуда еще не ушел — он смотрел на маленький огонь на ветряной мельнице.

— Сашка! — приказал Прошка. — Ты к нам больше не приходи. Хлеб тебе в мешок положили, шапку подарили — ты теперь ступай. Хочешь, на гумне переночуй, а то — ночь. А больше под окна не показывайся, а то отец опомнится...

Саша пошел по улице в сторону кладбища. Прошка затворил ворота, оглядел усадьбу и поднял бесхозяйственную жердь.

— Ну, никак нету дождей! — пожилым голосом сказал Прошка и плюнул сквозь переднюю щербину рта. — Ну никак: хоть ты тут ляжь и рашшибись об землю, идол ее намочи!

Саша прокрался к могиле отца и залег в недорытой пещерке. Среди крестов он боялся идти, но близ отца уснул так же спокойно, как когда-то в землянке, на берегу озера.

Позже на кладбище приходили два мужика и не-

громко обламывали кресты на топливо, но Саша, унесенный сном, ничего не слышал.

Захар Павлович жил, ни в ком не нуждаясь: он мог часами сидеть перед дверцей паровозной топки, в которой горел огонь.

Это заменяло ему великое удовольствие дружбы и беседы с людьми. Наблюдая живое пламя, Захар Павлович сам жил — в нем думала голова, чувствовало сердце и все тело тихо удовлетворялось. Захар Павлович уважал уголь, фасонное железо — всякое спящее сырье и полуфабрикат, но действительно любил и чувствовал лишь готовое изделие — то, во что превратилось посредством труда человека и что дальше продолжает жить самостоятельной жизнью. В обеденные перерывы Захар Павлович не сводил глаз с паровоза и молча переживал в себе любовь к нему. В свое жилище он наносил болтов, старых вентилях, краников и прочих механических изделий. Он расставил их в ряд на столе и предавался загляденью на них, никогда не скучая от одиночества. Одиноким Захар Павлович и не был — машины были для него людьми и постоянно возбуждали в нем чувства, мысли и пожелания. Передний паровозный скат, называемый катушкой, заставил Захара Павловича озаботиться о бесконечности пространства. Он специально выходил ночью глядеть на звезды — просторен ли мир, хватит ли места колесам вечно жить и вращаться? Звезды увлеченно светились, но каждая — в одиночестве. Захар Павлович подумал: на что похоже небо? И вспомнил про узловую станцию, куда его посылали за бандажами. С платформы вокзала виднелось море одиноких сигналов — то были стрелки, семафоры, перепутья, огни предупреждений и сияние прожекторов бегущих паровозов. Небо было таким же, только отдаленней и как-то налаженней в отношении спокойной работы. Потом Захар Павлович стал на глаз считать версты до синей меняющейся звезды: он расставил руки масштабом и умственно прикладывал этот масштаб к пространству. Звезда горела на двухсотой версте. Это его беспокоило, хотя он читал, что мир бесконечен. Он хотел бы, чтобы мир действительно был бесконечен, дабы колеса всегда были необходимы и изготовлялись непрерывно на общую радость, но никак не мог почувствовать бесконечности.

— Сколько верст — неизвестно, потому что далеко! — говорил Захар Павлович. — Но где-нибудь есть тупик и кончается последний вершок... Если бы бесконечность была на самом деле, она бы распустилась сама по себе в большом просторе и никакой твердости не было бы... Ну как — бесконечность? Тупик должен быть!

Мысль, что колесам в конце концов работы не хватит, волновала Захара Павловича двое суток, а затем он придумал растянуть мир, когда все дороги до тупика дойдут, — ведь пространство тоже возможно нагреть и отпустить длиннее, как полосовое железо, — и на этом успокоился.

Машинист-наставник видел любовную работу Захара Павловича — топки очищались им без всяких повреждений металла и до сияющей чистоты, — но никогда не говорил Захару Павловичу доброго слова. Наставник отлично знал, что машины живут и движутся скорее по своему желанию, чем от ума и умения людей; люди здесь ни при чем. Наоборот, доброта природы, энергии и металла портит людей. Любой холуй может огонь в тонке зажечь, но паровоз поедет сам, а холуй — только груз. И если дальше техника так податливо пойдет, то люди от своих сомнительных успехов вырождаются в ржавчину, — тогда их останется передавить работоспособными паровозами и дать машине волю на свете. Однако наставник ругал Захара Павловича меньше других — Захар Павлович бил молотком всегда с сожалением, а не с грубой силой, не плевал на что попало, находясь на паровозе, и не царапал беспощадно тела машины инструментами.

— Господин наставник! — обратился раз Захар Павлович, осмелев ради любви к делу. — Позвольте спросить: отчего человек — так себе: ни плох, ни хорош, а машины равномерно знамениты?

Наставник слушал сердито — он ревновал к посторонним паровозы, считая свое чувство к ним личной привилегией.

«Серый черт, — говорил для себя наставник, — тоже понадобились ему механизмы: господи боже мой!»

Против обоих людей стоял паровоз, который разогревали под ночной скорый поезд. Наставник долго смотрел на паровоз и наполнялся обычным радостным сочувствием. Паровоз стоял великодушный, громадный,

теплый на гармонических перевалах своего величественного высокого тела. Наставник сосредоточился, чувствуя в себе гудящий безотчетный восторг. Ворота депо были открыты в вечернее пространство лета — в смутное будущее, в жизнь, которая может повториться на ветру, в стихийных скоростях на рельсах, в самозабвении ночи. риска и нежного гула точной машины.

Машинист-наставник сжал руки в кулаки от прилива какой-то освиrepевшей крепости внутренней жизни, похожей на молодость и на предчувствие гремящего будущего. Он забыл про низкую квалификацию Захара Павловича и ответил ему, как равному другу:

— Ты вот поработал и поумнел! Но человек — чушь! Он дома валяется и ничего не стоит... Но ты возьми птиц...

Паровоз засифонил и заглушил слова беседы. Наставник и Захар Павлович вышли на вечерний звучный воздух и пошли сквозь строй остывших паровозов.

— Ты возьми птиц! Это прелесть, но после них ничего не остается — потому что они не работают! Видел ты труд птиц? Нету его! Ну, по пище, жилищу они кое-как хлопочут,— ну, а где у них инструментальные изделия? Где у них угол опережения своей жизни? Нету и быть не может.

— А у человека что? — не понимал Захар Павлович.

— А у человека есть машины! Понял? Человек — начало для всякого механизма, а птицы — сами себе конец.

Захар Павлович думал с наставником одинаково, затрудняясь лишь в подборе необходимых слов, что надоедливо тормозило его размышления. Для обоих — и для машиниста-наставника, и для Захара Павловича — природа, не тронутая человеком, казалась мало прелестной и мертвой: будь то зверь или дерево. Зверь и дерево не возбуждали в них сочувствия своей жизни, потому что никакой человек не принимал участия в их изготовлении,— в них не было ни одного сознательного удара и точности мастерства. Они жили самостоятельно, мимо опущенных глаз Захара Павловича. Любые же изделия — особенно металлические,— наоборот, существовали оживленными и даже были по своему устройству и силе интересней и таинственней человека. Захар Павлович много наслаждался одной постоянной мыс-

лю: какой дорогой подспудная кровная сила человека объявляется вдруг в волнующих машинах, которые и по размеру и по смыслу больше мастеровых.

И выходило действительно так, как говорил машинист-наставник: в труде каждый человек превышает себя — делает изделия лучше и долговечней своего житейского значения. Кроме того, Захар Павлович наблюдал в паровозах ту же самую горячую взволнованную силу человека, которая в рабочем человеке молчит без всякого исхода. Обыкновенно слесарь хорошо разговаривает, когда напьется, в паровозе же человек всегда чувствуется большим и страшным.

Однажды Захар Павлович долго не мог сыскать нужного болта, чтобы прогнать резьбу в сорванной гайке. Он ходил по депо и спрашивал: нет ли у кого болта в три осьмушки — под резьбу. Ему говорили, что нет такого болта, хотя такие болты были у каждого. Но дело в том, что на работе слесаря скучали и развлекались взаимным осложнением рабочих забот. Захар Павлович еще не знал того хитрого скрытого веселья, которое есть в любой мастерской. Это негромкое издевательство позволяло остальным мастерам одолевать долготу рабочего дня и тоску повторительного труда. Во имя забавы своих соседей Захар Павлович много дел сработал напрасно. Он ходил за обтирочными концами на склад, когда они лежали горой в конторе; делал деревянные лесенки и бидоны для масла, в избытке имевшиеся в депо; даже хотел, по чужому наущению, самостоятельно менять контрольные пробки в котле паровоза, но был вовремя предупрежден одним случайным кочегаром, — иначе бы Захара Павловича уволили без всякого слова.

Захар Павлович, не найдя в этот раз подходящего болта, принялся приспособливать для прогонки гаечной резьбы один штырь и приспособил бы, потому что никогда не терял терпения, но ему сказали:

— Эй, три осьмушки под резьбу, иди возьми болт!

С того дня Захара Павловича звали прозвищем «Три Осьмушки Под Резьбу», но зато его реже обманывали при срочной нужде в инструментах.

После никто не узнал, что Захару Павловичу имя Три Осьмушки Под Резьбу понравилось больше крестного: оно было похоже на ответственную часть любой машины и как-то телесно приобщало Захара Павлови-

ча к той истинной стране, где железные дюймы побеждают земляные версты.

Когда Захар Павлович был молодым, он думал, что вырастет и поумнеет. Но жизнь прошла без всякого отчета и без остановки, как сплошное увлечение; ни разу Захар Павлович не ощутил времени, как встречной твердой вещи,— оно для него существовало лишь загадкой в механизме будильника. Но когда Захар Павлович узнал тайну маятника, то увидел, что времени нет, есть равномерная тугая сила пружины. Но что-то тихое и грустное было в природе — какие-то силы действовали необратимо. Захар Павлович наблюдал реки — в них не колебались ни скорость, ни уровень воды, и от этого постоянства была стеснительная тоска. Бывали, конечно, полые воды, падали душные ливни, захватывал дыхание ветер, но больше действовала тихая равнодушная жизнь — речные потоки, рост трав, смена времен года. Захар Павлович полагал, что эти равномерные силы всю землю держат в оцепенении — они с заднего хода доказывали уму Захара Павловича, что ничего не изменяется к лучшему — какими были деревни и люди, такими и останутся. Ради сохранения равновесия в природе беда для человека всегда повторяется. Был четыре года назад неурожай — мужики из деревни вышли в отход, а дети легли в ранние могилы,— но эта судьба не прошла навеки, а снова теперь возвратилась ради точности хода всеобщей жизни.

Сколько ни жил Захар Павлович, он с удивлением видел, что он не меняется и не умнеет — остается ровно таким же, каким был в десять или пятнадцать лет. Лишь некоторые его прежние предчувствия теперь стали обыкновенными мыслями, но от этого ничего к лучшему не изменилось. Свою будущую жизнь он раньше представлял синим глубоким пространством — таким далеким, что почти бессмертным. Но Захар Павлович знал вперед, что чем дальше он будет жить, тем это пространство непережитой жизни будет уменьшаться, а позади — удлиняться мертвая растоптанная дорога. И он обманулся: жизнь росла и накоплялась, а будущее впереди тоже росло и простиралось — глубже и таинственней, чем в юности, словно Захар Павлович отступал от конца своей жизни либо увеличивал свои надежды и веру в нее.

Видя свое лицо в стекле паровозных фонарей, Захар

Павлович говорил себе: «Удивительно, я скоро умру, а все тот же».

Под осень участились праздники в календаре: раз случилось три праздника подряд. Захар Павлович скучал в такие дни и уходил далеко по железной дороге, чтобы видеть поезда на полном ходу. По дороге ему пришло желание побывать в поселке на шахтах, где похоронена его мать. Он помнил точно место похорон и чужой железный крест рядом с безыменной безответной могилой матери. На том кресте сохранилась ржавая, почти исчахшая вековая надпись о смерти Ксении Федоровны Ирошниковой в 1813 году от болезни холеры, восемнадцати лет и трех месяцев от роду. Там было еще запечатлено: «Спи с миром, любимая дочь, до встречи младенцев с родителями».

Захару Павловичу сильно захотелось раскопать могилу и посмотреть на мать — на ее кости, волосы и на все последние пропадающие остатки своей детской родины. Он и сейчас не прочь бы иметь живую мать, потому что не чувствовал в себе особой разницы с детством. И тогда, в том голубом тумане раннего возраста, он любил гвозди на заборе, дым придорожных кузниц и колеса на телегах — за то, что они вертелись.

Куда бы ни уходил из дома маленький Захар Павлович, он знал, что есть мать, которая его вечно ждет, и он ничего не боялся.

Линию железной дороги защищал с обеих сторон кустарник. Иногда в тени кустарника сидели нищие; они либо ели, либо переобувались. Они видели, как с большими скоростями вели поезда торжествующие паровозы. Но ни один нищий не знал, отчего едет сам паровоз. Даже более простое соображение — для какого счастья они живут — тоже не приходило в голову нищим. Какая вера — надежда — любовь давала силу их ногам на песчаных дорогах — ни одному подающему милостыню не было известно. Захар Павлович опускал иногда в протянутую руку две копейки, без рассуждения оплачивая то, чего нищие были лишены и чем он был вознагражден, — понимание машин.

На откосе сидел лохматый мальчик и сортировал подаяние: плесень откладывал отдельно, а более свежее — в сумку. Мальчик был телом худ, но лицом бодр и озабочен.

Захар Павлович остановился, покуривая на свежем воздухе ранней осени.

— Отбраковываешь?

Мальчик не понял технического слова.

— Дядь, дай копейку,— сказал он,— иль докурить оставь!

Захар Павлович вынул пятак.

— Ты небось жулик и охальник,— без зла сказал он, уничтожая добро своего подаяния грубым словом, чтобы самому не было стыдно.

— Не, я не жулик, а побирушка,— ответил мальчик, утрамбовывая корки в мешке.— У меня мать-отец есть, только они от голода скрылись.

— А куда же ты пуд харчей запаковал?

— Домой собираюсь наведаться. Вдруг мать с ребяташками пришла — чего тогда им есть?

— А ты сам-то чей?

— Я отцовский, я не круглая сирота. Вон те — все жулики, а меня отец порол.

Мальчик загорюнился от недовольства на отца. Пятак он давно спрятал в кисет, висящий на шее; в кисете было еще порядочно медных денег.

— Уморился небось?— спросил Захар Павлович.

— Ну да, уморился,— согласился мальчик.— Разве у вас, чертей, сразу напобираешься? Брешешь, брешешь, аж есть захочешь! Пятак подал, а самому, должно, жалко! Я б ни за что не дал.

Мальчик взял заплесневелый ломоть из кучки порченого хлеба; очевидно, лучший хлеб он сносил в деревню родителям, а плохой ел сам. Это мгновенно понравилось Захару Павловичу.

— Небось отец тебя любит?

— Ничего он не любит — он лежень. Я мать больше люблю.

— А отец твой кто?

— Дядя Прошка. Я ведь не здешний...

В памяти Захара Павловича нечаянно встал подсолнух, растущий из дымохода покинутой хаты, и рощи бурьяна на деревенской улице.

— Так ты Прошка Дванов, сукин сын!

Мальчик вывалил изо рта непрожеванную хлебную зелень, но не бросил ее, а положил на мешок: потом дожует.

— А ты нито дядя Захарка?

— Он!

Захар Павлович сел. Он теперь почувствовал время, как путешествие Прошки от матери в чужие города. Он увидел, что время — это движение горя и такой же осязательный предмет, как любое вещество, хотя бы и негодное в отделку.

Какой-то малый, похожий на лишенного звания монастырского послушника, не прошел мимо своей дорогой, а сел и уставился глазами на двоих собеседников. Губы у него были красные, сохранившие с младенчества одутловатую красоту, а глаза смиренные, но без резкого ума — таких лиц не бывает у простых людей, при-
выкших перехитрять свою непрерывную беду.

Прошку взволновал прохожий, особенно своими губами.

— Чего губы оттопырил. Руку мою поцеловать хочешь?

Послушник поднялся и пошел в свою сторону, про которую и сам точно не знал — где она находится.

Прошка это сразу почуял и сказал вслед послушнику:

— Пошел. А куда пошел — сам не знает. Поверни его, он назад пойдет: вот черти-нахлебники!

Захар Павлович немного смущался раннего разума Прошки, — сам он поздно освоился с людьми и долго считал их умнее себя.

— Прош! — спросил Захар Павлович. — А куда девался маленький мальчик — рыбацкая сирота? Его твоя мать подобрала.

— Сашка, что ль? — догадался Прошка. — Он вперед всех из деревни убег! Это такой сатаноид — житья от него не было! Украл последнюю коврижку хлеба и скрылся на ночь! Я гнался-гнался за ним, а потом сказал: пускай, и ко двору воротился...

Захар Павлович поверил и задумался.

— А где отец твой?

— Отец в отход ушел. А мне все семейство кормить наказал. Набрал я по людям хлеба, пришел на свою деревню, а там ни матери, ни ребят. А вместо народа крапива в хатах растет...

Захар Павлович отдал Прошке полтинник и попросил наведаться еще, когда будет в городе.

— Ты бы мне картуз отдал! — сказал Прошка. — Те-

бе все равно ничего не жалко. А то мне голову дожди моют, я могу остудиться.

Захар Павлович отдал фуражку, сняв с нее железнодорожный значок, который ему был дороже головного убора.

Прошел поезд дальнего следования, и Прошка поднялся поскорей уходить, чтобы Захар Павлович не отнял обратно денег и фуражки. Картуз Прошке пришелся на лохматую голову как раз, но Прошка его только померил, а затем снял и завязал в сумку с хлебом.

— Ну, прощай. Иди с богом,— сказал Захар Павлович.

— Тебе хорошо говорить — ты всегда с хлебом,— упрекнул Прошка.— А у нас и того нет.

Захар Павлович не знал, что дальше сказать — денег у него больше не было.

— Намедни я Сашку в городе встретил,— проговорил Прошка.— Тот, идол, совсем скоро издохнет: никто ему ничего не подает, он побираться не смел. Я ему дал порцию, а сам не ел. Ты небось мамке его подкинул — теперь давай денег за Сашку!— кончил Прошка серьезным голосом.

— Ты Сашку как-нибудь ко мне приведи,— ответил Захар Павлович.

— А что дашь?— заранее спросил Прошка.

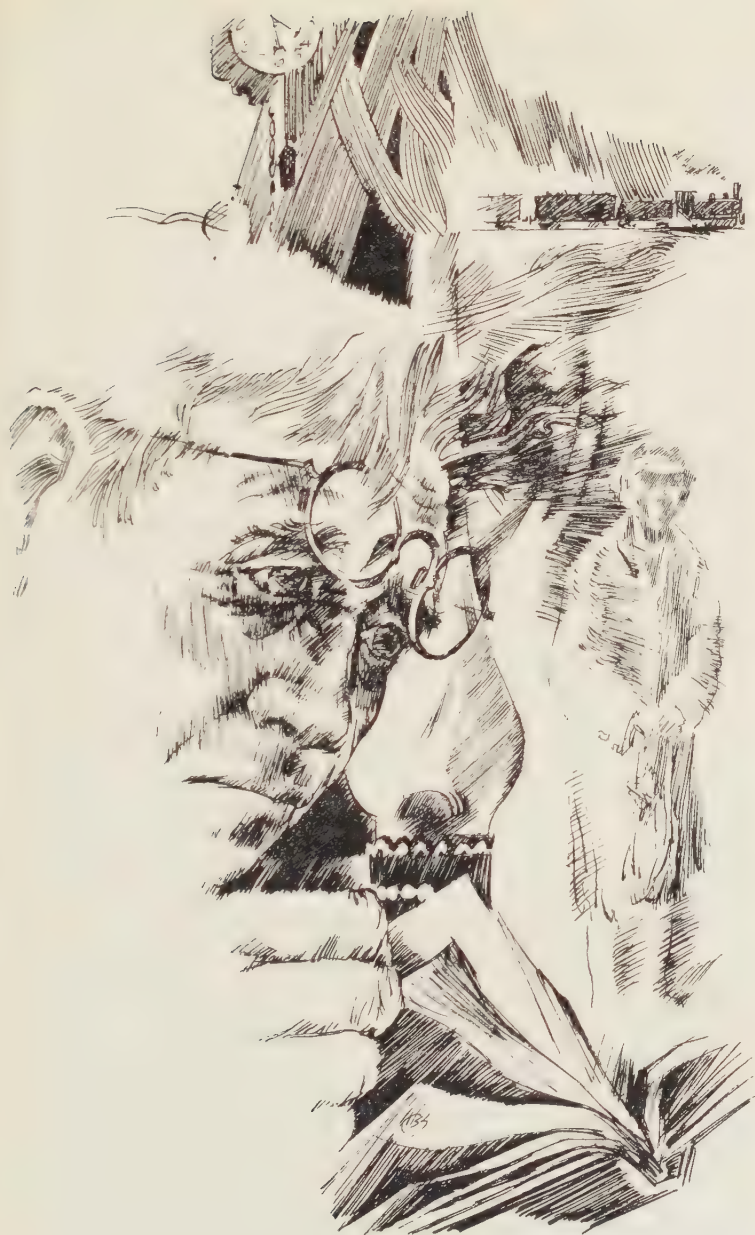
— Получка будет — рублевку дам.

— Ладно,— сказал Прошка.— Это я тебе его приведу. Только ты его не приучай, а то он тебя охомутирует.

Прошка пошел не туда, где была дорога на его деревню. Наверно, у него имелись свои расчеты и свои дальновидные планы на хлебные доходы.

Захар Павлович последил за ним глазами и с чего-то усомнился в драгоценности машин и изделий выше человеческого человека.

Прошка уходил все дальше, и все жалостней становилось его мелкое тело в окружении улегшейся огромной природы. Прошка шел пешком по железной дороге — по ней ездили другие; она его не касалась и не помогала ему. Он смотрел на мосты, рельсы и паровозы одинаково безучастно, как на придорожные деревья, ветры и пески. Всякое искусственное сооружение для Прошки было лишь видом природы на чужих земельных наделах. Посредством своего живого рассуждающего ума



Прошка кое-как напряженно существовал. Едва ли он полностью чувствовал свой ум — это видно из того, что он говорит неожиданно, почти бессознательно и сам удивляется своим словам, разум которых выше его детства.

Прошка пропал на закруглении линии — один, маленький и без всякой защиты. Захар Павлович хотел вернуть его к себе навсегда, но далеко было догонять.

Утром Захару Павловичу не так хотелось идти на работу, как обыкновенно. Вечером он затосковал и лег сразу спать. Болты, краны и старые манометры, что всегда хранились на столе, не могли рассеять его скуки — он глядел на них и не чувствовал себя в их обществе. Что-то сверлило внутри его, словно скрежетало сердце на обратном, непривычном ходу. Захар Павлович никак не мог забыть маленького худого тела Прошки, бредущего по линии в даль, загроможденную крупной, будто обвалившейся, природой. Захар Павлович думал без ясной мысли, без сложности слов — одним нагревом своих впечатлительных чувств, и этого было достаточно для мучений. Он видел жалобность Прошки, который сам не знал, что ему худо, видел железную дорогу, работающую отдельно от Прошки и от его хитрой жизни, и никак не мог понять — что здесь отчего, только скорбел без имени своему горю.

На следующий день — третий после встречи Прошки — Захар Павлович не дошел до депо. Он снял номер в проходной будке и затем повесил его обратно. День он провел в овраге, под солнцем и паутиной бабьего лета. Он слышал гудки паровозов и шум их скорости, но не вылезал глядеть, не чувствуя больше уважения к паровозам.

Рыбак утонул в озере Мутево, бобыль умер в лесу, пустое село заросло кущами трав, но зато шли часы церковного сторожа, ходили поезда по расписанию — и было теперь Захару Павловичу скучно и стыдно от правильности действий часов и поездов.

«Что бы наделал Прошка в моих летах и разуме? — обсуждал свое положение Захар Павлович. — Он бы нарушил что-нибудь, сукин сын!.. Хотя Сашка и при его царстве побирался бы».

Тот теплый туман любви к машинам, в котором покойно и надежно жил Захар Павлович, сейчас был разнесен чистым ветром, и перед Захаром Павловичем от-

крылась беззащитная одинокая жизнь людей, живших голыми, без всякого обмана себя верой в помощь машин.

Машинист-наставник понемногу перестал ценить Захара Павловича. «Я,— говорит,— серьезно допустил, что ты отродье старинных мастеров, а ты так себе — чернорабочая сила, шлак из-под бабы!»

Захар Павлович от душевного смущенья действительно терял свое усердное мастерство. Из-за одной денежной платы оказалось трудным правильно ударить даже по шляпке гвоздя. Машинист-наставник знал это лучше всех — он верил, что, когда исчезнет в рабочем влекущее чувство к машине, когда труд из безотчетной бесплатной натуры станет одной денежной нуждой,— тогда наступит конец света, даже хуже конца: после смерти последнего мастера оживут последние сволочи, чтобы пожирать растения солнца и портить изделия мастеров.

Сын любопытного рыбака был настолько кроток, что думал, что все в жизни происходит взаправду. Когда ему отказывали в подаении, он верил, что все люди не богаче его. Спасся от смерти он тем, что у одного молодого слесаря заболела жена, и слесарю не с кем было оставлять жену, когда он уходил на работу. А жена его боялась одна оставаться в комнате и слишком скучала. Слесарю понравилась какая-то прелесть в почерневшем от усталости мальчугане, нищенствовавшем без всякого внимания к подаению. Он его посадил дежурить около больной женщины, которая ему не перестала быть милее всех.

Саша целыми днями сидел на табуретке, в ногах больной, и женщина ему казалась такой же красивой, как его мать в воспоминаниях отца. Поэтому он жил и помогал больной с беззаветностью позднего детства, никем раньше не принятого. Женщина полюбила его и называла Александром, не привыкнув быть госпожой. Но скоро она выздоровела, и ее муж сказал Саше: «На тебе, мальчик, двадцать копеек, ступай куда-нибудь».

Саша взял непривычные деньги, вышел на двор и заплакал. Близ уборной, верхом на мусоре, сидел Прошка и копался руками под собой. Он теперь собирал кости, тряпки и жесь, курил и постарел лицом от праховой пыли мусорных куч.

— Ты опять плачешь, гундосый черт?— не прерывая

работы, спросил Прошка.— Пойди поройся, а я чаю попить сбегаю: нынче соленое ел.

Но Прошка пошел не в трактир, а к Захару Павловичу. Тот читал книгу вслух от своей малограмотности: «Граф Виктор положил руку на преданное храброе сердце и сказал: я люблю тебя, дорогая...»

Прошка сначала послушал — думал, что это сказка, а потом разочаровался и сразу сказал:

— Захар Палыч, давай рубль, я тебе сейчас Сашку-сироту приведу!

— А?!— испугался Захар Павлович. Он обернулся своим печальным старым лицом, которое бы и теперь любила жена, если бы она жива была.

Прошка снова назначил цену за Сашку, и Захар Павлович отдал ему рубль, потому что он был теперь и Сашке рад. Столяр съехал с квартиры на шпалопропиточный завод, и Захару Павловичу досталась пустота двух комнат. В последнее время хотя и беспокойно, но забавно было жить с сыновьями столяра; они возмужали настолько, что не знали места своей силе и несколько раз нарочно поджигали дом, но всегда живьем тушили огонь, не дав ему полностью разгореться. Отец на них серчал, а они говорили ему: «Чего ты, дед, огня боишься? Что сгорит, то не сгниет! Тебя бы, старого, сжечь надо — в могиле гнить не будешь и не провоняешь никогда!»

Перед отъездом сыновья повалили будку уборной и отрубили хвост дворовому псу.

Прошка не сразу отправился к Сашке: сначала он купил пачку папирос «Землячок» и запросто побеседовал с бабами в лавке. Потом Прошка возвратился к мусорной куче.

— Сашка,— сказал он.— Пойдем, я тебя отведу, чтоб ты больше мне не навязывался!

В следующие годы Захар Павлович все более приходил в упадок. Чтобы не умереть одному, он завел себе невеселую подругу — жену Дарью Степановну. Ему легче было полностью не чувствовать себя: в депо мешала работа, а дома зудела жена. В сущности, такая двухсменная суета была несчастьем Захара Павловича, но если бы она исчезла, то Захар Павлович ушел бы в босяки. Машины и изделия его уже перестали горячо интересоваться: во-первых, сколько ни работал он, все равно люди жили бедно и жалобно; во-вторых, мир заволакивался

какой-то равнодушной грезой — наверно, Захар Павлович слишком утомился и действительно предчувствовал свою тихую смерть. Так бывает под старость со многими мастеровыми: твердые вещества, с которыми они имеют дело целые десятилетия, тайно обучают их непреложности всеобщей гибельной судьбы. На их глазах выходят из строя паровозы, преют годами под солнцем, а потом идут в лом. В воскресные дни Захар Павлович ходил на реку ловить рыбу и додумывать последние мысли.

Дома его утешеннем был Саша. Но и на этом утешении мешала сосредоточиться постоянно недовольная жена. Может быть, это вело к лучшему: если бы Захар Павлович мог до конца сосредоточиться на увлекавших его предметах, он бы, наверное, заплакал.

В такой рассеянной жизни прошли целые годы. Иногда, наблюдая с койки читающего Сашу, Захар Павлович спрашивал:

— Саш, тебя ничего не мучает?

— Нет,— говорил Саша, привыкший к обычаям приемного отца.

— Как ты думаешь,— продолжал свои сомнения Захар Павлович,— всем обязательно нужно жить или нет?

— Всем,— отвечал Саша, немного понимая тоску отца.

— А ты нигде не читал: для чего?

Саша оставлял книгу.

— Я читал, что чем дальше, тем лучше будет жить.

— Ага!— доверчиво говорил Захар Павлович.— Так и напечатано?

— Так и напечатано.

Захар Павлович вздыхал:

— Все может быть. Не всем дано знать.

Саша уже год работал учеником в депо, чтобы выучиться на слесаря. К машинам и мастерству его влекло, но не так, как Захара Павловича. Его влечение не было любопытством, которое кончалось вместе с открытием секрета машины. Сашу интересовали машины наравне с другими действующими и живыми предметами: он скорее хотел почувствовать их, пережить их жизнь, чем узнать. Поэтому, возвращаясь с работы, Саша воображал себя паровозом и производил все звуки, какие издает паровоз на ходу. Засыпая, он думал, что куры в деревне давно спят, и это сознание общности с курами или паровозом давало ему удовлетворение. Саша не мог по-

ступить в чем-нибудь отдельно: сначала он искал подобие своему поступку, а затем уже поступал, но не по своей необходимости, а из сочувствия чему-нибудь или кому-нибудь.

«Я так же, как он», — часто говорил себе Саша. Глядя на давний забор, он думал задушевым голосом: «Стоит себе!» — и тоже стоял где-нибудь без всякой нужды. Когда осенью заунывно поскрипывали ставни и Саше было скучно сидеть дома вечерами, он слушал ставни и чувствовал: им тоже скучно! — и переставал скучать.

Когда Саше надоело ходить на работу, он успокаивал себя ветром, который дул день и ночь.

«Я так же, как он», — видел ветер Саша, — я работаю хоть один день, а он и ночь — ему еще хуже».

Поезда начали ходить очень часто — это наступила война. Мастеровые остались к войне равнодушны — их на войну не брали, и она им была так же чужда, как паровозы, которые они чинили и заправляли, но которые возили незнакомых незанятых людей.

Саша монотонно чувствовал, как движется солнце, проходят времена года и круглые сутки бегут поезда. Он уже забывал отца-рыбака, деревню и Прошку, идя вместе с возрастом навстречу тем событиям и вещам, которые он должен еще перечувствовать, пропустив внутрь своего тела. Себя самого, как самостоятельный, твердый предмет, Саша не сознавал — он всегда воображал что-нибудь чувством, и это вытесняло из него представление о самом себе. Жизнь его шла безотвязно и глубоко, словно в теплой тесноте материнского сна. Им владели внешние видения, как владеют свежие страны путешественником. Своих целей он не имел, хотя ему минуло уже шестнадцать лет, зато он без всякого внутреннего сопротивления сочувствовал любой жизни — слабости хилых дворовых трав и случайному ночному прохожему, кашляющему от своей бесприютности, чтобы его услышали и пожалели. Саша слушал и жалел. Он наполнялся тем темным воодушевленным волнением, какое бывает у взрослых людей при единственной любви к женщине. Он выглядывал в окно за прохожим и воображал о нем, что мог. Прохожий скрывался в глуши тьмы, шурша на ходу тротуарными камешками, еще более безымянными, чем он сам. Дальние собаки лаяли страшно и гулко, а с неба изредка падали усталые звезды. Может быть, в самой гуще но-

чи, среди прохладного ровного поля, шли сейчас куда-нибудь странники, и в них тоже, как и в Саше, тишина и погибающие звезды превращались в настроение личной жизни.

Захар Павлович ни в чем не мешал Саше — он любил его всею преданностью старости, всем чувством каких-то безотчетных, неясных надежд. Часто он просил Сашу почитать ему о войне, так как сам при лампе не разбирал букв.

Саша читал про битвы, про пожары городов и страшную трату металла, людей и имущества. Захар Павлович молча слушал, а в конце концов говорил:

— Я все живу и думаю: да неужели человек человеку так опасен, что между ними обязательно власть должна стоять? Вот из власти и выходит война... А я хожу и думаю, — что война — это нарочно властью выдумано: обыкновенный человек так не может...

Саша спрашивал, как же должно быть.

— Так, — отвечал Захар Павлович и возбуждался. — Иначе как-нибудь. Послали бы меня к германцу, когда ссора только что началась, я бы враз с ним уговорился, и вышло бы дешевле войны. А то умнейших людей послали!

Захар Павлович не мог себе представить такого человека, с каким нельзя бы душевно побеседовать. Но там наверху — царь и его служащие — едва ли дураки. Значит, война — это не серьезное, а нарочное дело. И здесь Захар Павлович становился в тупик: можно ли по душам говорить с тем, кто нарочно убивает людей, или у него прежде надо отнять вредное оружие, богатство и достоинство?

В первый раз Саша увидел убитого человека в своем же депо. Шел последний час работы — перед самым гудком. Саша набивал сальники в цилиндрах, когда два машиниста внесли на руках бледного наставника, из головы которого густо выжималась и капала на мазутную землю кровь. Наставника унесли в контору и от туда стали звонить по телефону в приемный покой. Сашу удивило, что кровь была такая красная и молодая, а сам машинист-наставник такой седой и старый: будто внутри он был еще ребенком.

— Черти! — ясно сказал наставник. — Помажьте мне голову нефтью, чтоб кровь-то хоть остановилась!

Один кочегар быстро принес ведро нефти, окунул в

нее обтирочные концы и помазал ими жирную от крови голову наставника. Голова стала черная, и от нее пошло видимое всем испарение.

— Ну вот, ну вот! — поощрил наставник. — Вот мне и полегчало. А вы думали, я умру? Рано еще, сволочи, ликовать...

Наставник понемногу ослаб и забылся. Саша разглядел ямы в его голове и глубоко забившиеся туда, вдавленные, уже мертвые волосы. Никто не помнил своей обиды против наставника, несмотря на то, что ему и сейчас болт был дороже и удобней человека.

Захар Павлович, стоявший здесь же, насильно держал открытыми свои глаза, чтобы из них не падали во всеуслышание слезы. Он снова видел, что как ни зол, как ни умен и храбр человек, а все равно грустен и жалок и умирает от слабости сил.

Наставник вдруг открыл глаза и зорко вгляделся в лица подчиненных и товарищей. Во взоре его еще блеснула ясная жизнь, но он уже томился в туманном напряжении, а побелевшие веки закатывались в подбровную глазницу.

— Чего плачете? — с остатком обычного раздражения спросил наставник. Никто не плакал — у одного Захара Павловича из витаращенных глаз шла по щекам грязная невольная влага. — Чего вы стоите и плачете, когда гудка не было!

Машинист-наставник закрыл глаза и подержал их в нежной тьме; никакой смерти он не чувствовал — прежняя теплота тела была с ним, только раньше он ее никогда не ощущал, а теперь будто купался в горячих обнаженных соках своих внутренностей. Все это уже случилось с ним, но очень давно, и где — нельзя вспомнить. Когда наставник снова открыл глаза, то увидел людей, как в волнующейся воде. Один стоял низко над ним, словно безногий, и закрывал свое обиженное лицо грязной, испорченной на работе рукой.

Наставник рассердился на него и поспешил сказать, потому что вода над ним уже смеркалась:

— Плачет чего-то, а Гераська опять, скотина, котел сжег... Ну, чего плачет? Нового человека соберись и сделай...

Наставник вспомнил, где он видел эту тихую горячую тьму: это просто теснота внутри его матери, и он снова всовывается меж ее расставленных костей, но не может

пролезть от своего слишком большого старого роста...

— Нового человека соберись и сделай... Гайку, сволочь, не сумеешь, а человека моментально...

Здесь наставник втянул воздух и начал что-то сосать губами. Видно было, что ему душно в каком-то узком месте, — он толкался плечами и силился навсегда поместиться.

— Просуньте меня поглубже в трубу, — прошептал он опухшими детскими губами, ясно сознавая, что он через девять месяцев снова родится. — Иван Сергеевич, позови Три Осьмушки Под Резьбу, — пусть он, голубчик, контргачкой меня зажмет...

Носилки принесли поздно. Ни к чему было нести машиниста-наставника в приемный покой.

— Несите человека домой, — сказали мастеровые врачу.

— Никак нельзя, — ответил врач. — Он нам для протокола необходим.

В протоколе написали, что старший машинист-наставник получил смертельные ушибы при перегонке холодного паровоза, сцепленного с горячим пятисаженым стальным тросом. При переходе стрелки трос коснулся путевого фонарного столба, который упал и повредил своим кронштейном голову наставника, наблюдавшего с тендера тягового паровоза за прицепной машиной. Происшествие имело место благодаря неосторожности самого машиниста-наставника, а также вследствие несоблюдения надлежащих правил службы движения и эксплуатации.

Захар Павлович взял Сашу за руку и пошел из депо домой. Жена за ужином сказала, что мало продают хлеба и нет нигде говядины.

— Ну и порем, только и делов, — ответил без сочувствия Захар Павлович. Для него весь житейский обиход потерял важное значение.

Для Саши — в ту пору его ранней жизни — в каждом дне была своя, безыменная прелесть, не повторявшаяся в будущем; образ машиниста-наставника ушел для него в сон воспоминаний. Но у Захара Павловича уже не было такой самозарастающей силы жизни: он был стар, а этот возраст нежен и обнажен для гибели наравне с детством, и он горевал о наставнике всю остальную жизнь.

Больше ничто не тронуло Захара Павловича в сле-

дующие годы. Только по вечерам, когда он глядел на читающего Сашу, в нем поднималась жалость к нему. Захар Павлович хотел бы сказать Саше: не томись за книгой — если бы там было что серьезное, давно бы люди обнялись друг с другом. На самом же деле Захар Павлович ничего не говорил, хотя в нем постоянно шевелилось что-то простое, как радость, но ум мешал ей высказаться. Он тосковал о какой-то отвлеченной успокоительной жизни на берегах гладких озер, где бы дружба отменила все слова и всю премудрость смысла жизни.

Захар Павлович терялся в своих догадках; всю жизнь его отвлекали случайные интересы, вроде машин и изделий, и только теперь он опомнился: что-то должна прошептать ему на ухо мать, когда кормила его грудью, что-то такое же кровно необходимое, как ее молоко, вкус которого теперь навсегда забыт. Но мать ничего ему не прошептала, а самому по весь свет нельзя сообразить. И поэтому Захар Павлович стал жить смиренно, уже не надеясь на всеобщее коренное улучшение: сколько бы ни делать машин — на них не ездить ни Прошке, ни Сашке, ни ему самому. Паровозы работают либо для посторонних людей, либо для солдат, но их везут насильно. Машина сама — тоже не своевольное, а безответное существо. Ее теперь Захар Павлович больше жалел, чем любил, и даже говорил в депо паровозу с глазу на глаз:

— Поедешь? Ну, поезжай! Ишь как дышла свои разработал — должно быть, тяжела пассажирская сволочь.

Паровоз хотя и молчал, но Захар Павлович его слышал. «Колосники затекают — уголь плохой, — грустно говорил паровоз. — Тяжело подъемы брать. Баб тоже много к мужьям на фронт ездят, а у каждой по три пуда пышек. Почтовых вагонов, опять-таки, теперь два цепляют, а раньше — один, — люди в разлуке живут и письма пишут».

— Ага, — задумчиво беседовал Захар Павлович и не знал, чем же помочь паровозу, когда люди непосильно нагружают его весом своей разлуки. — А ты особо не тужись — тяни спрехвала.

«Нельзя, — с кротостью разумной силы отвечал паровоз. — Мне с высоты насыпи видны многие деревни: там люди плачут — ждут писем и раненых родных. Посмот-

ри мне в сальник — туго затянули, поршневою скалку нагреду на ходу».

Захар Павлович шел и отдавал болты на сальнике.

— Действительно, затянули, сволочи,— разве ж так можно!

— Чего ты там возишься?— спрашивал дежурный механик, выходя из конторы:— Тебя очень просили копаться там? Скажи — да или нет?

— Нет,— укрощенно говорил Захар Павлович.— Мне показалось, туго затянули...

Механик не сердился.

— Ну и не трожь, раз тебе показалось. Их как ни затяни — все равно на ходу парят.

После паровоз тихо бурчал Захару Павловичу:

«Дело не в затяжке — там шток посередине разработан, оттого и сальники парят. Разве я сам хочу это делать?»

— Да я видел,— вздыхал Захар Павлович. — Но я ведь обтирщик — сам знаешь, мне не верят.

«Вот именно!» — густым голосом сочувствовал паровоз и погружался во тьму своих охлажденных сил.

— Я ж и говорю!— поддакивал Захар Павлович.

Когда Саша поступил на вечерние курсы, то Захар Павлович про себя обрадовался. Он всю жизнь прожил своими силами, без всякой помощи, никто ему ничего не подсказывал — раньше собственного чувства, а Саше книги чужим умом говорят.

— Я мучился, а он читает — только и всего!— завидовал Захар Павлович.

Почитав, Саша начинал писать. Жена Захара Павловича не могла уснуть при лампе.

— Все пишет,— говорила она.— А чего пишет?

— А ты спи,— советовал Захар Павлович.— Закрой глаза кожей — и спи!

Жена закрывала глаза, но и сквозь веки видела, как напрасно горит керосин. Она не ошиблась — действительно, зря горела лампа в юности Александра Дванова, освещая раздражающие душу страницы книг, которым он позднее все равно не последовал. Сколько он ни читал и ни думал, всегда у него внутри оставалось какое-то порожнее место — та пустота, сквозь которую тревожным ветром проходит неописанный и нерасказанный мир. В семнадцать лет Дванов еще не имел брони над сердцем — ни веры в бога, ни другого ум-

ственного покоя; он не давал чужого имени открывающейся перед ним безыменной жизни. Однако он не хотел, чтобы мир остался ненареченным,— он только ожидал услышать его собственное имя из его же уст, вместо нарочно выдуманных прозваний.

Однажды он сидел ночью в обычной тоске. Его не закрытое верой сердце мучилось в нем и желало себе утешения. Дванов опустил голову и представил внутри своего тела пустоту, куда непрестанно, ежедневно входит, а потом выходит жизнь, не задерживаясь, не усиливаясь, ровная, как отдаленный гул, в котором невозможно разобрать слова песни.

Саша почувствовал холод в себе, как от настоящего ветра, дующего в просторную тьму позади него, а впереди, откуда рождался ветер, было что-то прозрачное, легкое и огромное — горы живого воздуха, который нужно превратить в свое дыхание и сердцебиение. От этого предчувствия заранее захватывало грудь, и пустота внутри тела еще более разжималась, готовая к захвату будущей жизни.

— Вот это я!— громко сказал Александр.

— Кто ты?— спросил неспавший Захар Павлович.

Саша сразу смолк, объятый внезапным позором, унесшим всю радость его открытия. Он думал, что сидит одиноким, а его слушал Захар Павлович.

Захар Павлович это заметил и уничтожил свой вопрос равнодушным ответом самому себе:

— Чтец ты — и больше ничего... Ложись лучше спать, уже поздно...

Захар Павлович зевнул и мирно сказал:

— Не мучайся, Саш, ты и так слабый... И этот в воде из любопытства утонет,— прошептал для себя Захар Павлович под одеялом.— А я на подушке задохнусь. Одно и то же.

Ночь продолжалась тихо — из сеней было слышно, как кашляют сцепщики на станции. Кончался февраль, уже обнажились бровки на канавах с прошлогодней травой, и на них глядел Саша, словно на сотворение земли. Он сочувствовал появлению мертвой травы и рассматривал ее с таким прилежным вниманием, какого не имел по отношению к себе.

Он до теплокровности мог ощутить чужую отдаленную жизнь, а самого себя воображал с трудом. О себе он только думал, а постороннее чувствовал с впечат-

лительностью личной жизни и не видел, чтобы у кого-нибудь это было иначе.

Захар Павлович однажды разговорился с Сашей, как равный человек.

— Вчера котел взорвался у паровоза серии Ще,— говорил Захар Павлович.

Саша это уже знал.

— Вот тебе и наука,— огорчился по этому и по какому-то другому поводу Захар Павлович.— Паровоз только что с завода пришел, а заклепки к черту!.. Никто ничего серьезного не знает — живое против ума прет...

Саша не понимал разницы между умом и телом и молчал. По словам Захара Павловича выходило, что ум — это слабосудная сила, а машины изобретены сердечной догадкой человека — отдельно от ума.

Со станции иногда доносился гул эшелонов. Гремели чайники, и странными голосами говорили люди, как чужие племена.

— Кочуют!— прислушивался Захар Павлович.— До чего-нибудь докочуются.

Разочарованный старостью и заблуждениями всей своей жизни, он ничуть не удивился революции.

— Революция легче, чем война,— объяснял он Саше.— На трудное дело люди не пойдут: тут что-нибудь не так...

Теперь Захара Павловича невозможно было обмануть, и он, ради безошибочности, отверг революцию.

Он всем мастеровым говорил, что у власти опять умнейшие люди дежурят — добра не будет.

До самого октября месяца он насмехался, в первый раз почувствовав удовольствие быть умным человеком. Но в одну октябрьскую ночь он услышал стрельбу в городе и всю ночь пробыл на дворе, заходя в горницу лишь закурить. Всю ночь он хлопал дверями, не давая заснуть жене.

— Да угомонись ты, идол бешеный!— ворочалась в одиночестве старуха.— Вот пешеход-то!.. И что теперь будет — ни хлеба, ни одежды!.. Как у них руки-то стрелять не отсохнут — без матерей, видно, росли!

Захар Павлович стоял посреди двора с пылающей сигаркой, поддакивая дальней стрельбе.

«Неужели это так?»— спрашивал себя Захар Павлович и уходил закуривать новую сигарку.

— Ложись, леший!— советовала жена.

— Саша, ты не спишь?— волновался Захар Павлович.— Там дураки власть берут, может, хоть жизнь помнеет.

Утром Саша и Захар Павлович отправились в город. Захар Павлович искал самую серьезную партию, чтобы сразу записаться в нее. Все партии помещались в одном казенном доме, и каждая считала себя лучше всех. Захар Павлович проверял партии на свой разум — он искал ту, в которой не было бы непонятной программы, а все было бы ясно и верно на словах. Нигде ему точно не сказали про тот день, когда наступит земное блаженство. Одни отвечали, что счастье — это сложное изделие, и не в нем цель человека, а в исполнении исторических законов. А другие говорили, что счастье состоит в сплошной борьбе, которая будет длиться вечно.

— Вот это так!— резонно удивлялся Захар Павлович.— Значит, работай без жалованья. Тогда это не партия, а эксплуатация. Идем, Саш, с этого места. У религии и то было торжество православия...

В следующей партии сказали, что человек настолько великолепное и жадное существо, что даже странно думать о насыщении его счастьем — это был бы конец света.

— Его-то нам и надо!— сказал Захар Павлович.

За крайней дверью коридора помещалась та самая последняя партия, с самым длинным названием. Там сидел всего один мрачный человек, а остальные отлучились властвовать.

— Ты что?— спросил он у Захара Павловича.

— Хотем записаться вдвоем. Скоро конец всему наступит?

— Социализм, что ль?— не понял человек. — Через год. Сегодня только учреждения занимаем.

— Тогда пиши нас,— обрадовался Захар Павлович.

Человек дал им по пачке мелких книжек и по одному вполонину напечатанному листу.

— Программа, устав, резолюция, анкета,— сказал он.— Пишите и давайте двух поручителей на каждого.

Захар Павлович похолодел от предчувствия обмана.

— А устно нельзя?

— Нет. На память я регистрировать не могу, а партия вас забудет.

— А мы являться будем.

— Невозможно: по чем же я вам билеты выпишу? Ясное дело — по анкете, если вас утвердит собрание.

Захар Павлович заметил: человек говорит ясно, четко, справедливо, без всякого доверия — наверно, будет умнейшей властью, которая либо через год весь мир окончательно построят, либо поднимет такую суету, что даже детское сердце устанет.

— Ты запишись, Саш, для пробы,— сказал Захар Павлович.— А я годок обожду.

— Для пробы не записываем,— сказал человек.— Или навсегда и полностью наш, или — стучите в другие двери.

— Ну, всуерьез,— согласился Захар Павлович.

— А это другое дело,— не возражал человек.

Саша сел писать анкету. Захар Павлович начал спрашивать партийного человека о революции. Тот отвечал между делом, озабоченный чем-то более серьезным.

— Рабочие патронного завода вчера забастовали, а в казармах произошел бунт. Понял? А в Москве уже вторую неделю у власти стоят рабочие и беднейшие крестьяне.

— Ну?

Партийный человек отвлекся телефоном. «Нет, не могу,— сказал он в трубку.— Сюда приходят представители масс, надо же кому-нибудь информацией заниматься!»

— Что ну? — вспомнил он. — Партия туда послала представителей оформить движение, и ночью же нами были захвачены жизненные центры города.

Захар Павлович ничего не понимал.

— Да ведь это солдаты и рабочие взбунтовались, а вы-то здесь при чем? Пускай бы они своей силой и дальше шли!

Захар Павлович даже раздражался.

— Ну, товарищ рабочий,— спокойно сказал член партии,— если так рассуждать, то у нас сегодня буржуазия уже стояла бы на ногах и с винтовкой в руках, а не была бы советская власть.

— В Москве нет беднейших крестьян,— усомнился Захар Павлович.

Мрачный партийный человек еще более нахмурился: он представил себе все великое невежество масс и то, сколько для партии будет в дальнейшем возни с этим невежеством. Он заранее почувствовал усталость и ни-

чего не ответил Захару Павловичу. Но Захар Павлович донимал его прямыми вопросами. Он интересовался, кто сейчас главный начальник в городе и хорошо ли знают его рабочие.

Мрачный человек даже оживился и повеселел от такого крутого непосредственного контроля. Он позвонил по телефону. Захар Павлович загляделся на телефон с забытым увлечением. «Эту штуку я упустил из виду,— вспомнил он про свои изделия.— Ее я сроду не делал».

— Дай мне товарища Перекорова,— сказал по проволоке партийный человек.— Перекоров? Вот что. Надо бы поскорей газетную информацию наладить. Хорошо бы популярной литературы побольше выпустить. Слушаю. А ты кто? Красногвардеец? Ну, тогда брось трубку — ты ничего не понимаешь...

Захар Павлович вновь рассердился:

— Я тебя спрашивал оттого, что у меня сердце болит, а ты газетой меня утешаешь... Нет, друг, всякая власть есть царство, тот же синклит и монархия, я много передумал...

— А что же надо?— озадачился собеседник.

— Имущество надо унизить,— ответил Захар Павлович.— А людей оставить без призора. К лучшему обойдется, ей-богу, правда!

— Так это анархия!

— Какая тебе анархия — просто себе сдельная жизнь!

Партийный человек покачал лохматой и бессонной головой:

— Это в тебе мелкий собственник говорит. Пройдет с полгода — и ты сам увидишь, что принципиально заблуждался.

— Обождем,— сказал Захар Павлович.— Если не справитесь, отсрочку дадим.

Саша дописал анкету.

— Неужели это так?— говорил на обратной дороге Захар Павлович.— Неужели здесь точное дело? Выходит, что так.

На старости лет Захар Павлович обозлился. Ему теперь стало дорого, чтобы револьвер был в надлежащей руке,— он думал о том кронциркуле, которым можно было бы проверить большевиков. Лишь в последний год он оценил то, что потерял в своей жизни. Он утратил

все — разверстое небо над ним ничуть не изменилось от его долголетней деятельности, он ничего не завоевал для оправдания своего ослабевшего тела, в котором напрасно билась какая-то главная сияющая сила. Он сам довел себя до вечной разлуки с жизнью, не завладев в ней наиболее необходимым. И вот теперь он с грустью смотрит на плетни, деревья и на всех чужих людей, которым он за пятьдесят лет не принес никакой радости и защиты и с которыми ему предстоит расстаться.

— Саш,— сказал он,— ты сирота, тебе жизнь досталась задаром. Не жалей ее, живи главной жизнью.

Александр молчал, уважая скрытое страдание приемного отца.

— Ты не помнишь Федьку Беспалова?— продолжал Захар Павлович.— Слесарь у нас такой был — теперь он умер. Бывало, пошлют его что-нибудь смерить, он пойдет, приложит пальцы и идет с расставленными руками. Пока донесет руки, у него из аршина сажень получается. «Что ж ты, сукин сын?» — ругают его. А он: «Да мне дюже нужно — все равно за это не прогонят».

Лишь на другой день Александр понял, что хотел сказать отец.

— Хотя они и большевики и великомученики своей идеей,— напутствовал Захар Павлович,— но тебе надо глядеть и глядеть. Помни — у тебя отец утонул, мать неизвестно кто, миллионы людей без души живут,— тут великое дело... Большевик должен иметь пустое сердце, чтобы туда все могло поместиться...

Захар Павлович разжигался от собственных слов и все более восходил к какому-то ожесточению.

— А иначе... Знаешь, что иначе будет? В топку — и дымом по ветру! В шлак, а шлак — кочережкой и под откос! Понял ты меня или нет?..

От возбуждения Захар Павлович перешел к растроганности и в волнении ушел на кухню закуривать. Затем он вернулся и робко обнял своего приемного сына.

— Ты, Саш, не обижайся на меня! Я тоже круглый сирота, нам с тобой некому пожалиться.

Александр не обижался. Он чувствовал сердечную нужду Захара Павловича, но верил, что революция — это конец света. В будущем же мире мгновенно уничтожится тревога Захара Павловича, а отец-рыбак найдет то, ради чего он своевольно утонул. В своем ясном

чувстве Александр уже имел тот новый свет, но его можно лишь сделать, а не рассказать.

Через полгода Александр поступил на открывшиеся железнодорожные курсы, а затем перешел в политехникум.

По вечерам он вслух читал Захару Павловичу технические учебники, а тот наслаждался одними непонятными звуками науки и тем, что его Саша понимает их.

Но скоро ученье Александра прекратилось, и надолго. Партия его командировала на фронт гражданской войны — в степной город Урочев.

Захар Павлович целые сутки сидел с Сашей на вокзале, поджидая попутного эшелона, и искурил три фунта махорки, чтобы не волноваться. Они уже обо всем переговаривали, кроме любви. О ней Захар Павлович сказал стесняющимся голосом предупредительные слова:

— Ты ведь, Саш, уже взрослый мальчик — сам все знаешь... Главное, не надо этим делом нарочно заниматься — это самая обманчивая вещь: нет ничего, а что-то тебя как будто куда-то тянет, чего-то хочется. У всякого человека в нижнем месте целый империализм сидит...

Александр не мог почувствовать империализма в своем теле, хотя нарочно вообразил себя голым.

Когда подали сборный эшелон и Александр пролез в вагон, Захар Павлович попросил его с платформы:

— Напиши мне когда-нибудь письмо, что жив, мол, и здоров, — только и всего...

— Да я больше напишу, — ответил Саша, только сейчас заметив, какой старый и сиротливый человек Захар Павлович.

Вокзальный колокол звонил раз пять, и все по три звонка, а эшелон никак не мог тронуться. Сашу оттерли от дверей вагона незнакомые люди, и он больше наружу не показывался.

Захар Павлович истомился и пошел домой. До дома он шел долго, всю дорогу забывая закурить и мучаясь от этой мелкой досады. Дома он сел за угóльный столик, где всегда сидел Саша, и начал по складам читать алгебру, ничего не понимая, но постепенно находя себе утешение.

ДЖАН¹

1

Во двор Московского экономического института тута вышел молодой нерусский человек Назар Чагатаев. Он с удивлением осмотрелся кругом и опомнился от минувшего долгого времени. Здесь, по этому двору, он ходил несколько лет, и здесь прошла его юность, но он не жалеет о ней — он взошел теперь высоко, на гору своего ума, откуда виднее весь этот летний мир, нагретый вечерним отшумевшим солнцем.

По двору росла случайная трава, в углу стоял рундук для мусора, затем находился ветхий деревянный сарай, и около него жила одинокая старая яблоня без всякого участия человека. Вскоре после этого дерева лежал самородный камень весом пудов, наверно, в сто, — неизвестно откуда, и еще далее впилося в землю железное колесо от локомотива девятнадцатого века.

Двор был пуст. Молодой человек сел на порог сарая и сосредоточился. Он получил в канцелярии института справку о защите дипломной работы, а самый диплом ему вышлют после по почте. Больше он сюда не вернется. Он втайне попрощался со всеми здешними, мертвыми предметами. Когда-нибудь они тоже станут живыми — сами по себе или посредством человека. Он обошел все ненужные дворовые вещи и потрогал их рукою; он хотел почему-то, чтобы предметы запомнили его и полюбили. Но сам в это не верил. По детскому воспоминанию он знал, что после долгой разлуки странно и грустно видеть знакомое место: ты с ним еще связан сердцем, а неподвижные предметы тебя уже забыли и не узнают, точно они прожили без тебя деятельную, счастливую жизнь, а ты был им чужой, одинок в своем чувстве и теперь стоишь перед ними жалким неизвестным существом.

¹ Джан — душа, которая ищет счастья (*гуркическое народное поверье*).

За сараем рос старый сад. Там сейчас ставили столы, проводили временный свет и делали разное убранство. Директор института назначал сегодня вечернее торжество для второго выпуска советских экономистов и инженеров. Со двора своего училища Назар Чагатаев пошел в общежитие, чтобы отдохнуть и переодеться для вечера. Он лег на свою кровать и нечаянно уснул — с тем ощущением внезапного телесного счастья, которое бывает лишь в молодости.

Позже, во время темного вечера, Чагатаев снова пришел в сад экономического института. Он надел свой хороший серый костюм, сбереженный в долгие студенческие годы, и побрился перед ручным девичьим зеркалом. Все его имущество лежало под подушкой и в тумбочке около кровати. Чагатаев, уходя на вечер, с сожалением поглядел во внутреннюю тьму своего шкафа; скоро он забудет его, и запах одежды и тела Чагатаева навсегда исчезнет из этого деревянного ящика.

В общежитии жили студенты других вузов, поэтому Чагатаев отправился один. В саду играл оркестр, приглашенный из кинотеатра, столы были составлены в одну длинную очередь, и над ними горели прожекторные лампы, подвешенные электриками на временках между деревьями. Пустая летняя ночь стояла над головами собравшихся на свое торжество, на свое последнее свидание, и вся прелесть той ночи была в открытом и теплом пространстве, в тишине неба и растений.

Музыка играла. Молодые люди сидели за столами, готовые разойтись отсюда по окружающей земле, чтобы устроить себе там счастье. Скрипка музыканта иногда замирала, как удаленный, слабеющий голос.

Чагатаеву казалось, что плачет человек за горизонтом, — может быть, в той, никому не знакомой стране, где он когда-то родился, где теперь живет или умерла его мать.

— Гюльчатай! — сказал он вслух.

— Что такое? — спросила его соседка, технолог.

— Ничего не значит, — объяснил Чагатаев. — Гюльчатай — моя мать, горный цветок. Людей называют, когда они маленькие и похожи на все хорошее...

Скрипка играла снова, ее голос не только жаловался, но и звал — уйти и не вернуться, потому что музыка всегда играет ради победы, даже когда она печальная.

Вскоре начались танцы, игры, обычное торжество молодости. Чагатаев глядел на людей и в ночную природу; ему еще долго предстояло здесь находиться, может быть, вечно, бороться с мученьем, работать и быть счастливым.

Против Чагатаева сидела неизвестная ему юная женщина, с глазами, блестящими черным светом, в синем платье, надетом высоко, до подбородка, как на старухе, что ей придавало неудобный и милый вид. Она не танцевала, стесняясь или не умея, и с увлечением глядела на Чагатаева. Ей нравилось его смуглое лицо с узкими чистыми глазами, направленными на нее в упор с добром и угрюмостью, его широкая грудь, скрывающая сердце с тайными чувствами, и мягкий, немощный рот, способный плакать и смеяться. Она не скрывала своей симпатии и улыбнулась Чагатаеву; он ей ничем не ответил. Общее веселье все более увеличивалось. Студенты — экономисты, плановики и инженеры — брали со столов цветы, рвали траву в саду и делали из них своим друзьям подарки или прямо посыпали им растения на их густые волосы. Затем появилось конфетти, и оно тоже пошло в дело удовольствия. Женщина, сидевшая против Чагатаева, исчезла — она танцевала теперь на садовой тропинке, обсыпанная разноцветными бумажками, и была довольна.

Другие женщины, оставшиеся за столом, тоже были счастливы от внимания своих друзей, от окружавшей их природы и от предчувствия своего будущего, равного по долготе и надеждам бессмертию. Лишь одна между ними была без цветов и конфетти на голове; к ней никто не склонялся с шутливыми словами; и она жалко улыбалась, чтобы показать, что принимает участие в общем празднике и ей здесь приятно и весело. Глаза же ее были грустны и терпеливы, как у большого [рабочего животного]¹. Иногда она чутко глядела по сторонам и, убедившись, что никому не нужна, быстро собирала со стульев соседей упавшие цветы и красочные бумажки и прятала их незаметно. Чагатаев изредка видел ее действия, но понять не мог; ему уже стало скучно от долгого одинакового торжества, и он собирался уйти отсюда. Женщина, собиравшая цветы, упавшие с

¹ Здесь и далее в скобках отмечены места, где правка автором не завершена.

других людей, тоже ушла куда-то — время вечера вышло, звезды стали большими, начиналась ночь. Чагатаев встал с места и поклонился ближним товарищам — он не скоро с ними увидится.

Чагатаев пошел мимо деревьев и заметил ту женщину с [лошадиным] лицом, спрятавшуюся в тени; она его не видела, она сейчас накладывала себе на волосы цветы и ленты, потом она вышла из-за деревьев опять к освещенному столу. Чагатаев сейчас же возвратился туда: он хотел немедленно опрокинуть столы, повалить деревья и прекратить это наслаждение, над которым капают жалкие слезы, но женщина была теперь счастливая, смеющаяся, с розой в темных волосах, хотя глаза ее были заплаканы. Чагатаев остался в саду; он подошел к ней и познакомился; она оказалась студенткой-дипломницей химического института. Он ее пригласил танцевать, хотя сам не умел, но она танцевала отлично и вела его в такт музыке, как нужно. Глаза ее быстро высохли, лицо похорошело, и тело, привыкшее к дикой робости, теперь с доверием прижималось к нему, полное поздней девственности, пахнущее добрым теплом, как хлеб. Чагатаев забылся около нее, сон и счастье исходили от этой чужой женщины, с которой он, вероятно, не встретится более; так часто живет рядом с нами незаметное блаженство.

Свидание и веселье продолжалось до света на небе; затем сад опустел, осталась мертвая утварь, все разошлись. Чагатаев и его новая подруга Вера пошли по Москве, освещенной зарею. Чужеземец Чагатаев любил этот город, как родину, и был благодарен, что он здесь долго жил, узнал науку и съел много хлеба без попрека. Он посмотрел на свою спутницу — ее лицо стало красивым от встающего вдалеке солнца.

Прошло время, небо стало высоким и чистым, напряженное солнце непрерывно посылало свое добро земле — свет. Вера шла молча. Чагатаев изредка всматривался в нее и удивлялся, почему она кажется всем нехорошей, когда даже скромное молчание ее напоминает безмолвие травы, верность привычного друга. Ведь это только издали можно ненавидеть ее, отрицать или быть вообще равнодушным к человеку. Но когда Чагатаев видел теперь вблизи морщины утомления на ее щеках, выражение лица, прячущего ее желанья, глаза, хранимые веками, опухшие губы — все таинственное вооду-

шевление этой женщины, скрытое в ее живом веществе, все доброе и сильное создание ее тела, то он робел от нежности к ней и не мог ничего сделать против нее, и ему даже стыдно было думать о том, красива она или нет.

— Я утомилась, мы ведь не спали,— сказала Вера,— давайте прощаться.

— Ничего,— ответил Чагатаев.— Я скоро уезжаю, давайте немного побудем.

Они еще пошли вперед, миновали длинные улицы и где-то остановились.

— Здесь я живу,— указала Вера на новое большое жилище.

— Пойдемте к вам. Вы ляжете отдыхать, а я посижу около вас и потом уйду.

Вера стояла в смущении.

— Ну, хорошо,— сказала она и повела гостя.

У нее была большая комната с обычной мебелью девушки, но эта комната была какой-то грустной, занавешенной шторами, скучной и почти пустой.

Вера сняла летний плащ, и Чагатаев заметил, что она полнее, чем кажется. Затем Вера стала рыться в своих хозяйственных закоулках, чтобы покормить гостя, а Чагатаев засмотрелся на старинную двойную картину, висевшую над кроватью этой девушки. Картина изображала мечту, когда земля считалась плоской, а небо — близким. Там некий большой человек встал на землю, пробил головой отверстие в небесном куполе и высунулся до плеч по ту сторону неба, в странную бесконечность того времени, и загляделся туда. И он настолько долго глядел в неизвестное, чуждое пространство, что забыл про свое остальное тело, оставшееся ниже обычного неба. На другой половине картины изображался тот же вид, но в другом положении. Туловище человека истомилось, похудело и, наверно, умерло, а отсохшая голова скатилась на тот свет — по наружной поверхности неба, похожего на жестяной газ,— голова искателя новой бесконечности, где действительно нет конца и откуда нет возвращения на скудное, плоское место земли.

Но Чагатаеву, как больному, ничто теперь стало немило и неинтересно. С оробевшим сердцем он обнял Веру, склонившуюся близ него по своему хозяйскому делу, и прижал ее к себе с силой и осторожностью, буд-

то желая как можно ближе прикинуться к ней, чтобы согреться и успокоиться. Вера сразу поняла его и не оттолкнула. Она выпрямилась, склонила его голову ниже своей и стала ласкать его черные жесткие волосы, а сама глядела в сторону, отстраняя лицо, но все же слезы ее изредка падали на голову Чагатаева и там высыхали. Вера плакала бесшумно, одними слезами, бегущими из глаз, стараясь не менять выражения лица, чтобы не всхлипывать. Чагатаев слышал ее, однако ему было все равно, что сейчас случается, и он бы не мог теперь никому помочь.

— Я ведь беременная,— сказала Вера.

— Пусть!— ответил Чагатаев, прощая ей все, храбрый в сердце, как обреченный на смерть.

— Нет!— печально говорила Вера, закрываясь концом рукава, чтобы высушить слезы и скрыть свое некрасивое лицо, о котором она помнила даже во сне.— Нет. Я ничего не могу.

Чагатаев оставил ее. Ему не нужно было обязательно утешать себя яростным наслаждением с Верой, чтобы иметь счастье. Достаточно быть с нею вблизи, держать ее руку и спросить, почему она плачет — от горя или оскорбления.

— У меня недавно умер мой муж,— сказала Вера.— А мертвого, вы знаете, как трудно забыть. И ребенок, когда родится, он не увидит отца, а одной матери ему мало будет... Ведь правда, мало?

— Мало, — согласился Чагатаев.— Теперь я буду его отцом.

Он обнял ее, и они уснули в светлое время дня, и шум строящейся Москвы, бурение недр, ссоры населения на уличном транспорте — все умолкло в их ушах; они лишь друг друга держали руками, и каждый из них слушал сквозь сон глухое, кроткое дыхание другого.

Под вечер, незадолго до окончания занятий в учреждениях, они зарегистрировались в ближнем загсе. Они стояли между двумя букетами цветов; заведующий загсом поздравил их краткой речью, предложил поцеловаться в знак пожизненной верности и посоветовал иметь много детей, чтобы революционное поколение распространилось на вечные времена. Чагатаев дважды поцеловал Веру и дружески попрощался с заведующим, думая о том, что хорошо было бы, если бы и он поцеловал Веру, а не ограничился служебной необходимостью.

С тех пор Чагатаев каждый день приходил по вечерам в гости к Вере, когда она уже ждала его и радовалась его приходу. Они сразу же обнимались, причем Чагатаев обращался с Верой крайне осторожно, храня в ней ребенка от погибшего отца. Затем они шли гулять, как все люди обычно, под руку по улице, осматривали внимательно витрины, точно готовясь многое приобрести, следили за небом, где были свои происшествия, и не забывали ничего из окружающих их, непрерывно текущих событий, как будто сердце во время любви настолько тяжело, что его надо все время развлекать пустяками, чтобы оно не чувствовало своей работы.

Но Чагатаев еще не был настоящим мужем Веры, она все время отклоняла его сожителство — с нежностью и страхом, чтобы не обидеть его и не отдаться ему. Она словно боялась погубить в страсти свое бедное утешение, которое явилось внезапно и странно; или она просто хитрила, расчетливо и разумно, желая иметь в своем муже неостывающую теплоту, чтобы самой согреться в ней долго и надежно. Однако Чагатаев не мог вынести своего чувства к Вере на одной духовной и бесчеловечной привязанности, и он вскоре заплакал над нею, когда она лежала на кровати, по виду беспомощная, но улыбающаяся и непобедимая.

Чагатаев не умел терпеть силу своей жизни, он знал ее невинность и доброту, поэтому его оскорбляла чужая недоступность, и он терял память и соображение. Еще в детстве он также топал босыми ногами в землю, обливался слезами от безутешного неистовства и грозился прохожим, когда видел еду за толстым стеклом и не мог ее немедленно съесть.

2

Лето продолжалось. От жары тлели торфяные болота вокруг Москвы, и по вечерам в воздухе стояла гарь, смешанная с теплым парующим духом удаленных колхозов и полей, точно всюду в природе готовили пищу на ужин. Чагатаев проводил с Верой последние дни: он получил назначение на работу; ему нужно было уезжать на родину, в середину азиатской пустыни, где жила или уже давно умерла его мать. Чагатаев пропал оттуда мальчиком, пятнадцать лет тому назад. Старая мать его, туркменка Гюльчатай, надела ему шапку-папаху, положила

в сумку кусок старого чурека и еще добавила лепешку, испеченную из растертых корней камыша, катрана и яр-малыка, затем дала тростинку в руку, чтобы вместо старшего друга шло растение рядом, и велела идти.

— Ступай, Назар,— сказала она, не желая видеть его мертвым рядом с собой.— Если узнаешь отца своего, ты к нему не подходи. Увидишь базары и богатство, в Куня-Ургенче, в Ташаузе, Хиве — ты туда не иди, ступай мимо всех, иди далеко, к чужим. Пусть отец твой будет незнакомым человеком.

Маленький Назар не хотел уходить от матери. Он ей говорил, что привык умирать и больше не боится, что он мало будет есть. Но мать прогоняла его.

— Нет,— говорила она.— Я уже так слаба, что любить тебя не могу, живи теперь один. Я забуду тебя.

Назар заплакал около матери. Он обнял одну ее худую холодную ногу и долго стоял, впившись в ослабевшее привычное тело; небольшое сердце его стало тогда больным, оно сразу вдруг утомилось и билось тяжело, как намокшее. Мальчик сел в пыль земли и сказал матери:

— Я тоже тебя забуду, я тоже тебя не люблю. Вы маленького человека кормить не можете, а когда умрете, то никого у вас не будет.

Он лег лицом вниз и заснул в сырости слез и своего дыхания. Проснулся Назар в пустом месте. Мать ушла, с пустыни шел ничтожный чужой ветер — без всякого запаха и без живого звука. Некоторое время мальчик сидел смирно, он ел материнский чурек, оглядывался и думал ту мысль, которую теперь с возрастом забыл. Перед ним была земля, где он родился и захотел жить. Та детская страна находилась в черной тени, где кончается пустыня; там пустыня опускает свою землю в глубокую впадину, будто готова себе погребение, и плоские горы, изглоданные сухим ветром, загораживают то низкое место от небесного света, покрывая родину Чагатаева тьмою и тишиной. Лишь поздний свет доходит туда и освещает грустным сумраком редкие травы на бледной засоленной земле, будто на ней высохли слезы, но горе ее не прошло.

Назар стоял на краю темной земли, павшей вниз; далее начиналась песчаная пустыня, более счастливая и светлая, и среди песчаных покойных бугров даже в тихое время, в тот исчезнувший детский день, ютился мел-

кий ветер, бредущий и плачущий, изгнанный издалека. Мальчик прислушался к этому ветру и повел глазами за ним, чтобы увидеть его и быть с ним вдвоем, но не увидел ничего, и тогда он закричал. Ветер пропал от него, никто не отозвался. Вдалеке наступала ночь; на темную низкую землю, откуда вывела его мать, уже легла тень, и лишь курился белый дым из кибиток и землянок, где прежде жил ребенок. Назар в недоумении попробовал свои ноги и тело: есть ли он на свете, раз его никто теперь не помнит и не любит; ему нечего стало думать, будто он жил от силы и желания других близких людей, а сейчас их нет, и они прогнали его... Шершавый куст-бродяга, по-русски — перекаати-поле, без ветра склонялся и перекачивался по песку, уходя, отсюда мимо. Куст был пыльный, усталый, еле живой от труда своей жизни и движения; он не имел никого — ни родных, ни близких, и всегда удалялся прочь. Назар потрогал его ладонью и сказал ему: «Я пойду с тобою, одному мне скучно, — ты думай про меня что-нибудь, а я буду про тебя. А с ними я жить не хочу, они мне не велят, пускай сами умрут!» И он погрозил тростниковой палкой на родину и забывшей его матери.

Назар пошел за кустом перекаати-поля и шел до самой тьмы. Во тьме он лег и уснул от слабости, трогая куст рукой, чтоб он остался с ним. Наутро он проснулся и сразу испугался, что нет с ним куста: он укатился один ночью. Назар хотел заплакать, но увидел, что куст шевелился сейчас на верху ближнего песчаного холма, и мальчик догнал его.

Родина и мать давно скрылись — пусть их забудет его сердце, пока оно растет. В тот день бредущий куст довел Назара до овечьего пастуха, и пастух напоил мальчика и накормил, а куст его привязал к палке, чтобы он тоже отдохнул. Долгое время Назар ходил с пастухом и жил у него, пока не выпал снег, тогда хозяин отпустил пастуха по делам в Чарджуй, потому что пастух стал слепнуть, и пастух отправился с мальчиком, а в городе отдал его советской власти, как не нужного никому. Советская власть всегда собирает всех ненужных и забытых, подобно многолетней вдовице, которой ничего не сделает один лишний рот.

Теперь прошли многие годы, но ничто не было забыто, и потерянная мать была такой же любимой, и для

воспоминаний о ней всегда будет одинокая сила в сердце, точно детство не прекратилось. Отца своего Чагатаев никогда не знал. Русский солдат Хивинских экспедиционных войск Иван Чагатаев пропал прежде, чем родила Гюльчатай, бывшая тогда молодой женой Кочмата, от которого она уже имела двоих маленьких детей; но дети от Кочмата умерли, когда Назар был в младенчестве, о них только говорила ему мать впоследствии, что они жили когда-то. Кочмат же был беден и гораздо старше своей жены; он жил тем, что ходил на байские земли в Куня-Ургенч и в Ташауз — работать на хошарах, чтобы хоть в летнее время питать семейство хлебом. А в зимнее время он почти непрерывно спал в землянке, вырытой у подножья Усть-Урта. Он берег свою неимущую силу, и Гюльчатай лежала с ним под одною кошмой; она тоже грелась и дремала в долгие зимы, чтобы меньше есть, а между ними лежали их дети, когда они были живы. Изредка Гюльчатай выходила, добывала траву на пищу или шла наниматься батрачкой в Хиву... Однажды в Хиве она не нашла работы; была в то время зима, богатые пили чай и ели баранину, а бедные ждали тепла и роста растений. Гюльчатай ютилась на базаре, ела кое-что, что оставалось на земле от торговцев, но побираться стыдилась людей. На том хивинском базаре ее заметил солдат Иван Чагатаев и стал приносить ей каждый день казенную пищу в котелке. Гюльчатай ела солдатский суп с говядиной на вечернем пустом базаре, а солдат понемногу касался ее и затем обнимал. Но женщине совестно было в ответ на угощение отвергать человека: она молчала и не сопротивлялась. Она думала, чем отблагодарить русского, и не было у нее ничего, кроме того, что выросло от природы.

— Отчего у тебя слезы на глазах? — спросила Вера у Чагатаева в день его отъезда на родину.

— Я вспомнил свою мать, как она улыбалась мне, когда я был маленьким.

— Но как же?

Чагатаев затруднился.

— Не помню... Она мне радовалась и оплакивала меня, — теперь люди так не улыбаются. У ней слезы лились по счастливому лицу.

Мать говорила Назару, что муж ее, Кочмат, когда

узнал, что Назар — сын русского солдата, а не его, то он не ударил ее и не сделался яростным, а только стал скучным и чуждым для всех. Он ушел отдельно вдаль и там один отдышался от своей печали; потом он вернулся и любил Гюльчатай по-прежнему.

Назар Чагатаев пошел гулять с Верой в последний раз. Вечером его поезд уйдет в Азию. Вера уже собрала его в дальнюю дорогу: заштопала чулки, пришила нужные пуговицы, сама выгладила белье и несколько раз перепробовала и проверила все вещи, лаская их и завидуя им, что они поедут вместе с ее мужем.

На улице Вера попросила Чагатаева зайти с нею к знакомым. Может быть, через полчаса он навсегда перестанет любить ее.

Они вошли в большую квартиру. Вера познакомила мужа с пожилой женщиной и спросила:

— Что Ксения — дома или еще где-нибудь?

— Дома, дома, она только что пришла,— сказала хозяйка.

В просторной неубранной комнате сидела черноволосая девочка лет тринадцати или пятнадцати. Она читала книжку и вертела конец своей косы в руке.

— Мама!— И девочка обрадовалась пришедшей матери.

— Здравствуй, Ксения!— сказала Вера.— Это моя дочь,— познакомила она девочку с Чагатаевым.

Чагатаев пожал странную руку, детскую и женскую; рука была липкая и нечистая, потому что дети не сразу приучаются к чистоте.

Ксения улыбалась. Она не походила на мать — у нее было правильное лицо юноши, немного грустное от стыда и непривычки жить и бледное от усталости роста. Глаза ее имели разный цвет — один черный, другой голубой, что придавало всему выражению лица кроткое, беспомощное значение, точно Чагатаев видел жалкое и нежное уродство. Лишь рот портил Ксению — он уже разрастался, губы полнели, словно постоянно жаждали пить, и было похоже, что сквозь невинное безмолвие кожи пробивалось наружу сильное разрушительное растение.

Все молчали от неопределенного положения, хотя Ксения уже догадывалась про все.

— Вы здесь живете?— спросил пустяковое дело Чагатаев.

— Да, у матери моего папы,— сказала Ксения.

— А где папа, он умер?

Вера была в стороне, она глядела в окно, на Москву. Ксения засмеялась.

— Нет, что вы! Мой папа молодой, он живет на Дальнем Востоке и строит мосты. Два уже построил!

— Большие мосты?— спросил Чагатаев.

— Большие: один висячий, другой с двумя опорными быками и потерянными кессонами. Они скрылись навсегда, они потерялись! — радостно сказала Ксения.— У меня фотографии из газеты есть!

— Папа вас любит?

— Нет, он любит незнакомых, он нас с мамой любить не хочет.

Они говорили еще, в сердце Чагатаева было неясное сожаление — он сидел с легким, грустным чувством, как во сне и путешествии. Забывая обыкновенную жизнь, он взял руку Ксени к себе и стал держать ее, не разлучаясь.

Ксения сидела со страхом и удивлением, разноцветные глаза ее смотрели мучительно, как двое близких и незнакомых между собой людей. Ее мать, Вера, стояла в отдалении, молча улыбаясь дочери и мужу.

— Тебе не пора собираться на вокзал?— спросила она.

— Нет, я не поеду сегодня,— сказал Чагатаев. Он скреб башмаками по полу, борясь с нетерпением своей души перед этой девочкой. Ему было, кроме того, стыдно, что его состояние Вера и Ксения могут принять за жестокую мужскую любовь; он же чувствовал перед Ксенией лишь привязанность, полную смутного наслаждения, человеческого родства и заботы о ее лучшей судьбе. Он хотел бы быть для нее берегущей силой, отцом и вечной памятью в ее душе.

Извинившись, Чагадаев вышел на полчаса, купил в Мосторге различных вещей на триста рублей и принес их в подарок Ксении, если бы он не сделал этого, то сожалел бы многие дни.

Ксения обрадовалась подаркам, а мать ее нет.

— У Ксени всего два платья, и последняя обувь развалилась,— сказала Вера.— Отец ведь ничего не присылает, а я работаю недавно... Зачем ты накупил этих пустяков, на что девочке дорогие духи, замшевая сумка, какое-то пестрое покрывало?..

— Ну, мама, пускай, ничего!— говорила Ксения.— Платье мне бесплатно в детском театре дадут, я там активистка, а в отряде скоро горные башмаки начнут распределять, мне обуви не надо. Пусть будет сумка и покрывало.

— Все-таки напрасно,— сетовала Вера.— И ему самому нужны деньги, он едет далеко.

— Мне хватит,— сказал Чагатаев. Он вынул еще четыреста рублей и оставил их на пропитание Ксении.

Девочка подошла к нему. Она поблагодарила Чагатаева, протянув ему руку, и сказала:

— Я вам тоже скоро буду давать подарки. Скоро наступит богатство!

Чагатаев поцеловал ее и попрощался.

— Назар, ты больше не любишь меня?— спросила Вера на улице.— Пойдем разведемся, пока ты не уехал... Ты видел — Ксения моя дочь, ты ведь у меня третий, и мне тридцать четыре года.

Вера умолкла. Назар Чагатаев удивился:

— Почему я тебя не люблю? А ты любила других мужей?

— Я любила. Второй умер, и я по нем и теперь плачу одна. А первый оставил меня с девочкой сам, я его тоже любила и была верна... И мне пришлось долго жить без человека, ходить по веселым вечерам и бумажные цветы самой класть себе на голову...

— Но почему я тебя не люблю?

— Ты любишь Ксению, я знаю... Ей будет восемнадцать лет, а тебе тридцать, может, немного больше. Вы поженитесь, а я вас посватаю. Ты только не лги мне и не волнуйся, я привыкла терять людей.

Чагатаев остановился перед этой женщиной, как непонимающий. Ему было странно не ее горе, а то, что она верила в свое обреченное одиночество, хотя он женился на ней и разделил ее участь. Она берегла свое горе и не спешила его растратить. Значит, в глубине рассудка и среди самого сердца человека находится его враждебная сила, от которой могут померкнуть живые сияющие глаза среди лета жизни, в объятиях преданных рук, даже под поцелуями своих детей.

— Поэтому ты со мной и не жила?— спросил Чагатаев.

— Да, поэтому. Ты ведь не знал, что у меня есть такая дочь, ты думал — я моложе и чище...

— Ну и что ж! Мне это безразлично...

— Нет, скажи: ты сейчас влюбился в Ксению? Я заметила.

— Влюбился,— ответил Чагатаев, — я не вытерпел.

Они молча дошли до комнаты Веры. Она стала среди своего жилища, не снимая плаща, равнодушная и чужая для собственных окружающих предметов. Если бы был сейчас внезапный случай, она подарила бы всю свою утварь соседке; это доброе дело немного утешило бы ее и вместе с уменьшением имущества уменьшило бы размер ее страдающей души.

Но затем ей пришлось бы раздать свое тело до последнего остатка; однако и этот последний остаток мучился бы с тою же силой, как все тело вместе с одеждой, инвентарем и удобствами, и его также нужно было бы отдать, чтоб уничтожить и забыть.

Отчаяние, тоска и нужда могут сжиматься в человеке вплоть до его последней щели: лишь предсмертное дыхание выносит их вон.

— Ну, как же мне быть теперь?— спросила Вера, произнося эти слова для себя.

Чагатаев понимал Веру. Он обнял ее и долго держал близ груди, чтобы успокоить ее хотя бы своим теплом, потому что мнимое страданье наиболее безудержно и слову не поддается.

Вера начала отходить от горя.

— Ксения тебя тоже полюбит... Я воспитаю ее, внушу ей память о тебе, сделаю из тебя героя. Ты надейся, Назар,— годы пройдут быстро, а я привыкну к разлуке.

— Зачем привыкать к худому?— сказал Чагатаев; он не мог понять, почему счастье кажется всем невероятным и люди стремятся прельщать друг друга лишь грустью.

Чагатаеву горе надоело с детства, а теперь, когда он стал образованным, ему оно представлялось пошлостью, и он решил устроить на родине счастливый мир блаженства, а больше неизвестно, что делать в жизни.

— Ничего,— сказал Чагатаев и погладил Вере ее большой живот, где лежал ребенок, житель будущего счастья.— Рожай его скорее, он будет рад.

— А может, нет,— сомневалась Вера.— Может, он будет вечный страдалец.

— Мы больше не допустим несчастья,— ответил Чагатаев.

— Кто такие вы?

— Мы,— тихо и неопределенно подтвердил Чагатаев. Он почему-то стыдился говорить ясно и слегка покраснел, словно гайная мысль его была нехороша.

Вера обняла его на прощанье — она следила за часами, разлука подходила близко.

— Я знаю, ты будешь счастлив, у тебя чистое сердце. Возьми тогда к себе мою Ксению.

Она заплакала от своей любви и неуверенности в будущем; ее лицо вначале стало еще более безобразным, потом слезы омыли его, и оно приобрело незнакомый вид, точно Вера глядела издалека чужими глазами.

3

Поезд давно покинул Москву; прошло уже несколько суток езды. Чагатаев стоял у окна, он узнавал те места, где он ходил в детстве, или они были другие, но похожие в точности. Такая же земля, пустынная и старческая, дует тот же детский ветер, шевеля скулящие былинки, и пространство просторно и скучно, как унылая чуждая душа; Чагатаеву хотелось иногда выйти из поезда и пойти пешком, подобно оставленному всеми ребенку. Но детство и старое время давно прошло. Он видел на степных маленьких станциях портреты вождей; часто эти портреты были самодельными и приклеены где-нибудь к забору. Портреты, вероятно, мало походили на тех, кого они изображали, но их рисовала, может быть, детская пионерская рука и верное чувство: один походил на старика, на доброго отца всех безродных людей на земле; однако художник, не думая, старался сделать лицо похожим и на себя, чтобы видно было, что он теперь живет не один на свете и у него есть отцовство и родство,— поэтому искусство становилось сильнее неумелости. И сейчас же за такой станцией можно видеть, как разные люди рыли землю, сажали что-то или строили, чтобы приготовить место жизни и приют для бесприютных. Порожних, нелюдимох станций, где можно жить лишь в изгнании, Чагатаев не видел; везде человек работал, отходя сердцем от векового отчаяния, от безотцовщины и всеобщего злобного беспамятства.

Чагатаев вспомнил материнские слова: «Или далеко, к чужим, пусть отец твой будет незнакомым человеком».

Он ходил далеко и теперь возвращается, он нашел отца в чужом человеке, который вырастил его, расширил в нем сердце и теперь посылает снова домой, чтобы найти и спасти мать, если она жива, похоронить ее, если она лежит брошенной и мертвой на лице земли.

В одну ночь поезд остановился по неожиданному случаю в темной степи. Чагатаев вышел к двери в тамбур вагона. Было тихо, вдали сопел паровоз, пассажиры спали в покое. Вдруг в степной темноте вскрикнула одна птичка, ее что-то напугало. Чагатаев вспомнил этот голос через многие годы, как будто его детство жалобно прокричало из безмолвной тьмы. Он прислушался; еще какая-то птица что-то быстро проговорила и умолкла, он тоже помнил ее голос, но сейчас забыл ее имя: может быть, пустынная славка, может быть, пустельга. Чагатаев вышел из вагона. Невдалеке он заметил кустарник, и, дойдя до него, взял его за ветвь и сказал ему: «Здравствуй, куян-суюк!» Куян-суюк слегка пошевелился от прикосновения человека и опять остался как был — равнодушный и спящий.

Чагатаев отошел еще дальше. В степи что-то шевелилось и покрикивало, она казалась бесшумной лишь для отвыкших ушей. Земля стала опускаться в низину, началась синяя высокая трава. Чагатаев, с интересом воспоминания, вошел в траву; растения дрожали вокруг него, колеблемые снизу, разные невидимые существа бежали от него прочь — кто на животе, кто на ножках, кто низким полетом — что у кого имелось. Они, наверно, сидели до того неслышно, но спали из них лишь некоторые, далеко не все. У всякого было столько заботы, что дня, видимо, им не хватало, или им жалко было тратить краткую жизнь на сон, и они только чуть дремали, опустив пленку на полглаза, чтобы видеть хоть полжизни, слышать тьму и не помнить дневной нужды.

Забыв свое дело, Чагатаев почувствовал запах влаги; где-то вблизи было озеро или колодезь. Он направился туда и вскоре вошел в какую-то небольшую, влажно растущую траву, похожую на маленькую русскую рощу. Глаза Чагатаева притерпелись ко мраку, он видел теперь ясно. Затем начался камыш; когда Чагатаев вошел в него, то сразу закричали, полетели и заерзали на месте все здешние жители. В камышах было тепло. Животные и птицы не все исчезли от страха перед человеком, некоторые, судя по звукам и голосам, остались, где

были. Они испугались настолько, что, ожидая гибели, спешили поскорее размножиться и насладиться. Чагатаев знал эти звуки издавна и теперь, слушая томительные, слабые голоса из теплой травы, сочувствовал всей бедной жизни, не сдающей своей последней радости.

Поезд неслышно поехал. Чагатаев мог бы его догнать, но не поторопился; уехал лишь чемодан с бельем, и то его можно получить обратно в Ташкенте. Но Чагатаев решил его не получать, чтобы спешить по своему делу и не отвлекаться. Он уснул в траве, среди спокойствия, прижавшись к земле, как прежде.

Через семь дней Чагатаев дошел до Ташкента ближайшей пешей дорогой. Он явился в Центральный Комитет партии, где его уже давно ожидали. Секретарь комитета сказал Чагатаеву, что где-то в районе Сары-Камыша, Усть-Урта и дельты Амударьи блуждает и бедствует небольшой кочевой народ из разных национальностей. В нем есть туркмены, каракалпаки, немного узбеков, казахи, персы, курды, белуджи и позабывшие, кто они. Раньше этот народ почти постоянно жил во впадине Сары-Камыша, откуда он ходил работать на хошары и на чигири в Хивинский оазис, в Ташауз, в Ходжейли, Куня-Ургенч и другие дальние места. Бедность и отчаяние того народа были настолько велики, что он о земляной хошарной работе, которая продолжалась лишь несколько недель в году, думал как о благе, потому что ему давали в эти дни есть хлебные лепешки и даже рис. На чигирих тот народ работал вместо ослов, двигая своим телом деревянное водило, чтобы подымалась в арык вода. Ослу надо кормить круглый год, а рабочий народ из Сары-Камыша ел лишь немного времени, а потом уходил вон. И целиком не умирал и на другой год снова возвращался, протомившись где-то на дне пустыни.

— Я знаю этот народ, я там родился,— сказал Чагатаев.

— Поэтому тебя и посылают туда,— объяснил секретарь. — Как назывался этот народ, ты не помнишь?

— Он не назывался,— ответил Чагатаев.— Но сам себе он дал маленькое имя.

— Какое его имя?

— Джан. Это означает душу или милую жизнь. У народа ничего не было, кроме души и милой жизни, которую ему дали женщины-матери, потому что они его родили.

Секретарь нахмурился и сделался опечаленным.

— Значит, все его имущество — одно сердце в груди, и то когда оно бьется...

— Одно сердце,— согласился Чагатаев,— одна только жизнь; за краем тела ничего ему не принадлежит. Но и жизнь была не его, ему она только казалась.

— Тебе мать говорила, что такое джан?

— Говорила. Беглецы и сироты отовсюду и старые, изнемогшие рабы, которых прогнали. Потом были женщины, изменившие мужьям и попавшие туда от страха, приходили навсегда девушки, полюбившие тех, кто вдруг умер, а они не захотели никого другого в мужья. И еще там жили люди, не знающие бога, насмешники над миром, преступники... Но я не помню всех — я был маленький.

— Езжай туда теперь. Найди этот потерянный народ — Сары-Камышская впадина пуста.

— Я поеду,— согласился Чагатаев.— Что мне там делать? Социализм?

— Чего же больше?— произнес секретарь.— В аду твой народ уже был, пусть поживет в раю, а мы ему поможем всей нашей силой... Ты будешь нашим уполномоченным. Туда послали кого-то из района, но едва ли он что сделает там: кажется, не наш человек...

Затем секретарь дал Чагатаеву подробные, тщательные инструкции, командировочную бумагу, и Чагатаев попрощался.

Он задумал плыть на родину вниз по Амударье, сев около Чарджуа в каюк.

На ташкентской почте он получил письмо от Веры. Она писала, что ребенок ее приближается на свет, он уже думает что-то внутри ее тела, потому что часто шевелится и бывает недоволен.

«Но я ласкаю его, я глажу свой живот и, согнувшись лицом ближе к нему,— писала Вера, — говорю: «Чего ты хочешь? Тебе там тепло и тихо, я стараюсь мало двигаться, чтобы ты не раздражался,— зачем ты хочешь уйти из меня?..» Я привыкла к нему, все время живу с ним как с другом, как хотела жить с тобой, и рождения его я боюсь — не потому, что мне будет больно, а потому, что это будет начало разлуки с ним навек, и его ножки, которыми он сейчас стучит, спешат уйти от матери, и они будут уходить все дальше и дальше — по мере его жизни, пока мой сын не скроется сов-

сем от меня, от моих заплаканных глаз... Ксения тебя помнит, но скучает, что ты далеко, не скоро приедешь, даже ничего не известно. Не умер ли ты уже где-то?»

Чагатаев послал Вере открытку, что он целует ее и Ксению — в ее разноцветные глаза, и пройдет недолго, как он приедет, когда он сделает счастье среди одной земли.

4

Из Чарджуя в Нукус собирались идти с кооперативными товарами четыре каюка. Чагатаев не стал пользоваться своим правом командированного человека, потому что это право слабо признавалось, а нанялся быть помощником речного матроса. Он условился идти до Хивинского оазиса, а там сойдет на берег.

Наступили долгие дни плавания. Утром и вечером река превращалась в золотой поток благодаря косому свету солнца, пронизывающему воду сквозь ее живой, несущийся ил. Эта желтая земля, путешествующая в реке, заранее была похожа на хлеб, цветы и хлопок и даже на тело человека. Иногда на камышовой вершине сидела разноцветная незнакомая птичка, она вертелась от внутреннего волнения, блестела перьями под живым солнцем и пела что-то сияющим тонким голосом, будто уже наступило блаженство для всех существ. Птица напоминала Чагатаеву про Ксению, маленькую женщину с цветными глазами, думающую что-нибудь сейчас про него.

Через четырнадцать суток Чагатаев сошел на берег Хивинского оазиса, получив расчет и благодарность от старшего матроса.

Побыв несколько дней в Хиве, Чагатаев пошел на родину, в Сары-Камыш, дорогой детства. Он помнил эту дорогу по слабеющим признакам: песчаные холмы теперь казались ниже, канал более мелким, путь до ближайшего колодца короче. Солнце светило такое же, но менее высоко, чем в то время, когда Чагатаев был маленьким. Курганчи, кибитки, встречные ослы и верблюды, деревья по арыкам, летающие насекомые — все было прежнее и неизменное, но равнодушное к Чагатаеву, точно ослепшее без него. Он шел обиженный, как по чужому миру, вглядываясь во все окружающее и узнавая забытое, но сам оставался неузнанным. Каждое

мелкое существо, предмет и растение, оказывается, было более гордым и независимым от прежней привязанности, чем человек.

Дойдя до сухой реки Кунядарьи, Назар Чагатаев увидел верблюда, который сидел, подобно человеку, опершись передними ногами, в песчаном наносе. Верблюд был худ, горбы его опали, и он робко глядел черными глазами, как умный грустный человек. Когда Чагатаев подошел к нему, верблюд не обратил на подошедшего внимания: он следил за движением мертвых трав, гонимых течением ветра, — приблизятся они к нему или минуют мимо. Одна былинка подвинулась близко по песку к самому его рту, и тогда верблюд сжевал ее губами и проглотил. Вдали влачилось круглое перекаати-поле, верблюд следил за этой большой живой травой глазами, добрыми от надежды, но перекаати-поле уходило стороною; тогда верблюд закрыл глаза, потому что не знал, как нужно плакать.

Чагатаев осмотрел верблюда кругом; животное давно стало худым от голодной нужды и болезни, шерсть его выпала почти вся, остались лишь некоторые клочья, поэтому верблюд дрожал от непривычки и озноба. Он, наверно, был разгружен и оставлен здесь каким-либо проходным караваном вследствие слабости своих сил — либо его хозяин сам погиб, а животное начало ожидать его, пока не исгатило в себе жизненного запаса. Потеряв способность движения, верблюд уперся остатком силы в передних ногах и привстал, чтобы видеть былинки трав, нагоняемые на него ветром, и поедать их. Когда ветра не было, он закрывал глаза, не желая тратить напрасно зрения, и был в дремоте; опуститься и лечь он не хотел, тогда бы он снова приподняться уже не смог, и так оставался сидячим постоянно — то бдительным, то дремлющим, пока смерть не склонила бы его вниз или пока любой ничтожный зверь пустыни не кончил бы его одним ударом маленькой лапы.

Чагатаев долго сидел около этого верблюда, наблюдая и понимая его. Затем он принес издали несколько охапок перекаати-поля и дал верблуду их съесть. Напоить он его не мог, у него самого было только две фляги воды, но он знал, что дальше по руслу Кунядарьи есть пресные озера и мелкие колодцы. Однако трудно нести на себе верблюда по песку.

Наступил вечер. Чагатаев кормил верблюда, доста-

вая ему траву из ближних окрестностей, пока тот не положил своей головы на землю; он уснул кротким сном новой жизни. Благодаря ночи, стало холодать. Чагатаев поел лепешек из своего мешка, потом прижался к туловищу верблюда, чтобы согреться, и задремал. Он улыбался; все было странно для него в этом существующем мире, сделанном как будто для краткой насмешливой игры. Но эта народная игра затянулась надолго, на вечность, и смеяться никто уже не хочет, не может. Пустая земля пустыни, верблюд, даже бродячая жалкая трава — ведь это все должно быть серьезным, великим и торжествующим; внутри бедных существ есть чувство их другого, счастливого назначения, необходимого и непремennого,— зачем же они так тяготеют и ждут чего-то? Чагатаев свернулся калачом около живота верблюда и уснул, удивляясь необыкновенной действительности.

5

Через шесть дней пути по Кунядарье Чагатаев увидел Сары-Камыш. Все это время он вел за собою ожившего верблюда, который мог уже идти своей силой. Но еще не мог везти на себе человека.

Чагатаев сел на краю песков, там, где они кончаются, где земля идет на снижение в котловину, к дальнему Усть-Урту. Там было темно, низко. Чагатаев нигде не разглядел ни дыма, ни кибитки,— лишь в отдалении блестело небольшое озеро. Чагатаев перебрал руками песок, он не изменился: ветер все прошедшие годы сдувал его то вперед, то назад, и песок стал старым от пребывания в вечном месте.

Сюда его мать когда-то вывела за руку и отправила жить одного, а теперь он вернулся. Он пошел дальше с верблюдом, в середину родины. Как маленькие старики, стояли дикие кустарники; они не выросли с тех пор, когда Чагатаев был ребенком, и они, кажется, одни из всех местных существ не забыли Чагатаева, потому что были настолько непривлекательны, что это походило на кротость, и в равнодушие или в беспамятство их поверить было нельзя. Такие безобразные бедняки должны жить лишь воспоминанием или чужой жизнью, больше им нечем.

Несколько дней Чагатаев потратил на блуждание по этой своей детской стране, чтобы найти людей. Верблюд

самостоятельно ходил за ним следом, боясь отстать один и заскучать; иногда он долго глядел на человека, напряженный и внимательный, готовый заплакать или улыбнуться и мучась от неумения.

Ночуя в пустых местах, доедая свою последнюю пищу, Чагатаев, однако, не думал о своем благополучии. Он направлялся в глубь безлюдной впадины, по дну древнего моря, спеша и беспокоясь. Лишь однажды он лег среди дневного пути и прижался к земле. Сердце его сразу заболело, и он потерял терпение и силу бороться с ним; он заплакал по Ксене, стыдясь своего чувства и отрекаясь от него. Он видел ее сейчас близкой в уме и в воспоминании; она улыбалась ему жалкой улыбкой маленькой женщины, которая может любить только в душе, но обниматься не хочет и боится поцелуев, как увечья. Вера сидела вдали и шила детское белье, сокращая разлуку с мужем и уже почти равнодушная к нему, потому что внутри ее шевелился и мучился другой, еще более любимый и беспомощный человек. Она ждала его, желала увидеть его лицо и боялась расстаться с ним. Но ее утешало, что еще долгие годы она будет целовать и обнимать его, когда захочет, пока он не вырастет и не скажет ей: «Будет тебе, мама, приставать ко мне, ты мне надоела!»

Чагатаев поднял голову. Верблюд жевал какую-то худую, косящую траву, маленькая черепаха томительно глядела черными нежными глазами на лежавшего человека. Что было сейчас в ее сознании? Может быть, волшебная мысль любопытства к таинственному громадному человеку, может быть, печаль дремлющего разума.

— Мы тебя одну не оставим! — сказал Чагатаев черепахе.

Он заботился о существующем, как о священном, и был слишком скуп сердцем, чтобы не замечать того, что может служить утешением.

Они пошли с верблюдом далее, к Усть-Урту, где в самом подножье возвышенности жил один забытый старик. Он ночевал в землянке, вырытой в сухом спуске холма, и питался мелкими животными и корнями растений, находившимися в расщелинах плоскогорья. Древняя старость и убожество сделали его мало похожим на человека. Он прожил давно человеческий век, все чувства его удовлетворились, а ум изучил и запомнил местную природу с точностью исчерпанной истины. Даже звезды,

многие тысячи их, он знал наизусть по привычке, и они ему надоели.

Его звали Суфьян; одет он был в старинную шинель русского солдата времен хивинской войны и в картуз, а обувался в обмотки из тряпок.

Когда он заметил Чагатаева, он вышел к нему из своего земляного жилища и уставился в пространство безлюдными глазами.

К нему шел человек с верблюдом. Суфьян сразу узнал прохожего и огорчился втайне, что нет для него ничего неизвестного.

— Я тебя знаю,— сказал он Чагатаеву.— Ты был мальчик Назар.

— А я тебя не знаю,— ответил Чагатаев.

— Ты не знаешь, ты живешь, как ешь: что в тебя входит, то потом выходит. А во мне все задерживается.

Старик сморщился, вспоминая улыбку приветя, но его лицо, даже спокойное, было похоже на пустую кожу высохшей умершей змеи. Удивившись, Чагатаев потрогал руку и лоб Суфьяна. О жизни и живых никто не заботится, но теперь наступила пора...

Чагатаев сказал старику, что он пришел издалека, ради своей матери и своего народа, но есть ли он на свете или уже давно кончился?

Старик молчал.

— Ты встретил где-нибудь своего отца?— спросил он.

— Нет. А ты знаешь Ленина?

— Не знаю,— ответил Суфьян.— Я слышал один раз это слово от прохожего, он говорил, что оно хорошо. Но я думаю — нет. Если хорошо — пусть оно явится в Сары-Камыш, здесь был ад всего мира, и я здесь живу хуже всякого человека.

— Я вот пришел к тебе, — сказал Чагатаев.

Старик опять сморщился в недоверчивой улыбке.

— Ты скоро уйдешь от меня, я умру здесь один. Ты молод, твое сердце бьется тяжело, ты соскучишься.

Чагатаев приблизился к старику и поцеловал его, как раньше целовал Веру, крепко и неумолимо. Странно, что уста старика имели тот же человеческий вкус, как губы далекой молодой женщины.

— Здесь ты умрешь от сожаления, от воспоминаний. Здесь, персы говорили, был ад для всей земли...

Они вошли в землянку, где жил на камышовой под-

стилке Суфьян. Он дал лепешку гостю, испеченную из корней трав плоскогорья. В отверстии входа видна была вечерняя тень, бегущая в яму Сары-Камыша, где в древности находился всемирный ад. Чагатаев слышал в детстве это устное предание и теперь понимал его полное значение. В далеком отсюда Хорасане, за горами Копет-Дага, среди садов и пашен, жил чистый бог счастья, плодов и женщин — Ормузд, защитник земледелия и размножения людей, любитель тишины в Иране. А на север от Ирана, за спуском гор, лежали пустые пески; они уходили в направлении, где была середина ночи, где томилась лишь редкая трава, и та срывалась ветром и угонялась прочь, в те черные места Турана, среди которых беспрерывно болит душа человека. Оттуда, не перенося отчаяния и голодной смерти, бежали темные люди в Иран. Они врывались в гущи садов, в женские помещения, в древние города и спешили поссть, наглядеться, забыть самих себя, пока их не уничтожали, а уцелевших преследовали до глубины песков. Тогда они скрывались в конце пустыни, в провале Сары-Камыша, и там долго томилась, пока нужда и воспоминание о прозрачных садах Ирана не поднимали их на ноги... И снова всадники черного Турана появлялись в Хорасане, за Атреком, в Астрабаде, среди достояния ненавистного, оседлого, тучного человека, истребляя и наслаждаясь... Может быть, одного из старых жителей Сары-Камыша звали Ариманом, что равнозначно черту, и этот бедняк пришел от печали в ярость. Он был не самый злой, но самый несчастный, и всю свою жизнь стучался через горы в Иран, в рай Ормузда, желая есть и наслаждаться, пока не склонился плачущим лицом на бесплодную землю Сары-Камыша и не скончался.

Суфьян оставил Чагатаева ночевать. Экономист томился во сне: уходят дни и ночи напрасно, нужно торопиться и делать счастье на адовом дне Сары-Камыша; от нетерпения сердца он долго не мог уснуть, считая течение времени. Как свет совести, горели звезды на небе, верблюд сопел снаружи, и по песку осторожно скреблась сорванная дневным ветром обессиленная трава, точно стремясь идти самостоятельно на своих ножках-былинках.

На следующий день Чагатаев и Суфьян вышли с места, чтобы найти пропавших людей. Верблюд тоже

пошел за ними, боясь одиночества, как боится его любящий человек, живущий в разлуке со своими.

На краю Сары-Камыша Чагатаев вспомнил знакомое место. Здесь росла седая трава, не выросшая больше с тех пор, как было в детстве Назара. Здесь мать сказала ему когда-то: «Ты, мальчик, не бойся, мы идем умирать», — и взяла его за руку ближе к себе. Вокруг собрались все бывшие тогда люди, так что получилась толпа, может быть, в тысячу человек, вместе с матерями и детьми. Народ шумел и радовался: он решил идти в Хиву, чтобы его убили там сразу весь, полностью, и больше не жить. Хивинский хан давно уже томил этот рабский, ничтожный народ своей властью. Он сначала редко, потом все более часто присылал в Сары-Камыш всадников из своего дворца, и те забирали из народа каждый раз по несколько человек, а затем их либо казнили в Хиве, либо сажали в темницу без возврата. Хан искал воров, преступников и безбожников, но их трудно было отыскать. Тогда он велел брать всех тайных и неизвестных людей, чтобы жители Хивы, видя их казнь и муку, имели страх и содрогание. Сперва народ джан боялся Хивы, и многие люди заранее чувствовали изнеможение от страха; они переставали заботиться о себе и семействе и только лежали навзничь в непрерывной слабости. Затем стали бояться все люди — они глядели в чистую пустыню, ожидая оттуда конных врагов, они замирали от всякого ветра, метущего песок по вершине бархана, думая, что это мчатся верховые. Когда же третья часть народа или более была забрана без вести в Хиву, народ уже привык ожидать своей гибели; он понял, что жизнь не так дорога, как она кажется, в сердце и в надежде, и каждому, кто остался цел, было даже скучно, что его не взяли в Хиву. Но молодой Якубджанов и его друг Ораз Бабаджан не хотели зря ходить в Хиву, если можно умереть на свободе. Они бросились с ножами на четверых ханских стражников и оставили их на месте лежащими, сразу лишив их славы и жизни. А маленький Назар, увидев чужих вооруженных людей, побежал к матери за одной острой железкой, которую он спрятал себе для игры, но обратно он прибежал уже поздно: стражники умерли без его железки. Ораз и Якубджанов исчезли после того, сев на лошадей убитых солдат, а остальной народ пошел толпой в Хиву, счастливый и мирный; люди были

одинаково готовы тогда разгромить ханство или без сожаления расстаться там с жизнью, поскольку быть живым никому не казалось радостью и преимуществом и быть мертвым не больно. Впереди пошел бахши, бормоча свою песню, а рядом с ним был Суфьян, и тогда уже старый человек. Назар смотрел на мать; он удивлялся, что она теперь веселая, хотя шла помирать, и все прочие люди шли также охотно. Дней через десять или пятнадцать сары-камышский народ увидел хивинскую башню. Дорога до Хивы была тяжелая и медленная, но трудность и нужда неподвижной жизни тоже требовали привычного сердца, поэтому люди не чувствовали раздражения от излишней усталости. Около самой Хивы пришедший народ окружило небольшое ханское конное войско, но тогда народ, видя это, запел и развеселился. Пели все, даже самые молчаливые и неумелые; узбеки и казахи танцевали впереди всех, один русский несчастный старик играл на губной гармонии, мать Назара подняла руки, точно готовясь к тайному танцу, а сам Назар с интересом ждал, как их всех и его самого сейчас убьют солдаты. Около ханского дворца стояли толстые смелые стражники, берегущие хана от всех. Они с удивлением глядели на прохожий народ, который шел мимо них с гордостью и не боялся силы пуль и железа, будто он был достойный и счастливый. Эти дворцовые стражники вместе с прежними всадниками должны постепенно окружить сары-камышский народ и загнать его в тюремное подземелье; но веселых трудно наказывать, потому что они не понимают зла.

Один помощник хана подошел близко к старым людям из Сары-Камыша и спросил их:

— Чего им надо и отчего они чувствуют радость?

Ему ответил кто-то, может быть, Суфьям или прочий старик:

— Ты долго приучал нас помирать, теперь мы привыкли и пришли сразу все, — давай нам смерть скорее, пока мы не отучились от нее, пока народ веселится!

Помощник хана ушел назад и больше не вернулся. Конные и пешие солдаты остались около дворца, не касаясь народа: они могли убивать лишь тех, для кого смерть страшна, а раз целый народ идет на смерть весело мимо них, то хан и его главные солдаты не знали, что им надо понимать и делать. Они не сделали ничего,

а все люди, явившиеся из впадины, прошли дальше и вскоре увидели базар. Там торговали купцы, еда лежала наружи около них, и вечернее солнце, блестевшее на небе, освещало зеленый лук, дыни, арбузы, виноград в корзинах, желтое хлебное зерно, седых ишаков, дремлющих от усталости и равнодушия.

Назар спрашивал тогда мать:

— А когда же будет смерть? Я хочу!

Но мать сама не знала, что будет сейчас, она видела, что все еще живы, и боялась опять возвращаться в Сары-Камыш и снова там вечно жить. На хивинском базаре народ стал брать разные плоды и наедаться без денег, а купцы стояли молча и не били этих хищных людей. Назар ел медленно, он глядел кругом, ожидая убийства, и успел съесть только одну дыню. Наевшись, народ стал скучным, потому что веселье его прошло и смерти не было. Гюльчатай повела Назара в пустыню, все люди также ушли прочь, в старое место своей жизни.

Назар с матерью вернулись назад в Сары-Камыш. На этой жесткой седой траве, где Чагатаев сейчас стоял с Суфьяном, они тогда отдыхали, и мать сказала сыну:

— Давай опять жить, мы не умерли!

— Мы с тобою целы, — согласился Назар. — Знаешь что, мама, мы будем жить — ничего не думать, нарочно нас нет.

— Хорошо тем, кто умер внутри своей матери, — сказала Гюльчатай.

— У тебя в животе? — спросил Назар. — А почему ты меня там не оставила? Я бы умер, и меня сейчас не было, а ты ела и жила и думала про меня: нарочно я живой.

Гюльчатай посмотрела тогда на сына: счастье и жалость прошли по ее лицу.

Теперь Чагатаев лишь погладил ту давнюю траву, живущую поныне без изменения, потому что она умерла еще до рождения Назара, но все еще держалась, как живая, глубокими мертвыми корнями. Суфьян понимал, что в Чагатаеве происходит сейчас какое-то волнение жизни, но не интересовался этим: он знал, что чем-нибудь надо человеку наполнять свою душу, и если нет ничего, то сердце алчно жует собственную кровь.

Через четыре дня Суфьян и Чагатаев настолько захотели есть, что стали видеть сновидения, в то время как ноги их шли и глаза видели обыкновенный день. Верблюд не покидал людей, но двигался в отдалении от них, где была ему попутная пища из травы. Суфьян глядел в свои плывущие сны без надежды, а Чагатаев то улыбался от них, то мучился. Дойдя до протока Дарьялык у Мангырчардара, два пешехода стали на обычный ночлег, и Суфьян размешал воду у берега, чтобы она была мутнее, гуще и питательней, а потом, напившись, оба человека легли в пещерку, дабы тело забыло, что оно живет, и скорее миновала ночь. Проснувшись наутро, Чагатаев увидел мертвого верблюда; он лежал вблизи с окаменевшими глазами, на его шее замерла кровь разреза, и Суфьян рылся в его внутренностях, как в мешке с добром, выбирая оттуда сырые части с чистой кровью и насыщаясь ими. Чагатаев тоже подполз к верблюду; из открытого тела его пахло теплом и сытостью, кровь еще капала и текла по скважинам в дальних ущельях его туловища, жизнь умирала долго. Наевшись, Чагатаев и Суфьян в блаженстве уснули опять и проснулись не скоро.

Затем они пошли далее — в разливы, в устье Амударьи. Они взяли с собой в запас верблюжьего мяса, но Чагатаев ел его без аппетита: ему было трудно питаться печальным животным; оно тоже казалось ему членом человечества.

6

Жители Сары-Камышской впадины разбрелись в камышах и кустарниках по устью Амударьи. Прошло уже около десяти лет, как народ джан пришел сюда и рассеялся среди влажных растений. Комары вначале разедали людей так, что они раздирали себе кожу до костей, но спустя время кровь их привыкла к комариному яду и стала вырабатывать из себя противоядие, от которого комары делались беспомощными и падали на землю. Поэтому комары теперь боялись людей и не приближались к ним вовсе.

Некоторые люди народа расселились отдельно, по одному человеку, чтобы не мучиться за другого, когда нечего есть, и чтобы не надо было плакать, когда умирают близкие. Но изредка люди жили семьями; в таком

случае они не имели ничего, кроме любви друг к другу, потому что у них не было ни хорошей пищи, ни надежды на будущее, ни прочего счастья, развлекающего людей, и их сердце ослабело настолько, что могло содержать в себе лишь любовь и привязанность к мужу или жене, — самое беспомощное, бедное и вечное чувство.

Суфьян и Чагатаев сперва блуждали двое суток в сумрачных камышах по сырой земле, прежде чем увидели один травяной шалаш. В нем жил слепец Молла Черкезов, его берегла и кормила дочь Айдым, девочка лет десяти. Молла узнал Суфьяна по голосу, но говорить им было не о чем. Они посидели один против другого на камышовой подстилке, попили чая, приготовленного из растертых и высушенных корней того же камыша, и попрощались.

— Есть у вас новости? — спросил Суфьян, прощаясь.

— Нет, жизнь идет одинаково, — ответил Черкезов. — Жена моя, милая Гюн, утонула в воде и умерла.

— Отчего утонула твоя достойная Гюн?

— Не стала жить. Возьми у меня девочку Айдым и приведи мне молодую ослицу, буду с ней жить по ночам, чтобы не было мыслей и бессонницы.

— Я беден, — сказал Суфьян, — ослицы у меня нету. Ты обменяй дочь на старуху. Живи со старухой: тебе все равно.

— Все равно, — согласился Молла Черкезов. — Но старухи скоро помирают, их не хватает человеку.

— Ты слышал, к нам приехал Назар из Москвы; ему велели помочь нам прожить нашу жизнь хорошо.

— Четыре человека приезжали раньше Назара, — сообщил Черкезов. — Их искусали комары, и они уехали. Я слепой человек, мое дело — тьма, мне хорошо не будет.

— Тебе хорошо даже от ослицы и от старухи, — сказал здесь Чагатаев. — Твое счастье похоже на горе.

— С женой время идет незаметно, — ответил Молла Черкезов.

Девочка Айдым сидела на земле и, раздвинув ноги, растирала маленьким камнем на большом корневище камыша; она была здесь хозяйкой и готовила пищу. Кроме камыша, около девочки лежало несколько пучков болотной и пустынной травы и одна чистая кость

осла или верблюда, выкопанная где-нибудь в дальних песках,—для приварка. Вымытый котел стоял между ног Айдым, она бросала в него время от времени то, что готовили ее руки, она собирала суп на обед. Девочка не интересовалась гостями; глаза ее были заняты своею мыслью,—вероятно, она жила тайной, самостоятельной мечтой и делала домашнюю работу почти без сознания, отвлеченная от всего окружающего своим сосредоточенным сердцем.

— Отпусти со мною твою дочь! — попросил Чагатаев у хозяина.

— Она еще не выросла, что ты будешь делать с ней? — сказал Молла Черкезов.

— Я приведу тебе старую, другую.

— Приводи скорее, — согласился Черкезов.

Чагатаев взял за руку Айдым, она глядела на него черными, ослепительно блестящими, как бы невидящими глазами, пугаясь и не понимая.

— Пойдем со мною, — сказал ей Чагатаев.

Айдым потеряла руки о землю, чтобы они очистились, встала и пошла, оставив все свои дела на месте недоделанными, не оглянувшись ни на что, словно она прожила здесь одну минуту и не покидала сейчас живого отца.

— Суфьян, тебе ведь одинаково — идти со мной или нет? — обратился Чагатаев к старику.

— Одинаково, — ответил Суфьян.

Чагатаев велел ему остаться у слепого, чтобы помогать Черкезову кормиться и жить, пока он не вернется.

Назар пошел с девочкой по узкому следу людей в камышовом лесу. Он хотел увидеть всех жителей этой заросшей страны, весь спрятавшийся сюда от бедствия народ. Про свою мать Гюльчатай он ни разу не спросил у Суфьяна, он надеялся неожиданно встретить ее живой и помнящей его, а про то, где остались лежать ее кости, он всегда успеет узнать.

Айдым шла покорно за Чагатаевым всю долгую дорогу. Камыши иногда кончались. Тогда Назар и девочка выходили на пустые песчаные и илистые наносы, на мелкие озера, обходили жесткие старческие кустарники и опять входили в камышовую гущу, где была тропинка. Айдым молчала, когда она умиралась, Чагата-

ев взял ее себе на плечи и понес, держа ее за колени, а она обхватила ему голову. Потом они отдыхали и пили воду из чистого песчаного водоема. Девочка смотрела на Чагатаева странным и обыкновенным человеческим взглядом, который он старался понять. Может быть, это означало: возьми меня к себе; может быть: не обмани и не замучай меня, я тебя люблю и боюсь. Или эта детская мысль в темных, сияющих глазах была недоумением: отчего здесь плохо, когда мне надо хорошо!..

Чагатаев посадил Айдым к себе на руки и перебрал ее волосы на голове. Она вскоре уснула у него на руках, доверчивая и жалкая, рожденная лишь для счастья и заботы.

Наступил вечер. Идти дальше было темно. Чагатаев нарвал травы, сделал из них теплую постель для защиты от ночного холода, переложил девочку в эту травяную мягкость и сам лег рядом, укрывая и согревая небольшого человека. Жизнь всегда возможна, и счастье доступно немедленно.

Чагатаев лежал без сна; если бы он уснул, Айдым раскрылась бы голым телом и окоченела. Большая черная ночь заполнила небо и землю — от подножья гравы до конца мира. Ушло одно лишь солнце, но зато открылись все звезды и стал виден вскопанный, беспокойный Млечный Путь, как будто по нему недавно совершился чей-то безвозвратный поход.

7

Свет зари осветил спящих на траве. Одна рука Чагатаева находилась под головой Айдым, чтобы ей не жестко и не влажно было спать, другой он закрыл свои глаза, укрываясь от утра. Незвестная старуха сидела около спящих и смотрела на них без памяти. Она трогала, еле касаясь, волосы, рот и руки Чагатаева, нюхала его одежду, оглядывалась вокруг и боялась, что ей помешают. Потом она осторожно вынула руку Назара из-под головы девочки, чтобы он никого сейчас не чувствовал и не любил, а был с нею одной. Спина ее давно уже и навсегда согнулась, и когда старуха разглядывала что-либо, лицо ее почти ползало по земле, точно она была невидящая и искала потерянное. Она осмотрела все, во что был одет Назар, перепробовала руками

ремешки и тесемки его штанов и обуви, помяла в руках материю его куртки и провела пальцем, смоченным во рту, по черным запыленным бровям Чагатаева. Затем она успокоилась и легла головой к ногам Назара, счастливая и усталая, как будто она дожила до конца жизни и больше ей ничего не осталось делать, как будто у этих башмаков, гниющих изнутри от пота, покрытых пылью пустыни и грязью болот, она нашла свое последнее утешение. Старуха задремала или уснула, но вскоре поднялась опять. Чагатаев и Айдым спали по-прежнему. дети спят долго, и даже солнце, бабочки и птицы их не будят.

— Проснись скорее! — сказала старуха, обняв руками спящего Чагатаева.

Он открыл глаза. Старуха стала целовать его шею, грудь через одежду, руку, ползя лицом по человеку, и проверяла, и рассматривала вблизи все его тело: целы или нет его части, не отболело и не потеряно ли что-нибудь в разлуке.

— Не надо: ведь ты моя мать, — сказал Чагатаев.

Он встал на ноги перед ней, но мать была сгорблена настолько, что не могла теперь видеть его лица, она тянула его за руки вниз, к себе, и Чагатаев согнулся и сел перед ней. Гюльчатай тряслась от старости или от любви к сыну, но не могла ничего сказать ему. Она только водила по его телу руками, испуганно ощущая свое счастье, и не верила в него, боясь, что оно пройдет.

Чагатаев смотрел в глаза матери, они теперь стали бледные, отвыкшие от него, прежняя блестящая темная сила не светила в них; худое, маленькое лицо ее стало хищным и злобным от постоянной печали или от напряжения удержать себя живой, когда жить не нужно и нечем, когда про самое сердце свое надо помнить, чтоб оно билось, и заставлять его работать. Иначе можно ежеминутно умереть, позабыв или не заметив, что живешь, что необходимо стараться чего-то хотеть и не упускать из виду самое себя.

Назар обнял мать. Она была сейчас легкой, воздушной, как маленькая девочка, — ей нужно начинать жить с начала, подобно ребенку, потому что все силы у нее взяло терпение борьбы с постоянным мученьем, и она не имела никогда свободного от горя остатка сердца, чтобы чувствовать добро своего существова-

ния; она не успела еще понять себя и освоиться, как наступила пора быть старухой и кончаться.

— Где ты живешь? — спросил ее Назар.

— Там, — показала Гюльчатай рукой.

Она повела его через мелкие травы, через редкий камыш, и вскоре они дошли до небольшой деревни, расположенной на поляне среди камышового леса. Чагатаев увидел камышовые шалаши и несколько кибиток, связанных тоже из камыша. Всего было жилищ двадцать или немного больше. Ни собаки, ни осла, ни верблюда Чагатаев не заметил в этом поселении, даже домашняя птица не ходила на воле по траве.

Около крайнего шалаша сидел голый человек, кожа на нем висела складками, как изношенная, усталая одежда; он перебирал на своих коленях тростинки камыша, собирая из них себе вещь для домашней утвари или украшение. Этот человек не удивился появлению Чагатаева и не ответил даже на его поклон; он бормотал что-то про себя, воображая никому не видимое, занимая свою душу собственным, тайным утешением.

— Здесь живет весь наш народ или еще есть? — спросил Чагатаев у матери.

— Я уже забыла, Назар, я не знаю, — сказала Гюльчатай, с усилием пробираясь вслед за ним и низко неся голову, как трудный груз. — Были еще люди, десять людей, они живут по камышам до самого моря — раньше жили, теперь им пора умереть, должно быть, умерли, и к нам никто не приходит...

Шалаши и кибитки кончились. Дальше опять начался камыш. Чагатаев остановился. Здесь было все, — мать и родина, детство и будущее. Ранний день освещал эту местность: зеленый и бледный камыш, серо-коричневые ветхие шалаши на поляне с редкой подножной травой и небо наверху, наполненное солнечным светом, влажным паром болот, лессовой пылью высохших оазисов, взволнованное высоким неслышимым ветром, — мутное, измученное небо, точно природа гоже была лишь горестной, безнадёжной силой.

Оглядевшись здесь, Чагатаев улыбнулся всем прозрачным, скучным стихиям, не зная, что ему делать. Над поверхностью камышовых дебрей, на серебряном горизонте, виднелся какой-то замерший мираж — мо-

ре или озеро с плывущими кораблями и белая сияющая колоннада дальнего города на берегу. Мать молча стояла около сына, склонившись туловищем книзу.

Она жила в шалаше, на глине, без мужа и без родных. Две камышовые циновки лежали на земле внутри ее жилища — одной она покрывалась, на другой спала. Еще у нее был чугунный горшок для пищи и глиняный кувшин, а на перекладине висел ее девичий яшмак и одна тряпка, в которую она заворачивала Назара, когда он был грудным ребенком. Кочмат умер лет шесть тому назад, от него осталась одна штанина (другую Гюльчатай истратила на латки для юбки) и мочалка, служившая Кочмату, чтобы вытирать пот и грязь со своего тела, когда приходилось ходить работать на хошарах по оазисам.

Мать Назара жила здесь бобылкой-колтаманкой. Она удивилась, что Назар еще жив, но не удивилась, что он вернулся: она не знала про другую жизнь на свете, чем та, которой жила сама, она считала все на земле однообразным.

Чагатаев сходил за девочкой Айдым, он разбудил и привел ее в камышовый шалаш матери. Гюльчатай ушла рыть корни травы, ловить мелкую рыбу камышовой кошелкой в водяных впадинах, искать птичьи гнезда в зарослях, чтобы собрать на пищу яиц или птенцов, — вообще, поджиться что-либо у природы для дальнейшего существования. Она вернулась лишь к вечеру и стала готовить еду из трав, камышовых корней и маленьких рыбок; она теперь уже не интересовалась, что около нее находится сын, и совсем не глядела на него и не говорила никаких слов, точно весь ее ум и чувство были погружены в глубокое, непрерывное размышление, занимавшее все ее силы. Краткое человеческое чувство радости о живом, выросшем сыне прошло, или его вовсе не было, а было одно изумление редкой встречей.

Гюльчатай не спросила даже, хочет ли есть Назар и что он думает делать на родине, в камышовом поселении.

Назар глядел на нее; он видел, как она шевелится в привычном труде, и ему казалось, что она на самом деле спит и движется не в действительности, а в сно-

видении. Глаза ее были настолько бледного, беспомощного цвета, что в них не осталось силы для зрения, — они не имели никакого выражения, как слепые и умолкшие. Судя по большим зачерствевшим ногам, Гюльчатай жила всегда босой; одежда ее состояла из одной темной юбки, продолженной до шеи в виде капота, залаганной разнообразными кусками материи, вплоть до кусков из валяной обуви, которыми обшит подол. Чагатаев потрогал платье матери, оно было надето на голое тело, там не имелось сорочки, — мать давно отвыкла зябнуть по ночам и по зимам или страдать от жары — она притерпелась.

Назар позвал мать. Она отозвалась ему, она его понимала. Назар стал помогать ей разводить огонь в очаге, устроенном в виде пещерки под камышовой наклонной стеной. Айдым смотрела на чужих черными чистыми глазами, храня в них сияющую силу своего детства, свою робость, которая была печалью, потому что ребенку хотелось быть счастливым, а не сидеть в сумраке шалаша, думая о том, дадут есть или нет. Чагатаев вспоминал, где он видел такие же глаза, как у Айдым, но более живые, веселые, любящие, — нет, не здесь, и та женщина была не туркменка, не киргизка, она давно забыла его, он тоже не помнит ее имени, и она не может представить себе, где сейчас находится Чагатаев и чем занимается: далеко Москва, он здесь почти один, кругом камыш, водяные разливы, слабые жилища из мертвых трав. Ему скучно стало по Москве, по многим товарищам, по Вере и Ксене, и он захотел поехать вечером в трамвае куда-нибудь в гости к друзьям. Но Чагатаев быстро понял себя. «Нет, здесь тоже Москва!» — вслух сказал он и улыбнулся, глядя в глаза Айдым. Она оробела и перестала смотреть на него.

Мать сварила себе жидкую пищу в чугуне, съела ее без всякого остатка и еще вытерла пальцами посуду изнутри и обсосала их, чтобы лучше наесться. Айдым внимательно следила за Гюльчатай, как она ела, как еда проходила внутри ее худого горла мимо жил, но она смотрела без жадности и зависти, с одним удивлением и с жалостью к старухе, которая глотала траву с горячей водой. После еды Гюльчатай уснула на облежанной камышовой подстилке, и в то время уже наступил общий вечер и ночь.

Первый день жизни Чагатаева на родине прошел; сначала светило солнце, на что-то можно было надеяться, теперь небо померкло и уже появилась вдалеке одна неясная, ничтожная звезда.

Стало сыро и глухо. Народ в этой камышовой стране умолк; его так и не услышал Чагатаев. Он набрал травы поблизости, сделал из нее постель в материнском шалаше и уложил Айдым в теплое место, чтобы она тоже спала.

Он вышел затем один, дошел до какого-то пустого, еле влекущегося протока Амударьи и вновь возвратился. Мощная ночь уже стояла над этой страной, мелкий молодой камыш шевелился у подножия старых растений, как дети во сне. Человечество думает, что в пустыне ничего нет, одно неинтересное дикое место, где дремлет во тьме грустный пастух и у ног его лежит грязная впадина Сары-Камыша, в котором совершалось некогда человеческое бедствие, — но и оно прошло, и мученики исчезли. А на самом деле и здесь, на Амударье, и в Сары-Камыше тоже был целый грудной мир, занятый своей судьбой.

Чагатаев прислушался: кто-то говорил вблизи, насмешливо и быстро, но оставался без ответа. Назар подошел к камышовому жилищу. Слышно было, как внутри него дышали спящие люди и поворачивались на своих местах от беспокойства.

— Подбирай шерсть на земле, клади мне за пазуху, — говорил голос спящего старика. — Собирай скорее, пока верблюды линяют...

Чагатаев прислонился к камышовой стене. Старик сейчас лишь шептал в бреду, не слышно что. Ему снилась какая-то жизнь, вечное действие, он бормотал все более тихо, как будто удалялся.

— Дурды, Дурды! — стал звать голос женщины; она шевелилась, и циновка под ней шелестела. — Дурды! Не убегай от меня, я уморилась, я не догоню тебя... Остановись, не мучай меня, мой ножик острый, я зарежу тебя сразу, ты поддайся.

Они умолкли и спали теперь мирно.

— Дурды! — тихо позвал Чагатаев снаружи.

— А? — отозвался изнутри голос бормотавшего старика.

— Ты спишь? — спросил Чагатаев.

— Сплю, — ответил Дурды.

Чагатаев вспомнил этого Дурды в синеве своего детства; был в то время один худой человек из племени номудов, который кочевал вдвоем с женой и ел черепах. В Сары-Камыш он приходил потому, что начинал скучать, и тогда сидел молча в кругу людей, слушал их слова, улыбался и был доволен тайным счастьем своего свидания; потом он опять уходил в пески ловить черепах и думать что-то в своей душе. Одинокая женщина (Назару тогда она казалась тоже старой) шла вослед мужа и несла за плечами все их семейное имущество. Маленький Назар провожал их до песков и долго глядел на них, пока они не скрывались в сияющем свете, превращаясь в плывущие головы без тела, в лодку, в птицу, в мираж.

Рядом была другая камышовая хижина, построенная в форме кибитки. Около нее сидела небольшая собака. Чагатаев удивился ей, потому что никаких домашних животных он здесь ни разу не видел. Черная собака смотрела на Чагатаева, она открывала и закрывала рот, делая им движение злобы и лая, но звука у нее не получалось. Одновременно она поднимала то правую, то левую переднюю ногу, пытаясь развить в себе ярость и броситься на чужого человека, но не могла. Чагатаев наклонился к собаке, она схватила своей пастью его руку и потеряла ее между пустыми деснами — у нее не было ни одного зуба. Он попробовал ее за тело — там часто билось жестокое жалкое сердце, и в глазах собаки стояла слеза отчаяния.

В кибитке кто-то изредка смеялся кротким, блаженным голосом. Чагатаев поднял решетку, навешенную на жерди, и вошел внутрь жилища. В кибитке было тихо, душно, не видно ничего. Чагатаев согнулся и пополз, ища того, кто здесь есть. Жаркий шерстяной воздух томил его. Чагатаев ослабевшими руками искал неизвестного человека, пока не нащупал чье-то лицо. Это лицо вдруг сморщилось под пальцами Чагатаева, и изо рта человека пошел теплый воздух слов, каждое из которых было понятно, а вся речь не имела никакого смысла. Чагатаев с удивлением слушал этого человека, держа его лицо в своих руках, и старался понять, что он говорит, но не мог. Переставая говорить, этот сидячий житель кибитки кратко и разумно

посмеивался, потом говорил опять. Чагатаеву казалось, что он смеется над своей речью и над своим умом, который сейчас что-то думает, но выдуманное им ничего не значит. Затем Чагатаев догадался и тоже улыбнулся: слова стали непонятные оттого, что в них были одни звуки — они не содержали в себе ни интереса, ни чувства, ни воодушевления, точно в человеке не было сердца внутри и оно не издавало своей интонации.

— Возьми поди взойди на Усть-Урт, подними что-нибудь и мне принеси, а я в грудь положу, — сказал этот человек, а потом снова засмеялся.

Ум его еще жил, и он, может быть, смеялся в нем, пугаясь и не понимая, что сердце бьется, душа дышит, но нет ни к чему интереса и желания; даже полное одиночество, тьма ночной кибитки, чужой человек — все это не составляло впечатления и не возбуждало страха или любопытства. Чагатаев трогал этого человека за лицо и руки, касался его туловища, мог даже убить его, — он же по-прежнему говорил кое-что и не волновался, будто был уже посторонним для собственной жизни.

Снаружи была прежняя ночь. Чагатаев, уходя дальше, хотел вернуться, взять и унести с собой бормочущего человека; но куда его надо нести, если он замучился до того, что нуждался уже не в помощи, а в забвении? Он оглянулся; безмолвная собака шла за ним, в камышовых шалашах лежали люди во сне и в своих сновидениях, по вершинам камышовых зарослей иногда проходила дрожь слабого ветра, уходя отсюда до самого Арала. В шалаше, рядом с тем, где спали мать и Айдым, кто-то тихо разговаривал. Собака вошла туда и вышла назад, а потом бросилась назад домой, боясь потерять или забыть, где находится ее хозяин и убежище.

Чагатаев пришел обратно к матери и лег, не раздеваясь, рядом с Айдым. Девочка дышала во сне редко и почти незаметно, было страшно, что она может забыть вздохнуть и тогда умерет. Лежа на глине, Чагатаев слышал в дремоте, как по глухому низу земли раздавалось сонное бормотание его народа и в желудках мучительно варились кислые и щелочные травы. В соседнем травяном жилище муж говорил с женой; он хотел, чтобы у них родился ребенок — может, он сейчас зачнется.

Но жена отвечала:

— Нет, в нас с тобой слабость одна, мы десять лет его зачинаем, а он не начинается во мне, и я всегда пустая, как мертвая...

Муж молчал, потом говорил:

— Ну, давай чего-нибудь делать вдвоем, нам нечему радоваться с тобой.

— Что же, — отвечала женщина, — мне одеться не во что, тебе тоже; как зимою будем жить!

— Когда будем спать, то согреемся, — отвечал муж, — от бедности чего же больше делать: одна ты осталась, поневоле глядишь и любишь!..

— Больше нечего, — соглашалась женщина, — нету никакого добра у нас с тобой, я все думала-предумала и вижу, что люблю тебя.

— Я тоже тебя, — говорил муж, — иначе не проживешь...

— Дешевле жены ничего нету, — ответила женщина. — При нашей бедности, кроме моего тела, какое у тебя добро?

— Добра не хватает, — согласился муж, — спасибо хоть жена рождается и вырастает сама, нарочно ее не сделаешь: у тебя есть груди, живот, губы, глаза твои глядят, много всего, я думаю о тебе, а ты обо мне, и время идет...

Они замолчали. Чагатаев почистил уши от скопившейся серы и стал слушать далее — не будет ли еще оттуда слов, где лежат муж и жена.

— Мы с тобой плохое добро, — проговорила женщина, — ты худой, слабосильный, а у меня груди высыхают, кости внутри болят...

— Я буду любить твои остатки, — сказал муж.

И они умолкли вовсе, — наверно, обнялись, чтобы держать руками свое единственное счастье.

Чагатаев прошептал что-то, улыбнулся и уснул, довольный, что на его родине среди двоих людей уже существует счастье, хотя и в бедном виде.

Утром Гюльчатай не обратила внимания ни на сына, ни на приведенную им девочку. Силы ее души хватило только на воспоминание о нем, когда он спал на

траве у тропинки, рядом с Айдым; теперь она жила одной своей жизнью. В шалаше делать было нечего, все же мать долго ровняла камышовые стебли в наклонных стенах, собрала все былинки с земли, вычистила котел изнутри, оправила и свернула циновку и делала все это с глубокой тщательностью и усердием, заботясь о том, чтобы цело было ее хозяйское добро, потому что, кроме него, у нее не было связи с жизнью и прочими людьми. Затем человеку нужно что-нибудь непрерывно думать, она тоже, видимо, воображала что-то, когда трудилась в своей мелкой, почти бесполезной суете; без труда же думать она не умела; хозяйство и шалаш, когда она прибирала его, давали ей воспоминания, наполняли чувством жизни ее пустое, слабое сердце.

Она попросила у сына, чтоб он дал ей что-нибудь. Попросила она робко, без надежды и без жадности, лишь для того, чтобы у нее стало больше вещей и увеличилась, посредством них, житейская занятость, — тогда время жизни проходит лучше. Назар правильно понял мать и отдал ей плащ, кобуру от револьвера (револьвер он переложил в карман брюк), блокнот и сорок рублей денег и заодно велел накормить Айдым. Но девочка сама вперед пошла собирать себе траву на пищу, а Гюльчатай осталась.

— Ты знаешь Моллу Черкезова? — спросил ее Назар.

— Я всех знаю, — сказала мать.

— Ступай, живи у него, тебе там лучше будет. Он слепой и будет беречь тебя, пока не умрет.

Согнутая старая мать глядела в землю; она не понимала, зачем она нужна Черкезову, если и сердце ее давно бьется уже не от чувства, а от привычки, если жизнь для нее почти незаметна. Однако она пошла, не взяв ничего с собою из жилища, кроме того, что ей дал сын, и то потому, что эти вещи находились у нее в руках. Оказывается, и домашнее добро свое она уже не любила, потому что для жадности у нее не хватало душевных человеческих сил.

Чагатаев остался жить вдвоем с Айдым, желая, чтобы сердце матери согрелось в семейной жизни с Моллой Черкезовым. Айдым сразу начала хозяйствовать, собирать и варить траву, ловить рыбу и стряпать пищу на обед. Однажды она ходила далеко через про-

токи и разливы, дошла до саксаульника и принесла дров в запас на зимнее время. Чагатаев сам затем сходил два раза в этот далекий саксаульник и принес дров, а девочке вовсе запретил ходить, — пусть она только разводит маленький костер в домашней печке и готовит одну похлебку в сутки. Но вскоре ему пришлось хозяйствовать полностью одному, потому что Айдым заболела и стала горячая, жаркая, мокрая от пота. Назар укрывал ее травой от озноба, протирал ей запекшиеся глаза и пил жидким супом из трав, но девочка не справлялась с болезнью, она худела, молчала и направлялась в смерть. Глаза ее без сознания глядели на Чагатаева, она не умела ничего помыслить для облегчения. Чагатаев сидел над ней долгие пустынные дни и оберегал больную от тоски и страха.

По другим шалашам и кибиткам тоже лежали больные и немощные люди. Чагатаев сосчитал, что всего в народе джан было сорок семь человек, из них человек двадцать болело. Женщин среди народа находилось одиннадцать человек, а детей до двенадцати лет — три души, считая сюда и Айдым. Женщины, как самые большие труженицы, умирали прежде всех, а оставшиеся в живых рожали детей очень редко. Здесь, напрягаясь изо всех нищих сил, желали детей более, чем в далеких странах богатства, и если дети иногда рожались, то они получали в наследство то же, что имели их родители, — корни камыша, долгую участь жизни в пустом пространстве.

Во время болезни Айдым к Чагатаеву пришел уполномоченный райисполкома Нур-Мухаммед. Чагатаев ему сказал, что он командирован сюда для помощи своему народу, который должен стать счастливым, движущимся вперед и многочисленным. Нур-Мухаммед ответил Назару, что сердце народа давно выболело в нужде, ум его стал глуп и поэтому свое счастье ему чувствовать нечем; лучше будет дать покой этому народу, забыть его навсегда или увести куда-нибудь в пустыню, в степи и горы, чтобы он заблудился, и затем посчитать его несуществующим.

Чагатаев понемногу рассмотрел Нур-Мухаммеда; он был велик ростом, уже стар, глаза его глядели из узко прорезанных век, как сквозь постоянную боль. Он одевался в узбекский халат, имел тюрбетейку на го-

лове, был обут в войлочные туфли — единственный человек во всем народе, сохранивший такую одежду. Это объяснялось тем, что сам Нур-Мухаммед не принадлежал к народу джан, а был командирован сюда полгода назад и глядел на людей чужими глазами.

— Что ты сделал здесь за полгода? — спросил его Чагатаев.

— Ничего, — сообщил Нур-Мухаммед. — Я не могу воскрешать мертвых.

— Чего же ты ждешь тогда, зачем ты тут?

— Когда я пришел сюда, в народе было сто десять человек, теперь меньше. Я рою могилы умершим, — их хоронить в болотах нельзя, будет заражение, и я ношу мертвых в дальний песок. Буду хоронить, пока выйдут все, тогда уйду отсюда, скажу — командировка выполнена...

— Народ сам похоронит своих близких — ты для этого не нужен.

— Нет, он не будет хоронить, я знаю.

— Почему не будет?

— Мертвых должны хоронить живые, а здесь живых нет, есть не умершие, доживающие свое время во сне, ты им не сделаешь счастья, и даже своего горя они уже не знают, они больше не мучаются, они отмутились.

— Что же нам делать с тобой? — спросил Чагатаев.

— Ничего не надо, — сказал Нур-Мухаммед. — Человека нельзя долго мучить, а хивинские ханы думали — можно. Долго — он погибает, его надо — понемногу и давать ему играть, а потом опять мучить...

— Я им могилы рыть не буду, — сказал Чагатаев. — Я не знаю, кто ты: ты чужой, лучше ты уйди отсюда, оставь нас одних.

Нур-Мухаммед потрогал лоб спящей Айдым и затем поднялся с места.

— Мое дело в моей голове, а твое дело — в твоей. Скоро я понесу эту девочку в землю. До свидания.

Он ушел в свою землянку. Чагатаев завернул Айдым в траву и в циновку и быстро понес ее к матери и к Молле Черкезову: пусть ей дают пить время от вре-

мени и укрывают от ночного холода. А сам Чагатаев сразу же отправился в Чимгай, куда было сто или полтора-ста километров. Он шел через сухие русла, протоки, камыши и через дебри смешанных растений весь остаток дня, всю ночь и еще целый день, ободрившись и обнищав в дороге, блуждая и тяготясь нетерпением, темнея умом, пока не лег где-то лицом в мягкость мха. Потом он проснулся и увидел невдалеке большие развалины; он подошел к глиняным оплывшим стенам. Высокое солнце скоптяло зной под старыми стенами; сон и забвение, беспамятство душного воздуха исходили из-под стен, где старела сухая глина. Чагатаев прошел внутрь укрепления, через то обрушенное место, где паводковые воды сделали в стене промону. Там было еще более душно от затишья; жара неба собиралась в одно гнездо, заросшее огромными травами с толстыми сальными стволами, потому что их здесь некому было есть и они росли ради одного своего наслаждения. Чагатаев с ненавистью глядел на эти жирные растения, выискивая под ними какую-нибудь мелкую съедобную траву. Он нашел чьи-то небольшие разбитые кости: их рубили, чтобы получился гуще навар, или рассекли саблей несколько раз, если это был человек. Далее он увидел еще несколько костей и целую половину человеческого скелета вместе с черепом; этот человек скончался лицом вниз, и ребра его разошлись в стороны, как для посмертного дыхания, а одно ребро уперлось своим острием в смятый красноармейский шлем, уже сопревший теперь и проросший бледной травой. Чагатаев выпростал его из-под ребра; на шлеме еще сохранилась тень пятиконечной звезды и внутри шлема, по надлобной полоске материи, имелась надпись химическим карандашом: «Ораз Голоманов» — имя павшего красноармейца. Чагатаев почистил шлем и надел его себе на голову, а свою фуражку положил на череп Голоманова. В глиняной стене, изнутри крепости, вероятно, штыком Голоманова или другого красноармейца, кости которого лежали где-нибудь врозь по земле, были вырезаны слова: «Да здравствует юлдаш революции!» — и штык резал глину слишком глубоко, для того чтобы время, ветер и дождь не заровняли и не смыли след этой надежды мертвых и живых. Должно быть, в тридцатом или тридцать первом году здесь находился красноармейский отряд, бившийся с басма

чами, с войсками хивинских и туркменских рабовладельцев, и Голоманов с товарищами остался здесь и сотлел в спокойствии, как будто он был уверен, что непржитая жизнь его будет дожита другими так же хорошо, как им самим. Чагатаев насыпал траву с землей на скелет Голоманова, чтоб орлы или одинокие звери не растаскали его кости, и ушел своим направлением на Чимгай.

В Чимгае он купил ящик с колхозной аптекой и достал через райком несколько десятков хинных порошков, но знал, что эти пособия слабо помогут его народу, который нуждается более всего в другой, еще не существующей жизни, которую можно терпеть, не умирая. На всякий случай он зашел еще на почту — спросить, нет ли ему писем из Москвы, может быть, есть. Внутри почтового помещения висели плакаты с изображением дальних авиационных сообщений, на наклонных столах под стеклом лежали образцы правильных почтовых адресов — в Москву, в Ленинград, в Тифлис, как будто все местные люди пишут письма только в эти пункты и тоскуют только по этим прекрасным городам.

Чагагаев обратился в окно «До востребования», и ему дали простое письмо из Москвы, которое было сюда переслано из Ташкента заботливыми работниками ЦК партии Узбекистана. Писала Ксения: «Назар Иванович Чагатаев! Ваша жена, моя мама Вера, умерла во Второй клинической больнице, в г. Москве, от родов девочки, которая когда родилась, то была мертвой, я видела ее тело. Девочку положили в больнице в один гроб с мамой Верой, вашей женой, похоронили в земле на Ваганьковском кладбище, не очень далеко от писателя Батюшкова. Я два раза ходила к могиле, постояла и ушла. Когда вы приедете, то я вам покажу, где находится могила. Мама велела мне вас помнить и любить, я вас помню. С пионерским приветом Ксения».

Туркменская девушка выглянула из окна «До востребования» и сказала:

— Обождите, вам еще телеграмма есть, ей шесть дней.

И она дала Чагатаеву ташкентскую телеграмму: «Письмо смерти жены прочтено ввиду трудности сообщения с вами. Извиняемся. Разрешается выехать на

месяц в Москву потом вернуться привет Орготдел Исфендиаров. При недоставлении течение двадцати дней возратить Ташкент отправителю».

Чагатаев спрятал письмо и телеграмму, взял ящик с колхозной аптекой и ушел из почтовой конторы. Чимгай был ничтожен — слепые дувалы и глиняные жилища находились почти незаметно среди окружающего свободного пространства пустого мира. Чагатаев купил в чайхане ячменных тепешек и через пять минут был уже вне города, на ветру своей дороги; солнце горело высоко и обильно, и все же его свет не мог согреть человеческое сердце до состояния счастья. Чагатаев перестал думать; он всматривался в разные подорожные предметы — в стебли мертвой травы, упавшей с чьей-то арбы, в куски переваренной пищи осла, в русский ветхий лапоть, неизвестно с какого дальнего странника; остатки и следы чужой жизни или деятельности отвлекали Чагатаева от собственной мысли. Наконец он увидел небольшую черепаху: она лежала с высунутой опухшей шеей, с беспомощно выпущенными лапками, не храня себя более под панцирем, — она умерла здесь, при дороге. Чагатаев поднял ее и рассмотрел. Затем отнес в сторону и закопал в песок. Эта черепаха была теперь ближе к его покойной жене Вере, чем он сам, и Чагатаев остановился в недоумении. Он сел на землю с ослабевшим сознанием, не понимая, что он живет и действует с известной целью; чужды и скучны были перед ним обычные явления природы; больше не нужно ему было никакое зрелище и наслаждение, и он с отвращением бросил ячменные лепешки, нагретые в руке, а потом закричал, как в детстве, когда был выведен матерью из Сары-Камыша, и стал искать глазами кого-то в этом незнакомом месте, кто его услышит и явится к нему — как будто за каждым человеком ходит его неустанный помощник и только ждет, когда наступит последнее отчаяние, чтобы показаться... Вдали, в тишине, словно за мертвым занавесом, в близком, но другом мире, что-то постоянно гукало. Звук не имел значения и определенности. Чагатаев вслушался; он вспомнил, что эти звуки были ему знакомы и раньше, но он никогда не понимал их и пропускал мимо внимания. Звуки повторялись опять, они шли редко, с мертвыми паузами, одолевая пустые места пустоты, — будто капала влага огромными леденеющими каплями, будто

изредка кратко звал рожок, который уносили все дальше по синим лесам, или шло большое звездное время, что безвозвратно проходит, считая свои отмирающие части, а может быть, эти звуки раздавались гораздо ближе — внутри самого тела Чагатаева, и они происходили от медленного биения его собственной души, напоминая собой ту главную жизнь, которая сейчас забыта им, задушена горем в сжавшемся сердце...

Чагатаев встал и быстро пошел в поселение своего народа. К вечеру он настолько утомился, что уснул, не спрятавшись в какую-нибудь теплую расщелину земли, и всю ночь слышал неясный гул, разное волнение вокруг, тревожное движение природы, верящей в свое действие и назначение.

На вторую ночь он уже был в пределах камышовых дебрей, вблизи всех своих родных. Он думал, что народ джан сейчас уже спит, и пусть хотя бы во сне он не голодает и не мучается, пусть ночь идет долго, если утром он опять должен, чтобы не умереть, иметь хоть слабое представление о действительности, которое не больше сновидения. Поэтому по ночам Чагатаев обыкновенно меньше беспокоился: он понимал, что спящим жить легче, и мать его сейчас не помнит ни его, ни себя, а маленькая Айдым лежит, согреваясь сама собой, как счастливая, не нуждаясь ни в ком.

Он шел медленно, точно отдыхая, миновал низкий саксаульник, перешел через мелкую протоку; поздняя худая луна освещала текущую воду, постоянно трудящуюся без всякого одобрения. Над древней караванной дорогой, уходящая мимо Хивы в Афганию или дальше, стояла мерцающая пыль отсвета луны. Это было непонятно Чагатаеву. Та дорога лежит брошенной уже целые века, она идет по твердым, набитым пескам и лишь в одном месте проходит по лессовому насту, где сейчас, наверно, сухо и подымается густая пешеходная пыль. Верблюды и ослы так не пылят, их пыль подымается выше, и она сгущается в хвосте каравана. Чагатаев оставил свой путь и пошел наперерез через дикие места в южном направлении, чтобы увидеть, кто идет там, где никого не должно быть. Он долго пробирался сквозь чащу камыша, увязая в трясине, отводил руками колючие благоухающие кустарники, пока не вышел на сухой, чистый, облутый ветрами курган, под которым лежал в

своей могиле какой-нибудь забытый археологический городок.

Старая дорога окружала этот курган по его подножию и скрывалась затем на юго-восток — в Китай и Афганистан, во тьму. Неизвестные пешеходы сюда еще не подошли, они двигались тихо, их было совсем не слышно, — может быть, они свернули с дороги или возвратились назад либо легли спать на землю. Чагатаев пошел им навстречу; он не ожидал увидеть ничего счастливого или удивительного, он знал, что пылить при лунном свете могли звери, вышедшие от бедствия из глубокой дельты Амударьи, чтобы дойти до дальних оазисов, до колхозов, чтобы там наестся мясом овец.

Но навстречу ему шли люди. Чагатаев прилег в стороне от дороги и увидел их всех. Районный уполномоченный Нур-Мухаммед вел за руку слепого Моллу Черкезова; позади их шла мать Чагатаева и перебирала маленькими ногами Айдым. Далее были другие люди, и среди них старый Суфьян, бормочущий Назар-Шакир, его жена, которую он любил, как единственный дар своей жизни, затем Дурды рядом с женой — всего человек четырнадцать, может быть, — восемнадцать. Остальной народ, наверное, не мог проснуться или потерял силу и желание передвигаться.

Гюльчатая несла завернутые в плащ своего сына корни камыша на будущую пищу; Айдым волокла по земле за концы стебля связку съедобных трав; Назар-Шакир держал на голове большой сверток из одеял, Молла Черкезов левой рукой держался за Мухаммеда, а правой искал что-то в воздухе, — у всех их глаза были закрыты, они шли дремлющими, некоторые шептали или бормотали свои слова, привыкнув жить воображением. Один только Нур-Мухаммед глядел вперед открытыми глазами, сознавая ясно весь мир. Он курил травяную крошку, свернутую в высушенный лист болотного тростника, и молчал.

Чагатаев вышел к Мухаммеду и спросил его: куда он ведет людей?

Нур-Мухаммед поздоровался с Чагатаевым и ответил:

— Какие люди?.. Их душа давно рассеялась, им все равно — живут они или нет.

Он продолжал идти. Чагатаев пошел рядом с ним. Мухаммед улыбнулся про себя и посмотрел в сторону:

даже во тьме окружающая природа была жалка и ненавистна ему, а позади его шли почти несуществующие люди.

Дорога окружала небольшой курган, на котором только что был Чагатаев. Он с новой мыслью поглядел на этот земляной холм, под которым тоже лежал какой-нибудь небольшой народ, перемешав свои кости, потеряв свое имя и тело, чтобы не привлекать больше к себе никаких мучителей. Рабский труд, измождение, эксплуатация никогда не занимают одну лишь физическую силу, одни руки, нет — и весь разум и сердце также, и душа выедается первой, затем опадает и тело, и тогда человек прячется в смерть, уходит в землю, как в крепость и убежище, не поняв, что жил с пустыми жилами, отвлеченный и отученный от своего житейского интереса, с головою, которая привыкла лишь верить, видеть сны и воображать недействительное. Неужели и его народ джан ляжет вскоре где-нибудь вблизи и ветер покроет его землей, а память забудет, потому что народ не успел ничего воздвигнуть из камня или железа, не выдумал вечной красоты, — он лишь копал землю в каналах, но течение воды вновь их заносило, и народ опять рыл наносы и выкидывал лишний грунт из воды, а затем мутный поток осаживал новый ил и опять бесследно покрывал их труд.

— А где остальные — они спят? — спросил Чагатаев у Нур-Мухаммеда.

— Нет, они отстали, но идут за нами по следу; потом дойдут.

Айдым, бывшая близко около передних людей, упала во сне и осталась лежать. Чагатаев услышал это и оглянулся; позади лежали еще два тела заснувших людей.

— Пусть! — сказал ему Мухаммед. — Потом очнут-ся и догонят.

Но Чагатаев взял Айдым на руки и понес ее. Она спала и не дрожала от лихорадки, наверно, болезнь ее оставила. Несмотря на травяную еду, на болезнь, тело ее не было худым, оно забирало в себя все полезное даже из сухих тростей камыша и было приспособлено жить долго и счастливо.

— Куда ты их ведешь? — спросил Чагатаев у Нур-Мухаммеда.

— В Сары-Камыш, на родину, — ответил Нур, — где они раньше жили.

— Зачем?

— Пусть движутся куда-нибудь... Я их веду дальней дорогой — кругом разливов. Кто ходит — тому всегда легче.

— А больные? — спросил Чагатаев.

— Они тоже идут понемногу. От дороги они выздоравливают — мы оставили болота, и лихорадки не будет.

Чагатаев не верил доброму намерению Мухаммеда. Он не знал даже, почувствуют ли больные здоровье, если их разум так давно отвлекся от своего интереса и сердце привыкло томиться. По той же причине они и болезнь и страдание переносили безмолвно и бесчувственно, как будто это было не их дело. Чагатаев отстал от Мухаммеда, чтобы взглянуть на свою мать. Айдым покойно спала на его руках; Гюльчатай открыла глаза, когда к ней подошел Назар, и ничего ему не сказала; за ее руку держался слепой Молла Черкезов, слабый и блаженный. Мать рассеянно глядела на сына, которого она знала, но не помнила, если его не видела вблизи. Назар продолжал смотреть на мать, и она отвела свои глаза от него, потому что ей стыдно было жить перед сыном, будучи слабой и несчастной; она хотела бы любить его своей прежней, забытой силой, но сейчас не могла, сейчас в ней хватало сердца только для своего дыхания, и ей нравился красноармейский шлем на сыне, она думала, что надо взять его себе в подарок, чтобы согреть в нем свою голову во сне.

Позже бредущий народ встретил на своей дороге сухой, теплый песок и лег в него дремать до утра. Чагатаеву спать не хотелось; он уложил Айдым между матерью и Моллой Черкезовым и остался один, не зная, как ему пробыть до утра. И он, то скучая, то улыбаясь, бормотал про себя слова, проживая жизнь как ненужную.

К утру подошли те, кто вчера упал на дороге или отстал от слабости, и все опять пошли вслед за Нур-Мухаммедом. Айдым теперь шла сама и даже смеялась с Чагатаевым. Он пробовал ее лоб, — жара в ней не было, хотя ей достаточно, чтобы температура упала

на полградуса, и тогда она снова становилась живой и резвой. В полдень старый Суфьян увел Чагатаева в сторону от сухой дороги. Он сказал ему, что близ амударьинских протоков еще можно встретить иногда две-три старых овцы, которые живут одни и уже забыли человека, но, увидя его, вспоминают давних пастухов и бегут к нему. Эти овцы случайно выжили или остались от огромных одичалых стад, которые баи хотели угнать в Афганистан, но не успели. И овцы прожили вместе с пастушьими собаками несколько лет; собаки их стали есть, потом подошли или разбежались от гонимых, а овцы остались одни и постепенно умирали от старости, от зверей, заблудившись в песках без воды. Но редкие из них выжили и теперь бродили, дрожа, друг около друга, боясь остаться в одиночку. Они ходили большими кругами по бедной степи, не сбиваясь в сторону со своей круговой дороги; в этом был их жизненный разум, потому что съеденные и затоптанные былинки травы вновь зарождались, пока овцы миновали остальную свой путь и возвращались на прежнее место. Суфьян знал четыре такие кочевые травостойные круга, по которым ходили до своей смерти оставшиеся овцы от одичавших, вымерших стад. Одно из этих кочевых колец пролегало не遠деке, почти на пересечении той дороги, по которой народ джан шел теперь в Сары-Камыш.

Суфьян и Чагатаев дошли до малой влажной впадины в песке и остановились. Суфьян разрыл руками песок в глубине, он там был мокрый; старик сказал, что овцы разгребают передними ногами землю и затем жуют сырой песок, утоляя жажду, — здесь и надо ожидать овец; он знал время, в которое они обходят весь свой круговой путь, и высчитал, что срок их пришел явиться сюда; прошлый год он ходил вслед за овечьим стадом и доходил до здешнего места. Овец в стаде тогда было около сорока голов, из них Суфьян съел шесть, семеро овец пали по пути, а остальные ушли дальше.

Нур-Мухаммед подвел народ тоже сюда, где ожидали овец Чагатаев с Суфьяном, и все легли и задремали около овечьей тропинки, где овцы в прошлом году жевали сырой песок. Все люди снова спали, хотя до вечера еще было далеко и с утра немного прожито времени. Чагатаев один ходил между спящими и боялся,

что больше никто не проснется; ему скучно было томиться в одном себе своими мыслями и воспоминаниями. Он подошел к Айдым, — она спала со сладко слипшимися веками глаз, с улыбкой беспамятивости или сновидения. Не имея радости в действительности, она получала ее в своем чувстве и представлении, закрыв глаза. Молла Черкезов спрятал голову в грудь матери Чагатаева, прижался к ней и спал в любви и тепле, не помня, что он слепой. Нур-Мухаммед лежал в стороне; он шевелился на земле и шептал что-то.

— Ты что здесь думаешь? — спросил его Чагатаев.

— Больше сорока человек осталось, — произнес Мухаммед. — Много еще!

Он считал народ — сколько его умерло, сколько еще живо.

Чагатаев потолкал Суфьяна: старик не спал, он только держал закрытыми глаза, точно берег зрение и не желал рассеиваться душой среди впечатлений видимого дневного мира. Чагатаев сказал ему, что у него умерла в Москве жена, но Суфьян не разделил его горя, он промолчал, а затем сказал, чтобы Чагатаев пошел встретить овец — они могут найти влажный песок в другом месте и пройти стороною от лежащего народа.

Гюльчатай проснулась. Она теперь сидела, держа на коленях голову спящего Моллы Черкезова. Чагатаев пошел к матери, чтобы поговорить с ней, но ничего ей не сказал. Он сам догадался, что обращается к старику и к матери лишь для того, чтобы услышать от них утешение и прожить дальше. Но разве в том его существование, чтобы беречь себя здесь в душевном покое, в сожалении близких людей!.. Он зря не написал открытку Ксене — оттуда, где была почта, — чтобы она пошла в ЦК, если ей плохо будет жить без матери, когда он, ее отец, находится далеко и, может, не вернется для помощи.

Чагатаев погладил простоволосую голову Гюльчатай и надел ей красноармейский шлем, потому что от сильного солнца у матери должна болеть голова. Мать сняла шлем и спрятала его под себя; она верила в имущество и берегла его — от этого у нее и сейчас была кофта раздута, внутри ее на голом теле лежали различные вещи, ее собственность, согревающая ей грудь. Вблизи матери лежала киргизка лицом в песок. Она спала и

зскрикивала во сне детским голосом, закатываясь иногда в младенческом плаче и затем опять отходя к спокойствию и к ровному дыханию. Чагатаев приподнял ее лицо за виски и увидел, что это была пожилая женщина, и рот ее не открывался, когда она закатывалась в детском обмирающем крике. Казалось, внутри ее плакал ребенок, невинный другой человек, и он настолько был одинок и чужд для нее, что даже не будил ее ото сна, — или это плакала ее действительная, детская душа, неизменная и еще не жившая.

Чагатаев опустил голову женщины обратно на землю и пошел навстречу блуждающим овцам. Сначала он шел обыкновенно, но потом, когда день стал покрываться ночью, он побежал скорее вперед, чтобы не пропустить овец во тьме. Изредка он останавливался и дышал для отдыха, но потом опять спешил. Когда стало совсем темно, Чагатаев бежал низко согнувшись, чтобы видеть немного редкие былинки травы и касаться их руками, — это было направление, где могли ходить овцы; иначе он мог бы сбиться в сторону, попасть в голодные пески и не заметить бредущих овец.

Он бежал долго по пустой овечьей дороге. Наступила, может быть, полночь или позже. От усталости и горя, которого он не сознавал, но оно все равно самостоятельно томило его сердце, от прохладного, слабого ветра Чагатаев потерял память на ходу, — он заснул, упал и не мог подняться. Он спал глубоко, один в пустыне, в бедной тишине, где нечему шевелиться. Черные стебли небольшой травы редко, как сироты, стояли вокруг спящего, точно жалея, что он встанет и уйдет, а им придется быть здесь опять одним.

На рассвете Чагатаев открыл глаза, его сознание чуть засветилось и опять погасло, он снова заснул, чувствуя тепло и забвение. Две овцы лежали по бокам Чагатаева и согревали его своим теплом. Другие овцы стояли вокруг в ожидании, когда человек поднимет лицо. Их было голов сорок, они давно соскучились по пастуху и теперь нашли его. Старый баран время от времени подходил к лежащему Чагатаеву и осторожно лизал его шею и волосы на затылке, баран любил запах и соленый пот человека, но давно его не пробовал. Баран поворачивался туловищем во все стороны, желая увидеть собаку пастуха, но ее не было. Он устал водить овец, мирить их на водопое, сторожить по ночам

от одинокого зверя — он помнил прежнее доброе время, когда пастух и его собаки управлялись со всеми заботами, а ему приходилось только покрывать овец и спать среди них без ума, в утомлении. Теперь же он стал умным, худым и несчастным, а овцы ненавидели его за слабость сил и за равнодушие к ним и тоже вспоминали пастухов и собак, хотя собаки, устанавливая порядок среди них на водопое, рвали иногда клочья из их шерсти, которую они с трудом нажили в пустынной траве. Баран жил обиженно, он хотел стать собакой и даже пыгался рвать ртом шерсть на овцах, захватывая ее беззубыми деснами.

Проснувшись, Чагатаев погнал овечью отару к своему народу и дошел до него к вечеру. Народ дремал по-прежнему, одна Айдым играла в песок, проводя в нем реки и дороги. Чагатаев разбудил людей и велел им идти собирать саксаульник и мертвую сухую траву, чтобы зажечь огонь и сварить овечье мясо на пищу. Суфьян с охотой стал резать под горло овец и первым отпивал кровь из горловых жил, а потом нащепывал ее в миску и давал пить другим, кто хотел. Очередные живые овцы стояли возле и внимательно глядели на убийство, не беспокоясь о себе, точно жизнь для них не имела преимущества. Баран же находился в отдалении, среди отары уплевших овец, и подымал голову, чтобы лучше видеть действия Суфьяна. Когда осталось в живых лишь тринадцать овец и четыре костра уже горело на становище, а многие овцы лежали голыми тушами, с худыми ляжками, с отверстиями в своих телах, полными крови и смертной жидкости, — баран закричал и повернул голову в пустое направление степи. Он давно жил среди овец и бывал как муж внутри тех мертвых, которые теперь лежали, — он знал худобу их костей и теплоту цельного, смиренного тела.

Чагатаев не велел резать больше десяти голов, остальные пусть живут на племя и на питание в будущее время. Баран остался цел, он отошел и лег вдалеке, и к нему подобралась все живые овцы. Худые и опытные от дикой жизни, они сейчас издали походили на собак.

Туши начали запекать на кострах целиком, без разделки на части, и, обжаривши их, клали в сторону на песок. Затем началась еда. Люди ели мясо без жадности и наслаждения, выщипывая по небольшому куску

и разжевывая его слабым, отвыкшим ртом. Лишь один Нур-Мухаммед ел много и быстро, он отрывал себе мясо пластами, и поглощал его, потом, наевшись, глодал кости до полной их чистоты и высасывал мозг изнутри, а в конце еды облизал себе пальцы и лег на левый бок спать для пищеварения. Женатые отошли спать в сторону со своими женами. Молла Черкезов тоже увел далеко мать Назара, одинокие же и сироты остались вокруг потухших костров — они настолько ослабели и так глубоко уснули, словно съеденная ими пища сама в отомщение изнутри поела их силы и они были побеждены ею.

Ночью Чагатаев ходил по становищу, он сосчитал живых овец с одним бараном, собрал овечьи шкуры и головы в общее место и стал смотреть в ночную мглу: что там делает сейчас Ксения — далеко за этой тьмой, в электрическом свете Москвы; и где лежит мертвая Вера, что там осталось в земле от ее робкого большого тела... Чагатаев пошел мимо спящих; народ лежал на песке непокрытый, как будто он был целиком перебит и не оставил себе могильщиков. Но некоторые мужья и жены шевелились, любя друг друга. Молла Черкезов тоже лежал с Гюльчатой. Чагатаев увидел это и заплакал. Он не знал, что ему делать здесь сейчас, чтобы научить этот небольшой народ социализму. Он уже не мог его оставить одного умирать, потому что его самого, брошенного матерью в пустыне, взял к себе пастух и советская власть и неизвестный человек прокормил и сберег его для жизни и развития.

Больные и слабые дремали в жару. Двое из них уснули с овечьими костями в руках, которые они обсасывали перед сном, чтобы набраться сил. Чагатаев сходил в песчаную влажную яму, разгреб песок и образовал маленький колодезь; когда в него собралась вода, он пошел к больным, разбудил их и дал каждому по хинному порошку, а затем сбегал несколько раз к песчаному колодезю и принес воды в пригоршне, чтобы дать запить лекарство.

Стало уже поздно. Чагатаев озяб, прилег к одному наиболее горячему больному, желая согреться об его тело, и уснул. Наутро баран и все овцы исчезли. Судя по следам, они ушли в открытые пески, оставив свою обычную кормовую дорогу.

Суфьян сделал расчет в уме и сказал, что эти овцы неминуемо возвратятся на свою кормовую дорогу либо набредут на другую, что проходит далее, через Каракумы, большой окружностью. Но обе эти кочевые дороги выходят на грязные озера Сары-Камыша, недалеко от которых находится родина всего народа джан, и овцы рано или поздно выйдут на Сары-Камыш во впадину вечной тени и увидят темные горы Усть-Урта, где многими, кто здесь находится, была прожита вся жизнь. Нур-Мухаммед согласился с Суфьяном.

— Мы пойдем за ними, — сказал он. — Мы будем пить их кровь и есть их мясо. Через семь или восемь дней мы дойдем до Сары-Камыша... Кто-нибудь умер сегодня ночью? — спросил Нур-Мухаммед.

Ему ответили, что умерла одна старуха каракалпачка, и Нур-Мухаммед с тщательностью сделал отметку в своей записной книжке. Чагатаев не помнил этой старухи и не видел ее — она ночевала одна, уйдя далеко от общего стана, и там умерла спокойно.

Народ пошел длинной чередой по следу бежавших овец. Больные и слабые шли позади и часто садились на отдых, отпивая воду из домашних бурдюков. Чагатаев шел позади всех, чтобы никто не пропал и не умер незаметно. Животные, вероятно, бежали быстро; это разгадал Суфьян по виду овечьих следов, и так же думал Чагатаев. Он выходил на высокие барханы и до последнего горизонта не замечал даже самого слабого облака пыли от движения стада—овцы ушли слишком далеко.

Старая хивинская рабыня-туркменка дала Чагатаеву тряпку, отодрав ее от своего подола, и Чагатаев повязал себе голову, страдая от солнца. Народ шел терпеливо; Айдым выздоровела вовсе и повеселела — для нее, ничего не знавшей, здесь было достаточно предметов для всех чувств и впечатлений. Когда она уставала, Чагатаев брал ее на руки, и она могла спать у него на плече, вскрикивая иногда и бормоча свои страшные сны. Но какое сновидение питало сознание всего этого бредущего народа, если он мог терпеть свою судьбу? Истиной он жить не мог, он бы умер сразу от печали, если бы знал истину про себя. Однако люди живут от рождения, а не от ума и истины, и пока бьется их сердце, оно срабатывает и раздробляет их отчаяние

и само разрушается, теряя в терпении и работе свое вещество.

До поздней и дальней ночи народ не догнал овец. Наутро Нур-Мухаммед опять спросил — кто умер за ночь или все остались живы? Умер только мальчик у одной матери, и Мухаммед с удовлетворением сделал вычитание погибшей души в своей записной книжке. Теперь в народе осталось всего двое детей — Айдым и еще небольшая девочка, рожденная случайно года три назад, когда в народ пришел какой-то человек из песков и, пожив с полгода, ушел дальше, оставив свою плоть в Гюзель, вдове разбойника из района Старого Ургенча.

На второй день народ увидел две овцы, лежавшие на дороге; они ослабели в бегстве и болезни и теперь умирали. Их поредевшая шерсть слиплась от лихорадочного пота, худощавые морды глядели злобно и дико — они теперь походили на шакалов, — а в хвостах у них не осталось никакого жира. Овец сразу убили, чтобы застать их еще живыми, и съели, не разводя огня, а кости разделили и унесли с собою на ужин. В следующие два дня не было другой пищи, кроме редких травяных былинков, вода же встретилась два раза в такырных ямах.

Народ двигался теперь только вечером и утром, а днем от слабости и жары закапывался в песок и спал. Нур-Мухаммед ежедневно отмечал умерших, а Чагатаев проверял их смерть, прислушиваясь к сердцу и наблюдая глаза, потому что однажды Суфьян и еще другой старик, ферганский раб Ораз Бабаев, притворились мертвыми. Но Чагатаев расслышал сквозь кости их глухое, далекое сердце, поднял на ноги и велел жить дальше.

— Зачем вы хотели умереть? — спросил их Чагатаев.

— У нас душа занемела от жизни, — сказал Суфьян, — кости ссохлись и согнулись, жилы сморщились: они потянуться захотели, пускай их дождь помочит, вегер посушит, черви пожуют, а то я им мешаю...

Ораз Бабаев стоял без ума, пусто глядя на Чагатаева, и не мог вначале ничего сказать; он, наверно, все равно считал себя умершим.

— Нам не живется, — сообщил он вслух, — мы каждый день пробовали.

— Ничего, мы вместе научимся, — сказал им Чагатаев.

— Немного потерпим, — согласился Суфьян, — а потом нечаянно все поправим.

Русский старик, по имени Старый Ванька, подошел к Суфьяну, попробовал его горло, разверз веки и заглянул внутрь каждого его глаза, потом ощупал ему ребра и сказал тогда:

— Чего ты! Только заматерел, а уж помираешь! Терпи: поживем, поьемся, да и меду в кадушках дождемся — с толстым ломтем подойдем да макнем...

Русский отошел, улыбаясь. Почти ежедневно, в течение шестидесяти лет, жизнь его должна окончиться, но он ни разу еще не умер и теперь разуверился в силе смерти и всякой беды, живя спокойно и равнодушно, как счастливый и бессмертный. Чагатаев знал, что Старый Ванька некогда — лет тридцать тому назад — прибежал сюда из сибирской каторги, прижился к неродному народу и жил себе одинаково со всеми, не помня больше дороги в Россию.

Ночью пошел пустынный темный ветер, песок тоже побрел за тем ветром и постепенно закрыл навсегда овечьи следы. Чагатаев понял здесь жизнь. Рано утром он отошел от спящих и дремлющих, когда понял, что овечье стадо ушло теперь вовсе, идти за ним стало бессмысленно и ослабевший народ очутился среди пустыни, без еды и без помощи — у него не хватит сил достигнуть Сары-Камыша и он уже не сможет вернуться назад, в разливы Амударьи.

Утренний странный ветер дул Чагатаеву в лицо, песчаная поземка кружилась в подножье человека и стонала, как русская вьюга за ставнями избышки. Иногда же слышался жалобный звук жалейки, иногда играла гармония, дальняя труба или, чаще всего, бедная глухая дутара. Это пели пески, мучимые ветром, когда одна песчинка истиралась о другую. Чагатаев лег на землю, чтобы задуматься о дальнейшей своей работе; не для того его послали сюда, чтобы он умер здесь сам и оставил своему народу его смертную участь... Он попробовал рукою свое лицо; оно обросло волосами, в голове завелись вши, невымытое худое тело скорбело от запустения. Чагатаев подумал о себе как о жалком, скучном человеке. Кто его помнил сейчас, кроме Ксени? Но и та, наверно, уже стала забывать:

юность сейчас слишком воодушевлена своими счастливыми задачами. Чагатаев уснул в беспокойном песке, отдельно и довольно далеко от всех непроснувшихся людей. Все в нем замерло, глубоко и надолго, затаилось внутри тела, отжило на время, чтобы не умереть совсем. Он проснулся во тьме, полузасыпанный песком; ветер все еще дул, и была уже новая ночь. Он проспал весь день. Чагатаев пошел на общее становище; народа там не было. Все люди давно проснулись и ушли дальше, скорее от смерти. Лежал только один Назар-Шакир; потому что он умер, и теперь открыл рот, в котором говорил теперь что-то ветер и песок. Чагатаев, набредя на мертвого, долго ощупывал его и проверял действительность смерти, потом закрыл всего человека песком, чтобы он стал никому не заметен.

Чагатаев шел всю ночь; иногда он, наклонившись, видел следы прошедшего народа, иногда, когда следы уже стравил ветер, шел по чувству.

Утром Чагатаев заметил по местности, что здесь должна быть вода, и он нашел заглушенный колодец, забитый песком. Назар дорылся руками до влажной глубины и начал жевать песок, но сплевывать приходилось больше, чем получать внутрь; тогда он стал глотать мокрый песок целиком, и мученье жажды оставило его. В следующие четыре дня Чагатаев старался идти вперед по пустыне, но от слабости уходил недалеко и вновь возвращался на мокрый песок, чтобы, изнемогая от голода, не умереть от жажды. На пятый день он остался на месте, решив набраться сил в дремоте и беспмятстве, а затем догнать свой народ. Он съел два оставшиеся у него хинных порошка и разные карманные крошки, отчего ему стало лучше. Он понимал, что народ его близко, он тоже не имел сил уйти от него далеко, только неизвестно было направление его пути. Чагатаев представлял себе, с каким тайным удовольствием Нур-Мухаммед поставил отметку в своей записной книжке о его смерти. Он улыбнулся своей старой мысли: почему люди держат расчет на горе, на гибель, когда счастье столь же неизбежно и часто доступней отчаяния... Чагатаев зарылся от солнца во влажный песок и пытался впасть в беспмятство для отдыха и для экономии жизни, но не умел и все время думал, жил понемногу и смотрел в небо, где слабым туманом шел жаркий ветер с юго-востока и было так пусто,

что не верилось в существование твердого, настоящего мира.

Отлежавшись, Чагатаев пополз к ближнему бархану, где он заметил задутый наполовину песком куст перекати-поля. Он добрался до него, отломил несколько высохших ветвей и ежовал их, а оставшийся куст вырыл из песка и отпустил бродить по ветру. Куст покатился и вскоре исчез за барханами, направляясь куда-то в дальнюю землю. Затем Чагатаев поползал еще по окрестности в несколько шагов и нашел в мелких песчаных могилах весенние засохшие былинки травы, которые он также проглотил, без различия. Скатившись с бархана, он заснул у его подножия, и во сне на его слабое сознание напали разные воспоминания, бессельные забытые впечатления, воображение скучных лиц, виденных когда-то, однажды, — вся прожитая жизнь вдруг повернулась назад и напала на Чагатаева. [Чагатаев следил за ним беспомощно и не умел теперь забыть его.] Раньше он думал, что большинство ничтожных и даже важных событий его жизни забыты навсегда, закрыты навечно последующими крупными фактами, — сейчас он понял, что в нем все цело, неуничтожимо и сохранно, как драгоценность, как добро хищного нищего, который бережет ненужное и брошенное другими. Бедный и пожилой человек не исчез из сознания, он все еще бормотал что-то, прося или жалуясь (навсрное, он давно умер в действительности), но вот подруга Веры, еле виденная им когда-то, склонилась над Чагатаевым и не уходила, она надоедала, и она мучила собою дремлющего в пустыне человека, и за нею, на глиняном дувале, дрожали тени от серебристой ветви, росшей некогда на солнце — может быть, в Чарджуе, может быть, еще где-нибудь. И еще многие, едкие вечные пустяки в виде сгнившего дерева, почтового отделения в поселке, безлюдной стонущей горы на полуденном солнце, звука пропавшего ветра и нежных объятий с Верой, все это энергично вошло в Чагатаева одновременно и жило в нем неподвижно и настойчиво, хотя в истине, в прошлом, это были текущие, быстро исчезающие факты. В нем же они теперь существовали гораздо более резко и яростно, гораздо навязчивей, чем на правде. В действительности эти предметы жили кротко и не проявляли своего значения, не делали больно совести и чувству человека. Но сейчас они набились тол-

пою в голову Чагатаева, и если от них можно было спастись в настоящей жизни, хотя бы потому, что время проходит, то здесь события никуда не проходили, а продолжали быть постоянно и своей повторяющейся деятельностью точили и протирали кости черепа Чагатаева. Он хотел закричать, но у него не было достаточной силы. Он подумал заплакать, но испугался терять влагу, чтобы не есть потом мокрый жесткий песок. Он прислушался — не звучат ли вдали редкие, капающие, гулкие звуки — за черным мертвым горизонтом, из той темной свободной ночи, где без остатка поглощается последний солнечный свет, как река, впавшая в песчаную пустыню. Он слышал иногда те звуки дальней природы, не зная их причины и полного значения.

Чагатаев поднялся на ноги, чтобы избавиться от сна и от всего мира, застрявшего в его голове, как колючий кустарник; сон сошел с него, но вся страшная геснота воспоминаний и мыслей осталась живому наяву. Он увидел что-то на соседнем бархане — животное или кибитку, но не успел понять, что именно, и упал обратно от слабости. И то, что было на соседнем бархане — животное, или кибитка, или машина, — сейчас же вошло в сознание Чагатаева и начало томить его своей неотвязностью, хотя оно и не было понято и не имело даже имени. Это новое явление, сложившись со всеми прежними, осилило здоровье Чагатаева, и он впал в беспамятство, спасая свою душу.

Проснулся он на другой день в раннее время. Ветер ушел без остатка, всюду стояла робкая тишина, настолько пустая и слабая, что в нее внезапно могла ворваться буря. Тень ночи ушла в высоту и лежала там над миром выше дневного света. Чагатаев теперь был здоров, ум его прояснился и думал по-прежнему о своих задачах; слабость сил не оставила его, но уже не мучила. Он предвидел, что ему, вероятно, здесь придется умереть и народ его также потеряется трупами в пустыне. Чагатаев не жалел о самом себе: большой народ жив, и он все равно исполнит всеобщее счастье несчастных; но плохо, что народ джан, изо всех народов Советского Союза наиболее нуждающийся в жизни и в счастье, будет мертв.

— Не будет! — прошептал Чагатаев.

Он стал подыматься, нажимая всем сердцем на свои дрожащие руки, упертые в песок, но сейчас же лег об-

ратно, навзничь: позади его, со стороны затылка, кто-то находился; Чагатаев слышал быстрые, отступающие шаги какого-то существа.

Чагатаев закрыл глаза и взял в кармане рукоятку револьвера в руку; он только боялся, что теперь плохо справится со своим тяжелым оружием, потому что в руке осталась лишь младенческая сила. Он лежал долго, не шевелясь ничем, притворяясь умершим. Он знал многих зверей и птиц, которые поедают мертвых людей в степи. Наверно, позади народа — в невидимом отдалении — все время молча шли дикие звери и съедали павших людей. Овцы, народ и звери — тройное шествие двигалось в очередь по пустыне. Но овцы, теряя гравитационную полосу, иногда начинают идти за блуждающей травой перекасти-поле, которую гонит ветер, и поэтому ветер является всеобщей ведущей силой — от травы до человека. Наверно, надо было идти по ветру, чтобы догнать овец, но Нур-Мухаммед ничего не знает, а Суфьян соскучился жить и больше не думает.

Чагатаеву хотелось сразу вскочить, выстрелить в зверя, убить его и съесть, однако он боялся, что промахнется от слабости и навсегда распугает от себя зверей. Он решил допустить зверя до самого своего тела и убить его в упор.

Легкие, осторожные шаги все время раздавались позади головы Чагатаева, то приближаясь, то удаляясь. Сократив дыхание, Назар ждал, когда бросится на него крадущееся существо, еще не уверенное в его смерти. Он беспокоился лишь, чтоб зверь не впился сразу ему в горло или, получив рану, не убежал далеко. Шаги слышались теперь рядом с головой. Чагатаев потащил немного револьвер из кармана наружу, уже чувствуя в себе хорошую силу, собранную из всех остатков жизни. Но шаги прошли мимо его тела и удалились. Назар приоткрыл глаза: дальше его ног медленно шли две большие птицы, отдаляясь от него на противоположный бархан. Чагатаев никогда не видел таких птиц, они походили одновременно и на степных орлов-стервятников, и на диких темных лебедей; клювы их были как у стервятников, но толстая, могучая шея длиннее, чем у орлов, а прочные ноги высоко носили нежное, воздушное лебединое туловище. Сложенные черные крылья у одной птицы были сплошного серого цвета, а у другой — с красными, синими и серыми перьями; это, ве-

роятно, самка; брюхо обеих птиц было выпущено белым, снежным пухом — Чагатаев заметил даже сбоку у самки мелкие черные точки; это блохи впились в живот птицы сквозь пух. Обе птицы чем-то походили на огромных птенцов, которые еще не привыкли жить в своем теле и двигались с осторожностью.

День стал жарким и заунывным, по песку закручивались мелкие смерчи, вечер еще высоко стоял на небе, над светом и теплом. Две птицы взошли на бархан против Чагатаева и сразу оглянулись на него дальновидными, разумными глазами. Чагатаев следил за птицами из-под неплотно закрытых век, он разглядел даже серый редкий цвет их глаз, глядевших на него с мыслью и вниманием. Самка почистила клюв о когти ног и выплюнула изо рта какой-то давний обьедок, может быть, остаток расклеванного Назар-Шакира. Самец поднялся в воздух, а самка осталась на месте. Громадная птица низко полетела в сторону, затем несколькими прыжками на крыльях взлетела в высоту и сразу стала падать оттуда. Чагатаев почувствовал ветер в лицо прежде, чем птица достигла его. Он увидел над своим лицом ее белую, чистую грудь и серые расчетливо-ясные глаза, не злые, а думающие, потому что птица уже заметила, что человек жив и видит ее. Чагатаев вынул револьвер, обеими руками поднял его в воздух и ударил из него в падающую ему на голову птицу. Среди груди мчащейся птицы, в белом ее пуху, задуваемом скоростью полета, появилось темное пятно, и вслед за тем мгновенный ветер вырвал весь пух в клочья вокруг черного места попадания, а тело орла на краткое время задержалось в воздухе неподвижно.

Птица закрыла серые глаза, потом они открылись у нее сами, но уже ничего не видели, — она умерла. Она лежала на теле Чагатаева в том же положении, в каком падала: своею грудью на груди человека, головой на его голове, уткнувшись клювом в густые волосы Назара, широко распустив черные беспомощные крылья по сторонам, и ее вырванные перья и пух осыпали Чагатаева. Сам Чагатаев потерял память от удара тяжестью орла, но ранен он не был; птица лишь оглушила его, опасная скорость ее падения была заторможена встречной, пронзающей пулей... Чагатаев вскочил и сел от резкой боли: вторая птица, самка, рванула клювом его правую ногу, взяв оттуда немного мяса, и сейчас

же взлетела в воздух. Чагатаев, держа револьвер обеими руками, дважды выстрелил по ней, но не попал; огромная птица исчезла за барханами, потом он разглядел ее летящей на большой высоте.

Мертвого орла уже не было на Чагатаеве, он лежал в ногах Назара на песке; его, должно быть, стащила самка, желая убедиться, что он погиб, и прощаясь с ним.

Чагатаев подполз к убитой птице и начал есть ее горло, выщипывая оттуда перья. Орлица все еще была видна, но она уже достигла той высоты неба, где даже в полдень стоит тень ночи, сумрак заката и рассвета, и Чагатаеву казалось, что она оттуда уже не возвратится, что там есть своя воздушная счастливая страна улетевших птиц.

Наевшись немного, Чагатаев перевязал ногу мертвой птицы своим поясным ремнем, а другой конец ремня продел себе в глубину штанов — тогда он услышит, если какой-нибудь хищник захочет украсть орла. Потом Чагатаев полечил слюнями рваную ранку на своей ноге, закрыл ее материей и скорее улегся, чтобы приобрести крепость сил.

12

Гюльчатай не жалела о сыне, она забыла его. Согнувшись, она шла следом за другими и трогала руками песок, когда ей казалось, что в нем лежат какие-то вещи. Молла Черкезов держался за одежду Гюльчатай, все время стараясь помнить, что он живой. Нур-Мухаммед, отчаявшись сердцем, взял на руки Айдым; он предполагал воспитать, откормить эту девочку и воспользоваться ею как женой, а потом продать другому. Его мучило, что слишком мало женщин в народе джан и те, кто были еще живыми, уже стали ветхими, — надежна только одна Айдым, потому что она еще мала. Женщины ценятся дороже мужчин, они служат одновременно и для работы и для утешения, но мужчин тоже можно продать хорошо, если они не перемрут за долгий путь.

В то утро, когда Чагатаева не оказалось на общем становище, Нур-Мухаммед улыбнулся и сделал тщательную отметку в своей книжке об его исчезновении, собирая на всякий случай сведения для составления

отчета о командировке. Он решил, что Чагатаев убежал спасаться один, как всякий живой и малодушный, и Нур-Мухаммеду стало лучше без него; люди теперь уже не спрашивали у Мухаммеда, скоро ли они дойдут до Сары-Камыша, и никогда не вспоминали о пище. Сам Нур-Мухаммед тоже мог пасть от слабости, но он еще держался старыми запасами своего тела, потому что много ел риса, мяса и фруктов, когда жил по оазисам и ходил тайно в Афганистан, к давно бежавшему хану Джунаиду.

Суфьян в тот день пошел по ветру, куда несутся вырванные, изжившие жизнь былинки травы и катится перекасти-поле; он знал, что в этом направлении и пошли теперь овцы, раз ветер бесследно задул их кормовую тропинку, по которой изредка, оазисами, росла устойчивая трава. За Суфьяном пошли было остальные люди, но Нур-Мухаммед велел им идти в другую сторону — против ветра, на юго-восток. Он прижал к себе Айдым, чтобы ощутить зачатки ее женской груди, но почувствовал лишь ее тонкие ребра.

Нур-Мухаммед оглянулся на всех; ветер раскачивал народ, песчаная поземка била в ноги людей, погибшая трава влеклась навстречу пешеходам—эту траву под самый корень сжал ветер по всему песчаному безлюдью, где прошла его гребущая сила. Некоторые люди упали от ветра, другие шли во сне, разбредаясь в разные стороны, теряя друг друга в сумраке метущегося песка.

Нур-Мухаммед остановился.

Ветер дул со стороны юго-востока ровной гнетущей силой, как из машины. Народ рассеивался под ним и больше не слышал или не признавал голоса Нур-Мухаммеда, звавшего каждого по имени идти за ним вперед. Он сам еле дышал от терпения, от жажды и голода; здравый смысл его разума уже покрывался тенью равнодушия к своей судьбе. Раньше он предполагал увести весь этот ничтожный, ослабевший народ в Афганистан и продать его в рабство старым ханам, а самому прожить счастливо остальную жизнь в собственной, обильной домашним добром курганче, где-нибудь в афганской долине на берегу потока, тогда не надо будет быть членом профсоюза и кооперации, не надо сдерживать в молчании скопляющееся яростью сердце. Теперь Мухаммед, сбиваемый с ног песком и ветром, видел, что народ джан падает или разбредается в беспас-

мьтстве: тело каждого человека стало пустым, и сердце постепенно вымерло. Они не дойдут до Афганистана, а дойдя туда, не сумеют быть даже последними батраками, потому что в них не осталось хотя бы слабого житейского интереса, который необходим и для раба.

Нур-Мухаммед стоял долго, пока весь народ не разошелся в сумраке ветра и не свалился там лежать — в смерти или во сне. Айдым укрылась около его горла и тихо дышала в своем забвении. Мухаммед бережно держал ее, а сам с наслаждением, не помня, что ему хочется пить и есть, следил за погибающим народом. Суфьян сел в песок и согнулся. Сгорбленная Гюльчатая давно лежала на земле, и слепой муж ее, Черкезов, укладывался за нею с подветренной стороны, точно ища удобства в супружеской постели. Худой нестарый каракалпак, по прозвищу Таган, снял с себя одежду — штаны и халат, — бросил их по ветру, а сам зарылся голым в песок и там остался, почти невидимый больше. Мухаммеду было хорошо, что в Советском Союзе теперь меньше жителей на целый народ, — пусть этот народ и не знал никто, а все-таки польза для государства уменьшилась, и работники, рывшие некогда целые реки для баев, теперь ничего не будут рыть, даже могилы для самих себя.

Нур-Мухаммед чувствовал сейчас не только удовольствие, но он даже слегка пошевеливался в некотором танце, видя в людях их последний песчаный сон. Он ценил теперь себя дороже, выше, — ему больше достанется добра и пустыне и на всей земле, потому что живых становится меньше. Неизвестно, получил бы он больше наслаждения, когда продал бы весь этот народ в рабство, или теперь, когда потерял его, когда в природе стало просторней, когда сразу закрылись рты наиболее алчных бедняков. Мухаммед решил уйти навсегда в Афганистан и унести с собой Айдым, чтобы продать ее там и оправдать хоть немного свои убытки от работы в Советском Союзе.

Ветер вдруг сразу ослабел, и стало светлее повсюду. Нур-Мухаммед прижал к себе девочку с такой силой, что Айдым открыла глаза. Он пошел ласкать ее в уютное песчаное ущелье, соскучившись без счастья от чужого тела. Ни голод, ни долгое горе не могли уничтожить в нем необходимость мужской любви, она жила в нем неутоlimо, жадно и самостоятельно, пробиваясь

сквозь все жесткие беды и не делясь своей силой с его слабостью. Он мог бы обнимать женщин и зачинать детей, находясь в болезни, в безумии, за минуту до окончательной смерти.

Мухаммед нашел укромное место, положил девочку и лег рядом с нею. Айдым опять спала в забытии. Он снял с нее верхние нечистые тряпки одежды и увидел голое детское существо, столь незнакомое, что страсть его вначале не стала действовать. Айдым была мала, как пятилетняя, и кости ее были обтянуты бледно-синей пленкой, не имевшей никогда достаточной упитанности, чтобы превратиться в настоящую кожу. Однако сквозь эту пленку, почти непосредственно из костей скелета, уже прорастали женские груди и начинали опухать будущие материнские места, не считаясь с бедностью вещества в других частях тела. Наверное, Айдым было уже лет двенадцать или тринадцать, если ее покормить, на ней можно жениться.

Две большие птицы с темными крыльями низко пролетели над Мухаммедом и Айдым. Мухаммед проследил их полет и затем обнял девочку, потому что у него не было времени и лишней силы терпеть свою любовь. Айдым проснулась от боли. Она видела много раз, как взрослые спят и любят, знала это дело с точностью и теперь, догадавшись обо всем, стала повторять действия старых людей, как опытная женщина, что немного удивило Нур-Мухаммеда. Айдым молча смотрела на Мухаммеда любопытными глазами, полными слез от боли и терпения. Она словно ждала чего-то, что будет сейчас с нею, неизвестного или хорошего, но ничего не было, и ей стало неинтересно.

— Уходи! Лучше я буду одна, — сказала Айдым Мухаммеду, потому что она не узнала в любви никакой новой жизни.

Но Мухаммед не оставил ее, пока его чувство не получило наслаждения: без наслаждения он не мог существовать.

В пустыне смерклоось, наступила ночь, и она прошла во тьме. Некоторые люди, павшие вчера по пескам от ветра, наутро поднялись и стали оглядываться в чистом свете, среди тишины другого дня.

Вблизи, за глухим барханом, раздался выстрел. Дремавший Суфьян сел и стал слушать. Айдым прибе-

жала к нему от Мухаммеда, который спал вдали и не проснулся.

Народ был весь живой, но жизнь в нем держалась уже не по его воле и была почти непосильна ему. Люди глядели перед собой, хотя и не сознавая ясно, как надо им пользоваться своим существованием; даже темные глаза теперь посветлели от равнодушия и не выражали ни внимания, ни силы собственного зрения, точно ослепшие или прожитые насквозь; только одна Айдым хотела быть живой, она не истратила еще детства и материнского запаса энергии, она смотрела в песок все еще блестящими глазами.

За барханом еще [стрельнули] два раза. Айдым пошла гуда смотреть, но не нашла сразу места, где стреляли. Из других людей никто не пошел; они не боялись врага и не ожидали друга или помощника.

Айдым перешла четвертый бархан и увидела, что внизу его лежит спящий или мертвый человек, рядом с темной птицей. Девочка спустилась с песчаного откоса и узнала Чагатаева. Она попробовала руками его лицо, оно было теплое, изо рта шло дыхание.

— Спи! — сказала шепотом Айдым и прикрыла своими пальцами веки Чагатаева, чуть приоткрытые во сне.

Затем Айдым освободила убитую птицу от ремня, взяла ее за ногу и поволокла через пески к своему народу.

Все люди собрались вокруг птицы и глядели на нее без жадности, они отвыкли надеяться на еду. Тогда Айдым взяла нож из брошенных штанов Тагана и стала ощипывать птицу и резать ее на мелкие куски. Каждому, кто мог есть, она дала понемногу птичьего мяса, а сама высасывала кровь и сок из каждого куска, прежде чем отдать его. Народ проглотил эти куски, сглодал все кости без остатка и обсосал шипаные перья, но не наелся, а только разохотился; лучше бы было ничего не есть и не тратить последнюю силу на жеванье и пищеваренье.

Айдым пошла опять к Чагатаеву. Народ, думая, что там есть еще битые мясные птицы, пошел следом за девочкой. Однако люди шли теперь слишком медленно, иные же ползли, помогая себе руками, в том числе ползла и еще помогала ползти Молле Черкезову мать Чагатаева. Некоторые же остались на месте, потому что у

них уже не хватало силы нести свой скелет. Айдым, отойдя немного, подолгу ждала влекущихся за ней людей. И лишь к вечеру народ добрел до песчаного холма, за которым лежал Чагатаев. Все время, пока двигался народ, Айдым слышала трение и скрип костей внутри шевелившихся людсь, — наверно, у них высох весь жир в суставах, и кости теперь мучились.

Нур-Мухаммед видел издали это движение народа, но оно его не интересовало. Он хотел сначала поискать в ближней округе какой-нибудь воды, хотя бы соленой, иначе он не дойдет до Хивинского оазиса. За Айдым он решил вернуться после, когда отыщет воду, чтобы и ее напоить, а потом уже вместе с нею он уйдет отсюда навеки в Афганистан.

13

Чагатаев заплакал от боли во сне и проснулся; он подумал, что боль ему приснилась и сейчас пройдет. Две темные птицы — одна прежняя самка, другая новый самец — отошли от него. Три раза они клевнули его тело сосущими клювами и до костей прорвали мясо на груди, колене и на плече. Отойдя немного, птицы остановились, повернули шеи и поглядели на Чагатаева — каждая птица одним глазом. Назар вынул револьвер и стал скорее стрелять в птиц, пока еще не вышло много крови из его ран и не пропала сила, собранная во сне. Птицы поднялись в воздух. Он успел стрелнуть в них два раза, и одна птица опустила крылья и села вниз, сразу подломив под себя ноги; потом она положила голову в песок и потянулась всем горлом как бы в надоевшей усталости; из горла птицы шла кровь и впитывалась в перья и ближний песок. В глазах птицы появилось равнодушие, и они задернулись серыми пленками. Другая птица ушла в высоту, закричала оттуда кратко и гулко, словно из пустого подземелья, и пропала в тумане солнечного света.

Из-за бархана показалась Айдым. Она пошла к убитой птице и поволокла ее за ногу мимо Чагатаева.

— Айдым! — позвал ее Назар.

Девочка подошла к Чагатаеву.

— Дай напиться! — попросил он.

Айдым подволокла мертвую птицу и, став на колени, приложила ее горло к губам Чагатаева и стала нажи-

мать мокнувшее горло, выданная оттуда кровь в рот Чагатаева.

— Ты лежи нарочно как мертвый, — сказала Айдым. — К тебе прилетят птицы, прибегут шакалы, ты их убивай, а мы будем кормиться...

— А где другие люди? — спросил Чагатаев.

— Там идет, — указала Айдым.

Чагатаев попросил ее, чтобы она принесла воды, если она есть, и промыла ему раны. Айдым осмотрела его раны, вынула из них шерсть от одежды, затем залила их своим языком, зная, что слюна заживляет тело.

— Ничего: ты не умрешь, раны ведь маленькие, — сказала она. — Лежи опять смирно, а то птицы больше не прилетят...

Айдым поволокла птицу за песчаный холм, где ее народ образовал свое новое становище в тишине глубокой впадины. Птицу съели сразу же, и если те далекие люди, которые едят каждый день, не почувствовали бы никакого утоления голода, съев тот маленький щипаный кусок птичьего мяса, какой дала Айдым каждому, то здесь человек большого голода почти наелся этой ничтожной пищей, — во всяком случае, его тело получило надежду и утешение.

Стало опять темно. Суфьян разрыл руками песок до влажного горизонта и начал жевать его от жажды. Некоторые люди увидели действия Суфьяна, подошли к нему и разделили с ним ужин из песка и воды. Нур-Мухаммед боялся холода и на ночь пришел к народу, чтобы лежать где-нибудь в его тесноте и согреться.

Рано утром Мухаммед разбудил Айдым, взял ее на руки и пошел с ней навсегда в Афганистан.

Чагатаев по-прежнему лежал и сторожил птиц. Он сосчитал патроны, их у него осталось семь штук. Он знал наверное, что птицы явятся опять: он ведь убил самца, а самка с цветными крыльями улетела, и она снова вернется не одна, чтобы добить наконец человека, убившего ее первого, может быть самого любимого мужа.

Айдым соскочила с рук Нур-Мухаммеда и прибежала к Чагатаеву попрощаться. Он поцеловал ее, погладил по лицу худой рукой и улыбнулся. Было еще сумрачно. Нур-Мухаммед ждал девочку в отдалении.

— Не ходи никуда, Айдым, — сказал Назар ребенку. — У нас скоро свое будет счастье.

— Я знаю, — ответила Айдым. — А он мне велит...

— Позови его, — сказал Чагатаев.

Айдым привела за руку большого Нур-Мухаммеда.

— Помираешь? — спросил Нур у Чагатаева. — Я думал, тебя давно птицы склевали.

— Зачем девочку уводишь с собой? — спросил его Чагатаев.

— Стало быть, нужно, — сообщил Мухаммед.

— Пусть остается с нами! — сказал Назар.

Айдым села около Чагатаева на песке.

— Я останусь, — сказала Айдым, — я маленькая, я уморюсь идти, мне не надо!

Чагатаев облокотился на локоть и привлек к себе девочку. Пала роса, и Назар незаметно полизал языком волосы Айдым, на которых были капли влаги.

— Уходи один! — сказал Чагатаев Мухаммеду.

— Мертвым пора молчать! — произнес Нур-Мухаммед. — Повернись в землю и спи! — Он ударил Чагатаева в лицо ногой, обутой в брезентовый сапог.

Чагатаев повалился навзничь; он заметил, что у Мухаммеда до сих пор лежал за пазухой учрежденческий портфель среднего служащего, может быть, Нур-Мухаммед всю свою жизнь считал лишь временной командировкой в дальние места, и единственная прелесть его существования заключалась в том, что можно оставить изжитое место и уйти на новое: пусть погибают остающиеся!

Чагатаев, не подумав, встал сразу на ноги. Он был теперь пуст и легок, тело его стало свободно, и он качался, как невесомый. Айдым уперлась руками ему в живот, чтобы он не падал. Но Нур-Мухаммед схватил Айдым поперек ее тела и пошел с нею прочь. Чагатаев бросился за ним вслед, но упал, потом опять поднялся, пытаясь сосредоточить силы. От слабости мир перемешался перед его глазами: то был, то не был. Мухаммед шел не спеша впереди, он не боялся полумертвого.

— Вы куда? — изо всех [сил] сказал Чагатаев.

Айдым заплакала на руках Мухаммеда.

— Возьми меня, Назар Чагатаев... Я не хочу в Афганистан: там буржуи живут...

Откуда она знает о буржуях?.. Чагатаев больше уже не упал, торжественная мысль жизни вернулась к нему, он поднял револьвер отвердевшей рукой и велел Мухаммеду остановиться. Тот увидел оружие и побежал.



Айдым заметила на шее Мухаммеда болячку и впиалась в нее своими отросшими ногтями. Нур-Мухаммед закричал по-страшному и ударил девочку по лицу, но размахнуться ему было негде, и ей не стало слишком больно от его удара. Айдым не отняла своих рук от болячки и повисла теперь на шее Мухаммеда, тогда он бросил ее держать, чтобы ударить по-настоящему.

— Видишь, как больно тебе! — [рассказывала] Айдым. — Тебе ведь говорили: не воруй меня, не надо! А ты украл, ты басмач! Терпи, теперь терпи!

Из-под болячки Нур-Мухаммеда шла густая кровь: засохшую корку больного места Айдым уже сорвала.

Мухаммед застонал и с трудом сбросил с себя девочку. Оглянувшись на Чагатаева, он опять схватил Айдым и побежал с нею; он не [уважал] работать впустую. Чагатаев не мог бить по нему насмерть, чтоб не убить Айдым, которую Мухаммед прижал сейчас спередик своей груди, и выстрелил в него по ногам. Пуля попала. Нур-Мухаммед был сорван с земли, как ненужный и посторонний, он упал с разбегу плечом в песок и мог изуродовать Айдым. Но она отлетела в сторону прежде, чем упал Мухаммед, и, сейчас же поднявшись, побежала к Назару. Чагатаев хотел выстрелить еще, чтобы уничтожить Мухаммеда, однако патронов у него было немного, их надо беречь для охоты и прокормления своего народа.

Нур-Мухаммед пролежал в песке лишь несколько секунд, а затем бросился бежать прочь, сразу вскочив на крутой откос бархана, как сильный и здоровый человек. На ходу он кричал от боли, потому что от движения еще больше рвал свою рану, но не слышал своего крика. Он скрылся за песчаным холмом, и голос его умолк навсегда для Чагатаева. Айдым стояла в изумлении, все еще глядя вослед пропавшему Нур-Мухаммеду. Она думала — скоро он умрет или нет.

Она пошла с Чагатаевым обратно.

— Скорей иди! — говорила она. — Ложись опять в песок, пока птицы не прилетели, а то нам есть нечего!

Слабея все больше, Чагатаев дошел до своего прежнего облежанного места и опустился на него. Айдым направилась к народу, на общее становище. День еще было долог, но все люди уже лежали для экономии жизни во сне или в пустом безрассудстве, покрывшись остатками одежды.

Чагатаев находился отдельно, за песчаным перевалом. Он старался думать лишь самое необходимое для общей жизни спасения. Орлица опять улетела живой и несчастной. Если в первый раз он убил ее мужа, то кого он застрелил во второй раз? Наверно, второго ее мужа... Нет, у птиц так не бывает, значит — друга или родственника ее мужа, может быть, его брата, которого она позвала себе на помощь для общего мщения. Но и брат ее мужа погиб, за кем же она полетела теперь?.. Если там — за горизонтом или в далеких небесах — у нее никого не найдется для боевой помощи, то все равно она прилетит одна. Чагатаев был убежден в этом, он знал прямые нестерпимые чувства диких животных и птиц. Они не могут плакать, чтобы в слезах и в истощении сердца находить себе утешение и прощение врагу. Они действуют, желая утомить свое страдание в борьбе, внутри мертвого тела врага или в собственной гибели.

По мере своей второй жизни в пустыне Чагатаеву казалось, что он все время куда-то едет и удаляется. Он начал забывать подробности города Москвы; лицо Ксении его память сберегала лишь в общих, неживых чертах — он жалел об этом и напрягал свое воображение, чтобы видеть ее иногда в уме; представляя ее образ, он всегда замечал, что ее губы что-то шепчут ему, но он не понимает и не слышит ее голоса за дальностью расстояния. Разноцветные глаза ее глядели на него с удивлением, может быть, с грустью, что он долго не возвращается. Но это лишь обольщающее чувство! В действительности Ксения, наверно, вовсе забыла Чагатаева; она ведь еще ребенок, в ее сердце теснится прекрасная, завоевывающая ее жизнь, и там не хватит места для сохранения всех исчезнувших впечатлений.

День проходил пустым, не принося избавления. Чагатаев знал, что нельзя накормить народ еще одной или двумя убитыми птицами, но он не был великим человеком и не мог выдумать, что ему нужно сейчас сделать более действительное. Пусть его охота за птицами — ничтожное дело, зато оно единственно возможное, пока не прошло его изнеможение. Если бы он был в прежней силе, он обыскал бы всю пустыню вокруг на десятки километров, нашел бы диких овец и пригнал бы их сюда. Если бы хотя в одном человеке была способность пройти пятьдесят или сто километров до како-

го-нибудь телеграфного аппарата, он бы потребовал помощи из Ташкента. Может быть, покажется аэроплан на небе! Нет, здесь едва ли они бывают, здесь нет пока сокровищ на земле, чтобы тратить дорогую машину. И убогий малополезный труд, заключавшийся в терпении, в притворстве быть трупом, все же утешал Чагатаева, однако на завтра он решил идти с народом на родину, Сары-Камыш, при всех обстоятельствах.

Он задремал. Мир опять чередовался перед ним, то оживая, светлый и шумящий, то отдаляясь в темное забвение, откуда он опять затем возвращался, пробинаясь в сознание Чагатаева сквозь больные кости его головы.

Вечером Чагатаев расслышал неясные звуки. Он приготовился, засунув правую руку себе под спину, где лежал револьвер. Он ошибся — это не был шум летящих орлов. Его мать, низко неся свою голову, подошла к нему, попробовала руками его тело и осмотрела глазами, глядящими в песок, всю ближнюю местность. Она не проверяла — жив или скончался ее сын, — она искала убитых птиц своими слепнувшими от горя глазами. Странные скрипящие звуки шли из тела матери; сухие кости ее скелета с трудом и болью преодолевали трение друг о друга. Гюльчатая медленно удалилась, помогая себе двигаться тем, что касалась руками земли и гребла ими назад песок.

Вскоре эти же звуки многих грущихся костей Чагатаев услышал опять. Он поборол свое закатывающееся сонное сознание и сосредоточился. За песчаным перевалом бархана что-то шевелилось. Старый Ванька глядел на него оттуда; рядом с ним поднялся подошедший, очевидно, снизу, с другой стороны бархана, Суфьян, потом показалось еще чье-то неразличимое лицо, там же была Айдым и даже Молла Черкезов, хотя он не видел света. Человеческие лица постепенно прибавлялись, все они смотрели в сторону Чагатаева. Чагатаев тоже глядел на них. Больше не было слышно звуков от трения трущихся мертвеющих костей. Множество глаз наблюдали за лежащим человеком — не жадных и не умоляющих глаз, а безразличных. Кроме Айдым, глаза всех людей глядели, подобно глазам Моллы Черкезова, — ослепшими. У людей не осталось силы в сердце, чтобы держать энергию или выражение мысли в глазах. Лишь предчувствие еды привело их

сюда, но и это чувство не было яростным или жестоким, как у обычного человека, а было невинным, способным остаться без удовлетворения, потому что чувство уже не поддерживалось разумом.

Чего ожидали от Чагатаева эти люди? Разве они наедятся одной или двумя птицами? Нет. Но тоска их может превратиться в радость, если каждый получит щипаный кусочек птичьего мяса. Это послужит не для сытости, а для соединения с общей жизнью и друг с другом, оно смажет своим салом скрипящие, сохнувшие кости их скелета, оно даст им чувство действительности, и они вспомнят свое существование. Здесь еда служит сразу для питания души и для того, чтоб опустевшие смиренные глаза снова заблестели и увидели рассеянный свет солнца на земле. Чагатаеву казалось, что и все человечество, если бы оно было сейчас перед ним, так же глядело бы на него, ожидающее и готовое обмануться в надеждах, перенести обман и вновь заняться разнообразной, неизбежной жизнью.

Чагатаев улыбнулся; он знал, что горе и страдание есть лишь призрак и сновидение, их может разрушить сразу даже Айдым своими детскими силами; в сердце и в мире бьется, как в клетке, выпущенное, еще не испытанное счастье, и каждый человек чувствует его силу, но чувствует лишь как боль, потому что действие счастья сжато и изуродовано в тесноте, как сердце в скелете. Вскоре он переменит судьбу своего народа. Чагатаев махнул рукой глядящему на него народу. Айдым поняла и велела уйти всем, чтобы не мешать Чагатаеву охотиться.

В начале ночи, когда все люди забылись, Айдым пошла одна в пустыню искать диких овец. Суфьяну и Старому Ваньке она велела разрыть руками песок в одной небольшой долине между длинными барханами. Там, под песком, она обнаружила глину, которая должна собирать воду, и она уже пила ее немножко из ямки. Она понимала, что, когда нет пищи, вода тоже кормит.

14

Шла ночь над песками. Чагатаев спал на правом боку, и сновидения заполнили его, вытеснив жажду, голод, слабость и всякое страдание. Он танцевал в саду,

освещенном электричеством, с большой, выросшей Ксеньей, в летнюю ночь, пахнущую землей, детством, накануне рассвета, который уже горел на вершинах тополей, как дальний, еще неслышный голос. Ксения томилась в его осторожных объятиях, ее глаза были закрыты, точно она спала. С рассвета, с востока шел ветер между деревьев и шевелил платья танцующих женщин. Играла музыка, ранний свет и ветер проходили по лицам людей, безмолвных и счастливых. Затем музыка утихла, стало совсем светло вокруг, и Чагатаев нес спящую Ксению на руках. Вдруг он увидел тьму на месте света, голова его заболела, и, падая, он повернулся во время падения на спину, чтобы не ушибить Ксению, которую он держал спереди, как маленькую: пусть она упадет на него и не убьется. Он крепко, еще сильнее схватил ее руками, но ее уже не было с ним. Он закричал, вскочил во тьме с земли, и два острых удара — опять в голову и в грудь — сбили его обратно.

Большие птицы, падая на него и вновь поднимаясь в воздух, били его клювами и рвали одежду и тело когтями. Чагатаев старался вскочить на ноги, но не успевал и терял силу от боли и новых ударов нападающих тяжелых птиц; он ворочался и греб в ожесточенном отчаянии руками песок, окруженный пустынной ночью, взмокший последней кровью. Он хотел вскрикнуть, чтобы поднять в себе, из самой глубины, из остатков исчезающей жизни яростную силу, но жалящие удары орлиных клювов и когти их, рвущие жилы, прерывали его крик, прежде чем он успевал взять воздух себе внутрь. От крыльев птиц его сбивал ветер, он не мог дышать в этой буре и давился пухом и перьями, отлетающими от птиц. Чагатаев понял, что два первых удара клювами он получил в голову, около затылка, оттуда сейчас текла кровь за шею, и еще у него, кажется, сорван один грудной сосок, там болела рана щекочущей вопиющей болью.

Наконец Чагатаеву удалось вскочить на мгновение на ноги. Он распростер руки, готовый схватить птицу, которая первая падет на него, чтобы задушить ее вручную. Орлы были в воздухе и сейчас разгонялись на него. Он наступил ногою на свой револьвер и быстро нагнулся за ним, однако не успел поднять его. Птицы бросились ему в спину, но он уже теперь опомнился и

сумел сосчитать по числу своих новых ран от клювов — орлов было три. Чагатаев, схватив револьвер, опрокинулся навзничь, чтобы сбросить с себя или задавить птиц, впившихся ему в спину, но силы его действовали плохо, он свалился как попало, на бок, а орлы низко отлетели в сторону. Чагатаев попытался подняться для лучшего прицела, все истощенные кости его скелета закрипели, так же как у людей его народа. Он прислушался, и ему жалко стало своего тела и своих костей — их собрала ему некогда мать из бедности своей плоти, — не из любви и страсти, не из наслаждения, а из самой житейской необходимости. Он почувствовал себя как чужое добро, как последнее имущество немущих, которое хотят расточить напрасно, и пришел в ярость. Чагатаев сразу крепко сел в песке. Орлы, даже не очень поднявшись в высоту, опять со скоростью мчались на него, тесно прижав к себе крылья. Он их подпустил ближе, потом нажал курок. Чагатаев видел орлов верно, их было три, и стрелял теперь точно, хладнокровно, оберегая себя, как второго человека, как ближнего, беспомощного друга. Он выпустил пять пуль в мчавшихся орлов почти в упор. Птицы низко со свистом воздуха, пролетели над ним, уже не сумев остановить своего разгона, потому что они были либо уже мертвые, либо раненные насмерть. Они упали в нескольких метрах далее Чагатаева, в темный ночной песок.

Чагатаев дрожал от тревоги и усталости. Он разгреб в песке пещеру и лег в нее, сжавшись телом, чтобы согреться и уснуть, не заботясь о том, сколько вытечет крови из его рваных ран, пока он будет спать, не думая о здоровье и о своей будущей жизни.

Айдым далеко ушла в ту ночь; потом она утомилась, прилегла и заснула, не услышав выстрелов Чагатаева. Но, помня, что ей спать долго нельзя, она вскоре пробудилась в беспокойстве и опять пошла. Полночная обедневшая луна вышла из-за далекой земли и осветила пески низким светом. Айдым осмотрелась кругом пронизательными глазами. Она знала, что не может быть, чтобы на земле ничего теперь не было. Если идти по пескам целый день, то обязательно что-нибудь встретишь или найдешь: либо воду, либо овец, либо увидишь многих птиц, попадется чей-нибудь заблудший

осел или пробегут вблизи разные животные. Старшие люди говорили ей, что в пустыне столько же добра, сколько на любой далекой земле, но в ней мало людей, и поэтому кажется, что и остального нет ничего. Айдым, однако, даже не знала, где есть земля более богатая и лучшая, чем пески или камышовые леса в разливах Амударьи.

Айдым стояла на самом высоком бархане; ее привлекал мерцающий, брезжащий свет луны в одном направлении — по остальной земле свет шел спокойно, а там что-то мешало ему светить. Она пошла туда, где свет затемнялся, и вскоре разглядела маленькую овцу-детеныша. Овечка царапалась ногами на самой вершине невысокого холма и взметывала песок так, что издали, сквозь ослабшую тьму, поверх привидений холмистой пустыни, это казалось важным, загадочным происшествием.

Овца-ярка, наверно, выбирала из песка весенние погребенные травинки и кормилась ими. Айдым тихо взобралась на холм и обхватила овечьего детеныша. Ярка не сопротивлялась, она ничего не знала про человека. Айдым повалила ее и хотела прокусить ей слабое горло, чтобы испить крови и наестся. Но она увидела сейчас, что под барханом, часто дыша, как люди, множество овец рыли ногами песок, догребаясь до нижней, скрытой влаги. Айдым оставила ярку и сбегала с бархана, к овечьему стаду. Прежде чем она достигла крайней овцы, к ней навстречу прыгнул баран и остановился перед ней, нагнув голову для боя. Айдым посидела немного перед ним, подумала своим небольшим умом — как ей быть. Она сосчитала овечью отару — в ней было двадцать четыре головы, сложив сюда ярку и двух козлов, тоже прижившихся тут. Она отползла потихоньку к ближней роющей овце; баран тоже пошел за нею в ожидании, Айдым попробовала рукою песок в ямке, которую разгребала овца, — там было сухо, вода не чувствуется. На губах ближних овец собралась пена томления, изредка они хватали ртом песок и выбрасывали его обратно вместе с последней слюной. Песок не поил, а сам испивал их сок. Айдым подошла к барану. Он был не очень худ и лишь тяжело дышал от жажды, от напряжения перед задачами своей жизни, как главного среди овец. Айдым взяла барана за рог и повела его за собой. Баран сразу пошел, потом остановился,

чтобы образумиться, но Айдым потянула его, и баран пошел за ней. Некоторые овцы подняли головы, перестали работать и пошли следом за девочкой и бараном. Оставшиеся козлы и прочие овцы также вскоре нагнали своего барана.

Айдым спешно тянула барана, память на место у нее была точная, но лишь к заре и погасшему месяцу на небе она дошла до той глубокой долины, где она отрывала себе воду в песке. Там она оставила стадо, и овцы опять принялись раскапывать ногами песок, а сама Айдым пошла на общий ночлег к народу. Она обиделась: в долине не было открыто ни одного колодца. Старый Ванька и Суфьян либо умерли, либо поленились, или, может быть, напились одни, не заботясь о другой жизни.

Айдым ощупала на становище всех спящих и беспомятных: они привыкли жить, дышали, и никто из них не умер. Айдым разбудила Суфьяна и Старого Ваньку и велела им идти пасти и сторожить овечье стадо, а сама отправилась к Чагатаеву, чтобы привести его есть.

Чагатаев долго не просыпается, когда его будила Айдым; он медленно умирал, потому что кровь не переставая медленно сочилась из него во сне, и видно было, как она редкими толчками выходила из ран, утихая в песке. Айдым поняла все; она сбегала обратно к народу на ночлег, но все люди уже тронулись оттуда к стаду, кто как мог: кто полз, кто шевелился на ногах, кто пользовался помощью другого. Айдым искала глазами, у кого была более целая или мягкая одежда, но не нашла, чего ей хотелось. У всех из одежды осталось худое и нехорошее или очень малое. Молла Черкезов имел мягкие шаровары, но от его слепоты они были нечистые. Айдым сняла с себя рубашку и осмотрела ее: ничего, она еще маленькая, в ней не накопилось заразы и болезней, как у стариков, рубашка пахла одним только потом и ее телом, а грязи в ней не было — пустыня вся чистая. Айдым вернулась к Чагатаеву, разодрала свою рубашку на полосы и перевязала все его раны на теле и на голове, откуда показывалась кровь. Чагатаев проснулся уже и поворачивался, чтоб девочке удобней было работать. Он открыл глаза и увидел Айдым, убитых птиц и пески как бы сквозь густой сумрак, хотя наступило обычное солнечное утро. Он раз-

глядел орлов и узнал в самой крупной птице самку, а другие два орла были гораздо меньше: это ее дети. Она прилетела сюда вместе с самыми верными друзьями своего мужа — его детьми.

Четыре дня народ джан ел и оправлялся от своего горя и бедствий. Айдым следила за тем, чтобы никто лишнего не передал, а особо усердных на пищу останавливала или била по глазу: иначе будет не больно. Раны на теле Чагатаева подернулись пленками и заживали; он отдал Айдым свое нижнее белье, и она сшила себе юбку и кофту, а то была голая. Суфьян, который всю жизнь носил при себе необходимый житейский инвентарь — спички, иголку, нитки, шило, какой-то старинный документ о своей личности, ножик и прочее добро, — он попросил Айдым обштопать его одежду. Айдым зашила все крупные дыры на халате старика, потом заодно починила всю ветхую одежду на народе в тех местах, где видно было тело; на многих людях ей пришлось укоротить одежду, чтобы выиграть материал и пришить его тем, у кого не хватало. Из этих обрезков Тагану она сшила целые штаны и рубашку, потому что он забросил свое платье где-то в песок, когда думал, что пора кончать жизнь, и с тех пор жил голым.

На эту работу у Айдым ушло еще четыре дня — ей помогали штопать и шить только Старый Ванька и Чагатаев. Кроме того, Айдым следила за общим порядком жизни народа, за распределением пищи, за сном и за оставшимися овцами, — чтобы их пасли и поили и чтобы они не худели, не проживали своего тела зря. На ночь каждую овцу Айдым привязывала к человеку, а барана укладывала рядом с собой и прочной бечевкой туго обвязывала ему шею, а другим концом бечевки обматывалась сама вокруг живота и делала мертвый узел. Благодаря этой осторожности ни одна овца не убежала, хотя по всей ночи овцы лежали не евши и не прибавили в весе. Утром, через девять дней после того, как Айдым привела овечью отару, народ тронулся далее в дорогу, на свою родину. Теперь осталось у него десять овец и одиннадцатый баран, а тринадцать голов и трех орлов народ поел. Люди шли сейчас хоро-

шо и чувствовали, что они существуют, не напрягаясь памятью для воспоминания о самих себе.

До Сары-Камыша оказалось всего три полных дня среднего хода. Но уже на второй день народ увидел серое плоскогорье Усть-Урта и темноту у его подножия — впадину пустых земель с редкими горькими водами. Все обрадовались и поспешили туда, точно там обеспечено было счастье и стояли убранные дома с открытыми входами, ожидающими хозяев. Чагатаев вел за руку мать и улыбался, будто он снова, как в детстве, находился перед будущей великой жизнью, готовый на мучительный, терпеливый труд, имея в сердце неясное, робкое предчувствие неизбежной победы.

Вечером третьего дня народ перешел последние светлые пески — границу пустыни — и начал спускаться в тень впадины. Чагатаев вглядывался в эту землю — в бледные солонцы, в суглинки, в темную ветхость измученного праха, в котором, может быть, сохлели кости бедного Аримана, не сумевшего достигнуть светлой участи Ормузда и не победившего его. Отчего он не сумел быть счастливым? Может, оттого, что для него судьба Ормузда и других жителей дальних, заросших садами стран была чужда и отвратительна, она не успокаивала и не влекла его сердце, — иначе он, терпеливый и деятельный, сумел бы сделать в Сары-Камыше то же самое, что было в Хорасане, или завоевал бы Хорасан...

Чагатаев любил размышлять о том, что раньше не удалось сделать людям, потому что как раз это самое ему необходимо было исполнить.

Еще через два дня народ миновал впадину и приблизился к подножию Усть-Урта. Чагатаев нашел здесь небольшой пресный водоем, питавшийся весенним стоком со склонов плоскогорья, и люди остановились около него для отдыха и для выбора постоянного жительства. Овец теперь осталось лишь три головы и четвертый баран. Но это само по себе еще не было страшным для такого народа, как джан, который мог пользоваться добром природы в самых [худых] ее местах. Айдым в первый же день нашла несколько слепых ушей, заполненных травой перекаати-поле. Траву нагнал сюда с пустыни юго-восточный ветер, и лишь тот куст перекаати-поля, который не попадал в такое мертвое

ущелье, поднимался по склону на высоту возвышенности и уходил через плоскогорье дальше, в степь.

Суфьян сходил в свою пещеру, где он жил до прихода Чагатаева, и дал совет обосноваться всему народу по соседству с его пещерой: там есть широкая, просторная долина, поросшая степною травой, и мелкий ручей бежит посреди нее с Усть-Урга, не иссякая до середины лета. Народ пошел к той долине и по дороге нашел следы своих прежних становищ — еще в ханские времена. Там не осталось никаких заметных предметов, была лишь обычная пусгошь, несколько горстей угля, комья глины, стоял кол от кибитки, забытый всеми, изъеденный жарой и ветрами и умерший; валялась погребенная в почву старая детская тюбетейка — Айдым почистила ее и надела себе на голову.

Долина, указанная Суфьяном, была хороша для жизни. Она имела травяной покров на долгом протяжении, и еще теперь — в конце лета — не вся трава умерла: среди пожелтевших стеблей попадались живые, зеленые былинки. Русло ручья было пусто, но в глубине Сары-Камыша, в одном-двух километрах, виднелось зеркало воды — озеро, куда стекал горный ручей весной и в начале лета; этого достаточно для существования. Когда люди вошли в устье долины, множество черепаш побегало от их ног, и, удалившись, они медленно повернули свои шеи и поглядели на прибывших — каждая черепаха одним черным, зорким и милым глазом. Чагатаев обрадовался им; он теперь отдохнул и опомнился: по-прежнему все в жизни стало возможным, самая лучшая участь осуществима немедленно.

Он пошел вместе с Айдым далеко в глубь Усть-Урга, на его вымершие высокие равнины. Он искал там деревьев или хотя бы саксаула, растущего иногда по оврагам, — дерево нужно было для поделки хозяйственных инструментов и принадлежностей. По дороге Чагатаев поднял Айдым на руки, чтобы она не утомилась, и целовал ее в щеки, в глаза, в волосы — от этого ему становилось лучше на сердце. Он любил ощущать другую жизнь и другое тело, ему казалось, что там есть что-то более таинственное и прекрасное, более [существенное], чем в нем самом, и его здоровье и сознание часто улучшалось лишь оттого, что он имел возможность держать кого-нибудь за руку, как в свое время Веру и еще ранее ее другую женщину, студентку эко-

номического института, любившую его, но умершую от болезни в юности. Айдым тоже обнимала Чагатаева за голову и заглаживала пальцами две плешины в волосах — следы от орлиных ран; она помнила, что съела тогда сразу целого маленького орленка.

У Чагатаева был только перочинный нож, поэтому ему пришлось долго работать, чтобы подрезать и надломить одно небольшое дерево мягкой породы, росшее в одиночку среди каменистого ущелья, где не росло ничего другого, словно птица когда-то уронила семя этого дерева из воздуха.

В течение нескольких дней в долине Усть-Урта, избранной для жительства, работали только двое людей — Чагатаев и Айдым; остальные люди дремали в пещерках, которые они нарыли себе для ночлега в склонах долины, ловили черепах и готовили из них себе пищу, но ели мало, почти неохотно, и раз в сутки ходили на озеро пить воду. Три овцы и барана Чагатаев не велел трогать; он их оставил в запас, на крайнюю нужду. Назар пересчитал людей — кто жив, кто умер — и увидел, что не хватает одного ребенка — трехлетней девочки. Никто не мог ему сказать — ни отец ее, ни мать, ни прочие, где исчезла, умерла одна незаметно эта маленькая девочка, небольшой человек. Никто не запомнил, когда она была задута ветром и песком в пустыне и отошла от рук...

Чагатаев и Айдым стали носить глину для постройки первой курганчи, но им никто не помогал в работе. Когда Чагатаев привел работать Суфьяна и Старого Ваньку, как наиболее здоровых, то они отнесли два раза глину, а потом перестали. Они сели на землю и задумались, хотя по старости лет имели время уже все передумать и прийти к истине.

Тогда Чагатаев собрал всех людей и спросил их: имеют ли они намеренье жить? Никто ему ничего не ответил...

Многие бледные глаза глядели на Чагатаева с напряжением, чтобы не закрыться от немощи и равнодушия. Чагатаев почувствовал боль своей печали, что его народу не нужен коммунизм, — ему нужно забвение, пока вегер не остудит и не расточит постепенно его тело в пространстве. Чагатаев отвернулся ото всех; его действия, его надежды оказались бессмысленными. Нужно взять Айдым на руки и уйти отсюда навсегда. Он

ушел в сторону и лег там в землю лицом. Он понимал, что, куда бы он ни ушел отсюда, он снова вернется обратно. Ведь его народ — наибольший бедняк на свете: он растратил все свое тело на хошарах и в нужде пустыни, он отучен от цели жизни и лишился сознания и своего интереса, потому что его желание никогда, ни в какой мере не осуществлялось, народ жил благодаря механическому действию своей скудной, ежедневной пищи — из черепах, черепаших яиц и мелкой рыбы, которую он начал ловить в том водоеме, из которого пил воду. Осталась ли в народе хоть небольшая душа, чтобы, действуя вместе с ней, можно совершить общее счастье? Или там давно все отмучилось и даже воображение — ум бедняков — все умерло?.. Чагатаев знал по своей детской памяти и по московскому образованию, что всякая эксплуатация человека начинается с искажения, с приспособления его души к смерти, в целях господства, иначе раб не будет рабом. И насильное уродство души продолжается, усиливается все более, пока разум в рабе не превращается в безумие. Классовая борьба начинается с одоления «духа святого», заключенного в рабе; причем хула на то, во что верит сам господин — на его душу и бога, — никогда не прощается, душа же раба подвергается истязанию во лжи и разрушающем труде. Чагатаев помнил рассказ Старого Ваньки, как он однажды в Хиве, на дворе мечети, хотел убить павлина, чтобы продать его потом на чучело русскому купцу. В поспешности Старый Ванька бросил камень в павлина — в священную птицу, но не попал. Вдалеке, среди растительности, показался сторож или посторонний человек. Старый Ванька схватил в руку что попало ему среди кустов и запустил в голову павлина этим предметом. Павлин сразу проглотил, скормился тем куском, какой бросил в него Ванька, и потом закричал своим подлым прерывистым криком, а Старый Ванька кинулся к нему, чтобы задушить его вручную, но не управился, потому что явившиеся мусульмане схватили Старого Ваньку, вытащили на улицу и начали бить, пока не решили, что он уже мертв, и тогда его бросили в бездействующий арык. Пока его увечили, Старый Ванька, держа руки на лице, понял по запаху своих рук, что он второй раз ударил священного павлина куском засохшего кала. Старый Ванька выполз из канавы живым, но любил

затем швырять во всех летящих и сидящих птиц чем-нибудь нечистым, особенно если это были голуби, — пока по истечении многих лет не потерял интереса к такому занятию.

Над головой Чагатаева засопело какое-то животное, он подумал — это овца. Но животное схватило пастью ухо Чагатаева и стало тереть его во рту между беззубыми деснами. Это была та же яростная и малосильная собака, которую Чагатаев видел в поселении своего народа на Амударье. Она не была с людьми в пустыне, она отбилась где-то или, может быть, осталась караулить одна покинутое становище, а потом, соскучившись, прибежала прямой дорогой в Сары-Камыш, где она тоже, очевидно, жила в прежние годы. Чагатаев взял собаку за голову и пригнул ее к земле, чтобы она легла. Собака покорно легла; она дрожала от утомления — старая, дикая, не в силах закончить и изжить свою мучительную жизнь и все еще уверенная в блаженстве своего существования, потому что в самом терпении ее, в лудом дрожащем теле было добро.

Собака уснула рядом с Чагатаевым. Айдым одна месила голыми ногами глину, таская воду в бурдюке за два километра. Когда Чагатаев очнулся, кругом него сидело несколько человек людей, которые ожидали его пробуждения. Суфьян, самый старший человек, сказал Чагатаеву, что народ теперь нарочно не имеет души, не знает своего намерения, не льстит на лучшую пищу, он греется самым слабым теплом своего сердца, а сердце получает это тепло из травы, из черепах, из рыбы, из костей самого человека, когда ему нечего есть.

Суфьян склонился к уху Чагатаева, отодвинув собаку. Собака жадно и грустно глядела на людей. Темная, трудная надежда ее была в желании съесть всех людей, когда они умрут. Она пришла сюда не прямою отдельной дорогой, а следом за народом, идя на большом отдалении, и ела павших в песках людей, зарываясь днем глубоко в песок, чтобы ее не заметили степные орлы и прочие хищники. Суфьян сказал Чагатаеву:

— Ты думаешь плохо. Народ жить может, но ему нельзя. Когда он захочет есть плов, пить вино, иметь халат и кибитку, к нему придут чужие люди и скажут: возьми, что ты хочешь, — вино, рис, верблюда, счастье твоей жизни...

— Никто не даст, — ответил Чагатаев.

— Немного давали, — говорил Суфьян. — Горсть риса, чурек, старый халат, вечернюю песню бахши мы имели давно, когда работали на байских хошарах...

— Мать велела мне самому кормиться, когда я был маленький, — сказал Чагатаев. — Мы мало имели, мы умирали.

— Мало, — произнес Суфьян. — Но мы всегда хотели много: и овец, и жену, и воду из арыка — в душе всегда есть пустое место, куда человек хочет спрятать свое счастье. И за малое, за бедную, редкую пищу, мы работали, пока в нас не засыхали кости.

— Это вам давали чужую душу, — сказал Чагатаев.

— Другой мы не знали, — ответил Суфьян. — Я тебе говорю, если за маленькую еду мы делались от работы и голода как мертвые, то разве хватит даже нашей смерти, чтобы заработать себе счастье?

Чагатаев поднялся на ноги.

— Хватит одной жизни! Теперь наша душа в мире, другой нет.

— Я слышал, — равнодушно сказал Суфьян, — мы знаем — богатые умерли все. Но ты слушай меня, — Суфьян погладил старый московский башмак Чагатаева, — твой народ боится жить, он отвык и не верит. Он притворяется мертвым, иначе счастливые и сильные придут его мучить опять. Он оставил себе самое малое, не нужное никому, чтобы никто не стал алчным, когда увидит его.

Суфьян ушел с теми людьми, какие были с ним. Чагатаев отправился к Айдым и работал с ней до вечера. Вечером он уложил ее спать в сухой пещерке, а сам работал опять, готовя из глины и растертой старой травы саманные кирпичи на постройку первого жилища. Вокруг него и во всей долине никого не было; все люди куда-то разошлись, — может быть, ушли ловить черепах или ловить рыбу на озере. Чагатаев работал все более быстро и рационально. Поздно ночью он поднялся по склону на плоскогорье посмотреть, куда ушли все люди. Было всюду видно от чистой высокой луны; свет стоял над безлюдным Усть-Уртом, покрывая тенью гор впадину Сары-Камыша, и опять занимался далее

над влекущей пустыней, уходящей к горам Ирана. Три овцы и баран паслись в соседнем мелком ущелье, с шумом ворочаясь в кучах пережаты-помятые, ища зеленые живые стебли. В черной тени Усть-Урта, где начинался Сары-Камыш, горел маленький огонь костра, немного далее костра лежало слабое облако тумана над озером. Чагатаев сошел с возвышенности и направился к огню. Через полчаса он подошел достаточно близко и увидел, что вокруг костра, где тихо сгорал саксаул, сидел весь народ. Он пел песню и не видел Чагатаева. Чагатаев заслушался той песни; в детстве он слышал много песен от бахши, от матери, от разных стариков — песни были прекрасные, но жалкие. Эта же песня имела незнакомый смысл, в ней было чувство, не родное его народу, но зато подходящее для него более, чем печаль. Чагатаев расслышал даже тихий, стыдящийся голос своей матери. В песне говорилось: мы не заплачем, когда придут к нам слезы, мы не улыбнемся от радости, и никто не достигнет нашего глубокого сердца, которое выйдет само к людям и ко всей жизни и протянет к ним руки, когда настанет его светлое время, и время это близко: мы слышим, как спешит в нашем сердце душа, желая выйти к нам на помощь... Песня окончилась. Старый Ванька шевелил палкой костер и выгаскивал оттуда испекшиеся рыбки, пробуя их — готовы они или нет, а неиспекшихся кидал обратно.

Чагатаев, не обнаруживая себя перед людьми, ушел обратно. Он снова взялся делать кирпичи — на становивше и работал, пока не растаяла луна на небе и не взошло солнце. Утром он увидел, что народ все еще сидел около потухшего костра, а Старый Ванька двигался и метался всем телом, должно быть, плясал. Чагатаев решил не оставлять своей работы, поскольку ночь уже прошла и спать не время. Он формовал кирпичи в глиняных формах, затрачивая в труд всю силу своего сердца. Айдым все еще спала, Чагатаев изредка подходил к углублению, в котором она лежала, и покрывал ее травой от мух и насекомых: пусть она набирает себе тело во сне — в рост и на долгую жизнь. Около полудня к Чагатаеву пришел Старый Ванька, он снял штаны, сшитые ему Айдым из разных кусков, вместо изношенных ранее, влез в яму, куда была завалена глина с водой, и начал месить ее худыми, жесткими ногами.

К осени в долине Усть-Урта было построено четыре небольших дома из саманного кирпича, окруженных общим дувалом. В этих жилищах, не имевших окон, за отсутствием стекла, разместился весь народ, впервые прочно укрывшись от ветра, от холода и мелкой, лежащей, жалящей твари. Некоторые из людей долго не могли привыкнуть спать и жить за глухими стенами — через короткие промежутки времени они выходили наружу и, надышавшись там, насмотревшись на природу, возвращались со вздохом назад, в жилище.

По предложению Чагатаева народ избрал свой Совет трудящихся, куда членами вошли все люди, в том числе и Айдым, как активистка, а Суфьян стал председателем.

Весь народ джан теперь жил, не чувствуя ежедневно своей смерти, и трудился над добычей пищи в пустыне, в озере и на горах Усть-Урта, как обычно живет в мире большинство человечества. Чагатаев добился даже, чтоб каждый день был у всех обед; он знал, что это очень важно, так как обедает лишь меньшинство людей, живущих на земле, большинство — нет. Айдым хорошо вела хозяйство и заставляла всех искать и приносить пищу: траву, рыбу, черепах и мелких существ из горных ущелий; она сама вместе с Гюльчатой растирала съедобные травы, чтобы получалась мука, и своевременно указывала Суфьяну, что надо делать травяные сети для птиц, которые садятся около озера пить воду. Кто забывал свою обязанность жить и кормиться, тем Айдым говорила при всех, что когда она подрастет немного, то нарождает совсем других людей, не таких, как эти, ничтожные, которых приходится кормить ей, малолетней; ведь их матери кровью заливались, а они родились и живут, как из одолжения; вот она выроет завтра с Назаром большую яму — пусть туда ложатся все, кому не нравится на свете!

— Нам несчастных не нужно, — говорила Айдым, — глаз вырву и на стенку повешу его, будешь тогда смотреть на свой глаз, косой человек!..

Но Чагатаев был недоволен той обыкновенной, скудной жизнью, которой начал теперь жить его народ. Он хотел помочь, чтобы счастье, таящееся от рождения внутри несчастного человека, выросло наружу, стало

действием и силой судьбы. И всеобщее предчувствие, и наука заботятся о том же, о единственном и необходимом: они помогают выйти на свет душе, которая спешит и бьется в сердце человека и может задохнуться там навеки, если не помочь ей освободиться.

Вскоре выпал снег. Чагатаеву и всем людям все более трудно приходилось с добычей пищи. Черепахи спрятались и уснули; великие стаи птиц пролетели над Усть-Уртом с севера на юг, они не спустились пить воду на маленькое озеро и не заметили живущего внизу небольшого человечества. Корни съедобных трав обмерзли и сделались невкусными, рыба в водоеме ушла ближе ко дну, в сумрак покоя. Чагатаев понимал все эти обстоятельства. Он решил сходить один в Хиву на пищевые базы и привезти оттуда продовольственную ссуду для народа на всю зиму. Айдым зашила ему обветшалую порванную одежду, он починил себе обувь деревянными самодельными гвоздями и узкими ремешками из овечьей кожи. Затем он попрощался с каждым человеком и, велев ждать его скоро, начал спускаться во впадину Сары-Камыша. Он не взял из экономии никакой пищи с собой, рассчитав, что покроет все расстояния натошак в течение трех дней.

Чагатаев исчез в туманном далеком воздухе пустых мест, Айдым сидела на горном склоне и плакала слезами из черных блестящих глаз, она думала, что больше Назар никогда не вернется. Но в следующие дни Айдым ни разу не управилась заплакать о Чагатаеве: ее заняли заботы по хозяйству, нужда и ответственность, чтоб люди жили и не умерли. Она только вздыхала иногда, как бедная старушка. Народ все еще работал слабо, он не был убежден, что жизнь есть преимущество, его отучили от этого бая на хошарах, и он не ценил своего существования, а наслаждения, даже от пищи, вовсе не понимал.

Больше всего работы теперь, после ухода Чагатаева, приходилось на Айдым. Но ее работа не мучила, она знала от Чагатаева, что богатых нет, а она самая бедная и ей будет скоро хорошо, а потом еще лучше.

Через три дня отсутствия Чагатаева Айдым вспомнила о нем и сморщила лицо, чтобы заскучать и заплакать, но был уже вечер, ей надо поскорее отыскать овец и барана, которые забрались куда-то в дальние лошины, и она решила потосковать о Чагатаеве от-

дельно, когда ляжет спать. Когда она гнала овец обратно к общей курганче, то неизвестный свет ослепил ее. Около глиняных домов горели такие ясные огни, каких Айдым никогда не видала. Она остановилась и хотела уйти назад, чтобы спрятаться с овцами в пещере или в глухой, далекой пропасти, а завтра днем вернуться и посмотреть, что здесь будет. Она взяла барана за рог, а сама все глядела на огни около глиняных домов; интерес и удивление одолели в ней страх, она повела маленькое стадо домой. Она думала: огни — это либо звери, либо умное такое — оттуда, где живут большевики.

Айдым увидела фигуру Чагатаева, прошедшего мимо огня. Она побежала к нему и, дрожа, зажмурившись, ухватилась за его ногу. Чагатаев поднял ее к себе на руки и отнес спать в дом на травяную постель, а сам вернулся наружу разгружать автомобили. Он встретил их на второй день своего пути, на выходе из Сары-Камыша в пустыне. По распоряжению из Ташкента два грузовых автомобиля вышли из Хивы еще четыре дня назад. На одной машине были мясные консервы, рис, галеты, мука, лекарства, керосин, лампы, топоры и лопаты, одежда, книги и прочее добро, а на другой — двое людей, бочки с бензином, масло и запасные части.

Из Ташкента вследи разыскать в районе Сары-Камыша или между Усть-Уртом и Аральским морем кочующее племя джан и помочь ему всеми средствами, а впредь до нахождения того племени или следов его, свидетельствующих об общей гибели людей, машинам назад не возвращаться.

К полночи машина была полностью разгружена, и Чагатаев сел писать доклад в Ташкент о положении народа джан, пока шоферы и начальник экспедиции заправляли машины в обратный путь. Чагатаев писал до рассвета; он предлагал в конце своего письма дать возможность оправиться народу от многолетних бедствий (теперь эта возможность дана, и народ сыто перезимует, пользуясь присланной помощью республики), а самое главное — каждому здешнему человеку нужно вновь нажать себе прожитое почти до внутренних костей, истощившееся тело, в котором слишком слабо сейчас действует чувство и сознательная мысль.

Чагатаев отдал письмо начальнику, и автомобили

поехали в Хивинский оазис. Еще все люди спали, было рано, в Сары-Камыше лежал снег. Чагатаев взял топор и лопату, разбудил Старого Ваньку и Тагана и пошел с ними корчевать саксаул. В полдень они возвратились с дровами. Айдым растопила печки сухой травой и стала готовить обед из новой пищи, которую почти никто не пробовал в жизни.

Консервное мясо и рис сразу насытили людей, но они утомились от этой еды настолько, что все заснули после обеда. Вечером Чагатаев велел опять приготовить второй обед и сам начал делать лепешки из белой муки, потом приготовил еще чай и кофе, кому что будет нравиться. Наевшись вторым обедом, народ проспал до следующего полудня. Чагатаев знал, что такое питание немного вредно, но он спешил накормить людей, чтобы в них окрепли их кости и чтобы они приобрели бы хоть немного того чувства, которым богаты все народы, кроме них, — чувство эгоизма и самозащиты.

Третий обед готовил Суфьян. Он когда-то видел, что ели бан в Хорезме, и сделал приблизительно разные кушанья на память.

Чагатаев с наслаждением наблюдал, как ест его народ — без жадности, осторожно сберегая пищу у рта, с сознанием необходимости и с кроткой задумчивостью, точно представляя в своем воображении лица и душу тех людей, которые тяжело добыли эту пищу и подарили им ее.

Чагатаев терпеливо жил дальше, подготавливая тот день, когда он начнет осуществлять настоящее счастье общей жизни, без которого нечем заниматься и сердцу стыдно. Изредка он говорил с матерью, она ничего теперь не просила у него, только гладила его ноги и тело поверх одежды: он держал ее согнутую голову близ своего живота и думал о том, что ему надо сделать, чтобы искупить и утешить это почти уничтоженное существо, внутри которого он начал жить. Он не знал, что его мать вспомнила о нем лишь благодаря укорам со стороны Айдым и втайне утирала слезы, понимая, что надо любить сына, и не имея, не помня его больше в своем чувстве; поэтому она трогала его, как всякого чужого и доброго.

Через несколько дней сильно захолодало, в одном доме пришлось жарко истопить печь и заодно приго-

товить обильный обед, потому что печь служила и для тепла и для кухни. В других домах печей не было устроено. Сильный ветер дул с высот Усть-Урта и нес в воздухе мелкий обледенелый снег. Айдым привела овец в горницу дома, где ночевала сама, и оставила их там на ночь. Чагатаев с трудом привез воду с озера на самодельной тачке в пяти бурдюках; он поднимался на плоскогорье против обрушивающегося на него ветра и толкал тачку в упор с большим напряжением. И этот ветер, и ранняя зимняя тьма во всем мире, и пустая смертная впадина Сары-Камыша, куда хотел свалить и унести Чагатаева ветер, — все убеждало Назара в необходимости особой, другой жизни.

В одном жилище шевелились люди, внутри его горел свет из открытого входа. Там кончили обедать и дремали; Айдым гремела новой посудой, убирая всякую нечистоту и остатки, говорила людям, чтобы они ложились сегодня на ночь здесь, где было натоплено; пусть будет тесно, но зато тепло.

Времени было часов шесть, но весь народ уже улегся в одной горнице, близко друг к другу, и спал в тесноте, как в блаженстве. Чагатаев пообедал стоя, сесть было негде. Айдым пошла ночевать в другой дом, куда она загнала овец, и туда же пошел спать Чагатаев.

Наутро пошла метель, но потеплело. В общей курганче не было никакого звука, хотя вовсе рассвело. Айдым спала в тепле среди двух овец. И овцы спали, один баран глядел как безумный на Чагатаева. Чагатаев не хотел будить Айдым, но сам пошел в теплый дом, где спали все люди. Там он зажег лампу и осмотрелся.

Народ спал в том же положении, как вчера, точно никто не повернулся за долгую ночь. Многие лица лежали теперь в постоянной улыбке. Слепой Молла Черкезов спал с открытыми глазами, подложив левую руку под спину Гюльчатай, чтобы постоянно чувствовать и хранить ее. Старый перс по прозвищу Аллах глядел вполовину одного ясного глаза, и Чагатаев не мог понять, что видит и думает сейчас этот человек, какое желание души скрывается в нем: то ли самое, что у Чагатаева, или совсем иное.

Весь остальной день Чагатаев просидел около Айдым, любясь ее лицом, ее дыханием, рассматривая румянец юности, который все более покрывал ее щеки

по мере течения долгого сна. Овец он выпустил на снег — пусть они пороются и поваляются в чистоте зимы. Затем Чагатаев взял руку Айдым в свои руки, молчаливо радуясь, что вокруг этого бедного нежного существа железной стеной защиты стоят большевики, и он сам лишь для того здесь и находится.

К вечеру Айдым проснулась. Она поругала Чагатаева — зачем он ее не разбудил раньше и у нее весь день пропал. Чагатаев сказал ей, чтоб она пошла [потрогала] остальной народ — он тоже лежит, не поднимается. Айдым, услышав такое, даже вскрикнула от ожесточения и побежала в соседний дом. Айдым подняла травяной мат над входом, чтобы холод обдал людей и они проснулись бы. Однако спящие только теснее прижимались друг к другу, съезживались, ухмылялись и спали по-мертвому.

Прошла вторая ночь. Наутро Чагатаев опять осмотрел спящих. Лица их еще более изменились, чем вчера. Старый Ванька покраснел от оживления, и теперь ему на вид было лет сорок; даже ветхий Суфьян подобрел наружностью и имел сейчас в выражении лица какую-то заинтересованность. Кара-Чорма, человек лет шестидесяти, лежал розовый и опухший и дышал воздухом с глубоким чувством, как будто питаясь влагой во время жажды. Склонившись к матери, Чагатаев не увидел изменения в ее лице; Гюльчатая, горный цветок, могла совсем не проснуться, ее глаза завалились, щеки потемнели, печать земли легла на нее. Зрачки Моллы Черкезова по-прежнему были открыты, в них появился далекий блеск, как будто проникавший из глубины мозга, и Чагатаеву показалось, что у этого человека появилось теперь зрение.

Назар истопил печь для тепла и пошел с Айдым гулять; впервые за много месяцев он имел свободный час. Метель прекратилась еще ночью; сейчас падал редкий последний снег, и на самой высокой террасе Усть-Урта уже блестел солнечный свет, веселый, ослепительный, обещающий вечное торжество. Айдым смеялась и бегала по снегу; она исчезала далеко, проваливалась в ущелья, забитые снегом, и неожиданно кидалась сзади Чагатаеву на шею. Наконец он схватил ее к себе на руки и побежал с нею к пропасти. Она заметила его намерение.

— Бросай, я не умру! — сказала Айдым.

Во время возвращения домой Айдым шла самостоятельно, рядом, и спросила Чагатаева:

— Назар, они когда проснутся?

— Скоро, скоро... Может, просыпаются уже.

Айдым задумалась.

Печь в доме еще не угасла совсем. Чагатаев растопил ее снова, и вместе с Айдым они сварили обед на весь народ, на всякий случай.

К вечеру некоторые из людей начали просыпаться. Первым проснулся Суфьян, затем Старый Ванька и Молла Черкезов, в полночь встали все, кроме Гюльчатай. Она умерла.

Чагатаев перенес ее в свободный, холодный дом и положил на постель из высохшей травы. Опомнясь от долгого сна, народ сел обедать в теплом глиняном жилище, а Чагатаев лег рядом с матерью и уснул.

Айдым кормила народ обедом и попрекала его, что он спит по две ночи подряд, а жить одну жизнь не может. Старый Ванька захохотал над нею.

— Теперь мы помрем! — говорил он. — Не горюй о нас, девчонка...

На ночь Айдым ушла в дом, где лежал Чагатаев с покойной матерью. Она смирно улеглась в углу и сразу уснула. На рассвете она поднялась и вышла по хозяйству. Нагопленный дом, где остался ночевать народ, был пуст от людей, в других двух домах тоже никого не оказалось. Айдым осмотрела и приблизительно сосчитала все вещи и принадлежности, все общее добро, пошла в то помещение, где лежал запас продовольствия, привезенный из Хивы; обеспокоившись, погрогала даже стены домов и ничего не узнала нового. Продовольствие было все цело. Как она вчера брала консервные банки на обед, так они и теперь лежали. Мешки с рисом и мукой тоже стояли нетронутые. Может, что-нибудь и пропало, но немножко, может быть — табак и спички, которые брали всегда без счета.

Она поднялась по склону из долины на плоскогорье. Маленькое солнце освещало всю большую землю, и света хватало вполне. Снег блестел по Сары-Камышу и на высотах Усть-Урта. Дул слабый ветер, но из чистого неба шло тепло, и было хорошо кругом в пространстве. Прижмуриваясь, Айдым долго наблюдала окрестности и заметила четверых людей. Все они шли по одному человеку, на большом удалении друг от друга.

Один уходил по Сары-Камышу туда, где садится солнце, другой брел по нижним склонам Усть-Урга к Амударье, еще двое исчезали порознь по дальнему плоскогорью, пробираясь через горы в ночном направлении.

Айдым разбудила Назара. Чагатаев ушел один за несколько километров; он поднялся на самую высокую террасу, откуда далеко виден мир почти во все его концы. Оттуда он рассмотрел десять или двенадцать чело-
век, уходящих по долиночке во все страны света. Некоторые шли к Каспийскому морю, другие к Туркмении и Ирану, двое, но далеко один от другого, к Чарджую и Амударье. Не видно было тех, которые ушли через Усть-Урт на север и восток, и тех, кто слишком удалился ночью.

Чагатаев вздохнул и улыбнулся: он ведь хотел из своего одного небольшого сердца, из тесного ума и воодушевления создать здесь впервые истинную жизнь, на краю Сары-Камыша, адова дна древнего мира. Но самым людям виднее, как им лучше быть. Достаточно, что он помог им остаться живыми, и пусть они счастья достигнут за горизонтом...

Он медленно пошел обратно и по дороге заплакал.

Ему все же казалось, что, несмотря на все бедствия, здесь была или начиналась счастливая жизнь, и она возможна в маленьком народе, в четырех избышках, настолько же, насколько за любым горизонтом земли. Он вынул из снега куст перекасти-поля и принес его в тот дом, где лежала его мать. Чагатаев тоже провожал ее сейчас в дорогу, как она его в детстве когда-то

Айдым сидела одна в углу против мертвой старухи. Она ее боялась, и ей было интересно глядеть на нее, на то, что делается уже невидимым.

— Назар, хочешь я поплачу по ней? — спросила Айдым.

— Не надо, — сказал Чагатаев. — Ступай напои овец. С тобой прощался кто-нибудь?

— Нет, я спала, — ответила Айдым. — Старый Ванька мне сказал, когда я уходила...

— Что он сказал?

— Прощай, девка, сказал, теперь ноги ходят помаленьку и живот дышит, пора жить наступила. Больше ничего не сказал.

— А ты что?

— А я ничего... Я ему: у ишаков тоже ноги ходят.

— Почему — у ишаков?

— На всякий случай сказала!

Айдым пошла управляться с овцами, а Чагатаев взял лопату и ушел рыть могилу на плоскогорье. К вечеру он вернулся и отнес мать в землю; Айдым прибирала в то время теплую горницу, где был на постое целый народ, откочевавший неизвестно куда. Айдым засмеялась: даже слепой Молла Черкезов ушел, неужели его глаза что-нибудь увидели, как только он наелся много еды?..

17

Чагатаев и Айдым решили зимовать в четырех глиняных домах... Назар, лишенный сразу всех людей, о которых он заботился, ходил теперь один по пустым склонам Усть-Урта. Айдым стряпала обед, чинила одежду, убирала овец или делала что-нибудь другое по хозяйству — на двоих оказалось лишь немного меньше работы, чем на весь народ джан, — и время от времени она выходила глядеть наружу, чтобы Назар далеко не уходил, потому что ему, наверно, скучно жить с одной Айдым. Но Чагатаев скучал по бежавшему народу недолго; он бродил несколько дней в удивлении, что он оказался ненужным для своей родины и люди одной земли с ним предали его забвению в своей памяти, оставив его и самую младшую, единственную свою дочь сиротами в пустыне. Чагатаев не понимал равнодушного, окончательного забвения; он помнил людей неизвестных и давно умерших, — даже тех, которые ему были бесполезны и самого его не знали, — ведь иначе если погибших и исчезнувших быстро забывать, то жизнь вообще сделается бессмысленной и жалкой: тогда останется помнить голько одного себя. Однако долго терпеть печаль одиночества и разлуки Чагатаев не мог; он стал приживаться к обстоятельствам: к Айдым, к овцам, к опустевшим домам, к мелким животным, проживающим повсюду в природе, и к обмершему кустарнику.

Назар находил в укромных, теплых пещерках оврагов спящих черепах и приносил их домой. Некоторые из них отогревались от зимы и оживали, другие оставались жить спящими, собирая силы для долгого, будущего лета... Чагатаев чувствовал с удивлением, что

можно существовать и совместно с одними животными, с беззвучными растениями, с пустыней на горизонте, если иметь в ближнем жилище хотя бы одного человека,—пусть даже это будет ребенок, как Айдым. И здесь, в бедной природе Усть-Урта, на ветхом дне Сары-Камыша — есть важное дело для целой человеческой жизни. Не может быть, чтобы все животные и растения были убогими и грустными — это их притворство, сон или временное мучительное уродство. Иначе надо допустить, что лишь в одном человеческом сердце находится истинное воодушевление, а эта мысль ничтожна и пуста, потому что и в глазах черепахи есть задумчивость, и в терновнике есть благоухание, означающие великое внутреннее достоинство их существования, не пугдающееся в дополнении душой человека. Может быть, им требуется небольшая помощь со стороны Чагатаева, но превосходство, снисхождение или жалость им не нужны...

По вечерам Айдым зажигала лампу. Она садилась за столом против Назара и делала что-нибудь, чего не успела сделать днем: расчесывала себе блестящие, черные волосы, набирала ковер из старых тряпок и мешочных ушивок, рассматривала с улыбкой картинки в книгах, не понимая, что они изображают, или просто глядела на Чагатаева, не сводя с него глаз, и разгадывала, что он думает — про нее или про другое.

— Назар, — спросила Айдым в один долгий вечер. — Назар, а отчего мы живем? Нам будет хорошо за это?

— А тебе плохо сейчас со мной? — сказал Чагатаев в ответ.

— Нет, мне хорошо теперь, — произнесла Айдым и послунявила штопку во рту. — Я просто так себе сказала, потому что у меня во рту говорится что-нибудь...

Ее большие, открытые темные глаза были наполнены блестящей силой детства и зачинающейся юности, — они смотрели на Чагатаева с доверчивым интересом и сами по себе были предметами счастья, если глядеть на них со стороны. И если даже обмануть доверие Айдым, то она все равно простит свою обиду: ей надо жить дальше, и долго томиться каким-либо мученьем она не может.

— Назар, чего я всегда ожидаю? — опять спросила Айдым. — Отчего мне кажется такое важное, а потом

ничего не бывает... Отчего у меня сердце начинает болеть?

— Ты растешь, Айдым,— сказал Чагатаев.— Пусть тебе кажется что-нибудь в голове, пусть твое сердце начинает болеть — ты не бойся, без этого горя жизнь не бывает.

— Не бывает, — согласилась Айдым. — А я не хочу, чтоб это было. У твоей матери сердце от голода побелело, она мне сама говорила... Пускай у нас теперь другое горе будет, интересное, а не такое. Такое надоело. Ты выдумай что-нибудь [...]

Чагатаев привлек к себе Айдым и приласкал ее, поглаживая девочку по большой, все еще детской голове.

— Научи меня, чтоб я лучше не думала, а то я боюсь: мне кажется страшное! — сказала Айдым.

— Но ведь у тебя не от голода душа начинает болеть? — спросил Чагатаев.

— Не от голода,—ответила Айдым.— У меня от чувства... Назар, отчего я чужая?

— Кому ты чужая, Айдым? — спросил Чагатаев.

— Народ жил с нами, а теперь весь раскочевался,— сказала Айдым.— Ты тоже скоро уйдешь, кто тогда меня помнить будет?

— Я от тебя не уйду,— пообещал Чагатаев.

— Назар, скажи мне что-нибудь главное...

Айдым повернула фитиль в лампе, чтобы меньше тратилось керосина. Она понимала — раз есть что-нибудь главное в жизни, надо беречь всякое добро.

— Главное я не знаю, Айдым,— сказал Чагатаев.— Я не думал о нем, некогда было... Раз мы с тобою родились, то в нас тоже есть что-нибудь главное...

Айдым согласилась:

— Немножко только... а неглавного — много.

Айдым собрала ужинать — вынула чурек из мешка, натерла его бараньим салом и разломала пополам: Назару дала кусок побольше, себе взяла поменьше. Они молча прожевали пищу при слабом свете лампы. Тихо, неизвестно и темно было на Усть-Урте и в пустыне.

После ужина Чагатаев вышел наружу, чтобы посмотреть, что сейчас делается в мире, и послушать — не раздастся ли чей-нибудь человеческий голос во тьме... Где теперь бродит Старый Ванька или Кара-Чорма, и неужели Молла Черкезов видит свет своими глазами?

Айдым тоже вышла из жилища и позвала Назара:

— Иди спать ложись, а то я огонь в лампе потушу...

— Туши,— ответил Назар,— я потом опять его зажгу.

— Нет, лучше не надо: ты спички будешь тратить!— сказала Айдым.— Ты в темноте ложись...

Айдым ушла в дом. Чагатаев сел на землю и осмотрелся. Слабая ночь шла над ним; ветра не было, звезды изредка показывались на небе — их застил высокий, легкий туман. Снег остался лишь в далеких, возвышенных овражных распадках Усть-Урта, его уже отовсюду согнал ветер и стравило полуденное солнце. А в другую сторону, на юг, лежала бедная родная пустыня, покрытая пустым небом; иногда, на мгновение, пустыня вдруг озарялась мерцающим неизвестным светом, и там чудились горы, города, население людей, большая влекущая жизнь. Но на самом деле там сейчас спали черепахи, зябло семя прошлогодних трав и мелкий, местный ветер зачинался в песке и ложился обратно в него. Чагатаев сошел вниз, поближе к Сары-Камышу, и окликнул темное пространство. Ему ничто оттуда не ответило, и даже голос его не отозвался обратно,— звук сразу заблудился и исчез.

Чагатаев вернулся домой. Айдым спала под одеялом и больше не слышала ничего, ей снились ее детские сны, и она занята была тем, что видела в самой себе. Назар зажег лампу, наложил в сумку чуреков и оделся в ватный пиджак и шапку-папаху. Затем он приоткрыл одеяло и посмотрел в лицо Айдым,— оно было оживленным, внимательным, и глаза ее, не вполне спрятанные веками, были в движении, следя за тайными событиями в своей душе.

— Айдым, — прошептал ей Чагатаев.

Айдым открыла сначала один глаз, потом другой.

— Спи, Назар,— сказала она.

— Нет, я сейчас не буду,— ответил Чагатаев.— Я пойду народ соберу, я скоро вернусь.

— Приходи скорее,— попросила Айдым.

— Ты не скучай без меня,— сказал Назар.

— Не буду,— пообещала Айдым.— Ступай скорее, а то они ослабеют — они теперь набегались, наигрались, им пора домой.

Чагатаев тронул рукою голову Айдым и пошел от

нее, но Айдым велела ему сначала потушить лампу, потому что ночь еще долга, а свет ей не нужен.

Погасив лампу, Чагатаев оставил дом и отправился по нагорью в сторону Хивы. Оглянувшись вскоре на местопребывание своего народа, Чагатаев уже не увидел там ничего, — и лишь незаметно среди всего мира и природы осталась одна уснувшая девочка Айдым. Но это ничего, ей горя мало — в домах лежит рис, мука, соль, керосин, спички тоже есть, а счастье и терпение пусть она добывает в одном своем сердце, пока не вернется к ней остальной народ.

Чагатаев шел быстро: рассвет его застал уже в глуши Сары-Камыша; а темный Усть-Урт, еще находившийся в ночи, был теперь на последнем отдалении и погружался своим основанием за край земли... На третий день пути Чагатаев пришел в Хиву. Там бывали большие базары, куда приходили люди из пустыни, чтобы посмотреть на торговое добро, купить что-либо для удовлетворения своей крайней нужды и повидаться друг с другом. Назар надеялся, что на хивинском базаре он встретит людей своего племени и уведет их обратно домой. Они неминуемо должны явиться в толпу чужого народа; им ведь нужно было послушать слухи и разговоры, посидеть в чайхане, снова почувствовать свое достоинство и задуматься о старой песне, которую споет и сыграет бахши на дутаре. В глиняных жилищах на Усть-Урте еще мало было обыкновенного, житейского, а без него нигде не живет человек.

Чагатаев появился на хивинском базаре около полудня. Солнце, уже пошедшее на лето, хорошо освещало сорную землю базара, и земля согревалась теплом. Вокруг базара стояли дувалы жителей, около их глиняных стен сидели торгующие у своих товаров, разложенных по земле. Посреди площади на низких деревянных столах тоже шла торговля добром пустыни. Здесь лежал урюк в небольших мешках, засушенные дыни, овечьи сырые шкурки, темные ковры, вытканые руками женщин в долгом одиночестве, с изображением всей участи человека в виде грустного повторяющегося рисунка; затем целый ряд был занят небольшими вязанками дров — саксаульника и далее сидели старики на земле — они положили против себя старинные пятаки и неизвестные монеты, железные пуговицы, жестяные бляхи, крючки, старые гвозди и железки, солдатские

кокарды, пустые черепахи, сушеные ящерицы, изразцовые кирпичи из древних, погребенных дворцов,— и эти старики ожидали, когда появятся покупатели и приобретут у них товары для своей нужды. Женщины торговали чуреками, вязаными шерстяными чулками, водой для питья и прошлогодним чесноком. Продав что-нибудь, женщина покупала для себя у стариков жестяную бляху на украшение платья или осколок изразцовой плитки, чтобы подарить его своему ребенку на игрушку, а старики, выручив деньги, покупали себе чуреки, воду для питья или табак. Торговля шла тож на тож, без прибыли и без убытка; жизнь, во всяком случае, проходила, забывалась во многолюдстве и развлечении базара, и старики были довольны. В некоторых дувалах, расположенных вокруг базара, в их внутренних дворах, находились чайханы; там сейчас шумели большие самовары и люди вели свою старую речь между собой, вечное собеседование, точно в них не хватало ума, чтобы прийти к окончательному выводу и умолкнуть. Пожилой, коричневый узбек пошел в одну чайхану; он понес за спиной сундук, обитый железом по углам,— и Чагатаев вспомнил этого человека: он видел его еще в детстве, и узбек тогда тоже был коричневый и старый. Он ходил по аулам и городам со своим инструментом и матерьялом в сундуке и чинил, лудил и чистил самовары во всех чайханах; сажа и копоть работы, ветер пустыни при дальних переходах въелись в лицо рабочего человека и сделали его коричневым, жестким, с нелюдимым выражением, и маленький Назар испугался пустынного, самоварного мастерового, когда увидел его в первый раз. Но рабочий-узбек тогда же первый поклонился мальчику, подарил ему согнутый гвоздь из своего кармана и ушел неизвестно куда по Сары-Камышу; наверно, где-нибудь в дальних песках потух самовар. Около мусорного ящика, прислонившись к нему, стояла туркменская девушка; она прижимала рукою яшмак ко рту и смотрела далеко поверх базарного народа. Чагатаев тоже поглядел в ту сторону — и увидел на краю пустыни, низко от земли, череду белых облаков, или то были снежные вершины Копет-Дага и Парапамиза, или это было ничто, игра света в воздухе, кажущееся воображение далекого мира. О чем же думала сейчас душа этой девушки,— неужели до нее не жили старшие люди, которые за нее должны бы пе-

редумать все мучительное и таинственное, чтобы она родилась уже на готовое счастье? Зачем раньше ее лю-ди жили, если она, эта туркменская незнакомая девушка, стоит теперь озадаченная своей мыслью и печалью? Насколько же были несчастными ее родители, все ее племя, если они ничем не могли помочь своей дочери, прожили зря и умерли, и вот она стоит опять одна, так же как стояла когда-то ее нищая, молодая мать... Лицо этой девушки было милое и смущенное, точно ей было стыдно, что мало добра на свете: одна пустыня с облаками на краю, да этот базар с сушеными ящерицами, да ее бедное сердце, еще не привыкшее к нужде и терпению.

Чагатаев подошел к ней и спросил, откуда она и как ее зовут.

— Ханом,— ответила туркменка, что по-русски означало: девушка или барышня.

— Пойдем со мной,— сказал ей Чагатаев.

— Нет,— постыдилась Ханом.

Тогда Чагатаев взял ее за руку, и она пошла за ним.

Он привел ее в чайхане и поел вместе с нею горячей пищи из одной чашки, а затем они стали пить чай и выпили его три больших чайника. Ханом задремала на полу в чайхане; она утомилась от обилия пищи, ей стало хорошо, интересно, и она улыбнулась несколько раз, когда глядела вокруг на людей и на Чагатаева, она узнала здесь свое утешение. Назар нанял у хозяина чайхане заднюю жилую комнату и отвел туда Ханом, чтоб она спала там, пока не отдохнет.

Устроив Ханом в комнате, Чагатаев ушел наружу и до вечера ходил по городу Хиве, по всем местам, где люди скоплялись или бродили по разной необходимости. Однако нигде Назар не заметил знакомого лица из своего народа джан; под конец он стал спрашивать у базарных стариков, у ночных сторожей, вышедших засветло караулить имущество города, и у прочих публичных, общественных людей,— не видел ли кто-нибудь из них Суфьяна, Старого Ваньку, Аллаха или другого человека, и говорил, какие они из себя по наружности.

— Бывают всякие люди,— ответил Чагатаеву один сторож-старик, по народности русский.— Я их не упоминаю: тут ведь азия, земля не наша.

— А сколько лет вы здесь живете? — спросил Чагатаев.

Сторож приблизительно подумал.

— Да уж близу сорока годов, — сказал он. — По праву, по нашей службе надо б каждого прохожего запоминать: а может, он мошенник! Но мочи нету в голове, я уж чужой силой, сынок, живу, — свою давно прожил...

И другие старые жители Хивы или служащие тоже ничего не сообщили Чагатаеву, как будто никто из блуждающего народа джан здесь не появлялся. По справке в управлении милиции оказалось, что все души, числившиеся в племени джан, вымерли еще до революции и никакой заботы о них больше не надо.

К вечеру Чагатаев вернулся в жилую комнату в чайхане. Ханом уже проснулась; она сидела на кровати и занималась домашней работой — чинила себе платье в подоле запасной ниткой, навашивая ее во рту. Должно быть, ей каждое место приходилось считать своим домом и сразу обвыкаться с ним; иначе, если бы она откладывала свою нужду и заботу до того времени, как у нее будет свое жилище, она бы оборвалась, обнищала от небрежности и погибла от нечистоты своего тела. Чагатаев сел рядом с Ханом и обнял ее одной рукой; она перестала чинить платье и замерла в страхе и ожидании. Блаженство будущей жизни, еще не рожденной, безымянной, но уже зачинающейся в нем, прошло в сердце Чагатаева живым, счастливым ощущением. Нечто, более лучшее, чем он сам, более одушевленное и славное, томилось сейчас внутри Чагатаева, согревало его силу и радовало его. Он посмотрел на Ханом; она кротко, задумчиво улыбнулась ему, точно она вполне понимала Назара и жалела его. И тогда Чагатаев обнял Ханом обеими руками, будто он увидел в ней олицетворение того, что в нем самом еще не сбылось и не сбудется, что останется жить после него — в виде другого, высшего человека на более доброй земле, чем она была для Чагатаева. Счастливые, Ханом и Назар прижались друг к другу; старая ночь покрыла тьмою глиняную Хиву, в чайхане умолкли голоса гостей — одни из них ушли на ночлег, другие остались спать на месте — и хозяин закрыл трубу самовара глухою крышкой, чтобы несгоревший уголь затомился в трубе до завтрашнего утра. Чагатаев с жадностью крайней необходимости любил сейчас Ханом, но сердце его не могло утормиться и в нем не прекращалась нужда в этой женщине; он лишь чувствовал себя все более свободным, сча-

стливым и точно обнадеженным чем-то самым существенным... Если Ханом нечаянно засыпала, то Назар скупал по ней и будил ее, чтоб она опять была с ним.

Не спавший всю ночь, Чагатаев наутро встал веселым и отдохнувшим человеком, а Ханом еще долго спала, свалившись с подушки на сторону милым, доверчивым лицом. Назар погладил ее волосы, запомнил ее рот, нос, лоб — всю прелесть дорогого ему человека — и ушел в город, чтобы поискать еще раз свой народ.

Солнце уже поднялось с китайской стороны, и Чагатаев посмотрел туда немного — поверх пустынь и степей, в туманную мглу неба на востоке, где находился Китай. Там уже давно проснулись и работали полмиллиарда терпеливых бедняков, — сколько мысли и чувства было в их душах, если б можно было их сразу ощутить в одном своем сердце!..

Старый рабочий-узбек показался на базарной площади. Он вышел из помещения, в котором раньше помещался караван-сарай и ночевали верблюды; он там, наверно, провел минувшую ночь и теперь шел на работу.

Чагатаев поклонился мастеровому-узбеку и спросил его: не видел ли он прохожего человека из племени джан? Узбек поглядел на Чагатаева старыми, помнящими глазами: должно быть, он тоже узнал в Назаре бывшего ребенка, которому он некогда подарил гвоздь; что хоть однажды трогало его чувство, того самоварный мастер уже не мог забыть, да и жизнь недолга — всего не забудешь.

— В Уч-Аджи видел, — тихо сказал узбек. — Он в чайхане под русскую музыку, под гармонию плясал.

— Он Старый Ванька? — спросил Чагатаев.

— Старый Ванька, — сказал рабочий-узбек.

— А ты сейчас далеко уходишь? — спрашивал Назар.

Мастеровой помедлил — он не любил говорить про свои еще не сбывшиеся намерения.

— Далеко, — сказал узбек. — В Чарджуй ухажу, там на механика учиться буду, туда экскаваторы привезли — каналы копать; я кончаю самовары работать...

— А тебе сколько лет? — интересовался Чагатаев. — Ты успеешь механиком научиться?

— Успею, — обещал самоварный рабочий. — Мне семьдесят четыре года — это я при плохой жизни прожил, а сколько я при хорошей проживу?

— Лет полтораста? — спросил Назар.

— Может быть! — ответил старик.

Они попрощались. Чагатаев вернулся в чайхане и сговорился с хозяином, чтоб он кормил Ханом и содержал ее в помещении, пока Назар не вернется — дней через десять или пятнадцать. Но хозяин попросил дать ему на харчи для Ханом деньги в задаток; ему для коммерческого оборота нужны сейчас наличные средства. Чагатаев обещал хозяину заплатить задаток и снова пошел на хивинский базар.

К полудню ему удалось продать свой ватный пиджак: время уже все равно шло к теплу. Он взял немного денег себе, а остальные заплатил хозяину чайхане в задаток за прокормление Ханом.

Чагатаев разбудил спящую Ханом и сказал ей, чтоб она жила здесь, пока он вернется. Ханом улыбнулась ему теплым, согретым во сне лицом и велела Назару побыть еще с ней немного. Чагатаев побыл с ней, а затем оставил Ханом одну в глиняной комнате и ушел из Хивы. Он отправился сначала в южную сторону Хивинского оазиса, а потом — там видно будет...

18

Через три дня Чагатаев миновал последний аул Хивинского оазиса. Опять перед ним открылась обычная пустыня; кусты перекаати-поля брели под ветром через песчаные холмы, старинная дорога вела на далекие колодцы [...]

Чагатаев побежал вперед по пустой дороге. Он хотел еще к вечеру нынешнего дня дойти до следующего оазиса — может быть, там окажется кто-нибудь, кого он ищет. Куда же они все разбрелись? Ведь их разум еще слаб и печален, они все погибнут в нищете, в отчуждении, по пескам и чужим аулам... Никакой народ, даже джан, не может жить врозь: люди питаются друг от друга не только хлебом, но и душой, чувствуя и воображая один другого; иначе, что им думать, где истратить нежную, доверчивую силу жизни, где узнать рассеяние своей грусти и утешиться, где незаметно умереть... Питаясь лишь воображением самого себя, всякий человек скоро поедает свою душу, истощается в худшей бедности и погибает в безумном унынии.

Если бы Чагатаев не воображал, не чувствовал [...],

как отца, как добрую силу, берегущую и просветляющую его жизнь, он бы не мог узнать смысла своего существования,— и он бы вообще не сумел жить сейчас без ощущения той доброты революции, которая сохранила его в детстве от заброшенности и голодной смерти и поддерживает теперь в достоинстве и человечности. Если бы Чагатаев забыл или утратил это чувство, он бы смутился, ослабел, лег бы в землю вниз лицом и замер...

Две одичавшие овцы лежали невдалеке от дороги, на склоне бархана. Они были худы и подобны собакам. Чагатаев уже миновал их, но овцы пошли за ним следом, может быть, от голода или жажды, надеясь спастись при человеке, а может — от долгого одиночества и отчаяния. Однако овцы скоро изнемогли и отстали, потерявшись опять в сиротстве пустынной природы.

К вечеру Чагатаев дошел до маленького аула, расположенного у трех колодцев; здесь жили люди из племени эрсари, они кормились тем, что ловили рыбу в староречье Амударьи, когда туда набиралась паводковая вода и приносила с собой рыбу; в остальное время жители делали для певцов-бахши дутары и продавали их в ближнюю пустыню и в Чарджуй. Чагатаев слышал об этом ауле и видел его в детстве; здесь жили добрые люди, потому что они делали музыкальные инструменты и для испытания своих изделий часто должны были напевать кроткие или смешные поэтические песни.

Назар вошел внутрь первого двора и постучал в дверь, но дверь сама отворилась внутрь от его стука. На глиняном полу комнаты сидели в сумраке четверо людей; один из них тихо бил по двум струнам дутары и хрипло шептал старую песню, а другие слушали его. Чагатаев остановился при входе, чтобы не помешать музыке и песне до их окончания. Песня, видимо, тронула всех здешних людей,— они молчали, не замечая вошедшего, чуждого гостя. В песне говорилось о том, что у всякого человека есть своя жалкая мечта, свое любимое ничтожное чувство, отделяющее его ото всех, и поэтому своя жизнь закрывает человеку глаза на мир, на других людей, на прелесть цветов, живущих весною в песках...

По окончании песни старый хозяин жилища пригласил Чагатаева сесть рядом с ним и отдохнуть. Около него сидели два молодых человека, наверно его сыновья, а третьим был ветхий Суфьян. Хозяин, игравший на ду-

таре, передал ее теперь Суфьяну,— тот взял ее к себе и тщательно ощупал.

— Играть хочу, песню сам придумал, сердце у меня хорошее,— сказал Суфьян,— а платить за дутару нечем: я не очень богатый человек, в одном теле своем живу...

На Суфьяне была надета прежняя, старосолдатская шинель, прожитая уже в клочья, почти насквозь в рядно.

Хозяин дутары, сделавший ее, сказал одному сыну, что надо сварить рис и рыбу на угощение старого и нового гостя, а потом обратился к Суфьяну:

— Это очень хорошая дутара, но я ее не продаю... Ты человек старый и не мог себе нажить одной дутары, значит, ты жил добрым — я прошу тебя взять эту дутару без денег, чтоб мне стало хорошо.

Суфьян положил дутару себе на колени и загляделся на нее в удивлении, как на свое первое великое достояние.

После ужина Суфьян сыграл немного на дутаре и спел про умную, сильную рыбу, плавающую в черной, глубокой земле. Чагатаев спросил его затем: где же теперь ихнее племя джан?

— Народ жить разошелся, Назар,— сказал ему Суфьян.— Раньше силы не было уйти, а ты накормил его, и он пошел ходить.

— А зачем ему ходить?— удивился Чагатаев.— Он опять силу потратит!

— Нужно,— ответил Суфьян.— А не нужно станет, народ опять на Усть-Урт вернется.

— А куда они все пошли?

— Я не спрашивал — пусть каждый сам думает,— сказал Суфьян.— Ложись спать: время идет, ночью жить не надо, я свет люблю — мне его мало видеть осталось...

Наутро, на рассвете, Суфьян взял дутару и попрощался с хозяином.

— Пойдем со мной,— сказал Суфьян Чагатаеву.— Я буду теперь бахши, буду ходить и петь по аулам, по кибиткам, пока не помру. Со мной всех людей встретишь, ты станешь мне подпевать и кушать со мной угощение...

— Я могу придумать тебе новые песни, которых другие бахши еще не знают,— сказал Назар.

— Ты мне спой их по дороге,— произнес Суфьян.

Хозяин дувала дал им чурек, и Суфьян с Назаром ушли по дороге на Чарджуй.

До самого лета Чагатаев и Суфьян ходили вдвоем по аулам, по окраинам городов и кочевым кибиткам. Суфьян играл народу на дутаре и пел, а Назар ему иногда подпевал, и оба они кормились и жили в своем долгом пути. Они прошли все оазисы от Чарджуя до Ашхабада,— были в Байрам-Али, в Мерве, в Уч-Аджи, удалялись по колодцам и такрыам в кочевье и, наконец, от Ашхабада побрели на Дарвазу.

Чагатаев нигде не встретил знакомого человека из своего народа, и сердце его уже утомилось от блуждания, тщетной надежды, от тоски и памяти по Ксене, Айдым и Ханом. Он часто спрашивал у Суфьяна, как у старого умного человека: что могло случиться со всеми людьми из джана, отчего их нигде нет? Суфьян отвечал ему, что один или двое могли умереть, но остальные будут целы: жизнь для такого народа, как джан, нетрудна и любопытна, раз он уже перетерпел долгое смертное томленье.

— Он сам себе выдумает жизнь, какая ему нужна,— сказал Суфьян,— счастье у него не отымешь...

В Дарвазе Суфьян и Назар жили три дня. После того они попрощались. Суфьян задумал идти по кочевьям на Гассан-Кули, на реку Атрек, а Чагатаев решил возвращаться по хивинской дороге на Хиву, а затем через Сары-Камыш домой на Усть-Урт. Он боялся за судьбу Айдым и не знал, что случилось с Ханом, девушкой, видимо, несчастной и всем чужой. Суфьян и Назар собрали в поселке и ближних кибитках чуреков — в качестве угощения за свою музыку,— и в одно утро они разошлись в разные стороны, теперь уже, наверно, навсегда.

Было жарко, но Чагатаев привык к пустыне, к терпению и шел от колодца к колодцу, встречая около них обыкновенно по несколько кибиток: пустыня ведь не пустая, в ней вечно люди живут. В кибитке Чагатаев остановился на ночлег и всегда ужинал в семействе добрых кочевников, как среди родственников. Чуреки, взятые из Дарвазы, он нес у себя за пазухой и на ходу ел

их изредка шепотками, когда сильно уставал, чтобы отвлечь себя от утомления.

На пятый день пути Назар увидел хивинскую башню и побежал, чтобы успеть до темной ночи достигнуть базара, пока хозяин чайхане еще не спит и не закрыл дверь в заведение...

Вот он уже видит открытую дверь в чайхане, там горит свет, и оттуда вышел человек на площадь. Чагатаев пошел спокойным шагом, и в чайхане поклонился гостям и хозяину. Затем он спросил у хозяина равнодушно, как чувствует себя Ханом.

Хозяин узнал Чагатаева и ответил ему:

— Она по тебе сильно соскучилась.

— Я пришел теперь,— сказал Назар.

— Она давно ушла от нас,— сообщил этот человек.— Она пошла тебя искать...

— Куда? — спросил Чагатаев.

— Не сказала,— произнес хозяин.— Она плакала один раз, потом молчала.

Чагатаев вынул остаток последнего чурека из-за пазухи и пожевал его, пока горе еще не дошло до его сердца, — тогда он есть ничего не будет.

— Сколько я тебе должен денег за Ханом, что ты кормил ее? — спросил Назар.

— Денег не надо,— сказал хозяин.— Она мне посуду мыла, чайхане убирала, она работала...

Чагатаев вышел из заведения на пустой, темный хивинский базар. Тоска по утраченной, бедной Ханом уничтожила в Назаре всю его усталость, тело его сразу стало сильным и горячим, чтобы бороться со своей печалью. Он быстро пошел по площади, потом побежал и вскоре миновал пределы Хивы. Если бы Назар остановился, он бы уже не мог справиться со своим отчаянием: он бы заплакал или умер.

Без пищи и отдыха Чагатаев прошел всю ночь. Он спешил к Сары-Камышу, на Усть-Урт. Он хотел как можно скорее увидеть Айдым, чтобы успокоиться около нее и заняться заботами о ней, работой по домашнему хозяйству, обычной жизнью... В полдень, в жару Чагатаев истомился; он нашел расщелину в глинистом холме, в которой была глубокая, устойчивая тень, прогнал оттуда дремлющих ящериц и лег спать до вечера... Ночью он вошел в пределы сары-камышской впадины и впервые за дорогу от Хивы напился из большого мелкого

озерка плохой, засоленной водой. Переспав снова дневную жару в тишине какой-то влажной ямы, с вечера Чагатаев снова тронулся в ход, и на утро следующего дня он подошел к Усть-Урту. Он быстро поднялся на взгорье, чтобы скорее увидеть глиняные дома своего племени...

Встревоженный и худой, Назар взбежал на последний подъем и остановился в радости и недоумении. Светлое, чистое солнце, еще нежаркое на этой возвышенности, озаряло кроткую пустую землю Усть-Урта; четыре небольших дома были выбелены, из кухонной, знакомой трубы в безветренный воздух шел сытный, пахнувший пищей дым; отара овец, не менее чем в сотню голов, паслась на отдаленном склоне горы, по ту сторону большого оврага, и в стороне от поселения лежали два старых верблюда, жуя разный сор вокруг себя, чтобы не скучать и ничего не думать напрасно... Со стесненной, озабоченной душой Чагатаев пошел в дом, где была печь, но из крайнего жилища вышла Айдым с пустым ведром. Она сначала бросила ведро на землю, однако тут же опомнилась, подняла ведро обратно к себе и побежала к Назару босыми ногами. Лицо ее стало вдруг испуганным и печальным, она припала головой к животу Чагатаева и уронила ведро, — Айдым боялась, что Назар вскоре опять оставит ее и никогда не вернется; она почувствовала вперед, раньше времени. Чагатаев взял Айдым на руки и пошел с нею на озеро — он забыл попить воды и умыться. Айдым положила ему свою голову на плечо и стала говорить в ухо, как она здесь долго жила одна, а потом пришел Таган с Кара-Чормой, они пригнали из пустыни сорок голов овец и четыре барана; эти овцы были ничьи, они ходили вослед одному верблюду, а у верблюда, должно быть, пропал хозяин, и верблюд сам не знал, куда ему теперь надо идти. А когда верблюд увидел в пустыне Кара-Чорму, то сам подошел к человеку и лег около него, и овцы тоже легли вокруг Кара-Чормы.

— Они не знали, где им пить, — сказала Айдым. — Траву они находят, а доставать из колодцев воду не умеют... А наружной воды мало бывает...

— А другой верблюд откуда? — спросил Чагатаев.

— Другого я сама нашла, — ответила Айдым. — Я в пески ходила тебя смотреть, думала — ты близко... А там есть колодезь, у него сруб сделан из саксаула — вер-

блюда лежал горлом на срубe, смотрел на воду в колодезе и капал туда изо рта слюной. Он уже ослаб и хотел умирать, я пошла домой, взяла ведро с веревкой и дала ему пить...

Назар поцеловал Айдым в щеку, она улыбнулась ему и отвернула свое лицо от него в первой совести девичества. Чагатаев опустил Айдым на землю, потому что озеро, куда они шли, было уже близко.

— Я тебе обед пойду стряпать, ты ведь утомился и есть хочешь, — сказала Айдым и убежала обратно.

Чагатаев не мог еще понять, что произошло здесь без него. Он умылся в озере, оправил и почистил одежду и пошел домой, в новый аул. Но солнце, идущее на полдень, и душный зной, начавшийся в затишье предгорья, утомили его; тело его ведь устало уже давно. Чагатаев лег в тень небольшой ложины и уснул, забываясь всеми своими изнемогшими костями.

Он проснулся вечером; четверть луны светила над пустыней, народ сидел вокруг него и молчал. Чагатаев не мог сразу вспомнить, что он такое, и вновь закрыл глаза, чтобы одуматься. Большая теплая рука легла ему на лицо, и Чагатаев услышал знакомый, доверчивый голос, зовущий его.

— Ханом! — сказал Назар; ему стало хорошо, покойно, рука женщины была нежна и проста, Чагатаев не размышлял сейчас — сновидение это или правда, он думал об одной Ханом.

— Назар! — сказала Ханом и сняла свою руку с лица Чагатаева.

Назар увидел улыбающуюся Ханом; она сидела на земле около его головы и осторожно трогала теперь его волосы. Рядом с Ханом, ближе к ногам Чагатаева, сидели Таган, Старый Ванька, Молла Черкезов, Аллах и Кара-Чорма. Они внимательно глядели в лицо Назара, они все были живыми и целыми. Не веря им, Чагатаев приподнялся, протянул руку и коснулся каждого в отдельности. Позади их сидели неизвестные Чагатаеву люди — человек пять мужчин, четыре женщины и одна девочка, ровесница Айдым.

— Здравствуй, Назар, — сказал Молла Черкезов.

— Разве ты видишь меня? — спросил его Чагатаев.

— Немного вижу, — ответил Черкезов, — я уже давно привыкаю глядеть, но ведь раньше еды не было и душа болела, с чего было взяться глазам? Теперь она мне

протирает глаза, целует их, и они видят свет в тумане...

— Кто их тебе целует? — спросил Назар.

— Ханом, — сказал Молла. — Она моя жена, я взял ее с собой из Нукуса, Ханом пришла туда из Хивы и жила одна на базаре... Спи, — Айдым не велела тебя будить.

— Я проснулся, — сказал Чагатаев; он сел на землю среди всех и понял, что все стало хорошо.

Вскоре из глиняных домов прибежала Айдым и, узнав, что Назар уже проснулся, велела всем идти есть плов, который она приготовила ради Назара.

Ханом взяла за руку Моллу Черкезова и вошла вслед Чагатаеву, а Назара вела за руку Айдым. Около своих жилищ Чагатаев увидел ночующую отару овец, голов в сто с небольшим; внутри одного дувала стояли три ишака, не считая еще двух верблюдов. Откуда же такое добро у небольшого народа? Ведь когда Чагатаев уходил отсюда, здесь было, кажется, всего три овцы и один баран.

Назар обошел все четыре дома; внутри их было чисто, стены выбелены, в одной комнате он заметил запасы шерсти и два небольших ковра, сотканных уже здесь же, руками женщин, пришедших жить в народ джан.

В том жилище, где Айдым собрала общий, праздничный ужин, на полу лежали вымытые циновки, в глиняных кувшинах стояла свежая трава из дальних высоких долин Усть-Урта и в больших глиняных блюдах лежал обильный плов для угощения целого народа. Вокруг этого плова сели еще пятеро неизвестных Чагатаеву пожилых туркмен, почти стариков, и семь человек женщин, кроме тех людей, что сторожили спящего Назара. Он поклонился всему своему племени и всем новым родственным людям, пришедшим жить сюда общей жизнью. Айдым велела ему взять плов первым, и после того все стали не спеша кушать пищу, понимая ее ценность и достоинство...

Всю ночь просидел народ в беседе друг с другом, в удовольствии своей дружбы и свидания. Лампа горела посреди пола в кругу людей; изредка кто-нибудь выходил посмотреть овец, ишаков и верблюдов, потом снова возвращался; ровесница Айдым уснула около своей матери, Айдым тоже спала уже, положив голову на колени Назару, счастливая Ханом дремала и стыдилась, что

ей хочется спать при Чагатаеве. Беззвучно было на Усть-Урте, четверть луны давно закатилась за край пустыни, все одинокие животные спали в песках и в горах, лишь время от времени кричали ишаки в доу-вале.

— Зачем вы ушли от нас тогда зимой? — спросил Назар у Кара-Чормы и Моллы Черкезова.

Они нахмурились в недоумении какой-то странной мысли, а Старый Ванька ответил за них:

— Мы думали, что уж давно нету ничего на свете... Мы думали, одни мы остались — к чему ж тогда и нам жить?

— Мы проверить пошли, — сказал Аллах. — Нам интересно стало, где есть другие люди.

Чагатаев понял их и спросил, что, значит, они теперь убедились в жизни и больше умирать не будут?

— Умирать не надо, — произнес Черкезов. — Один раз умрешь — может быть, нужно бывает и полезно. Но ведь за один раз человек всего счастья не понимает, а второй раз умереть не успеешь. Поэтому тут нету удовольствия...

— А откуда у вас овцы, верблюды, где вы взяли это небедное добро? — спросил еще Чагатаев.

— Овец мы заработали, — сообщил Таган; и каждый сказал после того, что с ним случилось.

Убедившись в действительности мира и в прелести его, пожив с женщинами, поев разнообразной пищи, Таган, Аллах, равно и прочий человек из джана, пошел работать, где ему пришлось выгода. Старый Ванька брал деньги за то, что хорошо плясал в пивных, в чайхане, на базарах и на русских свадьбах, Аллах дробил камень для шоссеиной дороги за Чарджуем, Молла Черкезов мыл шерсть в Нукусе. Ели они мало, — они отвыкли за прежнюю жизнь, — бедняки городов казались им купцами, одежда на них еще держалась, поэтому деньги у каждого человека стали собираться. Они купили по-разному: кто овец, кто ишаков, кто тех и других, кто женился — и пошли постепенно домой на Усть-Урт, потому что жить оказалось можно, а новый аул их стоял вдалеке нежилым, но ведь это было их добро и родное жилище... В пустыне — у такыров, в забытых староречьях, во влажных впадинах — жили еще робкие остатки вымерших семейств и племен. Когда люди

джана гнали овец и ослов домой и вели за руку своих жен, они встретили этих неизвестных людей. Аллах привел их с собой сразу шесть душ. Таган и Старый Ванька не звали их с собой, но забытые люди сами побрели за ними, чтобы спастись для дальнейшей жизни.

— Вот они с нами теперь живут наравне,— указал Старый Ванька на чужих людей.— Пусть живут: от народа не победнеешь...

— Нет, вы будете богатыми,— произнес Чагатаев.

— Устроимся, и будем,— согласился Старый Ванька.— Мы по-мертвому жили, а по-хорошему жить нам не трудно.

— Не интересно даже,— сказал Аллах.

— Пока пусть нам будет хорошо, это самое интересное,— ответил Чагатаев.— Горе и печаль к нам же еще придут, но пусть наше горе будет не такое жалкое, какое было у нас, а другое. Наше горе было похоже на горе ящерицы или черепахи.

— Это ведь правда! — сказала вдруг молчавшая, дремлющая Ханом.

— Из какого вы племени?— спросил Чагатаев у старого туркмена, который был по виду старше всех.

— Мы — джан,— ответил старик, и по его словам оказалось, что все мелкие племена, семейства и просто группы постепенно умирающих людей, живущие в нелюбимых местах пустыни, Амударьи и Усть-Урта, называют себя одинаково — джан. Это их общее прозвище, данное им когда-то богатыми баями, потому что джан есть душа, а у погибающих бедняков ничего нет, кроме души, то есть способности чувствовать и мучиться. Следовательно, слово «джан» означает насмешку богатых над бедными. Баи думали, что душа лишь отчаяние, но сами они от джана и погибли,— своего джана, своей способности чувствовать, мучиться, мыслить и бороться у них было мало, это — богатство бедных...

Народ уже дремал. Ханом приоткрыла рот в сладости сна, прислонившись к мужу, Молле Черкезову. Чагатаев, чтобы не беспокоить Айдым, спавшую головой у него на коленях, лег осторожно на том же месте, где он сидел, и закрыл глаза в покое счастья и сна.

До конца лета Назар Чагатаев жил в своем народе на Усть-Урте. В ауле к тому времени прибавилось три новых глиняных дома и четыре женщины зачали от своих мужей и понесли в себе детей. В ноябре месяце из Хивы вернулись Старый Ванька и Кара-Чорма; их посылал туда Чагатаев со стадом овец в тридцать голов, чтобы они сдали шерсть и мясо государству, а на вырученные деньги купили бы муку, рис, соль, керосин и прочие продукты, а также новую одежду — для запаса на всю зиму до будущего лета, когда в отаре возмужает новое потомство овец.

В конце ноября Чагатаев попрощался со своим народом. Он дал ему совет — выбрать вместо него старшим человеком народа Ханом, хотя она и носит ребенка от Моллы Черкезова уже пятый месяц; но к тому времени, как она родит, может быть, Чагатаев уже вернется из Москвы обратно на Усть-Урт. Народ подумал немного и согласился: женщина часто бывает лучше мужчины, мать дороже или милее отца.

Девочку Айдым Чагатаев тоже уводил вместе с собой. Он обещал ее отдать в Москве на обучение, а когда Айдым станет ученой девушкой, она сама придет домой на Усть-Урт и научит всех, кто ее дождется, как правильно жить дальше...

Одним утром Назар и Айдым взяли немного пищи с собой на дорогу и спустились с возвышенности Усть-Урта. Весь народ джан вышел их провожать. Сойдя во впадину Сары-Камыша, Чагатаев оглянулся; народ все еще стоял на взгорье и следил за ним.

— Айдым, посмотри на всех, кто остался,— сказал Назар.— Попрощайся!

— А я все равно вернусь ведь домой когда-нибудь, тогда их и увижу,— ответила Айдым и не стала глядеть на маленьких людей, оставшихся вдалеке.

Три овцы и баран следовали за ними полдня по своей воле, потом они отстали и потерялись в пустынных местах.

Из Хивы до Чарджуя Чагатаев и Айдым доехали на грузовом автомобиле, а из Чарджуя отправились на поезде в Ташкент. В Ташкенте Чагатаев пробыл два дня, чтобы доложить о своей деятельности. В ЦК партии Чагатаева поблагодарили за работу по спасению ко-

чевого племени джан от гибели в дельте Амударьи и сказали, что люди дальше сами найдут свою большую дорогу, а не останутся лишь в маленьком овраге Усть-Урта. Счастье всегда имеет большой размер, оно равняется всему социализму.

Айдым жила в чайхане около вокзала и без Чагатаева не выходила на улицу от страха. На второй день вечером Чагатаев взял Айдым за руку, и они пошли садиться на московский поезд. На вокзале он послал телеграмму Ксене, не зная, помнит ли она его теперь. Айдым с удивлением глядела на Назара: он побрился, был без бороды и усов и стал непохожим на того, кто ходил с ней по пустыне, по воде и горам. Она пробовала руками новый костюм на нем, в который он оделся в Ташкенте, и думала, какой Назар богатый. Но Чагатаев ей тоже купил новую узбекскую одежду и переделал ее в вагоне во все новое, а ветхий капот ее спрятав зачем-то к себе в карман.

Почти всю первую ночь в поезде Чагатаев простоял у окна в коридоре вагона, глядя в пустыни и степи, замечая редкие, далекие костры чабанов. Айдым спала на лавке. Чагатаев изредка поправлял ее одеяло, складывал обратно руки и ноги, когда она по-детски раскидывалась, и гладил ей голову, когда она бормотала что-то во сне, мучительно переживая дневные впечатления.

В Москве на вокзале Чагатаева встретила Ксения, выросшая и другая, чем во время их разлуки, как настоящая женщина. Она была в пальто с большим серым воротником и в черной шапочке,— в Москве шла зима. Разноцветные глаза ее заплакали, когда она увидела Чагатаева в толпе пассажиров. Она подбежала к нему и обняла, остановив движение задних людей. Ксения не заметила сразу, что около Чагатаева стоит девочка в длинном цветном платье далекого народа и держится рукою за борт пиджака Чагатаева. Оба они были без пальто, поэтому Ксения, после знакомства с Айдым, открыла свое пальто и взяла Айдым к себе на руки, прильнув ее тело к своей груди. Ксения была вдвое больше Айдым, но все же она покраснелась от напряжения. На вокзальной площади Ксения наняла такси, потому что Назару и девочке было холодно.

— А куда мы поедим? — спросил Чагатаев у Ксении; ему некуда было ехать в Москве.

— К моей маме,— ответила Ксения.— Я забронировала ее комнату для вас.

В автомобиле Ксения сидела с красным лицом, словно она стыдилась чего-то, или это было от юности: когда жизнь от наслаждения кажется позором.

Автомобиль остановился. Ксения передала Чагатаеву ключ и попросила прийти к ней завтра в гости.

— Только у меня адрес теперь другой,— сказала она.— Я живу отдельно, я одна, а вашу телеграмму мне бабушка переслала...

Она дала ему адрес на бумаге из блокнота, и они попрощались. Чагатаев вошел в знакомый новый дом, Айдым держалась за его руку. У них не было никакого багажа.

В большой комнате, убранной мелкой мебелью Веры, Чагатаев сел на постель, не раздеваясь, потом положил голову поверх одеяла; прежний, вечный запах Веры еще хранился в ее постели. Чагатаев дышал этим запахом, думал и дремал. Айдым влезла с ногами на подоконник и глядела оттуда на большую Москву.

Утром на другой день Чагатаев пошел с Айдым в магазины, купил ей европейские кофты и юбки и два пальто — для себя и для нее. Айдым сразу изменилась в новой одежде: Чагатаев увидел, что она красавица.

Вечером они поехали в гости к Ксении. Ехать было далеко, в глубину Замоскворечья. После трамвая Чагатаев и Айдым долго шли пешком и наконец нашли по писаному адресу общежитие студентов торфяного техникума. В этом техникуме, очевидно, теперь училась Ксения.

В общежитии, как у многих девушек, у нее была отдельная комната. Чагатаев постучался в дверь, и так как перегородки между комнатами и сама стена коридора были тонкие, то сразу три девичьих голоса сказали: «Войдите», в том числе и голос Ксении.

Она открыла дверь, и сразу трудное чувство волнения заполнило ее лицо излишним румянцем. На столе находилось заранее приготовленное робкое угощение, покрытое скатертью. Ксения усадила гостей, сняла скатерть с закусок и сейчас же стала уговаривать их съесть ее пищу, но вилки, ложки, ножики валялись у нее из рук на пол, вдобавок она зацепила красное разливное вино, налитое в какую-то масленую, должно быть кerosиновую, бутылку, и вино разлилось по столу беспорядочно.

лезно. Ксения убежала в коридор, спряталась в уборную и там заплакала от мучительного жалкого стыда. Айдым без нее устроила порядок и даже слила со стола вино обратно в бутылку, так что сохранилась четверть прежнего количества. Ксения вернулась с темными кругами под глазами и просила все же скушать, что она купила и настряпала; больше она ничего не знала, что говорить. Она не могла объяснить, почему ей совестно иногда быть живой и грустно чувствовать себя женщиной, человеком, желать счастья и удовольствия,— даже будучи одна, она от этого сознания закрывала себе лицо руками и краснела под ладонями.

Поев из вежливости угощение, Чагатаев и Айдым стали прощаться с хозяйкой. Чагатаев обещал прийти к ней еще раз — через несколько дней.

Но они увиделись раньше,— на следующий вечер Ксения пришла к Чагатаеву сама. Она хотела помочь Айдым, как старшая женщина девочке. Ксения повела ее в баню, из бани они отправились кататься на метрополитене и вернулись домой уже поздно.

В выходной день Ксения приехала с утра и привезла с собою несколько штук своего белья, из которого она сама выросла, а для Айдым оно было впору. В тот день они все трое ходили в столовую обедать, потом гуляли, были в кино и возвратились к вечеру. Айдым свернулась на постели матери Ксени и сразу заснула. Чагатаев и Ксения сидели против спящей девочки на маленьком диване; они молча глядели на Айдым, на ее лицо, где еще были черты детства, страдания и заботы, и на ясное выражение ее зреющей высшей силы, которая делала эти черты уже незначительными и слабыми. Чагатаев взял руку Ксени в свою руку и почувствовал дальнейшее поспешное биение ее сердца, будто душа ее желала пробиться оттуда к нему на помощь. Чагатаев убедился теперь, что помощь к нему придет лишь от другого человека.

ПОТОМКИ СОЛНЦА

(ФАНТАЗИЯ)

Он был когда-то нежным, печальным ребенком, любящим мать, и родные плетни, и поле, и небо над всеми ими. По вечерам в слободе звонили колокола родными жалостными голосами, и ревел гудок, и приходил отец с работы, брал его на руки и целовал в большие синие глаза.

И вечер, кроткий и ласковый, близко прикипал к домам, и уморенные за день люди ласкались в эти короткие часы, оставшиеся до сна, любили своих жен и детей и надеялись на счастье, которое придет завтра. Завтра гудел гудок, и опять плакали церковные колокола, и мальчику казалось, что и гудок и колокола поют о далеких и умерших, о том, что невозможно и чего не может быть на земле, но чего хочется. Ночь была песнею звезд, и жаль было спать, и весь мир, будто странник, шел по небесным, по звездным дорогам в тихие полуночные часы.

Ночью душа вырастала в мальчике, и томились в нем глубокие сонные силы, которые когда-нибудь взорвутся и вновь сотворят мир. В нем пела душа, как во всяком ребенке, в него входили темные, неустойчивые, страстные силы мира и превращались в человека. Это чудо, на которое любителю каждая мать каждый день в своем ребенке. Мать спасает мир, потому что делает его человеком.

Никто не мог видеть, кем будет этот мальчик. И он рос, и все неустойчивее, страшнее клокотали в нем спертые, сжатые, сгорбленные силы. Чистые, голубые, радостные сны видел он, и ни одного не мог вспомнить утром,— ранний спокойный свет солнца встречал его, и все внутри затихало, забывалось и падало. Но он рос во сне; днем было только солнечное пламя, ветер и тоскливая пыль на дороге.

Он вырос в великую эпоху электричества и перестройки земного шара. Гром труда сотрясал землю, и давно никто не смотрел на небо — все взгляды опустились в землю, все руки были заняты.

Электромагнитные волны радио шептали в атмосфере и межзвездном эфире грозные слова работающего человека. Упорнее и нестерпимее вонзались мысль и машины в неведомую, непокоренную, бунтующую материю и лепили из нее раба человеку.

Главным руководителем работ по перестройке земного шара был инженер Вогулов, седой согнутый человек с блестящими ненавидящими глазами, — тот самый нежный мальчик. Он руководил миллионными армиями рабочих, которые вгрызались машинами в землю и меняли ее образ, делали из нее дом человечеству.

Вогулов работал бесменно, бессонно, с горящей в сердце ненавистью, с бешенством, с безумием и беспокойной неистощимой гениальностью. Мировым совещанием рабочих масс ему была поручена эта работа. И Вогулов десять раз объехал земной шар, организуя работы, проповедовал идею переделки земного шара и зажигал человеческие черные массы восторгом работы. Сотни экспедиций он снарядил в горы всего земного шара и в океаны и моря для исследования теплых течений. Тысячи метеорологических обсерваторий были сооружены, и вся атмосфера пережевывалась тысячами мозгов лучших ученых.

План Вогулова был очень прост.

Земля периодически подвергается засухам или, наоборот, слишком большой влажности. Человечество от этой свистопляски сил истребляется миллионными кусками. Потом смена времен года, эти — зима, лето и т. д. замедляют темп работы человечества, берут много у него сил на приспособление к ним, обрекают огромные пространства земли на бесплодие, стужу и тьму. А другую часть земли — на свирепый ветер, песок и бешенство огня.

Земля, с развитием человечества, становилась все более неудобна и безумна. Землю надо переделать руками человека, как нужно человеку. Это стало необходимо, это стало вопросом дальнейшего роста человечества.

И Вогулов, инженер-пиротехник, разработал этот

проект. Сущность проекта состояла в искусственном регулировании силы и направления ветров через изменение рельефа земной поверхности: через прорытие в горах каналов для циркуляции воздуха, для прохода ветров, через впуск теплых или холодных течений внутрь материков через каналы. Вот и все. Ибо всякое атмосферное состояние (влажность, сухость) зависит от ветров.

Для этих работ надо было прежде всего изобрести взрывчатый состав неимоверной чудесной мощи, чтобы армия рабочих в двадцать-тридцать тысяч человек могла бы пустить в атмосферу Гималаи. И Вогулов раскалил свой мозг, окружил себя тысячами инженеров, заставил весь мир думать о взрывчатом веществе и помогать себе — и вещество было найдено. Это было не вещество, а энергия — перенапряженный свет. Свет есть электромагнитные волны, и скорость света есть предельная скорость во вселенной. И сам свет есть предельное и критическое состояние материи.

За светом уже начинается другая вселенная, материя уничтожается. Могущественнее, напряженнее света нет в мире энергии. Свет есть кризис вселенной. И Вогулов нашел способ перенапряжения, сжатия световых электромагнитных волн. Тогда у него получился ультра-свет, энергия, рвущаяся обратно в мир к «нормальному» состоянию со странной истребительной, неимоверной, не выразимой числами силой. На ультрасвете Вогулов и остановился. Этой энергии было достаточно для постройки из земли дома человечеству.

Ультрасвет попробовали на Карпатах.

В маленький тоннель вкатили вагончик с зарядом концентрированного ультрацвета и отпустили электрический тормоз, удерживающий ультрасвет в его ненормальном состоянии, — и пламя завывало над Европой, ураган сметал страны, молнии засвиригели в атмосфере, и до дна стал вздыхать Атлантический океан, нахлобучивая миллиарды тонн воды на острова. Пучины гранита, завывая, унеслись на облака, раскалились там до нечислимой температуры и превратились в легчайшие газы, а газы унеслись в самые высокие слои атмосферы, там как-то вступили в соединение с эфиром и навсегда оторвались от земли. От Карпат не осталось и песчинки на память. Карпаты переселились ближе к

звездам. Материя мыслью Вогулова превращалась почти в ничто.

Через месяц то же самое сделали в Азии с некоторыми участками Хингана и Саян. А еще через месяц в тундрах Сибири уже зацвели робкие цветы и лились теплые ласковые дожди, а вслед за теплом гнались люди, летели аэропланы, двигались тяжелые поезда и глубоко в землю вонзались фундаментами тяжкие корпуса заводов.

Вогулов командовал миллионами машин и сотнями тысяч техников. В бешенстве и неистовстве человечество билось с природой. Зубы сознания и железа вгрызались в материю и пережевывали ее. Безумие работы охватило человечество. Температура труда была доведена до предела — дальше уже шло разрушение тела, разрыв мускулов и сумасшествие. Газеты вели пропаганду работ, как религиозную проповедь. Композиторы со своими оркестрами играли в клубах горных и канальных работ симфонии воли и стихийного сознания, человек восставал на вселенную, вооруженный не мечтою, а сознанием и машинами.

Вогулов гнулся над чертежами и цифрами, окруженный аппаратами радиосвязи, уже четвертый год. И все беспредельней и бездонней перед ним открывался океан труда, и он без сна и почти без сознания, покоряясь ритмическим взрывам мысли, погибал в этом океане работы и не видел спасения и не хотел его. Далекие, великие горизонты открывались перед ним, и у него были тысячи проблем, но не было времени для их разрешения. Иногда Вогулов поднимался и ходил по своему кабинету, по буграм толстой бумаги и кальки, и пел, чтобы опомниться, рабочие песни — других он не знал. Пел он и курил махорку, привыкнув к ней с детства. Но работающая полным ходом машина требовала к своим регуляторам машиниста. Море работы выходило из берегов и грозило катастрофой, если перестать его опустошать мозгом и машинами хоть на секунду, — и Вогулов садился опять к столу и аппаратам, связывающим его со всем миром, и рассчитывал, писал, отдавался скачке мысли и кричал в аппараты инженерам на Гималаи, на Хинган, на Саяны, на Анды, на искусственные каналы в Ледовитом океане, отводящие теплые течения внутрь Сибири, на гидрофикационные водоподъемные сооружения Сахары, говорил с метеоро-

логической экспедицией в Индийском океане, — и мысль Вогулова четко стучала, освещала и регулировала великую героическую работу — битву далеких миллионов людей.

Вогулов давно понял, что мощь человеческого сознания есть способность ясного, полного и одновременного представления о многих совершенно разнородных вещах. И он достиг этого.

Еще год — и шар земной будет переделан. Не будет ни зимы, ни лета, ни зноя, ни потопов. Вся земля будет разбита на климатические участки. В каждом участке поддерживается ровно и всегда температура, нужная для произрастания того растения, какое наиболее соответствует почве этой страны. Человечество будет переселено в Антарктику — остальная площадь земли будет отведена под хлеб и под опыты и пробы человеческой мысли, она будет мастерской, обителью машин и пашней.

И в редкие моменты забвения или экстаза в разбухшей голове Вогулова сверкало что-то иное, мысль не этого дня.

Одна голова и пламенное сознание, которое от времени и работы становилось все могущественнее, остались в Вогулове. До сих пор люди были мечтателями, слабогрудыми поэтами, подобиями женщин и рыдающих детей. Они не могли и были недостойны познать мир. Ужасающие сопротивления материи, вся чудовищная, сама себя жрущая вселенная были им неизвестны. Тут нужна свирепая, скрипящая, прокаленная мысль, тверже и материальнее материи, чтобы постигнуть мир, спуститься в самые бездны его, не испугаться ничего, пройти весь ад знания и работы до конца и пересоздать вселенную. Для этого надо иметь руки беспощаднее и тверже кулаков того дикого творца, который когда-то, играя, сделал звезды и пространства. И Вогулов, не сознавая, рождаясь таким, развив себя неимоверной титанической работой, был воплощением того сознания — тверже и упорнее материи, — которое одно способно взорвать вселенную в хаос и из хаоса сотворить иную вселенную — без звезд и солнц, — одно ликующее, ослепительное всемогущее сознание, освобождающее все формы и строящее лучшие земли, если хочет того, если радостно ему это творчество. Но можно не творить, не разрушать, а быть в ином состоянии.

Можно не радоваться и не страдать и не быть спокойным,— это полет, это горный воздух, спокойный, чистый и тревожный.

Чтобы земное человечество в силах было восстать на мир и на миры и победить их — ему нужно родить для себя сатану сознания, дьявола мысли и убить в себе плавающее теплокровное божественное сердце.

И Вогулов начал действовать, медленно и начиная с малого — с перестройки земного шара. Но этого было мало: мысль свирепела и крепчала в работе и требовала работы, взмаха и гигантских, непреодолимых сопротивлений.

Вогулов засел за вселенную: эта тайна должна быть наконец разрешена, и разрешена полностью. А познание есть три четверти победы. Он подошел ко вселенной не как поэт и философ, а как рабочий.

Через год опытов и размышлений он эту универсальную и последнюю задачу человечества решил, при помощи, конечно, всего человечества. Он нашел тот эллипсис, ту строгую форму, в которой заключена наша вселенная. Он всегда думал, что вселенная строго ограничена, имеет пределы и концы, точную форму — и только потому имеет сопротивление, то есть реально существует.

Сопротивление есть первый и важнейший признак реальности вещи.

А сопротивляется только то, что имеет форму. Рассуждения о бесконечности есть именно рассуждение, а не факт.

Вогулов нашел очертание, пределы вселенной и по этим известным крайним величинам нашел все средние неизвестные. Есть две крайние критические точки вселенной: свет, как высшее напряжение вселенной, дальше света уже идет уничтожение вселенной, и черту света нельзя перейти, так как тут сопротивление вселенной безгранично — и вторая критическая точка — инфразлектромагнитное поле, то есть подобие обыкновенного электромагнитного поля, но почти нулевого напряжения, с волною длиной в бесконечность и частотой периодов один в вечность.

Между этими пределами заключены все остальные переходные формы: теплота, стремление материи к химическому равновесию структур, радиоактивность и др.

И эти колебания от света к инфразлектромагнитному полю очень, по сути, незначительны. Например, скорость эманации радия близка к скорости света, электрический ток тоже почти имеет ту же скорость. И природа, сокровенность света, инфраполя и всех переходных форм — одна и та же.

Вогулов увидел на опыте, как мечется по этому замкнутому кругу то, что называется вселенной. Инфраполе необходимо возрастает до состояния света, а свет, стукнувшись о самого себя, снижается опять до своего полярного полюса — инфраполя. Так, по кольцу, вверх по правой половине, вниз — по левой, колеблется и стучится вселенная в каземате, который есть она же сама.

Инфраполе через миг (неопределимый, неуловимый) уже превращается в свет, а свет в тот же миг дает в ответ инфраполе. Получается даже не изменение, а мертвое состояние.

Инфраполе, распространяясь в бесконечность, имеет неодинаковое внутреннее сопротивление в себе, — у начальных точек больше, у конечных — меньше, от этого получаются различные скорости, то есть содрогания — волны; интенсивность поля достигает максимума, то есть света, и потом падает опять с содроганий пятидесяти в двадцатой степени в секунду до одной в вечность, то есть до полного отсутствия содроганий.

И когда Вогулов построил копию вселенной в своей лаборатории, со всеми ее функциями, и опыт оправдал все расчеты, Вогулов даже не обрадовался, а только замер у своего механизма — вселенной, и мысль у него застыла на миг.

Тот же круговой поток, от инфраполя к свету — и обратно, получался и у него на лабораторном столике, как и безмерных пространствах мира. Вселенная была познана до дна и воспроизведена человеком.

Тогда Вогулов вспомнил про ультрасвет, свою взрывчатую энергию, и улыбнулся в первый раз издавна: вселенная превзойдена человеком, ибо ультрасвет уже не есть элемент нашей вселенной. Вогулов взял карандаш и рассчитал, что достаточно тысячи кубических километров сконцентрированного ультрасвета, чтобы вселенная перестала существовать.

Двух взрывов, по пятьсот кубических километров каждый, будет довольно: первый доведет до состояния

света все существующее, а второй превратит свет в ультрасвет, а по инерции перенапряжется и сам ультра-свет и создаст какое-то новое сверхэнергетическое образование, иную вселенную.

И Вогулов стало скучно хорошо, стена дала трещину и стала видна — дорога.

Через год Вогулов решил пересотворить вселенную ультрасветом. И опять загремела в нем мысль и бесконечной лентой пошли чертежи мастерских, лабораторий и финансовые сметы. Но тут он натолкнулся на непреодолимое сопротивление: всей энергии земного шара не хватало для производства тысячи кубических километров ультрацвета. Тогда Вогулов запряг в станки бесконечность, само пространство, самую универсальную энергию — свет. Для этого он изобрел фотоэлектромагнитный резонатор-трансформатор: прибор, превращающий световые электромагнитные волны в обыкновенный рабочий ток, годный для электромоторов. Вогулов просто получаемые из пространства световые лучи «охладил», тормозил инфракрасом и получал волны нужной длины и частоты перемен. Незаметно и неожиданно для себя он решил величайший за всю историю энергетический вопрос человечества, как с наименьшей затратой живой силы получить наибольшее количество годной в работу энергии. Затрата живой силы тут ничтожна — фабрикация резонаторов-трансформаторов света в ток, а энергии получалось, точно выражаясь, бесконечное количество, ибо вся вселенная впрягалась в станки человека, если далекие пределы вселенной условно назвать бесконечностью, ведь вселенная — физический свет. Энергетика и, значит, экономика мира были опрокинуты: для человечества наступил действительно золотой век — вселенная работала на человека, питала и радовала его.

Вогулов заставил работать вселенную в своих мастерских для фабрикации ультрацвета, чтобы уничтожить такую вселенную. Но этого было мало: человек работал слишком медленно и лениво, чтобы изготовить в короткое время нужное количество резонаторов — миллионы штук. Темп работы должен быть повышен до крайности, и Вогулов привил рабочим массам микробов энергии: он взял для этой цели элемент инфракраса с его ужасающим стремлением к максимальному

состоянию — свету, развел культуры, колонии, триллионы этих элементов и рассеял их в атмосфере. И человек умирал на работе, писал книги чистого мужества, любил, как Данте, и жил не года, а дни, но не жалел об этом.

Первый год уже дал сто кубических километров ультрасвета. Вогулов думал удваивать производство в каждый следующий год, так что через три с немногим года тысяча кубических километров ультрасвета будут готовы.

Человечество жило как в урагане. День шел за тысячелетие по производству ценностей. Быстрая вихревая смена поколений выработала новый совершенный тип человека — свирепой энергии и озаренной гениальности.

Микроб энергии делал ненужной вечность — довольно короткого мига, чтобы напиться жизнью досыта и почувствовать смерть, как исполнение радостного инстинкта.

И никто не знал, что было сердце и страдание у инженера Вогулова. Такое сердце и такая душа, каких не должно быть у человека. Он двадцати двух лет любил девушку, которая умерла через неделю после их знакомства.

Три года Вогулов прометался по земле в безумии и тоске; он рыдал на пустынных дорогах, благословлял, проклинал и выл. Он был так страшен, что суд постановил его уничтожить. Он так страдал и горел, что не мог уже умереть. Его тело стало раной и начало гнить. Душа в нем истребила сама себя.

И потом в нем случилась органическая катастрофа: сила любви, энергия сердца хлынула в мозг, расперла череп и образовала мозг невиданной, невозможной, невероятной мощи.

Но ничего не изменилось — только любовь стала мыслью, и мысль в ненависти и отчаянии истребляла тот мир, где невозможно то, что единственно нужно человеку, — душа другого человека...

Вогулов размечет вселенную без страха и без жалости, а с болью о невозвратимом и утраченном, чем дышит человек и что нужно ему не через несметные времена, а сейчас. И Вогулов руками хотел сделать это невозможное сейчас.

Только любящий знает о невозможном, и только он смертельно хочет этого невозможного и сделает его возможным, какие бы пути ни вели к нему.

«ЛУННАЯ БОМБА»

1. ПРОЕКТ КРЕЙЦКОПФА

Сын шахтера, инженер Петер Крейцкопф, в столице своей страны был в первый раз. Вихрь автомобилей и грохот надземных железных дорог приводил его в восторг. Город, должно быть, населен почти одними механиками! Но заводов не было видно, — Крейцкопф сидел на лавочке центрального парка, а заводы стояли на болотах окраин, на полях сброса канализационных вод, за аэродромами мировых воздушных путей.

Крейцкопф был молод и совсем не имел денег; он поссорился с администрацией копей, желавшей добывать деньги из одного сжатого воздуха, посвоевольничал в своей копии, был отдан под суд, уволен и приехал в столицу.

Поезд пришел рано, но этот странный город был уже бодр: он никогда не просыпался, потому что и не ложился спать. Его жизнью было — равномерно-ускоренное движение. Город не имел никакой связи с природой: это был бетонно-металлический оазис, замкнутый в себе, совершенно изолированный и одинокий в пучине мира.

Роскошный театр из смуглого матового камня привлек взор Крейцкопфа. Театр был так велик, что мог бы быть стоянкой воздушных кораблей.

Горе раскололо сердце Петеру Крейцкопфу: его молодая, когда-то влюбленная в него жена Эрна осталась в Карбоморте, угольном городе, откуда Петер приехал. Петер предостерегал ее: «Не стоит расходиться, Эрна. Мы жили с тобой семь лет. Дальше будет легче. Я поеду в центр и приступлю к постройке «лунной бомбы», — мне дадут денег, наверное, дадут».

Но Эрне надоели обещания, надоел угольный туман копей, узкая жизнь Карбоморта и одинаковые рожи бессменного технического персонала, особенно две личности друзей Петера — узких специалистов, сознатель-

но считавших себя атомами человеческого знания. Самый частый разговор, слышанный Эрной, это слова сослуживца Мерца: «Мы живем для того, чтобы знать».

— А того и не знаете,— ответила тогда Эрна,— что люди живут не для того, чтобы знать...

Петер понимал и Эрну, и своих друзей, а его-то они не особенно понимали. Аристократка, дочь крупного углепромышленника, получившая образование в Сорбонне, Эрна ненавидела друзей Петера — мастеров, электромонтеров и изобретателей, просиживавших в ее гостиной с Петером в ненужных спорах до полуночи.

Крейцкопф знал, что у него мало общего с Эрной: он, полусамочка, инженер по призванию,— и она, овладевшая последними «цветами культуры», ему недоступными.

И Эрна ушла от него в свой круг людей.

Крейцкопф тосковал, он не знал, что ему делать одному среди множества людей.

От всеобщей занятости, электрических реклам, запаха отработанных газов и рева бушевавших машин тоска Крейцкопфа удесятилась. Он вспомнил прошедшие годы своей жизни, полные труда, доверия к людям, технического творчества и преданности любимой жене. И вот все истреблено неясными стихиями: люди обманули и предали, его труд был не нужен для них, жена полюбила другого и возненавидела его, творчество привело его к одиночеству и нищете.

— Неужели нет спасения? Смерть? Нет, пусть меня раздавит неодолимое,— или я одолею все видимое и невидимое!

Крейцкопф встал, утерся грязным платком и пошел в Научно-Технический Комитет Республики. Он не верил в пользу зеленых письменных столов, знал иронию, спрятанную в ящиках канцелярий, и глухое невежество профессоров. Но податься было некуда.

Его принял председатель Комитета, инженер-путесп. Крейцкопф изложил свое предложение, иллюстрируя его графическими материалами.

Предложение касалось «лунной бомбы» — некоего транспортного орудия, способного перемещаться во всякой газовой среде, в атмосфере и вне атмосферы. Металлический шар, начиненный полезным грузом, укреплялся на диске, стационарно установленном на земле.

Шар укреплялся на периферии диска; сам диск имел либо горизонтальное земной поверхности положение, либо наклонное, либо вертикальное,— в зависимости от того, куда посылается снаряд: на земную станцию или на другую планету.

Диску давалось достаточное для достижения снарядом со станции назначения вращение; по достижении диском необходимого числа оборотов, в нужном положении диска, соответствовавшем направлению линии полета, шар автоматом отцеплялся от диска и улетал по касательной к диску. Все совершалось по формуле центробежной силы, включив в нее коэффициент сопротивления среды.

Безопасный спуск снаряда на землю (или на другую планету) обеспечивался автоматами на самом снаряде: при приближении к твердой поверхности замыкался в автомате ток и сжигалось некоторое количество взрывчатого вещества в том же направлении, что и полет,— отдачей достигалось торможение полета, и падение превращалось в плавный безопасный спуск. Взлет снаряда также был безопасен и плавен, так как скорость кидающего диска начиналась с нуля.

Крейцкопф предложил пустить первый снаряд по такому пути, чтобы он описал кривую вокруг Луны, близ ее поверхности, и снова вернулся на Землю. В «лунной бомбе» будут установлены все необходимые аппараты, автоматически запечатлевающие в межпланетном пространстве, близ Луны, температуру, силу тяготения, общее состояние среды, строение электромагнитной сферы; наконец, киноаппараты воспримут через особые микроскопы все, что несется мимо снаряда. Конечно, в конструкции всех этих аппаратов должно быть принято во внимание мчащееся состояние «лунной бомбы».

Крейцкопф руководился тайной мыслью: народонаселения на земле много,— в давке, в тесноте, у иссыхающих питательных жил земли проходят дни неповторимой жизни. Крейцкопф надеялся открыть на соседних планетах новые девственные источники питания для земной жизни, провести от этих источников рукава на земной шар и ими рассосать зло, тягость и тесноту человеческой жизни. И, когда откроются безмерные недра чужого звездного дара, человек будет больше нуждаться в человеке...

— Урожай у нас ожидается хороший,— выслушав его, в раздумье сказал председатель Комитета, — промышленность налажена, идет новое строительство... Да, пожалуй, денег просить можно. Сколько у вас требуется по смете? Шестьсот тысяч? Хорошо. Только необходимо весь вопрос поставить перед Пленумом Комитета, добиться положительного заключения Пленума и тогда уже войти с представлением в правительство... Пленум Комитета у нас соберется... сегодня вторник... в пятницу. Я лично сторонник вашего предложения. В расчетах, насколько я уловил, нет ошибки. Так вы в пятницу свободны?

— Я в вашем распоряжении,— ответил Крейцкопф.

— Хорошо. Значит, до пятницы. Будьте здоровы.

— До свиданья.

Крейцкопф ушел. Он не ожидал такого внимательного отношения. Да, но что делать до пятницы, три дня, и где взять еды?

Город неизменно бунтовал жизнью и делом. Был полдень и знойное лето. Крейцкопф купил дешевую газету. Начал с объявлений. «...Требуется инженер... в отъезд... в отъезд...» Нет ничего нужного. Вот: «Требуется конструктор... генераторов...» Не знает детально Крейцкопф этой отрасли. Еще: «Нужен временно шофер для испытания автомобильных моторов новых конструкций на динамику...»

Это идет: Крейцкопф имел два автомобиля (подарки жены в первый год их жизни), ездить умел отлично и любил это занятие.

Крейцкопфа приняли и дали жалованье, к его удивлению, большее, чем он получал в копиях. Предложили прийти в среду с утра на работу в гараж.

Вечер и ночь Крейцкопф просидел в парке на одном месте. Думы о прошлом терзали его.

2. ТРАГЕДИЯ НА ШОССЕ

Утром Крейцкопф пошел на окраину города, в гараж, на место новой службы. Гараж был открыт, но не было заведующего. Разгоралось утро. Крейцкопф курил и боролся со сном.

Наконец пришел заведующий, и Крейцкопфу дали машину: с виду похожа на тип девяностосильных «испаносуиза», но было в ней что-то иное: диаметр колес

увеличен и радиатор — полукруглый. Мотор был запломбирован. В отдельном ящике, тоже на пломбе, стояли все нужные саморегистрирующие приборы.

Крейцкопф выехал. Машина шла мягко и тянула бесшумно, несмотря на неразогретый мотор. Вместо пассажиров был положен мертвый груз.

Крейцкопфу дали задание: сделать сегодня до обеда триста километров по счетчику и возвратиться после этой дистанции.

Шоссе лежало пустым, Крейцкопф воткнул четвертую скорость, дал газ до отказа и полетел кирпичом. Таксометр показывал сто четыре километра. Но мотор разогревался и усиливал тягу. Сто восемнадцать километров... Мимо несся ветер в это тихое утро. Кругом распласталась природа. Вдалеке дымились трубы крематория.

Успокоенный, забывший горе своего сердца, Крейцкопф набирал скорость. Сто сорок три километра... Дорога безлюдна, мертво наше прошлое, а навстречу — ветер, путь и восходящая стрелка измерителя скорости.

Вдруг показалась корова. Крейцкопф срулил мимо без тормоза. Дальше шел небольшой поворот, машину немного занесло от скорости. Крейцкопф выключил конус и в метре от машины заметил курчавую головку ребенка...

Крейцкопф рванул налево руль и повел ручным тормозом до отказа. Машина затряслась, запылила вывернутая мостовая, но ребенка ударило правым фонарем, и голова его расселась по черепным швам. Густая кровь залила его рубашечку, неповрежденные глаза полуприкрылись длинными ресницами, и пухлые алые губы сложились бантиком, который теперь никогда не развяжется.

Крейцкопф оледенел от рвущего тело страдания, он крикнул, выпрыгнул из автомобиля и припал к трупку ребенка, терзаясь и борясь с обступившей его темнотой отчаяния. Кругом было молчаливо, мотор потух, и город вдали ровно шумел.

Крейцкопф встал, поднял на руки ребенка и положил его в автомобиль. Это был мальчик, на фуражке его было написано «Океан». Кровь запеклась и остановилась. Мальчику было лет пять.

Крейцкопф тронул машину и тихо поехал, ища глазами мать, обходя выбоинки, чтобы не трясти трупик.

Но не было никого. И Крейцкопф погнался, сбросив фуражку, резко подкидывая стрелку таксометра,— и слезы текли по его лицу, смешанные с пылью, грязными струями. Он рыдал, налегая грудью на руль. Трупик ребенка свалился с сиденья на пол и там шевелился от тряски, словно в конвульсиях.

Крейцкопф свернул на проселок и скоро остановил машину. У межевого столба была яма. Он слез с трюпиком и положил его в готовую могилу. Лицико ребенка уже сморщилось, не совсем прикрытые глаза побелели и закатились. Крейцкопф набрал воды из радиатора и обмыл его начисто, потом тихо поцеловал в чистые губы, и горячие слезы снова омыли его лицо.

— Я тебя не забуду никогда, милый, теплый ты мой...— шептал Крейцкопф, и горе горело в нем жгучим костром. Он отрезал пучок светлых волос и взял их себе вместе с шапочкой «Океан», потом засыпал могилу при помощи автомобильного инструмента. Засыпав яму, он затосковал по мальчику так, что захотел его откопать.

— Я искуплю тебя, милый,— прошептал он и пошел к машине.— Что Эрна! Тут будет теперь моя вечная нежность!

Крейцкопф заметил местность могилы и поехал. Он ехал медленно, прижимая рукой к рулю круглую шапочку «Океан» с прядью гонимых русских волос.

Вернувшись в гараж, Крейцкопф взял аванс под жалованье и ушел в город. Он купил вечернюю газету, желая найти имя мальчика, и нашел его: «Родители умоляют... ушел из дому в шесть часов утра... звать Гога... четыре с половиной года, русский, очень ласковый, фуражечка с надписью «Океан»... свекловичное хозяйство Ромпа... директору Фемм...»

— Гога Фемм,— шептал Крейцкопф.— Но что же мне делать, ведь мать его умрет, если я сообщу, что он раздавлен!..

Пришла пятница. Крейцкопф защищал в Центральном Научно-Техническом Комитете свой проект и защищал его. Он спорил и бился отчаянно, и мертвый мальчик стоял в его памяти.

Проект получил визу Комитета и пошел в правительство. Не раньше чем через месяц станет известным результат.

Крейцкопф по-прежнему обкатывал машины, убивая вечера в кино и в бесцельных шатаниях по кипящим улицам.

Раз он получил письмо от Эрны, каким-то путем узнавшей его адрес: «Петер, я вышла замуж за инженера Нимта. Мы с мужем уезжаем до Нового года в Брюссель. Хотела бы иногда тебя видеть, как друга. Прошлого не изгладишь сразу. Мы будем в столице с 20-го по 25 августа. Жить будем в «Майоне». Я слышала, ты не очень счастлив, служишь шофером. С твоего разрешения, я могу попросить мужа устранить препятствия, мешающие твоей карьере. Ведь ты чрезвычайно одаренный человек, я это знаю. Отвечай мне в Карбо-морт. Эрна».

Крейцкопф ничего, конечно, ей не ответил.

Шли недели. Крейцкопфа ценили на новой службе, и раз он участвовал на официальных гонках, где выиграл второй приз.

Наконец его вызвал Комитет. От правительства пришел ответ: деньги по смете будут отпущены в два года равными долями, к работам можно приступать, все результаты исследования межпланетного пути и Луны поступают в собственность правительства.

3. КАТАСТРОФА ПРИ ПОСТРОЙКЕ

Крейцкопф ликовал. Он съездил на могилу мальчика, где увидел, что холм порос лебедой, что поле глухо... что сердце его обрастает салом забвения. Дорогой он плакал и рвал сухие колосья. Однако, не имея никого из близких, не зная друга, он дал телеграмму в Брюссель: «Эрна, бомба будет брошена через два года, строю».

Эрна ответила: «Радуюсь, жму крепко руку».

Всю жизнь не видел Крейцкопф такой удачи. И не мог сдержать себя: он пел в своей комнате странным голосом путанные песни и ходил в пивную с шоферами.

Началась постройка. На плацдарме, открытом всему небу, бутили фундамент под электромотор в сто двадцать тысяч лошадиных сил, под трансмиссионное устройство и под опорный подшипник-подпятник кидающего диска. Одновременно велось ответвление от ближайшей магистрали высокого напряжения для питания электродвигателя и ставился трансформатор.

Крейцкопф был вне себя от энергии, кипевшей в нем, как в паровозе. Он бы построил всю систему сооружений для развития в «лунной бомбе» летной живой силы в полгода, но план финансирования был растянут на два года.

Самый снаряд строился Машиностроительным Трестом Монте-Монд, и его должны были закончить через пять месяцев.

Но черный случай шел вслед Крейцкопфу: при взрывных работах в котловане опорного подшипника сорок рабочих, из них пять лучших в стране специалистов, были убиты электрическим током, как констатировала особо назначенная комиссия. Но тока жизнеопасного напряжения на месте работ не было. Это точно установила техническая экспертиза. Однако сорок трупов были обернуты в грубый холст и отвезены к семьям на пяти грузовиках.

Работа остановилась. Крейцкопф молчал и не принимал никаких шагов снова наладить постройку. В нем физически явственно разрушалось сердце. Он нечаянно умертвил рабочих. Крейцкопф раньше пробовал свой метод в копиях, правда, в отсутствие людей,— и горные породы превращались в тонкий прах.

Метод состоял в том, что в материю, подлежащую превращению из минералов в пыль, направлялись электромагнитные волны таких периодов и такой длины, что они совпадали с естественным колебанием электронов атомов материи. Эти искусственные волны раскачивали, усиливали электронный пульс атомов, и атом разрывался, частью превращаясь в неизвестный, неощутимый газ, частью в легкую пудру.

Зная (теоретически точно) безвредность электромагнитных волн такой структуры для человека, Крейцкопф, ничего не говоря, пустил в действие свой аппарат в направлении котлована. И он посеял смерть среди людей.

Странно, что следователь не обнаружил в Крейцкопфе преступника: его томящееся сердце было видно на его лице и в его глазах.

Работы возобновились, но шли тихо, и Крейцкопф не торопил производителей работ. Но скоро снова вышла заминка, где Крейцкопф был ни при чем: в финансовой части работ обнаружился крупный хищник кассир и начальник части скрылись. Крейцкопфа обви-

нили в административной халатности и даже, по какому-то грязному доносу, в соучастии.

Крейцкопф не защищался. Работы приостановили. Правительство назначило Особую техническую комиссию для пересмотра всего проекта, а Крейцкопф был судим и приговорен к одиночному заключению на год.

4. ИЗОБРЕТАТЕЛЬ В ТЮРЬМЕ

Очутившись в камере, Крейцкопф опомнился. Долгие недели он лежал на койке и думал. Лето догорало, падал лист, Эрн была в Брюсселе, Гога Фемм в могиле, те сорок — тоже прах. Впереди одна мертвая мечта — лунный полет.

Крейцкопф заболел какой-то кишечной болезнью. Его перевели в тюремную больницу. Неслышно, в туфлях, по опавшим листьям, ступала осень в природе.

Выздоровливая, Крейцкопф гулял по коридору на третьем этаже больницы. Коридор кончался открытым окном в тихий парк; там пели поздние птицы.

Крейцкопф подошел к раскрытому окну и долго рассматривал тающий сумеречный воздух и агонию растительного мира, потом сразу, без разбега, кинулся в окно. Его арестантская фуражка слетела с головы, а халат накрыл и его и часового, на которого упал Крейцкопф. Вонзившись в неожиданное мягкое тело, Крейцкопф захлебнулся своей кровью, хлынувшей из треснувших легких, но понял, что остался жив. Часовой лежал под ним мертвый, с ногами, упертыми в собственную голову, сломанный пополам в сиденье.

Крейцкопфа осудили вновь за побег, за убийство часового и приговорили к восьми годам, по совокупности с прежним преступлением. Крейцкопф не мог доказать, что он искал не вольной жизни, а тесной могилы.

Время стало мутным и неистощимым: шли дни, как годы, шли недели, медленно, как поколения. Крейцкопф был обречен. Он выработал искусство не думать, не чувствовать, не считать времени, не надеяться, почти не жить: стало легче на одну нитку.

Ассоциация инженеров его страны запросила правительство о возможности досрочного освобождения Крейцкопфа для продолжения постройки «лунной бомбы». Правительство предложило подождать заключения

Особой технической комиссией по пересмотру проекта в целом.

Лег снег. Крейцкопф разлагал в себе мозг, мертвел и дичал. Особая комиссия закончила свои работы: проект верен, и если бомба не встретит на пути к Луне блуждающих метеоритов, снаряд способен достичь лунной периферии и возвратиться; предвидеть же все случайности межпланетного пути абсолютно невозможно. Особая комиссия позволила себе вынести мнение о Крейцкопфе как о человеке исключительного технического творческого дара и огромных познаний.

Правительство согласилось освободить Крейцкопфа под поручительство Ассоциации инженеров. Страна удовлетворилась решением правительства. Все считали, что в Крейцкопфе редкий гений соединен со страшным антисоциальным существом, убийцей и темным бродягой, но что все же дать ему кончить «лунную бомбу» следует. Общественным мнением руководило не сострадание, а любопытство.

Крейцкопфа выпустили. Он долго приспособлялся и трудно вспоминал когда-то привычное.

Работы возобновились. Крейцкопф вел теперь узкотехническую, конструкторскую работу. Главным инженером было другое лицо — инженер-электрик Нимт, второй муж Эрны. Нимт вошел в доверие правительства и Ассоциации инженеров и теперь делал карьеру на модном деле Крейцкопфа.

Крейцкопф не имел способности правильно и с тактом относиться к окружающим вещам. Он отнесся ко всем переменам равнодушно: его интересовало только дело лунных изысканий, и он вел свою работу ровно, усердно и автоматически. В нем развилась сонливость, и он все неслужебные часы спал дома один. Одиночество после тюрьмы стало его страстью, и он тяготился людьми на службе и не бывал в городе. Нимт вел себя с ним корректно, но оставался чужим и неясным.

Эрны на постройке не было ни разу: Нимт и она жили в городе.

5. В СТОЛИЦЕ МЕТАЛЛУРГИИ

Снаряд был наконец готов. Долго не удавалась совершенно точная установка метательного диска: диск должны были установить под некоторым углом к гео-

метрической поверхности земного шара, и этот угол нужно было соблюсти с предельной тщательностью: угол наклона диска определял путь полета «лунной бомбы».

Весной работы были приостановлены на пять месяцев: надо было дожидаться нового бюджетного года и второй половины кредитов, ибо средства этого года были исчерпаны.

Нимт уехал с Эрной за границу, в Киссинген. Крейцкопф получил отпуск на все время до возобновления работ с сохранением содержания.

Он поехал на знаменитые электрометаллургические заводы в Стуасепте. Его интересовали опыты этих заводов по извлечению глубоких железных руд в предгорьях Алдагана.

Правление заводов дало Крейцкопфу рекомендательное письмо к главному инженеру на Алдаган, и он отправился. Ехать нужно было четыре тысячи километров. Крейцкопф поехал по железной дороге. Поезд вел не паровоз, а газовоз, сменивший собой недолго проживший тепловоз.

Газовоз представлял собою газовый двигатель на колесах. Все нижнее ходовое устройство было как у паровоза, но в цилиндрах работал не пар, а сжатый воздух: передача энергии газогенераторного двигателя к ведущим колесам была пневматическая. Газовоз был самый дешевый транспортный двигатель; он работал на газе каменного угля, дров, торфа, соломы, сланца, бурых и малогорючих углей и на всех тлеющих отбросах, из которых только можно выгнать силовой газ.

Газовоз возил с собою на прицепке два вагона-аккумулятора, где в сильно сжатом состоянии помещался газ, которым питался двигатель газовоза. Через каждые триста-четыре сотни километров стояли маленькие газовые заводы, которые производили газ из местного подножного дешевого топлива. С этих заводов забирали газ газовозы, как раньше паровозы забирали воду из водонапорных баков водокачек.

Против паровоза газовоз вез дешевле в четыре раза.

Крейцкопфа заинтересовали эти быстро вошедшие в транспорт машины, и он с радостью наблюдал из окна, как бодро и мощно берут газовозы крутые подъемы без всякой потери скорости.

Уже год минул с тех пор, как Крейцкопф приехал в

первый раз в столицу. Стояло новое лето. Зной гудел в полевых пространствах,—тяжелый труд сельского хозяйства упорно боролся с ним за влажность трав, за сытость больших городов, а также за лунный полет.

Крейцкопф заметно поседел, состарился и потерял детский интерес к ненужным вещам. Он чувствовал, что идет на убыль,—еще осталось немного лет, и скроется от него жизнь, как редчайшее событие.

Крейцкопф хотел бы друга, душевного негромкого разговора и простой теплоты, невинно говорящей о родственности и сочувствии людей друг к другу. Но он жил в сумрачном сне, его уважали и его чуждались. Его считали необыкновенным — и в гениальности и в преступлении, а Крейцкопф был обычным и простым человеком. Ему были чужды и ненавистны отвлеченности и холодные вершины. Он любил горячее действие, а не вышнее созерцание.

На вторые сутки поезд вошел в страну страшных подъемов и уклонов: это были предгорья великой Алдаганской системы, поднявшейся из глубины тропического моря и исчезающей в ледяных пучинах Арктического океана.

Станция Стуасепт — и в километре от нее столица металлургии: директория железорудной промышленности, горная академия, правление электрометаллургических заводов и гидроэлектрическая силовая установка в миллион киловатт.

Крейцкопф сразу поехал на место работ по извлечению глубоких руд. Администрация работ встретила его просто и душевно: горные инженеры имели перед собой первоклассного техника другой области практики, и только.

Известно, что добывание железной руды с трехсотметровой глубины не может экономически оправдываться, здесь же опытным путем хотели доказать иное. Электромагниты, питаемые током в сотни тысяч лошадиных сил от гидравлической установки, были направлены полюсами в подземные районы залегания железных руд.

Гигантские массивы руды с завыванием и грохотом, похожим на громы землетрясения, прорывали оболочку земли и вылетали на дневную поверхность, стремясь к полюсу электромагнита. В момент разрыва рудой последнего почвенного покрова особым автоматом в

электромагните прерывался ток и сам электромагнит отводился в сторону. И глыбы руды вырывались из недр с горячим ветром, накаленные трением о встречные породы, и, взлетев на сотню метров, падали на материнскую землю, слегка зарываясь.

Лебедка-самоход поднимала куски руды шипцовым ковшом, окунала в пруд для охлаждения и подвозила к конвейеру. Конвейер подавал руду к домнам.

Несмотря на огромную силу, нужную, чтобы вырвать руду из недр электромагнитом, сила эта тратилась лишь несколько мгновений, и потом — электромагниты питались током, добытым из энергии падающей подпертой воды. Поэтому глубокая руда обходилась не дороже мелко залегающей руды, добываемой обычным способом. И было что-то чудовищное и неестественное в том, что из-под земли вылетал металл, скрежеща и тоскуя на пути.

Вечером Крейцкопф обедал у производителя работ по магнитной добыче руды, инженера Скорба. Пожилой спокойный человек, один из конструкторов мощных добывающих электромагнитов, Скорб имел тихий нрав и лютую работоспособность. Скорб был одинокий: его семья — жена и две дочери — утонули в весеннем паводке горной реки двадцать лет назад. Скорб потом отомстил этой реке: он построил на ней регуляционные сооружения, сделавшие невозможными никакие паводки. И с тех пор Скорб живет один, если не считать тысячи электриков, слесарей, монтеров и горнорабочих, сплошных друзей Скорба.

Переночевав у Скорба, Крейцкопф уехал в столицу.

Снова зачихал газовоз и забормотали колеса. Пышное лето плыло в вечном сиянии солнца.

6. ПОЛЕТ «ЛУННОЙ БОМБЫ»

Приехав домой, на мертвую постройку, Крейцкопф не знал, чем ему заняться: до начала работ оставалось не менее четырех месяцев. И он нечаянно занялся чтением: купил раз книжку в палатке у древней стены, пришел домой, зажег свет, открыл книгу, а там значилось:

Я — родня траве, и зверю,
И сгорающей звезде;
Твоему дыханью верю
И вечерней высоте...

Дальше шли скучные слова, а потом опять:

Я не мудрый, а влюбленный,
Не надеюсь, а — молю.
Я теперь за все прощенный,
Я не знаю, а люблю.

Очарование смутной мысли, мысли, смешанной с горячим и скорбным чувством, охватило всего Крейцкопфа. И он читал и читал, пока комната стала желтой от зари и электричества. Он подкупил днем еще десятка полтора книг, заинтересовываясь лишь их названиями; это были: «Путешествие в смрадном газе» Бурбара, «Голубые дороги» Вогулова, «Зенитное время» Шотта, «Антропоморфная революция» Зага-Заггера, «Лунный огонь» Феррента, «Антисексус» Беркмана, «Всегда ли была и будет история и что она такое наконец в самом деле?» — философия Горгонда, — и несколько других.

Крейцкопфа поразила книжный мир. Он никогда не имел времени для чтения. И он мыл и промывал свой мозг, затесненный страданием, однообразным трудом и глухою тоскою. Он увидел совсем новых людей — мрачных, горячих, подвижных, ревуших страстью и восторгом, гибнущих в просторе мысли, торжествующих на квадратном метре в каменной нише в стене, ищущих праведную землю и находящих пустыню, бредущих по песку и набредающих на воду, уходящих в страны изуверов, меняющих тепло дома на ветер ночного пути...

Люди шли перед Крейцкопфом не как масса, а как странники, нищие, как бродяги, бредущие с завязанными глазами. Крейцкопф неожиданно отметил: литература не знает счастья, а самое счастье, где оно есть, лишь предсказывает близкую беду и землетрясение души.

В стране Крейцкопфа уже собирали урожай. Горела солома в топках локомотивов в полях и молотила хлеб. Падая с деревьев, и его жевали козы. Глотали ягоды змеи, и на деревьях от них трепетали птицы. Множество детей народилось от урожая, и появились хорошие писатели. Строились фабрики тонких сушек, и заготавливались на зиму впрок фрукты и овощи.

Настал новый бюджетный год. Управлению Строительства Лунного Полета отпустили вторую половину сметной стоимости работ.

Крейцкопф, Нимт и пятьсот строителей занялись делом.

Недели за неделями шли в истощающем труде, — труде, где требовалась необычайная точность и где от каждой нитки гаечной резьбы зависело завоевание Луны.

Кидающий диск был закончен. «Лунная бомба» давно готова. Электродвигатель, передачу и все измерители и автоматы установили. Осталось оборудовать самый снаряд всеми приборами наблюдения и фиксации.

Это пошло быстро. Строительное Управление было ликвидировано и заменено Научным Бюро Лунных Изысканий. Во главе его стал известный астрофизик, академик Лесюрен, а Нимт остался его заместителем по технической части. Крейцкопф значился по-прежнему конструктором.

Временем отлета Бюро установило 19—20 марта, точная астрономическая полночь. В это время Луна находилась в наивыгоднейшем для прицела положении. В полночь на 20 марта автомат отцепит снаряд от вращающегося диска, и «лунная бомба» улетит по направлению к нашему спутнику, а через восемьдесят один час возвратится вновь на Землю и сядет близ города Коротанга.

Газеты в погоне за сенсацией писали о полете такие подробности, что и Лесюрен и Нимт сначала усердно помещали поправки информационных сообщений печати, а потом бросили: газеты-де вовсе не созданы для новостей и точной информации, они — привычка людей, некое курево утомленного мозга.

На место отправления «лунной бомбы» съезжался «весь свет». Правительство не хотело лишних затрат и ограничилось постройкой огромного цирка вокруг сооружения.

Крейцкопф задумался. Истекало 10 марта: день полета близок. Если прибавить в «бомбу» аппараты для производства кислорода и поглощения углекислоты, то можно лететь и человеку; ведь и полет будет длиться всего восемьдесят один час.

Крейцкопф написал заявление в Научное Бюро Лунных Изысканий о своем желании лететь к Луне в «бомбе» и подробно изложил пользу от такого дополнения «бомбы» живым человеком.

Бюро переслало заявление Крейцкопфа правительству; то отказало. Крейцкопф написал второе заявление: «Правительством не был куплен у меня патент на изобретение «лунной бомбы», детали конструкции до сих пор известны только мне, Крейцкопфу, я не даю согласия напуск моего изобретения в действие, да без меня практически его и не сумеют как следует пустить в ход: я, Крейцкопф, отказываюсь также от всякого денежного вознаграждения, я заменяю свое вознаграждение возможностью лететь в «бомбе».

По существовавшим патентным законам этой страны Крейцкопф был совершенно прав. Он создал безвыходное положение для правительства, и оно разрешило ему сесть в «лунную бомбу».

Известие о полете Крейцкопфа в «лунной бомбе» поразило общество. Но потом решили: эффектный жест самоубийцы. 19 марта в восемь часов вечера Крейцкопф сел в «бомбу». Посадка его и укупорка всего снаряда была исполнена в мастерских, после чего снаряд сразу был подан на диск. Этим действием Крейцкопф отвел от себя внимание публики. В десять часов весь цирк, вплоть до последних амфитеатров, был полон.

Было пышное освещение, музыка, продавали воды, квас и мороженое, дежурили таксомоторы, — обычное окружение редкого события.

За три минуты до точной полуночи диску дали обороты. Электродвигатель ревел, пять гигантских вентиляторов прогоняли сквозь гудящий, греющийся мотор целые облака холодного воздуха, — и воздух вылетал оттуда сухим, жестким и раскаленным, как смерч пустыни. Масло в аппаратах охлаждалось ледяными струями из центробежных насосов, и все же едкий дым стоял вокруг диска и всего сооружения: подшипники грелись сверх меры, масло горело во льду.

Диск, несмотря на точную установку и совершенный монтаж, грохотал, как канонада и извержение вулкана: так велико было число его оборотов. Периферия диска дымилась — она горела от трения о воздух.

Нимт холодел от ужаса: малейший отказ ничтожного автомата в этот миг повлечет неслыханную катастрофу: диск работает в окружении сотен тысяч живых зрителей...

Измеритель показывал уже нужное для полета чис-

ло оборотов: 946 000 в минуту. До отрыва снаряда от диска оставалось полсекунды. Астрономические часы автоматически на двадцати четырех часах замкнул ток, управляющий автоматом на диске. Этот автомат освободит от диска «бомбу», и она полетит за счет живой силы, накопленной ею в бытность на диске.

Нимт закрепил регулятор числа оборотов: необходимая вычисленная скорость дана.

Сразу засияли на плацдарме солнечные прожекторы: сигнал, что «бомба» улетела. Момент отлета никто не заметил. Начальная скорость полета снаряда была непостижимо велика, и этот разлом природы техническим гением человека не поддается чувству.

Диск продолжал вращаться по инерции, уже разомкнутый Нимтом от ведущей муфты. Только через четыре часа удалось его остановить, применив всю силу мертвой хватки магнитных тормозов.

Из зрителей оглохло около пятнадцати тысяч человек, еще у десяти тысяч произошли какие-то нервные контузии: никто не ожидал увидеть в форме технического сооружения дикую страстную стихию, ревущую, как светопреставление.

7. ВЕСТИ ИЗ МЕЖПЛАНЕТНОГО ПРОСТРАНСТВА

На «лунной бомбе» было установлено радио особой конструкции. По этому радио должны были получаться от Крейцкопфа ежечасные, примерно (Крейцкопф не мог иметь часов), сообщения, и по волне же этого радиоаппарата можно с Земли определять межпланетное положение «бомбы».

Всю информацию от Крейцкопфа получало Бюро Лунных Изысканий в лице Лесюрена, и им же лично производились все расчеты по положению «бомбы» и осуществлялась вся слежка за ней.

Журналисты зарабатывали на экстренных выпусках и превращали деньги в пиво. Однако в первый же день после отлета одна газета дала статью о Крейцкопфе — «В поисках могилы», где обрекались на гибель и «лунная бомба», и Крейцкопф.

Вот сообщения Крейцкопфа из межпланетного пространства по порядку:

«1. Нечего сообщить. Приборы показывают угольно-черное небо. Звезды неимоверной силы света. Было сла-

бое трение снаряда обо что-то: приборы не обнаружили причину. Чувствую свободу. Читаю случайно взятую книгу — «Барский двор» Андрея Новикова, интересное сочинение».

«2. Мимо «лунной бомбы» прошло много синего пламени. Причин не имею. Температура не повысилась».

«3. Полет продолжается. Никакого движения, конечно, не чувствую. Приборы, аппараты, автоматы исправны. Передайте привет Скорбу на Алдаган».

«4. На мою «бомбу» падает Луна. Мелкий болид пронесся параллельно снаряду в одном направлении. «Лунная бомба» его обогнала».

«5. «Бомба» идет резкими толчками. Странные силы скручивают ее путь, бросают по ухабам и заставляют сильно нагреваться, хотя кругом должен быть эфир».

«6. Толчки усиливаются. Я чувствую движение. Приборы звенят от тряски. Ландшафт вселенной похож на картины давно умершего художника Чюрлёниса,— в космическом океане кричат звезды».

«7. Качка продолжается. Звезды физически гремят, несясь по своим путям. Конечно, их движение вызывает раздражение электромагнитной среды, а мой универсальный радиоприемник превращает волны в песни. Передайте, что я у источников земной поэзии: кое-кто догадывался на Земле о звездных симфониях и, волнуясь, писал стихи. Скажите, что звездная песня существует физически. Еще передайте: здесь симфония, а не какофония. Поднимите возможно больше людей на межпланетных бомбах на небо,— здесь страшно, тревожно и все понятно. Изобретите приемники для этого звездного звона».

«8. Полет спокоен, тряски нет. Половина пространства занята фиолетовыми лучами, льющимися, как влага. Что это, не знаю».

«9. Я обнаружил кругом электромагнитный океан».

«10. Нет никакой надежды на возвращение на Землю, лечу в синей заре. Приборы фиксируют напряжение среды в восемьсот тысяч вольт».

«11. Луна надвигается. Напряжение два миллиона вольт. Мрак».

«12. Пучина электричества. Приборы расстроились. Фантастические события. Солнце ревет, и малые кометы на бегу визжат: вы ничего не видите и не слышите через слюду атмосферы».

«13. Тучи метеоров. По блеску — это металл, по электромагнитным влияниям — тоже. На больших метеорах горят свечи или фонари, горят мерцающим светом. Здесь я ничего не видел дрожащего».

«14. Среда электромагнитных волн, где я нахожусь, имеет свойство возбуждать во мне мощные, неудержимые бесконтрольные мысли. Я не могу справиться с этим нашептыванием. Я не владею больше своими мозгами, хотя сопротивляюсь до густого пота. Но не могу думать, что хочу и о чем хочу,— я думаю постоянно о незнакомом мне, я вспоминаю события, разрывы туч, лопающееся солнце,— все я вспоминаю, как бывшее и верное, но ничего этого не было со мной. Я думаю о двух явственных субъектах, ожидающих меня на суровом бугре, где два гнилых столба, а на них замерзшее молоко. И мне постоянно хочется пить и экономить свои консервы. Я ем по рыбке, а съесть хочу акулу. Постараюсь победить эти мысли, рождающиеся из электричества и вонзающиеся в мой мозг, как вши в спящее тело».

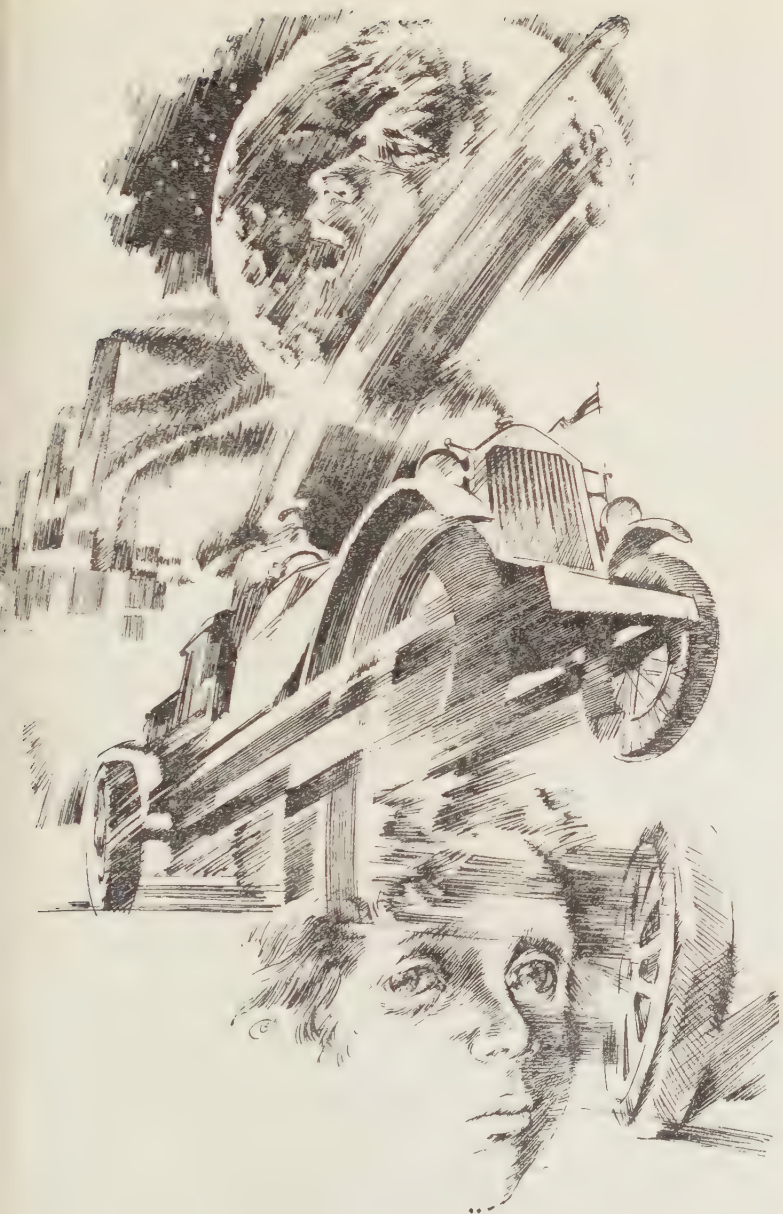
«15. Только что вернулся с отвесных гор, где видел мир мумий, лежащий в небрежной траве... (Сигналы не поняты. — *Примечание академика Лесюрена.*) Все ясно: Луна в ста километрах. Влияние ее на мозг ужасающее,— я думаю не сам, а индуцируемый Луной. Предыдущего не считайте здравым. Я лежу бледным телом: Луна непрерывно питает меня накаленным добела интеллектом. Мне кажется, мыслит и снаряд, и радио бормочет внятно само собой».

«16. Луна проходит мимо в сорока километрах: пустыня, мертвый минерал и платиновый сумрак. Движусь мимо медленно, не более пятидесяти километров в час по глазомеру».

«17. Луна имеет сотни скважин. Из скважин выходит редкий зеленый или голубой газ... Я уже овладел собой и привык».

«18. Из некоторых лунных скважин газ выходит вихрем: стихия это или разум живого существа?.. Разум, наверное; Луна — сплошной и чудовищный мозг».

«19. Не могу добиться причин газовых извержений: я, кажется, открою люк своей бомбы и выпрыгну, мне будет легче. Я слепну во тьме снаряда, мне надоело видеть разверстую вселенную только в глазки приборов».



«20. Иду в газовых тучах лунных извержений. Тысячелетия прошли с момента моего отрыва от земного шара. Живы ли те, кому я сигнализирую эти слова, слышите ли вы меня?.. (С момента отлета Крейцкопфа прошло девятнадцать часов.— *Примечание акад. Лесюрена.*)»

«21. Луна подо мной. Моя «бомба» снижается. Скважины Луны излучают газ. Я не слышу больше звездного хода».

«22. Скажите же, скажите всем, что люди очень ошибаются. Мир не совпадает с их знанием. Видите или нет вы катастрофу на Млечном Пути; там шумит поперечный синий поток. Это не туманность и не звездное скопление...»

«23. «Бомба» снижается. Я открываю люк, чтобы найти исход себе. Прощайте».

КОНЧИНА КОПЁНКИНА

Вечером в степи начался дождь и прошел краем мимо Чевенгура, оставив город сухим; Чепурный этому явлению не удивился, он знал, что природа не мочит город в ненужное время. Однако целая группа прочих, вместе с Чепурным и Пиюсей, пошла в степь осмотреть мокрое место, дабы убедиться. Копёнкин же поверил дождю и никуда не пошел, а отдыхал с Двановым близ кузницы на плетне. Копёнкин плохо знал пользу разговора и сейчас высказывал Дванову, что воздух и вода дешевые вещи, но необходимые; то же можно сказать о камнях — они также на что-нибудь нужны. Своими словами Копёнкин говорил не смысл, а расположение к Дванову; во время же молчания томился.

— Товарищ Копёнкин,— спросил Дванов,— кто тебе дороже — Чевенгур или Роза Люксембург?

— Роза, товарищ Дванов,— с испугом ответил Копёнкин.— В ней коммунизма было побольше, чем в Чевенгуре, оттого ее и убила буржуазия, а город цел, хотя кругом его стихия...

У Дванова не было в запасе никакой неподвижной любви, он жил одним Чевенгуром — и боялся его истратить; он существовал одними ежедневными людьми —

тем же Копёнкиным, Гопнером, Пашинцевым, прочими, но постоянно тревожась, что в одно утро они скроются куда-нибудь или умрут постепенно. Дванов наклонился, сорвал былинку и оглядел ее робкое тело: можно и ее беречь, когда никого не останется.

Копёнкин встал навстречу бегущему из степи человеку. Чепурный молча и без остановки промчался в глубь города. Копёнкин схватил его за шинель и окоротил:

— Ты что спешишь без тревоги?

— Казаки! Кадеты на лошадях! Товарищ Копёнкин, езжай, бей, пожалуйста, а я — за винтовкой!

— Саш, посиди в кузне,— сказал Копёнкин.— Я их один кончу, только ты не вылазь оттуда, а я — сейчас.

Четверо прочих, ходивших с Чепурным в степь, пробежали обратно, Пиюся же где-то залег одиноким образом в цепь — и его выстрел раздался огнем в померкшей тишине. Дванов побежал на выстрел с револьвером снаружи; через краткий срок его обогнал Копёнкин на Пролетарской Силе, которая спешила на тяжелом шагу, и вслед первым бойцам уже выступала с чевенгурской околицы сплошная вооруженная сила прочих и большевиков — кому не хватило оружия, тот шел с плетневым колом или печной кочергой, и женщины вышли совместно со всеми. Сербинов бежал сзади Якова Титыча с дамским браунингом и искал, кого стрелять. Чепурный выехал на лошади, что возила Прокофия, а сам Прокофий бежал следом и советовал Чепурному сначала организовать штаб и назначить командующего, иначе начнется гибель.

Чепурный на скаку разрядил вдаль всю обойму и старался нагнать Копёнкина, но не мог. Копёнкин перепрыгнул на коне через лежащего Пиюсю и не собирався стрелять в противника, а вынул саблю, чтобы ближе касаться врага.

Враги ехали по бывшей дороге. Они держали винтовки поперек, приподняв их руками, не готовясь стрелять, и торопили лошадей вперед. У них были команда и строй, поэтому они держались ровно и бесстрашно против первых выстрелов Чевенгура. Дванов понял их преимущество и, установив ноги в ложбинке, сшиб четвертой пулей командира отряда из своего нагана. Но противник опять не расстроился: он на ходу убрал командира куда-то внутрь построения и перевел коней на

полную рысь. В этом спокойном наступлении была машинальная сила победы, но и в чевенгурцах была стихия защищающейся жизни. Кроме того, на стороне Чевенгура существовал коммунизм. Это отлично знал Чепурный, и, остановив лошадь, он поднял винтовку и опустил наземь с коней троих из отряда противника. А Пиюся сумел из травы искалечить пулями ноги двоим лошадям, и они пали позади отряда, пытаясь ползти на животах и копая мордами пыль земли. Мимо Дванова пронесся в панцире и лобовом забрале Пашинцев — он вытянул в правой руке скорлупу ручной бомбы и стремился взять врага одним умственным страхом взрыва, так как в бомбе не имелось начинки, а другого оружия Пашинцев с собой не нес.

Отряд противника сразу, сам по себе, остановился на месте, как будто ехало всего двое всадников. И неизвестные Чевенгуру солдаты подняли по неслышной команде винтовки в упор приближающихся прочих и большевиков, — и без выстрела продолжали стремиться на город.

Вечер стоял неподвижно над людьми, и ночь не темнела над ними. Враг гремел копытами по целине, он загораживал от прочих открытую степь — дорогу в будущие страны света, в исход из Чевенгура. Пашинцев закричал, чтобы буржуазия сдавалась, и сделал в пустой бомбе перевод на зажигание. Еще раз была произнесена в наступающем отряде неслышная команда — винтовки засветились и потухли, семеро прочих и Пашинцев были снесены с ног, а еще четверо чевенгурцев старались вытерпеть закипевшие раны и бежали убивать врага вручную.

Копёнкин уже достиг отряда и вскинул Пролетарскую Силу передом, чтобы губить банду саблей и тяжестью коня. Пролетарская Сила опустила копыта на туловище встреченной лошади, и та присела с раздробленными ребрами, а Копёнкин дал сабле воздушный разбег и помог ей всею живой силой своего тела, чтобы рассечь кавалериста прежде, чем запомнить его лицо. Сабля с дребезгом опустилась в седло чужого воина и с отжогом отозвалась в руке Копёнкина; тогда он ухватил левой рукой молодую рыжую голову кавалериста, освободил ее на мгновение для своего размаха и тою же левой рукой сокрушил врага в темя, а человека сбросил с коня в землю. Чужая сабля ослепила Ко-

пёнкину глаза: не зная, что делать, он схватил ее одной рукой, а другой отрубил руку нападавшего вместе с саблей и бросил ее в сторону вместе с грузом чужой, отбитой по локоть, конечности. Тут Копёнкин увидел Гопнера, тот бился в гуще лошадей наганом, держа его за дуло; от напряжения и худобы лица или от сеченых ран кожа на его скулях и близ ушей полопалась, оттуда выходила волнами кровь; Гопнер старался ее стереть, чтобы она не щекотала ему за шеей и не мешала драться. Копёнкин дал ногой в живот всаднику справа, от которого нельзя проехать к Гопнеру, и только управился дать коню толчок для прыжка, иначе бы он задалвил уже зарубленного Гопнера.

Копёнкин вырвался из окружения чужих, а с другого бока на разъезд противника напоролся Чепурный и неся на плохой лошади сквозь мечущийся строй кавалеристов, пытаясь убивать их весом винтовки, где уже не было патронов. От ярости одного высокого взмаха пустой винтовки Чепурный полетел долой с лошади, потому что не попал в намеченного врага, и скрылся в чаще конских, топчущихся ног. Копёнкин, пользуясь кратким покоем, пососал левую кровавую руку, которой он схватил лезвие сабли, а затем бросился убивать всех. Он пронизался без вреда через весь отряд противника, ничего не запомнив, и вновь повернул рычащую Пролетарскую Силу обратно, чтобы теперь все задержать на счету у памяти, иначе бой не даст утешения и в победе не будет чувства усталого труда над смертью врага. Пятеро кавалеристов оторвались от состава разъезда и рубили вдалеке сражающихся прочих, но прочие умели терпеливо и цепко защищаться — уже не первый враг загораживал им жизнь. Они били войско кирпичами и разожгли на околице соломенные костры, из которых брали мелкий жар руками и бросали его в морды резвых кавалерийских лошадей. Яков Титыч ударил одного коня горящей головешкой по задку так, что головешка зашипела от пота кожи под хвостом, — и завизжавшая нервная кобыла унесла воина версты за две от Чевенгура.

— Ты чего огнем дерешься?— спросил другой подоспевший солдат на коне.— Я тебя сейчас убью!

— Убивай,— сказал Яков Титыч.— Телом вас не одолеешь, а железа у нас нету...

— Дай я разгонюсь, чтобы ты смерти не заметил.

— Разгоняйся. Уж сколько людей померло, а смерть никто не считает.

Солдат отдалился, взял разбег на коне и срубил стоячего Якова Титыча. Сербинов метался с последней пулей, которую он оставил для себя, и, останавливаясь, с испугом проверял в механизме револьвера—цела ли она.

— Я ему говорил, что убью, и зарубил,— обратился к Сербинову кавалерист, вытирая саблю о шерсть коня.— Пускай лучше огнем не дерется!

Кавалерист не спешил воевать — он искал глазами, кого бы еще убить и кто был виноват. Сербинов поднял на него револьвер.

— Ты чего?— не поверил солдат.— Я ж тебя не трогаю!

Сербинов подумал, что солдат говорит верно, и спрятал револьвер. А кавалерист вывернул лошадь и бросил ее на Сербинова. Симон упал от удара копытом в живот и почувствовал, как сердце отошло вдаль и оттуда стремилось снова пробиться в жизнь. Сербинов следил за сердцем и не особо желал ему успеха: ведь Софья Александровна останется жить, пусть она хранит в себе след его тела и продолжает существование. Солдат, нагнувшись, без взмаха разрезал ему саблей живот, и оттуда ничего не вышло — ни крови, ни внутренностей.

— Сам лез стрелять,— сказал кавалерист. — Если бы ты первый не спешил, то и сейчас остался бы.

Дванов бежал с двумя наганами, другой он взял у убитого командира отряда. За ним гнались трое всадников, но их перехватили Кирей с Жеевым и отвлекли за собой.

— Ты куда? — остановил Дванова солдат, убивший Сербинова.

Дванов без ответа сшиб его с коня из обоих наганов, а сам бросился на помощь гибнущему где-то Копёнкину. Вблизи уже было тихо — сражение перешло в середину Чевенгура, и там топали лошадиные ноги.

— Груша!— позвал в наступившей тишине поля Кирей. Он лежал с рассеченной грудью и слабой жизнью.

— Ты что?— подбежал к нему Дванов.

Кирей не мог сказать своего слова.

— Ну, прощай,— нагнулся к нему Александр.— Давай поцелуемся, чтобы легче было.

Кирей открыл рот в ожидании, а Дванов обнял его губы своими.

— Груша-то жива или нет? — сумел произнести Кирей.

— Умерла,— сказал ему Дванов для облегчения.

— И я сейчас помру, мне скучно начинается,— еще раз превозмог сказать Кирей и здесь умер, оставив обледенелые глаза открытыми наружу.

— Больше тебе смотреть нечего,— прошептал Александр; он затаил его взор веками и погладил горячую голову.— Прощай.

Копёнкин вырвался из тесноты Чевенгура, в крови и без сабли, но живой и воюющий. За ним шли в угон четыре кавалериста на изнемогших лошадях. Двое приостановили коней и ударили по Копёнкину из винтовок. Копёнкин обернул Пролетарскую Силу и понесся, безоружный, на врага, желая сражаться в упор. Но Дванов заметил его ход на смерть и, присев для точности прицела на колено, начал сечь кавалеристов из своей пары наганов, по очереди из каждого. Копёнкин наскочил уже на кавалеристов, опущенных под стремяна взволнованных лошадей; двое солдат выпали, а другие двое не успели выпростать ног, и их понесли раненые кони в степь, болтая мертвецами под собой.

— Ты жив, Саш?— увидел Копёнкин.— А в городе чужое войско, и люди все кончились... Стой! Где-то у меня заболело...

Копёнкин положил голову на гриву Пролетарской Силы.

— Сними меня, Саш, полежать внизу...

Дванов снял его на землю. Кровь первых ран уже засохла на рваной и рубленой шинели Копёнкина, а свежая и жидкая еще не успела сюда просочиться.

Копёнкин лег навзничь на отдых.

— Отвернись от меня, Саш, ты видишь — я не могу существовать...

Дванов отвернулся.

— Больше не гляди на меня, мне стыдно быть покойным при тебе... Я задержался в Чевенгуре и вот теперь кончаюсь, а Роза будет мучиться в земле одна...

Копёнкин вдруг сел и еще раз прогремел боевым голосом:

— Нас ведь ожидают, товарищ Дванов!— и лег мертвым лицом вниз, а сам стал весь горячий.

Пролетарская Сила подняла его тело за шинель и понесла куда-то в свое родное место на степной, забы-

той свободе. Дванов шел за лошадью следом, пока в шинели не разорвались тесемки, и тогда Копёнкин очутился полуголым, изрытый ранами больше, чем укрытый одеждой. Лошадь обнюхала скончавшегося и с жадностью начала вылизывать кровь и жидкость из провалов ран, чтобы поделить с павшим спутником его последнее достояние и уменьшить смертный гной.

Дванов поднялся на Пролетарскую Силу и тронул ее в открытую степную ночь. Он ехал до утра, не торопя лошади; иногда Пролетарская Сила останавливалась, оглядывалась обратно и слушала, но Копёнкин молчал в оставленной темноте; и лошадь сама начинала шагать вперед.

МУСОРНЫЙ ВЕТЕР

Посвящается тов. Цахову, германскому безработному, свидетелю на Лейпцигском процессе, заключенному в концлагере Гитлера.

Оставьте безумие мое.
И подайте тех,
Кто отнял мой ум.

«Тысяча и одна ночь»

Над землей взошла утренняя заря на небе, и начался новый сияющий день 16 июля 1933 года. Однако к одиннадцати часам утра этот день уже постарел от действия собственной излишней энергии — от жары, от пылящей ветхости почвы, затмившей пространство, от тления всякого живого дыхания, возбужденного греющим светом,— и летний день стал смутным, тяжким и вредоносным для зрения глаз.

Стихия света проникала через большое горячее окно и освещала одинокого спящего на железной кровати, на бедном белье, взволнованном сонными движениями. Спящий человек был не стар, но обыкновенное лицо его давно посерело от напряжения, с которым уснувший добывал себе жизнь, и непроходящее утомленное отчаяние с костяной твердостью лежало в выражении его лица, как часть поверхности человеческого тела.

Было воскресенье. Из другой комнаты квартиры вышла смуглая жена спящего человека, по имени Зельда, родом с Ближнего Востока, из русской Азии. Она с

кроткой тщательностью накинула одеяло на обнажившегося мужа и побудила его:

— Вставай, Альберт. День наступил, я достану чего-нибудь...

Альберт открыл глаза — сначала один глаз, потом другой — и увидел все в мире таким неопределенным и чужим, что взволновался сердцем, сморщился и заплакал, как в детском ужасающем сновидении, когда вдруг чувствуется, что матери нету нигде и вставшие, мутные предметы враждебно двигаются на маленького зажмурившегося человека... Зельда погладила Альберта по лицу, он успокоился, его глаза остановились — чистые, выгоревшие насквозь, глядящие неподвижно, как в слепоте. Он не мог сразу вспомнить, что он существует и что ему надо продолжать жить дальше, он забыл вес и чувство своего тела. Зельда ближе склонилась к нему, увядшая от голода афганка, некогда пышное и милое существо.

— Вставай, Альберт... У меня есть две картошки с ворванью.

Альберт Лихтенберг увидел с ожесточением, что его жена стала животным: пух на ее щеках превратился в шерсть, глаза сверкали бешенством и рот был наполнен слюной жадности и сладострастия; она произносила над его лицом возгласы своего мертвого безумия. Альберт закричал на нее и отогнал прочь. Одеваясь, Лихтенберг видел, как плакала Зельда, улегшись на полу; нога ее заголилась — она была покрыта одичалыми волдырями от неопрятности зверя, она даже не зализывала их, она была хуже обезьяны, которая все же тщательно следит за своими органами.

Альберт взял трость и захотел уйти: он потемнел мыслью, эта бывшая женщина иссосала его молодость, она грызла его за бедность, за безработицу, за мужское бессилие и, голая, садилась верхом на него по ночам. Теперь она зверь, сволочь безумного сознания, а он до гроба, навсегда останется человеком, физиком космических пространств, и пусть голод томит его желудок до самого сердца — он не пойдет выше горла, и жизнь его спрячется в пещеру головы.

Альберт ударил тростью Зельду и вышел на улицу, в южную германскую провинцию. Звонили колокола римской веры, из небольшой уличной церкви выходили белые блаженные девушки с глазами, наполненными

скорее сыростью любовной железы, чем слезами обожания Христа.

Альберт поглядел на солнце и улыбнулся ему, как далекому человеку. Нет, не солнце, не это всемирное сияние энергии, и не кометы, не бродячие черные звезды закончат человечество на земле: они слишком велики для такого небольшого действия. Люди сами затамят и растерзают себя, и лучшие упадут мертвыми в борьбе, а худшие обратятся в животных.

На крыльцо католического храма вышел римский священник, возбужденный, влажный и красный,— посол бога в виде мочевого отростка человека. Затем из церкви появились старухи, эти женщины, в которых кипевшие некогда страсти теперь текли гноем, и в чреве, в его гробовой темноте, истлевали части любви и материнства. Священник благословил с крыльца жаркое пространство и ушел в холодок своей квартиры на церковном дворе.

Мелкие колокола на башне еще продолжали звонить, вознося пропетые молитвы через готическую мучительную вершину храма в неясное небо, затуманенное зноем солнца. Вечные колокола звонили о том же, о чем писали газеты и книги, о чем играла музыка в ночных кафе: «Томись — томись — томись!»

Но уже двадцать лет слышал этот однообразный всемирный звук Альберт Лихтенберг: «Томись!» — и призыв к томлению, к замедлению, к уничтожению жизни все более усиливался,— одно лишь сердце билось невиданно и ясно, как непорочное, как не понимающее ничего.

Альберт сел где-то в городе среди потоков жары; день продолжался над ним с тщательностью пустяка, с точностью государственной казни и с терпением неизвестного милосердия. Лихтенберг потрогал дерево, росшее перед ним. Внимательно и нежно он стал глядеть на это деревянное растение, мучимое тем же томленьем, тем же ожиданием прохладного ветра в этом пыльном, душевном существовании.

— Кто ты?— спросил Лихтенберг.

Ветви и листья склонились к утомленному человеку. Альберт схватил близкую ветвь с той страстью и напряжением одинокого дружелюбия, перед которым вся блаженная любовь на земле незначительна. С дерева упа-



ли мертвые бабочки, но живая моль улетела в сухую пустоту.

Лихтенберг сжал трость в руке; он пошел дальше с яростью своего жесткого сознания, он чувствовал мысли в голове, вставшие, как щетина, прорастающие сквозь кость. В тлеющем, измученном воздухе он увидел площадь города. Большой католический собор, как сонное тысячелетие, как организованное в камень страдание, стоял сосредоточенно и безмолвно, опираясь глубоко в могилы своих строителей. Снизу поднимался мусор: человек сто национал-социалистов, в коричневой прозодежде своего мировоззрения, монтировали памятник Адольфу Гитлеру. Памятник был привезен готовым на грузовике, его отлили из качественной бронзы в Эссене. Другой грузовик, имея кран на своей площадке, сгрузил памятник вниз, а еще четыре грузовых машины одновременно привезли тропические растения в синих ящиках морского цвета. Национал-социалисты трудились, не жалея одежды; их белье прело от пота, кости изнашивались, но им хватало и одежды и колбасы, потому что в тот час миллионы машин и угрюмых людей напрягались в Германии, обслуживая трением металла и человеческих костей славу одного человека и его помощников.

Из центральной улицы города вышла единоклубная толпа — в несколько тысяч человек, толпа пела песнь изнутри своей утробы — Лихтенберг ясно различал бас пищевода и тенор дрожащих кишок. Толпа приближалась к памятнику; лица людей означали счастье: удовольствие силы и бессмыслия блестело на них, покой ночи и пищи был обеспечен для каждого темным могуществом их собственного количества. Они подошли к памятнику, и авангард толпы провозгласил хором приветствие — человеку, изображенному из бронзы, — а затем вступили в помощь работающим, и мусор поднялся от них с силой стихии, так что Лихтенберг почувствовал перхоть даже в своей душе. Другие тысячи и миллионы людей тоже топтали сейчас старую трудную землю Германии, выражая одной своей наличностью радость спасителю древней родины и современного человечества. Миллионы могли теперь не работать, а лишь приветствовать; кроме них, были еще сонмы и племена, которые сидели в канцеляриях и письменно, оптически, музыкально, мысленно, психически утверждали влады-

чество гения-спасителя, оставаясь сами безмолвными и безымянными. Ни приветствующие, ни безмолвные не добывали даже черного хлеба, но ели масло, пили виноградное вино, кормили по одной верной жене. Сверх того, по Германии маршевыми колоннами ходили вооруженные армии, охраняющие славу правительства и порядок преданности ему, — эти колонны немых, сосредоточенных людей ежедневно питались ветчиной, и правительство поддерживало в них героический дух безбрачия, но снабдило пипетками против заражения сифилисом от евреек (немецкие женщины сифилисом сознательно не болели, от них даже не исходило дурного запаха благодаря совершенному расовому устройству тела).

Лихтенберг тоже не трудился — он мучился. Все видимые им людские количества либо погибали от голода и безумия, либо шагали в рядах государственной охраны. Кто же кормил их пищей, одевал одеждой и снабжал роскошью власти и праздности?.. Где живет пролетариат? Или он утомился и умер, истратившись в труде и неизвестности? Кто же, бедный, могучий и молчаливый, содержит этот мир, который истощается в ужасе и остервенелой радости, а не в творчестве, и ограждает себя частоколом идиотов?

В изнеможении стоял Альберт Лихтенберг на старой католической площади, озираясь с удивлением в этом царстве мнимости: он и сам лишь с трудом чувствовал свое существование, напрягаясь для каждого воспоминания о самом себе; обычно же он себя постоянно забывал, может быть, излишек страдающего сознания выключал в нем жизнь, дабы она сохранилась хотя бы в своем грустном беспамятстве!..

Чуждый всякому соображению, равнодушный, как несуществующий, Лихтенберг подошел к радиатору грузовика. Трепещущий жар выходил из железа; тысячи людей, обратившись в металл, тяжело отдыхали в моторе, не требуя больше ни социализма, ни истины, питаясь одним дешевым газом. Лихтенберг прислонился лицом к машине, как к погибшему братству; сквозь щели радиатора он увидел могильную тьму механизма, в его теснинах заблудилось человечество и пало мертвым. Лишь изредка среди пустых заводов стояли немые рабочие, на каждого из них приходилось по десяти человек государственной гвардии, и каждый рабочий делал в день сто лошадиных сил, чтобы они кормили, утешали

и вооружали господствующую стражу. Один убогий труженик содержал десять человек торжествующих господ, но эти десять господ, однако, не радовались, а жили в тревоге, сжимая оружие в руках — против бедных и одиноких.

Над радиатором автомобиля висела золотая полоска материи с надписью черными буквами: «Почитайте вождя германцев — мудрого, мужественного, великого Адольфа! Вечная слава Гитлеру!» По обеим сторонам надписи были знаки свастики, как следы лапок насекомого.

— Прекрасный девятнадцатый век, ты ошибся! — сказал Лихтенберг в пыль воздуха, и мысль его вдруг остановилась, превратившись в физическую силу. Он поднял тяжелую трость и ударил ею машину в грудь — в радиатор, так, что смялись его соты. Национальный шофер молча вышел из-за руля и, сжав туловище худого физика, ударил его головою с равнозначной силой о тот же радиатор. Лихтенберг свалился в земной сор и там лежал без ощущения; это уже не было для него страданием — он и без того очень мало чувствовал себя, как насущное тело и как эгоиста, а голова его болела от сорной действительности больше, чем от ударов о железо...

Слабо белел день над его зрением, он глядел в него не моргая; пыль набилась в его глазницы, и оттуда текли слезы, чтобы смыть щекочущую грязь. Над ним стоял шофер; все съеденные им за свою жизнь животные — коровы, бараны, овцы, рыбы, раки, — переварившись внутри, оставили в лице и теле шофера свое выражение остервенения и глухой дикости. Лихтенберг встал, ткнул тростью животное туловище шофера и отошел от машины. Шофер остался в удивлении — перед таким фактом невнимательного мужества — и забыл вторично ударить Лихтенберга.

В пространстве шел ветер с юга, неся из Франции, Италии, Испании житейский мусор и запах городов, остатки взволнованного шума, обрывающийся голос человека... Лихтенберг повернулся лицом навстречу ветру; он услышал далекую жалобу женщины, грустный крик толпы, скрежет машинных скоростей, пение влажных цветов на берегу Средиземного моря. Он вникнул в эту невнятность, в безответное долгое течение воздуха, наполненное воплем над безмолвием местной суеты.

Лихтенберг подошел к труженикам у памятника. Работа людей уже прекращалась. На чугунном цилиндре стояло бронзовое человеческое полутело, заканчивающееся сверху головой.

На лице памятника были жадные губы, любящие еду и поцелуй, щеки его потолстели от всемирной славы, а на обыкновенный житейский лоб оплаченный художник положил резкую морщинку, дабы видна была мучительная сосредоточенность этого полутела над организацией судьбы человечества и ясен был его напряженный дух озабоченности. Грудь фигуры выдавалась вперед, точно подтягиваясь к груди женщины, опухшие уста лежали в нежной улыбке, готовые к страсти и к государственной речи,— если придать памятнику нижнюю половину тела, этот человек годился бы в любовники девушке, при одном же верхнем полутеле он мог быть только национальным вождем.

Лихтенберг улыбнулся; одна радость еще не оставила его — он мог нечаянно, по забывчивости, думать.

— Прекрасный девятнадцатый век!— громко сказал Лихтенберг в окружавший его удушающий дух жары, машин и людей; национал-социалисты прислушались к его неясной речи: их вождь сравнил некогда мысль и слово с семейным браком,— если мысль верна лишь вождю, как своему мужу, она полезна; если она бродит в сумраке ночи, по домам отчаяния, ища удовлетворения своего в развратном сомнении и блуде с одною грустью своею,— тогда мысль бессмысленна, организованная голова должна ее уничтожить, она опасней коммунизма и Версальского договора, сложенных вместе.— Великий век!— говорил Лихтенберг.— В конце твоего времени ты родил Адольфа Гитлера: руководителя человечества, самого страстного гения действия, проникшего в последнюю глубину европейской судьбы!..

— Верно! Хайль Гитлер!— закричали присутствующие массы национал-социалистов.

— Хайль Гитлер!.. Ты будешь царствовать века — ты прочнее всех императорских династий: твоему господству не будет конца, пока ты сам не засмеешься или пока смерть не уведет тебя в наш общий дом под травой! Что за беда! После тебя будут другие, более ярые, чем ты.. Ты первый понял, что на спине машины, на угрюмом бедном горбу точной науки надо стро

ить не свободу, а упрямую деспотию! Ты собираешь безработных, всех мрачных и блуждающих, которых освободила машина, под свои знамена, в гвардию своей славы и охраны... Ты скоро возьмешь всех живых в свои соратники, и те немногие утомленные люди, которые останутся у машин, чтобы кормить твою армию, не сумеют уничтожить тебя. Императоры гибли, потому что их гвардию кормили люди, но люди отказывались. Ты не погибнешь, потому что твою гвардию будут кормить механизмы, огромный излишек производительных сил! Ты не исчезнешь и победишь кризис...

— Хайль Гитлер!..

— Ты изобрел новую профессию, где будут тяжело уставать миллионы людей, никогда не создавая перепроизводства товаров, они будут ходить по стране, носить обувь и одежду, они уничтожат избыток пищи, они будут в радости и в поту прославлять твое имя, наживать возраст и умирать... Эта новая промышленность, труд по воодушевлению народа для создания твоей славы, окончит кризис и займет не только мускулы, но и сердце населения и утомит его покоем и довольством... Ты взял себе мою родину и дал каждому работу—носить твою славу...

Лихтенберг осмотрелся в томлении. С непрерывной силой горел солнечный центр в мусорной пустоте пространства, сухие насекомые и различные пустяки с раздражением шумели в воздухе, а люди молчали.

— Землю начинают населять боги, я не нахожу следа простого человека, я вижу происхождение животных из людей... Но что же остается делать мне? Мне — вот что!..

С силой своего тела, умноженного на весь разум, Лихтенберг ударил дважды палкой по голове памятника, и палка лопнула на части, не повредив металла; машинное полутело не почувствовало бешенства грустного человека.

Национал-социалисты взяли туловище Лихтенберга себе на руки, лишили его обеих ушей и умертвили давлением половой орган, а оставшееся тело обмяли со всех сторон, пройдя по нем маршем. Лихтенберг спокойно понимал свою боль и не жалел об исчезающих органах жизни, потому что они одновременно были средствами для его страдания, злостными участниками движения в этой всемирной духоте. Кроме того, он дав-

но признал, что прошло время теплого, любимого, цельного тела человека: каждому необходимо быть увечным инвалидом. Потом он уснул от слабости, давая возможность, чтобы кровь застыла на ранах. Ночью он очнулся; звезд не было, шел мелкий острый дождь, настолько мелкий, что он казался сухим и нервным, как перхоть.

Неизвестный человек поднял Лихтенберга от подножия памятника и понес куда-то. Лихтенберг удивился, что есть еще незнакомые нежные руки, которые, прячась ночью, несут молча чужого калеку к себе домой. Но вскоре человек принес Лихтенберга в глубь черного двора, открыл дверь сарая над помойной ямой и бросил туда Лихтенберга.

Лихтенберг зарылся в теплую сырость житейских отходов, съел что-то невидимое и мягкое, а затем снова уснул, согрившись среди тления дешевого вещества.

Из экономии хозяин дома подолгу не вывозил мусор из помойного помещения, поэтому Лихтенберг прожил долго в кухонной мишуре, равнодушно вкушая то, что входит в тело и переваривается там. По телу его — от увечных ран и загрязнения — пошла сплошная темная зараза, похожая на волчанку, а поверх ее выросла густая шерсть и все покрыла. На месте вырванных ушей также выросли кусты волос, однако он сохранил слух правой стороной головы. Ходить он больше не мог — рядом с мужским органом у него повредились ноги, и они перестали управляться. Только раз Лихтенберг вспомнил свою жену Зельду, без сожаления и без любви, — одною мыслью в костяной голове. Иногда он бормотал сам себе разные речи, лежа в рыбных очистках, — хлебные корки попадались очень редко, а картофельные шкурки — никогда. Лихтенберг удивлялся, отчего ему не отняли язык, это государственная непредусмотрительность: самое опасное в человеке вовсе не половой орган — он всегда однообразный, смирный реакционер, но мысль — вот проститутка, и даже хуже ее: она бродит обязательно там, где в ней совсем не нуждаются, и отдается лишь тому, кто ей ничего не платит! «Великий Адольф! Ты забыл Декарта: когда ему запретили действовать, он от испуга стал мыслить и в ужасе признал себя существующим, то есть опять действующим. Я тоже думаю и существую. А если я живу, — значит, тебе не быть! Ты не существуешь!»

— Декарт дурак! — сказал вслух Лихтенберг и сам прислушался к звукам своей блуждающей мысли: что мыслит, то существовать не может, моя мысль — это запрещенная жизнь, и я скоро умру... Гитлер не мыслит, он арестовывает, Альфред Розенберг мыслит лишь бессмысленное, папа римский не думал никогда, но они существуют ведь!

Пусть существуют: большевики скоро сделают их краткой мыслью в своем воспоминании...

Большевики! Лихтенберг в омраченной глубине своего ума представил чистый, нормальный свет солнца над влажной, прохладной страной, заросшей хлебом и цветами, и серьезного, задумчивого человека, идущего вслед тяжелой машине. Лихтенбергу стало вдруг стыдно того далекого, почти грустного труженика, и он закрыл рукою во тьме свое опечаленное лицо... Он стал печален от горя, что его тело уже истрачено, в чувстве нет надежды, и он никогда не увидит прохладной ржаной равнины, над которой проходят белые горы облаков, освещенные детским, сонным светом вечернего солнца, и его ноги никогда не войдут в заросшую траву. Он не будет другом громадному, серьезному большевику, молча думающему о всем мире среди своих пространств, — он умрет здесь, задохнувшись мусорным ветром, в сухом удуше сомненья, в перхоти, осыпавшейся с головы человека на европейскую землю.

Житейские отбросы все более уменьшались. Лихтенберг съел все мягкое и более или менее достойное пищи. Наконец в помойном коробе осталась одна только жесть и осколки керамических изделий.

Лихтенберг уснул с туманным умом и во сне увидел большую женщину, ласкавшую его, но он мог лишь плакать в ее тесной теплоте и жалобно глядеть на нее. Женщина молча сжала его, так, что он почувствовал на мгновение, что ноги его могут бежать собственной силой, — и он закричал от боли, схватил чужое тело в руку. Он поймал крысу, грызшую его ногу во сне; крыса рвалась жить с могучим рациональным нетерпением и утопала зубами в руке Лихтенберга; тогда он ее задушил. Потом Лихтенберг опробовал свою рану от крысы; рана была рваная и влажная, крыса много выпила его крови, отъела верхнее мясо и изнурила его жизнь, — теперь сила Лихтенберга хранилась в покойном животном.

Лихтенберг почувствовал скупость к бедному остатку своего существования, ему стало жалко худое тело, принадлежащее ему, истраченное в гряде и томлении мысли, растравленное голодом до извести костей, не наслаждавшееся никогда. Он добрался до мертвой крысы и начал ее есть, желая возвратить из нее собственное мясо и кровь, накопленные на протяжении тридцати лет из скудных доходов бедности. Лихтенберг съел маленького зверя вплоть до его шерсти и уснул с удовлетворением своего возвращенного имущества.

Утром собака, как нищенка, испуганно пришла в по мойное место. Лихтенберг сразу понял, увидя эту собаку, что она — бывший человек, доведенный горем и нуждою до бессмысленности животного, и не стал пугать ее дальше. Но собака, как только заметила чело века, задрожала от ужаса, глаза ее увлажнились смер тельной скорбью, — утратив силу от страха, она с трудом исчезла прочь. Лихтенберг улыбнулся: когда-то он ра ботал над изучением космического пространства, со ставлял грезящие гипотезы о возможных кристалличе ских ландшафтах на поверхности далеких звезд, — все это делалось с тайной целью — завоевать разумом все ленную, — теперь же, если бы звездная вселенная ста ла доступна, люди в первый же день разбежались бы друг от друга и стали бы жить в одиночестве, на рас стоянии миллиардов километров один от другого, а на земле бы вырос растительный рай, и его населили бы птицы.

Днем уличная полицейская власть изъяла Лихтен берга из его убежища и отвезла, как прочих преступ ных и безымянных, в концлагерь, огороженный тройной сетью колючей проволоки. Среди лагерной площади были землянки, вырытые для долгой жизни загнанными сюда людьми.

В лагерной конторе у Лихтенберга не стали спра шивать ничего, а осмотрели его, полагая, что это — едва ли человек. Однако на всякий случай его оставили в бессрочном заключении, написав в личном формуля ре: «Новый возможный вид социального животного, об растает волосным покровом, конечности слабеют, по ловые признаки неясно выражены, и к определенному сексуальному роду этого субъекта, изъятого из общест венного обращения, отнести нельзя, по внешней харак теристике головы — дебил, говорит некоторые слова,

произнес без заметного воодушевления фразу — верховное полутело Гитлер — и умолк. Бессрочно».

На пространстве лагеря росло одно дерево. Лихтенберг вырыл под корнем дерева небольшую пещеру и поселился в ней для неопределенного продолжения своей жизни. Вначале его сторонились заключенные и он сам держался уединенно от них. Но потом один коммунист полюбил Лихтенберга. Это был молодой человек с черными внимательными глазами, покрытый по лицу прыщами от напора органической силы и бездействия. Он носил Альберта на руках, как мелкое, краткое тело, и говорил ему, что тосковать не надо: солнце всходит и заходит, растут ветви в лесах, в океан социализма течет историческое время; фашизм же кончится всемирной гигантской насмешкой — это улыбнутся молчаливые скромные массы, уничтожив господство живых и бронзовых идолов.

Лихтенберг пожил в лагере и постепенно успокоился. Он ждал только вечернего времени, когда возвращаются с работы заключенные, варят себе похлебку и разговаривают. Лихтенберга на работу не посылали, потому что он мог лишь ползти по земле. Ему теперь было ничего не жалко и не страшно: ни прожитой жизни, ни любви к женщинам, ни будущей темной судьбы; он лежал в пещере весь день и слушал, как шумит гнусная пыль в воздухе и пробегают поезда по насыпи, развозя чиновников правительства по делам их господства. Когда же раздавались голоса за колючей проволокой и гремело оружие конвоя, Лихтенберг вылезал навстречу людям — в радости своего страстного и легкого чувства к ним.

Он дружил больше всего с коммунистами: голодные невольники, они играли и бегали по вечерам, как ребята, веря в самих себя больше, чем в действительность, потому что действительность заслуживала лишь уничтожения, и Лихтенберг елозил между ними, принимая участие в этой общей детской суете, скрывавшей за собою терпеливое мужество. Потом он засыпал со счастьем до утра и рано вставал провожать своих товарищей на работу. Однажды, роясь в бурьяне в поисках еды, он нашел обрывок газеты и прочитал в нем про сожжение своей брошюры «Вселенная — безлюдное пространство». Брошюра была издана еще пять лет тому назад и посвящалась доказательству пустынности

космического мира, наполненного почти сплошь одними минералами. Уничтожение книжки подтверждало, что и земля делается безлюдной и минеральной, но это не огорчило Лихтенберга; ему хотелось лишь, чтобы каждый день был вечер и он мог быть счастливым один час среди усталых, невольных людей, предающихся своей дружбе, как маленькие дети предаются ей в своих играх и воображении на заросших дворах ранней родины.

В конце лета, во время очередной ночи, Лихтенберг неожиданно проснулся. Его разбудила женщина, стоявшая около дерева. Женщина была в длинном плаще, в маленькой круглой шапке, не скрывавшей ее локонов, с изящным телом, грустно расположенным под одеждой,— это была, очевидно, девушка. Рядом с нею стояли два стражника.

Сердце Лихтенберга стало сильно биться в тоске: лишенный способности к любви и даже к вертикальному движению на ногах, он, однако, сейчас попытался встать на обе ноги, томимый стыдом и страхом перед женщиной, и ему удалось устоять при помощи палки. Женщина пошла, и Лихтенберг последовал за ней, снова чувствуя твердеющую силу в ногах. Он не мог ничего спросить у нее, волнение его не прекращалось, он шел, отставая немного, и видел одну щеку ее лица, она же глядела все время в сторону от Лихтенберга, в предстоящую тьму дороги.

В конторе лагеря их ожидал суд из трех военных людей. Женщина остановилась позади Лихтенберга. Судья объявил Лихтенбергу, что он осуждается на расстрел — вследствие несоответствия развития своего тела и ума теории германского расизма и уровню государственного умозрения: в целях жесткого оздоровления народного организма от субъектов, впавших в состояние животности, в целях профилактики от заражения расы беспородными существами¹.

— Ваше слово!— предложил судья Лихтенбергу.

— Я безмолвный,— сказал Лихтенберг.

— Гедвига Вотман!— произнес судья.— Вы член местной коммунистической организации. Со времени национальной революции насмешка над верховным вож-

¹ Смертная казнь посредством топора и палача была введена позже.

дем не сходила с вашего лица. С того же момента вы, находясь уже в заключении, отказали в браке и в ответной любви двум высшим офицерам национальной службы, оскорбив их расовое достоинство. Решение суда: уничтожить вас, как личного врага племенного гения тевтонов. Имеете слово?

— Имею,— с улыбкой ума и иронии ответила спутница Лихтенберга. — Два офицера получили отказ в моей любви потому, что я оказалась женщиной, а они не оказались мужчинами...

— Как — не мужчины?!— воскликнул судья, потрясаясь фактом.

— Их надо расстрелять за потерю способности к деторождению, к размножению первоклассной германской расы! Они, немцы, способны были любить только по-французски, а не по-тевтонски: они враги нации!

— Вы коммунистка?— спросил член суда.

— Ясно,— сказала Вотман.— Но для ответа по этому вопросу я прошу дать мне ваше оружие!

Ей отказали в просьбе.

Судья сделал коменданту обычное распоряжение о казни.

— Введите следующую пару ублюдков!— приказал судья далее.

Лихтенберга и Гедвигу Вотман вывели из пределов лагеря. Четыре офицера конвоировали их, держа готовые револьверы в руках. Впереди шли двое уголовных, несших на головах по тесовому гробу, сделанных в лагере их же руками.

Гедвига Вотман шла по-прежнему изящная и нескучная, точно уходила не в смерть, а в перевоплощение. Она дышала тем же мусорным воздухом, что и Лихтенберг, голодала и мучилась в неволе, ожидая коммунизма, она шла погибать, — но ни скорби, ни болезни, ни страху, ни сожалению, ни раскаянию она не уступила ничего из своего тела и сознания — она покидала жизнь, сохранив полностью все свои силы, годные для одержания трудной победы и долговечного торжества. Омрачающие стихии врага остановились у ее одежды и не тронули даже поверхности ее щек,— здоровая и молчаливая, она шла ночью вслед за своим гробом и не жалела о несбывшейся жизни, как о пустяке. Но зачем же тогда она яростно и губительно боролась за рабочее сословие, как за вечное личное счастье?

Лихтенбергу казалось даже, что от Гедвиги Вотман исходил влажный запах здравого смысла и пота здоровых, полных ног, — в ней ничего не засохло от горячего мутного ветра, и достоинство ее пребывало внутри самого ее одинокого тела, окруженного конвоем.

Гробовщики спустились в полевую долину и пошли дальше по ее глухому дну. Вскоре стали видны постройки давно заброшенного керамического завода, и приговоренных к уничтожению ввели в темную теснину между заводскими стенами.

Лихтенберг близко держался около Гедвиги Вотман и плакал от своего безумия. Он думал об этой неизвестной женщине с такою грустью, точно подходил к концу света, но жалел о кончине лишь этой своей проходящей подруги. Шествие повернуло за угол стены, гробовщики скрылись за каким-то неопределенным предметом. Конвойный офицер, шедший слева от Лихтенберга, попал на край пропасти, вырытой для какого-то могучего механизма, и пошел по ней осторожно и благополучно; но Лихтенберг внезапно толкнул его — по детской привычке сунуть что-нибудь в пустое место. Офицер исчез вниз и вскрикнул оттуда, одновременно со скрежетом железа и трением своих трескающихся костей. Три остальных конвойных офицера сделали движение к провальной яме, а Гедвига Вотман взмахнула краем плаща и беззвучно, с мгновеньем птицы скрылась от конвоя и от Альберта Лихтенберга навсегда. Три офицера, думая, что преступница удалилась не далее нескольких шагов, бросились за ней, дабы немедленно настигнуть ее и сейчас же возвратиться.

Лихтенберг остался один в недоумении. Офицер в яме давно умолк. Уголовные с гробами на головах — как отошли вперед, так и не вернулись. Вдалеке, уже в чистом поле, послышались два выстрела: Гедвига Вотман исчезала все более далеко и невозвратно; настигнуть ее было нельзя никому. Лихтенбергу захотелось, чтобы ее поймали и привели; он не мог теперь обойтись без нее, он желал посмотреть на нее еще хотя бы самое краткое время.

Никто не возвращался. Лихтенберг прилег на землю. Раздался еще один глухой выстрел, бессильный и неверный — в далекой ночи. Вслед за тем в лагере зазвонил колокол боевой тревоги. Лихтенберг поднялся и пошел понемногу с того места, где должна бы быть

его вечная гробница, в одной могиле с телом Гедвиги; через десять лет, когда гробы и тела в них сотлели бы, когда земной прах нарушился, скелет Альберта обнял бы скелет Гедвиги — на долгие тысячелетия. Лихтенберг пожалел сейчас, что этого не случилось.

Наутро Лихтенберг пришел в незнакомый ему рабочий поселок, где стояли шесть или восемь домов. Начался осенний светлый день, ослабевший сор шевелился на безлюдной дороге между жилищами, издалека поднималось солнце в свою высшую пустоту. Альберт дошел до крайнего дома, не встретив никого. Он очутился на околице у колодца и здесь увидел на ней памятник Гитлеру: пустынное бронзовое полутело; против лица гения находился букет железных цветов в каменной урне. Лихтенберг внимательно поглядел в металлическое лицо, ища в нем выражения.

Уйдя от памятника, он вошел в дом. Внутри дома никого не было, в запыленной постели лежал мертвый мальчик. Лихтенберг почувствовал в себе странную легкую силу, он быстро посетил еще два жилища и не нашел в них ни жителей, ни животных; с деревьев на усадьбах была содрана кора, и они засохли; из отверстий отхожих мест ничем не пахло.

В последнем доме этого вымершего или изгнанного городка сидела женщина и одной рукой качала люльку, подвешенную к потолку, а другой рукой все время кутала и укрывала одеялом ребенка, который спал в люльке. Лихтенберг спросил у той женщины что-то, она не ответила ему. Глаза ее не моргали и смотрели в колыбель с долгой сосредоточенной грустью, ставшей уже равнодушной от своего терпения. Лицо женщины имело от голода и утомления коричневый цвет, как рубашка фашиста, наружное, подкожное мясо ушло на внутреннее питание, так что с костей ее сошла вся плоть, как осенняя листва с дерева, и даже мозг ее из-под черепа рассосался по туловищу для поддержания сил, поэтому женщина жила сейчас без ума, память ее забыла необходимость моргать веками глаз, размер ее тела уменьшился до роста девочки, только одно горе ее действовало по инстинкту. Она с непрерывной энергией все качала и качала дешевую люльку и с неутомимой, берегущей нежностью укрывала спящего ребенка от неощутимого для Лихтенберга холода.

— Он уснул уже,— сказал Альберт.

— Нет, они никак не засыпают,— ответила теперь мать.— Я их качаю вторую неделю. Все время зябнут и заснуть не могут.

Лихтенберг наклонился над колыбелью; женщина отвернула ему одеяло сверху: в люльке на общей маленькой подушке лежали с открытыми глазами две почерневших головы умерших детей, обращенных лицами друг к другу; Лихтенберг снял одеяло вовсе и увидел мальчика и девочку, лет по пяти или шести, уже сплошь покрытых трупными пятнами,— мальчик положил одну руку на сестру — для защиты ее от ужаса наступившей вечности, а девочка-сестра держала руку ладонью под щекой, доверчиво и по-женски; ноги их остались немытыми со времени последней игры на дворе, и синева холода — изморозь — действительно распространилась по тонкой коже обоих детей.

Мать снова укрыла покойных одеялом.

— Видишь, как озябли,— сказала она,— поэтому и уснуть не могут!

Лихтенберг опустил пальцем веки на четырех детских глазах и сказал матери:

— Теперь они уснули!

— Спят,— согласилась женщина и перестала качать колыбель.

Лихтенберг пошел в кухню, разжег в ней очаг, пользуясь для топлива мебельной утварью, и поставил на огонь большую кастрюлю с водой. Когда вода закипела. Альберт пошел к женщине и предупредил ее, что он сейчас поставит вариться мясо, пусть она не засыпает — скоро они будут обедать вдвоем; если же он сам нечаянно заснет на кухне, пусть она поглядит за мясом и обедает одна, когда кушанье поспеет, не ожидая его пробуждения. Женщина согласилась подождать и пообедать и велела Альберту положить в кастрюлю особый и лучший кусок — для ее детей.

В кухне Лихтенберг как можно сильнее разжег огонь, взял косарь и начал рубить от заросших пахов свою левую, более здоровую ногу. Рубить было трудно, потому что косарь был давно не наточен, и говядина не поддавалась; тогда Альберт взял нож и наскоро срезал свое мясо вдоль кости, отделив его большим пластом до самого колена; этот пласт он управился еще разрубить на два куска — один получше, другой похуже — и бросил их вариться в кипящую кастрюлю. Затем он выполз

паружу, на разгороженный двор, и лег лицом в землю. Обильная жизнь уходила из него горячим ручьем, и он слышал, как впитывалась его кровь в ближнюю сухую почву. Но он еще думал; он поднял голову, оглядел пустое пространство вокруг; остановил глаза на далеком памятнике спасителю Германии и забыл себя — по своему житейскому обыкновению.

Через два часа весь суп выкипел и мясо изжарилось на собственном сале, огонь же потух.

Вечером в этот дом пришел полицейский и с ним молодая женщина с восточным тревожным лицом. Полицейский разыскивал при помощи женщины государственного преступника, а женщина, не зная мысль полиции, искала при помощи государства своего бедного безумного мужа.

Полицейский и его спутница нашли в доме мертвую женщину, уткнувшуюся лицом в колыбель с двумя детьми, так же одинаково мертвыми. Мужчины здесь не было.

Увидев в кухонном очаге кастрюлю с питательным и еще теплым мясом, уставший полицейский сел кушать его себе на ужин.

— Отдохните, фрау Зельда Лихтенберг, — предложил полицейский.

Но взволнованная женщина не послушалась его и вышла бесцельно из дома — через его кухонную дворовую дверь.

Зельда увидела на земле незнакомое убитое животное, брошенное глазами вниз. Она потрогала его туфель, увидела, что это, может быть, даже первобытный человек, заросший шерстью, но скорее всего это большая обезьяна, кем-то изувеченная и одетая для шутки в клочья человеческой одежды.

Вышедший потом полицейский подтвердил догадку Зельды, что это лежит обезьяна или прочее какое-нибудь ненужное для Германии, ненаучное животное; в одежду же его нарядили молодые наци или штальгеймы: для политики.

Зельда и полицейский оставили пустой поселок, в котором жизнь людей была прожита без остатка.

Давно в ночное время сорок или больше всадников ехали мирным шагом в долине Фирюзы по краю речного потока. Горы Копет-Дага оберегающе и неясно стояли по сторонам прохладного ущелья — меж Персией и равниной вольных туркменов. Древняя иранская дорога уже тысячу лет несла на себе либо торжествующее, либо плачущее, либо мертвое человеческое сердце. И в ту давно минувшую ночь четырнадцать человек шли пешком, рядом с линией конного отряда, связанные одной веревкой. Среди пешеходов было девять молодых женщин и одна маленькая девушка. Она шла без веревки и отставала от усталости. Душа пешеходов настолько утомилась, что они перестали чувствовать свое существование и шли как без дыхания. Но сорок всадников были счастливы и осторожно хранили свое удовлетворение, чтобы приехать с ним на родину, которая была еще далеко за горами, в темноте пустыни. Один же конный человек был мертвым: его убили курды в Иране, и теперь он ехал, низко склонившись, привязанный к седлу и к шее своей уцелевшей лошади, чтобы его семейство имело возможность увидеть его и заплакать.

В полночь наступил свет в долине — от луны, преодолевшей высоту гор, и речной поток от этого света стал как бы неслышным. Отряд приручился в тень старой чинары, растущей к небу и не умирающей много веков. Конные спешились, снизили лошадей, как верблюдов, уложили рядом пленников и сами легли. На выходах из ущелья еще могли появиться курды в погоню, несущие пограничную персидскую службу, еще стояли на ближних горах сторожевые башни, сложенные из берегового камня и глины. В этих башнях раньше селились обыкновенно дежурные солдаты персидских аулов и базаров, чтобы стеречь дорогу от туркменских аламанов и заранее известить об опасности в Персии посредством дыма из внутренних очагов — по всей очереди башен в глубину своей родины. Самым же опасным был русский пограничный разъезд, пост которого отряд миновал вчерашнею ночью кругом по горам. Туркмены знали про то и держали ружья близ груди, чтобы убить

всякого показавшегося врага. Это было позднее время последних аламанов.

Вскоре персидские пленники уснули, и горе в них прекратилось от потери сознания. Лишь в одной маленькой женщине по имени Заррин-Тадж ум бился наравне с сердцем, и она не спала. Ей было четырнадцать лет, она чувствовала тоску, удушающую ей горло, и глядела в темную сторону Хорасана, откуда ее увели. Иногда ей слышались издали звуки, помимо шума потока,— она думала тогда, что это, наверное, из Ирана в Туран уезжает поезд, который Заррин-Тадж видела однажды в детстве и запомнила, как гудит его бегущий дым. Туркмены, усталые от набега и бедствий пустынной жизни, закрывали по одному глазу, чтобы дремать и видеть наполовину; лежащие лошади вытянули морды вровень с землей и громко дышали, не трогая близкой травы. Заррин поднялась с места. Ночной ветер медленно дул из Персии по ущелью, слышен был запах цветов, одинокая птица напевала где-то далеко в слепых горах, потом она умолкла; лишь река неслась и работала на камнях — всегда и вечно, во тьме и в свете, как работает раб в туркменской равнине или неостывающий самовар в чайхане. Персиянка поглядела на старинную чинару — семь больших стволов разрасталось из нее и еще одна слабая ветвь: семь братьев и одна сестра. Нужно было целое племя людей, чтобы обнять это дерево вокруг, и кора его, изболевшая, изъеденная зверями, обхватанная руками умиравших, но сберегшая под собой все соки, была тепла и добра на вид, как земляная почва. Заррин-Тадж села на один из корней чинары, который уходил вглубь, точно хищная рука, и заметила еще, что на высоте ствола росли камни. Должно быть, река в свои разливы громила чинару под корень горными камнями, но дерево въело себе в тело те огромные камни, окружило их терпеливой корой, обжило и освоило и выросло дальше, кротко подняв с собою то, что должно его погубить. «Она тоже рабыня, как я!—подумала персиянка про чинару.—Она держит камень, как я свое сердце и своего ребенка. Пусть горе мое вращается в меня, чтобы я его не чувствовала». Заррин-Тадж заплакала. Она была беременна второй месяц от курда-пастуха, потому что ей надо было любить хотя бы одного человека. Ближний туркмен смотрел на нее обоими глазами, довольный, что девушка скоро при-

выкнет быть женой, если умеет плакать, и смирно умрет под яшмаком в Туркменистане.

Туна скрылась за черные горы, стало опять глухо, ветер шел тенью по лицу Заррин-Тадж, она легла на землю среди всех...

«Гель-Эндам давно увели эрсари,— шептала персиянка себе в сердце, чтобы сравнить свое горе с наибольшим страданием и тем утешиться,— Фатъма утонула в Дарье, а милая, лучшая моя Ханом-Ага, я слышала, живет у джафарбайцев, на берегу моря, и рожает детей. Я тоже буду с ними».

Персиянка уснула, успокоившись воспоминанием о подругах, которые так же прошли когда-то через это прохладное травяное ущелье и не умерли.

Наутро верховые туркмены вывели пленников из гор Копет-Дага; тогда некоторые курдские и персидские женщины, как только увидели чужую пустыню и странное небо, с другим светом, чем на родине, заплакали от наступившей печали. Но Заррин-Тадж не плакала. Выросшая в нагорной хорасанской роще, она с любопытством глядела в пустой свет туркменистанской равнины, скучной, как детская смерть, и не понимала, зачем там живут.

Туркмены переждали день во впадине горного подножья. Они считались с курдами, которые иногда идут в преследование через русскую границу до самых открытых песков, и не хотели растратить победу на краю родины.

Всю другую ночь и еще полдня туркмены гнали пленников в даль своих мертвых песков. Потом отдыхали и ночевали в глиняной курганче аула, обнимали пленных девушек и снова шли дальше. Вскоре Заррин-Тадж узнала своего мужа и хозяина — Атах-бабу, туркмена из племени текэ, человека более сорока лет. Он имел бороду и всегда одинаковые темные глаза, не устающие и не счастливые. Атах-баба изредка звал к себе Заррин-Тадж и отставал ото всех, чтобы жить с нею на песке. Лежа внизу, персиянка прислушивалась, как движется понемногу песок сам по себе: у него тоже была небольшая разнообразная жизнь. Вблизи стояла в ожидании лошадь Атах-бабы и рассматривала обоих людей. Во время любви, раскинув свои руки, Заррин-Тадж пересыпала ими песок, наблюдала высоту над собою и думала постороннее. Атах любил ее угрюмо и серьезно, как обычную обя-

занность, зря не мучил и не наслаждался. «С ним я проживу», — молча полагала Заррин, видя, что это не страшно и не интересно; для себя она не получала никакого чувства, кроме тяжести Атах-бабы и его бороды.

2

На двенадцатую ночь после родины пленников аламана пригнали к кибиткам близ колодца Таган. Здесь жило несколько семейств из рода Канджин, племени текэ. Атах-бабу встретили четыре его жены и обрадовались ему лишь одним выражением своих лиц, а к Заррин-Тадж отнеслись без внимания. Атах отвел персиянку в кибитку и велел ее кормить и класть спать в семействе. Сам Атах отправился отдать убитого в аламани родственника, уже истлевшего в пути, отчего лошадь его, надышавшись трупом, мало пила воды на водопоях.

Заррин-Тадж села на полу кибитки в недоумении перед чужбиной. На родине она с шести лет собирала хворост и отсохшие сучья в горных рощах Хорасана для своего господина, у которого жила за пищу два раза в день. Там жизнь была привычна, и годы юности проходили без памяти и следа, потому что тоска труда стала однообразна и сердце к ней притерпелось. Лучшее время то, которое быстро уходит, где дни не успевают оставлять своей беды.

Одна старая жена Атах-бабы спросила у персиянки по-курдски, какого она рода и в чьей кибитке родилась.

— Я не знаю, когда рожалась, — сказала Заррин-Тадж. — Я уже давно была.

Она действительно не помнила отца и матери и не заметила, когда произошла жизнь: она думала, что так было вечно.

Вдруг послышался плач и шум озлобления. Три босых и жалобных женщины вошли в кибитку и сели вокруг персиянки на поджатых ногах. Сначала они непонятно, грустно заговорили, а потом подползли к Заррин-Тадж, обхватили ее и стали царапать ногтями по лицу ее и худому телу. Персиянка сжалась и стала маленькой для своей защиты, но втайне она замечала, что злоба женщин бедна силой, и терпела боль без испуга. Пришедший назад Атах-баба постоял немного в молча-

нии, а потом сказал: «Этого довольно, она молода, а вы старые дырки!» — и выгнал чужих женщин прочь.

Они ушли и снаружи опять заплакали по убитому мужу.

Ночью Атах-баба лег спать рядом с пленницей, и, когда все уснули и пустыня, как прожитый мир, была у изголовья за войлоком кибитки, хозяин обнял тело персиянки, обнищавшее в нужде и дороге. Было все тихо, одно дыхание выходило у спящих, и слышалось, что кто-то топал мягкими ногами по глухой глине,— может быть, шел куда-то скорпион по своему соображению. Заррин-Тадж лежала и думала, что муж — это добавочный труд, и терпела его. Но когда Атах-баба ожесточился страстью, то две другие жены зашевелились и встали на колени. Вначале они яростно шептались что-то, а потом сказали мужу:

— Атах! Атах! Ты не жалей ее, пусть она закричит.

— Помнишь, как с нами было? Зачем ты ее ласкаешь?

— Искалечь ее, чтоб она к тебе привыкла!

— Ишь ты, хитрый какой!

Заррин-Тадж не слышала их до конца, она уснула от утомления и равнодушия среди любви.

3

Заррин-Тадж стала жить кочевницей. Она доила верблюдиц и коз, считала овец и доставала воду из колодцев на такыре — по сто и по двести бурдюков в день. Больше она никогда не видела птиц и забыла, как шумит ветер в древесных листьях. Но время молодости идет медленно. Еще долго тело персиянки томилось жизнью, точно непрестанно готовое к счастью.

Когда овцы начинали худеть илидохнуть от бестравия, Атах-баба велел снимать кибитку, собирать в узлы домашнее добро и уходить в дальнейшее безлюдье, где земля свежее и еще стоит нетронутой бедная трава. Весь небольшой род снимался с обжитого места и шел через горячий такыр в направлении одинакового пустого пространства. Впереди ехал аксакал и умные мужья на ишаках. Ишачки везли бугры сложенных кибиток и старых жен, позади брели вразброд, как безумные, овечьи стада, а Заррин-Тадж и прочие рабы шли пешком,

унося на себе тяжелое серебро, подарки мужу старых друзей и еду в горшках.

Персиянка радовалась, если приходилось идти по песчаным холмам, утопая ногами в их теплоту. Она следила, как ветер тревожит и уносит дальше какое-то давно засохшее растение, рожденное, может быть, в синих смутных долинах Копет-Дага или на сырых берегах Амударьи. Но часто нужно было проходить долгие такры, самую нищую глинистую землю, где жара солнца хранится не остывая, как печаль в сердце раба, где бог держал когда-то своих мучеников, но и мученики умерли, высохли в легкие ветви, и ветер взял их с собою.

Новое место всегда было труднее старого. Надо было расчищать и готовить колодцы, устраивать пастбища и разыскивать вдалеке, где уцелел занесенный песками саксаул.

С течением времени Заррин-Тадж начала отвыкать от своих интересов и от самой себя. Когда Атах-баба ел плов, а мясные остатки доставались только другим его женам, персиянка не мучилась от голода и зависти. Она всегда молчала и постоянно заботилась среди животных, не сознавая своей души, чтобы она ни о чем не тосковала.

Иногда она ложилась от утомления среди такры, пустота и свет окружали ее. Она глядела на природу — на солнце и на небо — с изумлением своего сердца: «Вот и все!» — шептала Заррин-Тадж, то есть вот и вся ее жизнь чувствуется в уме, и обыкновенный мир стоит перед глазами, а больше ничего не будет.

Она пробовала свое тело руками — кости были уже близко, кожа засыхала от усталости, руки сработались до жил — это исчезает понемногу ее жизнь: луна восходит медленно, но закатывается скоро.

Через несколько месяцев Заррин-Тадж родила маленькую девочку. Атах-баба обрадовался этой чужеродной жизни, потому что девочка останется у него рабыней, и велел назвать ее Джумалью.

Персиянка прижала ребенка к себе и поняла, что не все еще прожито ею. Была зима, с такры текла в колодцы дождевая вода, осел кричал с такою грустью, что будто он остался на свете круглой сиротою и теперь заболел печалью.

Через некоторое время Заррин-Тадж ослабела, ее здоровье пропало, она легла и не могла подняться; ре-

бенок лежал при ней и согревался о ее горячее тело. Кибитку продувало из-под низу, мертвый такыр шумел от потоков дождя. Атах-баба стоял над персиянкой, и слезы его капали на ее кошму; он страдал, что не может жить с нею дальше, такой худой, не помнящей его. Он ежедневно ел баранье мясо и сало, тяжкая сила любви скоплялась в его сердце, не зная облегчения с милой женщиной, которая лежала горячая и безумная. Изредка, в заглохшие ночи, Атах-баба откладывал ребенка от Заррин-Тадж и обнимал ее в тоске своей мертвой силы. Но время шло, как шумит ветер над песками и уносит весенних птиц в зеленые влажные страны. Персиянке представлялось в жарком, больном уме, что растет одинокое дерево где-то, а на его ветке сидит мелкая, ничтожная птичка и надменно, медленно напевает свою песню. Мимо той птички идут караваны верблюдов, скачут всадники вдаль и гудит поезд в Туран. Но птичка поет все более умно и тихо, почти про себя: еще неизвестно, чья сила победит в жизни — птички или караванов и гудящих поездов. Заррин-Тадж проснулась и решила жить, как эта птица, пропавшая в свидении. Она выздоровела. Однако Атах-баба хранил ее ради ребенка и не велел несколько дней работать.

Другие жены давали ей пищу на кошму с бранью, оттого что она лежит здоровая, а они, старые и больные, мучаются одни в скучном труде.

Заррин-Тадж вскоре встала сама. Ей нечего было ни думать, ни чувствовать, поэтому легче было шевелиться в беспрестанной заботе по хозяйству и изживать понемногу свое сердце. Она стала опять спокойной, когда положила Джумаль в повязку за спиной и, склонившись, стала донть коз, собирать на топливо ишачьи остатки и вытаскивать воду из колодца. Если бы даже она была счастлива, она все равно занималась бы этими делами, потому что, чтобы сберечь счастье, надо жить обыкновенно.

Джумаль долго лежала за спиною у матери, свернувшись в комок от страха пережитого рождения и слушая с удивлением звук своего собственного сердца — в ожидании, когда оно остановится, чтобы уснуть; потом Джумаль начала постепенно ходить самостоятельно и понимать свое существование. «Это я!» — чувствовала она неизвестное и трогала хрящи своих будущих

костей. Но еще долго Джумаль не отходила от матери и гладила ее низко согнутую спину, горячую и влажную, где она лежала, грелась и спала. Ей стало нравиться жить, и она ела глину, траву, овечий помет, уголь, сосала тонкие кости животных, павших в песке, хотя ей достаточно было материнского молока.

Ее маленькое тело опухло от веществ, которые все пошли ей в пользу и в рост, глаза, свежие от сырости недавнего прозрения, глядели внимательно и точно на все обычные вещи, к биению своего сердца она уже привыкла и не боялась, что оно остановится.

4

Долго шло ее детство. Каждый день горело солнце на небе, начинался и кончался ветер, играли и плакали дети в затишье песчаных холмов, потом солнце делалось красным, огромным и тяжелым, оно тонуло вдали и легкая луна, как серебряная тень солнца, светила в измученное лицо стареющей матери, всегда занятой работой. Выдаивая верблюдицу, мать глядела на луну, на этот свет нищих и мертвых, потом персиянка ложилась на кошму и успевала только немного ласкать свою дочь, потому что сон быстро разлучал ее с нею.

Весною Заррин-Тадж в первый раз показала дочери на птиц, летевших высоко над песком неизвестно куда. Птицы кричали что-то, точно жалели людей, и вскоре пропали навсегда.

— Кто они? — спросила Джумаль.

— Они счастливые, — сказала мать, — они могут улететь на дальние реки, за горы, где растут листья на деревьях и солнце прохладно, как луна.

Джумаль не знала, что это такое, и не тосковала о реках и листьях. Она росла здесь, между барханами, и с высоты песков, насыпанных ветром, видела, что земля повсюду одинакова и пуста. Мать же плакала иногда и прижимала к себе девочку — она теперь была для нее дальней рекою, забытыми горами, цветами деревьев и тенью на такыре.

— Тебе хорошо там было на реке и на горе? — спросила Джумаль.

— Нет, я там мучилась, — сказала Заррин-Тадж.

— А зачем думаешь, что хорошо?

— Я не думаю, мне кажется,— ответила Заррин-Тадж.

Маленькая Джумаль озадачилась; она взяла мать за палец и посоветовала ей:

— Тебе кажется... А ты люби меня одну, вот тебе и будет хорошо! А горы и реки — не надо.

При расставании с местом Джумаль всегда долго и грустно прощалась с тем, что остается одиноким: с кустом саксаула, у которого она играла, с куском стекла, с высохшей ящерицей, служившей ей сестрою, с костями съеденных овец и разными предметами, названия которых она не знала, но любила их в лицо. Джумаль мысленно тосковала, что им будет скучно и они умрут, когда люди уйдут от них на новое кочевье.

В низкой былинке травы, сухой и жесткой, как жестяная стружка, заключалось все, чем питались верблюды и овны. Ослы помнили, вероятно, другую еду в забытом мире и часто кричали в своей нужде по ней.

По кочевым дорогам Джумаль ехала на самом маленьком ишаке. Пустыня шла мимо ее опущенных ног, она глядела на громадную голову осла, больше, чем у лошади, на его уши, в которые попадает ветер, и думала, что осел — это остаток великана, но стал маленьким от горя, работы и редкой еды.

5

Когда прошло долгое время и Джумаль стала двенадцатилетней девушкой, она стала полной и хорошей. Лицо ее покрылось красотой, точно на нем выступила любовь и страсть ее неизвестного отца к Заррин-Тадж. Ничто — ни нищета рабыни, ни уныние — не помешало Джумаль стать ясной, взрослой и чистой. И лица ее, как она ни была бедна и однообразна по виду, была создана светом солнца, весенним ветром, водой дождя и росы, теплотою песков, и поэтому тело Джумаль было нежно, а глаза смотрели привлекательно, как будто внутри ее постоянно горел свет. Мыться ей было нигде — воды еле хватало только овцам, — и когда Джумаль становилось тяжело от сала на коже, она выходила туда, где дует ветер, чтобы ветер и песок освежали и очищали ее своим движением.

Однажды Атах-баба довел кибитки до угрюмого ме-

ста, где лежала на целый день пути одна темная глина, и велел остановиться. Такого печального такыра ни Джумаль, ни Заррин-Тадж еще не видели. Поэтому, вероятно, здесь давно никто не селился и у края такыра ютилась добрая трава, прячась от жары и гибели в песок. К своей середине такыр понижался, и там в глинистой тьме стояла ветхая каменная башня. В той башне Атах-баба разместил свою семью. Заррин-Тадж и все другие женщины кочующего рода стали расчищать колодец, бывший вблизи древней башни. Никто не знал, чья это башня и что в ней делали в старое время — молились или убивали. Нижняя наружная стена башни была убрана голубыми изразцами, а маленький купол был покрыт плитами синего цвета, и золотая змея лежала нарисованной на этих плитах.

Джумаль вместе со всеми матерями работала на колоде: она относила влажный песок в отдаление и находила в нем чьи-то кости. На краю песков слабо виднелись небольшие горы, — уснувшие тучи до зимы лежали на них, — а в другую сторону, говорил Атах-баба, была Амударья и богатая Хива. Ночью Джумаль лежала около стены в нижнем помещении башни. Она слышала, как шевелятся скорпионы в глинистых ущельях, следила через открытый вход за одною звездой, которая движется в сумраке, как кочевница, и понимала заунывный звук текущего песка у подножия башни. Слезы и счастье находились около ее сердца, но Джумаль дышала осторожно и с недоумением непонимания значения жизни.

Атах-баба приподнялся с кошмы и начал подкрадываться к Заррин-Тадж через других спящих жен. Джумаль подождала время, а потом позвала мать, чтоб она испугалась Атаха. Но мать промолчала, а Атах-баба нашел ее. Джумаль повернулась лицом вниз, в шерсть своей подстилки, и озябла от горя. В это время неизвестный темный человек сошел вниз из верхнего помещения башни и остановился среди лежавшего семейства, сделав рукою знак мира и приветствия. Джумаль подошла к нему и ответила на его приветствие. Пришедший человек был чужд и ни на кого не похож; он был громаден и худ, лицо его глядело добрым, как у животного, и глаза, несмотря на сумрак, смотрели на маленькую Джумаль с такою печалью, точно он был мертв.

Заррин-Тадж, увидев дочь и другого человека, сказала им:

— Это наше дело на нашей кошме, а вы уйдите отсюда, — и она снова обняла своего хозяина и мужа.

Джумаль схватила руку пришедшего гостя и заплакала по матери, однако гость не мог успокоить плачущую: он бросился бежать вон по такыру в дальнюю ночь, потому что Атах-баба вскочил и погнался за ним. Джумаль, увидя это и свою жалкую мать, также побежала вслед за гостем.

Их бег звенел по такыру. Но отчаяние сильнее злобы, и безвестный гость, миновав спящие кибитки, пропал вперед во тьму от обессилевшего Атах-бабы. Джумаль бежала следом за ними, неизвестно куда; она теперь почувствовала, что ей настала пора жить одной, с нею нет никого, даже мать живет отдельно от нее — своим сердцем и своей неволей. Она легла на холодную, ночную глину и умолкла от одиночества. Под нею тоже была умолкшая земля...

Атах-баба шел обратно с погони, постаревший и опухший со времени последнего персидского аламана. Он увидел Джумаль, молодую и с жалобным телом, — она выросла на его стадах и стала теперь угрюмой от юности. Атах поднял Джумаль с земли и сжал ее небольшое неумелое тело, унося его в глушь такыра. Джумаль впилась ногтями в горло Атах-бабы. Но если бы даже ему отрезали сейчас голову, он не оставил бы ее, поэтому он не чувствовал боли от девушки, с жадностью нюхая запах полыни и ветра в ее волосах.

На другой день Джумаль не вернулась домой. Одна ушла на дальний край такыра, пела там одна, выдумывая песни, и жить больше не хотела. За такыром началась новая земля — песок был смешан с суглинком, здесь трава росла гуще, и овцы, впившись в нее, мочили землю жадными слюнями.

Вечером, когда Джумаль уснула, ее нашла мать, разбудила и повела домой, потому что Атах-баба ее продал и уже получил половину калыма — четыреста русских рублей и шестьдесят голов разного скота. Джумаль считалась грнак, то есть она не имела чистой туркменской породы, и ценилась наравне с курдянкой.

Жених ее, пожилой Ода-Кара, сидел на ковре с Атахом и рассуждал об общем течении жизни в пустыне, о том, что делается в Гассан-Кули и по берегам Аму, что

в Бухаре, говорят, опять открылся базар рабов. Ода-Кара знал многое, но он говорил, что ум его начинает путаться в бороде, потому что ему не хватает молодой жены для утешения.

Атах-баба согласился, что без утешения жить никому нельзя: пусть лучше из человека выходит плоть, чем слезы.

— Но ты, Ода, уже взял недавно жену из кибитки Курбан-Нияза,— сказал Атах.— Она тоже не стара еще, и лицо ее хорошо.

— Я взял ее,— согласился Ода-Кара.— Но пусть будет теперь другая. У меня жили в семействе шесть старых жен, одна умерла, а овцы окотились, и ослицы дали приплод. Кто будет с ними справляться? Старые жены стареют, потом помирают,— надо взять двух молодых, чтоб они не скоро померли.

— Ты недорого ценишь молодых,— сказал Атах-баба,— и калым не враз даешь.

Ода-Кара возразил:

— Нет, дорого! Я много думал — кого мне взять: трех старых, привычных старух или двух молодых. Но старые мясо не жуют и много его глотают, а молодые едят мало, но много беспокоятся. Я решил взять молодых.

Атах-баба засмеялся. Ода-Кара тоже захохотал.

— Беспокоиться будут, Ода, твои новые жены... Где у тебя, старика, любовь осталась для них?

— У меня есть две жены, которых я никогда не касался,— улыбаясь, произнес Ода.— Они прожили в хозяйстве тридцать лет, и я их спрашивал: «Старухи, где же ваша любовь, куда она вышла?»

— А они тебе что? — улыбался Атах.

— А они: слезами и потом ушла в песок — говорят. А я им говорю: «Нет, лучше я пойду спрошу про то у старых ишаков с кобелями!»

Заррин-Талж и Джумаль сидели снаружи башни, у входа, и слышали разговор. Постаревшая персиянка плакала и прижимала к себе свою дочь.

Джумаль тоже ласкалась к матери и не обижалась на нее за то, что было ночью,— ее детское сердце еще жило без памяти.

— Мама, к нам гость приходил из темноты, когда ты спала с Атахом,— сказала Джумаль.— Он на такыр убежал.

Заррин-Тадж сказала дочери, что другие женщины слышали про этого одинокого гостя из песков. Он воевал с русскими далеко, в том краю, где леса и озера. Его русские взяли в аламан, а он убежал от них в пески и теперь живет один в страхе и бегстве.

— Значит, он скоро умрет: ему ведь нечего есть! — догадалась Джумаль.

— Он бежит второй год, — сказала мать. — Он лепит горшки из глины и оставляет их на кочевых дорогах. За это ему бросают битых овец, а горшки берут... Ода говорил, что гость бывает и в аулах, там он чинит самовары в чайхане, шьет чужие халаты и кормится...

Джумаль задумалась. Ее влекли таинственность жизни, пространство и далекий шум, который ей слышался несколько раз, когда она спала ухом на земле. Заррин-Тадж встала, чтобы подать новый чай гостю и мужу, но вдруг вся потемнела лицом и потеряла свою силу, не дойдя до ковра, где сидел Ода-Кара. Она непочтительно легла около гостя, и влажное бешенство смерти выступило у нее на губах. Ода-Кара вскочил и ушел в испуге, а Атах-баба пихнул жену ногой, чтобы она отвернула от него свое страшное лицо. Заррин-Тадж повернулась сама и затихла. Она чувствовала жар, который сжигает ее усталые кости и внутренности, и ей становилось легче, точно все, что так давно изболелось и утомилось в ней, потягивалось и потрескивало.

6

Наутро кочевье было пусто. Атах-баба еще почью велел гнать стадо и бросил на месте все предметы и имущество ежедневной жизни. Род убегал от чумы, которой заболела персиянка в ветхой башне, и теперь на сто лет это место останется безлюдным, потому что народ в песках живет слухом и долгой памятью. Джумаль залезла по стопанным, когда-то каменным ступеням и спряталась в верхней комнате башни: там лежала на полу деревянная ложка, валялся кусок чурека и стояли три недоделанных горшка; здесь, наверно, жил и прятался неизвестный гость, убежавший опять в пески.

Спустившись немного по ступеням вниз, Джумаль видела, что делается внизу, около матери: Заррин-Тадж лежала одна на каменном полу, черная и спокойная от

сознания своей грустной смерти. К ней пришла поглядеть на нее издали Зулейха, персиянка, похищенная в юности вместе с Заррин-Тадж. Потом явились перс Касем и два батрака — Агар и Лала; они не боялись заболеть и погибнуть и коснулись руками каменного ложа, на котором лежала умирающая, и ушли, унося в себе чувство вечного прощания. Джумаль не подходила к матери, потому что ее могли увезти отсюда, и ждала, когда люди отойдут далеко.

Пришедший после всех Атах-баба оглядел все помещение, жалея, что пропадают ковры, кошма и посуда. Он остановился вдалеке от Заррин-Тадж и громко сказал ей свои слова — те, которые обычно шепчут мертвому на ухо в промежутках между поцелуями, чтобы умирающая запомнила их и передала через смерть к богу на небо.

— Скажи там, пожалуйста, богу, тебе все равно, ты ведь мертвая, — скажи там, чтобы я один остался на свете! Овец стало мало — онидохнут — я один с ними справлюсь, а люди пусть станут душами и живут у бога на небе, где ты будешь жить.

Он ушел, но скоро вернулся опять, вместе с Ода-Карой, чтобы найти и взять с собою Джумаль, за которую уже были уплачены средства. Тогда Джумаль побежала вниз, приникла к матери и обняла ее всеми силами. Заррин-Тадж еще чуть дышала, и душа ее жила в жизни.

Ода-Кара и Атах побоялись брать эту невесту, обнижавшуюся с чумой, и ушли, проклиная общие убытки: один недополучил, а другой уплатил ни за что.

— Смерть, говорил Мухаммед, это великая разлучница людей, — сказал Ода-Кара, — а меня она разлучила с овцами и баранами.

7

Все люди, стада и собаки ушли далеко. Такыр был пуст и глух, как туркменское небо. Джумаль стала заводить хозяйство из оставшихся вещей. Она нашла шесть туш баранов, лишь отчасти истраченных на пищу и брошенных в бегстве от смерти. Она сварила суп для матери и покормила немного ее. Заррин-Тадж все еще понемногу была жива, боясь окончательно ожить, чтобы потом сразу не умереть. Вечером Джумаль гля-

дела с высоты башни в пустыню: она ждала, что придет гость, бегущий где-то в песках. Но никто не шел,— по такыру катилась трава, исчезая отсюда дальше, где она снова может расти.

Садилось солнце и снова вставало. Время шло, чтобы мучение, томящееся в сердце каждого человека, стало привычным. Заррин-Тадж оправлялась и начинала ходить и существовать по-прежнему.

Когда им нечего стало есть, Заррин-Тадж пошла с дочерью через такыр, чтобы дойти до хивинского караванного пути. Однако, пройдя лишь половину такыра, Заррин-Тадж опустилась на глину и не могла дальше идти.

— Мама, давай с тобой умрем,— сказала Джумаль.

Она легла с матерью рядом и закрыла глаза в терпении.

— Ты тоже закрой глаза и не смотри на меня! — попросила Джумаль. — Так мы скорей умрем. Чего зря глядеть! Ведь нечего, мы все уж видели...

Джумаль прижала мать к себе и заметила, какая она стала высохшая, старая и маленькая — меньше ее. Она попробовала ее пошевелить — Заррин-Тадж была легка, как сухая ветвь.

Джумаль встала и подняла свою мать. Она справлялась с нею и понесла вдаль по такыру, задумав умереть немного позже. Вечером Джумаль донесла Заррин-Тадж до песчаной границы такыра и легла с нею ночевать в теплое углубление...

Утром они увидели чужого человека, сидевшего около них. Он поздоровался с матерью и дочерью и вынул из своего мешка кусок баранины для угощения. Джумаль сразу узнала в нем пустынного гостя и обрадовалась ему. Гость не был туркменом, хотя и говорил на туркменском языке. Он имел одежду серого цвета, давно изношенную, и молодое, ясное лицо, привычное к горю и бедствиям.

— Ты кто? — спросила его Джумаль.

— Я австриец, Стефан Катигроб,— сказал бродячий гость,— а ты?

Джумаль никогда не слышала про австрийцев. Лишь два раза она видела, как живут в оседлых курганцах, и еще не знала, что есть на свете города, книги, война, леса и озера.

Пока Джумаль говорила, ела и смеялась с Катигро-

бом, Заррин-Тадж, лежавшая одна в песке, молча умерла.

Джумаль через некоторое время хотела кормить мать и позвала ее, но персиянка не ответила. Тогда Джумаль подошла и попробовала ее; она подняла на ней одежду и увидела грудь, похожую на два темных умерших червя, вьезшихся внутрь грудного вместилища,— это были остатки молочных сосудов, некогда выкормивших ее, а кожа матери провалилась меж ребер и сердце было незаметно: оно больше не билось. И вся грудь ее была так мала, что только немного и сухое могло там находиться, — чувствовать что-либо счастливое старухе было уже нечем, ее силы могло хватить лишь для мучения. Такая грудь ничего уж не могла делать — ни любить, ни ненавидеть, но над ней самой можно было склониться и заплакать. Рабыня умерла.

Катигроб стоял в стороне и наблюдал, как дочь ласкает умершее тело своей матери, наполняясь думой и скорбью. Затем, когда Джумаль прошептала в ухо матери свою просьбу на небо о счастливой судьбе, Стефан Катигроб приблизился к умершей, чтобы поднять ее и нести хоронить. От Заррин-Тадж не исходило ни запаха, ни теплоты,— Катигроб обследовал ее, как минерал, и сердце его сразу устало, а разум пришел в ожесточение. Он сам заплакал и отвернулся... Где-то была его родина, шла война, он убежал отовсюду и скрылся надолго, может быть, навсегда, в этой худой пустыне, давно рассыпавшей свои кости в прах и прах истратившей на ветер. Он, венский оптик, видит теперь одни миражи, исчезающие эфемеры света и жизни.

Катигроб опомнился от своей мысли. Перед ним в ожидании стояла Джумаль, выросшая в тоске, в голоде, рабстве, но живая, чистая и терпеливая. Австриец поднял ее к себе на руки и поцеловал в темные, доверчивые глаза.

Ночью Катигроб отнес покойную Заррин-Тадж далеко за пределы такыра и там закопал ее в песчаную глубину. Сверху он насыпал холм, но его мог скоро развеять ветер, поэтому австрийский солдат произвел шагомерную съемку местности, привязавшись к постоянной пограничной черте такыра. Он не хотел, чтобы человек, даже мертвый, был забыт. Съемку он записал себе в памятную книжку.

Джумаль уснула на прежнем месте, где умерла ее

мать. Катигроб разбудил ее и повел жить в глиняную башню посреди такыра. Он понимал, что туркмены возвратятся туда не скоро — когда окончится одна война в Европе и, может быть, начнется другая, а к тому времени он умрет в одиночестве.

На другой день Катигроб оставил Джумаль одну в башне с остатками еды из своей сумки, а сам пошел за сто верст на хивинскую караванную дорогу, где был колодец Боркан.

Он прожил там шесть дней; мимо него прошли два каравана купцов, затем проследовали пешком воры и дезертиры, скрывавшиеся к Каспийскому морю. Кому что нужно, тем работал Катигроб, получая в ответ баранину, рис, лук, спички и вино. Он чинил обувь, дорожную утварь, смазывал болячки верблюдам и ишакам, показывал фокусы и рассказывал сказки.

На девятый или десятый день он обычно возвращался к Джумаль на такыр с пищей и заработанным добром. Однажды он привел больного ишака, которого бросил караван, и Джумаль вылечила и воспитала его. В другой раз Катигроб принес девушке бусы из ракушек Аральского моря и поцеловал ее в губы. Джумаль не сопротивлялась его чувству, но сама была равнодушна и не понимала, за что можно любить человека. Она помнила умершую мать и других женщин своего племени, — многие из них, когда умирал муж, смачивали водой яшмаки, чтобы иметь слезную влагу для сухих глаз.

8

Они пробыли вместе шесть лет, и такыр перед глиняной башней лежал по-прежнему без звука, без жизни, — пустой, как судьба Джумали. Стефан Катигроб по-старому ходил время от времени на караванную дорогу, но караваны пропали, лишь изредка ему удавалось заработать полмешка риса или тощую овцу.

В одну серебряную ночь, когда Катигроба не было, Джумаль услышала далекие выстрелы. Она взяла кинжал, спички, немного риса, села на осла и поехала в ту сторону, где кто-то стрелял. Она ехала всю ночь и весь день до вечера, ей никто не встретился, осел устал в глухих горячих песках и остановился. Джумаль сошла

с него и потянула за повод вперед, чтобы встретить человека или найти колодец.

Заночевав в неизвестном месте, наутро Джумаль снова повела своего осла вдаль и к вечеру дошла до маленького такыра, около которого был колодезь с блоком и бурдюком. Джумаль достала воды, но вода оказалась густой и зараженной, как гной,— в колодезь лежал мертвый человек ногами вверх, и громадные, сальные мухи ползали по саксауловому срубу. Осел, истекавший пеной жажды, отвернулся от бурдюка; тогда Джумаль отрезала подол от своей одежды и подожгла его, повернув осла таким образом, чтобы дым обдавал его морду и он не чувствовал бы вкуса воды. Осел начал пить и выпил три бурдюка, пока не опился и не умер от гнойной воды. Джумаль, зная, что завтра она тоже умрет, жалела лишь, что будет далеко лежать от матери.

Ночью Джумаль задремала, и дремота ее стала непроходящей,— она забыла, что живет, и делала что попало: то вставала и ходила, то снова ложилась, потом опять бежала, улыбалась и плакала и все время вспоминала что-то все более забываемое, уносящееся от нее в сумрак, пропадающее, как дальний вопль, и протягивала за ним руки.

Ночью ей представлялись тысячи людей, бегущих по такыру, выстрелы и крик. Она хватала кинжал и бежала за ними, пока не падала в слезах своего отчаяния и одиночества.

Однажды она проснулась спокойной. Было прохладно. Луна светила ей в лицо, кругом тихо говорили люди: Атах-баба, Ода-Кара и четверо незнакомых. За такыром, в песках, паслись оседланные лошади, горел маленький костер и котел с водой кипел над огнем.

Джумаль встала. Ей никто не обрадовался и не удивился, что она еще цела, — наверное, у этих людей были свои неразлучные заботы. Но все же Ода-Кара дал Джумаль кусок чурека, и она разглядела ружья, лежащие около каждого человека. Ее спросили, видела она красных или нет, но Джумаль не знала, что это такое. Атах ей не поверил.

— Это ты отравляешь колодцы! — закричал он.

— Нет, — сказала Джумаль.

— Врешь, шпионка, — не поверил Атах-баба, — поганая грнак! Рабы все красные!

— Дайте мне попить,— попросила Джумаль.— У вас вода в котле паром уходит.

— Завтра напьешься, — сказал Атах-баба.— Эта вода солона для тебя.

Они стали пить чай и выпили всю воду из котла. Джумаль отвернулась от них и от злобы перестала хотеть пить этой воды.

Под утро все уснули, кроме Ода-Кары, который остался сторожить лошадей и оружие. Но, вспомнив, что Джумаль — проданная ему жена, Ода-Кара подполз к ней и лег рядом. Джумаль молча подпустила его, а потом когда он крепко обнял ее и занял этим свои руки, Джумаль схватила его за бороду и воткнула ему в горло кинжал. Ода-Кара вместо крика только сумел прошептать последнее слово и умер.

Джумаль свалила с себя мертвеца и приподнялась на локтях. Все пятеро спали, луна садилась в утреннее небо, кругом было просторно и чисто. Она решила, что если ее мать-рабыня лежит мертвая где-то, пусть погибают в песках и все эти свободные и богатые.

Джумаль встала на ноги, пошла к лошадям и без предосторожности освободила от пут стреноженных степных коней. Одну же лошадь она повела за собой, собрала винтовки у спящих, связала их, чтобы они не расходились концами, и взяла с собою поперек седла. Ударив по лошади, Джумаль поехала долгою рысью в пески, свежая от утреннего времени и вспомнившая себя, точно напившись росы. Свободные лошади, не поенные давно, также бросились за нею и бежали не отставая, думая, что будет вода.

Спустя два или три часа она встретила красноармейский разъезд, который разоружил ее и велел дать сведения про басмаческую шайку Атах-бабы.

9

После того события Джумаль долго не была на такыре с глиняной башней — десять лет. Она прожила все это время в Ашхабаде и Ташкенте и окончила сельскохозяйственный институт.

Джумаль Таджиева (она носила фамилию по имени матери) справлялась везде про австрийского военнопленного Катигроба, но о нем не было никаких

сведений. Джумаль знала, что где-то есть близ Заунгусской впадины небольшой заповедник древних растений и там живет всего лишь один человек с винтовой и двумя собаками. Там же, вероятно, находилась глиняная башня и большой такыр. Но выехать ей было некогда, и год за годом она откладывала поездку.

Одною истекшей весной Таджиевой поручили определить место для опытного садоводства в глубине Каракумов. Естественно, что садоводство лучше приурочить к такырной земле, чем к золовым минеральным пескам. Джумаль Таджиева сняла свою европейскую кофту и юбку, надела персидское черное платье, покрылась белой тонкой шалью и утром верхом на лошади выехала одна из Ашхабада. У нее была десятиверстная карта пустыни, и она соображала по ней, где может быть большой такыр. Но вперед она направилась в заповедник древних пустынных растений — она заинтересовалась этим как специалистка и жительница пустыни.

На пятый день скучного пути она неожиданно увидела синий купол башни с золотой змеей и вечный такыр, окружающий ее. Копыта лошади зазвенели по плотным плитам глины, как по мерзлоте; все так же было печально кругом, как будто время не миновало и сама Джумаль осталась юной и угрюмой, не видев городов и рек, не зная в мире ничего, кроме ветра, поющего над ее пустым сердцем.

Был полдень, майское солнце освещало всю песчаную, глинистую, великую и грустную родину Джумаль. Она подъехала к заброшенной башне, построенной когда-то ветхим, погибшим народом. Она сообразила: «Такыр велик, около него есть обильный колодец с пресной водой, я здесь поселюсь, и мы посадим сад, — здесь лежит моя бедная родина».

Джумаль вошла в башню. По-прежнему пусто и неуютно было нижнее помещение. На плитах пола лежала гадость каких-то людей и покоилась раздавленная фаланга. В углу находился скелет человека, покрытый остатками одежды, и кости его были вдавлены внутрь от убийства или посмертного надругательства. Джумаль наклонилась к скелету — кости его давно иссохли, свернутый череп глядел в стену, нескольких ребер не хватало, и грудь была смята, точно ударом кувалды. В лохмотьях австрийской куртки



она нашла карман, но никаких знакомых ей бумаг и памятной книжки там не оказалось. Лишь на стене у выхода осталась надпись химическим карандашом по-немецки:

«Ты придешь ко мне, Джумаль, и мы увидимся».

— Я пришла к тебе, и мы встретились! — сказала Джумаль вслух одна в гулкой башне, под спудом ее высоты.

Выйдя из башни, она поехала по такыру кругом, чтобы снять с него глазомерный план для суждения о размерах будущего садоводства. Проехав несколько верст, она увидела в стороне, в песках, изгородь из колючей проволоки и направилась к ней. За изгородью росли редкие травинки, вдалеке стоял домик сторожа, а среди огороженного участка находились три русских креста над чьими-то могилами и один обычный самородный камень, поставленный вертикально. На камне имелась высеченная надпись латинскими буквами «Старая Джумаль».

Джумаль сошла с лошади и опустилась на колени перед колючей проволокой, закрыв лицо персидским платком, она не знала, что ей нужно сделать иначе. Она вспомнила слова, которые жалобно говорила про кого-то ее покойная мать: «И что это за плохое горькое! Тот, кто ушел, назад никогда не вернется».

Отняв платок от лица, Джумаль разглядела древнее реликтовое растение — серый стебель, росший около камня матери, — она его узнала по рисунку, названию и еще по детской памяти, но значения его раньше не понимала. Следовательно, она доехала, куда хотела, — здесь и был заповедник растений, исчезающих с земли.

ТРЕТИЙ СЫН

В областном городе умерла старуха. Ее муж, семидесятилетний рабочий на пенсии, пошел в телеграфную контору и дал в разные края и республики шесть телеграмм однообразного содержания: «Мать умерла приезжай отец».

Пожилая служащая телеграфа долго считала деньги, ошибалась в счете, писала расписки, накладывала штемпеля дрожащими руками. Старик кротко

глядел на нее через деревянное окошко красными глазами и рассеянно думал что-то, желая отвлечь горе от своего сердца. Пожилая служащая, казалось ему, тоже имела разбитое сердце и навсегда смущенную душу, — может быть, она была вдовицей или по злой воле оставленной женой.

И вот теперь она медленно работает, путает деньги, теряет память и внимание; даже для обыкновенного, несложного труда человеку необходимо внутреннее счастье.

После отправления телеграмм старый отец вернулся домой, он сел на табуретку около длинного стола, у холодных ног своей покойной жены, курил, шептал грустные слова, следил за одинокой жизнью серой птицы, прыгающей по жердочкам в клетке, иногда потихоньку плакал, потом успокаивался, заводил карманные часы, поглядывал на окно, за которым менялась погода в природе, — то падали листья вместе с хлопьями сырого, усталого снега, то шел дождь, то светило позднее солнце, не теплое, как звезда, — и старик ждал сыновей.

Первый, старший сын прилетел на аэроплане на другой же день. Остальные пять сыновей собрались в течение двух следующих суток.

Один из них, третий по старшинству, приехал вместе с дочкой, шестилетней девочкой, никогда не видавшей своего деда.

Мать ждала на столе уже четвертый день, но тело ее не пахло смертью, настолько оно было опрятным от болезни и сухого истощения; давшая сыновьям обильную, здоровую жизнь, сама старуха оставила себе экономичное, маленькое, скупое тело и долго старалась сберечь его, хотя бы в самом жалком виде, ради того, чтобы любить своих детей и гордиться ими, — пока не умерла.

Громадные мужчины — в возрасте от двадцати до сорока лет — безмолвно встали вокруг гроба на столе. Их было шесть человек, седьмым был отец, ростом меньше самого младшего своего сына и слабосильнее его. Дед держал на руках внучку, которая зажмурила глаза от страха перед мертвой, незнакомой старухой, чуть глядящей на нее из-под прикрытых век белыми неморгающими глазами.

Сыновья молча плакали редкими, задержанными

слезами, искажая свои лица, чтобы без звука стерпеть печаль. Отец их уже не плакал, он отплакался один раньше всех, а теперь с тайным волнением, с неуместной радостью поглядывал на могучую полдюжину своих сыновей. Двое из них были моряками — командирами кораблей, один — московским артистом, один, у которого была дочка, — физиком, коммунистом, самый младший учился на агронома, а старший сын работал начальником цеха аэропланного завода и имел орден на груди за свое рабочее достоинство. Все шестеро и седьмой отец бесшумно находились вокруг мертвой матери и молчаливо оплакивали ее, скрывая друг от друга свое отчаяние, свое воспоминание о детстве, о погибшем счастье любви, которое беспрерывно и безвозмездно рождалось в сердце матери и всегда — через тысячи верст — находило их, и они это постоянно, безотчетно чувствовали и были сильней от этого сознания и смелее делали успехи в жизни. Теперь мать превратилась в труп, она больше никого не могла любить и лежала, как равнодушная чужая старуха.

Каждый ее сын почувствовал себя сейчас одиноко и страшно, как будто где-то в темном поле горела лампа на подоконнике старого дома, и она освещала ночь, летающих жуков, синюю траву, рой мошек в воздухе, — весь детский мир, окружающий старый дом, оставленный теми, кто в нем родился; в том доме никогда не были затворены двери, чтобы в него могли вернуться те, кто из него вышел, но никто не возвратился назад. И теперь точно сразу погас свет в ночном окне, а действительность превратилась в воспоминание.

Умирая, старуха наказала мужу-старику, чтобы священник отслужил по ней панихиду, когда она будет лежать дома, а уж выносить и опускать в могилу можно без попа, чтобы не обидеть сыновей и чтобы они могли идти за ее гробом. Старуха не столько верила в бога, сколько хотела, чтобы муж, которого она всю жизнь любила, сильнее тосковал и печалился по ней под звуки пения молитв, при свете восковых свечей над ее посмертным лицом; она не хотела расстаться с жизнью без торжества и без памяти. Старик после приезда детей долго искал какого-либо попа, наконец, привел под вечер одного человека — тоже старичка, одетого обыкновенно, по-штатскому, розово-



го от растительной постной пищи, с оживленными глазами, в которых блестели какие-то мелкие целевые мысли. Поп пришел с военной командирской сумкой на бедре; в ней он принес свои духовные принадлежности: ладан, тонкие свечи, книгу, епитрахиль и маленькое кадило на цепочке. Он быстро устоял и возжег свечи вокруг гроба, раздул ладан в кадиле и сходу, без предупреждения, забормотал чтение по книге. Находившиеся в комнате сыновья поднялись на ноги; им стало неудобно и стыдно чего-то. Они неподвижно, в затылок друг другу, стояли перед гробом, опустив глаза. Перед ними поспешно, почти иронически, шел и бормотал пожилой человек, поглядывая небольшими, понимающими глазами на гвардию потомков покойной старухи. Он их отчасти побаивался, отчасти же уважал и, видимо, не прочь был вступить с ними в беседу и даже высказать энтузиазм перед строительством социализма. Но сыновья молчали, никто, даже муж старухи, не крестился, — это был караул у гроба, а не присутствие на богослужении.

Окончив скорую панихиду, поп быстро собрал свои вещи, потом загасил свечи, горевшие у гроба, и сложил все свое добро обратно в командирскую сумку. Отец сыновей дал ему в руку денег, и поп, не задерживаясь, пробрался сквозь строй шестерых мужчин, не взглянувших на него, и боязливо скрылся за дверью. В сущности же, он с удовольствием бы остался в этом доме на поминки, поговорил бы о перспективах войн и революций и надолго получил бы утешение от свидания с представителями нового мира, которым он втайне восхищался, но проникнуть в него не мог; он мечтал в одиночестве совершить когда-нибудь враз героический подвиг, чтобы прорваться в блестящее будущее, в круг новых поколений. — для этого он даже подал прошение местному аэродрому, чтобы его подняли на самую высокую высоту и оттуда сбросили вниз на парашюте без кислородной маски, — но ему не дали оттуда ответа.

Вечером отец постелил шесть постелей во второй комнате, а девочку-внучку положил на кровати рядом с собой, где сорок лет спала покойная старуха. Кровать стояла в той же большой комнате, где находился гроб, а сыновья перешли в другую. Отец постоял в дверях, пока его дети не разделись и не улеглись, а

московский артист. Ему накрыли чем-то лицо, и он запел из-под прикрытия, чтоб не было стыдно начинать. Пока он пел, младший сын что-то предпринял там, отчего другой его брат сорвался с кровати и упал на третьего, лежавшего на полу. Все засмеялись и велели младшему немедленно поднять и уложить упавшего одной левой рукой. Младший тихо ответил своим братьям, и двое из них захохотали — так громко, что девочка-внучка высунула свою голову из-под одеяла в темной комнате и позвала:

— Дедушка! А дедушка! Ты спишь?

— Нет, я не сплю, я ничего,— сказал старик и робко покашлял.

Девочка не сдержалась и всхлипнула. Старик погладил ее по лицу: оно было мокрое.

— Ты что плачешь? — шепотом спросил старик.

— Мне бабушку жалко, — сказала внучка. — Все живут, смеются, а она одна умерла.

Старик ничего не сказал. Он то сопел носом, то покашливал. Девочке стало страшно, она приподнялась, чтобы лучше видеть деда и знать, что он не спит. Она разглядела его лицо и спросила:

— А почему ты тоже плачешь? Я перестала.

Дед погладил ей головку и шепотом ответил:

— Так... Я не плачу, у меня пот идет.

Девочка сидела на кровати около изголовья старика.

— Ты по старухе скучаешь? — говорила она. — Лучше не плачь: ты старый, скоро умрешь, тогда все равно не будешь плакать.

— Я не буду,— тихо отвечал старик.

В другой шумной комнате вдруг наступила тишина. Кто-то из сыновей перед этим что-то сказал. Там все сразу умолкли. Один сын опять что-то негромко произнес. Старик по голосу узнал третьего сына, ученого-физика, отца девочки. До сих пор не слышно было его звука: он ничего не говорил и не смеялся. Он чем-то успокоил всех своих братьев, и они перестали даже разговаривать.

Вскоре оттуда открылась дверь и вышел третий сын, одетый как днем. Он подошел к матери в гробу и наклонился над ее смутным лицом, в котором не было больше чувства ни к кому.

Стало тихо из-за поздней ночи. Никто не шел и

не ехал по улице. Пять братьев не шевелились в другой комнате. Старик и его внучка следили за своим сыном и отцом, не дыша от внимания.

Третий сын вдруг выпрямился, протянул руку во тьме и схватился за край гроба, но не удержался за него, а только сволок его немного в сторону, по столу, и сам упал на пол. Голова его ударилась, как чужая, о доски пола, но сын не произнес никакого звука, — закричала только его дочь.

Пять братьев в белье выбежали к своему брату и унесли его к себе, чтобы привести в сознание и успокоить. Через несколько времени, когда третий сын опомнился, все другие сыновья уже были одеты в свою форму и одежду, хотя шел лишь второй час ночи. Они поодиночке, тайно разошлись по квартире, по двору, по всей ночи вокруг дома, где жили в детстве, и там заплакали, шепча слова и жалуясь, точно мать стояла над каждым, слышала его и горевала, что она умерла и заставила своих детей тосковать по ней; если б она могла, она бы осталась жить постоянно, чтоб никто не мучился по ней, не гратил бы на нее своего сердца и тела, которое она родила. Но мать не вытерпела жить долго.

Утром шестеро сыновей подняли гроб на плечи и понесли его закапывать, а старик взял внучку на руки и пошел им вслед; он теперь уже привык тосковать по старухе и был доволен и горд, что его также будут хоронить эти шестеро могучих людей, и не хуже.

ФРО

Он уехал далеко и надолго, почти безвозвратно. Паровоз курьерского поезда, удалившись, запел в открытом пространстве на расставание: провожающие ушли с пассажирской платформы обратно к оседлой жизни, появился носильщик со шваброй и начал убирать перрон, как палубу корабля, оставшегося на мели.

— Посторонитесь, гражданка! — сказал носильщик двум одиноким полным ногам.

Женщина отошла к стене, к почтовому ящику, и прочитала на нем сроки выемки корреспонденции: вынимали часто, можно писать письма каждый день.

Она потрогала пальцем железо ящика — оно было прочное, ничья душа в письме не пропадет отсюда.

За вокзалом находился новый железнодорожный город; по белым стенам домов шевелились тени древесных листьев, вечернее летнее солнце освещало природу и жилища ясно и грустно, точно сквозь прозрачную пустоту, где не было воздуха для дыхания.

Накануне ночи в мире все было слишком отчетливо видно, ослепительно и призрачно — он казался поэтому несуществующим.

Молодая женщина остановилась от удивления среди столь странного света: за двадцать лет прожитой жизни она не помнила такого опустевшего, сияющего, безмолвного пространства; она чувствовала, что в ней самой слабеет сердце от легкости воздуха, от надежды, что любимый человек придет обратно. Она увидела свое отражение в окне парикмахерской: наружность пошлая, волосы взбиты и положены воланами (такую прическу носили когда-то в девятнадцатом веке), серые глубокие глаза глядят с напряженной, словно деланной нежностью, — она привыкла любить уехавшего, она хотела быть любимой им постоянно, непрерывно, чтобы внутри ее тела, среди обыкновенной, скучной души, томила и произрастала вторая, милая жизнь. Но сама она не могла любить, как хотела, — сильно и постоянно; она иногда уставала и тогда плакала от огорчения, что сердце ее не может быть неутомимым.

Она жила в новой трехкомнатной квартире; в одной комнате жил ее вдовый отец — паровозный машинист, в двух других помещалась она с мужем, который теперь уехал на Дальний Восток настраивать и пускать в работу таинственные электрические приборы. Он всегда занимался тайнами машин, надеясь посредством механизмов преобразовать весь мир для блага и наслаждения человечества или еще для чего-то — жена его точно не знала.

По старости лет отец ездил редко. Он числился резервным механиком, заменяя заболевших людей, работая на обкатке паровозов, вышедших из ремонта, или водя легковесные составы ближнего сообщения. Год тому назад его попробовали перевести на пенсию. Старик, не зная, что это такое, согласился, но, прожив четыре дня на свободе, на пятый день вышел за сема-

фор, сел на бугор в полосе отчуждения и просидел там до темной ночи, следя плачущими глазами за паровозами, тяжело бегущими во главе поездов. С тех пор он начал ходить на тот бугор ежедневно, чтобы смотреть на машины, жить сочувствием и воображением, а к вечеру являться домой усталым, будто вернувшись с тягового рейса. На квартире он мыл руки, вздыхал, говорил, что на девятитысячном уклоне у одного вагона отвалилась тормозная колодка или еще случилось что-нибудь такое, затем робко просил у дочери вазелина, чтобы смазать левую ладонь, якобы натруженную о тугой регулятор, ужинал, бормотал и вскоре спал в блаженстве. Наутро отставной механик снова шел в полосу отчуждения и проводил очередной день в наблюдении, в слезах, в фантазии, в сочувствии, в неистовстве одинокого энтузиазма. Если, с его точки зрения, на идущем паровозе была неполадка или машинист вел машину не по форме, он кричал ему со своего высокого пункта осуждение и указание: «Воды перекачал! Открой кран, стервец! Продуй!», «Песок береги: станешь на подъеме! Чего ты сыплешь его сдуру?», «Подтяни фланцы, не теряй пара: что у тебя — машина или баня?» При неправильном составе поезда, когда легкие пустые платформы находились в голове и в середине поезда и могли быть задавлены при экстренном торможении, свободный механик грозил кулаком с бугра хвостовому кондуктору. А когда шла машина самого отставного машиниста и ее вел его бывший помощник Вениамин, старик всегда находил наглядную неисправность в паровозе — при нем так не было — и советовал машинисту принять меры против его небрежного помощника: «Веньяминчик, Веньяминчик, брызни ему в морду!» — кричал старый механик с бугра своего отчуждения.

В пасмурную погоду он брал с собой зонт, а обед ему приносила на бугор его единственная дочь, потому что ей было жалко отца, когда он возвращался вечером, худой, голодный и бешеный от неудовлетворенного рабочего возжелания. Но недавно, когда устаревший механик, по обычаю, орал и ругался со своей возвышенности, к нему подошел парторг депо товарищ Пискунов; парторг взял старика за руку и отвел в депо. Конторщик депо снова записал старика на паровозную службу. Механик вошел в будку одной

холодной машины, сел у котла и задремал, истощенный собственным счастьем, обнимая одной рукою паровозный котел, как живот всего трудящегося человечества, к которому он снова приобщился.

— Фрося! — сказал отец дочери, когда она вернулась со станции, проводив мужа в дальний путь. — Фрося, дай мне из печки чего-нибудь пожевать, а то как бы меня ночью не вызвали ехать...

Он ежеминутно ожидал, что его вызовут в поездку, но его вызывали редко — раз в три-четыре дня, когда подбирался сборный, легковесный маршрут либо случалась другая нетрудная нужда. Все-таки отец боялся выйти на работу несатым, неподготовленным, угрюмым, поэтому постоянно заботился о своем здоровье, бодрости и правильном пищеварении, расценивая сам себя как ведущий железный кадр.

— Гражданин механик! — с достоинством и членораздельно говорил иногда старик, обращаясь лично к себе, и многозначительно молчал в ответ, как бы слушая далекую оvation.

Фрося вынула горшок из духового шкапа и дала отцу есть. Вечернее солнце просвечивало квартиру насквозь, свет проникал до самого тела Фроси, в котором грелось ее сердце и непрерывно срабатывало текущую кровь и жизненное чувство. Она ушла в свою комнату. На столе у нее была детская фотография ее мужа; позже детства он ни разу не снимался, потому что не интересовался собой и не верил в значение своего лица. На пожелтевшей карточке стоял мальчик с большой, младенческой головой, в бедной рубашке, в дешевых штанах и босой; позади него росли волшебные деревья, и в отдалении находились фонтан и дворец. Мальчик глядел внимательно в еще мало-знакомый мир, не замечая позади себя прекрасной жизни на холсте фотографа. Прекрасная жизнь была в самом этом мальчике с широким, воодушевленным и робким лицом, который держал в руках ветку травы вместо игрушки и касался земли доверчивыми голыми ногами.

Уже ночь наступила. Поселковый пастух пригнал на ночлег молочных коров из степи. Коровы мычали, просясь на покой к хозяевам: женщины, домашние хозяйки, уводили их ко двору — долгий день остывал в ночь; Фрося сидела в сумраке, в блаженстве любви и

памяти к уехавшему человеку. За окном, начав прямой путь в небесное счастливое пространство, росли сосны, слабые голоса каких-то ничтожных птиц напевали последние, дремлющие песни, сторожа тьмы, кузнечики, издавали свои кроткие мирные звуки — о том, что все благополучно и они не спят и видят.

Отец спросил у Фроси, не пойдет ли она в клуб: там сегодня новая постановка, бой цветов и выступление затейников из кондукторского резерва.

— Нет,— сказала Фрося,— я не пойду. Я по мужу буду скучать.

— По Федьке? — произнес механик.— Он явится: пройдет один год — и он тут будет... Скучай себе, а то что ж! Я, бывало, на сутки, на двое уеду — твоя покойница мать и то скучала: мешанка была!

— А я вот не мешанка, а скучаю все равно! — с удивлением проговорила Фрося.— Нет, наверно, я тоже мешанка...

Отец успокоил ее:

— Ну, какая ты мешанка!.. Теперь их нет, они умерли давно. Тебе до мешанки еще долго жить и учиться нужно: те хорошие женщины были...

— Папа, ступай в свою комнату,— сказала Фрося.— Я тебе скоро ужинать дам, я сейчас хочу быть одна...

— Ужинать сейчас пора! — согласился отец.— А то кабы из депо вызывальщик не пришел: может, заболел кто либо, запыняствовал или в семействе драма-шутка, мало ли что. Я тогда должен враз явиться: движение остановиться никогда не может!.. Эх, Федька твой на курьерском сейчас мчится, зеленые сигналы ему горят, на сорок километров вперед ему дорогу освобождают, механик далеко глядит, машину ему электричество освещает — все как полагается!

Старик мешкал уходить, топтался и бормотал свои слова дальше: он любил быть с дочерью или другим человеком, когда паровоз не занимал его сердца и ума.

— Папа, ступай ужинать! — велела ему дочь, она хотела слушать кузнечиков, видеть ночные сосны за окном и думать про мужа.

— Но, на дерьмо сошла! — тихо сказал отец и удалился прочь.

Накормив отца, Фрося ушла из дому. В клубе шло ликование. Там играла музыка, потом слышно было, как

пел хор затейников из кондукторского резерва: «Ах, ель, что за ель! Ну что за шишечки на ней!», «Ту-ту-ту-ту: паровоз, ру-ру-ру-ру: самолет, пыр-пыр-пыр-пыр: ледокол... Вместе с нами пагибайся, вместе с нами подымайся, говори ту-ту-ру-ру, шевелился каждый гроб, больше пластики, культуры, производство — наша цель!..»

Публика в клубе шевелилась, робко бормотала и мучилась, ради радости, вслед за затейниками.

Фрося прошла мимо; дальше уже было пусто, начались защитные посадки по сторонам главного пути. Издали, с востока, шел скорый поезд, паровоз работал на большой отсечке, машина с битвой брала пространство и светила со своего фронта вперед сияющим прожектором. Этот поезд встретил где-то курьерский состав, бегущий на Дальний Восток, эти вагоны видели его позже, чем рассталась Фрося со своим любимым человеком, и она теперь с прилежным вниманием разглядывала скорый поезд, который был рядом с ее мужем после нее. Она пошла обратно к станции, но пока она шла, поезд постоял и уехал; хвостовой вагон исчез во тьму, забывая про всех встречных и минувших людей. На перроне и внутри вокзала Фрося не увидела ни одного незнакомого, нового человека — никто из пассажиров не сошел со скорого поезда, не у кого было спросить что-нибудь про встречный курьерский поезд и про мужа. Может быть, кто-нибудь видел его и знает что!

Но в вокзале сидели лишь две старушки, ожидавшие полуночного поезда местного сообщения, и дневной мужик опять мел ей сор под ноги. Они всегда могут, когда хочется стоять и думать, им никто не нравится.

Фрося отошла немного от метущего мужика, но он опять подбирался к ней.

— Вы не знаете,— спросила она его,— что, курьерский поезд номер второй, он благополучно едет? Он днем уехал от нас. Что, на станцию ничего не сообщали о нем?

— На перрон полагается выходить, когда поезд подойдет,— сказал уборщик.— Сейчас поездов не ожидается, идите в вокзал, гражданка... Постоянно тут публичность разная находится, лежали бы дома на койках и читали газету. Нет, они не могут — надо посорить пойти...

Фрося отправилась по путям, по стрелкам — в другую сторону от вокзала. Там было круглое депо товарных паровозов, углеподача, шлаковые ямы и паровозный круг. Высокие фонари ярко освещали местность, над которой бродили тучи пара и дыма: некоторые машины мощно сифонили, подымая пар для поездки, другие спускали пар, остужаясь под промывку.

Мимо Фроси прошли четыре женщины с железными совковыми лопатами, позади них шел мужчина — рядчик или бригадир.

— Кого потеряла здесь, красавица? — спросил он у Фроси. — Потеряла — не найдешь, кто уехал — не вернется... Идем с нами транспорту помогать!

Фрося задумалась.

— Давай лопату! — сказала она.

— На тебе мою, — ответил бригадир и подал женщине инструмент. — Бабы! — сказал он прочим женщинам. — Ступайте становиться на грядку яму, а я буду на первой...

Он отвел Фросю на шлаковую яму, куда паровозы очищали свои топки, и велел работать, а сам ушел. В яме уже работали две другие женщины, выкидывая наружу горячий шлак. Фрося тоже спустилась к ним и начала трудиться, довольная, что с ней рядом находятся неизвестные подруги. От гари и газа дышать было тяжело, кидать шлак наверх оказалось нудно и несподручно, потому что яма была узкая и жаркая. Но зато в душе Фроси стало лучше: она здесь развлекалась, жила с людьми — подругами — и видела большую, свободную ночь, освещенную звездами и электричеством. Любовь мирно спала в ее сердце; курьерский поезд далеко удалился, на верхней полке жесткого вагона спал, окруженный Сибирью, ее милый человек. Пусть он спит и не думает ничего! Пусть машинист глядит далеко вперед и не допустит крушения.

Вскоре Фрося и еще одна женщина вылезли из ямы. Теперь нужно было выкинутый шлак нагрузить на платформу. Швыряя гарь за борт платформы, женщины поглядывали друг на друга и время от времени говорили, чтоб отдыхать и дышать воздухом.

Подруге Фроси было лет тридцать. Она зябла чего-то и поправляла или жалела на себе бедную одежду. Ее сегодня выпустили из ареста, она просидела там четыре дня по навету злого человека. Ее муж служит сто-

рожем, он бродит с берданкой вокруг кооператива всю ночь, получает шестьдесят рублей в месяц. Когда она сидела, сторож плакал по ней и ходил к начальству просить, чтоб ее выпустили, а она жила до ареста с одним полюбовником, который рассказал ей нечаянно, под сердце (должно быть, от истомы или от страха), про свое мошенничество, а потом, видно, испугался и хотел погубить ее, чтоб не было ему свидетеля. Но теперь он сам попался, пускай уж помучается, а она будет жить с мужем на воле: работа есть, хлеб теперь продают, а одежду они вдвоем как-нибудь наживут.

Фрося сказала ей, что у нее тоже горе: муж уехал далеко.

— Уехал — не умер, назад возвратится! — утешительно сообщила Фросе ее рабочая подруга. — А я там, в аресте, заскучала, загорюнилась. Раньше не сидела, не привыкла, если б сидела, тогда и горя мало. А я уж всегда невинная такая была, что власть меня не трогала... Вышла я оттуда, пришла домой, муж мой обрадовался, заплакал, а обнимать меня боится: думает, я преступница, важный человек. А я такая же, я доступная... А вечером ему на дежурство надо уходить, так-то печально нам стало. Он берет берданку: «Пойдем, говорит, я тебя фруктовой водой угощу». А у меня тоска идет, не проходит. Я ему велела сходить в буфет одному, пускай уж сладкой воды он один выпьет, а когда соберутся у нас деньги и отляжет от меня тюремная тоска, тогда мы сходим в буфет вдвоем. Сказала я ему, а сама пошла на пути, сюда работать. Может, думаю, балласт где подбивают, рельсы меняют либо еще что. Хоть и ночное время, а работа всегда случается. Думаю, вот с людьми там побуду, сердцем отойду, опять спокойная стану. И правда, поговорила сейчас с тобой, как сестру двоюродную встретила... Ну, давай платформу кончать — в конторе денег дадут, утром пойду хлеба куплю... Фрося! — крикнула она в шлаковую яму: там работала тезка верхней Фроси. — Много там осталось?

— Не, — ответила тамошняя Фрося, — тут малость, поскребышки одни...

— Лезай сюда, — велела ей жена берданочного сторожа. — Кончим скорей, вместе расчет пойдем получать.

Вокруг них с шумом набирались сил паровозы для

дальнего пути или, наоборот, остывали на отдых, испуская в воздух свое дыхание.

Пришел нарядчик.

— Ну как, бабы? Кончили яму?.. Ага! Ну, валите в контору, я сейчас приду. А там, — деньги получите, — там видно будет: кто в клуб танцевать, кто домой — детей починать! Вам делов много!

В конторе женщины расписались: Ефросинья Евстафьева, Наталья Букова и три буквы, похожие на слово «Ева», с серпом и молотом на конце, вместо еще одной Ефросиньи, у которой был рецидив неграмотности. Они получили по три рубля двадцать копеек и пошли по своим дворам. Фрося Евстафьева и жена сторожа Наталья шли вместе. Фрося зазвала к себе домой новую подругу, чтобы умыться и почиститься.

Отец спал в кухне, на сундуке, вполне одетый, даже в толстом, зимнем пиджаке и в шапке со значком паровоза: он ожидал внезапного вызова либо какой-то всеобщей технической аварии, когда он должен мгновенно появиться в середине бедствия.

Женщины тихо справились со своими делами, немного попудрились, улыбнулись и ушли. Сейчас уже поздно было, в клубе, наверно, начались танцы и бой цветов. Пока муж Фроси спит в жестком вагоне вдалеке и его сердце все равно ничего не чувствует, не помнит, не любит ее, она точно одна на всем свете, свободная от счастья и тоски, и ей хотелось сейчас немного потанцевать, послушать музыку, подержаться за руки с другими людьми. А утром, когда он проснется там один и сразу вспомнит ее, она, может быть, заплачет.

Две женщины бегом добежали до клуба. Прошел местный поезд: полночь, еще не очень поздно. В клубе играл самодеятельный джаз-оркестр. Фросю Евстафьеву сразу пригласил на тур вальса «Рио-Рита» помощник машиниста.

Фрося пошла в танце с блаженным лицом: она любила музыку, ей казалось, что в музыке печаль и счастье соединены неразлучно, как в истинной жизни, как в ее собственной душе. В танце она слабо помнила сама себя, она находилась в легком сне, в удивлении, и тело ее, не напрягаясь, само находило нужное движение, потому что кровь Фроси согревалась от мелодии.

— А бой цветов уже был? — тихо, часто дыша, спросила она у кавалера.

— Только недавно кончился, почему вы опоздали? — многозначительно произнес помощник машиниста, точно он любил Фросю вечно и томился по ней постоянно.

— Ах, как жалко! — сказала Фрося.

— Вам здесь нравится? — спросил кавалер.

— Ну конечно, да! — отвечала Фрося. — Здесь так прекрасно!

Наташа Букова танцевать не умела, она стояла в зале у стены и держала в руках шляпу своей ночной подруги.

В перерыве, когда отдыхал оркестр, Фрося и Наташа пили сидро и выпили две бутылки. Наташа только один раз была в этом клубе, и то давно. Она разглядывала чистое, украшенное помещение с кроткой радостью.

— Фрось, а Фрось! — прошептала она. — Что ж, при социализме-то все комнаты такие будут ай нет?

— А какие же? Конечно, такие! — сказала Фрося. — Ну, может, немножко только лучше.

— Это бы ничего! — согласилась Наталья Букова.

После перерыва Фрося танцевала опять. Ее пригласил теперь маневровый диспетчер. Музыка играла фокстрот «Мой бебе», диспетчер держал крепко свою партнершу, стараясь прижаться своею щекою к прическе Фроси, но Фросю не волновала эта скрытая ласка, она любила далекого человека, сжато и глухо было ее бедное тело.

— Ну, как же вас зовут? — говорил кавалер среди танца ей на ухо. — Мне знакомо ваше лицо, я только забыл, кто ваш отец.

— Фро! — ответила Фрося.

— Фро? Вы не русская?

— Ну конечно, нет!

Диспетчер размышлял.

— Почему же нет? Ведь отец ваш русский: Евстафьев!

— Не важно, — прошептала Фрося. — Меня зовут Фро!

Они танцевали молча. Публика стояла у стен и наблюдала танцующих. Танцевало всего три пары людей, остальные стеснялись или не умели. Фрося ближе склонила голову к груди диспетчера, он видел под своими глазами ее пышные волосы в старинной прическе, и эта ослабевшая доверчивость была ему мила и приятна. Он гордился перед народом. Он даже хотел ухитриться

осторожно погладить ее голову, но побоялся публичной огласки. Кроме того, в публике находилась его сговоренная невеста, которая могла ему сделать потом увечье за близость с этой Фро. Диспетчер поэтому слегка отпрянул от женщины ради приличия, но Фро опять прилегла к его груди, к его галстуку, и галстук сдвинулся под тяжестью ее головы в сторону, а в сорочке образовалась щиринка с голым телом. В страхе и неудобстве диспетчер продолжал танец, ожидая, когда музыка кончит играть. Но музыка играла все более взволнованно и энергично, и женщина не отставала от своего обнимающего ее друга. Он почувствовал, что по его груди, оголившейся под галстуком, пробираются щеко-чущие капли влаги — там, где растут у него мужественные волосы.

— Вы плачете? — испугался диспетчер.

— Немножко, — прошептала Фро. — Отведите меня к двери. Я больше не буду танцевать.

Кавалер, не сокращая танца, подвел Фросю к выходу, и она сразу вышла в коридор, где мало людей.

Наташа вынесла шляпу подруге. Фрося пошла домой, а Наташа направилась к складу кооператива, который сторожил ее муж. Рядом с тем складом был двор строительных материалов, а его караулила одна милотвидная женщина, и Наташа хотела проверить, нет ли у ее мужа с той сторожихой тайной любви и симпатии.

На другой день утром Фрося получила телеграмму с сибирской станции, из-за Урала. Ей писал муж: «Дорогая Фро, я люблю тебя и вижу во сне».

Отца не было дома. Он ушел в депо: посидеть и поговорить в красном уголке, почитать «Гудок», узнать, как прошла ночь на тяговом участке, а потом зайти в буфет, чтобы выпить с попутным приятелем пивца и побеседовать кратко о душевных интересах.

Фрося не стала чистить зубы; она умылась еле-еле, поплескав немного водою в лицо, и больше не позаботилась о красоте своей наружности. Ей не хотелось тратить время на что-нибудь, кроме чувства любви, и в ней не было теперь женского прилежания к своему телу. Над потолком комнаты Фроси, на третьем этаже, все время раздавались короткие звуки губной гармонии; потом музыка утихала, но вскоре играла опять. Фрося просыпалась сегодня еще темным утром, потом она опять уснула, — и тогда она тоже слышала над собой

эту скромную мелодию, похожую на песню серой рабочей птички в поле, у которой для песни не остается дыхания, потому что сила ее тратится в труде. Там, наверху, жил маленький мальчик, сын токаря из депо. Отец, наверно, ушел на работу, мать стирает белье,— скучно, скучно ему. Не поев пищи, Фрося ушла на занятия — на курсы железнодорожной связи и сигнализации.

Ефросинья Евстафьева не была на курсах четыре дня, и по ней уже соскучились, наверно, подруги, а она шла к ним сейчас без желания. Фросе многое прощали на курсах за ее способность к ученью, за ее глубокое понимание предмета технической науки; но она сама не знала ясно, как это у нее получается,— во многом она жила подражанием своему мужу, человеку, окончившему два технических института, который чувствовал машинные механизмы с точностью собственной плоти.

Вначале Фрося училась плохо. Ее сердце не привлекали катушки Пупина, релейные упряжки или расчет сопротивления железной проволоки. Но уста ее мужа однажды произнесли эти слова, и больше того, он с искренностью воображения воплощающегося даже в темные, неинтересные машины, представил ей оживленную работу загадочных, мертвых для нее предметов и тайное качество их чуткого расчета, благодаря которому машины живут. Муж Фроси имел свойство чувствовать величину напряжения электрического тока, как личную страсть. Он одушевлял все, чего касались его руки или мысль, и поэтому приобретал истинное представление о течении сил в любом механическом устройстве и непосредственно ощущал страдальческое, терпеливое сопротивление машинного телесного металла.

С тех пор катушки, мостики Уитстона, контакторы, единицы светосилы стали для Фроси священными вещами, словно они сами были одухотворенными частями ее любимого человека; она начала понимать их и беречь в уме, как в душе. В трудных случаях Фрося, приходя домой, уныло говорила: «Федор, там микрофарада и еще блуждающие токи, мне скучно». Не обнимая жену после дневной разлуки, Федор сам превращался на время в микрофараду и в блуждающий ток. Фрося почти видела глазами то, что раньше лишь хотела и не могла понять. Это были такие же простые, природные и влекущие предметы, как разноцветная трава в поле. По но-

чам Фрося часто тосковала, что она только женщина и не может чувствовать себя микрофарадой, паровозом, электричеством, а Федор — может, — и она осторожно водила пальцем по его горячей спине; он спал и не просыпался. Он всегда был почему-то весь горячий, странный, любил тратить деньги на пустяки, мог спать при шуме, ел одинаково всякую пищу — хорошую и невкусную, никогда не болел, собирался поехать в Южный советский Китай и стать там солдатом...

На курсах Евстафьева сидела теперь со слабой, рассеянной мыслью, ничего не усваивая из очередных лекций. Она с унынием рисовала с доски в тетрадь векторную диаграмму резонанса токов и с печалью слушала речь преподавателя о влиянии насыщения железа на появление высших гармоник. Федора не было; сейчас ее не прельщала связь и сигнализация, и электричество стало чуждым. Катушки Пупина, микрофаряды, уитстоновские мостикки, железные сердечники засохли в ее сердце, а высших гармоник тока она не понимала ни сколько: в ее памяти звучала все время однообразная песенка детской губной гармонии: «Мать стирает белье, отец на работе, не скоро придет, скучно, скучно одному».

Фрося отстала вниманием от лекции и писала себе в тетрадь свои мысли: «Я глупа, я жалкая девчонка, Федя, приезжай скорей, я выучу связь и сигнализацию, а то умру, похоронишь меня и уедешь в Китай».

Дома отец сидел обутый, одетый и в шапке. Сегодня его вызовут в поездку обязательно — он так предполагал.

— Пришла? — спросил он у дочери; он рад был, когда кто-нибудь приходил в квартиру; он слушал все шаги по лестнице, точно постоянно ожидал необыкновенного гостя, несущего ему счастье, вшитое в шапку.

— Тебе каши с маслом не подогреть? — спрашивал отец. — Я живо.

Дочь отказалась.

— Ну колбаски поджарю!

— Нет! — сказала Фрося.

Отец ненадолго умолкал; потом опять спрашивал, но более робко:

— Может, чайку с сушками выпьешь? Я ведь враз согрею...

Дочь молчала.

— А макароны вчерашние!.. Они целы, я их тебе оставил...

— Да отстань ты, наконец! — говорила Фрося. — Хоть бы тебя на Дальний Восток командировали...

— Просился — не берут, говорят — стар, зрение неважное, — объяснял отец.

Он боялся, что Фрося сейчас уйдет в свою комнату, а ему хотелось, чтоб она побыла с ним и поговорила, и старый человек искал повода задержать около себя Фросю.

— Что ж ты сегодня себе губки во рту не помазал? — спросил он. — Иль помада вся вышла? Так я сейчас куплю, сбегая в аптеку...

У Фроси показались слезы в ее серых глазах, и она ушла к себе в комнату. Отец остался один: он начал прибирать кухню и возиться по хозяйству, потом сел на корточки, открыл дверку духового шкапа, спрятал туда голову и там заплакал над сковородой с макаронами.

В дверь постучали, Фрося не вышла открывать. Старик вынул голову из духовки, все тряпки висели грязные, он вытер лицо о веник и пошел отворять дверь.

Пришел вызывальщик из депо.

— Расписывайся, Нефед Степанович: сегодня тебе в восемь часов явиться — поедешь сопровождать холодный паровоз в капитальный ремонт. Прицепят к триста десятому сборному, харчей возьми и одёжу, ране недели не обернешься...

Нефед Степанович расписался в книге, вызывальщик ушел. Старик открыл свой железный сундучок — там уже лежал еще вчерашний хлеб, лук и кусок сахара. Механик добавил туда осьмушку пшена, два яблока, подумал и запер дорожный сундучок на громадный висячий замок.

Затем он осторожно постучал в дверь комнаты Фроси.

— Дочка!.. Закрой за мной, я в рейс поехал — недели на две. Дали паровоз серии «Ща»: он холодный, но ничего.

Фрося вышла не сразу, когда отец уже ушел, — и закрыла дверь квартиры.

— Играй! Отчего ты не играешь? — шептала Фрося вверх, где жил мальчик с губной гармоникой.

Но он отправился, наверно, гулять — стояло лето, шел долгий день, ветер успокаивался на вечер среди

сонных, блаженных сосен. Музыкант был еще мал, он еще не выбрал из всего мира что-нибудь единственное для вечной любви, его сердце билось пустым и свободным, ничего не похищая для одного себя из добра жизни.

Фрося открыла окно, легла на большую постель и задремала. Слышно было, как слабо поскрипывали стволы сосен от верхнего течения воздуха и трещал один дальний кузнечик, не дождавшись времени тьмы.

Фрося пробудилась; еще светло на свете, надо было вставать жить. Она засмотрелась на небо, полное греющего тепла, покрытое живыми следами исчезающего солнца, словно там находилось счастье, которое было сделано природой из всех своих чистых сил, чтобы счастье от нее снаружи проникло внутрь человека.

Меж двух подушек Фрося нашла короткий волос; он мог принадлежать только Федору. Она рассмотрела волос на свет, он был седой: Федору шел уже двенадцать девятый год, и у него росли седые волосы, штук двадцать. Отец тоже седой, но он никогда даже близко не подходил к их постели. Фрося принюхалась к подушке, на которой спал Федор, — она еще пахла его телом, его головой, наволочку не мыли с тех пор, как в последний раз поднялась с нее голова мужа. Фрося уткнулась лицом в подушку Федора и затихла.

Наверху, на третьем этаже, вернулся мальчик и заиграл на губной гармонике — ту же музыку, которую он играл сегодня темным утром. Фрося встала и спрятала волос мужа в пустую коробочку на своем столе. Мальчик перестал играть: ему пора спать, он ведь рано встает — или он занялся с отцом, пришедшим с работы, и сидит у него на коленях. Мать его колет сахар щипцами и говорит, что надо прикупить белья: старое износилось и рвется, когда его моешь. Отец молчит, он думает: «Обойдемся так».

Весь вечер Фрося ходила по путям станции, ближним рощам и по полям, заросшим рожью. Она побывала около шлаковой ямы, где вчера работала, — шлаку опять было почти полно, но никто не работал. Наташа Букова жила неизвестно где, ее вчера Фрося не спросила; к подругам и знакомым она идти не хотела, ей было чего-то стыдно перед всеми людьми — говорить с другими о своей любви она не могла, а прочая жизнь стала для нее неинтересна и мертва. Она прошла мимо



кооперативного склада, где одинокий муж Наташи ходил с берданкой, Фрося хотела ему дать несколько рублей, чтобы он выпил завтра с женою фруктовой воды, но постеснялась.

— Проходите, гражданка! Здесь нельзя находиться: здесь склад, казенное место,— сказал ей сторож, когда Фрося остановилась и нащупывала деньги где-то в скважинах своей куртки.

Далее складов лежали запустелые, порожние земли, там росла какая-то небольшая, жесткая, злостная трава. Фрося пришла в то место и постояла в томлении среди мелкого мира худой травы, откуда, казалось, до звезд было километра два.

«Ах, Фро, Фро, хоть бы обнял тебя кто-нибудь!» — сказала она себе.

Возвратившись домой, Фрося сразу легла спать, потому что мальчик, игравший на губной гармонике, уже спал давно и кузнечики тоже перестали трещать. Но ей что-то мешало уснуть. Фрося огляделась в сумраке и принялась: ее беспокоила подушка, на которой рядом с ней спал когда-то Федор. От подушки все еще исходил глеющий, земляной запах теплого, знакомого тела, и от этого запаха в сердце Фроси начиналась тоска. Она завернула подушку Федора в простыню и спрятала ее в шкаф, а потом уснула одна, по-сиротски.

На курсы связи и сигнализации Фрося больше не пошла — все равно ей наука теперь стала непонятна. Она жила дома и ожидала письма или телеграммы от Федора, боясь, что почтальон унесет письмо обратно, если не застанет никого дома. Однако минуло уже четыре дня, потом шесть, а Федор не присылал никакой вести, кроме первой телеграммы.

Отец вернулся из рейса, отведя холодный паровоз, он был счастливый, что поездил и потруился, что видел много людей, дальние станции и различные происшествия; теперь ему надолго хватит, что вспомнить, подумать и рассказать. Но Фрося его не спросила ни о чем; тогда отец начал рассказывать ей сам — как шел холодный паровоз и приходилось не спать по ночам, чтобы слесари попутных станций не сняли с машины деталей; где продают дешевые ягоды, а где их весной морозом побил. Фрося ему ничего не отвечала, и даже когда Нифед Степанович говорил ей про маркизет и про искусственный шелк в Свердловске, дочь не заинтересовалась

его словами. «Фашистка она, что ль? — подумал про нее отец. — Как же я ее зачал от жены? Не помню!»

Не дождавшись ни письма, ни телеграммы от Федора, Фрося поступила работать в почтовое отделение письмоноском. Она думала, что письма, наверно, пропадают, и поэтому сама хотела носить их всем адресатам в целости. А письма Федора она хотела получать скорее, чем принесет их к ней посторонний, чужой письмоносец, и в ее руках они не пропадут. Она приходила в почтовую экспедицию раньше других письмоносцев — еще не играл мальчик на губной гармонии на верхнем этаже — и добровольно принимала участие в разборке и распределении корреспонденции. Она прочитывала адреса всех конвертов, приходивших в поселок, — Федор ничего ей не писал. Все конверты назначались другим людям, и внутри конвертов лежали какие-то неинтересные письма. Все-таки Фрося аккуратно, два раза в день, разносила письма по домам, надеясь, что в них лежит утешение для местных жителей. На утренней заре она быстро шла по улице поселка с тяжелой сумкой на животе, как беременная, стучала в двери и подавала письма и бандероли людям в подштанниках, оголенным женщинам и небольшим детям, проснувшимся прежде взрослых. Еще темно-синее небо стояло над окрестной землей, а Фрося уже работала, спеша утомить ноги, чтобы устало ее тревожное сердце. Многие адресаты интересовались ею по существу жизни и при получении корреспонденции задавали бытовые вопросы. «За девяносто два рубля в месяц работаете?» «Да, — говорила Фрося. — Это с вычетами». Один получатель журнала «Красная новь» предложил Фросе выйти за него замуж — в виде опыта: что получится, может быть, счастье будет, а оно полезно. «Как вы на это реагируете?» — спросил подписчик. «Подумаю», — ответила Фрося. «А вы не думайте! — советовал адресат. — Вы приходите ко мне в гости, почувствуйте сначала меня: я человек нежный, читающий, культурный — вы же видите, на что я подписываюсь! Это журнал, он выходит под редакцией редколлегии, там люди умные, вы видите, и там не один человек, и мы будем двое! Это же все солидно, и у вас, как у замужней женщины, авторитета будет больше!.. А девушка — это что, одиночка, антиобщественница какая-то!»

Много людей узнала Фрося, стоя с письмом или па-

кетом у чужих дверей. Ее пытались угощать вином и закуской, и ей жаловались на свою частную, текущую судьбу. Жизнь нигде не имела пустоты и спокойствия.

Уезжая, Федор обещал Фросе сразу же сообщить адрес своей работы: он сам не знал точно, где он будет находиться. Но вот уже прошло четырнадцать дней со времени его отъезда, а от него нет никакой корреспонденции, и ему некуда писать. Фрося терпела эту разлуку, она все более скоро разносила почту, все более часто дышала, чтобы занять сердце посторонней работой и утомить его отчаяние. Но однажды она нечаянно закричала среди улицы — во время второй почты. Фрося не заметила, как в ее груди внезапно сжалось дыхание, закатилось сердце, и она протяжно закричала высоким, поющим голосом. Ее видели прохожие люди. Опомнясь, Фрося тогда убежала в поле вместе с почтовой сумкой, потому что ей трудно стало терпеть свое пропадающее, пустое дыхание; там она упала на землю и стала кричать, пока сердце ее не прошло.

Фрося села, оправдала на себе платье и улыбнулась, ей было теперь опять хорошо, больше кричать не надо.

После разноски почты Фрося зашла в отделение телеграфа, там ей передали телеграмму от Федора с адресом и поцелуем. Дома она сразу, не приняв пищи, стала писать письмо мужу. Она не видела, как кончился день за окном, не слушала мальчика, который играл перед сном на своей губной гармонии. Отец, постучавшись, принес дочери стакан чая, булку с маслом и зажег электрический свет, чтобы Фрося не портила глаз в сумраке.

Ночью Нефед Степанович задремал в кухне на сундуке. Его уже шесть дней не вызывали в депо; он полагал, что в сегодняшнюю ночь ему не миновать поездки, и ожидал шагов вызывальщика на лестнице.

В час ночи в кухню вошла Фрося со сложенным листом бумаги в руке.

— Папа!

— Ты что, дочка? — Старик спал слабо и чутко.

— Отнеси телеграмму на почту, а то я устала.

— А вдруг — я уйду, а вызывальщик придет? — испугался отец.

— Обождет, — сказала Фрося. — Ты ведь недолго будешь ходить... Только ты сам не читай телеграммы, а отдай ее там в окошко.

— Не буду,— обещал старик.— А ты же письмо писала, давай заодно отнесу.

— Тебя не касается, что я писала... У тебя деньги есть?

У отца деньги были; он взял телеграмму и отправился. В почтово-телеграфной конторе старик прочитал телеграмму. «Мало ли что,— решил он,— может, дочка заблуждение пишет, надо поглядеть».

Телеграмма назначалась Федору на Дальний Восток: «Выезжай первым поездом твоя жена дочь Фрося умирает при смерти осложнение дыхательных путей отец Нефед Евстафьев».

«Их дело молодое!» — подумал Нефед Степанович и отдал телеграмму в приемное окно.

— А я ведь видела сегодня Фросю! — сказала телеграфная служащая.— Неужели она заболела?

— Стало быть, так,— объяснил машинист.

Утром Фрося велела отцу опять идти на почту — отнести ее заявление, что она добровольно увольняется с работы вследствие болезненного состояния здоровья. Старик пошел опять, ему все равно в депо хотелось идти.

Фрося принялась чинить белье, штопать носки, мыть полы и убирать квартиру и никуда не ходила из дома.

Через двое суток пришел ответ «молнией»: «Выезжаю беспокоюсь мучаюсь не хороните без меня Федор».

Фрося точно сосчитала время приезда мужа, и на седьмой день после получения телеграммы она ходила по перрону вокзала, дрожащая и веселая. С востока без опоздания прибывал транссибирский экспресс. Отец Фроси находился гут же, на перроне, но держался в отдалении от дочери, чтобы не мешать ее настроению.

Механик экспресса подвел поезд к станции с роскошной скоростью и мягко, нежно посадил состав на тормоза. Нефед Степанович, наблюдая эту вещь, немного прослезился, позабыв даже, зачем он сюда пришел.

Из поезда на этой станции вышел только один пассажир. Он был в шляпе, в длинном синем плаще, запавшие глаза его блестели от внимания. К нему побежала женщина.

— Фро! — сказал пассажир и бросил чемодан на перрон.

Отец потом поднял этот чемодан и понес его следом за дочерью и зятем.

На полдороге дочь обернулась к отцу.

— Папа, ступай в депо, попроси, чтобы тебе поездку дали,— тебе ведь скучно все время дома сидеть...

— Скучно,— согласился старик.— Сейчас пойду. Возьми у меня чемодан.

Зять глядел на старого машиниста.

— Здравствуйте, Нефед Степанович!

— Здравствуй, Федя! С приездом!

— Спасибо, Нефед Степанович...

Молодой человек хотел еще что-то сказать, но старик передал чемодан Фросе и ушел в сторону, в депо.

— Милый, я всю квартиру прибрала,— говорила Фрося.— Я не умирала.

— Я догадался в поезде, что ты не умираешь,— отвечал муж.— Я вернул твоей телеграмме недолго...

— А почему же ты тогда приехал? — удивилась Фрося.

— Я люблю тебя, я соскучился,— грустно сказал Федор.

Фрося опечалилась.

— Я боюсь, что ты меня разлюбишь когда-нибудь, и тогда я вправду умру...

Федор поцеловал ее сбоку в лицо.

— Если умрешь, ты тогда всех забудешь, и меня, сказал он.

Фрося оправилась от горя.

— Нет, умирать неинтересно. Это пассивность.

— Конечно, пассивность,— улыбнулся Федор; он любил ее высокие, ученые слова. Раньше Фро даже специально просила, чтобы он научил ее умным фразам, и он написал ей целую тетрадь умных и пустых слов: «Кто сказал «а», должен говорить «б», «Камень, положенный во главу угла», «Если это так, а это именно так» — и тому подобное. Но Фро догадалась про обман. Она спросила его: «А зачем после буквы «а» обязательно говорить «б», а если не надо и я не хочу?»

Дома они сразу легли отдыхать и уснули. Часа через три постучал отец. Фрося открыла ему и положила, пока старик наложил в железный сундучок харчей и снова ушел. Его, наверное, назначили в рейс. Фрося за-

крыла дверь и опять легла спать. Проснулись они уже ночью. Они поговорили немного, потом Федор обнял Фро, и они умолкли до утра.

На следующий день Фрося быстро приготовила обед, накормила мужа и сама поела. Она делала сейчас все кое-как, нечисто, невкусно, но им обоим было все равно, что есть и что пить, лишь бы не терять на материальную, постороннюю нужду время своей любви.

Фрося рассказывала Федору о том, что она теперь начнет хорошо и прилежно учиться, будет много знать, будет трудиться, чтобы в стране жилось всем людям еще лучше.

Федор слушал Фро, затем подробно объяснял ей свои мысли и проекты — о передаче силовой энергии без проводов, посредством ионизированного воздуха, об увеличении прочности всех металлов через обработку их ультразвуковыми волнами, о стратосфере на высоте в сто километров, где есть особые световые, тепловые и электрические условия, способные обеспечить вечную жизнь человеку, — поэтому мечта древнего мира о небе теперь может быть исполнена, — и многое другое обещал обдумать и сделать Федор ради Фроси и заодно ради всех остальных людей.

Фрося слушала мужа в блаженстве, приоткрыв уже усталый рот. Наговорившись, они обнимались — они хотели быть счастливыми немедленно, теперь же, раньше, чем их будущий усердный труд даст результаты для личного и всеобщего счастья. Ни одно сердце не терпит отлагательства, оно болит, оно точно ничему не верит. Заслав утомление от мысли, беседы и наслаждения, они просыпались снова свежими, готовые к повторению жизни. Фрося хотела, чтобы у нее родились дети, она их будет воспитывать, они вырастут и доделают дело своего отца, дело коммунизма и науки. Федор в страсти воображения шептал Фросе слова о таинственных силах природы, которые дадут богатство человечеству, о коренном изменении жалкой души человека... Затем они целовались, ласкали друг друга, и благородная мечта их превращалась в наслаждение, точно сразу же осуществляясь.

По вечерам Фрося выходила из дома ненадолго и купала продовольствие для себя и мужа, у них обоих все время увеличивался теперь аппетит. Они прожили не разлучаясь уже четверо суток. Отец до сих пор еще

не возвратился из поездки: наверно, опять повел далеко холодный паровоз.

Еще через два дня Фрося сказала Федору, что вот они еще побудут так вместе немножко, а потом надо за дело и за жизнь приниматься.

— Завтра же или послезавтра мы начнем с тобою жить по-настоящему! — говорил Федор и обнимал Фро.

— Послезавтра! — шепотом соглашалась Фро.

На восьмой день Федор проснулся печальным.

— Фро! Пойдем трудиться, пойдем жить, как нужно... Тебе надо опять на курсы связи поступить.

— Завтра! — прошептала Фро и взяла голову мужа в свои руки.

Он улыбнулся ей и смирился.

— Когда же, Фро? — спрашивал Федор на следующий день.

— Скоро, скоро, — отвечала дремлющая, кроткая Фро; руки ее держали его руку, он поцеловал ее в лоб.

Однажды Фрося проснулась поздно, день давно разгорелся на дворе. Она была одна в комнате, шел, наверно, десятый или двенадцатый день ее неразлучного свидания с мужем. Фрося сразу поднялась с постели, отворила настежь окно и услышала губную гармонию, которую она совсем забыла. Гармония играла не наверху. Фрося поглядела в окно. Около сарая лежало бревно, на нем сидел босой мальчик с большой детской головой и играл на губной музыке.

Во всей квартире было тихо и странно, Федор куда-то отлучился. Фрося вышла на кухню. Там сидел отец на табуретке и дремал, положив голову в шанке на кухонный стол. Фрося разбудила его.

— Ты когда приехал?

— А? — воскликнул старик. — Сегодня, рано утром.

— А кто тебе дверь отворил? Федор?

— Никто, — сказал отец, — она была открыта... Меня Федор на вокзале нашел, я там спал на лавке.

— А почему ты спал на вокзале, что у тебя — места нету? — рассердилась Фрося.

— А что! Я там привык, — говорил отец. — Я думал — мешать вам буду...

— Ну уж ладно, ханжа! А где Федор, когда он явится?..

Отец затруднился.

— Он не явится, — сказал старик, — он уехал...

Фро молчала перед отцом. Старик внимательно глядел на кухонную ветошку и продолжал:

— Утром курьерский был, он сел и уехал на Дальний Восток. Может, говорит, потом в Китай проберусь— неизвестно.

— А еще что он говорил? — спросила Фрося.

— Ничего,— ответил отец.— Велел мне идти к тебе домой и беречь тебя. Как, говорит, поделает все дела, так либо сюда вернется, либо тебя к себе выпишет.

— Какие дела? — узнавала Фрося.

— Не знаю,— произнес старик.— Он сказал, ты все знаешь: коммунизм, что ль, или еще что-нибудь.

Фро оставила отца. Она ушла к себе в комнату, легла животом на подоконник и стала глядеть на мальчика, как он играет на губной гармонии.

— Мальчик! — позвала она.— Иди ко мне в гости.

— Сейчас,— ответил гармонист.

Он встал с бревна, вытер свою музыку о подол рубашки и направился в дом, в гости.

Фро стояла одна среди большой комнаты, в ночной рубашке. Она улыбалась в ожидании гостя.

— Прощай, Федор!

Может быть, она глупа, может быть, ее жизнь стоит две копейки и не нужно ее любить и беречь, но зато она одна знает, как две копейки превратить в два рубля.

— Прощай, Федор! Ты вернешься ко мне, и я тебя дождусь!

В наружную дверь робко постучал маленький гость. Фрося впустила его, села перед ним на пол, взяла руки ребенка в свои руки и стала любоваться музыкантом: этот человек, наверно, и был тем человечеством, о котором Федор говорил ей милые слова.

РЕКА ПОТУДАНЬ

Трава опять отросла по набитым грунтовым дорогам гражданской войны, потому что война прекратилась. В мире, по губерниям снова стало тихо и малоллюдно: некоторые люди умерли в боях, многие лечились от ран и отдыхали у родных, забывая в долгих снах тяжелую работу войны, а кое-кто из демобилизованных еще не успел вернуться домой и шел теперь в старой шинели, с походной сумкой, в мягком

шлеме или овечьей шапке,— шел по густой, незнакомой траве, которую раньше не было времени видеть, а может быть — она просто была затоптана походами и не росла тогда. Они шли с обмершим, удивленным сердцем, снова узнавая поля и деревни, расположенные в окрестности по их дороге: душа их уже переменялась в мучении войны, в болезнях и в счастье победы,— они шли теперь жить точно впервые, смутно помня себя, какими они были три-четыре года назад, потому что они превратились совсем в других людей — они выросли от возраста и поумнели, они стали терпеливей и почувствовали внутри себя великую всемирную надежду, которая сейчас стала идеей их пока еще небольшой жизни, не имевшей ясной цели и назначения до гражданской войны.

Поздним летом возвращались домой последние демобилизованные красноармейцы. Они задержались по трудовым армиям, где занимались разным незнакомым ремеслом и тосковали, и лишь теперь им велели идти домой к своей и общей жизни.

По взгорью, что далеко простерто над рекою Потудань, уже вторые сутки шел ко двору, в малоизвестный уездный город, бывший красноармеец Никита Фирсов. Это был человек лет двадцати пяти от роду, со скромным, как бы постоянно опечаленным лицом,— но это выражение его лица происходило, может быть, не от грусти, а от сдержанной доброты характера либо от обычной сосредоточенности молодости. Светлые, давно не стриженные волосы его опускались из-под шапки на уши, большие серые глаза глядели с угрюмым напряжением в спокойную, скучную природу однообразной страны, точно пешеход был нездешний.

В полдень Никита Фирсов прилег около маленького ручья, текущего из родника по дну балки в Потудань. И пеший человек задремал на земле под солнцем, в сентябрьской траве, уже уставшей расти здесь с давней весны. Теплота жизни словно потемнела в нем, и Фирсов уснул в тишине глухого места. Насекомые летали над ним, плыла паутина, какой-то бродяга-человек переступил через него и, не тронув спящего, не заинтересовавшись им, пошел дальше по своим делам. Пыль, лета и долгого бездождия высоко стояла в воздухе, сделав более неясным и слабым небесный свет, но все равно время мира, как обычно, шло вдалеке вослед

солнцу... Вдруг Фирсов поднялся и сел, гяжко, испуганно дыша, точно он запалился в невидимом беге и борьбе. Ему приснился страшный сон, что его душит своею горячей шерстью маленькое, упитанное животное, вроде полевого зверька, откормившегося чистой пшеницей. Это животное, взмокая потом от усилия и жадности, залезло спящему в рот, в горло, стараясь пробраться цопкими лапками в самую середину его души, чтобы сжечь его дыхание. Задохнувшись во сне, Фирсов хотел вскрикнуть, побежать, но зверек самостоятельно вырвался из него, слепой, жалкий, сам напуганный и дрожащий, и скрылся в темноте своей ночи.

Фирсов умылся в ручье и прополоскал рот, а потом пошел скорее дальше; дом его отца уже был близко, и к вечеру можно успеть дойти до него.

Как только смерклось, Фирсов увидел свою родину в смутной, начавшейся ночи. То было покатое, медленное нагорье, подымавшееся от берегов Потудани к ржаным, возвышенным полям. На этом нягорье расположился небольшой город, почти невидимый сейчас благодаря темноте. Ни одного огня не горело там.

Отец Никиты Фирсова спал сейчас. он лег, как только вернулся с работы, когда еще солнце не зашло. Он жил в одиночестве, жена его давно умерла, два сына исчезли на империалистической войне, а последний сын, Никита, был на гражданской: он, может быть, еще вернется,— думал про последнего сына отец,— гражданская война идет близко около домов и по дворам, и стрельбы там меньше, чем на империалистической. Спал отец помногу,— с вечерней зари до утренней,— иначе, если не спать, он начинал думать разные мысли, воображать забытое, и сердце его мучилось в тоске по утраченным сыновьям, в печали по своей скучно прошедшей жизни. С утра он сразу уходил в мастерскую крестьянской мебели, где он уже много лет работал столяром,— и там, среди работы, ему было более терпимо, он забывался. Но к вечеру ему делалось хуже в душе, и, вернувшись на квартиру, в одну комнату, он поскорее, почти в испуге, засыпал до завтрашнего утра; ему и керосин был не нужен. А на рассвете мухи начинали кусать его в лысину, старик просыпался и долго, помаленьку, бережно одевался, обувался, умывался, вздыхал, топтался, убирал комнату, бормотал сам с собою, выходил наружу, смотрел там пого-

ду и возвращался — лишь бы потратить ненужное время, что оставалось до начала работы в мастерской крестьянской мебели.

В нынешнюю ночь отец Никиты Фирсова спал, как обычно, по необходимости и от усталости. Сверчок, уже некоторое лето, жил себе в завалинке дома и напевал оттуда в вечернее время — не то это был тот же самый сверчок, что и в позапрошлом лето, не то внук его. Никита подошел к завалинке и постучал в окошко отца, сверчок умолк на время, словно он прислушивался, кто это пришел — незнакомый, поздний человек. Отец слез с деревянной старой кровати, на которой он спал еще с покойной матерью всех своих сыновей, и сам Никита родился когда-то на этой же кровати. Старый, худой человек был сейчас в подштаниках, от долгой носки и стирки они сели и сузились, поэтому приходились ему только до колен. Отец близко прислонился к оконному стеклу и глядел оттуда на сына. Он уже увидел, узнал своего сына, но все еще смотрел и смотрел на него, желая наглядеться. Потом он побежал, небольшой и тощий, как мальчик, кругом через сени и двор — отворять запертую на ночь калитку.

Никита вошел в старую комнату, с лежанкой, низким потолком, с одним маленьким окном на улицу. Здесь пахло тем же запахом, что и в детстве, что и три года назад, когда он ушел на войну; даже запах материнского подola еще чувствовался тут — в единственном месте на всем свете. Никита снял сумку и шапку, медленно разделся и сел на кровать. Отец все время стоял перед ним, босой и в подштаниках, не смея еще ни поздороваться как следует, ни заговорить.

— Ну как там буржуи и кадеты? — спросил он немного погодя. — Всех их побили, иль еще маленько осталось?

— Да нет, почти всех, — сказал сын.

Отец кратко, но серьезно задумался: все-таки ведь целый класс умертвили, это большая работа была.

— Ну да, они же квелые! — сообщил старик про буржуев. — Чего они могут, они только даром жить привыкли...

Никита встал перед отцом, он был теперь выше его головы на полторы. Старик молчал около сына в скромном недоумении своей любви к нему. Никита положил

руку на голову отца и привлек его к себе на грудь. Старый человек прислонился к сыну и начал часто, глубоко дышать, словно он пришел к своему отдыху.

На одной улице того же города, выходившей прямо в поле, стоял деревянный дом с зелеными ставнями. В этом доме жила когда-то вдовая старушка, учительница городского училища; вместе с нею жили ее дети — сын, мальчик лет десяти, и дочь, белокурая девочка Люба, пятнадцати лет.

Отец Никиты Фирсова хотел несколько лет тому назад жениться на вдовой учительнице, но вскоре сам оставил свое намерение. Два раза он брал с собою в гости к учительнице Никиту, тогда еще мальчика, и Никита видел там задумчивую девочку Любу, которая сидела и читала книжки, не обращая внимания на чужих гостей.

Старая учительница угощала столяра чаем с сухарями и говорила что-то о просвещении народного ума и о ремонте школьных печей. Отец Никиты сидел все время молча, он стеснялся, кричал, кашлял и курил сигарки, а потом с робостью пил чай из блюдца, не трогая сухарей, потому что, дескать, давно уже сыт.

В квартире учительницы, во всех ее двух комнатах и в кухне, стояли стулья, на окнах висели занавески, в первой комнате находились пианино и шкаф для одежды, а в другой, дальней, комнате имелись кровати, два мягких кресла из красного бархата, и там же на стенных полках помещалось много книг, — наверно, целое собрание сочинений. Отцу и сыну эта обстановка казалась слишком богатой, и отец, посетив вдову всего два раза, перестал к ней ходить. Он даже не управился ей сказать, что хочет на ней жениться. Но Никите было интересно увидеть еще раз пианино и читающую, задумчивую девочку, поэтому он просил отца жениться на старушке, чтобы ходить к ней в гости.

— Нельзя, Никит! — сказал в то время отец. — У меня образования мало, о чем я с ней буду говорить! А к нам их позвать — стыдно: у нас посуды нету, тарелки нехорошие... Ты видал, у них кресла какие? Старинные, московские! А шкаф? По всему фасау резьба и выборка: я понимаю!.. А дочь! Она, наверно, курсисткой будет.

И отец теперь уже несколько лет не видел своей старой невесты, лишь иногда он, может быть, скучал по ней или просто размышлял.

На другой день после возвращения с гражданской войны Никита пошел в военный комиссариат, чтобы его отметили там в запас. Затем Никита обошел весь знакомый, родной город, и у него заболело сердце от вида устаревших, небольших домов, сотлевших заборов и плетней и редких яблонь по дворам, многие из которых уже умерли, засохли навсегда. В его детстве эти яблони еще были зелеными, а одноэтажные дома казались большими и богатыми, населенными таинственными умными людьми, и улицы тогда были длинными, лопухи высокими, и бурьян на пустырях, на заброшенных огородах представлялся в то давнее время лесною, жуткою чащей. А сейчас Никита увидел, что маленькие дома жителей были жалкими, низкими, их надо красить и ремонтировать, бурьян на пустых местах беден, он растет не страшно, а заунывно, обитаемый лишь старыми, терпеливыми муравьями, и все улицы скоро кончались волевою землей, светлым небесным пространством,— город стал небольшим. Никита подумал, что, значит, им уже много жизни прожито, если большие, таинственные предметы обратились в маленькие и скучные.

Он медленно прошел мимо дома с зелеными ставнями, куда он некогда ходил в гости с отцом. Зеленую краску на ставнях он знал только по памяти, теперь от нее остались одни слабые следы,— она выцвела от солнца, была вымыта ливнями и дождями, вылиняла до древесины; и железная крыша на доме уже сильно заржавела — теперь, наверно, дожди проникают через крышу и мокнет потолок над пианино в квартире. Никита внимательно посмотрел в окна этого дома; занавесок на окнах теперь не было, по ту сторону стекол виднелась чужая тьма. Никита сел на скамейку около калитки обветшавшего, но все же знакомого дома. Он думал, что, может быть, кто-нибудь заиграет на пианино внутри дома, тогда он послушает музыку. Но в доме было тихо, ничего не известно. Подождав немного, Никита поглядел в щель забора на двор, там росла старая крапива, пустая тропинка вела меж ее зарослями в сарай и три деревянные ступеньки подымались в сени. Должно быть, умерли уже давно и учительница-ста-

рушка, и ее дочка Люба, а мальчик ушел добровольцем на войну...

Никита направился к себе домой. День пошел к вечеру,— скоро отец придет ночевать, надо будет подумать с ним, как жить дальше и куда поступать на работу.

На главной улице уезда было небольшое гулянье, потому что народ начал оживать после войны. Сейчас по улице шли служащие, курсистки, демобилизованные, выздоравливающие от ран, подростки, люди домашнего и кустарного труда и прочие, а рабочий человек выйдет сюда на прогулку позже, когда совсем смеркнется. Одеты люди были в старую одежду, победно-му, либо в поношенное военное обмундирование времен империализма.

Почти все прохожие, даже те, которые шли под руку, будучи женихами и невестами, имели при себе что-нибудь для хозяйства. Женщины несли в домашних сумках картофель, а иногда рыбу, мужчины держали под мышкой пайковый хлеб или половину коровьей головы либо скупое хранили в руках требуху на приварок. Но редко кто шел в унынии, разве только вовсе пожилой, истомленный человек. Более молодые обычно смеялись и близко глядели в лица друг другу, воодушевленные и доверчивые, точно они были накануне вечного счастья.

— Здравствуйте!— несмело со стороны сказала женщина Никите Фирсову.

И голос тот сразу коснулся и согрел его, будто кто-то, дорогой и потерянный, отозвался ему на помощь. Однако Никите показалось, что это ошибка и это поздоровались не с ним. Боясь ошибиться, он медленно поглядел на ближних прохожих. Но их сейчас было всего два человека, и они уже миновали его. Никита оглянулся,— большая, выросшая Люба остановилась и смотрела в его сторону. Она грустно и смущенно улыбалась ему.

Никита подошел к ней и бережно оглядел ее — точно ли она сохранилась вся в целости, потому что даже в воспоминании она для него была драгоценность. Австрийские башмаки ее, зашнурованные бечевой, сильно износились, кисейное, бледное платье доходило ей только до колен, больше, наверно, не хватило материала,— и это платье заставило Никиту сразу сжалиться над

Любой — он видел такие же платья на женщинах в гробах, а здесь кисея покрывала живое, выросшее, но бедное тело. Поверх платья был надет старый дамский жакет, — наверно, его носила еще мать Любы в свою девичью пору, — а на голове Любы ничего не было, одни простые волосы, свитые пониже шеи в светлую прочную косу.

— Вы меня не помните? — спросила Люба.

— Нет, я вас не забыл, — ответил Никита.

— Забывать никогда не надо, — улыбнулась Люба.

Ее чистые глаза, наполненные тайною душою, нежно глядели на Никиту, словно любовались им. Никита также смотрел в ее лицо, и его сердце радовалось и болело от одного вида ее глаз, глубоко запавших от житейской нужды и освещенных доверчивой надеждой.

Никита пошел с Любой одной к ее дому, — она жила все там же. Мать ее умерла не так давно, а младший брат кормился в голод около красноармейской полевой кухни, потом привык там бывать и ушел вместе с красноармейцами на юг против неприятеля.

— Он кашу там есть привык, а дома ее не было, — говорила Люба про брата.

Люба теперь жила лишь в одной комнате, — больше ей не надо. С замершим чувством Никита осмотрелся в этой комнате, где он в первый раз видел Любу, пианино и богатую обстановку. Сейчас здесь не было уже ни пианино, ни шкафа с резьбою по всему фасау, остались одни два мягких кресла, стол и кровать, и сама комната теперь перестала быть такою интересной и загадочной, как тогда, в ранней юности, — обои на стенах выцвели и ободрались, пол истерся, около изразцовой печи находилась небольшая железная печка, которую можно истопить горстью щепок, чтобы немного согреться около нее.

Люба вынула общую тетрадь из-за пазухи, потом сняла башмаки и осталась босая. Она училась теперь в уездной академии медицинских наук: в те годы по всем уездам были университеты и академии, потому что народ желал поскорее приобрести высшее знание; бессмысленность жизни, так же как голод и нужда, слишком измучила человеческое сердце, и надо было понять, что же есть существование людей, это — серьезно или нарочно?

— Они мне ноги трут, — сказала Люба про свои баш-

маки.— Вы посидите еще, а я лягу спать, а то мне очень сильно есть хочется, а я не хочу думать об этом...

Люба, не раздеваясь, залезла под одеяло на кровати и положила косу себе на глаза.

Никита молча просидел часа два-три, пока Люба не проснулась. Тогда уже настала ночь, и Люба встала в темноте.

— Моя подруга, наверно, сегодня не придет,— грустно сказала Люба.

— А что — она вам нужна? — спросил Никита.

— Даже очень,— произнесла Люба.— У них большая семья и отец военный, она мне приносит ужин, если у нее что-нибудь останется... Я поем, и мы с ней начинаем заниматься...

— А керосин у вас есть? — спросил Никита.

— Нет, мне дрова дали... Мы печку зажигаем — мы на полу садимся и видим от огня.

Люба беспомощно, стыдливо улыбнулась, словно ей пришла на ум жестокая и грустная мысль.

— Наверно, ее старший брат, мальчишка, не заснул,— сказала она.— Он не велит, чтоб меня его сестра кормила, ему жалко... А я не виновата! Я и так не очень люблю кушать: это не я — голова сама начинает болеть, она думает про хлеб и мешает мне жить и думать другое...

— Люба! — позвал около окна молодой голос.

— Женя! — отозвалась Люба в окно.

Пришла подруга Любы. Она вынула из кармана своей куртки четыре больших печеных картошки и положила их на железную печку.

— А гистологию достала? — спросила Люба.

— А у кого ее доставать-то? — ответила Женя. — Меня в очередь в библиотеке записали...

— Ничего, обойдемся,— сообщила Люба.— Я две первых главы на факультете на память выучила. Я буду говорить, а ты запишешь. Пройдет?

— А раньше-то! — засмеялась Женя.

Никита растопил печку для освещения тетрадей огнем и собрался уходить к отцу на ночлег.

— Вы теперь не забудете меня? — попрощалась с ним Люба.

— Нет,— сказал Никита.— Мне больше некого помнить.

Фирсов полежал дома после войны два дня, а потом поступил работать в мастерскую крестьянской мебели, где работал его отец. Его зачислили плотником на подготовку материала, и расцепок его был ниже чем у отца, почти в два раза. Но Никита знал, что это временно, пока он не привыкнет к мастерству, а тогда его переведут в столяры и заработок станет лучше.

Работать Никита никогда не отвыкал. В Красной Армии тоже люди не одной войною занимались,— на долгих постоях и в резервах красноармейцы рыли колодцы, ремонтировали избышки бедняков в деревнях и сажали кустарник в вершинах действующих оврагов, чтобы земля дальше не размывалась. Война ведь пройдет, а жизнь останется, и о ней надо было заранее позаботиться.

Через неделю Никита снова пошел в гости к Любе; он понес ей в подарок вареную рыбу и хлеб — свое второе блюдо от обеда в рабочей столовой.

Люба спешила читать по книжке у окна, пользуясь тем, что еще не погасло солнце на небе; поэтому Никита некоторое время сидел в комнате у Любы молчаливо, ожидая ночной темноты. Но вскоре сумрак сравнялся с тишиной на уездной улице, а Люба потеряла свои глаза и закрыла учебную книгу.

— Как поживаете?— тихо спросила Люба.

— Мы с отцом живем, мы — ничего,— сказал Никита. — Я вам там покушать принес,— вы съешьте, пожалуйста,— попросил он.

— Я съем, спасибо,— произнесла Люба.

— А спать не будете?— спросил Никита.

— Не буду,— ответила Люба.— Я же поужинаю сейчас, я буду сыта!

Никита принес из сеней немного мелких дровишек и разжег железную печку, чтобы был свет для занятий. Он сел на пол, открыл печную дверцу и клал щепки и худые короткие поленья в огонь, стараясь, чтоб тепла было поменьше, а света побольше. Съев рыбу с хлебом, Люба тоже села на пол, против Никиты и около света из печки, и начала учить по книжке свою медицину.

Она читала молча, однако изредка шептала что-то, улыбалась и записывала мелким, быстрым почерком несколько слов в блокнот,— наверно, самые важные вещи. А Никита только следил за правильным горением

огня, и лишь время от времени — не часто — он смотрел в лицо Любы, но затем опять подолгу глядел на огонь, потому что боялся надоесть Любе своим взглядом. Так время шло, и Никита думал с печалью, что скоро оно пройдет совсем и ему настанет пора уходить домой.

В полночь, когда пробили часы на колокольне, Никита спросил у Любы, отчего не пришла ее подруга, по имени Женя.

— А у нее тиф повторился, она, наверно, умрет, — ответила Люба и опять стала читать медицину.

— Вот это жалко! — сказал Никита, но Люба ничего не ответила ему.

Никита представил себе в мысли больную, горячую Женю, — и, в сущности, он тоже мог бы ее искренне полюбить, если б узнал ее раньше и если бы она была немного добра к нему. Она тоже, кажется, прекрасная: зря он ее не разглядел тогда во тьме и плохо запомнил.

— Я уже спать хочу, — прошептала Люба, вздыхая.

— А поняли все, что прочитали-то? — спросил Никита.

— Все чисто! Хотите, расскажу? — предложила Люба.

— Не надо, — отказался Никита. — Вы лучше берегите при себе, а то я все равно забуду.

Он подмел веником сор около печки и ушел к отцу.

С тех пор он посещал Любу почти каждый день, лишь иногда пропуская сутки или двое, ради того, чтоб Люба поскучала по нем. Скучала она или нет — неизвестно, но в эти пустые вечера Никита вынужден был ходить по десять, по пятнадцать верст, несколько раз вокруг всего города, желая удержать себя в одиночестве, вытерпеть без утешения тоску по Любе и не пойти к ней.

У нее в гостях он обыкновенно занимался тем, что топил печь и ожидал, когда она ему скажет что-нибудь в промежуток, отвлекшись от своего учения по книге. Каждый раз Никита приносил Любе на ужин немного пищи из столовой при мастерской крестьянской мебели; обедала же она в своей академии, но там давали кушать слишком мало, а Люба много думала, училась и вдобавок еще росла, и ей не хватало питания. В первую же свою получку Никита купил в ближней деревне коровьи ноги и затем всю ночь варил студень на железной печке, а Люба до полночи занималась с книгами и

тетрадами, потом чинила свою одежду, штопала чулки, мыла полы на рассвете и купалась на дворе в кадushке с дождевой водой, пока еще не проснулись посторонние люди.

Отцу Никиты было скучно жить все вечера одному, без сына, а Никита не говорил, куда он ходит. «Он сам теперь человек,— думал старик.— Мог же ведь быть убитым или раненным на войне, а раз живет — пусть ходит!»

Однажды старик заметил, что сын принес откуда-то две белых булки. Но он их сразу же завернул в отдельную бумагу, а его не угостил. Затем Никита, как обычно, надел фуражку и пошел до полночи, и обе булки тоже взял с собой.

— Никит, возьми меня с собой!— попросил отец.— Я там ничего не буду говорить, я только гляну... Там интересно,— должно быть, что-нибудь выдающееся!

— В другой раз, отец,— стесняясь, сказал Никита.— А то тебе сейчас спать пора, завтра ведь на работу надо идти...

В тот вечер Никита не застал Любы, ее не было дома. Он сел тогда на лавочку у ворот и стал ожидать хозяйку. Белые булки он положил себе за пазуху и согревал их там, чтоб они не остыли до прихода Любы. Он сидел терпеливо до поздней ночи, наблюдая звезды на небе и редких прохожих людей, спешивших к детям в свои жилища, слушал звон городских часов на колокольне, лай собак по дворам и разные тихие, неясные звуки, которые днем не существуют. Он бы мог прожить здесь в ожидании, наверно, до самой своей смерти.

Люба неслышно появилась из тьмы перед Никитой. Он встал перед ней, но она сказала ему: «Идите лучше домой»,— и заплакала. Она пошла к себе в квартиру, а Никита обождал еще снаружи в недоумении и пошел за Любой.

— Женя умерла,— сказала Люба ему в комнате.— Что я теперь буду делать?

Никита молчал. Теплые булки лежали у него за пазухой — не то их надо вынуть сейчас, не то теперь уж ничего не нужно. Люба легла в одежде на кровать, отвернувшись лицом к стене и плакала там сама для себя, беззвучно и почти не шевелясь.

Никита долго стоял один в ночной комнате, стесняясь помешать чужому грустному горю. Люба не обра-

щала на него внимания, потому что печаль от своего горя делает людей равнодушными ко всем другим страдающим. Никита самовольно сел на кровать в ногах у Любы и вынул булки из-за пазухи, чтобы деть их куда-нибудь, но пока не находил для них места.

— Давайте я с вами буду теперь!— сказал Никита.

— А что вы будете делать?— спросила Люба в слезах.

Никита подумал, боясь ошибиться или нечаянно обидеть Любу.

— Я ничего не буду,— ответил он.— Мы станем жить как обыкновенно, чтоб вы не мучились.

— Обождем, нам нечего спешить,— задумчиво и расчетливо произнесла Люба.— Надо вот подумать, в чем Женю хоронить,— у них гроба нету...

— Я завтра его принесу,— пообещал Никита и положил булки на кровать.

На другой день Никита спросил разрешения у мастера и стал делать гроб; их всегда позволяли делать свободно и за материал не высчитывали. По неумению он делал его долго, но зато тщательно и особо чисто отделал внутреннее ложе для покойной девушки; от воображения умершей Жени Никита сам расстроился и немного покапал слезами в стружки. Отец, проходя по двору, подошел к Никите и заметил его расстройство.

— Ты что тоскуешь: невеста умерла?— спросил отец.

— Нет, подруга ее,— ответил он.

— Подруга? — сказал отец.— Да чума с ней!.. Дай я тебе борта в гробу поравняю, у тебя некрасиво вышло, точности не видать!

После работы Никита понес гроб к Любе; он не знал, где лежит ее мертвая подруга.

В тот год долго шла теплая осень, и народ был доволен. «Хлебу вышел недород, так мы на дровах сэкономим»,— говорили экономические люди. Никита Фирсов загодя заказал сшить из своей красноармейской шинели женское пальто для Любы, но пальто уже приготовили, а надобности, за теплым временем, в нем все еще не было. Никита по-прежнему ходил к Любе на квартиру, чтобы помогать ей жить и самому в ответ получать питание для наслаждения сердца.

Он ее спрашивал один раз, как они дальше будут жить — вместе или отдельно. А она отвечала, что до весны не имеет возможности чувствовать свое счастье,

потому что ей надо поскорее окончить академию медицинских знаний, а там — видно будет. Никита выслушал это далекое обещание, он не требовал большего счастья, чем оно уже есть у него благодаря Любе, и он не знал, есть ли оно еще лучшее, но сердце его дрогло от долгого терпения и неуверенности — нужен ли он Любе сам по себе, как бедный, малограмотный, демобилизованный человек. Люба иногда с улыбкой смотрела на него своими светлыми глазами, в которых находились большие, черные, непонятные точки, а лицо ее вокруг глаз было исполнено добром.

Однажды Никита заплакал, покрывая Любу на ночь одеялом перед своим уходом домой, а Люба только погладила его по голове и сказала: «Ну будет вам, нельзя так мучиться, когда я еще жива».

Никита поспешил уйти к отцу, чтобы там укрыться, опомниться и не ходить к Любе несколько дней подряд. «Я буду читать, — решал он, — и начну жить по-настоящему, а Любу забуду, не стану ее помнить и знать. Что она такое особенное — на свете великие миллионы живут, еще лучше ее есть! Она некрасивая!»

Наутро он не встал с подстилки, на которой спал на полу. Отец, уходя на работу, попробовал его голову и сказал:

— Ты горячий: ложись на кровать! Поболей немножко, потом выздоровеешь... Ты на войне нигде не раненный?

— Нигде, — ответил Никита.

Под вечер он потерял память; сначала он видел все время потолок и двух поздних предсмертных мух на нем, приютившихся греться там для продолжения жизни, а потом эти же предметы стали вызывать в нем тоску, отвращение, — потолок и мухи словно забралась к нему внутрь мозга, их нельзя было изгнать оттуда и перестать думать о них все более увеличивающейся мыслью, съедающей уже головные кости. Никита закрыл глаза, но мухи кипели в его мозгу, он вскочил с кровати, чтобы прогнать мух с потолка, и упал обратно на подушку: ему показалось, что от подушки еще пахло материнским дыханием — мать ведь здесь же спала рядом с отцом, — Никита вспомнил ее и забылся.

Через четыре дня Люба отыскала жилище Никиты Фирсова и явилась к нему в первый раз сама. Шла только середина дня; во всех домах, где жили рабочие,

было безлюдно — женщины ушли доставать провизию, а дошкольные ребятишки разбрелись по дворам и полянам. Люба села на кровать к Никите, погладила ему лоб, протерла глаза концом своего носового платка и спросила:

— Ну что, где у тебя болит?

— Нигде,— сказал Никита.

Сильный жар уносил его в своем течении вдаль ото всех людей и близких предметов, и он с трудом видел сейчас и помнил Любу, боясь ее потерять в темноте равнодушного рассудка; он взялся рукой за карман ее пальто, сшитого из красноармейской шинели, и держался за него, как утомленный пловец за отвесный берег, то утопая, то спасаясь. Болезнь все время стремилась увлечь его на сияющий, пустой горизонт — в открытое море, чтоб он там отдохнул на медленных, тяжелых волнах.

— У тебя грипп, наверное, я тебя вылечу,— сказала Люба.— А может, и тиф!.. Но ничего — не страшно!

Она подняла Никиту за плечи и посадила его спиной к стене. Затем быстро и настойчиво Люба переодела Никиту в свое пальто, нашла отцовский шарф и повязала им голову больного, а ноги его всунула в валенки, валявшиеся до зимы под кроватью. Обхватив Никиту, Люба велела ему ступать ногами и вывела его, озябшего, на улицу. Там стоял извозчик. Люба посадила больного в пролетку, и они поехали.

— Не жилец народ живет!— сказал извозчик, обращаясь к лошади, беспрерывно погоняя ее вожжами на уездную мелкую рысь.

В своей комнате Люба раздела и уложила Никиту в кровать и укрыла его одеялом, старой ковровой дорожкой, материнскою ветхою шалью — всем согревающим добром, какое у нее было.

— Зачем тебе дома лежать?— удовлетворенно говорила Люба, подтыкая одеяло под горячее тело Никиты.— Ну зачем!.. Отец твой на работе, ты лежишь целый день один, ухода ты никакого не видишь и тоскуешь по мне...

Никита долго решал и думал, где Люба взяла денег на извозчика. Может быть, она продала свои австрийские башмаки или учебную книжку (она ее сначала выучила наизусть, чтобы не нужна была), или же она заплатила извозчику всю месячную стипендию...

Ночью Никита лежал в смутном сознании: иногда он понимал, где сейчас находится, и видел Любу, которая топила печку и стряпала пищу на ней, а затем Никита наблюдал незнакомые видения своего ума, действующие отдельно от его воли в сжатой, горячей тесноте головы.

Озноб его все более усиливался. Время от времени Люба пробовала ладонью лоб Никиты и считала пульс в его руке. Поздно ночью она напояла его кипяченой, теплой водой и, сняв верхнее платье, легла к больному под одеяло, потому что Никита дрожал от лихорадки и надо было согреть его. Люба обняла Никиту и прижала к себе, а он свернулся от стужи в комок и прильнул лицом к ее груди, чтобы теснее ощущать чужую, вышшую, лучшую жизнь и позабыть свое мученье, свое продрогшее пустое тело. Но Никите жалко было теперь умирать,— не ради себя, но ради того, чтоб иметь прикосновение к Любе и к другой жизни,— поэтому он спросил шепотом у Любы, выздоровеет он или помрет: она ведь училась и должна знать.

Люба стиснула руками голову Никиты и ответила ему:

— Ты скоро поправишься... Люди умирают потому, что они болеют одни и некому их любить, а ты со мной сейчас...

Никита пригрелся и уснул.

Недели через три Никита поправился. На дворе уже выпал снег, стало вдруг тихо повсюду, и Никита пошел зимовать к отцу; он не хотел мешать Любе до окончания академии, пусть ум ее разовьется полностью весь, она тоже из бедных людей. Отец обрадовался возвращению сына, хотя и посещал его у Любы из двух дней в третий, принося каждый раз для сына харчи, а Любе какой бы то ни было гостинец.

Днем Никита опять стал работать в мастерской, а вечером посещал Любу и зимовал спокойно: он знал, что с весны она будет его женой и с того времени наступит счастливая, долгая жизнь. Изредка Люба трогала, шевелила его, бегала от него по комнате, и тогда — после игры — Никита осторожно целовал ее в щеку. Обычно же Люба не велела ему напрасно касаться себя.

— А то я тебе надоем, а нам еще всю жизнь при-

дется жить!— говорила она.— Я ведь не такая вкусная: тебе это кажется!..

В дни отдыха Люба и Никита ходили гулять по зимним дорогам за город или шли, полуобнявшись, по льду уснувшей реки Потудани — далеко вниз по летнему течению. Никита ложился животом и смотрел вниз под лед, где видно было, как тихо текла вода. Люба тоже устраивалась рядом с ним, и, касаясь друга друга, они наблюдали укромный поток воды и говорили, насколько счастлива река Потудань, потому что она уходит в море, и эта вода подо льдом будет течь мимо берегов далеких стран, в которых сейчас растут цветы и поют птицы. Подумав об этом немного, Люба велела Никите тотчас же вставать со льда; Никита ходил теперь в старом отцовском пиджаке на вате, он ему был короток, грел мало, и Никита мог простудиться.

И вот они терпеливо дружили вдвоем почти всю долгую зиму, томимые предчувствием своего близкого будущего счастья. Река Потудань тоже всю зиму таилась подо льдом, и озимые хлеба дремали под снегом,— эти явления природы успокаивали и даже утешали Никиту Фирсова: не одно его сердце лежит в погребении перед весной. В феврале, просыпаясь утром, он прислушался — не жужжат ли уже новые мухи, а на дворе глядел на небо и на деревья соседнего сада: может быть, уже прилетают первые птицы из дальних стран. Но деревья, травы и зародыши мух еще спали в глубине своих сил и в зачатке.

В середине февраля Люба сказала Никите, что выпускные экзамены у них начинаются двадцатого числа, потому что врачи очень нужны и народу некогда их долго ждать. А к марту экзамены уже кончатся,— поэтому пусть снег лежит и река течет подо льдом хоть до июля месяца! Радость их сердца наступит раньше тепла природы.

На это время — до марта месяца — Никита захотел уехать из города, чтобы скорее перетерпеть срок до совместной жизни с Любой. Он назвался в мастерской крестьянской мебели идти с бригадой столяров чинить мебель по сельсоветам и школам в деревнях.

Отец тем временем — к марту месяцу — сделал не спеша в подарок молодым большой шкаф, подобный тому, который стоял в квартире Любы, когда еще ее мать

была приблизительной невестой отца Никиты. На глазах старого столяра жизнь повторялась уже по второму или по третьему своему кругу. Понимать это можно, а изменить пожалуй что нельзя. И, вздохнув, отец Никиты положил шкаф на санки и повез его на квартиру невесты своего сына. Снег потеплел и таял против солнца, но старый человек был еще силен и волок санки в упор даже по черному телу оголившейся земли. Он думал втайне, что и сам бы мог вполне жениться на этой девушке Любе, раз на матери се постеснялся, но стыдно как-то и нет в доме достатка, чтобы побаловать, привлечь к себе подобную молодую девицу. И отец Никиты полагал отсюда, что жизнь далеко не нормальна. Сын вот только явился с войны и опять уходит из дома, теперь уж навсегда. Придется, видно, ему, старику, взять к себе хоть побирושку с улицы — не ради семейной жизни, а чтоб, вроде домашнего ежа или кролика, было второе существо в жилище: пусть оно мешает жить и вносит нечистоту, но без него перестанешь быть человеком.

Сдав Любе шкаф, отец Никиты спросил у нее, когда ему нужно приходиться на свадьбу.

— А когда Никита приедет: я готова! — сказала Люба.

Отец ночью пошел на деревню за двадцать верст, где Никита работал по изготовлению школьных парт. Никита спал в пустом классе на полу, но отец побудил его и сказал ему, что пора идти в город — можно жениться.

— Ты ступай, а я за тебя парты доделаю! — сказал отец.

Никита надел шапку и сейчас же, не ожидая рассвета, отправился пешком в уезд. Он шел один всю вторую половину ночи по пустым местам; полевой ветер бродил без порядка близ него, то касаясь лица, то задувая в спину, а иногда и вовсе уходя на покой в тишину придорожного оврага. Земля по склонам и на высоких пашнях лежала темной, снег ушел с нее в низы, пахло молодою водой и ветхими травами, павшими с осени. Но осень уже забытое, давнее время, — земля сейчас была бедна и свободна, она будет рожать все сначала и лишь те чувства, которые никогда не жили. Никита даже не спешил идти к Любе; ему нравилось быть в сумрачном свете ночи на этой беспамятной ран-

ней земле, забывшей всех умерших на ней и не знающей, что она родит в тепле нового лета.

Под утро Никита подошел к дому Любы. Легкая изморозь легла на знакомую крышу и на кирпичный фундамент,— Любе, наверно, сладко спится сейчас в нагретой постели, и Никита прошел мимо ее дома, чтобы не будить невесту, не остужать ее тела из-за своего интереса.

К вечеру того же дня Никита Фирсов и Любовь Кузнецова записались в уездном Совете на брак, затем они пришли в комнату Любы и не знали, чем им заняться. Никите стало теперь совестно, что счастье полностью случилось с ним, что самый нужный для него человек на свете хочет жить заодно с его жизнью, словно в нем скрыто великое, драгоценное добро. Он взял руку Любы к себе и долго держал ее; он наслаждался теплотой ладони этой руки, он чувствовал через нее далекое биение любящего его сердца и думал о непонятной тайне: почему Люба улыбается ему и любит его неизвестно за что. Сам он чувствовал в точности, почему дорога для него Люба.

— Сначала давай покушаем!— сказала Люба и выбрала свою руку от Никиты.

Она приготовила сегодня кое-что: по окончании академии ей дали усиленное пособие в виде продуктов и денежных средств.

Никита со стеснением стал есть вкусную, разнообразную пищу у своей жены. Он не помнил, чтобы когда-нибудь его угощали почти задаром, ему не приходилось посещать людей для своего удовольствия и еще вдобавок наедаться у них.

Покушав, Люба встала первой из-за стола. Она открыла объятия навстречу Никите и сказала ему:

— Ну!

Никита поднялся и робко обнял ее, боясь повредить что-нибудь в этом особом, нежном теле. Люба сама сжала его себе на помощь, но Никита попросил: «Подождите, у меня сердце сильно заболело»,— и Люба оставила мужа.

На дворе наступили сумерки, и Никита хотел затопить печку для освещения, но Люба сказала: «Не надо, я ведь уже кончила учиться, и сегодня наша свадьба». Тогда Никита разобрал постель, а Люба тем временем разделась при нем, не зная стыда перед мужем. Ники-

та же зашел за отцовский шкаф и там снял с себя поскорее одежду, а потом лег рядом с Любой ночевать.

Наутро Никита встал спозаранку. Он подмел комнату, затопил печку, чтобы скипятить чайник, принес из сеней воду в ведре для умывания и под конец не знал уже, что ему еще сделать, пока Люба спит. Он сел на стул и пригорюнился: Люба теперь, наверно, велит ему уйти к отцу навсегда, потому что, оказывается, надо уметь наслаждаться, а Никита не может мучить Любу ради своего счастья, и у него вся сила бьется в сердце, приливает к горлу, не оставаясь больше нигде.

Люба проснулась и глядела на мужа.

— Не унывай, не стоит,— сказала она, улыбаясь.— У нас все с тобой наладится!

— Давай я пол вымою,— попросил Никита,— а то у нас грязно.

— Ну, мой,— согласилась Люба.

«Как он жалок и слаб от любви ко мне!— думала Люба в кровати.— Как он мил и дорог мне, и пусть я буду с ним вечной девушкой!.. Я протерплю. А может— когда-нибудь он станет любить меня меньше, и тогда будет сильным человеком!»

Никита ерзал по полу с мокрой тряпкой, смывая грязь с половых досок, а Люба смеялась над ним с постели.

— Вот я и замужняя!— радовалась она сама с собой и вылезла в сорочке поверх одеяла.

Убравшись с комнатой, Никита заодно вытер влажной тряпкой всю мебель, затем разбавил холодную воду в ведре горячей и вынул из-под кровати таз, чтобы Люба умывалась над ним.

После чая Люба поцеловала мужа в лоб и пошла на работу в больницу, сказав, что часа в три она возвратится. Никита попробовал на лбу место поцелуя жёны и остался один. Он сам не знал, почему он сегодня не пошел на работу,— ему казалось, что жить теперь ему стыдно и, может быть, совсем не нужно: зачем же тогда зарабатывать деньги на хлеб? Он решил кое-как дожить свой век, пока не исчахнет от стыда и тоски.

Обследовав общее семейное имущество в квартире, Никита нашел продукты и приготовил обед из одного блюда — кулеш с говядиной. А после такой работы лег вниз лицом на кровать и стал считать, сколько времени осталось до вскрытия рек, чтобы утопиться в Потудани.

— Обожду, как тронется лед: недолго! — сказал он себе вслух для успокоения и задремал.

Люба принесла со службы подарок — две плоские зимних цветов; ее там поздравили с бракосочетанием врачи и сестры милосердия. А она держалась с ними важно и таинственно, как истинная женщина. Молодые девушки из сестер и сиделок завидовали ей, одна же искренняя служащая больничной аптеки доверчиво спросила у Любы — правда или нет, что любовь — это нечто чарующее, а замужество по любви — упоительное счастье? Люба ответила ей, что все это чистая правда, оттого и люди на свете живут.

Вечером муж и жена беседовали друг с другом. Люба говорила, что у них могут появиться дети и надо заранее об этом подумать. Никита обещал начать в мастерской делать сверхурочно детскую мебель: столик, стул и кровать-качалку.

— Революция осталась навсегда, теперь рожать хорошо, — говорил Никита. — Дети несчастными уж никогда не будут!

— Тебе хорошо говорить, а мне ведь рожать придется! — обижалась Люба.

— Больно будет? — спрашивал Никита. — Лучше тогда не рожай, не мучайся...

— Нет, я вытерплю, пожалуй! — соглашалась Люба.

В сумерках она постелила постель, причем, чтоб не тесно было спать, она подгородила к кровати два стула для ног, а ложиться велела поперек постели. Никита лег в указанное место, умолк и поздно ночью заплакал во сне. Но Люба долго не спала, она слышала его слезы и осторожно вытерла спящее лицо Никиты концом чростыни, а утром, проснувшись, он не запомнил своей ночной печали.

С тех пор их общая жизнь пошла по своему времени. Люба лечила людей в больнице, а Никита делал крестьянскую мебель. В свободные часы и по воскресеньям он работал на дворе и по дому, хотя Люба его не просила об этом, — она сама теперь точно не знала, чей этот дом. Раньше он принадлежал ее матери, потом его взяли в собственность государства, но государство забыло про дом — никто ни разу не приходил справляться в целостности дома и не брал денег за квартиру. Никите это было все равно. Он достал через знакомых отца зеленой краски-медянки и выкрасил заново кры-



шу и ставни, как только устоялась весенняя погода. С тем же прилежанием он постепенно починил обветшалый сарай на дворе, opravил ворота и забор и соби-рался рыть новый погреб, потому что старый обвалился.

Река Потудань уже тронулась. Никита ходил два раза на ее берег, смотрел на потекшие воды и решил не умирать, пока Люба еще терпит его, а когда перестанет терпеть, тогда он успеет скончаться — река не скоро замерзнет. Дворовые хозяйственные работы Никита делал обычно медленно, чтобы не сидеть в комнате и не надоедать напрасно Любе. А когда он отделялся начисто, то нагребал к себе в подол рубашки глину из старого погреба и шел с ней в квартиру. Там он сажился на пол и лепил из глины фигурки людей и разные предметы, не имеющие подобия и назначения, — просто мертвые вымыслы в виде горы с выросшей из нее головой животного или корневища дерева, причем корень был как бы обыкновенный, но столь запутанный, непроходимый, впившийся одним своим отростком в другой, грызущий и мучающий сам себя, что от долгого наблюдения этого корня хотелось спать. Никита нечаянно, блаженно улыбался во время своей глиняной работы, а Люба сидела тут же, рядом с ним, на полу, зашивала белье, напевала песенки, что слышала когда-то, и между своим делом ласкала Никиту одною рукой — то гладила его по голове, то щекотала под мышкой. Никита жил в эти часы со сжавшимся кротким сердцем и не знал, нужно ли ему еще что-либо более высшее и могучее, или жизнь на самом деле невелика, — такая, что уже есть у него сейчас. Но Люба смотрела на него утомленными глазами, полными терпеливой доброты, словно добро и счастье стали для нее тяжким трудом. Тогда Никита мял свои игрушки, превращал их снова в глину и спрашивал у жены, не нужно ли затопить печку, чтобы согреть воду для чая, или сходить куда-нибудь по делу.

— Не нужно, — улыбалась Люба. — Я сама сделаю все...

И Никита понимал, что жизнь велика и, быть может, ему непосильна, что она не вся сосредоточена в его быющем сердце — она еще интересней, сильнее и дороже в другом, недоступном ему человеке. Он взял ведро и пошел за водой в городской колодец, где вода была чище, чем в уличных бассейнах. Никита ничем,

никакой работой не мог утомить свое горе и боялся, как в детстве, приближающейся ночи. Набрав воды, Никита зашел с полным ведром к отцу и посидел у него в гостях.

— Что ж свадьбу-то не сыграли?— спросил отец.— Тайком, по-советски управились?..

— Сыграем еще,— пообещал сын.— Давай с тобой сделаем маленький стол со стулом и кровать-качалку,— ты поговори завтра с мастером, чтоб дали материал... А то у нас дети, наверно, пойдут!

— Ну что ж, можно,— согласился отец.— Да ведь дети у вас скоро не должны быть: не пора еще...

Через неделю Никита поделал для себя всю нужную детскую мебель; он оставался каждый вечер сверхурочно и тщательно трудился. А отец начисто отделал каждую вещь и покрасил ее.

Люба установила детскую утварь в особый уголок, убрала столик будущего ребенка двумя горшками цветов и положила на спинку стула новое вышитое полотенце. В благодарность за верность к ней и к ее неизвестным детям Люба обняла Никиту, она поцеловала его в горло, прильнула к груди и долго согревалась близ любящего человека, зная, что больше ничего сделать нельзя. А Никита, опустив руки, скрывая свое сердце, молча стоял перед нею. потому что не хотел казаться сильным, будучи беспомощным.

В ту ночь Никита выпался рано, проснувшись немного позже полуночи. Он лежал долго в тишине и слушал звон часов в городе — половина первого, час, половина второго: три раза по одному удару. На себе, за окном, началось смутное прозябание — еще не рассвет, а только движение тьмы, медленное оголение пустого пространства, и все вещи в комнате и новая детская мебель тоже стали заметны, но после прожитой темной ночи они казались жалкими и утомленными, точно призывая к себе на помощь. Люба пошевелилась под одеялом и вздохнула: может быть, она тоже не спала. На всякий случай Никита замер и стал слушать. Однако больше Люба не шевелилась, она опять дышала ровно, и Никите нравилось, что Люба лежит около него живая, необходимая для его души и не помнящая во сне, что он, ее муж, существует. Лишь бы она была цела и счастлива, а Никите достаточно для жизни одного сознания про нее. Он задремал в покое, утешаясь

сном близкого милого человека, и снова открыл глаза.

Люба осторожно, почти неслышно плакала. Она покрывалась с головой и там мучилась одна, сдвигая свое горе, чтобы оно умерло беззвучно. Никита повернулся лицом к Любе и увидел, как она, жалобно свернувшись под одеялом, часто дышала и угнеталась. Никита молчал. Не всякое горе можно утешить; есть горе, которое кончается лишь после истощения сердца, в долгом забвении или в рассеянности среди текущих житейских забот.

На рассвете Люба утихла. Никита обождал время, затем приподнял конец одеяла и посмотрел в лицо жены. Она покойно спала, теплая, смирная, с осохшими слезами...

Никита встал, бесшумно оделся и ушел наружу. Слабое утро начиналось в мире, прохожий нищий шел с полной сумою посреди улицы. Никита отправился вслед этому человеку, чтобы иметь смысл идти куда-нибудь. Нищий вышел за город и направился по большаку в слободу Кантемировку, где спокон века были большие базары и жил зажиточный народ; правда, там нищему человеку подавали всегда мало, кормиться как раз приходилось по дальним, бедняцким деревням, но зато в Кантемировке было празднo, интересно, можно пожить на базаре одним наблюдением множества людей, чтобы развлеклась на время душа.

В Кантемировку нищий и Никита пришли к полудню. На околице города нищий человек сел в канавку, открыл сумку и вместе с Никитой стал угощаться оттуда, а в городе они разошлись в разные стороны, потому что у нищего были свои соображения, у Никиты их не было. Никита пришел на базар, сел в тени за торговым закрытым рундуком и перестал думать о Любе, о заботах жизни и о самом себе.

Базарный сторож жил на базаре уже двадцать пять лет и все годы жирно питался со своей тучной, бездетной старухой. Ему всегда у купцов и в кооперативных магазинах давали мясные, некондиционные остатки и отходы, отпускали по себестоимости пошивочный материал, а также предметы по хозяйству, вроде ниток, мыла и прочего. Он уже и сам издавна торговал помаленьку пустой, бракованной тарой и наживал деньги в сберкассе. По должности ему полагалось выметать

мусор со всего базара, смывать кровь с торговых полок в мясном ряду, убирать публичное отхожее место, а по ночам караулить торговые навесы и помещения. Но он только прохаживался ночью по базару в теплом тулупе, а черную работу поручал боснякам и нищим, которые ночевали на базаре; его жена почти всегда выливали остатки вчерашних мясных щей в помойное место, так что сторож всегда мог кормить какого-нибудь бедного человека за уборку отхожего места.

Жена постоянно наказывала ему — не заниматься черной работой, ведь у него уж борода седая вон какая отросла, — он теперь не сторож, а надзиратель.

Но разве бродягу либо нищего приучишь к вечному труду на готовых харчах: он поработает однажды, поест, что дадут, и еще попросит, а потом пропадает обреченно в уезд.

За последнее время уже несколько ночей подряд сторож прогонял с базара одного и того же человека. Когда сторож толкал его, спящего, тот вставал и уходил, ничего не отвечая, а потом опять лежал или сидел где-нибудь за дальним рундуком. Однажды сторож всю ночь охотился за этим бесприютным человеком, в нем даже кровь заиграла от страсти замучить, победить чужое, утомленное существо... Раза два сторож бросал в него палкой и попадал по голове, но бродяга на рассвете все же скрылся от него, — наверно, совсем ушел с базарной площади. А утром сторож нашел его опять — он спал на крышке выгребной ямы за отхожим местом, прямо снаружи. Сторож окликнул спящего, тот открыл глаза, но ничего не ответил, посмотрел и опять равнодушно задремал. Сторож подумал, что это — немой человек. Он ткнул наконечником палки в живот дремлющего и показал рукой, чтоб он шел за ним.

В своей казенной опрятной квартире — из кухни и комнаты — сторож дал немому похлебать из горшка холодных щей с выжарками, а после харчей велел взять в сенях метлу, лопату, скребку, ведро с известью и прибрать начисто публичное место. Немой глядел на сторожа туманными глазами: наверно, он был и глухой еще... Но нет, едва ли, — немой забрал в сенях весь нужный инструмент и материал, как сказал ему сторож, значит — он слышит.

Никита аккуратно сделал работу, и сторож явился

потом проверить, как оно получилось; для начала вышло терпимо, поэтому сторож повел Никиту на конювязь и доверил ему собрать навоз и вывезти его на тачке.

Дома сторож-надзиратель приказал своей хозяйке, чтоб она теперь не выхлестывала в помойку остатки от ужина и обеда, а сливала бы их в отдельную черепушку: пусть немой человек доедает.

— Небось и спать его в горнице класть прикажешь?— спросила хозяйка.

— Это ни к чему!— определил хозяин.— Ночевать он наружи будет: он ведь не глухой, пускай лежит и воров слушает, а услышит — мне прибежит скажет... Дай ему дерюжку, он найдет себе место и постелит...

На слободском базаре Никита прожил долгое время. Отвыкнув сначала говорить, он и думать, вспоминать и мучиться стал меньше. Лишь изредка ему ложился гнет на сердце, но он терпел его без размышления, и чувство горя в нем постепенно утомлялось и проходило. Он уже привык жить на базаре, а многолюдство народа, шум голосов, ежедневные события отвлекали его от памяти по самом себе и от своих интересов — пищи, отдыха, желания увидеть отца. Работал Никита постоянно; даже ночью, когда Никита засыпал в пустом ящике среди умолкшего базара, к нему наведывался сторож-надзиратель и приказывал ему подремывать и слушать, а не спать по-мертвому. «Мало ли что,— говорил сторож,— намерении вон жулики две доски от ларька оторвали, пуд меда без хлеба съели...» А на рассвете Никита уже работал, он спешил убрать базар до народа; днем тоже есть нельзя было, то надо навоз накладывать из кучи на коммунальную подводу, то рыть новую яму для помоев и нечистот, то разбирать старые ящики, которые сторож брал даром у торгующих и продавал затем в деревню отдельными досками,— либо еще находилась работа.

Среди лета Никиту взяли в тюрьму по подозрению в краже москательных товаров из базарного филиала сельпо, но следствие оправдало его, потому что немой, сильно изнемогший человек был слишком равнодушен к обвинению. Следователь не обнаружил в характере Никиты и в его скромной работе на базаре как помощника сторожа никаких признаков жадности к жизни и влечения к удовольствию или наслаждению, — он даже

в тюрьме не поедал всей пищи. Следователь понял, что этот человек не знает ценности личных и общественных вещей, а в обстоятельствах его дела не содержалось прямых улик. «Нечего пачкать тюрьму таким человеком!»— решил следователь.

Никита просидел в тюрьме всего пять суток, а оттуда снова явился на базар. Сторож-надзиратель уморился без него работать, поэтому обрадовался, когда немой опять появился у базарных рундуков. Старик позвал его в квартиру и дал Никите покушать свежих горячих щей, нарушив этим порядок и бережливость в своем хозяйстве. «Один раз поест — не разорит!— успокоил себя старый сторож-хозяин. — А дальше опять на вчерашнюю холодную еду перейдет, когда что останется!»

— Ступай мусор отгреби в бакалейном ряду,— указал сторож Никите, когда тот поел хозяйские щи.

Никита отправился на привычное дело. Он слабо теперь чувствовал самого себя и думал немного, что лишь нечаянно появлялось в его мысли. К осени, вероятно, он вовсе забудет, что он такое, и, видя вокруг действие мира,— не станет больше иметь о нем представления; пусть всем людям кажется, что этот человек живет себе на свете, а на самом деле он будет только находиться здесь и существовать в беспамятстве, в бедности ума, в бесчувствии, как в домашнем тепле, как в укрытии от смертного горя...

Вскоре после тюрьмы, уже на отдании лета,— когда ночи стали длиннее.— Никита, как нужно по правилу, хотел вечером запереть дверь в отхожее место, но оттуда слышался голос:

— Погоди, милый, замыкать!.. иль и отсюда добро воруют?

Никита обождал человека. Из помещения вышел отец с пустым мешком под мышкой.

— Здравствуй, Никит! — сказал сначала отец и вдруг жалобно заплакал, стесняясь слез и не утирая их ничем, чтоб не считать их существующими.— Мы думали, ты покойник давно... Значит, ты цел?

Никита обнял похудевшего, поникшего отца,— в нем тронулось сейчас сердце, отвыкшее от чувства.

Потом они пошли на пустой базар и приютились в проходе меж двух рундуков.

— А я за крупной сюда пришел, тут она дешевле,— объяснил отец.— Да вот, видишь, опоздал, базар уж

разошелся... Ну, теперь переночую, а завтра куплю и отправлюсь... А ты тут что?

Никита захотел ответить отцу, однако у него ссохлось горло, и он забыл, как нужно говорить. Тогда он раскашлялся и прошептал:

— Я ничего. А Люба жива?

— В реке утопилась,— сказал отец.— Но ее рыбаки сразу увидели и вытащили, стали отхаживать,— она и в больнице лежала: поправилась.

— А теперь жива? — тихо спросил Никита.

— Да пока еще не умерла,— произнес отец.— У нее кровь горлом часто идет: наверно, когда утонула, то простудилась. Она время плохое выбрала,— тут как-то погода испортилась, вода была холодная...

Отец вынул из кармана хлеб, дал половину сыну, и они пожевали немного на ужин. Никита молчал, а отец постелил на землю мешок и собирался укладываться.

— А у тебя есть место? — спросил отец.— А то ложись на мешок, а я буду на земле, я не простужусь, я старый...

— А отчего Люба утопилась? — прошептал Никита.

— У тебя горло, что ль, болит? — спросил отец.— Пройдет!.. По тебе она сильно убивалась и скучала, вот отчего... Цельный месяц по реке Потудани, по берегу, взад-вперед за сто верст ходила. Думала, ты утонул и всплывешь, а она хотела тебя увидеть. А ты, оказывается, вот тут живешь. Это плохо.

Никита думал о Любе, и опять его сердце наполнялось горем и силой.

— Ты ночуй, отец, один,— сказал Никита.— Я пойду на Любу погляжу.

— Ступай,— согласился отец.— Сейчас идти хорошо, прохладно. А я завтра приду, тогда поговорим...

Выйдя из слободы, Никита побежал по безлюдному уездному большаку. Утомившись, он шел некоторое время шагом, потом снова бежал в свободном легком воздухе по темным полям.

Поздно ночью Никита постучал в окно к Любе и потрогал ставни, которые он покрасил когда-то зеленой краской,— сейчас ставни казались синими от темной ночи. Он прильнул лицом к оконному стеклу. От белой простыни, спустившейся с кровати, по комнате рассеивался слабый свет, и Никита увидел детскую мебель,

сделанную им с отцом,— она была цела. Тогда Никита сильно постучал по оконной раме. Но Люба опять не ответила, она не подошла к окну, чтобы узнать его.

Никита перелез через калитку, вошел в сени, затем в комнату,— двери были не заперты: кто здесь жил, тот не заботился о сохранении имущества от воров.

На кровати под одеялом лежала Люба, укрывшись с головой.

— Люба! — тихо позвал ее Никита.

— Что? — спросила Люба из-под одеяла.

Она не спала. Может быть, она лежала одна в страхе и болезни или считала стук в окно и голос Никиты сном.

Никита сел с краю на кровать.

— Люба, это я пришел! — сказал Никита.

Люба откинула одеяло со своего лица.

— Иди скорее ко мне! — попросила она своим прежним, нежным голосом и протянула руки Никите.

Люба боялась, что все это сейчас исчезнет; она схватила Никиту за руки и потянула его к себе.

Никита обнял Любу с тою силою, которая пытается вместить другого, любимого человека внутрь своей нуждающейся души; но он скоро опомнился, и ему стало стыдно.

— Тебе не больно? — спросил Никита.

— Нет! Я не чувствую, — ответила Люба.

Он пожелал ее всю, чтобы она утешилась, и жестокая, жалкая сила пришла к нему. Однако Никита не узнал от своей близкой любви с Любой более высшей радости, чем знал ее обыкновенно,— он почувствовал лишь, что сердце его теперь господствует во всем его теле и делится своей кровью с бедным, но необходимым наслаждением.

Люба попросила Никиту,— может быть, он затопит печку, ведь на дворе еще долго будет темно. Пусть огонь светит в комнате, все равно спать она больше не хочет, она станет ожидать рассвета и глядеть на Никиту.

Но в сенях больше не оказалось дров. Поэтому Никита оторвал на дворе от сарая две доски, поколотил их на части и на щепки и растопил железную печь. Когда огонь прогрелся, Никита отворил печную дверцу, чтобы свет выходил наружу. Люба сошла с кровати и села на полу против Никиты, где было светло.

— Тебе ничего сейчас, не жалко со мною жить? — спросила она.

— Нет, мне ничего,— ответил Никита.— Я уже привык быть счастливым с тобой.

— Растопи печку посильней, а то я продрогла,— попросила Люба.

Она была сейчас в одной заношенной ночной рубашке, и похудевшее тело ее озябло в прохладном сумраке позднего времени.

В ПРЕКРАСНОМ И ЯРОСТНОМ МИРЕ

(Машинист Мальцев)

I

В Толубеевском депо лучшим паровозным машинистом считался Александр Васильевич Мальцев.

Ему было лет тридцать, но он уже имел квалификацию машиниста первого класса и давно водил скорые поезда. Когда в наше депо прибыл первый мощный пассажирский паровоз серии «ИС», то на эту машину назначили работать Мальцева, что было вполне разумно и правильно. Помощником у Мальцева работал пожилой человек из деповских слесарей по имени Федор Петрович Драбанов, но он вскоре выдержал экзамен на машиниста и ушел работать на другую машину, а я был, вместо Драбанова, определен работать в бригаду Мальцева помощником; до того я тоже работал помощником механика, но только на старой, маломощной машине.

Я был доволен своим назначением. Машина «ИС», единственная тогда на нашем тяговом участке, одним своим видом вызывала у меня чувство воодушевления; я мог подолгу глядеть на нее, и особая растроганная радость пробуждалась во мне — столь же прекрасная, как в детстве при первом чтении стихов Пушкина. Кроме того, я желал поработать в бригаде первоклассного механика, чтобы научиться у него искусству вождения тяжелых скоростных поездов.

Александр Васильевич принял мое назначение в его бригаду спокойно и равнодушно; ему было, видимо, все равно, кто у него будет состоять в помощниках.

Перед поездкой я, как обычно, проверил все узлы машины, испытал все ее обслуживающие и вспомогательные механизмы и успокоился, считая машину го-

товой к поездке. Александр Васильевич видел мою работу, он следил за ней, но после меня собственными руками снова проверил состояние машины, точно он не доверял мне.

Так повторялось и впоследствии, и я уже привык к тому, что Александр Васильевич постоянно вмешивался в мои обязанности, хотя и огорчался молчаливо. Но обыкновенно, как только мы были в ходу, я забывал про свое огорчение. Отвлекаясь вниманием от приборов, следящих за состоянием бегущего паровоза, от наблюдения за работой левой машины и пути впереди, я поглядывал на Мальцева. Он вел состав с отважной уверенностью великого мастера, с сосредоточенностью вдохновенного артиста, вобравшего весь внешний мир в свое внутреннее переживание и поэтому властвующего над ним. Глаза Александра Васильевича глядели вперед отвлеченно, как пустые, но я знал, что он видел ими всю дорогу впереди и всю природу, несущуюся нам навстречу,— даже воробей, сметенный с балластного откоса ветром вонзающейся в пространство машины, даже этот воробей привлекал взор Мальцева, и он поворачивал на мгновение голову вслед за воробьем: что с ним станет после нас, куда он полетел.

По нашей вине мы никогда не опаздывали; напротив, часто нас задерживали на промежуточных станциях, которые мы должны проследовать с ходу, потому что мы шли с нагоном времени и нас посредством задержек обратно вводили в график.

Обычно мы работали молча; лишь изредка Александр Васильевич, не оборачиваясь в мою сторону, стучал ключом по котлу, желая, чтобы я обратил свое внимание на какой-нибудь непорядок в режиме работы машины, или подготавливая меня к резкому изменению этого режима, чтобы я был бдителен. Я всегда понимал безмолвные указания своего старшего товарища и работал с полным усердием, однако механик по-прежнему относился ко мне, равно и к смазчику-кочегару, отчужденно и постоянно проверял на стоянках пресс-масленки, затяжку болтов в дышловых узлах, опробовал буксы на ведущих осях и прочее. Если я только что осмотрел и смазал какую-либо рабочую трущуюся часть, то Мальцев вслед за мной снова ее осматривал и смазывал, точно не считая мою работу действительной.

— Я, Александр Васильевич, этот крейскопф уже

проверил,— сказал я ему однажды, когда он стал проверять эту деталь после меня.

— А я сам хочу,— улыбнувшись, ответил Мальцев, и в улыбке его была грусть, поразившая меня.

Позже я понял значение его грусти и причину его постоянного равнодушия к нам. Он чувствовал свое превосходство перед нами, потому что понимал машину точнее, чем мы, и он не верил, что я или кто другой может научиться тайне его таланта, тайне видеть одновременно и попутного воробья, и сигнал впереди, ощущая в тот же момент путь, вес состава и усилие машины. Мальцев понимал, конечно, что в усердии, в старательности мы даже можем его превозмочь, но не представлял, чтобы мы больше его любили паровоз и лучше его водили поезда,— лучше, он думал, было нельзя. И Мальцеву поэтому было грустно с нами; он скучал от своего таланта, как от одиночества, не зная, как нам высказать его, чтобы мы поняли.

И мы, правда, не могли понять его умения. Я попросил однажды разрешить повести мне состав самостоятельно; Александр Васильевич позволил мне проехать километров сорок и сел на место помощника. Я повел состав, и через двадцать километров уже имел четыре минуты опоздания, а выходы с затяжных подъемов преодолевал со скоростью не более тридцати километров в час. После меня машину повел Мальцев; он брал подъемы со скоростью пятидесяти километров, и на кривых у него не забрасывало машину, как у меня, и он вскоре нагнал упущенное мною время.

2

Около года я работал помощником у Мальцева, с августа по июль, и 5 июля Мальцев совершил свою последнюю поездку в качестве машиниста курьерского поезда...

Мы взяли состав в восемьдесят пассажирских осей, опоздавший до нас в пути на четыре часа. Диспетчер вышел к паровозу и специально попросил Александра Васильевича сократить, сколь возможно, опоздание поезда, свести это опоздание хотя бы к трем часам, иначе ему трудно будет выдать порожняк на соседнюю дорогу. Мальцев пообещал ему нагнать время, и мы тронулись вперед.

Было восемь часов пополудни, но летний день еще длился, и солнце сияло с торжественной утренней силой. Александр Васильевич потребовал от меня держать все время давление пара в котле лишь на пол-атмосферы ниже предельного.

Через полчаса мы вышли в степь, на спокойный мягкий профиль. Мальцев довел скорость хода до девяноста километров и ниже не сдал, наоборот — на горизонталях и малых уклонах доводил скорость до ста километров. На подъемах я форсировал топку до предельной возможности и заставлял кочегара вручную загружать шуровку, в помощь стоккерной машине, ибо пар у меня садился.

Мальцев гнал машину вперед, отведя регулятор на всю дугу и отдав реверс на полную отсечку. Мы теперь шли навстречу мощной туче, появившейся из-за горизонта. С нашей стороны тучу освещало солнце, а изнутри ее рвали свирепые, раздраженные молнии, и мы видели, как мечи молний вертикально вонзались в безмолвную дальнюю землю, и мы бешено мчались к той дальней земле, словно спеша на ее защиту. Александра Васильевича, видимо, увлекло это зрелище: он далеко высунулся в окно, глядя вперед, и глаза его, привыкшие к дыму, к огню и пространству, блеснули сейчас воодушевлением. Он понимал, что работа и мощность нашей машины могла идти в сравнение с работой грозы, и, может быть, гордился этой мыслью.

Вскоре мы заметили пыльный вихрь, несшийся по степи нам навстречу. Значит, и грозовую тучу несла буря нам в лоб. Свет потемнел вокруг нас; сухая земля и степной песок засвистели и заскрежетали по железному телу паровоза; видимости не стало, и я пустил турбодинамо для освещения и включил лобовой прожектор впереди паровоза. Нам теперь трудно было дышать от горячего пыльного вихря, забивавшегося в кабину и удвоенного в своей силе встречным движением машины, от топочных газов и раннего сумрака, обступившего нас. Паровоз с воем пробивался вперед, в смутный, душный мрак — в щель света, создаваемую лобовым прожектором. Скорость упала до шестидесяти километров; мы работали и смотрели вперед, как в сновидении.

Вдруг крупная капля ударила по ветровому стеклу — и сразу высохла, испитая жарким ветром. Затем

мгновенный синий свет вспыхнул у моих ресниц и проник в меня до самого содрогнувшегося сердца; я схватился за кран инжектора, но боль в сердце уже отошла от меня, и я сразу поглядел в сторону Мальцева — он смотрел вперед и вел машину, не изменившись в лице.

— Что это было? — спросил я у кочегара.

— Молния, — сказал он. — Хотела в нас попасть, да маленько промахнулась.

Мальцев расслышал наши слова.

— Какая молния? — спросил он громко.

— Сейчас была, — произнес кочегар.

— Я не видел, — сказал Мальцев и снова обратился лицом наружу.

— Не видел! — удивился кочегар. — Я думал — котел взорвался, во как засветило, а он не видел.

Я тоже усомнился, что это была молния.

— А гром где? — спросил я.

— Гром мы проехали, — объяснил кочегар. — Гром всегда после бьет. Пока он вдарил, пока воздух расшатал, пока туда-сюда, мы уже прочь его пролетели. Пассажиры, может, слышали, — они сзади.

Далее мы вошли в ливень, но скоро миновали его и выехали в утихшую, темную степь, над которой неподвижно поконились смиренные, изработавшиеся тучи.

Потемнело вовсе, и наступила спокойная ночь. Мы ощущали запах сырой земли, благоухание трав и хлебов, налитых дождем и грозой, и неслись вперед, нагоняя время.

Я заметил, что Мальцев стал хуже вести машину — на кривых нас забрасывало, скорость доходила то до ста с лишним километров, то снижалась до сорока. Я решил, что Александр Васильевич, наверно, очень устал, и поэтому ничего не сказал ему, хотя мне было очень трудно держать в наилучшем режиме работу топки и котла при таком поведении механика. Однако через полчаса мы должны остановиться для набора воды, и там, на остановке, Александр Васильевич поест и немного отдохнет. Мы уже нагнали сорок минут, а до конца нашего тягового участка мы нагоним еще не менее часа.

Все же я обеспокоился усталостью Мальцева и стал сам внимательно глядеть вперед — на путь и на сигналы. С моей стороны, над левой машиной, горела на

весу электрическая лампа, освещающая машущий, дышло-вой механизм. Я хорошо видел напряженную, уверенную работу левой машины, но затем лампа над нею припотухла и стала гореть бедно, как одна свечка. Я обернулся в кабину. Там тоже все лампы горели теперь в четверть накала, еле освещая приборы. Странно, что Александр Васильевич не постучал мне ключом в этот момент, чтобы указать на такой непорядок. Ясно было, что турбодинамо не давала расчетных оборотов и напряжение упало. Я стал регулировать турбодинамо через паропровод и долго возился с этим устройством, но напряжение не поднималось.

В это время туманное облако красного света прошло по циферблатам приборов и потолку кабины. Я выглянул наружу.

Впереди, во тьме, близко или далеко — нельзя было установить, красная полоса света колебалась поперек нашего пути. Я не понимал, что это было, но понял, что надо делать.

— Александр Васильевич! — крикнул я и дал три гудка остановки.

Раздались взрывы петард под бандажами наших колес. Я бросился к Мальцеву; он обернул ко мне свое лицо и поглядел на меня пустыми покойными глазами. Стрелка на циферблате тахометра показывала скорость в шестьдесят километров.

— Мальцев! — закричал я. — Мы петарды давим! — и протянул руки к управлению.

— Прочь! — воскликнул Мальцев, и глаза его засияли, отражая свет тусклой лампы над тахометром.

Он мгновенно дал экстренное торможение и перевел реверс назад.

Меня прижало к котлу, я слышал, как выли бандажи колес, стругавшие рельсы.

— Мальцев! — сказал я. — Надо краны цилиндров открыть, машину ломаем.

— Не надо! Не ломаем! — ответил Мальцев.

Мы остановились. Я закачал инжектором воду в котел и выглянул наружу. Впереди нас, метрах в десяти, стоял на нашей линии паровоз, тендером в нашу сторону. На тендере находился человек; в руках у него была длинная кочерга, раскаленная на конце до красного цвета; ею и махал он, желая остановить курьерский

поезд. Паровоз этот был толкачом товарного состава, остановившегося на перегоне.

Значит, пока я налаживал турбодинамо и не глядел вперед, мы прошли желтый светофор, а затем и красный и, вероятно, не один предупреждающий сигнал путевых обходчиков. Но отчего эти сигналы не заметил Мальцев?

— Костя! — позвал меня Александр Васильевич.

Я подошел к нему.

— Костя! Что там впереди нас?

Я объяснил ему.

— Костя... Дальше ты поведешь машину, я ослеп.

На другой день я привел обратный состав на свою станцию и сдал паровоз в депо, потому что у него на двух скатах слегка сместились бандажи. Доложив начальнику депо о происшествии, я повел Мальцева под руку к месту его жительства; сам Мальцев был в тяжком удручении и не пошел к начальнику депо.

Мы еще не дошли до того дома на заросшей травой улице, в котором жил Мальцев, как он попросил меня оставить его одного.

— Нельзя, — ответил я. — Вы, Александр Васильевич, слепой человек.

Он посмотрел на меня ясными, думающими глазами.

— Теперь я вижу, ступай домой... Я вижу все — вон жена вышла встретить меня.

У ворот дома, где жил Мальцев, действительно стояла в ожидании женщина, жена Александра Васильевича, и ее открытые черные волосы блестели на солнце.

— А у нее голова покрытая или без всего? — спросил я.

— Без, — ответил Мальцев. — Кто слепой — ты или я?

— Ну, раз видишь, то смотри, — решил я и отошел от Мальцева.

3

Мальцева отдали под суд, и началось следствие. Меня вызвал следователь и спросил, что я думаю о происшествии с курьерским поездом. Я ответил, что думал, — что Мальцев не виноват.

— Он ослеп от близкого разряда, от удара молнии, — сказал я следователю. — Он был контужен, и нервы, которые управляют зрением, были у него повреждены... Я не знаю, как это нужно сказать точно.

— Я вас понимаю,— произнес следователь,— вы говорите точно. Это все возможно, но не достоверно. Ведь сам Мальцев показал, что он молнии не видел.

— А я ее видел, и смазчик ее тоже видел.

— Значит, молния ударила ближе к вам, чем к Мальцеву,— рассуждал следователь.— Почему же вы и смазчик не контужены, не ослепли, а машинист Мальцев получил контузию зрительных нервов и ослеп? Как вы думаете?

Я стал в тупик, а затем задумался.

— Молнию Мальцев увидеть не мог, — сказал я.

Следователь удивленно слушал меня.

— Он увидеть ее не мог. Он ослеп мгновенно — от удара электромагнитной волны, которая идет впереди света молнии. Свет молнии есть последствие разряда, а не причина молнии. Мальцев был уже слепой, когда молния засветилась, а слепой не мог увидеть света.

— Интересно,— улыбнулся следователь.— Я бы прекратил дело Мальцева, если бы он и сейчас был слепым. Но вы же знаете, теперь он видит так же, как мы с вами.

— Видит,— подтвердил я.

— Был ли он слепым,— продолжал следователь,— когда на огромной скорости вел курьерский поезд в хвост товарному поезду?

— Был,— подтвердил я.

Следователь внимательно посмотрел на меня.

— Почему же он не передал управление паровозом вам или, по крайней мере, не приказал вам остановить состав?

— Не знаю,— сказал я.

— Вот видите,— говорил следователь.— Взрослый сознательный человек управляет паровозом курьерского поезда, везет на верную гибель сотни людей, случайно избегает катастрофы, а потом оправдывается тем, что он был слеп. Что это такое?

— Но ведь он и сам бы погиб! — говорю я.

— Вероятно. Однако меня больше интересует жизни сотен людей, чем жизнь одного человека. Может быть, у него были свои причины погибнуть.

— Не было,— сказал я.

Следователь стал равнодушен; он уже заскучал от меня, как от глупца.

— Вы все знаете, кроме главного,— в медленном размышлении сказал он.— Вы можете идти.

От следователя я пошел на квартиру Мальцева.

— Александр Васильевич,— сказал я ему,— почему вы не позвали меня на помощь, когда ослепли?

— А я видел, — ответил он. — Зачем ты нужен мне был?

— Что вы видели?

— Все: линию, сигналы, пшеницу в степи, работу правой машины — я все видел...

Я озадачился.

— А как же так у вас вышло? Вы проехали все предупреждения, вы шли прямо в хвост другому составу...

Бывший механик первого класса грустно задумался и тихо ответил мне, как самому себе:

— Я привык видеть свет, и я думал, что вижу его, а я видел его тогда только в своем уме, в воображении. На самом деле я был слепой, но я этого не знал... Я и в петарды не поверил, хотя и услышал их: я подумал, что ослышался. А когда ты дал гудки остановки и закричал мне, я видел впереди зеленый сигнал, я сразу не догадался.

Теперь я понял Мальцева, но не знал, почему он не скажет о том следователю — о том, что после того, как он ослеп, он еще долго видел мир в своем воображении и верил в его действительность. И я спросил об этом Александра Васильевича.

— А я ему говорил,— ответил Мальцев.

— А он что?

— «Это, говорит, ваше воображение было; может, вы и сейчас воображаете что-нибудь, я не знаю. Мне, говорит, нужно установить факты, а не ваше воображение или мнительность. Ваше воображение — было оно или нет — я проверить не могу, оно было лишь у вас в голове; это ваши слова, а крушение, которое чуть-чуть не произошло,— это действие».

— Он прав,— сказал я.

— Прав, я сам знаю,— согласился машинист.— И я тоже прав, а не виноват. Что же теперь будет?

— В тюрьме сидеть будешь,— сообщил я ему.

Мальцева посадили в тюрьму. Я по-прежнему ездил помощником, но только уже с другим машинистом — осторожным стариком, тормозившим состав еще за километр до желтого светофора, а когда мы подъезжали к нему, то сигнал переделывался на зеленый, и старик опять начинал волочить состав вперед. Это была не работа: я скучал по Мальцеву.

Зимой я был в областном городе и посетил своего брата, студента, жившего в университетском общежитии. Брат сказал мне среди беседы, что у них, в университете, есть в физической лаборатории установка Тесла для получения искусственной молнии. Мне пришло в голову некоторое соображение, неуверенное и еще не ясное для меня самого.

Возвратившись домой, я обдумал свою догадку относительно установки Тесла и решил, что моя мысль правильна. Я написал письмо следователю, ведшему в свое время дело Мальцева, с просьбой испытать заключенного Мальцева на подверженность его действию электрических разрядов. В случае, если будет доказана подверженность психики Мальцева либо его зрительных органов действию близких внезапных электрических разрядов, то дело Мальцева надо пересмотреть. Я указал следователю, где находится установка Тесла и как нужно произвести опыт над человеком.

Следователь долго не отвечал мне, но потом сообщил, что областной прокурор согласился произвести предложенную мною экспертизу в университетской физической лаборатории.

Через несколько дней следователь вызвал меня повесткой. Я пришел к нему взволнованный, заранее уверенный в счастливом решении дела Мальцева.

Следователь поздоровался со мной, но долго молчал, медленно читая какую-то бумагу печальными глазами; я терял надежду.

— Вы подвели своего друга,— сказал затем следователь.

— А что? Приговор остается прежний?

— Нет. Мы освободим Мальцева. Приказ уже дан,— может быть, Мальцев уже дома.

— Благодарю вас.— Я встал на ноги перед следователем.

— А мы вас благодарить не будем. Вы дали плохой совет: Мальцев опять слепой...

Я сел на стул в усталости, во мне мгновенно сгорела душа, и я захотел пить.

— Эксперты без предупреждения, в темноте, провели Мальцева под установкой Тесла,— говорил мне следователь.— Включен был ток, произошла молния, и раздался резкий удар. Мальцев прошел спокойно, но теперь он снова не видит света—это установлено объективным путем, судебно-медицинской экспертизой.

Следователь попил воды и добавил:

— Сейчас он опять видит мир только в одном своем воображении... Вы его товарищ, помогите ему.

— Может быть, к нему опять вернется зрение,— высказал я надежду,— как было тогда, после паровоза...

Следователь подумал.

— Едва ли... Тогда была первая травма, теперь вторая. Рана нанесена по раненому месту.

И, не сдерживаясь более, следователь встал и в волнении начал ходить по комнате.

— Это я виноват... Зачем я послушался вас и, как глупарь, настоял на экспертизе! Я рисковал человеком, а он не вынес риска.

— Вы не виноваты, вы ничем не рисковали,— утешил я следователя.— Что лучше — свободный слепой человек или зрячий, но невинно заключенный?

— Я не знал, что мне придется доказать невинность человека посредством его несчастья,— сказал следователь.— Это слишком дорогая цена.

— Вы следователь,— объяснил я ему.— Вы должны знать про человека все, и даже то, чего он сам про себя не знает...

— Я вас понимаю, вы правы,— тихо произнес следователь.

— Вы не волнуйтесь, товарищ следователь... Тут действовали факты внутри человека, а вы искали их только снаружи. Но вы сумели понять свой недостаток и поступили с Мальцевым как человек благородный. Я вас уважаю.

— Я вас тоже, — сознался следователь. — Знаете, из вас мог бы выйти помощник следователя...

— Спасибо, но я занят: я помощник машиниста на курьерском паровозе.

Я ушел. Я не был другом Мальцева, и он ко мне

всегда относился без внимания и заботы. Но я хотел защитить его от горя судьбы, я был ожесточен против роковых сил, случайно и равнодушно уничтожающих человека; я почувствовал тайный, неуловимый расчет этих сил — в том, что они губили именно Мальцева, а, скажем, не меня. Я понимал, что в природе не существует такого расчета в нашем человеческом, математическом смысле, но я видел, что происходят факты, доказывающие существование враждебных, для человеческой жизни губительных обстоятельств, и эти губительные силы сокрушают избранных, возвышенных людей. Я решил не сдаваться, потому что чувствовал в себе нечто такое, чего не могло быть во внешних силах природы и в нашей судьбе,— я чувствовал свою особенность человека. И я пришел в ожесточение и решил воспротивиться, сам еще не зная, как это нужно сделать.

5

На следующее лето я сдал экзамен на звание машиниста и стал ездить самостоятельно на паровозе серии «СУ», работая на пассажирском местном сообщении. И почти всегда, когда я подавал паровоз под состав, стоявший у станционной платформы, я видел Мальцева, сидевшего на крашеной скамейке. Облокотившись рукою на трость, поставленную между ног, он обращал в сторону паровоза свое страстное, чуткое лицо с опустевшими слепыми глазами, и жадно дышал запахом гари и смазочного масла и внимательно слушал ритмичную работу паровоздушного насоса. Утешить его мне было нечем, и я уезжал, а он оставался.

Шло лето; я работал на паровозе и часто видел Александра Васильевича — не только на вокзальной платформе, но встречал его и на улице, когда он медленно шел, ощупывая дорогу тростью. Он осунулся и постарел за последнее время; жил он в достатке — ему определили пенсию, жена его работала, детей у них не было, но тоска, безжизненная участь снедали Александра Васильевича, и тело его худело от постоянного горя. Я с ним иногда разговаривал, но видел, что ему скучно было беседовать о пустяках и довольствоваться моим любезным утешением, что и слепой — это тоже вполне полноправный, полноценный человек.

— Прочь! — говорил он, выслушав мои доброжелательные слова.

Но я тоже был сердитый человек, и, когда, по обычаю, он однажды велел уходить мне прочь, я сказал ему:

— Завтра в десять тридцать я поведу состав. Если будешь сидеть тихо, я возьму тебя в машину.

Мальцев согласился.

— Ладно. Я буду смирным. Дай мне там в руки что-нибудь, — дай реверс подержать: я крутить его не буду.

— Крутить его ты не будешь! — подтвердил я. — Если покрутишь, я тебе дам в руки кусок угля и больше сроду не возьму на паровоз.

Слепой промолчал; он настолько хотел снова побыть на паровозе, что смирился передо мной.

На другой день я пригласил его с крашеной скамейки на паровоз и сошел к нему навстречу, чтобы помочь ему подняться в кабину.

Когда мы тронулись вперед, я посадил Александра Васильевича на свое место машиниста, я положил одну его руку на реверс и другую на тормозной автомат и поверх его рук положил свои руки. Я водил своими руками, как надо, и его руки тоже работали. Мальцев сидел молчаливо и слушался меня, наслаждаясь движением машины, ветром в лицо и работой. Он сосредоточился, забыл свое горе слепца, и кроткая радость осветила изможденное лицо этого человека, для которого ощущение машины было блаженством.

В обратный конец мы ехали подобным же способом: Мальцев сидел на месте механика, а я стоял, склонившись, возле него и держал свои руки на его руках. Мальцев уже приноровился работать таким образом настолько, что мне было достаточно легкого нажима на его руку, и он с точностью ощущал мое требование. Прежний, совершенный мастер машины стремился превозмочь в себе недостаток зрения и чувствовать мир другими средствами, чтобы работать и оправдать свою жизнь.

На спокойных участках я вовсе отходил от Мальцева и смотрел вперед со стороны помощника.

Мы уже были на подходе к Толубееву; наш очередной рейс благополучно заканчивался, и шли мы вовремя. Но на последнем перегоне нам светил навстречу

желтый светофор. Я не стал преждевременно сокращать хода и шел на светофор с открытым паром. Мальцев сидел спокойно, держа левую руку на реверсе; я смотрел на своего учителя с тайным ожиданием...

— Закрой пар! — сказал мне Мальцев.

Я промолчал, волнуясь всем сердцем.

Тогда Мальцев встал с места, протянул руку к регулятору и закрыл пар.

— Я вижу желтый свет, — сказал он и повел рукоятку тормоза на себя.

— А может быть, ты опять только воображаешь, что видишь свет! — сказал я Мальцеву.

Он повернул ко мне свое лицо и заплакал. Я подошел к нему и поцеловал его в ответ:

— Веди машину до конца, Александр Васильевич: ты видишь теперь весь свет!

Он довел машину до Толубеева без моей помощи. После работы я пошел вместе с Мальцевым к нему на квартиру, и мы вместе с ним просидели весь вечер и всю ночь.

Я боялся оставить его одного, как родного сына, без защиты против действия внезапных и враждебных сил нашего прекрасного и яростного мира.

ОДУХОТВОРЕННЫЕ ЛЮДИ

(Рассказ о небольшом сражении под Севастополем)

Вдальней уральской деревне пели русские девушки. Одна из них пела выше и задумчивее всех, и слезы текли по ее лицу, но она продолжала петь, чтобы не отстать от своих подруг и чтобы они не заметили ее горя и печали. Она плакала от чувства любви, от памяти по человеку, который был сейчас на войне; ей хотелось увидеть его и утешить вблизи него свое сердце, плачущее в разлуке.

А он бежал сейчас по полю сражения вперед, лицо его было покрыто кровью и потом, он бежал, задыхаясь от смертной истомы, и кричал от ярости. У него была поранена пулей щека, и кровь из нее лилась ему за шею и засыхала на его теле под рубашкой. Он хотел рвануть на себе рубашку, но она была спрятана далеко под бушлатом и морской шинелью. Он чувствовал лишь

маленькую рану на лице и не понимал, отчего же он столь слабеет и дыхание его не держит тела. Тогда он рванул на себе воротник застегнутого бушлата; ему сейчас некогда было слабеет, ему еще нужно было немного времени, потому что он шел в атаку, он бежал по известковому полю, поросшему сухощавой полынью. Вблизи от него, справа, слева и позади, стремились вперед его товарищи, и сердца их бились в один лад с его сердцем, сохраняя жизнь и надежду против смерти.

Он пал вниз лицом, послушный мгновенному побуждению, тому острому чувству опасности, от которого глаз смежается прежде, чем в него попала игла. Он и сам не понял вначале, отчего он вдруг приник к земле, но, когда смерть стала напевать над ним долгою очередью пуль, он вспомнил мать, родившую его. Это она, полюбив своего сына, вместе с жизнью подарила ему тайное свойство хранить себя от смерти, действующее быстрее помышления, потому что она любила его и готовила его в своем чреве для вечной жизни, так велика была ее любовь.

Пули прошли над ним; он снова был на ногах, повинусь необходимости боя, и пошел вперед. Но томительная слабость мучила его тело, и он боялся, что умрет на ходу.

Впереди него лежал на земле старшина Прохоров. Старшина более не мог подняться: моряк был убит пулею в глаз — свет и жизнь в нем угасли одновременно. «Может быть, мать его любила меньше меня или она забыла про него», — подумал моряк, шедший в атаку, и ему стало стыдно этой своей нечаянной мысли. Вчера он говорил с Прохоровым, они курили вместе и вспоминали службу на погибшем ныне корабле. И ему захотелось прилечь к Прохорову, чтобы сказать ему, что он никогда не забудет его, что он умрет за него, но сейчас ему было некогда прощаться с другом, нужно было лишь биться в память его. Ему стало легко, томительная слабость в его теле, от которой он боялся умереть на ходу, теперь прошла, точно он принял на себя обязанность жить за умершего друга, и сила погибшего вошла в него. С криком ярости он ворвался в окоп, в убежище врага, увидел там серое лицо неизвестного человека, почувствовал чуждое зловоние и сразил врага прикладом в лоб, чтобы он не убивал нас больше и не мучил наш народ страхом смерти. Затем моряк обер-

нулся в темноте земляной щели и размахнулся винтовкой на другого врага, но не упомянул, убил он его или нет, и упал в беспамятстве, с закатившимся дыханием от взрывной волны. По немецкому рубежу, атакованному русскими моряками, начала сокрушающе бить немецкая артиллерия, чтобы место стало ничьим.

Старший батальонный комиссар Поликарпов издали смотрел в бинокль на поле сражения. Он видел тех, кто пал к земле и не поднялся более, и тех, кто превозмог встречный огонь противника и дошел до щелей врага на взгорье, чтобы закончить его жизнь штыком и прикладом. Комиссар запомнил, как пал сраженным Прохоров, как приостановился и неохотно опустился на землю младший политрук Афанасьев, и неровно, но упрямо удалялся вперед на противника краснофлотец Красносельский, видимо уже раненный, однако стерпевший до конца свою муку.

Правый и левый фланги еще шли, но середины уже не было. Средняя часть наступающего подразделения была вся разбита и легла к земле под огнем; был или не был там кто в живых, — комиссар Поликарпов не знал; поэтому он сам решил идти туда и пополз по земле вперед.

Позади него был Севастополь, впереди — Дуванкойское шоссе. Немного левее шоссе поворачивало и шло прямо на юг, на Севастополь. Против закругления шоссе, по ту сторону его, лежало пологое поле, а немного дальше находилась высота, на которой теперь были немцы. С высоты врагу уже виден был город — последняя крепость и убежище русского народа в Крыму.

Правый и левый фланги атакующей морской пехоты вошли на взгорье, на скат высоты, и скрылись в складках земной поверхности, в окопах противника, занявшись там рукопашным боем. Огонь врага прекратился. Поликарпов поднялся в рост и побежал по взгорью. Четверс моряков с правого фланга присоединились к Поликарпову и помчались вперед, вслед комиссару, пользуясь тишиною на этой еще не остывшей от огня смертной земле.

Поликарпов заметил краснофлотца Нефедова, лежавшего замертво на земле. У комиссара тронулось сердце печалью. Он вспомнил Нефедова, павшего теперь славной смертью, а прежде это был веселый, привлекательный, но трудный человек. И вот он лежит

мертвый, он остался уже позади бегущего вперед комиссара.

Внезапный и одновременный удар огня из нескольких пулеметов раздался со второго рубежа немцев; этот рубеж проходил возле самой вершины высоты. Огонь был жесткий и точный; Поликарпов обернулся к бойцам и сделал им знак, чтобы они залегли, и сам залег впереди них.

Вдобавок к пулеметам начали бить минометы, и общий огонь стал суетливым и неосмысленным. «Зачем столько огня против пятерых? — подумал Поликарпов. — Пугливо, без расчета бьют!»

Поликарпов осторожно обернулся лицом назад — к бойцам. Они лежали врозь, правильно, хорошо вжившись в землю, тесно прильнув к ней в поисках защиты от гибели.

До переднего немецкого края, куда ворвались на флангах краснофлотцы, осталось пройти метров сто, и обратно, до Дуванкойского шоссе, было столько же.

Минометный огонь усилился; маленькие толстые тела мин с воем неслись над телами людей и рвались на куски, словно от собственной внутренней ярости. Оставаться на месте было нельзя, чтобы не умереть бесполезно.

Поликарпов двинулся вперед.

— За мной! Вперед, на злодеев, мать их...

Но мина прошла мимо него и рванулась невдалеке, а пули секли воздух столь часто, что он, казалось, иссушал и крошился.

Комиссар оглянулся на моряков: они лежали неподвижно; железная смерть пахала воздух низко над их сердцами, и души их хранили самих себя.

Поликарпов почувствовал удар ревущего воздуха в лицо и принял обратно к земле; стоя тяжелых мин пронеслась над отрядом. Комиссар залег влоборота к своим людям, чтобы видеть, все ли они целы. Пока они все еще были живы. Один Василий Цибулько что-то не шевелился, лежа ничком. Поликарпов подполз к нему ближе и увидел, что Цибулько тоже начал шевелиться, — стало быть, и он был живой. Цибулько изредка приподымал свое лицо от земли и вновь прикидал к ней вплотную. Опухшие, потрескавшиеся от ветра уста его были открыты, он прижимался ими к земле и отымал их, а затем опять жадно целовал землю, находя в том

для себя успокоение и утешение. Даниил Одинцов задумчиво смотрел на былинку полыни: она была сейчас мила для него. «Это все хорошо,— решил Поликарпов,— но нам пора вперед», и он снова крикнул краснофлотцам, едва ли услышанный за свистом и грохотанием огня:

— За мной! — и поднялся в рост, обернувшись на мгновение к бойцам.

Все бойцы привстали; однако близкий разрыв артиллерийского снаряда поверг их снова ниц, и сам комиссар был брошен воздухом на землю.

В третий раз комиссар поднялся безмолвно, но тут же упал, не поняв сам причины и озлобившись на враждебную силу, сразившую его. Он скоро очнулся и почувствовал, как холодеет, словно тает и уменьшается вся внутренность его тела, но мозг его работал по-прежнему ясно и жизненно, и комиссар понимал значение своих действий. Он увидел свою левую руку, отсеченную осколком мины почти по плечо. Эта свободная рука лежала теперь отдельно возле его тела. Из предплечья шла темная кровь, сочаась сквозь обрывок рукава кителя. Из среза отсеченной руки тоже еще шла кровь помаленьку. Надо было спешить, потому что жизни осталось немного.

Комиссар Поликарпов взял свою левую руку за кисть и встал на ноги, в гул и свист огня. Он поднял над головой, как знамя, свою отбитую руку, сочащуюся последней кровью жизни, и воскликнул в яростном порыве своего сердца, погибающего за родивший его народ:

— Вперед! За Родину, за вас!

Но краснофлотцы уже были впереди него; они мчались сквозь чащу смертного огня на первый рубеж врага, чувствуя себя теперь свободно и счастливо, словно комиссар Поликарпов одним движением открыл им тайну жизни, смерти и победы.

Поликарпов поглядел им вслед довольными поблдевшими от слабости глазами и лег на землю в последнем изнеможении.

Двое краснофлотцев дорвались до первых коротких щелей — окопов противника — и въелись в них. В одном окопе лежал без памяти, но еще живой Иван Красносельский; возле него валялись опрокинутыми два мертвых немца.

Окопы были достаточно хорошо отрыты вглубь, и огонь со второго рубежа противника здесь ощущался безопасно.

— Ну, тут-то мы жители! — сказал Цибулько Одинцову.

— Тут-то что же! — согласился Одинцов. — Тут ресторан-кафе на Приморском бульваре: только всего!

— А ребята как там устроились? — спросил Цибулько.

Одинцов смотрел наружу.

— Они вон в том блиндаже остались, — сказал Одинцов. — Там им удобней.

Цибулько и Одинцов помогли Красносельскому, и тот пришел в себя. Кроме ранения в щеку, у него оказалась рана в грудь навылет; нижняя нательная рубашка присохла к телу в двух местах — возле правого соска груди, куда вошла пуля, и около родинки на спине, где пуля вышла наружу. Цибулько умело и осторожно перевязал Красносельского, изорвав на бинты свою рубашку. Наружные ранки на теле Красносельского уже подсохли и начали заживать, неизвестно было только, что сделала пуля внутри.

— Ну как ты себя чувствуешь-то? — спросил Цибулько. — После боя в эвакуацию пойдешь или так обойдешься, под огнем отдышишься?

— Теперь мне много легче, — сказал Красносельский. — Плохо было, когда я в атаку шел, тогда истома меня всего брала, а пока до врага дошел — я обветрил, обозлел и выздоровел. Тут вот я опять устал, пока двоих кончил. А теперь мне ничего. Плохо когда ранение бывает первоначально, когда только в бой вступишь — воюешь тогда вполсилы. А теперь мне ничего — я отошел от смерти.

Но дышалось Красносельскому тяжело, и пот шел по его лицу.

— Отдыхай! — крикнул ему Цибулько, покрывая голосом стрельбу врага. — А мы пока без тебя повоюем.

Цибулько нашел место в тупом конце окопа и стал оттуда поглядывать в сторону неприятеля. Одинцов же вывалил мертвых немцев наружу и прибрал окоп от комьев земли, от осколков, от всего, что не нужно для жизни и боя.

Стало уже вечереть; стрельба немцев стала редкой,

они палили сейчас ради одного предостережения, отложив свои главные заботы, видимо, до завтрашнего утра.

— А где наш батальонный комиссар товарищ Поликарпов? — спросил Красносельский.

— Ночью уберем его с поля, — сказал Одинцов. — Такие люди долго не держатся на свете, а свет на них стоит вечно.

— Это точно! — произнес Цибулько. — Вперед, говорит, за Родину, за вас!.. За нас с тобой! Родиной для него были все мы, и он умер.

— Он кровью истек? — спросил Красносельский.

— Точно, — сказал Цибулько.

На высоте настала тьма, но Севастополь был светел: над ним сияли четыре люстры осветительных ракет, и по телу города била издали тяжелая артиллерия врага. По врагу из мрака моря стреляли через город пушки наших кораблей. Цибулько и Одинцов загляделись на город, на блистающую мертвым светом поверхность моря, уходящую в затанувший темный мир, где вспыхивали сейчас зарницы работающей корабельной артиллерии.

Красносельский лег на дно окопа и задремал для отдыха.

Он дремал, больное тело его отдыхало, но в сознании его непрерывно шел тихий поток мысли и воображения. Он слушал артиллерийскую битву за Севастополь, чувствовал прах, сыплющийся на него со стен окопа от сотрясения земли, и улыбался невесте в далекой уральской деревне. Ей там тихо сейчас, тепло и покойно, — пусть она спит, а утром пробуждается, пусть она живет долго, до самой старости, и будет сыта и счастлива — с ним или с другим хорошим человеком, если сам Красносельский скончается здесь ранней смертью, но лучше пусть она будет с ним, а другому человеку пусть достанется другая хорошая девушка или вдова — и вдовы есть ничего...

А в уральской деревне давно уже умолкла песня одиноких девушек; там время ушло далеко за полночь, и скоро нужно было уже подыматься на сельскую работу. Невеста Ивана Красносельского тоже спала, и теперь она не плакала; ее лицо, прекрасное не женской красотой, но выражением удивления и невинности, было спокойно сейчас, и лишь нежное, кроткое счастье светило на нем: ей снилось, что война окончилась и эше-

лоны с войсками едут обратно домой, а она, чтобы стерпеть время до возвращения Вани, сидит и скоро-скоро сшивает мелкие разноцветные лоскутья, изготавливая красивый плат на одеяло...

В полночь в окоп пришли из блиндажа политрук Николай Фильченко и краснофлотец Юрий Паршин. Фильченко передал приказ командования: нужно занять рубеж на Дуванкойском шоссе, потому что там насыпь, там преграда прочнее, чем этот голый скат высоты, и там нужно держаться до гибели врага; кроме того, до рассвета следует проверить свое вооружение, сменить его на новое, если старое не по руке или неисправно, и получить боепитание.

Краснофлотцы, отходя через поlynное поле, нашли тело комиссара Поликарпова и унесли его, чтобы предать земле и спасти его от поругания врагом. Чем еще можно выразить любовь к мертвому, безмолвному товарищу?

Политрук Николай Фильченко оставил командование отрядом на Даниила Одинцова и пошел в тыл, к Севастополю, на пункт снабжения, чтобы ускорить доставку боепитания.

Осветительные ракеты медленно и непрерывно опускались с неба, сменяя одна другую; их и сейчас было четыре люстры — четыре комплекта ракет под каждым парашютом. Их быстро и точным огнем расстреливали на погашение наши зенитные пулеметы, но противник бросал с неба новые светильники взамен угасших, и бледный грустный свет, похожий на свет сновидения, постоянно освещал город и его окрестности — море и сушу.

На краю города, в одном общежитии строительных рабочих, все еще жили какие-то мирные люди. Фильченко заметил женщину, вешающую белье возле входа в жилище, и двоих детей, мальчика и девочку, играющих во что-то на светлой земле. Фильченко посмотрел на часы: был час ночи. Дети, должно быть, выпались днем, когда артиллерия на этом участке работала мало, а ночью жили и играли нормально. Политрук подошел к низкой каменной ограде, огораживающей двор общежития. Мальчик лет семи рыл совком землю, готовя маленькую могилу. Около него уже было небольшое кладбище — четыре креста из щепок стояли в изголовье надмогильных холмиков, а он рыл пятую могилу.

— Ты теперь большую рой! — приказала ему сестра. Она была постарше брата, лет девяти-десяти, и разумней его.— Я тебе говорю: большую нужно, братскую, у меня покойников много, народ помирает, а ты одна рабочая сила, ты не успеешь рыть... Еще рой, еще, побольше и поглубже,— я тебе что говорю!

Мальчик старался уважить сестру и быстро работал совком в земле.

Фильченко тихо наблюдал эту игру детей в смерть.

Сестра мальчика ушла домой и скоро вернулась обратно. Она несла теперь что-то в подоле своей юбочки.

— Не готово еще? — спросила она у трудящегося брата.

— Тут копать твердо,— сказал брат.

— Эх ты, румын-лодырь,— опорочила брата сестра и, выложив что-то из подола на землю, взяла у мальчика совок и сама начала работать.

Мальчик поглядел, что принесла сестра. Он поднял с земли мало похожее туловище человечка, величиною вершка в два, слепленное из глины. На земле лежали еще шестеро таких человечков, один был без головы, а двое без ног — они у них откошились.

— Они плохие, такие не бывают,— с грустью сказал мальчик.

— Нет, такие тоже бывают,— ответила сестра.— Их танками пораздавило: кого как.

Фильченко пошел далее по своему делу. «И мои две сестренки тоже играют где-нибудь теперь в смерть на Украине,— подумал политрук, и в душе его тронулось привычное горе, старая тоска по погибшему дому отца.— Но, должно быть, они уже не играют больше, они сами мертвые... Нужно отучить от жизни тех, кто научил детей играть в смерть! Я их сам отучу от жизни!..»

За насыпью Дуванкойского шоссе четверо моряков рыли могилу для комиссара Поликарпова.

Одинцов перестал работать.

— Комиссар говорил, что мы для него—все, что мы для него родина. И он тоже родина для нас. Не буду я его в землю закапывать!..

Одинцов бросил саперную лопатку и сел в праздности.

— Это неудобно, это совестно,— говорил Одинцову Цибулько.— Надо же спрятать человека, а то его завтра

огонь на куски растаскает. Потом мы его обратно выроем — это мы его спрячем пока, до победы!.. Неудобно, Данил!

Но Одинцов не хотел больше работать. Паршин и Цибулько отрыли неглубокое ложе у подножья насыпи и положили там Поликарпова лицом вверх, а зарывать его землей не стали. Они хотели, чтобы он был сейчас с ними и чтобы они могли посмотреть на него в свой трудный час. Мертвую отбитую левую руку моряки поместили вдоль груди комиссара и положили поверх нее, как на оружие, правую руку.

После того Одинцов приказал Паршину и Цибулько спать до рассвета. Красносельский, как выздоравливающий, спал уже сам по себе и всхрапывал во сне, дыша запахом сухих крымских трав. Паршин и Цибулько легли в уютную канаву у подошвы откоса, поросшую мягкой травой, свернулись там по-детски и, согревшись собственным телом, сразу уснули.

Одинцов остался бодрствовать один. Ночь шла в редкой артиллерийской перестрелке; над городом сиял страшный, обнажающий свет врага, и до утренней зари было еще далеко.

Наутро снова будет бой. Одинцов ожидал его с желанием: все равно нет жизни сейчас на свете и надо защитить добрую правду русского народа нерушимой силой солдата. «Правда у нас,— размышлял краснофлотец над спящими товарищами. — Нам трудно, у нас болит душа. А фашист, он действует для одного своего удовольствия — то пьян напьется, то девушку покалечит, то в меня стрельнет. А нас учили жить серьезно, нас готовили к вечной правде, мы Ленина читали. Только я всего не прочитал еще, прочту после войны. Правда есть, и она записана у нас в книгах, она останется, хотя бы мы все умерли. А этот бледный огонь врага на небе и вся фашистская сила — это наш страшный сон. В нем многие помрут, не очнувшись, но человечество проснется, и будет опять хлеб у всех, люди будут читать книги, будет музыка и тихие солнечные дни с облаками на небе, будут города и деревни, люди будут опять простыми, и душа их станет полной...»

И Одинцову представилась вдруг пустая душа в живом, движущемся мертвяке, и этот мертвяк сначала убивает всех живущих, а потом теряет самого себя, потому что ему нет смысла для существования и он не

понимает, что это такое, он пребывает в постоянном ожесточенном беспокойстве.

Одинцов стоял один на откосе шоссе и глядел вперед, в смутную сторону врага. Он оперся на винтовку, поднял воротник шинели и думал и чувствовал все, что полагается пережить человеку за долгую жизнь, потому что не знал, долго или коротко ему осталось жить, и на всякий случай обдумывал все до конца.

Потом воображение, замена человеческого счастья, заработало в сознании Одинцова и начало согревать его. Он видел, как он будет жить после войны. Он окончит музыкальную школу при филармонии, где он учился до войны, и станет музыкантом. Он будет пианистом, и если сумеет, то и сам начнет сочинять новую музыку, в которой будет звучать потрясенное войной и смертью сердце человека, в которой будет изображено новое священное время жизни.

Одинцов посмотрел на товарищей; спят Цибулько и Паршин; спит Красносельский, раненный в грудь насквозь; навеки уснул комиссар. Плохо им спать на жесткой земле; не для такого мира родили их матери и вскормил народ, не для того, чтобы кости отрывали от тела их живых детей. Одинцов вздохнул: много еще работы будет на свете и после войны, после нашей победы, если мы хотим, чтобы мир стал святым и одушевленным, если мы хотим, чтобы сердце красноармейца, разорванное сталью на войне, не обратилось в забытый прах...

К рассвету прибыли на машине политрук Фильченко и полковой комиссар Лукьянов; они привезли с собой боеприпасы, вооружение и пищевые продукты.

Лукьянов осмотрел позицию и увез с собой в город тело Поликарпова, пообещав наутро снова приехать на этот участок. Фильченко велел Одинцову лечь отдохнуть, потому что невыспавшийся боец — это не работник на войне.

— Иди ляжь! — сказал Фильченко. — В шубе — не пловец, в рукавицах — не косец, а сонный — не боец.

Одинцов лег в канаву возле разоспавшегося, храпящего Красносельского, приспособился к земле и уснул; он не очень хотел спать, но, раз надо было, он уснул.

Рассвело. Николай Фильченко переложил своих бойцов поудобнее, чтобы у них не затекли во сне руки, но-

ги и туловища. Когда он их ворочал, они бормотали ему ругательства, но он укрощал их:

— Так удобней будет, голова! Мать во сне увидишь.

Он и сам бы сейчас, хоть во сне, поглядел бы на свою мать, и дорого бы дал, чтобы обнять еще раз ее исхудавшее тело и поцеловать ее в плачущие глаза.

Наступила тишина. Далекие пушки неприятеля и наших кораблей, и до того уже бывшие редко, вовсе перестали работать, светильники над Севастополем угасли, и стало столь тихо, что трудно было ушам, и Фильченко расслышал плеск волны о мол в бухте. Но в этом безмолвии шла сейчас напряженная скорая работа мастеровых войны — механиков, монтеров, слесарей, заправщиков, наладчиков, всех, кто снаряжает боевые машины в работу.

Фильченко поглядел на товарищей. Они раскинулись в последнем сне, перед пробуждением. У всех у них были открыты лица, и Фильченко вгляделся отдельно в каждое лицо, потому что эти люди были для него на войне всем, что необходимо для человека и чего он лишен: они заменяли ему отца и мать, сестер и братьев, подругу сердца и любимую книгу, они были для него всем советским народом в маленьком виде, они поглощали всю его душевную силу, ищущую привязанности.

По-детски, открытым ртом дышал во сне Василий Цибулько. Он был из трактористов Днепропетровской области, он участвовал уже в нескольких боях и действовал в бою свободно, но после боя или в тихом промежутке, когда битва на время умолкала, Цибулько бывал угрюм, а однажды он плакал. «Ты чего, ты боишься?» — сердито спросил его в тот раз Фильченко. «Нет, товарищ политрук, я нипочем не боюсь,— ответил Цибулько,— это я почувствовал сейчас, что мать моя любит и вспоминает меня; это она боится, что я тут помру,— и мне ее жалко стало!» В своем колхозе, рассказывал Цибулько, он устраивал разные предметы и способы для облегчения жизни человечества: там ветряная мельница накачивала воду из колодца в чан; там на огородах и бахчах Цибулько установил страшные чучела, действующие тем же ветром,— эти чучела гудели, ревели, размахивали руками и головами, и от них не было житья не только хищным птицам, но и людям не было покоя. Наконец, Цибулько начал кушать в вареном виде одну траву, которая в его местности спокон

века считалась негодной для пищи; и он от той травы не заболел и не умер, а, наоборот — у него стала прибавляться сила, почему появилось убеждение, что та трава на самом деле есть полезное питание.

Цибулько обо всем любил соображать своей, особенной головой; он воспринимал мир как прекрасную тайну и был благодарен и рад, что он родился жить именно здесь, на этой земле, будто кто-то был волен поместить его для существования как сюда, так и в другое место.

Фильченко вспомнил, как они лежали рядом с Цибулько четыре дня тому назад в известковой яме. На их подразделение шли три немецких танка. Цибулько вслушался в ход машин и уловил слухом ритмичную работу дизель-моторов. «Николай! — сказал тогда Цибулько. — Слышишь, как дизеля туго и ровно дышат? Вот где сейчас мощность и компрессия!» Василий Цибулько наслаждался, слушая мощную работу дизелей; он понимал, что хотя фашисты едут на этих машинах убивать его, однако машины тут ни при чем, потому что их создали свободные гении мысли и труда, а не эти убийцы тружеников, которые едут сейчас на машинах. Не помня об опасности, Цибулько высунулся из известковой пещеры, желая получше разглядеть машины; он любовно думал о всех машинах, какие где-либо только существуют на свете, убежденно веря, что все они — за нас, то есть за рабочий класс, потому что рабочий класс есть отец всех машин и механизмов.

Теперь Цибулько спал; его доверчивые глаза, вглядывающиеся в мир с удивлением и добрым чувством, были сейчас закрыты, темные волосы под бескозыркой слиплись от старого дневного пота, и похудевшее лицо уже не выражало счастливой юности — щеки его ввалились и уста сомкнулись в постоянном напряжении; он каждый день стоял против смерти, отстраняя ее от своего народа.

— Живи, Вася, пока не будешь старик, — вздохнул политрук.

Иван Красносельский до флота работал по сплаву леса на Урале; он был плотовщиком. Воевал он исправно и по-хозяйски, словно выполняя тяжелую, но необходимую и полезную работу. В промежутках между боями и на отдыхе он жил молча и с товарищами водился без особой дружбы, без той дружбы, в которой каждое

человеческое сердце соединяется с другим сердцем, чтобы общей большой силой сохранить себя и каждого от смерти, чтобы занять силу у лучшего товарища, если дрогнет чья-либо одинокая душа перед своей смертной участью.

Фильченко догадывался, почему Красносельский не нуждался в такой дружбе. Он был привязан к жизни другою силой, не менее мощной,— его хранила любовь к своей невесте, к далекой отсюда девушке на Урале, к странному тихому существу, питавшему сердце моряка мужеством и спокойствием. Фильченко давно заметил, еще до войны, что Красносельский, бывая на берегу, никогда не гулял в Севастополе с девушками, мало и редко пил вино, не предавался озорству молодости,— не потому, что не способен был на это, а потому, что это его не занимало и не утешало, и он тосковал в таких обычных забавах. Он жил погруженным в счастье своей любви; им владело постоянное, но однократное чувство, которое невозможно было заменить чем-либо другим, или разделить, или хотя бы на время отвлечься от него. Этого сделать Красносельский не мог, и воевал он с яростью и ровным упорством, видимо, потому, что хотел своим воинским подвигом приблизить время победы, чтобы начать затем совершение другого подвига — любви и мирной жизни.

Красносельский был человеком большого роста, руки его были работоспособны и велики, туловище развито и обладало видимой физической мощью — он должен бы свирепствовать в жизни, но он был кроток и терпелив; одна нежная, невидимая сила управляла этим могучим существом и регулировала его поведение с благородной точностью.

Фильченко задумался, наблюдая Красносельского: велика и интересна жизнь, и умирать нельзя.

Юра Паршин был четыре раза ранен, два раза тяжело, но не умер. Небольшой, средней силы, веселый и живучий, способный пойти на любую беду ради своего удовольствия, он допускал свою гибель лишь после смерти последнего гада на свете. На корабле, еще в мирное время, он дважды сваливался с борта в холодную осеннюю воду, пока не было понято, что он это делал нарочно — ради того, чтобы корабельный врач выдавал ему для согревания спирт, потому что человек продрог. Паршин знал и любил многих своих севастополь-

ских подруг, и они тоже любили его в ответ и не ревновали друг к другу, что так необычно для женской натуры. Однако тайна привлекательности Юры Паршина была проста, и понимание ее увеличивало симпатию к нему. Она заключалась в доброй щедрости его души, в беспощадном отношении к самому себе ради любого милого ему человека и в постоянной веселости. Он мог принять вину товарища на себя и отбыть за него наказание; он мог выручить подругу, если она нуждалась в его помощи. Однажды, будучи в командировке в Феодосии, он познакомился с местной девушкой; она, почувствовав в нем настоящего человека, попросила Паршина сделать ей одолжение: жениться на ней, но только не в самом деле, а фиктивно. Ей так нужно было, потому что она стыдилась своего материнства от любимого человека, который оставил ее и уехал неизвестно куда, не совершив с ней формального брака. Паршин, конечно, с радостью согласился сделать такое одолжение молодой женщине. В следующий его приезд в Феодосию была сыграна свадьба. После свадьбы он просидел всю ночь у постели своей названной жены, всю ночь он рассказывал ей сказки и были, а наутро поцеловал ее, как сестру, в лоб, и протянул ей руку на прощание. Но у женщины, слушавшей его всю ночь, тронулось сердце к своему ложному мужу, она уже увлеклась им и задержала руку Паршина в своей руке. «Оставайтесь со мной!» — попросила она. «А надолго?» — спросил моряк. «Навсегда», — прошептала женщина. «Нельзя, я непутевый», — отказался Паршин и ушел навсегда.

Видя в Паршине его душу, люди как бы ослабевали при нем, перед таким открытым и щедрым источником жизни, светлым и не слабеющим в своей расточающей силе, и обычные страсти и привычки оставляли их: они забывали ревность в любви, потому что их сердцу и телу становилось стыдно своей скупости, они пренебрегали расчетливым разумом, и новое легкое чувство жизни зарождалось в них, словно высшая и простая сила на короткое время касалась их и влекла за собой.

Чем занимался Юра Паршин до войны и до призыва во флот, трудно было понять, потому что он говорил всем по-разному и даже одному человеку два раза не повторял одного и того же. Истина о самом себе его не интересовала, его интересовала фантазия, и, в зависи-

мости от фантазии, он сообщал, что был токарем на Ленинградском металлическом заводе (и он действительно знал токарное дело), либо затейником в Парке культуры имени Кирова, либо коком на торговом корабле. Служебные анкеты он заполнял с тою же неточностью, чем вызывал недоразумения.

На войне Паршин чувствовал себя свободно и страха смерти не ощущал. Его сердце было переполнено жизненным чувством, и сознание занято вымыслом, и это его свойство служило ему как бы заградительным огнем против переживаний опасности. Смерти некуда было вписаться в его заполненное, сильное своим счастьем существо.

Четыре раза он был ранен. Четыре раза врывалась к нему в тело сталь, но не уживалась там, и моряк четыре раза оживал вновь. Из этого Паршин убедился, что он обязательно уцелеет до конца войны и увидит нашу победу.

Политрук Фильченко смотрел сейчас на скорчившегося от холода, но улыбающегося неизвестному сновидению Паршина.

— Жалко вас всех, чертей! — сказал политрук вслух. — Что ж! Если мы погибнем, другие люди родятся, и не хуже нас. Была бы родина, родное место, где могут родиться люди...

Фильченко представлял себе родину как поле, где растут люди, похожие на разноцветные цветы, и нет среди них ни одного, в точности похожего на другой; поэтому он не мог ни понять смерти, ни примириться с ней. Смерть всегда уничтожает то, что лишь однажды существует, чего не было никогда и не повторится во веки веков. И скорбь о погибшем человеке не может быть утешена. Ради того он и стоял здесь — ради того, чтобы остановить смерть, чтобы люди не узнали неутешимого горя. Но он не знал еще, он не испытал, как нужно встретить и пережить смерть самому, как нужно умереть, чтобы сама смерть обессилела, встретив его...

Политрук оглянулся. К насыпи, к их позиции, мчалась машина. Где-то далеко ударила залпом батарея врага; ей ответили из Севастополя. Начинался рабочий день войны. Солнце светило с вершины высот; нежный свет медленно распространялся по травам, по кустарникам, по городу и морю, — чтобы все продолжало жить. Пора было поднимать людей.

Моряки встали с земли, кряхтя, сопя, бормоча разные слова, и стали очищать одежду от сора и травы.

— Разобрать оружие и боеприпасы по рукам! — приказал Фильченко.

Моряки разобрали по рукам доставленное ночью оружие и снаряжение — винтовки, патроны, гранаты, бутылки с зажигательной смесью — и приладили их к себе; некоторые же оставили свои старые винтовки, как более привычные. Цибулько откатил в сторону новый пулемет и сел за его настройку в работу.

Старший батальонный комиссар Лукьянов подъехал на машине. Краснофлотцы выстроились.

— Здравствуйте, товарищи! — поздоровался комиссар.

Моряки ответили. Лукьянов поглядел в их лица и помолчал.

— Резервы подойдут позже, — сказал комиссар, — они выгрузились ночью и сейчас снаряжаются. Вы сейчас ударные отряды авангарда. Позади вас — рубеж с нашей пехотой. Ожидается танковая атака врага. Сумеее сдержать, товарищи? Сумеее не пропустить врага к Севастополю?

— Как-нибудь, товарищ старший батальонный комиссар! — ответил Паршин.

Комиссар строго поглядел на Паршина; однако он увидел, что за шутливыми словами краснофлотца было серьезное намерение, и комиссар воздержался от осуждения краснофлотца.

— Надо сдержать и раскрошить врага! — произнес комиссар. — Позади нас Севастополь, а впереди — вся наша большая вечная Родина. Враг, как волосяной червь, лезет в глубь нашей земли, без которой нам нет жизни, — так рассечем врага здесь огнем! Будем драться, как спокон веку дрались русские, — до последнего человека, а последний человек — до последней капли крови и до последнего дыхания!

Комиссар поговорил еще отдельно с политруком Фильченко, сказал нужные сведения и сообщил инструкцию командования, а затем предложил краснофлотцам хорошо и надолго покушать.

— Еда — великое дело для солдата! — сказал комиссар Лукьянов на прощание и уехал, забрав две старые смененные винтовки.

Краснофлотцы взялись за пшеничный хлеб, за колбасу и консервы.

— После такой еды землю пахать хорошо! — выразил свое мнение Цибулько. — Целину можно легко поднять, и не уморишься!

— Щей не хватает, — сказал Одинцов, — и горячей говядины.

— Сейчас удобно было бы газу в сердце дать: водочки выпить, — пожалел Паршин.

— Обойдешься, сейчас не свадьба будет, — осудил Паршина Красносельский.

— Ишь ты! — засмеялся Паршин. — Он обо мне заботится. Ну, ладно, вино не в бессрочный отпуск ушло: после войны я, Ваня, на твоей свадьбе буду гулять и тогда уже жевну из бутылки!

— У нас на Урале не из рюмок пьют и не из бутылок, — пояснил Красносельский. — У нас из ушатов хлебают, у нас не по мелочи кушают...

— Поеду вековать на Урал, — сразу согласился Паршин.

После завтрака Николай Фильченко сказал своим друзьям:

— Товарищи! Наша разведка открыла командованию замысел врага. Сегодня немцы пойдут на штурм Севастополя. Сегодня мы должны доказать, в чем смысл нашей жизни, сегодня мы покажем врагу, что мы одухотворенные люди, что мы одухотворены Лениным и Сталиным, а враги наши — только пустые шкурки от людей, набитые страхом перед тираном Гитлером! Мы их раскroшим, мы протараним отродье тирана! — воскликнул воодушевленный, сияющий силой Николай Фильченко.

— Есть, таранить тирана! — крикнул Паршин.

Фильченко прислушался.

— Приготовиться! — приказал политрук. — По местам!

Морские пехотинцы заняли позиции по откосу шоссе — в окопах и щелях, отрытых стоявшим здесь прежде подразделением.

По ту сторону шоссе, на полынном поле и на скате высоты, где гнездились немцы, сейчас было пусто. Но откуда-то издали доносился ровный, еле слышный шорох, словно шли по песку тысячи детей маленькими ножками.

— Николай, это что? — спросил у Фильченко Цибулько.

— Должно быть, новую какую-нибудь заразу придумали фашисты... Поглядим! — ответил Фильченко. — Фокус какой-нибудь, на испуг или на хитрость рассчитывают.

Шорох приближался, он шел со стороны высоты, но склоны ее и поlyingное поле, прилегающее к взгорью, были по-прежнему пусты.

— А вдруг фашисты теперь невидимыми стали! — сказал Цибулько. — Вдруг они вещество такое изобрели — намазался им и пропал из поля зрения!..

Фильченко резко окоротил бойца:

— Ложись в щель скорей и помирай от страха!

— Да это я так сказал, — произнес Цибулько. — Я подумал — может, тут новая техника какая-нибудь... Техника не виновата: она наука!

— Пускай хоть они видимые, хоть невидимые, их крошить надо в прах одинаково, — сказал свое мнение Паршин.

— Без ответа помирать нельзя, — сказал Красносельский. — Не приходится!

— Стоп! Не шуми! — приказал Фильченко.

Он всмотрелся вперед. По склонам вражеской высоты, примерно на половине ее расстояния от подошвы до вершины, справа и слева поднялась пыль. Что-то двигалось сюда с тыльной стороны холма, из-за плеч высоты.

Краснофлотцы, стоя в рост в отрытой земле, замерли и глядели через бровку откоса, через шоссе, на ту сторону.

Паршин засмеялся.

— Это овцы! — сказал он. — Это овечье стадо выходит к нам из окружения...

— Это овцы, но они идут к нам не зря, — отозвался Фильченко.

— Не зря: мы горячий шашлык будем есть, — сказал Одинцов.

— Тихо! — приказал политрук. — Внимание! Товарищ Цибулько, пулемет!

— Есть, пулемет, товарищ политрук! — отозвался Цибулько.

— Всем — винтовки!

— Есть, винтовки! — отозвались краснофлотцы.

Овцы двумя ручьями обтекли высоту и стали спускаться с нее вниз, соединившись на поlyingном поле в

один поток. Стадо направлялось прямо на Дуванкойское шоссе. Уже слышны были овечьи напуганные голоса; их что-то беспокоило, и они спешили, семена худыми ножками.

Одна овца вдруг приостановилась и оглянулась назад, на нее набежали задние овцы, получилось стеснение, и из овечьей тесноты привстал человек в серо-зеленой шинели и замахнулся на животных оружием.

«Это умная овца!» — подумал Фильченко про ту, которая остановилась, и решил действовать:

— Цибулько, пулемет по гадам среди нашей скотины!

— Вижу! — откликнулся Цибулько.

Теперь Фильченко увидел среди овец еще шестерых немцев, бежавших согнувшись в тесноте овечьей отары.

— Цибулько!

— Есть, ясно вижу цель, — ответил пулеметчик и затрепетал от нетерпения у пулеметной машины.

— Цибулько! — крикнул полнотрух. — Зря овец не губи, они племенные. Огоны!

Пулемет заработал. Струя пуль запела в воздухе. Два врага сразу поникли, и задние овцы со спокойным изысством перепрыгнули через павших людей.

Стадо приблизилось почти вплотную к противоположному откосу насыпи. Теперь немцев легко было различить среди плотной массы овечьего стада. Их было человек пятьдесят. Некоторые били с хода из автоматов по насыпи шоссе, другие молча стремились вперед.

Фильченко приказал Красносельскому стать вторым номером у пулемета, а сам вместе с Паршиным и Одинцовым открыл точный, прицельный огонь из винтовок по немецким автоматчикам.

Пулемет Цибулько работал яростно и полезно, как сердце и разум его хозяина. Половина врагов уже легла к земле на покой, но еще человек двадцать или больше немцев были целы; они успели добежать до противоположного откоса насыпи и залегли там; теперь их пулеметом или винтовками достать было невозможно. А тут еще набежали овцы, которые шли теперь прямо по головам краснофлотцев, дрожа и жалобно, по-детски, вскрикивая от страшной жизни среди человечества.

«Э, харчи хорошие гонят немцы в Севастополь!» — успел подумать Паршин.

— Цибулько! — крикнул Фильченко. — Дай нам дорогу вперед — через шоссе! Огонь по овцам!

Цибулько начал сечь овец, переваливающихся через дорожную насыпь на подразделение. Ближние передние овцы пали, а бежавшие за ними сообразили, где правда, и бросились по сторонам, в обход людей.

— Всем — гранаты! — крикнул Фильченко. — Вперед! — он бросился с гранатой через шоссе и ударил гранатой по немцам; через немцев еще бежали напуганные, пылящие, сеющие горошины овцы, и немцы их рубили палашами, чтобы освободиться от этих чертей, которых они взяли себе в прикрытие.

Моряки сработали гранатами быстро; они смешали кровь и кости овец с кровью и костями своих врагов. Краснофлотцы вернулись на свою позицию.

— Ну как? — спросил Цибулько у Фильченко.

— Пустяк, — сказал политрук. — Больше с овцами дрались.

— Какой это бой! — вздохнул Паршин. — Это ничто.

— Кури помалу, — разрешил Фильченко.

Красносельский сволок с откоса битых овец в одно место, чтобы ночью их увезли в город людям на пищу.

Из-за высоты по шоссе и по рубежу, что проходил позади моряков, начала бить артиллерия врага. Пушки били не спешно, не часто, но настойчивой долбежкой, не столько поражая, сколько прощупывая линии советской обороны. И немцы, вероятно, ожидали получить ответ, потому что время от времени их артиллерия умолкала, словно слушая и размышляя. Но оборона не отвечала, и немцы изредка били опять, как бы допрашивая собеседника.

Комиссар Лукьянов короткими перебежками привел резерв — до полуроты морской пехоты — и расположил его на флангах подразделения Фильченко, оставив инициативу на этом участке за Фильченко.

Лукьянов выслушал сообщение политрука о небольшом бое с немцами среди овец и сказал свое заключение:

— Ну что ж. Это их боевая разведка была. Бой будет позже.

Комиссар ушел. Вскоре немецкая артиллерия перешла на боевой, ураганный режим огня.

— Пустошь делают впереди себя, — понял Фильченко. — Значит, скоро будут танки.

Он увел свое подразделение в блиндаж, покрытый всего одним накатом тонких бревен, но здесь все же было тише. Сам же Фильченко остался у входа в блиндаж, чтобы посматривать через насыпь и следить за выходом танков.

Шоссе и его откосы выпаживались снарядами до материковой породы; трупы овец и немцев калечились по-смертно, и то засыпались землей на погребение, то вновь обнажались наружу.

Левый склон высоты запылил у подножия, где высота переходила в полынное солончаковое поле. Артиллерийский огонь не ослабевал. Темное тело переднего танка вышло на полынное поле, за ним шли еще машины. Они шли вперед под навесом артиллерийского огня.

Фильченко укрылся в блиндаже от близкого разрыва, закидавшего его черной гарью и землей. «Надо уцелеть,— подумал он,— сейчас артиллерия смолкнет».

Когда пушки умолкли, Фильченко вывел подразделение на позицию. Танки подходили к насыпи; их было пока что семь: по полторы машины, без малого, на душу бойца.

— Вася! — крикнул Фильченко в сторону Цибулько.— Пулемет — по смотровым щелям первой машины! Красносельский, Паршин,— бутылки и гранаты! Действуйте! Огонь!

Цибулько дал первую очередь, вторую, но танк бушевал всею своей мощностью и шел вперед на моряков. Паршин и Красносельский поползли через насыпь на ту сторону дороги.

— Точней огонь, пулеметчик! — вскрикнул Фильченко.

Цибулько приноровился, нащупал щель пулевой струей, всей ощутимостью своей продолженной руки, и впился свинцом в смотровую щель машины. Танк круто рванулся вполповорота вокруг себя на одной гусенице и замер на месте: он подчинился смертному судорожному движению своего водителя. Возле танка встал на мгновение в рост Красносельский и метнул в него бутылку; черный смолистый дым поднялся с тела машины, затем из глубины дыма появился огонь и занялся высоким жарким пламенем.

Цибулько бил из пулемета уже по другим танкам. Сначала он давал короткие прицельные, ощупывающие очереди, затем впивался в цель насмерть длинной жа-

лящей струей. Красносельский и Юра Паршин действовали за шоссейной насыпью. Они ютились в воронках, за комьями разрушенной земли, за телами павших овец, вставляли на момент и метали бутылки и гранаты в решающие механизмы.

Фильченко и Одинцов ожидали за насыпью своего времени. Сразу задымили густым дымом, а затем засветились сияющим пламенем еще два танка. Осталось в живых четыре. Но немцы скупы на потери, они свое добро не любят тратить до конца.

Четыре танка приостановились и развернулись на месте, обнажив за собой пехоту.

— Пора! — крикнул Фильченко. — Вася! По живой силе — огонь!

Цибулько вонзил струю огня в пехоту противника, сразу залегшую в землю.

Фильченко и Одинцов перебросились через насыпь. Но Красносельский и Паршин опередили их; они на животах уже подползали к залегшей пехоте врага и, чуть привстав, метнули в нее первые гранаты.

Четыре уцелевших танка молча пошли в отход; они не открыли огня, потому что немецкая пехота и русские матросы неравномерно распределились по полю, и огнем с танков можно уложить своих.

Фильченко и Одинцов с хода запустили гранаты по темным телам пехотинцев. Пулемет Цибулько не давал врагам возможности подняться. Когда они приподымались, — Цибулько бил их точным секущим огнем; если они шевелились или ползли, Цибулько переходил на «штопку», то есть вонзал огонь под углом в землю сквозь тело врага. Но у пулеметчика была трудная задача: он должен был не повредить своих, сблизившихся на смыкание с противником.

Немцы, однако, тоже соображали кое-что: они поняли, что лучше на время отойти, чем до времени умереть. Человек тридцать сразу вскочили с земли, жалобно закричали и побежали вслед танкам. Фильченко и Одинцов бросили в них гранаты, потом добавили по ним из винтовок, и человек десять пали обратно на землю. Остальные пехотинцы — с полсотни — подняться уже не могли никогда.

Цибулько дал последнюю долгую очередь по бегущим и выщелочил из них еще семерых врагов, и по ним еще били с флангов.

Краснофлотцы возвратились на свою позицию в дорожной насыпи, уже обжитую и привычную, как дом. Они возвратились утомленные, как после трудной работы, и тотчас задремали, пользуясь наступившей тишиной в воздухе и на земле. На посту остался один Фильченко.

Через полчаса над полынным полем и над шоссе-ной дорогой низко пронесли немецкие штурмовики. Они одновременно обстреливали землю из пулеметов и бомбили ее, и без того всю израненную. Дремавшие в окопе моряки не поднялись; бодрствующий Фильченко не стал их будить: день еще долго будет идти, и бой еще будет, пусть они отдыхают пока.

После ухода самолетов опять настала тишина. И в тишине кто-то окликнул Фильченко по имени.

Вдоль насыпи бежал корабельный кок Рубцов. Он с усилием нес в правой руке большой сосуд, окрашенный в невзрачный цвет войны; это был полевой английский термос.

— А я пищу доставил! — кротко и тактично произнес кок. — Разрешите угостить бойцов, товарищ политрук!

— Разрешаю, — значительным голосом сказал Фильченко.

— Благодарю вас, — поклонился кок. — Где прикажете накрыть стол под горячий, огненный шашлык? Мясо — вашей заготовки!

— Когда же ты успел шашлык сготовить? — удивился Фильченко.

— А я умелой рукой действовал, товарищ политрук, и успел! — объяснил кок. — Вы же тут поспеваете овец заготавливать, о вас уж половина фронта все знает. Сколько вы овец подшибли, и то люди знают, ну — точно!

— Да откуда ж это люди знают, когда мы сами того не знаем! — засмеялся Фильченко.

— А на фронте ж, как в деревне на улице: чего не нужно — так все враз знают, а что надо — так, гляди, и забыли! — сказал кок.

Рубцов нашел ровное место возле самой насыпи, расстелил чистую скатерть, разложил на ней приборы, поставил тарелки — все находилось в особом ящике при термосе, — а затем вынул из термоса алюминиевый сосуд, парующий и благоухающий мясом.

Краснофлотцы, дремавшие во время воздушной бомбежки, теперь проснулись и вышли из окопа наружу, на мясной запах.

— Это ты что за кафе такое на войне устроил? — строго сказал Фильченко.

— Кафе на фронте полезно, товарищ политрук, — объяснил кок Рубцов, — оно победе не помешает, ни-сколько, нет! Вот гроб — это лишнее, его я не захватил. А кафе — это великое дело, товарищ политрук: это мирное время на память бойцам!

Моряки внимательно рассматривали полевое кафе Рубцова, потом одновременно поглядели на кока и захохотали во все свои молодые, отдышавшиеся глотки.

— Бегаешь ты вот тут по переднему краю, шлепнут тебя, кок, по посуде на голове! — предупредил Паршин Рубцова.

— Нет, я чуткий, я буду живой, — отверг кок такое предположение. — А я ж для вас стараюсь, чтоб тело ваше питать!

— Врешь! — сказал Цибулько. — Не брешь!

— Так я брешу, Вася, малость, — сознался кок. — Ну, я тоже хочу немножко себе на грудь чего-нибудь схватить!

— Чего тебе надо на грудь схватить? — прохрипел Красносельский.

— Ну, так, — сказал кок, — пусть орден, пусть будет медаль: я бойцов под огнем кормлю, а чем кок хуже сестры?

— Вот кок-то мировой! — сказал Одинцов. — Он и герой, он и карьерист, можно медаль ему дать, а можно и плюху! Он имеет право на две вещи сразу!

— Жрать давай! — не утерпел Цибулько.

— Пожалуйста, — пригласил кок, — у вас же во рту все время слова были, шашлыку места нету!

Подразделение Фильченко целиком уселось на траву за скатерть, а коку велено было стать на пост и глядеть вперед — следить за врагом.

Покушав, моряки решили, что кок Рубцов «может». Это слово означало на их дружеском языке высшую оценку какого-либо действия; сейчас они оценили таким способом шашлычную работу кока.

— Кок, ты можешь! — крикнул Рубцову Паршин.

— Знаю. Я же работник творческий! — равнодушно отозвался кок.

— Этот кок далеко пойдет,— сказал Одинцов,— у него и талант и нахальство есть.

После обеда моряки выстроились. Фильченко скомандовал:

— Смирно! Равнение на кока!

Это было воинским выражением благодарности за шашлык, и кок ушел в тыл, вполне довольный своим героическим мероприятием по накормлению бойцов.

Моряки остались одни. Время было уже за полдень. Фильченко поставил часовым Одинцова, а остальным своим людям велел отдыхать. Бойцы легли по откосу снаружи, чтобы погреться немного на весеннем солнце.

— Фу-ты, черт, я пить захотел! — обиделся Паршин на свою привычку пить после пищи.— Хорошо в бою: ничего не хочешь! А как только мирно живешь, так все время тебе чего-нибудь хочется: то кушать, то пить, то спать, то тебе скучно, то...

И Паршин подробно перечислил, что требуется мирно живущему человеку; такому человеку и жить некогда, потому что ему постоянно надо удовлетворять свои потребности. А живет, оказывается, счастливой и свободной жизнью лишь боец, когда он находится в смертном сражении,— тогда ему не надо ни пить, ни есть, а надо лишь быть живым, и с него достаточно этого одного счастья.

— Вижу танки! — сказал Одинцов с насыпи.

— По местам! — приказал Фильченко.— Принять танки огнем!

Он вышел на позицию и стал терпеливо считать танки, выходявшие из-за высоты. Их оказалось пятнадцать: по три машины на душу бойца, а прежде было по полторы; стало быть, немцы удвоили порцию. И тотчас же началась скорая артиллерийская стрельба; немцы били сейчас беглым огнем, отвлекая внимание русских, чтобы занять их силы на широком фронте и внезапно прорвать оборону в одном месте, вонзившись туда танками.

— Уважают нас,— сказал Цибулько, сосчитав машины.— Ишь сколько выставляют против меня одного: пятнадцать, деленное на пять и помноженное на тысячу лошадиных сил! Я доволен!

Одинцов задумался. Приближающийся грохот бегущих танков, артиллерийский огонь, беспокойная, шумная и какая-то нарочитая настойчивость врага — все это

словно несерьезно, все это хотя и опасно, но похоже на действие человека, который нападает от испуга, стараясь спастись от гибели посредством злости и суеты.

Мощные танки шли напрямую; возможно, что немцы хотели теперь выйти на Дуванкойское шоссе и по шоссе рвануться сразу на Севастополь — так оно было бы более парадно.

Цибулько вслушался сквозь скрежет гусениц и дребезг стальных кузовов в частое мелодичное дыхание дизель-моторов и произнес самому себе: «Эх, и все это против меня! Здравствуйте, инженер Рудольф Дизель! Я на вас не обижаюсь, я уважаю вас за великое изобретение двигателя, я — Цибулько, простой краснофлотец, но великий человек!»

Фильченко сказал, обратившись ко всем:

— Товарищи!

Хотя он говорил тихо, а на земле сейчас было шумно, однако все слышали его.

— Товарищи! Я хочу сказать вам, что нам будет трудно. Я хочу сказать, что мы отойти не можем, мы будем биться здесь до самых своих костей...

— И костями можно биться,— произнес Паршин.— Рванул из скелега—и бей. Комиссар товарищ Поликарпов хотел же биться своей оторванной рукой!..

— Товарищи! — говорил Фильченко.— Я говорю вам — друзья, у меня такое же сейчас чувство на сердце, как у вас, поэтому вы меня понимаете ясно. Приказываю вам стоять на этой земле и не умирать, чтобы драться долго, пока мы не поломаем здесь машины и кости врага!

Цибулько подошел к Фильченко и поцеловал его. И все, каждый с каждым, поцеловали друг друга и посмотрели на вечную память друг другу в лицо.

С успокоенным, удовлетворенным сердцем осмотрел себя, приготовился к бою и стал на свое место каждый краснофлотец. У них было сейчас мирно и хорошо на душе. Они благословили друг друга на самое великое, неизвестное и страшное в жизни, на то, что разрушает и что создает ее,— на смерть и победу, и страх их оставил, потому что совесть перед товарищем, который обречен той же участи, превозмогал страх. Тело их наполнилось силой, они почувствовали себя способными к большому труду, и они поняли, что родились на свет не для того, чтобы истратить, уничтожить свою жизнь в

пустом наслаждении ею, но для того, чтобы отдать ее обратно правде, земле и народу,—отдать больше, чем они получили от рождения, чтобы увеличился смысл существования людей. Если же они не сумеют сейчас превозмочь врага, если они погибнут, не победив его, то на свете ничто не изменится после них, и участью народа, участью человечества будет смерть. Они смотрели на танки, идущие на них, и желали, чтобы машины шли скорее: лишь смертная битва могла их теперь удовлетворить.

На фланги подразделения Фильченко вышли из-за танков автоматчики; их приняли огнем моряки и краснофлотцы Фильченко и та полурота, которую привел комиссар Лукьянов. Значит, у флангов Фильченко была своя забота, на помощь их рассчитывать было нельзя. Да и фланги Фильченко, справа и слева, имели всего по тридцать бойцов, а противник давил на каждый фланг силою в полбатальона.

Там, на флангах, разгорался частый стрелковый бой, но в центре, на линии хода танков, Фильченко велел прекратить стрельбу, чтобы не обнаруживать своих слабых сил.

Битву моряков с танками должен начать Василий Цибулько. Фильченко приказал ему выждать, дав машинам приближение метров на сто.

На подходе ведущий танк рванул вперед прыжком, и все танки за ним резко увеличили свою скорость.

И тогда Цибулько начал битву; он давно уже настрожил пулемет и следил прицелом за движением танка; теперь он пустил пулемет в работу. Привычная рука и чуткое сердце Цибулько действовали точно: первая же очередь пуль ушла в щель головного танка, машину занесло в сторону, и она стала со всего хода в руках своего мертвого водителя. Но второй танк с отважной яростью влетел на шоссе на насыпь, наехав почти в упор на подразделение Фильченко. Мгновенно, опережая свою мысль, Цибулько привстал, приноровился всем телом и швырнул связку гранат под этот танк.

Цибулько забыл о себе и товарищах, и вся группа бойцов была оглушена близким взрывом и сбита с ног воздушной волной. Танк замер на месте, затем медленно от собственного веса сполз юзом по противоположному откосу, на котором еще оставалась на весу половина его туловища. Поднявшись, Цибулько ударил своей ле-

вой рукой о камень, чтобы из руки вышла боль, но боль не прошла, и она мучила бойца; из разорванных мускулов шла густая сильная кровь и выходила наружу по кисти руки; лучше всего было бы оторвать совсем руку, чтоб она не мешала, но нечем было это сделать и некогда тем заниматься.

Два танка сразу появились на шоссе. Цибулько забыл о раненой руке и заставил ее действовать как здоровую. Он снова припал к пулемету и бил из него в упор по машинам, норовя поразить их в служебные скважины брони. Но пулемет затих, питать его больше стало нечем, прошла последняя лента. Тогда Цибулько, не давая жизни машинам, бросился в рост на ближний танк и швырнул под его гусеницу, евшую землю на ходу, связку гранат. Раздался жесткий, kloкочущий взрыв — огонь стал рвать сталь, и разрушенный танк умолк навечно.

Цибулько не слышал пулеметной стрельбы из этого танка; однако теперь он почувствовал, что в теле его поселились словно мелкие посторонние существа, грызущие его изнутри: они были в животе, в груди, в горле. Он понял, что весь изранен, он чувствовал, как тает, исходит его жизнь и пусто и прохладно становится в его сердце, он лег на комья земли и сжался, как спал в детстве у матери под одеялом, чтобы согреться.

Иван Красносельский не дал другому танку хода на Севастополь: он выбежал к нему наперерез и бросил в него раз за разом три бутылки с жидкостью. Танк занялся пламенем и, пройдя еще немного, остановился догорать. Красносельский обернулся к товарищам; еще четыре танка вырвались и били, устрояя, с ходу из пушек и пулеметов. Одинцов и Паршин лежа ползли в мертвой зоне обстрела. Паршин мегнул с земли бутылку в танк, горячая жидкость влипла в броню и занялась огнем. Снаряд с воєм пронесся мимо головы Красносельского; боец ожесточился, что его может убить фашист, и закричал на машину страшным голосом, забыв, что ему внимать там не будут, потом резко и точно запустил бутылку в смертоносное тело машины и обрадовался пламени пожара. У Красносельского осталась еще одна бутылка со смесью; он бросился в яму, потому что свежий танк, обойдя горящий, шел на человека. Сейчас Красносельский узнал чувство хозяйственного удовлетворения: он уже уничтожил две ма-

шины, можно уничтожить еще одну, от этого все-таки убудет смерть на свете и жить людям станет легче; уничтожая врага, Красносельский словно накапливал добро, и он понимал пользу своего труда.

Полосуя огнем пространство, танк мчался вперед — низкий, упорный и мощный.

— Стой, стервец! — крикнул Красносельский и вонзил в гремящую сталь жалкую бутылку.

Машину обдало огнем; верхний люк танка откинулся, и оттуда показалось смутное лицо врага. Красносельский вскинул винтовку, но враг опередил его скорострельным пистолетом, и Иван Красносельский пал на землю с сердцем, разбитым свинцом. Умирая, он глядел в небо, он жалел, что его невеста останется без него сиротой, потому что никто ее так не будет любить, как он любил; и он закрыл глаза, полные слез, и больше они не открылись у него.

Паршин ударил бутылкой в следующий цельный танк, бросившийся по шоссе прямым ходом на Севастополь. Но пламя слабо принялось на машине, и танк продолжал ход, сбивая с себя скоростью дым и огонь. Тогда Паршин побежал вслед танку с гранатой, но Фильченко и Одинцов перехватили этот танк прежде Паршина: они рванули его гранатами по ходовому механизму, так что из него брызнул металл, и машина, поворочавшись на месте, омертвела. Однако Паршин уже не мог справиться с собой и добавочно дал жару машине, метнув в нее бутылку, чтобы смерть врага была вернее.

На шоссе горели танки, но новые, свежие машины, изменив курс, мчались по полынному полю и стремились выйти на поворот шоссе, минуя горящие и омертвевшие танки. Остерегаясь огня врага, бывшего сейчас картечью из подходивших танков, Фильченко, Одинцов и Паршин прыгнули в ближний окоп и прошли по нему в блиндаж.

В сумраке укрытия Фильченко внимательно оглядел своих товарищей, не ранены ли они и не тронуты ли робостью их души. Одинцов и Паршин часто дышали, лица их покрылись гарью и земляной грязью, но в глазах их был свет силы и неутоленное ожесточение боем.

— Что, Юра? — спросил Фильченко у Паршина.

— Ничего! — хрипло сказал Паршин. — Давай их остановим всех — не страшно, я видел смерть, я привык к ней!

Паршин в волнении, не зная, что ему делать и как остановить себя, погладил почерневшей ладонью земляную стену блиндажа.

— Давай их крошить, командир! А то я один пойду!.. Я никогда не любил народ так, как сейчас, потому что они его убивают. До чего они нас довели — я зверем стал!.. Сыпь мне в рот порох из патронов — я пущу их взорву!

— Ты сам знаешь, патронов больше нет,— произнес Фильченко и снял с себя винтовку.

Одинцов дрожал от горя и ярости.

— Пошли на смерть! Лучше ее теперь нет жизни! — пробормотал он тихо.

Враг гремел близко. Фильченко молча и надежно подвязал себе к поясу одну гранату, а две гранаты оставил товарищам; кроме этих последних трех гранат, больше у них не было никаких припасов на врага. Поэтому теперь нельзя было промахнуться или ударить слабо, теперь нужно бить точно и насмерть с первого раза.

Фильченко ничего не приказал товарищам. Он вышел из блиндажа и исчез в громе пушечной стрельбы с набегających танков и в скрежете их механизмов, гнетущих подорожные камни. Он подполз к повороту шоссе и замер на время в ожидании.

Одинцов и Паршин, подобно Фильченко, подвязали к поясам по гранате и вышли на огонь навстречу машинам противника. Они увидели Фильченко, залегшего у поворота дороги, куда должны выйти танки в обход подбитых машин, и притаились во вмятине земли. Они понимали, что теперь им важнее всего пробыть живыми еще хоть несколько минут, и берегли себя пугливо и осторожно.

Фильченко тоже волновался; он тревожился, что ошибся в расчете — и танки не выйдут на шоссе, а пойдут по обочине с той стороны. И пока он перебежит через шоссе и доберется до машины, его расстреляют из пулемета, и он умрет, как глупая кроткая тварь, на потеху врагу. Он томился, вслушиваясь в приближающийся ход машин по ту сторону дорожной насыпи, и боялся, что это последнее счастье минует его. Стреляли теперь с машин реже, и только из пушек, направляя огонь по тому рубежу обороны, который находился ближе к Севастополю, позади моряков. На флангах, в удалении

все время слышалась стрельба из винтовок и автоматов,— там небольшие подразделения черноморцев сдерживали въедающихся вперед немцев.

Передний танк перевалил через шоссе еще прежде поворота и начал сходить по насыпи на ту сторону, где находился Фильченко. Командир машины, видимо, хотел идти на прорыв рубежа обороны по полевой целине.

Мощная тяжелая машина сбавила ход и теперь осторожно сверзалась с откоса земли; водитель, должно быть, не желал гнать ее как попало и снашивать ее дорогое устройство. Жалкие живые былинки, росшие по откосу, погибшая овца и чьи-то давно иссохшие кости равно вдавливались ребрами танковых гусениц в терпеливый прах земли.

Фильченко приподнял голову. Настала его пора поразить этот танк и умереть самому. Сердце его стеснилось в тоске по привычной жизни. Но танк уже сполз с насыпи, и Фильченко близко от себя увидел живое жаркое тело сокрушающего мучителя, и так мало нужно было сделать, чтобы его не было, чтобы смести с лица земли в смерть это унылое железо, давящее души и кости людей. Здесь одним движением можно было решить, чему быть на земле — смыслу и счастьем жизни или вечному отчаянию, разлуке и гибели.

И тогда в своей свободной силе и в яростном восторге дрогнуло сердце Николая Фильченко. Перед ним, возле него было его счастье и его высшая жизнь, и он ее сейчас жадно и страстно переживает, припав к земле в слезах радости, потому что сама гнетущая смерть сейчас остановится на его теле и падет в бессилии на землю по воле одного его сердца. И с него, быть может, начнется освобождение мирного человечества, чувство к которому в нем рождено любовью матери, Лениным и Советской Родиной. Перед ним была его жизненная простая судьба, и Николаю Фильченко было хорошо, что она столь легко ложится на его душу, согласную умереть и требующую смерти как жизни.

Он поднялся в рост, сбросил бушлат и в одно мгновение очутился перед бегущими сверху на него жесткими ребрами гусеницы танка, дышавшего в одинокого человека жаром напряженного мотора. Фильченко прицелился сразу всем своим телом, привыкшим слушаться его, и бросил себя в полынную траву под жующую гусеницу, поперек ее хода. Он прицелился точно — так,

чтобы граната, привязанная у его живота, пришлась по середине ширины ходового звена гусеницы, и приник лицом к земле с последним вздохом любви и ненависти.

Паршин и Одинцов видели, что сделал Фильченко, они видели, как остановился на костях политрука потрясенный взрывом танк. Паршин взял в рот горсть земли и сжевал ее, не помня себя.

— Коля умер, — сказал Одинцов. — Нам тоже пора.

Пять свежих танков появились на шоссе и стали медленно спускаться по откосу, обходя подорванную машину.

Двое моряков поднялись.

— Данил! — тихо произнес Паршин.

— Юра! — ответил ему Одинцов.

Они словно брали к себе в сердце друг друга, чтобы не забыть и не разлучиться в смерти.

— Эх, вечная нам память! — сказал, успокаиваясь и веселея, Паршин.

Они побежали на танки, сделав полукруг, чтобы встретить их грудь в грудь. Но Одинцов упал к земле прежде, чем успел встретить машину вплотную, потому что пулеметчик с танка почти в упор начал сечь свинцом грудь краснофлотца. Одинцов, умирая, силой одного своего еще бьющегося сердца, напряг разбитое тело и пополз навстречу танку — и гусеница раздробила его вместе с гранатой, превратив человека в огонь и свет взрыва.

Паршин, подбежав к другому танку, ухватился за служебный поручень и успел прокатиться немного на чужой машине, а затем, услышав взрыв на теле Одинцова, оставил поручень и отбежал от танка вперед по его ходу. Там Паршин сбросил бушлат и обнажил на себе живот с гранатой, чтобы враги видели того, кто идет против них. А затем, подождав, когда танк приблизился к нему, свободно и расчетливо лег под гусеницу.

Остальные, еще целые танки приостановились на шоссе и на сходах с него. Потом они заработали своими гусеницами, одна навстречу другой и пошли обратно — через поlynное поле, в свое убежище за высотой. Они могли биться с любым, даже самым страшным, противником. Но боя со всемогущими людьми, взрывающими самих себя, чтобы погубить своего врага, они принять

не умели. Этого они одолеть не умели, а быть побежденными им тоже не хотелось.

И вот все окончилось. Немецкие автоматчики, обходившие с флангов место боя танков с моряками, утихли еще раньше: одни были перебиты, а оставшиеся жить окопались.

На месте боя подразделения, которым командовал политрук Фильченко, остались видимыми лишь мертвые танки и один живой человек. Живым остался один Василий Цибулько; он понимал, что скоро умрет, но пока еще был живым. Он выполз на бровку шоссе, в стороне от места боя танков со своими товарищами, и видел почти все, что было там совершено.

Теперь он увидел, как с рубежа обороны подходила к шоссе рассыпным строем наша воинская часть. От кровотечения и слабости Цибулько то видел все ясно, то перед ним померкал свет, и он забывался.

Очнувшись, Цибулько рассмотрел возле себя людей и узнал среди них комиссара Лукьянова. Люди перевязали Цибулько, потом подняли на руки и понесли его к Севастополю. Ему стало хорошо на руках бойцов, и он, как мог, начал рассказывать им и Лукьянову, тоже несшему его, что видел сегодня. Но всего рассказать он не успел, потому что умолк и умер.

НЕОДУШЕВЛЕННЫЙ ВРАГ

Человек, если он проживет хотя бы лет до двадцати, обязательно бывает много раз близок к смерти или даже переступает порог своей гибели, но возвращается обратно к жизни. Некоторые случаи своей близости к смерти человек помнит, но чаще забывает их или вовсе оставляет их незамеченными. Смерть вообще не однажды приходит к человеку, не однажды в нашей жизни она бывает близким спутником нашего существования, — но лишь однажды ей удастся неразлучно овладеть человеком, который столь часто на протяжении своей недолгой жизни — иногда с небрежным мужеством — одолевал ее и отдалял от себя в будущее. Смерть победима, — во всяком случае, ей приходится терпеть поражение несколько раз, прежде чем она победит один раз. Смерть победима, потому что живое существо, защищаясь, само становится смертью

для той враждебной силы, которая несет ему гибель. И это высшее мгновение жизни, когда она соединяется со смертью, чтобы преодолеть ее, обычно не запоминается, хотя этот миг является чистой, одухотворенной радостью.

Недавно смерть приблизилась ко мне на войне: воздушной волной от разрыва фугасного снаряда я был приподнят в воздух, последнее дыхание подавлено было во мне, и мир замер для меня, как умолкший, удаченный крик. Затем я был брошен обратно на землю и погребен сверху ее разрушенным прахом. Но жизнь сохранилась во мне; она ушла из сердца и оставила темным мое сознание, однако она укрылась в некоем тайном, может быть последнем, убежище в моем теле и оттуда робко и медленно снова распространилась во мне теплом и чувством привычного счастья существования.

Я отогрелся под землею и начал сознавать свое положение. Солдат оживает быстро, потому что он скуп на жизнь и при самой малой возможности он уже снова существует; ему жалко оставлять не только все высшее и священное, что есть на земле и ради чего он держал оружие, но даже сытную пищу в желудке, которую он поел перед сражением и которая не успела перевариться в нем и пойти на пользу.

Я попробовал отгрестись от земли и выбраться наружу; но изнемогшее тело мое было теперь непослушным, и я остался лежать в слабости и во тьме; мне казалось, что и внутренности мои были потрясены ударом взрывной волны и держались непрочны,—им нужен теперь покой, чтобы они приросли обратно изнутри к телу; сейчас же мне больно было совершить даже самое малое движение; даже для того, чтобы вздохнуть, нужно было страдать и терпеть боль, точно разбитые острые кости каждый раз вбивались в мякоть моего сердца. Воздух для дыхания доходил до меня свободно через скважины в искрошенном прахе земли; однако жить долго в положении погребенного было трудно и нехорошо для живого солдата, поэтому я все время делал попытки повернуться на живот и выползти на свет. Винтовки со мной не было, ее, должно быть, вышиб воздух из моих рук при контузии,—значит, я теперь вовсе беззащитный и бесполезный боец. Артиллерия гудела невдалеке от той осыпи праха, в которой я был

схоронен; я понимал по звуку, когда били наши пушки и пушки врага, и моя будущая судьба зависела теперь от того, кто займет эту разрушенную, могильную землю, в которой я лежу почти без сил. Если эту землю займут немцы, то мне уж не придется выйти отсюда, мне не придется более поглядеть на белый свет и на милое русское поле.

Я приноровился, ухватил рукою корешок какой-то былинки, повернулся телом на живот и прополз в сухой раскрошенной земле шаг или полтора, а потом опять лег лицом в прах, оставшись без сил. Полежав немного, я опять приподнялся, чтобы ползти помаленьку дальше на свет. Я громко вздохнул, собирая свои силы, и в это же время услышал близкий вздох другого человека. Я протянул руку в комья и сор земли и нащупал пуговицу и грудь неизвестного человека, так же погребенного в этой земле, что и я, и так же, наверно, обесилевшего. Он лежал почти рядом со мною, в полметре расстояния, и лицо его было обращено ко мне — я это установил по теплым легким волнам его дыхания, доходившим до меня. Я спросил неизвестного по-русски, кто он такой и в какой части служит. Неизвестный молчал. Тогда я повторил свой вопрос по-немецки, и неизвестный по-немецки ответил мне, что его зовут Рудольф Оскар Вальц, что он унтер-офицер 3-й роты автоматчиков из батальона мотопехоты. Затем он спросил меня о том же, кто я такой и почему я здесь. Я ответил ему, что я русский рядовой стрелок и что я шел в атаку на немцев, пока не упал без памяти.

Рудольф Оскар Вальц умолк; он, видимо, что-то соображал, затем резко пошевельнулся, опробовал рукою место вокруг себя и снова успокоился.

— Вы свой автомат ищите? — спросил я у немца.

— Да, — ответил Вальц. — Где он?

— Не знаю, здесь темно, — сказал я, — и мы засыпаем землю.

Пушечный огонь снаружи стал редким и прекратился вовсе, но зато усилилась стрельба из винтовок, автоматов и пулеметов. Мы прислушались к бою; каждый из нас старался понять, чья сила берет перевес — русская или немецкая и кто из нас будет спасен, а кто уничтожен. Но бой, судя по выстрелам, стоял на месте и лишь ожесточался и гремел все более яростно, не приближаясь к своему решению.

Мы находились, наверно, в промежуточном пространстве боя, потому что звуки выстрелов той и другой стороны доходили до нас с одинаковой силой, и вырывающаяся ярость немецких автоматов погашалась точной, напряженной работой русских пулеметов.

Немец Вальц опять заворочался в земле; он ощущает вокруг себя руками, отыскивая свой потерянный автомат.

— Для чего вам нужно сейчас оружие? — спросил я у него.

— Для войны с тобою, — сказал мне Вальц. — А где твоя винтовка?

— Фугасом вырвало из рук, — ответил я. — Давай биться врукопашную.

Мы подвинулись один к другому, и я его схватил за плечи, а он меня за горло. Каждый из нас хотел убить или повредить другого, но, надышавшись земляным сором, стесненные навалившейся на нас почвой, мы быстро обессилели от недостатка воздуха, который был нам нужен для частого дыхания в борьбе, и замерли в слабости. Отдышавшись, я потрогал немца — не отдалился ли он от меня, и он меня тоже тронул рукой для проверки.

Бой русских с фашистами продолжался вблизи нас, но мы с Рудольфом Вальцем уже не вникали в него; каждый из нас вслушивался в дыхание другого, опасаясь, что тот тайно уползет вдаль, в темную землю, и тогда трудно будет настигнуть его, чтобы убить.

Я старался как можно скорее отдохнуть, отдышаться и пережить слабость своего тела, разбитого ударом воздушной волны; я хотел затем схватить фашиста, дышащего рядом со мной, и прервать руками его жизнь, превозмочь навсегда это странное существо, родившееся где-то далеко, но пришедшее сюда, чтобы погубить меня.

Наружная стрельба и шорох земли, оседающей вокруг нас, мешали мне слушать дыхание Рудольфа Вальца, и он мог незаметно для меня удалиться. Я понюхал воздух и понял, что от Вальца пахло не так, как от русского солдата, — от его одежды пахло дезинфекцией и какой-то чистой, но неживой химией; шинель же русского солдата пахла обычно хлебом и обжитой овчиной. Но и этот немецкий запах Вальца не мог бы помочь мне все время чувствовать врага, что он здесь, если б

он захотел уйти, потому что, когда лежишь в земле, в ней пахнет еще многим, что рождается и хранится в ней,— и корнями ржи, и тлением отживших трав, и сопревшими семенами, зачавшими новые былинки,— и поэтому химический мертвый запах немецкого солдата растворялся в общем густом дыхании живой земли.

Тогда я стал разговаривать с немцем, чтобы слышать его.

— Ты зачем сюда пришел? — спросил я у Рудольфа Вальца.— Зачем лежишь в нашей земле?

— Теперь это наша земля. Мы, немцы, организуем здесь вечное счастье, довольство, порядок, пищу и тепло для германского народа,— с отчетливой точностью и скоростью ответил Вальц.

— А мы где будем? — спросил я.

Вальц сейчас же ответил мне.

— Русский народ будет убит,— убежденно сказал он.— А кто останется, того мы прогоним в Сибирь, в снега и в лед, а кто смиренный будет и признает в Гитлере божьего сына, тот пусть работает на нас всю жизнь и молит себе прощение на могилах германских солдат, пока не умрет; а после смерти мы утилизируем его труп в промышленности и простим его, потому что больше его не будет.

Все это было мне приблизительно известно; в желаниях своих фашисты были отважны, но в бою их тело покрывалось гусиной кожей, и, умирая, они припадали устами к лужам, утоляя сердце, засыхающее от страха... Это я видел сам не однажды.

— Что ты делал в Германии до войны? — спросил я далее у Вальца.

И он с готовностью сообщил мне:

— Я был конторщиком кирпичного завода «Альфред Крейцман и сын». А теперь я солдат фюрера, теперь я воин, которому вручена судьба всего мира и спасение человечества.

— В чем же будет спасение человечества? — спросил я у своего врага.

Помолчав, он ответил:

— Это знает один фюрер.

— А ты? — спросил я у лежащего человека.

— Я не знаю ничего, я не должен знать, я меч в руке фюрера, создающего новый мир на тысячу лет.

Он говорил гладко и безошибочно, как граммофонная пластинка, но голос его был равнодушен. И он был спокоен, потому что был освобожден от сознания и от усилия собственной мысли.

Я спросил его еще:

— А ты сам-то уверен, что тогда будет хорошо? А вдруг тебя обманут?

Немец ответил:

— Вся моя вера, вся моя жизнь принадлежит Гитлеру.

— Если ты все отдал твоему Гитлеру, а сам ничего не думаешь, ничего не знаешь и ничего не чувствуешь, то тебе все равно — что жить, что не жить, — сказал я Рудольфу Вальцу и достал его рукой, чтобы еще раз побиться с ним и одолеть его.

Над нами, поверх сыпучей земли, в которой мы лежали, началась пушечная канонада. Обхватив один другого, мы с фашистом ворочались в тесном комковатом грунте, давящем нас. Я желал убить Вальца, но мне нигде было размахнуться, и, ослабев от своих усилий, я оставил врага; он бормотал мне что-то и бил меня в живот кулаком, но я не чувствовал от этого боли.

Пока мы ворочались в борьбе, мы обмяли вокруг себя сырую землю, и у нас получилась небольшая удобная пещера, похожая и на жилище и на могилу, и я лежал теперь рядом с неприятелем.

Артиллерийская пальба наружи вновь переменилась; теперь опять стреляли лишь автоматы и пулеметы; бой, видимо, стоял на месте без решения, он забурился, как говорили красноармейцы-горняки. Выйти из земли и уползти к своим мне было сейчас невозможно, — только даром будешь подранен или убит. Но и лежать здесь во время боя бесполезно — для меня было совестно и неуместно. Однако под руками у меня был немец; я взял его за ворот, рванул противника поближе к себе и сказал ему:

— Как же ты посмел воевать с нами? Кто же вы такие есть и отчего вы такие?

Немец не испугался моей силы, потому что я был слаб, но он понял мою серьезность и стал дрожать. Я не отпускал его и держал насильно при себе; он припал ко мне и тихо произнес:

— Я не знаю...

— Говори — все равно! Как это ты не знаешь, раз

на свете живешь и нас убивать пришел! Ишь ты, фокусник! Говори,—нас обоих, может, убьет и завалит здесь,—я хочу знать!

Бой поверх нас шел с равномерностью неспешной работы: обе стороны терпеливо стреляли, ощупывая одна другую для сокрушительного удара.

— Я не знаю,—повторил Вальц.— Я боюсь. Я вылезу сейчас. Я пойду к своим, а то меня расстреляют: обер-лейтенант скажет, что я спрятался во время боя.

— Ты никуда не пойдешь! — предупредил я Вальца.— Ты у меня в плену!

— Немец в плену бывает временно и короткий срок, а у нас все народы будут в плену вечно! — отчетливо и скоро сообщил мне Вальц.— Враждебные народы, берегите и почитайте пленных германских воинов! — воскликнул он вдобавок, точно обращаясь к тысячам людей.

— Говори,—приказал я немцу,—говори, отчего ты такой непохожий на человека, отчего ты нерусский.

— Я нерусский потому, что рожден для власти и господства под руководством Гитлера! — с прежней быстротой и заученным убеждением пробормотал Вальц: но странное безразличие было в его ровном голосе, будто ему самому не в радость была его вера в будущую победу и в господство надо всем миром.

В подземной тьме я не видел лица Рудольфа Вальца, и я подумал, что, может быть, его нет, что мне лишь кажется, что Вальц существует,—на самом же деле он один из тех ненастоящих выдуманных людей, в которых мы играли в детстве и которых мы воодушевляли своей жизнью, понимая, что они в нашей власти и живут лишь нарочно. Поэтому я приложил свою руку к лицу Вальца, желая проверить его существование; лицо Вальца было теплое, значит, этот человек действительно находился возле меня.

— Это все Гитлер тебя напугал и научил,—сказал я противнику.— А какой же ты сам по себе?

Я расслышал, как Вальц вздрогнул и вытянул ноги — строго, как в строю.

— Я не сам по себе, я весь по воле фюрера! — отпартовал мне Рудольф Вальц.

— А ты бы жил по своей воле, а не фюрера! — сказал я врагу.— И прожил бы ты тогда дома до старости лет, и не лег бы в могилу в русской земле.

— Нельзя, недопустимо, запрещено, карается по закону! — воскликнул немец.

Я не согласился:

— Стало быть, ты что же, — ты ветошка, ты тряпка на ветру, а не человек!

— Не человек! — охотно согласился Вальц. — Человек есть Гитлер, а я нет. Я тот, кем назначит меня быть фюрер!

Бой сразу остановился на поверхности земли, и мы, прислушиваясь к тишине, умолкли. Все стало тихо, будто бившиеся люди разошлись в разные стороны и оставили место боя пустым навсегда. Я насторожился, потому что мне теперь было страшно; прежде я постоянно слышал стрельбу своих пулеметов и винтовок, и я чувствовал себя под землей спокойно, точно стрельба нашей стороны была для меня успокаивающим гулом знакомых, родных голосов. А сейчас эти голоса вдруг сразу умолкли.

Для меня наступила пора пробираться к своим, но прежде следовало истребить врага, которого я держал своей рукой.

— Говори скорей! — сказал я Рудольфу Вальцу. — Мне некогда тут быть с тобой!

Он понял меня, что я должен убить его, и припал ко мне, прильнув лицом к моей груди. И втихомолку, но мгновенно он наложил свои холодные худые руки на мое горло и сжал мне дыхание. Я не привык к такой манере восвать, и мне это не понравилось. Поэтому я ударил немца в подбородок, он отодвинулся от меня и замолк.

— Ты зачем так нахально действуешь! — заявил я врагу. — Ты на войне сейчас, ты должен быть солдатом, а ты хулиганишь. Я сказал тебе, что ты в плену, — значит, ты не уйдешь, и не царапайся!

— Я обер-лейтенанта боюсь, — прошептал неприятель. — Пусти меня, пусти меня скорей — я в бой пойду, а то обер-лейтенант не поверит мне, он скажет — я прятался, и велит убить меня. Пусти меня, я семейный. Мне одного русского нужно убить.

Я взял врага рукою за ворот и привлек его к себе обратно.

— А если ты не убьешь русского?

— Убью, — говорил Вальц. — Мне надо убивать, чтобы самому жить. А если я не буду убивать, то меня са-

мого убьют или посадят в тюрьму, а там тоже умрешь от голода и печали, или на каторжную работу осудят — там скоро обессилеешь, состаришься и тоже помрешь.

— Так тебя тремя смертями сзади пугают, чтобы ты одной впереди не боялся, — сказал я Рудольфу Вальцу.

— Три смерти сзади, четвертая смерть впереди! — сосчитал немец. — Четвертой я не хочу, я сам буду убивать, я сам буду жить! — вскричал Вальц.

Он теперь не боялся меня, зная, что я безоружный, как и он.

— Где, где ты будешь жить? — спросил я у врага. — Гитлер гонит тебя вперед страхом трех смертей, чтобы ты не боялся одной четвертой. Долго ли ты проживешь в промежутке между своими тремя смертями и нашей одной?

Вальц молчал; может быть, он задумался. Но я ошибся — он не думал.

— Долго, — сказал он. — Фюрер знает все, он все сосчитал — мы вперед убьем русский народ, нам четвертой смерти не будет.

— А если тебе одному она будет? — поставил я вопрос дурному врагу. — Тогда ты как обойдешься?

— Хайль Гитлер! — воскликнул Вальц. — Он не оставит мое семейство: он даст хлеб жене и детям — хоть по сто граммов на один рот.

— И ты за сто граммов на едока согласен погибнуть?

— Сто граммов — это тоже можно тихо, экономно жить, — сказал лежащий немец.

— Дурак ты, идиот и холуй, — сообщил я неприятелю. — Ты и детей своих согласен обречь на голод и смерть ради Гитлера.

— Я вполне согласен, — охотно и четко сказал Рудольф Вальц. — Мои дети получают тогда вечную благодарность и славу отечества.

— Ты совсем дурной, — сказал я немцу. — Неужели целый мир будет кружиться вокруг одного ефрейтора?

— Да, — сказал Вальц, — он будет кружиться, потому что он будет бояться.

— Тебя, что ль? — спросил я врага.

— Меня, — уверенно ответил Вальц.

— Не будет он тебя бояться, — сказал я противнику. — Отчего ты такой мерзкий?

— Потому что фюрер Гитлер теоретически сказал,

что человек есть грешник и сволочь от рождения. А так как фюрер ошибаться не может, значит, я тоже должен быть сволочью.

Немец вдруг обнял меня и попросил, чтоб я умер.

— Все равно ты будешь убит на войне,— говорил мне Вальц.— Мы вас победим, и вы жить не будете. А у меня трое детей на родине и слепая мать. Я должен быть храбрым на войне, чтоб их там кормили. Мне нужно убить тебя, тогда обер-лейтенант будет доволен, и он даст обо мне хорошие сведения. Умри, пожалуйста. Тебе все равно не надо жить, тебе не полагается. У меня есть перочинный нож, мне его подарили, когда я кончил школу, я его берегу... Только давай скорее — я соскучился в России, я хочу в свой святой фатерлянд, я хочу домой в свое семейство, а ты все равно никогда домой не вернешься...

Я молчал; потом я ответил:

— Я не буду помирать за тебя.

— Будешь! — произнес Вальц.— Фюрер сказал: русским — смерть. Как же ты не будешь!

— Не будет нам смерти! — сказал я врагу и с беспмятством ненависти, возродившей мощь моего сердца, я обхватил и сжал тело Рудольфа Вальца в своих руках. Затем мы в борьбе незаметно миновали сыпучий грунт и вывалились наружу, под свет звезд. Я видел этот свет, но Вальц глядел на них уже неморгающими глазами: он был мертв, и я не запомнил, как умертвил его, в какое время тело Рудольфа Вальца стало неодушевленным. Мы оба лежали, точно свалившись в пропасть с великой горы, пролетев страшное пространство высоты молча и без сознания.

Маленький комар-полуночник сел на лоб покойника и начал помаленьку сосать человека. Мне это доставило удовлетворение, потому что у комара больше души и разума, чем в Рудольфе Вальце — живом или мертвом, все равно; комар живет своим усилием и своей мыслью, сколь бы она ни была ничтожна у него, — у комара нет Гитлера, и он не позволяет ему быть. Я понимал, что и комар, и червь, и любая былинка — это более одухотворенные, полезные и добрые существа, чем только что существовавший живой Рудольф Вальц. Поэтому пусть эти существа пережуют, иссосут и раскрошат фашиста: они совершат работу одушевления мира своей кроткой жизнью.

Но я, русский советский солдат, был первой и решающей силой, которая остановила движение смерти в мире; я сам стал смертью для своего неодоушевленного врага и обратил его в труп, чтобы силы живой природы размололи его тело в прах, чтобы едкий гной его существа пропитался в землю, очистился там, осветлился и стал обычной влагой, орошающей корни травы.

АФРОДИТА

«**Ж**ива ли была его Афродита?» — с этим сомнением и этой надеждой Назар Фомин обращался теперь уже не к людям и учреждениям — они ему ответили, что нет нигде следа его Афродиты, — но к природе, к небу, к звездам и горизонту и к мертвым предметам. Он верил, что есть какой-либо косвенный признак в мире или неясный сигнал, указывающий ему, дышит ли еще его Афродита или грудь ее уже охладела. Он выходил из блиндажа в поле, останавливался перед синим наивным цветком, долго смотрел на него и спрашивал наконец: «Ну? Тебе там видней, ты со всей землей соединен, а я отдельно хожу, — жива или нет Афродита?» Цветок не менялся от его тоски и вопроса, он молчал и жил по-своему, ветер шел равнодушно поверх травы, как он прошел до того, быть может, над могилой Афродиты или над ее живым смеющимся лицом. Фомин смотрел вдаль, на плывущие над горизонтом, сияющие чистым светом облака и думал, что оттуда, с высоты, пожалуй, можно было бы увидеть, где находится сейчас Афродита. Он верил, что в природе есть общее хозяйство и по нему можно заметить грусть утраты или довольство от сохранности своего добра, и он хотел разглядеть через общую связь всех живых и мертвых в мире еле различимую, тайную весть о судьбе своей жены Афродиты — о жизни ее или смерти.

Афродита исчезла в начале войны среди народа, отходившего от немцев на восток. Сам Назар Иванович Фомин был в то время уже в армии и не мог помочь любимому существу для его спасения. Афродита была женщина молодая, смысленная, уживчивая и не должна потеряться без следа или умереть от голодной нужды среди своего народа. Допустимо, конечно, несчастье на

дальних дорогах или случайная гибель. Однако ни в природе, ни в людях нельзя было заметить никакого голоса и содрогания, отвечающего печальной вестью открытому, ожидающему сердцу человека, и Афродита должна быть живой на свете.

Фомин предался воспоминанию, повторяя в себе однажды пережитое с неподвижностью вечного остановленного счастья...

Он увидел памятью небольшой город, освещенный солнцем, ослепительные известковые стены и черепичные кровли его домов, фруктовые сады, растущие в теплом блаженстве под синим небом. В полуденный час Фомин шел обычно завтракать в кафе, что было неподалеку от конторы огнестойкого строительства, в которой он служил производителем работ. В кафе играл патефон, Фомин подходил к буфету, просил себе сосисок с капустой и так называемую «летучку», то есть соленый горох, который бросается в рот свободным полетом, и брал вдобавок кружку пива. Женщина, специально работающая на пиве, наливала напиток в кружку, а Фомин следил за пивной струей, принципиально требуя, чтобы ему наливали по черту и не заполняли емкости пустою пеной; в этой ежедневной борьбе с пивной пеной он ни разу внимательно не посмотрел в лицо женщины, служащей ему, и не помнил ее, когда уходил из кафе. Но однажды та женщина глубоко, нечаянно вздохнула в неурочное время, и Фомин долгим взором посмотрел на женщину за стойкой. Она тоже смотрела на него; пена переполнила кружку, а служащая, забывшись, не обращала на то внимания. «Стоп!» — сказал ей тогда Фомин и впервые обнаружил, что женщина была молодою, ясной на лицо, с темными блестящими глазами, странно соединяющими в своем выражении задумчивость и насмешку, с дремучими, с дикою силой растущими черными волосами на голове. Фомин отвел от нее свой взор, но чувство его уже прельстилось образом этой женщины, и то чувство его не стало затем считаться ни с его разумом, ни со спокойствием его духа, а пошло вразрез им, уводя человека к его счастью. Он смотрел тогда на пивную пену на столе и был уже равнодушен, что пена полнится напрасно на мраморной плоскости стойки. Позже он с улыбкой назвал Наталью Владимировну Афродитой, образ которой явился для него тоже поверх пены, хотя и не морской воды, а дру-

гой жидкости. И вместе со своей Афродитой Назар Иванович прожил, как муж с женой, двадцать лет, если не считать одного перерыва в два с половиной года, и лишь война разлучила их, а теперь он гнетно спрашивает о ее судьбе у растений и у всех добрых тварей земли и даже всматривается с тем же вопросом в небесные явления облаков и звезд. Справочное бюро об эвакуированных усиленно и давно разыскивало Наталью Владимировну Фомину, но пока еще не отыскало ее. Ближе Афродиты у Назара Ивановича не было человека; он всю жизнь привык с ней беседовать, потому что это помогало его размышлению и внушало ему доверие к делу, которое он исполнял. И ныне, на войне, четвертый год находясь в разлуке с Афродитой, Назар Иванович Фомин в каждое свободное время пишет ей длинные письма и отправляет их в справочное бюро эвакуированных в Бугуруслан, с тем чтобы эти письма были вручены адресату по нахождению его. За войну уже много таких писем, наверное, скопилось в справочном бюро,— иные из них будут вручены, иные никогда, и сотлеют без прочтения. Назар Иванович писал жене спокойно и обстоятельно, веря в ее существование и в будущую встречу с ней, но еще ни разу он не получил ответа от Афродиты. Красноармейцы и офицеры, которыми командовал Фомин, тщательно следили за почтой, чтобы не утратилось письмо, адресованное командиру, потому что он был чуть ли не единственный человек в полку, который не получал писем ни от жены, ни от родственников.

Теперь давно миновали те счастливые мирные годы. И они не могли длиться постоянно, ибо и счастье должно изменяться, чтобы сохраниться. В войне Назар Иванович Фомин нашел другое свое счастье, иное, чем прежний мирный труд, но тоже родственное ему; после же войны он надеялся узнать более высшую жизнь, чем та, которую он уже испытал, будучи тружеником и воином.

Наши авангардные части заняли тот южный город, в котором до войны жил и работал Фомин. Полк Фомина шел в резерве и не был пущен в дело за отсутствием в том нужды.

Полк Фомина расположился в районе города во втором эшелоне, чтобы двинуться затем в дальний марш

на запад. Назар Иванович в первую же дневку написал письмо Афродите и пошел на побывку в самый милый город для него на всей русской земле. Город был раздроблен артиллерийским огнем, сожжен пламенем пожаров, а прочные здания его были взорваны врагом в прах. Фомин уже привык видеть истоптанные машинами хлебные нивы, израненную траншеями землю и скрытые ударами огня поселения людей; это была пахота войны, где посеивалось в землю то, что никогда не должно вновь произрасти на ней,— трупы злодеев, и то, что было рождено для доброй деятельной жизни, но обречено лишь вечной памяти,— плоть наших солдат, посмертно стерегущих в земле павшего неприятеля.

Фомин прошел через фруктовый сад к тому месту, где находилось некогда кафе Афродиты. Был декабрь месяц. Голые плодовые деревья остыли на зиму и занемели в грустном сне, и протянутые ветви их, державшие в осень плоды, теперь были рассечены очередями пуль и беспомощно повисли книзу на остаточных волокнах древесины, и лишь редкие ветви сохранились в здоровой целости. Многие же деревья были вовсе спилены пемцами прочь, как материал для постройки оборон.

Дом, где двадцать с лишним лет тому назад находилось кафе, а затем было жилище, сейчас лежал раскрошенный в щебень и мусор, убитый и умерший, выдуваемый ветром в пространство. Фомин еще помнил обличье этого дома, но скоро, за временем, и оно стухнется в нем, и он забудет его. Не так ли где-либо в дальнем, заглохшем поле лежит теперь холодное большое любимое тело Афродиты, и его скупают трупные твари, оно истаивает в воде и воздухе, и его сушит и уносит ветер, чтобы все вещество жизни Афродиты расточилось в мире равномерно и бесследно, чтобы человек был забыт.

Он пошел далее на окраину города, где проживал в детстве. Безлюдье студило его душу, поздний посмертный ветер веял в руинах умолкших жилищ. Он увидел место, где жил и играл в младенчестве. Старый деревянный дом сгорел по самый фундамент, искрошившаяся от сильного жара черепица лежала поверх его детской обители на опаленной земле. Тополь во дворе, под которым маленький Назар спал в летнее время, был спилен и лежал возле своего пня, умерший, с истлевшей корой.

Фомин долго стоял у этого дерева своего детства. Оно мевшее сердце его стало вдруг словно бесчувственным, чтобы не принимать больше в себя печали. Затем Фомин собрал несколько уцелевших черепиц и сложил их маленьким правильным штабелем, точно делая заготовку материала для будущего строительства или собирая семена, чтобы снова посеять Россию. Эта черепица и вся другая, что есть в округе, была сделана в мастерских, которые учредил здесь в старое мирное время Фомин и которыми он ведал целые годы.

Фомин пошел в степь; там в двух верстах от города он заложил и построил когда-то свою первую прудовую плотину. Он был тогда счастливым строителем, но сейчас грустно и пусто было поле его молодости, изрытое войной и бесплодное; незнакомые былинки изредка виднелись на талом мелком снегу и, равнодушные к человеку, покорно колебались под ветром... Земляная плотина была взорвана в середине своего тела, и водоем осох, а рыбы в нем умерли.

Фомин возвратился в город. Он нашел улицу имени Шевченко и дом, в котором он жил после возвращения из Ростова, когда окончил там политехническое училище. Дома не было, но осталась скамья. Она стояла раньше под окнами его квартиры; он сидел по вечерам на этой скамье, сначала один, а позже с Афродитой, и в этом, ныне погибшем доме они жили тогда вдвоем в одной комнате с окнами на улицу. Отец его, мастер литейного завода, скоропостижно умер, когда Фомин еще учился в Ростове, а мать вышла вторично замуж и уехала на постоянное жительство в Казань. Юный Назар Фомин остался жить тогда одиноким, но весь мир, освещенный солнцем, полный привлекательных людей, влекущий мир юности и нерешенных вечных тайн, мир, еще не устроенный и скудный, но одушевленный надеждой и волей рабочих-большевиков,— этот мир ожидал юношу, и знакомая родная земля, оголодавшая, оголенная бедствиями первой мировой войны, лежала перед ним.

Фомин сел на скамью, где много летних тихих вечеров он провел в беседах и в любви с Афродитой. Теперь перед ним был пустой, разрушенный мир, и лучшего друга его уже, может быть, не стало на свете. Все надо теперь сделать сначала, чтобы продолжать задуманное еще четверть века тому назад.



Наверное, совсем иначе направились бы жизнь Назара Фомина, если бы в минувшие дни юности его бы не воодушевила вера в смысл жизни рабочего класса. Он бы, возможно, прожил свою жизнь более спокойно, но уныло и бесплодно; он бы имел свою отдельную участь, но не узнал бы той судьбы, когда, доверив народу лишь одно свое сердце, он почувствовал и узнал больше, чем положено одному, и он стал жить всем дыханием человечества. Одному человеку нельзя понять смысла и цели своего существования. Когда же он приникает к народу, родившему его, и через него к природе и миру, к прошлому времени и будущей надежде, — тогда для души его открывается тот сокровенный источник, из которого должен цитаться человек, чтобы иметь неистощимую силу для своего деяния и крепость веры в необходимость своей жизни.

Советская Россия тогда только начала свою судьбу. Народ направился в великий, безвозвратный путь — в то историческое будущее, куда еще никто впереди него не шествовал: он пожелал найти исполнение всех своих надежд, добыть в груди и подвигах вечные ценности и достоинство человеческой жизни и поделиться ими с другими народами... Фомин видел в молодости на Азовском море одно простое видение. Он был на берегу — и одинокое парусное рыбацье судно уходило вдаль по синему морю под сияющим светло-золотым небом; судно все более удалялось, белый парус его своим кротким цветом отражал солнце, но корабль долго еще был виден людям на берегу; потом он скрылся вовсе за волшебным горизонтом. Назар почувствовал тогда тоскующую радость, словно кто-то любящий его позвал за собою в сияющее пространство неба и земли, а он не мог еще пойти за ним вослед. И подобно тому кораблю, исчезающему в даль света, представилась ему в тот час Советская Россия, уходящая в даль мира и времени.

Он помнил еще какой-то полуденный час одного забытого дня. Назар шел полем, спускаясь в балку, заросшую дикой прекрасной травой; солнце с высоты звало всех к себе, и из тьмы земли поднялись к нему в гости растения и твари — они были все разноцветные, каждый — иной и не похожий ни на кого: кто как мог, тот так сложился и ожил в земле, лишь бы выйти наружу, дыша и торжествуя, и быть свой срок на всеобщем свидании всего существующего, чтобы успеть полюбить жи-

вущих и затем снова навсегда разлучиться с ними. Юный Назар Фомин почувствовал тогда великое немое горе вселенной, которое может понять, высказать и одолеть лишь человек, и в этом состоит его обязанность. Назар обрадовался в то время своему долгу человека; он знал наперед, что выполнит его, потому что рабочий класс и большевики взяли на себя все обязанности и бремя человечества, и посредством геронческой работы, силою правильного понимания своего смысла на земле — рабочий народ исполнит свое назначение, и темная судьба человечества будет осенена истиной. Так думал Назар Фомин в юности. Он тогда больше чувствовал, чем знал, он еще не мог изъяснить идею всех людей ясными словами, но для него было достаточно одной счастливой уверенности, что сумрак, покрывающий мир и затеняющий человеческое сердце, — не вечная тьма, а лишь туман перед рассветом.

Сверстники Назара Фомина, комсомольцы и большевики, были одушевлены тою же идеей создания нового мира, они, так же как и Назар, были убеждены, что они призваны Лениным участвовать во всемирном подвиге человечества, — ради того, чтобы началось наконец на земле время истинной жизни, чтобы исполнились все надежды людей, чего они заслужили веками труда и смертных жертв, которые они сберегли в долгом опыте и в терпеливом размышлении...

По окончании специального училища в Ростове-на-Дону Назар Фомин вернулся на родину, в этот же город, где он сидел сейчас в одиночестве. Назар стал тогда техником-строителем, и началось деяние его жизни. Все материальное, серое и обыкновенное он принял столь близко к сердцу, что оно стало для него духовным и питало его страсть к работе. Сейчас он уже не помнил — сознавал ли он в то время, что все действительно возвышенное рождается лишь из житейской нужды; но он своими руками делал тогда это превращение материального в духовное, и он верил в правду революции, потому что сам совершал ее и видел ее действие на судьбе народа.

Назар Фомин заведовал вначале сельским огнестойким строительством в районе — это считалось небольшой должностью. Но он воодушевился этой работой, он принял ее в свое сердце не как службу, но как смысл своего существования, и он смотрел страстными глаза-

ми на впервые изготовленное в кустарной мастерской черепичное изделие; он погладил тогда первую черепичную плитку, понюхал ее и унес к себе в комнату, где жил, чтобы вечером и наутро еще раз рассмотреть ее — действительно ли она вполне хороша и прочна, чтобы на долгие годы лечь вместо соломы в кровлю сельских хат и тем сберечь крестьянские жилища от пожаров. Он тогда же изучил статистику пожаров в своем районе по земским сведениям и рассчитал, что если черепица заменит соломенную кровлю, то крестьянство от одной экономии на убытках от огня может, например, через три года построить в каждом селе по артезианскому колодцу с обильной здоровой водой или еще что-либо, а в последующие три-четыре года можно на те же средства, спасенные черепицей от огня, построить местную электрическую станцию с мельницей и крупорушкой. От этих соображений Назар Фомин мог, не скучая, долго смотреть на черепичную плитку и думать о том, как ее сделать еще прочнее и дешевле, — черепица была тогда его чувством и переживанием, она заменяла ему книгу и друга — человека; позже он понял, что никакой предмет не может заместить ему человека, но в молодости ему хватало одного воображения человека.

Бывают времена, когда люди живут лишь надеждами и ожиданием перемены своей судьбы; бывает время, когда только воспоминание о прошлом утешает живущее поколение, и бывает счастливое время, когда историческое развитие мира совпадает в людях с движением их сердец. Назар Фомин был человеком счастливого времени своего народа, и вначале, как многие его сверстники и единомышленники, он думал, что наступила эпоха кроткой радости, мира, братства и блаженства, которая постепенно распространится по всей земле. Для того чтобы это было в действительности, достаточно лишь строить и трудиться: так верил тогда молодой человек Фомин.

И Назар Фомин создал себе душевный покой любовью к жене Афродите и своей верностью ей; он смирил тем в себе все смутные страсти, увлекавшие его в темные стороны чувственного мира, где можно лишь бесполезно, хотя, может быть, и сладостно расточить свою жизнь, и он отдал свои силы работе и служению идее, ставшей влечением его сердца, — тому, что не расточало человека, а вновь и непрерывно возрождало его, в чем

стало состоять его наслаждение, не яростное и измощающее, но кроткое, как тихое добро.

Назар Фомин в те времена был занят, как и его поколение людей, одухотворением мира, существовавшего дотопе в убогом виде, в разрозненности и без общего ясного смысла.

В начале своей работы Фомин делал черепицу для огнестойких покрытий; затем его обязанности увеличились, и вскоре он был избран заместителем председателя поселкового Совета; по действительному значению своей деятельности он стал главным инженером всех работ в поселке и в окружающем его районе. Тогда еще этот город считался слободой, которая являлась районным или волостным центром.

Фомин строил плотины в сухой степи для водопоя скота, он рыл колодцы в поселках с креплением из бетонных колец и замаскировал дороги по всей округе из местной породы камня, чтоб всеми средствами одолеть бедность хозяйства и приобщить ко всему народу одинокую крестьянскую душу.

Но он уже тогда думал о более существенном, и даже в сновидениях одна и та же дума продолжалась в нем, обнадеживая его счастье. Два года Фомин готовил свое дело, пока районный исполком не доверил ему начать его. Это дело состояло в постройке в слободе электрической станции, с постепенным расширением электрической сети от нее на всю волость — район, чтобы дать народу свет для чтения книг, машинную силу в облегчение его труда и тепло в зимнее время для отопления жилищ и скотных помещений. От исполнения этой простой мечты весь уклад жизни населения должен измениться, и человек тогда почувствует освобождение от бедности и горя, от тягости труда, измощающего его до костей и все же ненадежного, не дающего ему жизненного благополучия...

Тени воспоминания проходили сейчас по лицу полковника Фомина, сидевшего посреди руин поверженного города, который он некогда создал со своими товарищами. Воспоминания запечатлевали на его лице то улыбку, то грусть, то спокойное воображение давно минувшего.

Он построил тогда электрическую станцию. В клубе волполитпросвета был бал в честь открытия к действию мощной по тому времени силовой электроустановки, и

Афродита тогда танцевала на том балу, освещенном сиянием электричества, под оркестр из трех баянов, и она была счастливее самого Назара, потому что дело ее мужа удалось.

Но трудно было тогда Фомину вести постройку. Волостных средств отпустили по бюджету мало; потребовалось поэтому разъяснить всему населению волости пользу электричества, чтобы народ вложил в постройку станции и электрической сети свой труд и свои сложенные вместе скопленные средства. Ради того Фомин организовал тогда тридцать четыре крестьянских товарищества по электрификации и объединил их в волостной союз. Это стоило ему много сердца, тревоги и беспокойного труда. Он вспомнил одну крестьянскую девушку-сироту, Евдокию Ремейко; родители оставили ей небольшое девическое приданое, она без остатка внесла его в свой пай и потом усерднее и охотнее многих работала как плотник второй руки на постройке здания станции. Сейчас Евдокия Ремейко если еще жива на свете, то она уже пожилая женщина, а была бы она молодая, то служила бы, наверное, в Красной Армии или воевала в партизанском отряде. Фомин вспомнил еще многих людей, работавших с ним тогда,— крестьян и крестьянок, слободских жителей, стариков и юношей. Они со всей искренностью и чистосердечием, из всего своего умения строили новый мир на земле. Их затаенные, сдавленные способности объявились тогда наружу и начали развиваться в осмысленной, благодатной работе; их душа, их понимание жизни светлели и росли тогда, как растут растения из земли, с которой сняты каменные плиты. Станция еще не была вполне достроена и оборудована, а Фомин уже видел с удовлетворением, что ее строители — крестьяне, работавшие добровольно сверх своего хлебного труда на полях, настолько углубились в дело и почувствовали через него интерес друг к другу и свою связь с рабочим классом, сделавшим машины для производства электричества, что убогое одиночество их сердец отошло от них, и единолично-дворовое равнодушие ко всему незнакомому миру и страх перед ним также стали оставлять их. Правда, в тайном замысле каждого человека есть желание уйти со своего двора, из своего одиночества, чтобы увидеть и пережить всю вселенную, но надо было найти возможные и доступные для всех пути для того. Старый

крестьянин Еремеев выразил тогда Фомину свою смутную мысль о том же:

«Нль мы не чувствуем, Назар Иванович, что советская власть нам рыск жизни дает: действуй, мол, радуйся и отвечай сам за добро и за лих, ты, мол, теперь на земле не посторонний прохожий. А прежде-то какая жизнь была: у матери в утробе лежишь — себя не помнишь, наружу вышел — гнетет тебя горе и беда, живешь в избе, как в каземате, и света не видать, а помер — лежи смирно в гробу и забудь, что ты был. Повсюду нам было тесное место, Назар Иванович, — утроба, каземат да могила — и одно беспамятство, — и ведь каждый всем мешал! А теперь каждый всем в помощь — вот она где, советская власть и кооперация!»

Где тот старик Еремеев теперь? Может быть, и существует еще; хотя — едва ли, уж много прошло времени...

Электрическая станция работала недолго; через семь дней после пуска ее в действие она сгорела. Назар Фомин был в тот час за сорок верст от слободы; он выехал, чтобы осмотреть плотину возле хутора Дубровка, размытую осенним паводком, и установить объем работ для ее восстановления. Ему сообщили туда о пожаре с верховым нарочным, и Фомин сразу поехал обратно.

На окраине слободы, где еще вчера было новое саманное здание электростанции, теперь стало пусто. Все сошло в прах. Остались лишь мертвые металлические тела машин — вертикального двигателя и генератора. От жара из тела двигателя вытекли все его медные части; сошли и окоченели на фундаменте, как потоки слез, подшипники и арматура; у генератора расплавились и отеки контактные кольца, изошла в дым обмотка и выкипела в ничто вся медь.

Назар Фомин стоял тогда возле своих умерших машин, глядевших на него слепыми отверстиями своих выгоревших нежных частей, и плакал. Пенастный ветер уныло гремел железными листами на полу, свернувшись от пережитого ими жара. Фомин поглядел в тот грустный час своей жизни на небо; поверху шли темные облака осени, гонимые угрюмой непогодой; там было скучно и не было сочувствия человеку, потому что вся природа, хоть она и большая, она вся одинокая, не знающая ничего, кроме себя. Лишь здесь, что сгорело в огне, было иное; тут был мир, созданный людьми в со-

чувствии друг к другу, здесь в малом виде исполнилась надежда на высшую жизнь, на изменение и оживление в будущем всей тягостной, гнетущей самое себя природы,— надежда, существующая, возможно, во всей вселенной только в сердце и сознании человека, и не всякого человека, а того лишь, который первым в жертве, в работе и в революции пробился к такому пониманию своей судьбы. Как мала еще, стало быть, эта благая сила в размерах огромного мира и как ее надо беречь.

Для Назара Фомина наступило печальное время; следственная власть сообщила ему, что станция сгорела не по случайности или небрежности, а сожжена злодейской рукой. Этого не мог сразу понять Фомин — каким образом то, что является добром для всех, может вызывать ненависть и стать причиной злодейства. Он пошел посмотреть человека, который сжег станцию. Преступник на вид показался ему обыкновенным человеком, и о действии своем он не сожалел. В словах его Фомин почувствовал неудовлетворенную ненависть, ею преступник и под арестом питал свой дух. Теперь Фомин уже не помнил точно его лица и его слов, но он запомнил его нескрытую злобу перед ним, главным строителем уничтоженного народного создания, и его объяснение своего поступка как действия, необходимого для удовлетворения его разума и совести. Фомин молча выслушал тогда преступника и понял, что переубедить его словом нельзя, а переубедить делом — можно, но только он никогда не даст возможности совершить дело до конца, он постоянно будет разрушать и уничтожать еще вначале построенное не им.

Фомин увидел существо, о котором он предполагал, что его либо вовсе нет на свете, либо оно после революции живет уже в немошном и безвредном состоянии. На самом же деле это существо жило яростной жизнью и даже имело свой разум, в истину которого оно верило. И тогда вера Фомина в близкое блаженство на всей земле была нарушена сомнением; вся картина светлого будущего перед его умственным взором словно отдалась в туманный горизонт, а под его ногами опять стлалась серая, жесткая, непроходимая земля, по которой надо еще долго идти до того сияющего мира, который казался столь близким и достижимым.

Крестьяне, строители и пайщики электростанции сделали собрание. На собрании они выслушали слова

Фомина и задумались в молчании, не тая своего общего горя. Потом вышла Евдокия Ремейко и робко сказала, что надо снова собрать средства и снова отстроить погоревшую станцию; в год или полтора можно сызнова все сработать своими руками, сказала Ремейко, а может быть, и гораздо скорее. «Что ты, девка,— ответил ей с места повеселевший крестьянин, неизвестно кто,— одно приданое в огне прожила, другое съешь туда же: так ты до гробовой доски замуж не выйдешь, так и зачахнешь в перестарках!»

Обеудив дело, сколько выдаст Госстрах по случаю пожара, сколько поможет государство ссудой, сколько остается добавить из нажитого трудом, пайщики положили себе общей заботой построить станцию первоначально во второй раз. «Электричество потухло,— сказал кустарь по бочарному делу Евтухов,— а мы и впредь будем жить неугасимо! А тебе, Назар Иванович, мы все в целости мерикандуем в карикатическом смысле строить по плану и масштабу, как оно было!» Евтухов любил и великие и малые дела рекомендовать к исполнению в категорическом смысле; он и жил категорически и революционно и изобрел круглую шаровую бочку. Словно теплый свет коснулся тогда омраченной души Назара Фомина. Не зная, что нужно сделать или сказать, он прикоснулся к Евдокии Ремейко и, стыдясь людей, хотел поцеловать ее в щеку, но осмелился поцеловать только в темные волосы над ухом. Так было тогда, и живое чувство счастья, запах волос девушки Ремейко, ее кроткий образ до сих пор сохранились в воспоминании Фомина.

И снова Назар Фомин на прежнем месте построил электрическую станцию, в два раза более мощную, чем погибшая в огне. На эту работу ушло почти два года. За это время Афродита оставила Назара Фомина; она полюбила другого человека, одного инженера, приехавшего из Москвы на монтаж радиоузла, и вышла за него вторым браком. У Фомина было много друзей среди крестьян и рабочего народа, но без своей любимой Афродиты он почувствовал себя сиротой, и сердце его продрогло в одиночестве. Он раньше постоянно думал, что его верная Афродита — это богиня, но теперь она была жалка в своей нужде, в своей потребности по удовольствию новой любви, в своей привязанности к радости и наслаждению, которые были сильнее ее воли, сильнее

ее верности и гордой стойкости по отношению к тому, кто любил ее постоянно и единственно. Однако и после разлуки с Афродитой Назар Фомин не мог отвыкнуть от нее и любил ее, как прежде; он и не хотел бороться со своим чувством, превратившимся теперь в страдание: пусть обстоятельства отняли у него жену и она физически удалилась от него, но ведь не обязательно близко владеть человеком и радоваться лишь возле него — достаточно бывает чувствовать любимого человека постоянным жителем своего сердца; это, правда, труднее и мучительней, чем близкое, удовлетворенное обладание, потому что любовь к равнодушному живет лишь за счет одной своей верной силы, не питаясь ничем в ответ. Но разве Фомин и другие люди его страны изменяют мир к лучшей судьбе ради того, чтобы властвовать над ним или пользоваться им затем как собственностью?.. Фомин вспомнил еще, что у него явилась тогда странная мысль, оставшаяся необъяснимой. Он почувствовал в разлуке с Афродитой, что злодейская сила снова вступила поперек его жизненного пути; в своей первопричине это была, может быть, та же самая сила, от которой сгорела электростанция. Он понимал разницу событий, он видел их несоответствие, но они равно жестоко разрушали его жизнь, и противостоял им один и тот же человек. Возможно, что он сам был повинен перед Афродитой, — ведь бывает, что зло совершается без желания, невольно и незаметно, и даже тогда, когда человек напрягается в совершении добра другому человеку. Должно быть, это бывает потому, что каждое сердце разное с другим: одно, получая доброту, обращает его целиком на свою потребность и от доброго ничего не остается другим; иное же сердце способно и злое переработать, обратить в добро и силу — себе и другим.

После пожара и после утраты Афродиты Назар Фомин понял, что всеобщее блаженство и наслаждение жизнью, как он их представлял дотоле, есть ложная мечта и не в том состоит истина человека и его действительное блаженство. Одолевая свое страдание, терпя то, что его могло погубить, снова воздвигая разрушенное, Фомин неожиданно почувствовал свободную радость, не зависимую ни от злодея, ни от случайности. Он понял свою прежнюю наивность, вся натура его начала ожесточаться, созревая в бедствиях, и учиться способности одолевать, срабатывать каменное горе, вста-

ющее на жизненном пути; и тогда мир пред ним, доселе, как ему казалось, ясный и доступный, теперь распространился в дальнюю таинственную мглу — не потому, что там было действительно темно, печально или страшно, а потому, что он действительно был более велик во всех направлениях и сразу его нельзя обозреть — ни в душе человека, ни в простом пространстве. И это новое представление более удовлетворяло Фомина, чем то убогое блаженство, ради которого, как прежде он думал, только и жили люди.

Но он тогда, вместе со своим поколением, находился лишь у начала нового жизненного пути всего русского советского народа; и все, что переживал в то время Назар Фомин, было только вступлением к его трудной судьбе, первоначальным испытанием юного человека и его подготовкой к необходимому историческому делу, за свершение которого взялся его народ. В сущности, в стремлении к счастью для одного себя есть что-то низменное и непрочное: лишь с подвига и исполнения своего долга перед народом, заставшим его на свет, начинается человек, и в том состоит его высшее удовлетворение, или истинное вечное счастье, которого уже не может истребить никакое бедствие, ни горе, ни отчаяние. Но тогда он не мог скрыть своей печали от своих несчастий, и если бы возле него не было людей, любивших его как единомышленника, может быть, он вовсе бы пал духом и не оправился. «Успокойся,— с грустью понимания сказал ему один близкий товарищ,— ты успокойся! Чего ты ожидал другого — кто нам приготовил здесь радость и правду? Мы сами их должны сделать, потому наша партия и совершает смысл жизни в мире... Наша партия — это гвардия человечества, и ты гвардеец! Партия воспитывает не блаженных телят, а героев для великой эпохи войн и революций... Перед нами будут все более возрастать задачи, мы подыдемся на такие горы, откуда видны будут все горизонты до самого конца света! Чего же ты скулишь и скучаешь! Живи с нами,— что тебе, все тепло от одной домашней печки да от жены, что ли! Ты сам умный, ты знаешь, нам не нужна немощная, берегущая себя тварь! Другое время теперь наступило!»

Фомин в первый раз услышал тогда слово «гвардия»... Жизнь его продолжалась далее. Афродита, жена Назара Фомина, оскорбленная неверностью второго му-

жа, встретила однажды Назара и сказала ему, что ей живется грустно и она тоскует по нем, что она неправильно понимала жизнь, желая лишь радоваться в ней и не зная ни долга, ни обязанностей. Назар Фомин молча выслушал Афродиту; ревность и уязвленное самолюбие еще существовали в нем, подавленные, почти безмолвные, но все еще живые, как бессмертные твари. Но радость его перед лицом Афродиты, близость ее сердца, бьющегося навстречу ему, умертвили его жалкую печаль, и он после двух с лишним лет разлуки поцеловал у Афродиты руку, протянутую к нему.

Пошли новые годы жизни. Много раз обстоятельства превращали Фомина в жертву, подводили на край гибели, но его дух уже не мог истощиться в безнадежности или в унынии. Он жил, думал и работал, словно постоянно чувствуя большую руку, ведущую его нежно и жестко вперед — в судьбу героев. И та же рука, что вела его жестко вперед, та же большая рука согревала его, и тепло ее проникало ему до сердца.

— До свиданья, Афродита! — вслух сказал Назар Фомин.

Где бы она ни была сейчас, живая или мертвая; все равно здесь, в этом обезлюдевшем городе, до сих пор еще таились следы ее ног в земле и в виде золы хранились вещи, которые она когда-то держала в руках, запечатлев в них тепло своих пальцев, здесь повсюду существовали незаметные признаки ее жизни, которые целиком никогда не уничтожаются, как бы глубоко мир ни изменился. Чувство Фомина к Афродите удовлетворялось в своей скромности даже тем, что здесь когда-то она дышала и воздух родины еще содержит рассеянное тепло ее уст и слабый запах ее исчезнувшего тела,— ведь в мире нет бесследного уничтожения.

— До свидания, Афродита! Я тебя сейчас только чувствую в своем воспоминании, но я хочу видеть тебя всю, живой и целой!..

Фомин встал со скамьи, поглядел на город, низко осевший в свои руины, свободно просматриваемый теперь из конца в конец, поклонился ему и пошел обратно в полк. Сердце его, наученное терпению, было способно снести, может быть, даже вечную разлуку, и оно способно было сохранить верность и чувство привязан-

ности до окончания своего существования. Втайне же он имел в себе гордость солдата, который может исполнить любой труд и подвиг человека; и Фомин был счастливым, когда сбивал противника, вросшего в бетон и в землю, или когда отчаяние своей души превращал в надежду, а надежду — в успех и в победу.

• ВОЗВРАЩЕНИЕ

Алексей Алексеевич Иванов, гвардии капитан, убывал из армии по демобилизации. В части, где он прослужил всю войну, Иванова проводили, как и быть должно, с сожалением, с любовью, уважением, с музыкой и вином. Близкие друзья и товарищи поехали с Ивановым на железнодорожную станцию и, попрощавшись там окончательно, оставили Иванова одного. Поезд, однако, опоздал на долгие часы, а затем, когда эти часы истекли, опоздал еще дополнительно. Наступала уже холодная осенняя ночь; вокзал был разрушен в войну, ночевать было негде, и Иванов вернулся на попутной машине обратно в часть. На другой день сослуживцы Иванова снова его провожали; они опять пели песни и обнимались с убывающим в знак вечной дружбы с ним, но чувства свои они затрачивали уже более сокращенно, и дело происходило в узком кругу друзей.

Затем Иванов вторично уехал на вокзал; на вокзале он узнал, что вчерашний поезд все еще не прибыл, и поэтому Иванов мог бы, в сущности, снова вернуться в часть на ночлег. Но неудобно было в третий раз переживать проводы, беспокоить товарищей, и Иванов остался скучать на пустынном асфальте перрона.

Возле выходной стрелки станции стояла уцелевшая будка стрелочного поста. На скамейке у той будки сидела женщина в ватнике и теплом платке; она и вчера там сидела при своих вещах, и теперь сидит, ожидая поезда. Уезжая вчера ночевать в часть, Иванов подумал было: не пригласить ли и эту одинокую женщину, пусть она тоже переночует у медсестер в теплой избе, зачем ей мерзнуть всю ночь, неизвестно — сможет ли она обогреться в будке стрелочника. Но пока он думал, попутная машина тронулась, и Иванов забыл об этой женщине.

Теперь та женщина по-прежнему неподвижно нахо-

дилась на вчерашнем месте. Это постоянство и терпение означали верность и неизменность женского сердца,— по крайней мере, в отношении вещей и своего дома, куда эта женщина, вероятно, возвращалась. Иванов подошел к ней: может быть, ей тоже не так будет скучно с ним, как одной.

Женщина обернулась лицом к Иванову, и он узнал ее. Это была девушка, ее звали «Маша — дочь пространщика», потому что так она себя когда-то назвала, будучи действительно дочерью служащего в бане, пространщика. Иванов изредка за время войны встречал ее, наведываясь в один БАО, где эта Маша, дочь пространщика, служила в столовой помощником повара по вольному найму.

В окружающей их осенней природе было уныло и грустно в этот час. Поезд, который должен увезти отсюда домой и Машу и Иванова, находился неизвестно где в сером пространстве. Единственное, что могло утешить и развлечь сердце человека, было сердце другого человека.

Иванов разговорился с Машей, и ему стало хорошо. Маша была миловидна, проста душою и добра своими большими рабочими руками и здоровым, молодым телом. Она тоже возвращалась домой и думала, как она будет жить теперь новой гражданской жизнью; она привыкла к своим военным подругам, привыкла к летчикам, которые любили ее, как старшую сестру, дарили ей шоколад и называли «просторной Машей» за ее большой рост и сердце, вмещающее, как у истинной сестры, всех братьев в одну любовь и никого в отдельности. А теперь Маше непривычно, странно и даже боязно было ехать домой к родственникам, от которых она уже отвыкла.

Иванов и Маша чувствовали себя сейчас осиротевшими без армии; однако Иванов не мог долго пребывать в уныло-печальном состоянии; ему казалось, что в такие минуты кто-то издали смеется над ним и бывает счастливым вместо него, а он остается лишь нахмуренным простачком. Поэтому Иванов быстро обращался к делу жизни, то есть находил себе какое-либо занятие или утешение либо, как он сам выражался, простую подручную радость,— и тем выходил из своего уныния.

Он придвинулся к Маше и попросил, чтобы она товарищески позволила ему поцеловать ее в щеку.

— Я чуть-чуть,— сказал Иванов,— а то поезд опаздывает, скучно его ожидать.

— Только поэтому, что поезд опаздывает? — спросила Маша и внимательно посмотрела в лицо Иванова.

Бывшему капитану было на вид лет тридцать пять; кожа на лице его, обдутая ветрами и загоревшая на солнце, имела коричневый цвет; серые глаза Иванова глядели на Машу скромно, даже застенчиво, и говорил он хотя и прямо, но деликатно и любезно. Маше понравился его глухой, хриплый голос пожилого человека, его темное грубое лицо и выражение силы и незащитности на нем. Иванов погасил огонь в трубке большим пальцем, нечувствительным к глеющему жару, и вздохнул в ожидании разрешения. Маша отодвинулась от Иванова. От него сильно пахло табаком, сухим поджаренным хлебом, немного вином — теми чистыми вещами, которые произошли из огня или сами могут родить огонь. Похоже было, что Иванов только и питался табаком, сухарями, пивом и вином.

Иванов повторил свою просьбу.

— Я осторожно, я поверхностно, Маша... Вообразите, что я вам дядя.

— Я вообразила уже... Я вообразила, что вы мне папа, а не дядя.

— Вон как... Так вы позволите...

— Отцы у дочерей не спрашивают,— засмеялась Маша.

Позже Иванов признавался себе, что волосы Маши пахнут, как осенние павшие листья в лесу, и он не мог их никогда забыть... Отошедши от железнодорожного пути, Иванов разжег небольшой костер, чтобы приготовить яичницу на ужин для Маши и для себя.

Ночью пришел поезд и увез Иванова и Машу в их сторону, на родину. Двое суток они ехали вместе, а на третьи сутки Маша доехала до города, где она родилась двадцать лет тому назад. Маша собрала свои вещи в вагоне и попросила Иванова поудобнее заправить ей на спину мешок, но Иванов взял ее мешок себе на плечи и вышел вслед за Машей из вагона, хотя ему еще оставалось ехать до места более суток.

Маша была удивлена и тронута вниманием Иванова. Она боялась сразу остаться одна в городе, где она родилась и жила, но который стал теперь для нее почти чужбиной. Мать и отец Маши были угнаны отсюда нем-

цами и погибли в неизвестности, а теперь остались у Маши на родине лишь двоюродная сестра и две тетки, и к ним Маша не чувствовала сердечной привязанности.

Иванов оформил у железнодорожного коменданта остановку в городе и остался с Машей. В сущности, ему нужно было бы скорее ехать домой, где его ожидала жена и двое детей, которых он не видел четыре года. Однако Иванов откладывал радостный и тревожный час свидания с семьей. Он сам не знал, почему так делал, — может быть, потому, что хотел погулять еще немного на воле.

Маша не знала семейного положения Иванова и по девичьей застенчивости не спросила его о нем. Она доверилась Иванову по доброте сердца, не думая более ни о чем.

Через два дня Иванов уезжал далее, к родному месту. Маша провожала его на вокзале. Иванов привычно поцеловал ее и любезно обещал вечно помнить ее образ.

Маша улыбнулась в ответ и сказала:

— Зачем меня помнить вечно? Этого не надо, и вы все равно забудете... Я же ничего не прошу от вас, забудьте меня.

— Дорогая моя Маша! Где вы раньше были, почему я давно-давно не встретил вас?

— Я до войны в десятилетке была, а давно-давно меня совсем не было...

Поезд пришел, и они попрощались. Иванов уехал и не видел, как Маша, оставшись одна, заплакала, потому что никого не могла забыть, ни подруги, ни товарища, с кем хоть однажды сводила ее судьба.

Иванов смотрел через окно вагона на попутные домики городка, который он едва ли когда увидит в своей жизни, и думал, что в таком же подобном домике, но в другом городе, живет его жена Люба с детьми Петькой и Настей, и они ожидают его; он еще из части послал жене телеграмму, что он без промедления выезжает домой и желает как можно скорее поцеловать ее и детей.

Любовь Васильевна, жена Иванова, три дня подряд выходила ко всем поездам, что прибывали с запада. Она отпрашивалась с работы, не выполняла нормы и по ночам не спала от радости, слушая, как медленно и равнодушно ходит маятник стенных часов. На четвертый день Любовь Васильевна послала на вокзал детей — Петра и Настю, чтобы они встретили отца, если

он приедет днем, а к ночному поезду она опять вышла сама.

Иванов приехал на шестой день. Его встретил сын Петр; сейчас Петрушке шел уже двенадцатый год, и отец не сразу узнал своего ребенка в серьезном подростке, который казался старше своего возраста. Отец увидел, что Петр был малорослый и худощавый мальчуган, но зато головастый, лобастый, и лицо у него было спокойное, словно бы уже привычное к житейским заботам, а маленькие карие глаза его глядели на белый свет сумрачно и недовольно, как будто повсюду они видели один непорядок. Одет-обут Петрушка был аккуратно: башмаки на нем были поношенные, но еще годные, штаны и куртка старые, переделанные из отцовской гражданской одежды, но без прорех — где нужно, там заштопано, где потребно, там положена латка, и весь Петрушка походил на маленького, небогатого, но исправного мужичка. Отец удивился и вздохнул.

— Ты отец, что ль? — спросил Петрушка, когда Иванов его обнял и поцеловал, приподнявши к себе. — Знать, отец!

— Отец... Здравствуй, Петр Алексеевич!

— Здравствуй... Чего ехал долго? Мы ждали-ждали.

— Это поезд, Петя, тихо шел... Как мать и Настя: живы-здоровы?

— Нормально, — сказал Петр. — Сколько у тебя орденов?

— Два, Петя, и три медали.

— А мы с матерью думали — у тебя на груди места чистого нету. У матери тоже две медали есть, ей по заслуге выдали... Что ж у тебя мало вещей — одна сумка!

— Мне больше не нужно.

— А у кого сундук, тому воевать тяжело? — спросил сын.

— Тому тяжело, — согласился отец. — С одной сумкой легче. Сундуков там ни у кого не бывает.

— А я думал — бывает. Я бы в сундуке берег свое добро — в сумке сломается и помнется.

Он взял вещевой мешок отца и понес его домой, а отец пошел следом за ним.

Мать встретила их на крыльце дома; она опять отпросилась с работы, словно чувствовало ее сердце, что муж сегодня приедет. С завода она сначала зашла домой, чтобы потом пойти на вокзал. Она боялась — не

явился ли домой Семен Евсеевич: он любит заходить иногда днем; у него есть такая привычка — являться среди дня и сидеть вместе с пятилетней Настей и Петрушкой. Правда, Семен Евсеевич никогда пустой не приходит, он всегда принесет что-нибудь для детей — конфет, или сахару, или белую булку, либо ордер на промтовары. Сама Любовь Васильевна ничего плохого от Семена Евсеевича не видела; за все эти два года, что они знали друг друга, Семен Евсеевич был добр к ней, а к детям он относился, как родной отец, и даже внимательнее иного отца. Но сегодня Любовь Васильевна не хотела, чтобы муж увидел Семена Евсеевича; она прибрала кухню и комнату, в доме должно быть чисто и ничего постороннего. А позже, завтра или послезавтра, она сама расскажет мужу всю правду, как она была. К счастью, Семен Евсеевич сегодня не явился.

Иванов приблизился к жене, обнял ее и так стоял с нею, не разлучаясь, чувствуя забытое и знакомое тепло любимого человека.

Маленькая Настя вышла из дома и, посмотрев на отца, которого она не помнила, начала отталкивать его от матери, упершись руками в его ногу, а потом заплакала. Петрушка стоял молча возле отца с матерью, с отцовским мешком за плечами; обождав немного, он сказал:

— Хватит вам, а то Настька плачет, она не понимает.

Отец отошел от матери и взял к себе на руки Настю, плакавшую от страха.

— Настька! — окликнул ее Петрушка. — Опомнись, — кому я говорю! Это отец наш, он нам родня!..

В доме отец умылся и сел за стол. Он вытянул ноги, закрыл глаза и почувствовал тихую радость в сердце и спокойное довольство. Война миновала. Тысячи верст исходили его ноги за эти годы, морщины усталости лежали на его лице, и глаза резала боль под закрытыми веками — они хотели теперь отдыха в сумраке или во тьме.

Пока он сидел, вся его семья хлопотала в горнице и на кухне, готовя праздничное угощение. Иванов рассматривал все предметы дома по порядку — стенные часы, шкаф для посуды, термометр на стене, стулья, цветы на подоконниках, русскую кухонную печь... Долго они жили здесь без него и скучали по нем. Теперь он

вернулся и смотрел на них, вновь знакомясь с каждым, как с родственником, жившим без него в тоске и бедности. Он дышал устоявшимся родным запахом дома — тлением дерева, теплом от тела своих детей, гарью на печной загнетке. Этот запах был таким же и прежде, четыре года тому назад, и он не рассеялся и не изменился без него. Нигде более Иванов не ощущал этого запаха, хотя он бывал за войну по разным странам в сотнях жилищ; там пахло иным духом, в котором, однако, не было свойства родного дома. Иванов вспомнил еще запах Маши, как пахли ее волосы; но они пахли лесною листвою, незнакомой заросшей дорогой, не домом, а снова тревожной жизнью. Что она делает сейчас и как устроилась жить по-граждански, Маша — дочь пространщика? Бог с ней...

Иванов видел, что более всех действовал по дому Петрушка. Мало того, что он сам работал, он и матери с Настей давал указания, что надо делать, и что не надо, и как надо делать правильно. Настя покорно слушалась Петрушку и уже не боялась отца, как чужого человека; у нее было живое сосредоточенное лицо ребенка, делающего все в жизни по правде и всерьез, и доброе сердце, потому что она не обижалась на Петрушку.

— Настька, опорожни кружку от картошечной шкурки, мне посуда нужна...

Настя послушно освободила кружку и вымыла ее. Мать меж тем поспешно готовила пирог-скородум, замешанный без дрожжей, чтобы посадить его в печьку, в которой Петрушка же разжег огонь.

— Поворачивайся, мать, поворачивайся живее! — командовал Петрушка. — Ты видишь, у меня печь наготове. Привыкла копать, стахановка!

— Сейчас, Петруша, я сейчас, — послушно говорила мать. — Я изюму положу, и все, отец ведь давно, наверно, не кушал изюма. Я давно изюм берегу.

— Он ел его, — сказал Петрушка. — Нашему войску изюм тоже дают. Наши бойцы, гляди, какие мордастые ходят, они харчи едят... Настька, чего ты села — в гости, что ль, пришла? Чисть картошку, к обеду жарить будем на сковородке... Одним пирогом семью не укормишь!

Пока мать готовила пирог, Петрушка посадил в печь большим рогаком чугунок со щами, чтобы не горел

зря огонь, и тут же сделал указание и самому огню в печи:

— Чего горишь по-лохматому — ишь, во все стороны ерзаешь! Гори ровно. Грей под самую еду, даром, что ль, деревья на дрова в лесу росли... А ты, Настька, чего ты щепу как попало в печь насовала, надо положить ее было, как я тебя учил. И картошку опять ты чистишь по-толстому, а надо чистить тонко — зачем ты мясо с картошки стругаешь: от этого у нас питание пропадет... Я тебе сколько раз про то говорил, теперь последний раз говорю, а потом по затылку получишь!

— Чего ты, Петруша, Настю-то все теребишь, — кротко произнесла мать. — Чего она тебе? Разве сноровится она столько картошек очистить и чтоб тебе тонко было, как у парикмахера, нигде мяса не задеть... К нам отец приехал, а ты все серчаешь!

— Я не серчаю, я по делу... Отца кормить надо, он с войны пришел, а вы добро портите... У нас в кожуре от картошек за целый год сколько пищи-то пропало?.. Если б свиноматка у нас была, можно б ее за год одной кожурой откормить и на выставку послать, а на выставке нам медаль бы дали... Видали, что было бы, а вы не понимаете!

Иванов не знал, что у него вырос такой сын, и теперь сидел и удивлялся его разуму. Но ему больше нравилась маленькая кроткая Настя, тоже хлопчущая своими ручками по хозяйству, и ручки ее уже были привычные и умелые. Значит, они давно приучены работать по дому.

— Люба, — спросил Иванов жену, — ты что же мне ничего не говоришь — как ты это время жила без меня, как твое здоровье и что на работе ты делаешь?..

Любовь Васильевна теперь стеснялась мужа, как невеста: она отвыкла от него. Она даже краснела, когда муж обращался к ней, и лицо ее, как в юности, принимало застенчивое, испуганное выражение, которое столь нравилось Иванову.

— Ничего, Алеша... Мы ничего жили. Дети болели мало, я растила их... Плохо, что я дома с ними только ночью бываю. Я на кирпичном заводе работаю, на прессу, ходить туда далеко...

— Где работаешь? — не понял Иванов.

— На кирпичном заводе, на прессу. Квалификации ведь у меня не было, сначала я во дворе разнорабочей

была, а потом меня обучили и на пресс поставили. Работать хорошо, только дети одни и одни... Видишь — какие выросли. Сами все умеют делать, как взрослые стали, — тихо произнесла Любовь Васильевна. — К хорошему ли это, Алеша, сама не знаю...

— Там видно будет, Люба... Теперь мы все вместе будем жить, потом разберемся — что хорошо, что плохо...

— При тебе все лучше будет, а то я одна не знаю — что правильно, а что нехорошо, и я боялась. Ты сам теперь думай, как детей нам растить...

Иванов встал и прошелся по горнице.

— Так, значит, в общем ничего, говоришь, настроение здесь было у вас?

— Ничего, Алеша, все уже прошло, мы протерпели. Только по тебе мы сильно скучали, и страшно было, что ты никогда к нам не приедешь, что ты погибнешь там, как другие...

Она заплакала над пирогом, уже положенным в железную форму, и слезы ее закапали в тесто. Она только что смазала поверхность пирога жидким яйцом и еще водила ладонью руки по тесту, продолжая теперь смазывать праздничный пирог слезами.

Настя обхватила ногу матери руками, прижалась лицом к ее юбке и исподлобья сурово посмотрела на отца.

Отец склонился к ней.

— Ты чего?.. Настенька, ты чего? Ты обиделась на меня?

Он поднял ее к себе на руки и погладил ей головку.

— Чего ты, дочка? Ты совсем забыла меня, ты маленькая была, когда я ушел на войну...

Настя положила голову на отцовское плечо и тоже заплакала.

— Ты что, Настенька моя?

— А мама плачет, и я буду.

Петрушка, стоявший в недоумении возле печной загнетки, был недоволен.

— Чего вы все?.. Настроением заболели, а в печке жар прогорает. Сызнова, что ль, топить будем, а кто ордер на дрова нам новый даст! По старому-то все получили и сожгли, чуть-чуть в сарае осталось — поленьев десять, и то одна осина... Давай, мать, тесто, пока дух горячий не остыл.

Петрушка вынул из печи большой чугунок со щами и разгреб жар на поду, а Любовь Васильевна торопливо,

словно стараясь поскорее угодить Петрушке, посадила в печь две формы пирогов, забыв смазать жидким яйцом второй пирог.

Странен и еще не совсем понятен был Иванову родной дом. Жена была прежняя — с милым, застенчивым, хотя уже сильно утомленным лицом, и дети были те самые, что родились от него, только выросшие за время войны, как оно и быть должно. Но что-то мешало Иванову чувствовать радость своего возвращения всем сердцем, — вероятно, он слишком отвык от домашней жизни и не мог сразу понять даже самых близких, родных людей. Он смотрел на Петрушку, на своего выросшего первенца-сына, слушал, как он дает команду и наставления матери и маленькой сестре, наблюдал его серьезное, озабоченное лицо и со стыдом признавался себе, что его отцовское чувство к этому мальчугану, влечение к нему как к сыну недостаточно. Иванову было еще более стыдно своего равнодушия к Петрушке от сознания того, что Петрушка нуждался в любви и заботе сильнее других, потому что на него жалко сейчас смотреть. Иванов не знал в точности той жизни, которой жила без него его семья, и он не мог еще ясно понять, почему у Петрушки сложился такой характер.

За столом, сидя в кругу семьи, Иванов понял свой долг. Ему надо как можно скорее приниматься за дело, то есть поступать на работу, чтобы зарабатывать деньги, и помочь жене правильно воспитывать детей, — тогда постепенно все пойдет к лучшему, и Петрушка будет бегать с ребятами, сидеть за книжкой, а не командовать с рогачом у печки.

Петрушка за столом съел меньше всех, но подобрал все крошки за собою и высыпал их себе в рот.

— Что ж ты, Петр, — обратился к нему отец, — крошки ешь, а свой кусок пирога не доел... Ешь! Мать тебе еще потом отрежет.

— Поесть все можно, — нахмурившись, произнес Петрушка. — А мне хватит.

— Он боится, что если он начнет есть помногу, то Настя тоже, глядя на него, будет много есть, — простосердечно сказала Любовь Васильевна, — а ему жалко.

— А вам ничего не жалко, — равнодушно сказал Петрушка. — А я хочу, чтоб вам больше досталось.

Отец и мать поглядели друг на друга и содрогнулись от слов сына.

— А ты что плохо кушаешь? — спросил отец у маленькой Насти. — Ты на Петра, что ль, глядишь?.. Ешь как следует, а то так и останешься маленькой...

— Я выросла большая, — сказала Настя.

Она съела маленький кусок пирога, а другой кусок, что был побольше, отодвинула от себя и накрыла его салфеткой.

— Ты зачем так делаешь? — спросила ее мать. — Хочешь, я тебе маслом пирог помажу?

— Не хочу, я сытая стала...

— Ну, ешь так... Зачем пирог отодвинула?

— А дядя Семен придет. Это я ему оставила. Пирог не ваш, я сама его не ела. Я его под подушку положу, а то остынет...

Настя сошла со стула и отнесла кусок пирога, обернутый салфеткой, на кровать и положила его там под подушку.

Мать вспомнила, что она тоже накрывала готовый пирог подушками, когда пекла его Первого мая, чтобы пирог не остыл к приходу Семена Евсеевича.

— А кто этот дядя Семен? — спросил Иванов жену.

Любовь Васильевна не знала, что сказать, и сказала:

— Не знаю, кто такой... Ходит к детям один, его жену и его детей немцы убили, он к нашим детям привык и ходит играть с ними.

— Как играть? — удивился Иванов. — Во что же они играют здесь у тебя? Сколько ему лет?

Петрушка проворно посмотрел на мать и на отца; мать в ответ отцу ничего не сказала, только глядела на Настю грустными глазами, а отец по-недоброму улыбнулся, встал со стула и закурил папиросу.

— Где же игрушки, в которые этот дядя Семен с вами играет? — спросил затем отец у Петрушки.

Настя сошла со стула, влезла на другой стул у комода, достала с комода книжки и принесла их отцу.

— Они книжки-игрушки, — сказала Настя отцу, — дядя Семен мне вслух их читает: вот какой забавный Мишка, он игрушка, он и книжка...

Иванов взял в руки книжки-игрушки, что подала ему дочь: про медведя Мишку, про пушку-игрушку, про домик, где бабушка Домна живет и лен со внучкой прядет...

Петрушка вспомнил, что пора уже выюшку в печной трубе закрывать, а то тепло из дома выйдет.

Закрыв выюшку, он сказал отцу:

— Он старей тебя — Семен Евсейч!.. Он нам пользу приносит, пусть живет...

Глянув на всякий случай в окно, Петрушка заметил, что там на небе плывут не те облака, которые должны плыть в сентябре.

— Чтой-то облака,— проговорил Петрушка,— свинцовые плывут — из них, должно быть, снег пойдет! Иль наутро зима спозаранку станет? Ведь что ж тогда нам делать-то: картошка вся в поле, заготовки в хозяйстве нету... Ишь положение какое!..

Иванов глядел на своего сына, слушал его слова и чувствовал свою робость перед ним. Он хотел было спросить у жены более точно, кто же такой этот Семен Евсеевич, что ходит уже два года в его семейство, и к кому он ходит — к Насе или к его миловидной жене,— но Петрушка отвлек Любовь Васильевну хозяйственными делами:

— Давай мне, мать, хлебные карточки на завтра и талоны на прикрепление. И еще талоны на керосин давай — завтра последний день, и уголь древесный надо взять, а ты мешок потеряла, а там отпускают в нашу тару, ищи теиерь мешок, где хочешь, иль из тряпок новый шей, нам жить без мешка нельзя. А Настька пускай завтра к нам во двор за водой никого не пускает, а то много воды из колодца черпают: зима вот придет, вода тогда ниже опустится, и у нас веревки не хватит бадью опускать, а снег жевать не будешь, а растапливать его — дрова тоже нужны.

Говоря свои слова, Петрушка одновременно заматал возле печки и складывал в порядок кухонную утварь. Потом он вынул из печи чугуи со щами.

— Закусили немножко пирогом, теперь щи мясные с хлебом будем есть,— указал всем Петрушка.— А тебе, отец, завтра с утра надо бы в райсовет и военкомат сходить, станешь сразу на учет — скорей карточки на тебя получим.

— Я схожу,— покорно согласился отец.

— Сходи, не позабудь, а то утром проспишь и забудешь.

— Нет, я не забуду,— пообещал отец.

Свой первый общий обед после войны, щи и мясо,

семья съела в молчании, даже Петрушка сидел спокойно, точно отец с матерью и дети боялись нарушить нечаянным словом тихое счастье вместе сидящей семьи.

Потом Иванов спросил у жены:

— Как у вас, Люба, с одеждой — наверно, пообновились?

— В старом ходили, а теперь обновки будем справлять, — улыбнулась Любовь Васильевна. — Я чинила на детях, что было на них, и твой костюм, двое твоих штанов и все белье твое перешила на них. Знаешь, лишних денег у нас не было, а детей надо одевать...

— Правильно сделала, — сказал Иванов, — детям ничего не жалей.

— Я не жалела, и пальто продала, что ты мне купил, теперь хожу в ватнике.

— Ватник у нее короткий, она ходит — простудиться может, — высказался Петрушка. — Я кочегаром в баню поступаю, получку буду получать и справлю ей пальто. На базаре торгуют на руках, я ходил — приценялся, там есть подходящие...

— Без тебя, без твоей получки обойдемся, — сказал отец.

После обеда Настя надела на нос большие очки и села у окна штопать материны варежки, которые мать надевала теперь под рукавицы на работе, — уже холодно стало, осень во дворе.

Петрушка глянул на сестру и осерчал на нее:

— Ты что балуешься, зачем очки дяди Семена одела?..

— А я через очки гляжу, я не в них.

— Еще чего! Я вижу! Вот испортишь глаза и ослепнешь, а потом будешь иждивенкой всю жизнь проживать и на пенсии. Скинь очки сейчас же, — я тебе говорю! И брось варежки штопать, мать сама заштопает или я сам возьмусь, когда отделаюсь. Бери тетрадь и пиши палочки, — забыла уж, когда занималась!

— А Настя что — учится? — спросил отец.

Мать ответила, что нет еще, она мала, но Петрушка велит Насе каждый день заниматься, он купил ей тетрадь, и она пишет палочки. Петрушка еще учит сестру счету, складывая и вычитая перед нею тыквенные семена, а буквам Настю учит сама Любовь Васильевна.

Настя положила варежку и вынула из ящика комода тетрадь и вставочку с пером, а Петрушка, оставшись

доволен, что все исполняется по порядку, надел материн ватник и пошел во двор колоть дрова на завтрашний день; наколотые дрова Петрушка обыкновенно приносил на ночь домой и складывал их за печь, чтобы они там подсохли и горели затем более жарко и хозяйственно.

Вечером Любовь Васильевна рано собрала ужинать. Она хотела, чтобы дети пораньше уснули и чтобы можно было наедине посидеть с мужем и поговорить с ним. Но дети после ужина долго не засыпали; Настя, лежащая на деревянном диване, долго смотрела из-под одеяла на отца, а Петрушка, легший на русскую печь, где он всегда спал, и зимой и летом, ворочался там, кряхтел, шептал что-то и не скоро еще утомился. Но наступило позднее время ночи, и Настя закрыла уставшие глядеть глаза, а Петрушка захрапел на печке.

Петрушка спал чутко и настороженно: он всегда боялся, что ночью может что-нибудь случиться и он не услышит — пожар, залезут воры-разбойники или мать забудет затворить дверь на крючок, а дверь ночью отойдет, и все тепло выйдет наружу. Нынче Петрушка проснулся от тревожных голосов родителей, говоривших в комнате рядом с кухней. Сколько было времени — полночь или уже под утро — он не знал, а отец с матерью не спали.

— Алеша, ты не шуми, дети проснутся, — тихо говорила мать. — Не надо его ругать, он добрый человек, он детей твоих любил...

— Не нужно нам его любви, — сказал отец. — Я сам люблю своих детей... Ишь ты, чужих детей он полюбил! Я тебе аттестат присылал, и ты сама работала, — зачем тебе он понадобился, этот Семен Евсеич? Кровь, что ль, у тебя горит еще... Эх ты, Люба, Люба! А я там думал о тебе другое. Значит, ты в дураках меня оставила...

Отец замолчал, а потом зажег спичку, чтобы раскурить трубку.

— Что ты, Алеша, что ты говоришь! — громко воскликнула мать. — Детей ведь я выходила, они у меня почти не болели и на тело полные...

— Ну и что же!.. — говорил отец. — У других по четверо детей оставалось, а жили неплохо, и ребята выросли не хуже наших. А у тебя вон Петрушка что за человек вырос — рассуждает, как дед, а читать небось забыл.

Петрушка вздохнул на печи и захрапел для видимости, чтобы слушать дальше. «Ладно, — подумал он, — пускай я дед, тебе хорошо было на готовых харчах!»

— Зато он все самое трудное и важное в жизни узнал! — сказала мать. — А от грамоты он тоже не отста-нет.

— Кто он такой, этот твой Семен? Хватит тебе зубы мне заговаривать, — сердчал отец.

— Он добрый человек.

— Ты его любишь, что ль?

— Алеша, я мать твоих детей...

— Ну дальше! Отвечай прямо!

— Я тебя люблю, Алеша. Я мать, а женщиной была давно, с тобою только, уже забыла когда.

Отец молчал и курил трубку в темноте.

— Я по тебе скучала, Алеша... Правда, дети при мне были, но они тебе не замена, и я все ждала тебя, дол-гие страшные годы, мне просыпаться утром не хоте-лось.

— А кто он по должности, где работает?

— Он служит по снабжению материальной части на нашем заводе.

— Понятно. Жулик.

— Он не жулик. Я не знаю... А семья его вся погиб-ла в Могилеве, трое детей было, дочь уже невеста была.

— Неважно, он взамен другую готовую семью полу-чил — и бабу еще не старую, собой миловидную, так что ему опять живется тепло.

Мать ничего не ответила. Наступила тишина, но вскоре Петрушка расслышал, что мать плакала.

— Он детям о тебе рассказывал, Алеша, — загово-рила мать, и Петрушка расслышал, что в глазах ее бы-ли большие остановившиеся слезы. — Он детям говорил, как ты воюешь там за нас и страдаешь... Они спраши-вали у него: а почему? А он отвечал им: потому, что ты добрый...

Отец засмеялся и выбил жар из трубки.

— Вот он какой у вас — этот Семен-Евсей! И не ви-дел меня никогда, а одобряет. Вот личность-то!

— Он тебя не видел. Он выдумывал нарочно, чтоб дети не отвыкли от тебя и любили отца.

— Но зачем, зачем ему это? Чтоб тебя поскорее до-биться? Ты скажи, что ему надо было?

— Может быть, в нем сердце хорошее, Алеша,— по-
этому он такой. А почему же?

— Глупая ты, Люба. Прости ты меня, пожалуйста.
Ничего без расчета не бывает.

— А Семен Евсеич часто детям приносил что-нибудь,
каждый раз приносил, то конфеты, то муку белую, то
сахар, а недавно валенки Насте принес, но они не го-
дились — размер маленький. А самому ему ничего от
нас не нужно. Нам тоже не надо было, мы бы, Алеша,
обошлись без его подарков, мы привыкли, но он гово-
рит, что у него на душе лучше бывает, когда он забо-
тится о других, тогда он не так сильно тоскует о своей
мертвой семье. Ты увидишь его — это не так, как ты ду-
маешь...

— Все это чепуха какая-то! — сказал отец. — Не за-
дуривай ты меня... Скучно мне, Люба, с тобою, а я
жить еще хочу.

— Живи с нами, Алеша...

— Я с вами, а ты с Сенькой-Евсейкой будешь?

— Я не буду, Алеша. Он больше к нам никогда не
придет, я скажу ему, чтобы он больше не приходил.

— Так, значит, было, раз ты больше не будешь?..
Эх, какая ты, Люба, все вы женщины такие.

— А вы какие? — с обидой спросила мать. — Что
значит — все мы такие? Я не такая... Я работала день
и ночь, мы огнеупоры делали для кладки в паровозных
топках. Я стала на лицо худая, страшная, всем чужая,
у меня нищий милостыни просить не станет. Мне тоже
было трудно, и дома дети одни. Я приду, бывало, дома
не топлено, не варено ничего, темно, дети тоскуют, они
не сразу хозяйствовать сами научились, как теперь,
Петрушка тоже мальчиком был... И стал тогда ходить
к нам Семен Евсеевич. Придет — и сидит с детьми. Он
ведь живет совсем один. «Можно,— спрашивает ме-
ня,— я буду к вам в гости ходить, я у вас отогреюсь?»
Я говорю ему, что у нас тоже холодно и у нас дрова
сырые, а он мне отвечает: «Ничего, у меня вся душа
продрогла, я хоть возле ваших детей посижу, а топить
печь для меня не нужно». Я сказала — ладно, ходите
пока: детям с вами не так боязно будет. Потом я тоже
привыкла к нему, и всем нам бывало лучше, когда он
приходил. Я глядела на него и вспоминала тебя, что ты
есть у нас... Без тебя было так грустно и плохо; пусть
хоть кто-нибудь приходит, тогда не так скучно быва-

ет и время идет скорее. Зачем нам время, когда тебя нет!

— Ну дальше, дальше что? — поторопил отец.

— Дальше ничего. Теперь ты приехал, Алеша.

— Ну что ж, хорошо, если так, — сказал отец. — Пора спать.

Но мать попросила отца:

— Обожди еще спать. Давай поговорим, я так рада с тобой.

«Никак не угомонятся, — думал Петрушка на печи, — помирились, и ладно; матери на работу надо рано вставать, а она все гуляет — обрадовалась не вовремя, перестала плакать-то».

— А этот Семен любил тебя? — спросил отец.

— Обожди, я пойду Настю накрою, она раскрывается во сне и зябнет.

Мать укрыла Настю одеялом, вышла в кухню и приостановилась возле печи, чтобы послушать — спит ли Петрушка? Петрушка понял мать и начал храпеть. Затем мать ушла обратно, и он услышал ее голос:

— Наверно, любил. Он смотрел на меня умильно, я видела, а какая я — разве я хорошая теперь? Несладко ему было, Алеша, и кого-нибудь надо было ему любить.

— Ты бы его хоть поцеловала, раз уж так у вас задача сложилась, — по-доброму произнес отец.

— Ну вот еще! Он меня сам два раза поцеловал, хоть я и не хотела.

— Зачем же он так делал, раз ты не хотела?

— Не знаю. Он говорил, что забылся и жену вспомнил, а я на жену его немножко похожа.

— А он на меня тоже похож?

— Нет, не похож. На тебя никто не похож, ты один, Алеша.

— Я один, говоришь? С одного-то счет и начинается: один, потом два.

— Так он меня только в щеку поцеловал, а не в губы.

— Это все равно — куда.

— Нет, не все равно, Алеша... Что ты понимаешь в нашей жизни?

— Как что? Я всю войну провоевал, я смерть видел ближе, чем тебя...

— Ты воевал, а я по тебе здесь обмирала, у меня руки от горя тряслись, а работать надо было с бодро-

стью, чтоб детей кормить и государству польза против неприятелей-фашистов.

Мать говорила спокойно, только сердце ее мучилось, и Петрушке было жалко мать: он знал, что она научилась сама обувать чинить себе и ему с Настей, чтобы дорого не платить сапожнику, и за картошку исправляла электрические печки соседям.

— И я не стерпела жизни и тоски по тебе,— говорила мать.— А если бы стерпела, я бы умерла, я знаю, что я бы умерла тогда, а у меня дети... Мне нужно было почувствовать что-нибудь другое, Алеша, какую-нибудь радость, чтоб я отдохнула. Один человек сказал, что он любит меня, и он относился ко мне так нежно, как ты когда-то давно...

— Это кто, опять Семен-Евсей этот? — спросил отец.

— Нет, другой человек. Он служит инструктором райкома нашего профсоюза, он эвакуированный...

— Ну черт с ним, кто он такой! Так что случилось-то, утешил он тебя?

Петрушка ничего не знал про этого инструктора и удивился, почему он не знал его. «Ишь ты, а мать наша тоже бедовая»,— прошептал он сам себе.

Мать сказала отцу в ответ:

— Я ничего не узнала от него, никакой радости, и мне было потом еще хуже. Душа моя потянулась к нему, потому что она умирала, а когда он стал мне близким, совсем близким, я была равнодушной, я думала в ту минуту о своих домашних заботах и пожалела, что позволила ему быть близким. Я поняла, что только с тобою я могу быть спокойной, счастливой и с тобою отдохну, когда ты будешь близко. Без тебя мне некуда деться, нельзя спасти себя для детей... Живи с нами, Алеша, нам хорошо будет!

Петрушка расслышал, как отец молча поднялся с кровати, закурил трубку и сел на табурет.

— Сколько раз ты встречалась с ним, когда бывала совсем близкой? — спросил отец.

— Один только раз,— сказала мать.— Больше никогда не было. А сколько нужно?

— Сколько хочешь, дело твое,— произнес отец.— Зачем же ты говорила, что ты мать наших детей, а женщиной была только со мной, и го давно...

— Это правда, Алеша...

— Ну как же так, какая тут правда? Ведь с ним ты тоже была женщиной?

— Нет, не была я с ним женщиной, я хотела быть и не могла... Я чувствовала, что пропадаю без тебя, мне нужно было — пусть кто-нибудь будет со мной, я измучилась вся, и сердце мое темное стало, я детей своих уже не могла любить, а для них, ты знаешь, я все стерплю, для них я и костей своих не пожалею!..

— Обожди! — сказал отец. — Ты же говоришь — ошиблась в этом новом своем Сеньке-Евсейке, ты никакой радости будто от него не получила, а все-таки не пропала и не погибла, целой осталась.

— Я не пропала, — прошептала мать, — я живу.

— Значит, и тут ты мне врешь! Где же твоя правда?

— Не знаю, — шептала мать. — Я мало чего знаю.

— Ладно. Зато я знаю много, я пережил больше, чем ты, — проговорил отец. — Стерва ты, и больше ничего.

Мать молчала. Отец, слышно было, часто и трудно дышал.

— Ну вот я и дома, — сказал он. — Войны нет, а ты в сердце ранила меня... Ну что ж, живи теперь с Сенькой и Евсейкой! Ты потеху, посмешище сделала из меня, а я тоже человек, а не игрушка...

Отец начал в темноте одеваться и обуваться. Потом он зажег керосиновую лампу, сел за стол и завел часы на руке.

— Четыре часа, — сказал он сам себе. — Темно еще. Правду говорят, баб много, а жены одной нету.

Стало тихо в доме. Настя ровно дышала во сне на деревянном диване. Петрушка приник к подушке на теплой печи и забыл, что ему нужно храпеть.

— Алеша! — добрым голосом сказала мать. — Алеша, прости меня!

Петрушка услышал, как отец застонал и как потом хрустнуло стекло; через щели занавески Петрушка видел, что в комнате, где были отец и мать, стало темнее, но огонь еще горел. «Он стекло у лампы раздавил, — догадался Петрушка, — а стеклов нету нигде».

— Ты руку себе порезал, — сказала мать. — У тебя кровь течет, возьми полотенце в комод.

— Замолчи! — закричал отец на мать. — Я голоса твоего слышать не могу... Буди детей, буди сейчас же!..

Буди, тебе говорят! Я им расскажу, какая у них мать. Пусть они знают!

Настя вскрикнула от испуга и проснулась.

— Мама! — позвала она. — Можно, я к тебе?

Настя любила приходить ночью к матери на кровать и греться у нее под одеялом.

Петрушка сел на печи, спустил ноги вниз и сказал всем:

— Спать пора! Чего вы разбудили меня? Дня еще нету, темно во дворе! Чего вы шумите и свет зажгли?

— Спи, Настя, спи, рано еще, я сейчас сама к тебе приду, — ответила мать. — И ты, Петрушка, не вставай, не разговаривай больше.

— А вы чего говорите? Чего отцу надо? — заговорил Петрушка.

— А тебе какое дело — чего мне надо! — отозвался отец. — Ишь ты сержант какой!

— А зачем ты стекло у лампы раздавливаешь? Чего ты мать пугаешь? Она и так худая, картошку без масла ест, а масло Настьке отдает.

— А ты знаешь, что мать делала тут, чем занималась? — жалобным голосом, как маленький, вскричал отец.

— Алеша! — кротко обратилась Любовь Васильевна к мужу.

— Я знаю, я все знаю! — говорил Петрушка. — Мать по тебе плакала, тебя ждала, а ты приехал, она тоже плачет. Ты не знаешь!

— Да ты еще не понимаешь ничего! — рассерчал отец. — Вот вырос у нас отросток.

— Я все дочиста понимаю, — отвечал Петрушка с печки. — Ты сам не понимаешь. У нас дело есть, жить надо, а вы ругаетесь, как глупые какие...

Петрушка умолк; он прилег на свою подушку и нечаянно, неслышно заплакал.

— Большую волю ты дома взял, — сказал отец. — Да теперь уж все равно, живи здесь за хозяина...

Утерев слезы, Петрушка ответил отцу:

— Эх ты, какой отец, чего говоришь, а сам старый и на войне был... Вон пойдешь завтра в инвалидную кооперацию, там дядя Харитон за прилавком служит, а он хлеб режет, никого не обвешивает. Он тоже на войне был и домой вернулся. Пойди у него спроси, он всем говорит и смеется, я сам слышал. У него жена Анюта,

она на шофера выучилась ездить, хлеб развозит теперь, а сама добрая, хлеб не ворует. Она тоже дружила и в гости ходила, ее угощали там. Этот знакомый ее с орде-ном был, он без руки и главным служит в магазине, где по единичкам промтовар выбрасывают...

— Чего ты городишь там, спи лучше, скоро светать начнет,— сказала мать.

— А вы мне тоже спать не давали... Светать еще не скоро будет. Этот без руки сдружился с Анютой, стало им хорошо житься. А Харитон на войне жил. Потом Харитон приехал и стал ругаться с Анютой. Весь день ругается, а ночью вино пьет и закуску ест, а Анюта плачет, не ест ничего. Ругался-ругался, потом устал, не стал Анюту мучить и сказал ей: чего у тебя один без-рукий был, ты дура баба, вот у меня без тебя и Глашка была, и Апроська была, и Маруська была, и тезка твоя Нюшка была, и еще на добавок Магдалинка была. А сам смеется. И тетя Анюта смеется, потом она сама хвалилась — Харитон ее хороший, лучше нигде нету, он фашистов убивал и от разных женщин ему отбоя нету. Дядя Харитон все нам в лавке рассказывает, когда хлеб поштучно принимает. А теперь они живут смирно, по-хорошему. А дядя Харитон опять смеется, он говорит: «Обманул я свою Анюту, никого у меня не было — ни Глашки не было, ни Нюшки, ни Апроськи не было и Магдалинки на добавок не было, солдат — сын отечества, ему некогда жить по-дурачки, его сердце против неприятеля лежит. Это я нарочно Анюту напугал...» Ложись спать, отец, потуши свет, чего огонь коптит без стекла...

Иванов с удивлением слушал историю, что рассказывал его Петрушка. «Вот сукин сын какой! — размышлял отец о сыне. — Я думал, он и про Машу мою скажет сейчас...»

Петрушка сморился и захрапел; он уснул теперь по правде.

Проснулся он, когда день стал совсем светлый, и испугался, что долго спал, ничего не сделал по дому с утра.

Дома была одна Настя. Она сидела на полу и листала книжку с картинками, которую давно еще купила ей мать. Она ее рассматривала каждый день, потому что другой книги у нее не было, и водила пальчиком по буквам, как будто читала.

— Чего книжку с утра пачкаешь? Положь ее на место! — сказал Петрушка сестре. — Где мать-то, на работу ушла?

— На работу, — тихо ответила Настя и закрыла книгу.

— А отец куда делся? — Петрушка огляделся по дому, в кухне и в комнате. — Он взял свой мешок?..

— Он взял свой мешок, — сказала Настя.

— А что он тебе говорил?

— Он не говорил, он в рот меня и в глазки поцеловал.

— Так-так, — сказал Петрушка и задумался. — Вставай с пола, — велел он сестре, — дай я тебя умою почище и одену, мы с тобой на улицу пойдем...

Их отец сидел в тот час на вокзале. Он уже выпил двести граммов водки и пообедал с утра по талону на путевое довольствие. Он еще ночью окончательно решил уехать в тот город, где он оставил Машу, чтобы снова встретить ее там и, может быть, уже никогда не разлучаться с нею. Плохо, что он много старше этой дочери пространщика, у которой волосы пахли природой. Однако там видно будет, как оно получится, вперед нельзя угадать. Все же Иванов надеялся, что Маша хоть немного обрадуется, когда снова увидит его, и этого будет с него достаточно; значит, и у него есть новый близкий человек, и притом прекрасный собою, веселый и добрый сердцем. А там видно будет!

Вскоре пришел поезд, который шел в ту сторону, откуда только вчера прибыл Иванов. Он взял свой вещевой мешок и пошел на посадку. «Вот Маша не ожидает меня, — думал Иванов. — Она мне говорила, что я все равно забуду ее, и мы никогда с ней не увидимся, а я к ней еду сейчас навсегда».

Он вошел в тамбур вагона и остался в нем, чтобы, когда поезд пойдет, посмотреть в последний раз на небольшой город, где он жил до войны, где у него рожались дети... Он еще раз хотел поглядеть на оставленный дом; его можно разглядеть из вагона, потому что улица, на которой стоит дом, где он жил, выходит на железнодорожный переезд и через тот переезд пойдет поезд.

Поезд тронулся и тихо поехал через станционные стрелки в пустые осенние поля. Иванов взялся за поручни вагона и смотрел из тамбура на домики, здания, сарай, на пожарную каланчу города, бывшего ему род-

ным. Он узнал две высокие трубы вдалеке: одна была на мыловаренном, а другая на кирпичном заводе; там работала сейчас Люба у кирпичного пресса; пусть она живет теперь по-своему, а он будет жить по-своему. Может быть, он и мог бы ее простить, но что это значит? Все равно его сердце ожесточилось против нее, и нет в нем прощения человеку, который целовался и жил с другим, чтобы не так скучно, не в одиночестве прошло время войны и разлуки с мужем. А то, что Люба стала близкой к своему Семену или Евсею потому, что жить ей было трудно, что нужда и тоска мучили ее, так это не оправдание, это подтверждение ее чувства. Вся любовь происходит из нужды и тоски; если бы человек ни в чем не нуждался и не тосковал, он никогда не полюбил бы другого человека.

Иванов собрался было уйти из тамбура в вагон, чтобы лечь спать, не желая смотреть в последний раз на дом, где он жил и где остались его дети; не надо себя мучить напрасно. Он выглянул вперед — далеко ли осталось до переезда, и тут же увидел его. Железнодорожный путь здесь пересекала сельская грунтовая дорога, шедшая в город; на этой земляной дороге лежали пучки соломы и сена, павшие с возов, ивовые прутья и конский навоз. Обычно эта дорога была безлюдной, кроме двух базарных дней в неделю; редко, бывало, проедет крестьянин в город с полным возом сена или возвращается обратно в деревню. Так было и сейчас; пустой лежала деревенская дорога; лишь из города, из улицы, в которую входила дорога, бежали вдалеке какие-то двое ребят; один был побольше, а другой поменьше, и больший, взяв за руку меньшего, быстро увлекал его за собою, а меньший, как ни торопился, как ни хлопотал усердно ножками, а не поспевал за большим. Тогда тот, что был побольше, волочил его за собою. У последнего дома города они остановились и поглядели в сторону вокзала, решая, должно быть, идти им туда или не надо. Потом они посмотрели на пассажирский поезд, проходивший через переезд, и побежали по дороге прямо к поезду, словно захотев вдруг догнать его.

Вагон, в котором стоял Иванов, миновал переезд. Иванов поднял мешок с пола, чтобы пройти в вагон и лечь спать на верхнюю полку, где не будут мешать другие пассажиры. Но успели или нет добежать те двое де-

тей хоть до последнего вагона поезда? Иванов высунулся из тамбура и посмотрел назад.

Двое детей, взявшись за руки, все еще бежали по дороге к переезду. Они сразу оба упали, поднялись и опять побежали вперед. Бóльший из них поднял одну свободную руку и, обратив лицо по ходу поезда в сторону Иванова, махал рукою к себе, как будто призывая кого-то, чтобы тот возвратился к нему. И тут же они снова упали на землю. Иванов разглядел, что у большего одна нога была обута в валенок, а другая в калошу,— от этого он и падал так часто.

Иванов закрыл глаза, не желая видеть и чувствовать боли упавших обессиленных детей, и сам почувствовал, как жарко у него стало в груди, будто сердце, заключенное и томившееся в нем, билось долго и напрасно всю его жизнь и лишь теперь оно пробилось на свободу, заполнив все его существо теплом и содроганием. Он узнал вдруг все, что знал прежде, гораздо точнее и действительней. Прежде он чувствовал другую жизнь через преграду самолюбия и собственного интереса, а теперь внезапно коснулся ее обнажившимся сердцем.

Он еще раз поглядел со ступенек вагона в хвост поезда на удаленных детей. Он уже знал теперь, что это были его дети, Петрушка и Настя. Они, должно быть, видели его, когда вагон проходил по переезду, и Петрушка звал его домой к матери, а он смотрел на них невнимательно, думал о другом и не узнал своих детей.

Сейчас Петрушка и Настя бежали далеко позади поезда по песчаной дорожке возле рельсов; Петрушка по-прежнему держал за руку маленькую Настю и волочил ее за собою, когда она не поспевала бежать ногами.

Иванов кинул вещевой мешок из вагона на землю, а потом спустился на нижнюю ступень вагона и сошел с поезда на ту песчаную дорожку, по которой бежали ему вослед его дети.

СОДЕРЖАНИЕ

ЭФИРНЫЙ ТРАКТ	5
ЕПИФАНСКИЕ ШЛЮЗЫ	77
ЯМСКАЯ СЛОБОДА	110
ГОРОД ГРАДОВ	158
СОКРОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК	190
ПРОИСХОЖДЕНИЕ МАСТЕРА	264
ДЖАН	321

РАССКАЗЫ

Потомки солнца	439
«Лунная бомба»	448
Кончина Копёнкина	468
Мусорный ветер	474
Такыр	493
Третий сын	514
Фро	521
Река Потудань	544
В прекрасном и яростном мире	574
Одухотворенные люди	587
Неодушевленный враг	620
Афродита	630
Возвращение	647

Платонов А. П.

ПЗ7

Сокровенный человек. — М.: Известия, 1984. — 672 с. с ил.

В сборник известного советского писателя А. Платонова вошли лучшие повести и рассказы разных лет.

**П 4702010200—056
074[02]—84 76—84**

**ББК 84Р7
Р2**

Андрей Платонович ПЛАТОНОВ

СОКРОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

Оформление «Библиотеки» Г. Метченко

Редактор Е. Абрамович

Художественный редактор И. Смирнов

Технический редактор В. Новикова

Корректор Т. Авдеева



ИБ № 807

Сдано в набор 07.12.83. Подписано в печать 24.04.84. А 06052. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарнигура литературная. Печать высокая. Печ. л. 21,00. Усл. печ. л. 35,28 Усл. кр.-отт. 35,7. Уч.-изд. л. 37,39. Тираж 50 000 экз. Заказ № 184.

Цена 2 руб. 70 коп.



Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР». 103791 ГСП. Москва, Пушкинская пл., 5.

**Типография издательства «Таврида»
Крымского обкома КП Украины,
333700, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, 44.**



